

ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ИСТОРИЯ  
СОЕДИНЕННЫХ  
ШТАТОВ  
АМЕРИКИ



Т О М В Т О Р О Й



LITERARY  
HISTORY  
OF  
THE UNITED  
STATES

REVISED EDITION  
IN ONE VOLUME

1955

THE MACMILLAN COMPANY NEW YORK

ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ИСТОРИЯ  
СОЕДИНЕННЫХ  
ШТАТОВ  
АМЕРИКИ

ТОМ II

Русский текст печатается с переработанного издания  
в одном томе на английском языке

*Под редакцией*

*Р. Спиллера, У. Торпа, Т. Н. Джонсона, Г. С. Кэнби*

МОСКВА, «ПРОГРЕСС»

1978

Автор предисловия Я. Н. ЗАСУРСКИЙ

Перевод с английского Н. Анастасьева (48—51, 54), А. Вашенко (41—43), А. Зверева и А. Кругловой (55), Г. Злобина (30, 31, 40, 47, 56), А. Николокина (35, 37, 39, 46, 52), В. Олейника (38, 53), В. Харитоновой (32—34), Т. Шишкиной (44), А. Шишкина (45)

Переводы стихов,  
за исключением особо указанных случаев,

В. Топорова

Редактор М. Тугушева

В том данного издания рассматривает развитие литературного процесса в США накануне, во время и после Гражданской войны Севера и Юга. Большинство авторов исследует совершающийся процесс в связи с социальной жизнью страны, о чем свидетельствуют главы «Жизнь и характеры», «Литература и конфликт», «Литературная культура на фронтире». В книге рассказывается о творчестве ведущих писателей второй половины XIX века: в частности, Г. Бичер Стоу, У. Д. Хоуэллса, Эмили Дикинсон, Марка Твена.

© Предисловие, комментарий и перевод на русский язык с изменениями.  
«Прогресс» 1977

Редакция литературоведения и искусствознания

Л  $\frac{70202-344}{006(01)-78}$  148-78

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй том «Литературной истории Соединенных Штатов» на русском языке охватывает период от начала Гражданской войны в США и до конца 90-х годов XIX века. Три раздела, составляющие настоящий том: «Кризис», «Экспансия» и «Провинции», состоят из 26 глав и рассматривают в первую очередь перемены, которые происходят в американской литературе под воздействием Гражданской войны и тех глубоких социальных, экономических и политических процессов, которые были ускорены разгромом южного рабовладения.

Основное место здесь занимают главы, характеризующие литературную атмосферу эпохи. В этом отношении настоящий том ярче демонстрирует достоинства «Литературной истории Соединенных Штатов», ее сильные стороны. В то же время здесь относительно мало глав, посвященных собственно художественному творчеству, — на три раздела приходится лишь одна монографическая глава о писателе — Марке Твене. С. этой точки зрения настоящий том выявляет слабое место всего труда — недостаточное внимание к художественным завоеваниям американской литературы. Вместе с тем главы, где анализируются литературный процесс и атмосфера развития художественной литературы в США в целом, написаны очень интересно, что делает данный том особенно полезным для советских читателей.

Пятый раздел настоящего исследования, открывающий этот том, — «Кризис» — посвящен Гражданской войне и в основном состоит из глав, рассматривающих различные моменты политической, литературной, культурной и экономической жизни Америки. Взятые вместе, восемь глав этого раздела дают очень широкое и разностороннее представление о переломном периоде в истории Соединенных Штатов и американской литературы,

В разделе последовательно анализируются политическая жизнь Америки накануне Гражданской войны и события, которые привели к началу военных действий. От анализа меняющейся политической обстановки в Соединенных Штатах — на Юге и на Севере, а также на Западе — авторы переходят к рассмотрению развивающейся культурной жизни США в эти го-

ды — речь идет о развитии образования, библиотек, о книгоиздательском деле, о торговле книгами и распространении литературы среди населения в различных регионах страны.

Атмосферу политической и культурной жизни помогает понять анализ творчества выдающихся историков американской нации. Он проводится достаточно подробно и позволяет увидеть не только характерные особенности становления национальной исторической науки, но и важные стороны и направления формирующейся национальной культуры и концепции американской нации как таковой, ее истории и судеб Американского континента. Одновременно эта глава показывает процесс развития публицистики в США и тот уровень осмысления исторического процесса, который во многом определял взгляды американских литераторов на общественную жизнь и исторический прогресс.

Специальная глава, посвященная американским ораторам и роли ораторского искусства в политической жизни страны, способствует более полному представлению о литературной культуре Америки XIX века.

Четыре первых главы раздела, взятые вместе, дают достаточно широкую панораму той общественно-политической и литературно-культурной обстановки, в которой происходило развитие американской литературы в эти переломные для Соединенных Штатов годы.

К сожалению, при кажущейся полноте и широте охвата историко-экономического и культурно-политического материала в этих главах имеются и существенные пробелы, обусловленные узостью и предвзятостью политических позиций авторов — они практически игнорируют развитие рабочего движения и замалчивают деятельность первых марксистских организаций в США. Это придает известную односторонность данному разделу при всем широко разрекламированном авторами универсализме их подхода к изучению литературной истории США.

Следующие три главы рассматривают собственно литературный процесс, в котором после начала Гражданской войны наметились новые и очень важные для его развития тенденции.

Анализируя проблему отношения литературы к конфликту между плантаторским Югом и индустриальным Севером, авторы очень последовательно и обстоятельно характеризуют творчество писателей, выступивших против рабства и против рабовладельческой идеологии. К сожалению, здесь соединены фигуры разного калибра, и в результате наиболее выдающиеся произведения, созданные в годы Гражданской войны, не получают должного внимания, хотя и упоминаются в ряду других, менее значительных. Конечно, и при этом настоящая часть раздела «Кризис» чрезвычайно богата малоизвестным и вместе с тем очень важным для понимания литературного процесса материалом.

Следом за обзорной главой о литературе Гражданской войны идет анализ творчества трех известных писателей Америки XIX века — Лонгфелло, Холмса и Лоуэлла. Естественно, что при этом достаточно много внимания уделено их выступлениям против рабства, но само по себе появление главы об этих писателях в данном разделе мало оправданно, гораздо уместнее она была бы в более ранних разделах: самые крупные произведения этих писателей, на которых базировались их позднейшая известность и литературная слава, были созданы до Гражданской войны. В тот же раздел целесообразнее было бы включить и главу об Уитмене, который создал особенно значительные поэтические произведения в годы Гражданской войны. К сожалению, важный и весомый вклад великого американского поэта в литературу Гражданской войны оказался, по сути дела, не оцененным авторами настоящего труда.

Дополняет анализ литературного творчества этого периода глава о литературе Старого Юга, в которой, однако, отрицательным образом сказывается объективизм по отношению к рабовладельческим концепциям, господствовавшим в южных штатах и не утратившим, к сожалению, влияния на Юге и сегодня.

Завершает пятый раздел глава о распространении американской литературы в Европе — авторы приводят очень интересные и поучительные данные об отношении европейцев к американской литературе. К сожалению, здесь не получает достаточно точной оценки позиция прогрессивной европейской общественности, которая не только выступала в поддержку литераторов — борцов против рабства, но и решительным образом осуждала дух стяжательства и меркантилизма, характерный для американского общества уже в ту эпоху.

Таким образом, в целом раздел «Кризис» дает широкую и разнообразную картину перелома в истории американской литературы, расширяя наше представление об огромном воздействии победоносной борьбы против рабства на рост общественного самосознания американцев и на развитие передовых тенденций в американской литературе.

Следующий, шестой, раздел «Литературной истории Соединенных Штатов» «Экспансия», отправляясь от тех новых импульсов, которые дала развитию американской литературы Гражданская война, характеризует важные особенности литературного процесса в обновленном американском обществе. Главы, входящие в данный раздел, носят в основном нестандартный для настоящего исследования характер. Поскольку Гражданская война во многом изменила направление и характер литературного процесса в США, они выявляют многие моменты литературной истории, имеющие очень большое значение не только для литературного процесса второй половины XIX века, но и для всего развития американской литературы



в последнее столетие. Эти главы помогают также понять многие отличительные особенности современного литературного процесса в США. Все это позволяет данный раздел отнести к наиболее удачным во всей «Литературной истории Соединенных Штатов».

Раздел открывается главой, характеризующей общие тенденции развития литературы в США в период Реконструкции и в последующие годы. В целом дается весьма обстоятельная и разносторонняя характеристика литературного процесса, хотя и здесь сказывается нежелание автора принять во внимание воздействие на литературу поднимающегося рабочего движения.

Очень интересны главы, посвященные литературной культуре фронта и американскому варианту английского языка середины XIX века, определившему важнейшие качественные особенности стилиевой культуры американских писателей. Интересно прослежено здесь и взаимодействие английского языка с языками иммигрантов, приехавших из различных стран континентальной Европы.

По-новому помогает понять становление американской литературы исследование роли индейцев в американской культуре.

Большую концептуальную нагрузку в «Литературной истории Соединенных Штатов» несут главы, посвященные американскому фольклору и юмору, так как именно с влиянием фольклора, которое в значительной степени осуществлялось в творчестве юмористов, связаны важнейшие особенности формирования национальной американской литературы.

Две главы, рассматривающие творчество документалистов и освещение жизни американского Запада писателями американского Востока, помогают представить, как расширялся кругозор американских писателей, как возрастали масштабы американской литературы.

Заключает раздел глава о Линкольне, дающая возможность понять становление демократических традиций в современной американской литературе США и роль в этом процессе прогрессивных идеалов борьбы против рабства.

Таким образом, раздел, о котором идет речь, является по материалу центральным для «Литературной истории Соединенных Штатов» и чрезвычайно важным для понимания фундаментальных проблем развития американской литературы, ее наиболее плодотворных и значимых сторон.

Завершает том раздел «Провинции», который расширяет географию американской литературы второй половины XIX века. В основном он посвящен региональной литературе и становлению реализма в США. Раздел открывается главой, рассказывающей, как изменялись представления об Америке не только у американцев, но и американских писателей. Характеризуя эти перемены, являвшиеся следствием юридического уничтожения рабства, глава показывает и трансформацию героя

американской литературы, который приходит на страницы романов, поэм и рассказов из старательских лагерей, из поселений пионеров, осваивавших западные земли, с просторов полноводной Миссисипи.

Особое место в разделе уделяется формированию системы американского образования и американской культуры в послевоенные годы, что помогает понять условия, в которых создавали свои произведения американские писатели, представить ту аудиторию, на которую их произведения были рассчитаны.

Последующие главы рассматривают важнейшие аспекты литературного процесса в 60—90-е годы, в связи с чем обстоятельно исследуется отрицательное влияние на американскую литературу школы изысканной традиции и таких ее представителей, как Томас Бейли Олдрич.

Специальное внимание авторы уделяют появлению множества книг о поездках американцев в Европу. Отношение американцев и американских писателей прежде всего к Европе и европейской культуре, конечно, очень важно для понимания национальной американской литературы и культуры. К сожалению, и здесь некоторые моменты европейской истории, нашедшие в Америке широкий и существенный для литературы отклик, не нашли отражения — авторы умалчивают о восторженном восприятии Парижской Коммуны Уитменом, об интересе и внимании американцев к деятельности европейских социалистов.

Охарактеризовав региональную американскую литературу, авторы седьмого раздела особо выделяют творчество писателей Среднего и Дальнего Запада, обозначая тем самым новые, расширяющиеся горизонты литературы США.

Принципиальное значение для концепции литературного процесса, принятой авторами «Литературной истории Соединенных Штатов», имеет глава об американском реализме в литературе США второй половины XIX века. Подчеркивая прогрессивность развития реалистических тенденций в американской литературе в противовес бесплодной изысканной традиции, авторы раздела не учитывают, однако, в полной мере значения не только умозрительных концепций Хоуэллса, но прежде всего полнокровного реалистического творчества таких писателей, как великий Марк Твен.

Несколько выбивается из общего плана глава об эксперименте в поэзии. Помогая понять многие отличительные особенности развития поэтического мышления в США, но игнорируя поэтическое новаторство Уитмена, она выглядит несколько искусственно сконструированной.

Заключает седьмой раздел и второй том издания «Литературной истории Соединенных Штатов» на русском языке глава о Марке Твене, что закономерно, ибо тем самым подчеркивается гигантская роль Твена в развитии современной американской литературы.

Таким образом, в целом разделы, составляющие второй том настоящего издания, относятся к числу наиболее интересных в «Литературной истории Соединенных Штатов» и существенным образом способствуют углублению нашего понимания корней и важнейших компонентов современной американской литературы.

Если говорить о концепции литературного процесса в США во время Гражданской войны и после ее окончания, то авторы «Литературной истории Соединенных Штатов» ее четко не формулируют. Суть их позиции состоит в том, что Гражданская война внесла глубокие изменения в американское общество, в развитие культуры, в распространение образования, изменила соотношение сил в американском обществе в пользу противников рабовладения и демократических традиций, расширила кругозор американских писателей и привела к кризису романтических тенденций в литературе, что наиболее полно проявилось в творчестве представителей изысканной традиции. Отвергнув романтические каноны, они, как известно, выдвинули неоклассицистическую умозрительную концепцию литературного творчества, противопоставленного «прозе» жизни и оторванного от реальной жизни общества. Возникновение новых проблем в Америке после Гражданской войны, связанных с грубым вторжением в повседневную жизнь американцев духа бессердечного чистогана, представленного нарождающимися концернами и монополиями, способствовало росту критических настроений и формированию концепции реалистического творчества. Его развитие было в немалой мере стимулировано и произведениями европейских реалистов — Флобера, Золя, Ибсена и блестящих представителей русского реализма — Тургенева, Толстого, Достоевского.

К сожалению, в этой концепции отсутствует более или менее углубленная трактовка развития реалистического метода в американской литературе — сказывается культурно-исторический подход авторов к творчеству американских писателей и прежде всего крупнейших представителей американской литературы. Так, творчество Уитмена рассматривается в контексте романтизма, а Марк Твен анализируется в основном в связи с литературными боями сугубо местного значения и в плане его эволюции как юмориста. В результате концепция становления реализма обеднена. В ней не учитывается опыт народного творчества и стихии устной ораторской традиции, важных для понимания специфики реалистического стиля этих крупнейших американских писателей, стоящих у истоков современной американской литературы. Вот почему интереснейшие материалы о развитии фольклора, юмора, американского варианта английского языка, которые собраны в этих разделах «Литературной истории Соединенных Штатов», органически не входят в общую структуру книги, остаются как бы чужеродным

телом при всей их важности и значимости для реального процесса развития американской литературы. Их присутствие в труде в известной степени формально — хотя, разумеется, отсутствие их было бы неоправданно. Более того, эти главы украшают книгу, но их значение было бы еще весомее, если бы они подкреплялись определенной концепцией их места в общем литературном процессе, в создании и формировании крупнейших достижений американской литературы, в определении того перелома в ее развитии, который наступил после Гражданской войны и проложил магистральные пути развития литературы в конце XIX века и в XX веке.

Достоинством книги является обилие социально-исторического материала, но зачастую он мало систематизирован. В результате главы, посвященные истории страны и ее культуре, оставляют иногда впечатление известной легковесности. В исследуемых разделах сказывается та сторона концепции, о которой уже шла речь в связи с первым томом русского издания «Литературной истории», — стремление придать историческому процессу в Соединенных Штатах характер некоей исключительности. Здесь в угоду своим посылкам авторы игнорируют крупнейшие исторические события в жизни Соединенных Штатов, связанные с развитием социалистического и рабочего движения, — например, мощные забастовочные выступления американских рабочих в 1877 и 1886 годах, которые нашли отражение и в произведениях многих американских писателей и, конечно же, оказали воздействие на умонастроения многих выдающихся художников.

Требуется специальное рассмотрение и то, как ставятся и разрешаются проблемы американского историко-литературного процесса. В этом смысле показательна глава «Дом распавшийся и воссозданный», написанная Диксоном Уэктером, и открывающая данный том. Автор рассматривает предысторию Гражданской войны с 1850 года, события Гражданской войны и последовавшей за ней Реконструкции, но при этом сразу же пытается отгородиться не вполне серьезной аргументацией от проблемы распространения марксизма в Соединенных Штатах. Вступая сам с собой в противоречие, он сначала противопоставляет марксизму роль благотворительного патернализма, но затем признает, что американские рабочие подвергались интенсивной эксплуатации. Хотя в целом глава содержит обширный и нужный для исследователя американской литературы и культуры материал, он не получает адекватной исторической интерпретации.

Уильям Чарват в главе «Под эгидой народа» продолжает рассмотрение общих проблем развития Америки этого периода. Здесь собраны очень интересные, разнообразные и во многом поучительные сведения о том, как развивалась культура американского народа в эти же годы. Автор рассказывает о роли

железных дорог в распространении культуры и обмена между различными районами Соединенных Штатов, о развитии школ, издательств и журналистики. Особенно следует выделить разделы, посвященные печати, — они помогают точнее представить картину литературной жизни и условий труда американских писателей, характер и пути распространения их книг среди разных слоев населения.

Оценивая «Нью-Йорк трибюн», Чарват считает ее, и вполне справедливо, самой значительной газетой США этого периода, но говоря об ее авторах и причинах популярности, он даже не упоминает о Карле Марксе, хотя широко известно, что корреспонденции Маркса из Европы придавали этой газете огромную значимость и глубину. Здесь предвзятость классовых позиций автора проявляется особенно отчетливо.

Не получает в этой главе научной оценки и публикация дешевых беллетристических изданий, рассчитанных на коммерческий успех. Автор практически обходит проблему развития бульварной беллетристики, которая была представлена Хорейшо Эджером — родоначальником традиций массовой апологетической книги. В конечном счете, если судить по статье, дело сводилось к необходимости учитывать вкусы массовой аудитории и научиться говорить на ее языке. Здесь серьезная проблема коммерциализации литературного творчества, по существу, даже не названа, а подменена другой проблемой — проблемой отношения писателя к языку и доступности его творчества для широкого читателя. При всем богатстве культурно-исторического материала глава не учитывает важность проблемы, которая приобрела особенно серьезное значение в наши дни в США, где массовая культура — один из важнейших компонентов идеологической обработки населения.

Весьма специальный характер носит глава «Историки», написанная Эриком Голдменом. Подробное и обстоятельное изложение складывавшихся исторических концепций, конечно, чрезвычайно важно для понимания истории литературы и той философии истории, под влиянием которой формировались творческие принципы многих американских писателей. К сожалению, автор уходит от оценки идеалистической концепции истории Прескотта, Мотли и Паркмена, что объясняется прежде всего его сочувствием этой концепции.

Большой интерес для понимания многих аспектов американской литературной традиции имеет глава «Ораторы», написанная Хэролдом Гардингом, Эвереттом Хантом и Уиллардом Торпом. Она особенно полезна для советского читателя, потому что других работ по истории ораторского искусства в нашем распоряжении на русском языке нет. Между тем устная народная традиция в США тесно связана с ораторским искусством, которое было чрезвычайно важной частью деятельности многих видных литераторов. Главу несколько обедняет ее оторванность

от общих процессов американской литературы и тот объективистский подход к южным политическим деятелям, о которых уже говорилось выше.

Рассматривая ораторское искусство, авторы очень много внимания уделяют проблемам риторики, однако, как правило, уклоняясь от анализа политической сути выступлений тех или иных деятелей. В результате не всегда проводится грань между ораторским искусством и искусной демагогией, которой особенно отличались оракулы рабовладельческого Юга. Между тем характерная для американской политической жизни приверженность многих ораторов политической демагогии оказала известное воздействие на литературу, вызвав в ряде случаев критическую реакцию со стороны крупнейших художников Америки.

Одна из центральных глав книги, «Литература и конфликт», написана Джорджем Уичером, который очень подробно рассматривает отношение американских писателей к конфликту Севера и Юга. Особенно интересно рассматривается в главе творчество Хилдрета и Дефореста, но Уитьеру и Бичер Стоу повезло значительно меньше. Автор весьма бесцеремонно обходится с антирабовладельческими стихами Уитьера, а что касается Бичер Стоу, то Уичер опирается в оценке ее творчества на весьма шаткие критерии, утверждая, например, что «Хижина дяди Тома» великое общественное, а не литературное явление. Он игнорирует сложную диалектику художественного творчества, которая сделала «Хижину дяди Тома» одним из крупнейших достижений американской литературы. И уж совсем неоправданна попытка автора анализировать личность писательницы с позиций фрейдизма. Недостойны серьезного труда и заключительные страницы главы, где автор подменяет рассказ о личности и творчестве писательницы анекдотическими историями.

Глава «Новоанглийский триумvirат: Лонгфелло, Холмс, Лоуэлл», написанная Оделлом Шепардом, знакомит с творчеством интересных и своеобразных художников. Советского читателя особенно заинтересует раздел о Джеймсе Расселе Лоуэлле, творчество которого ему мало известно, хотя оно чрезвычайно важно для понимания развития американской литературы в XIX веке и особенно поэзии. К сожалению, автор без должного уважения пишет о творчестве широко известного в нашей стране замечательного американского поэта Лонгфелло и не способен поэтому объяснить, почему при жизни Лонгфелло стал «самым популярным поэтом в Америке и в мире». Здесь сказывается общая недооценка значимости художественного вклада американских писателей и неточности в определении их места в истории литературы, что характерно для «Литературной истории Соединенных Штатов».

Безусловно, малоизвестный нашему читателю материал главы «Традиции Старого Юга: взгляд меньшинства», принадлежащей Генри Нэшу Смигу, заслуживает внимательного изучения.

Справедливо суждение автора о том, что Юг проиграл литературную битву до начала военных действий. Несомненно, представляют интерес и соображения автора о критике южными писателями стяжательского духа, свойственного американскому капитализму. Автор, однако, слишком расширительно трактует понятие южной литературы, включая в нее даже творчество Твена. Нельзя согласиться и с объективистским подходом автора к рабовладельческим симпатиям многих авторов-южан.

Завершающая раздел «Кризис» глава «Вести из Нового Света», написанная Хэролдом Блодгеттом, чрезвычайно богата информацией о распространении американской литературы в европейских странах и о связях литератур Европы и США.

Автор, к сожалению, недостаточно осведомлен о распространении американской литературы в России. Утверждая, например, что Мелвилла в Европе игнорировали, он не учитывает, что на русском языке Мелвилл был известен уже в середине XIX века, о нем писали в журналах русских революционных демократов, как, впрочем, и о многих других американских писателях. Этот пробел наш читатель может восполнить, обратившись к работам советских исследователей.

Более существенно то, что автор недостаточно точен в оценке причин интереса к американской литературе в Европе. Его утверждение, что «американская литература привлекла внимание Европы и Англии прежде всего как выражение демократических устремлений», не соответствует действительности. Для русских читателей от Пушкина до Чернышевского американская литература была еще и свидетельством дегуманизирующего воздействия на развитие культуры и всей духовной жизни кредо успеха, предпринимательства и личного обогащения.

Одна из наиболее интересных глав книги — «Горизонты раздвигаются» Генри Нэша Смита, рассказывающая о главных особенностях американской литературы в период Второй республики — так автор называет Соединенные Штаты Америки после Гражданской войны. Автор рассматривает различные аспекты социально-экономической и культурной жизни США во второй половине XIX века. Начиная свой обзор с констатации роста Соединенных Штатов Америки за счет захвата новых земель, он затем говорит о развитии экономики, роли иммиграции в культурной жизни страны, об изменениях в историческом мышлении американцев, раскрывает значение естественных наук для формирования мироощущения американских писателей. Особенно важно, что в этой главе предпринята достаточно удачная попытка соединить рассмотренные ранее в разделе «Кризис» аспекты историко-культурного развития Америки с анализом общих направлений развития литературного. Автор умело вводит читателя в круг новых проблем, с которыми столкнулась американская литература в середине XIX века, —

проблем, которым посвящены последующие главы этого раздела, — о литературе фронта, американском языке, о фольклоре и юморе.

Так, в главе «Литературная культура на фронтире» Диксон Уэктер рассматривает особенности развития литературы в странах Среднего и Дальнего Запада. Несмотря на присущую главе некоторую поверхностность и иллюстративность, характеристика литературной жизни далеких от Новой Англии и Старого Юга районов США помогает уяснить чрезвычайно многозначительные аспекты литературной истории Америки, связанные с динамикой формирования и развития американской нации и национального характера.

Глава «Американский язык» принадлежит перу выдающегося американского литератора Генри Льюиса Менкена, автора фундаментальных исследований на эту тему. Глава дает возможность представить специфику формирования американского варианта английского языка и важнейшие этапы его развития в творчестве писателей США.

Своеобразие позиции Менкена сказывается и в некотором преувеличении достоинств американского языка, который, по его мнению, более энергичен и мужествен, чем английский.

Тема развития литературного языка в США продолжена в главе «Смещение языков», написанной Генри Почманном в соавторстве с Джозефом Росси и другими специалистами. Рассматривая воздействие на стихию американской речи языков, на которых говорили иммигранты, автор не всегда удерживается в пределах собственно лингвистических интересов и подчас дает весьма субъективные оценки по далеким от языковых проблем моментам. Особенно странным и необоснованным кажется апологетическое рассмотрение проблем американского сионизма, которое выходит по существу за рамки, объявленные в названии главы.

Заслуживает положительной оценки глава «Индийское наследие» Стита Томпсона, которая углубляет наши представления о роли индейской культуры в формировании литературных традиций США. Говоря о роли ритуальных песнопений индейских племен, автор оценивает их весьма высоко, подчеркивая художественную ценность. В то же время довольно непоследовательно он пытается снизить это значение, подвергая сомнению их влияние на ритмику американской поэзии. Можно пожалеть, что в книге нет аналогичной главы о литературе негритянского народа, хотя о ее роли в формировании национальной литературы США в книге говорится неоднократно.

К лучшим главам книги относятся «Фольклор» Артура Палмера Хадсона и «Юмор», написанный Хэролдом Томпсоном в сотрудничестве с Генри Сейделом Кэнби. Эти главы раскрывают важнейшие элементы литературной истории Америки, определяющие многие ее специфические национальные черты



и помогающие понять не только величие вклада Уолта Уитмена и Марка Твена в американскую литературу, но и причины, определившие их роль родоначальников современной американской поэзии и прозы.

В главе «Фольклор» интересно обращение к английскому устному творчеству и его судьбе в Америке, где произведения английского фольклора обрели новую жизнь.

Однако анализ «Истории плохого мальчика» Томаса Бейли Олдрича выглядит здесь чужеродным элементом. Не говоря о том, что этой повести дается непропорционально высокая оценка, она без должного основания включается в главу о юморе, который не так уж характерен для повести, написанной в традициях благопристойности. Главы «Американский язык», «Фольклор», «Юмор» занимают центральное место по своей значимости во втором томе «Литературной истории Америки» и относятся к числу самых интересных и полезных для наших историков литературы разделов всего исследования.

Две главы рассматривают различные аспекты роли западных штатов в развитии американской литературы. Генри Нэш Смит в главе «Хроникеры Запада и литературные пионеры», продолжая в известном смысле главу 3, посвящает свое исследование хроникальной литературе, зафиксировавшей освоение западных земель не только американскими, но и европейскими исследователями и путешественниками. А в главе «Запад с точки зрения Востока» Джорджа Стюарта рассматривается тема Среднего и Дальнего Запада в творчестве американских писателей.

Материал этих глав собран с большой скрупулезностью, хотя и не исчерпывает тему. В частности, Г. Н. Смит обходит молчанием сообщения о русских исследованиях Западного побережья Америки, хотя русские путешественники пришли туда значительно раньше, чем американские пионеры.

Несколько неожиданно Джордж Стюарт обращается к творчеству Купера и Ирвинга, которым были посвящены специальные монографические главы в одном из предыдущих разделов «Литературной истории». Это неоправданное дублирование сопровождается еще и несколько иной интерпретацией творчества писателей.

Одна из ярких глав в настоящем томе написана выдающимся американским поэтом Карлом Сэндбергом и посвящена Линкольну. Мы с интересом узнаем о дружеском отношении Линкольна к юмористам Артимуесу Уорду, Петролеуму Везувису Нэсби и Орфеусу С. Керру, которые были известны острой критикой южных рабовладельцев и их приспешников на Севере. Сэндберг в отличие от многих других авторов «Литературной истории Соединенных Штатов» чужд объективистского подхода к борьбе против рабства и поэтому особенно убедительно и доказательно выявляет те демократические иде-

алы, которые связаны с именем Линкольна и которые сыграли ведущую роль в творчестве передовых американских художников.

Состоянию умов в американском обществе, американской литературе после Гражданской войны посвящена глава Генри Нэша Смита «Второе открытие Америки». В этот период рабочее движение в США становится важнейшим фактором всей политической, социальной и экономической жизни нации, оно привлекает всеобщее внимание не только в Америке, но и мирового общественного мнения — не случайно праздник 1 Мая был установлен в честь выступлений американских рабочих в мае 1886 года. Автор игнорирует эти факты и попросту умалчивает и о забастовках, и о профсоюзах, и о социалистических организациях. Его внимание сосредоточено прежде всего на различного рода популистских и реформаторских движениях. Эти сведения, конечно, важны, но не могут заменить факт борьбы рабочего класса Америки.

Более серьезный характер носит трактовка Смитом перемен в отношении к рабству на Севере. В главе утверждается, что нация приняла южный взгляд на расовую проблему, то есть победители приняли взгляды побежденных — здесь Смит прав в том смысле, что Гражданская война не покончила с рабством, а его влияние даже возросло среди американской буржуазии и обывателей. Однако едва ли можно согласиться с тем, что вся американская нация была в этом повинна — передовые люди Америки и прежде всего представители рабочего движения решительно активизировали в этот период борьбу против дискриминации негров. Здесь снова в полной мере выветляется, к насколько ложным результатам приводит исследователя игнорирование деятельности наиболее прогрессивных сил американского народа, попытка выдать взгляды американской буржуазии за общенациональные.

Проблема различных форм образования специально рассматривается в главе, написанной Диксоном Уэктером и в известной степени связанной с принадлежащей его же перу главой «Дом распавшийся и воссозданный». Детализируя проблемы развития американской культуры в 70, 80 и 90-е годы XIX века, автор возвращается к вопросам книгоиздательства и книготорговли и даже посвящает абзац творчеству Хорейшо Эджера, сводя смысл его произведений к созданию литературы, пропагандирующей религию успеха. Таким образом, роль коммерции и ее связь со стремлением использовать литературу в целях пропаганды буржуазных ценностей ускользает из поля зрения Диксона Уэктера.

В главе рассматриваются и важные для понимания мировоззрения американских писателей проблемы развития различных философских концепций в этот период, но они сведены практически к позитивизму Огюста Конта. Проявившийся в

этот период интерес к социализму, захвативший и ряд видных американских писателей, не попадает в поле зрения автора.

Глава «Защитники идеального» Уилларда Торпа очень обоснованно и убедительно показывает несостоятельность литературной школы изысканной традиции. Этот анализ был бы еще убедительнее, если бы полнее выявились авторское понимание реализма, против которого ополчились Томас Бейли Олдрич и другие бостонские брамины.

Тори — автор и следующей главы «Возвращение пилигримов», в которой рассматривается одна из важнейших проблем развития американской литературы в конце века — отношение американских писателей к Европе и европейской культуре. Осуждая чванство американских путешественников по Европе, Торп достаточно аргументированно показывает неоднозначность восприятия европейской культуры демократически настроенными американскими писателями, неприятие феодальных пережитков и обычаев, сохранившихся во многих европейских странах, с одной стороны, а с другой — восхищение достижениями европейской культуры, характерное, правда, далеко не для всех побывавших в Европе американцев. Как крайности различного отношения к Европе приводятся «Простаки за границей» Марка Твена и Генри Джеймс с его апологией монархической Англии. В этой главе нет даже упоминания о Парижской Коммуне, хотя она нашла живейший отклик у передовых представителей американской литературы.

Две последующие главы посвящены литературе местного колорита. В главе «Жизнь и характеры» Карлос Бейкер рассматривает прежде всего литературу Новой Англии и южных штатов; Уоллес Стегнер главу «Документальная и художественная литература Запада» посвящает литературе Среднего и Дальнего Запада. Разрабатывая южную тему, Карлос Бейкер излагает интереснейшие данные о первых негритянских писателях, хотя довольно бесстрастно анализирует творчество поклонников рабовладельческих нравов. В главе Уоллеса Стегнера внимательно рассматривается тема простого человека в произведениях писателей Среднего Запада. Хотелось бы, однако, увидеть более глубокий анализ творчества Френсиса Брет Гарта, которое не может быть истолковано на уровне региональной или областнической литературы, так как оставило глубокий след в развитии американской прозы второй половины XIX века. Его вклад — это и собственные прекрасные произведения, и воздействие на становление многих других видных писателей, и прежде всего Марка Твена, несмотря на все их позднейшие расхождения.

В главе «Определение реализма: Уильям Дин Хоуэллс», подготовленной Гордоном Хейтом, основное внимание уделено становлению реализма в американской литературе 70—90-х годов. Интересно соображение автора о значении жизненного

опыта американских писателей для их творчества — он подчеркивает, что известные своей ученостью американские писатели Хоуэллс и Генри Джеймс и никогда не кичившийся эрудицией Марк Твен, как, впрочем, и Дефорест и Эгглстон, не имели традиционного высшего образования, но были людьми в высшей степени образованными благодаря обширному кругу чтения и путешествий.

Но с концепцией развития реализма в США, которую предлагает Хейт, согласиться нельзя. По его мнению, «реализм, каким он сложился в Америке 70—80-х годов, был в своих основных чертах связан с литературой по ту сторону Атлантики». Конечно, справедливость требует подчеркнуть важную роль европейских писателей и особенно русских мастеров в процессе формирования реалистического метода в Соединенных Штатах, но основные его факторы были связаны с развитием американского общества, с национальным литературным процессом в Соединенных Штатах и прежде всего с ростом осознания художниками иллюзорности американских буржуазных ценностей, пресловутой американской мечты, понимания социальных противоречий американского общества.

Из поля зрения Хейта выпадает и вклад в развитие реализма Марка Твена, который соединил реалистическое видение мира с коренной трансформацией изобразительных средств на основе традиций американского фольклора и юмора и наследия американских романтиков, который выработал реалистический литературный стиль, базирующийся на стихии американской народной речи. В известной степени Хейт наследует несколько отвлеченные и недостаточно жизненные представления о реализме У. Д. Хоуэллса, значение творчества которого завышено автором этой главы.

В написанной Стэнли Уильямсом главе «Эксперимент в поэзии: Сидни Лэнир и Эмили Дикинсон» содержатся обоснованные и довольно ценные соображения о развитии американского стиха в творчестве этих поэтов, хотя соединение Лэнира и Дикинсон не совсем оправданно, поскольку поэтическое наследие Эмили Дикинсон гораздо значительнее и по своей художественной ценности, и по своему воздействию на последующие традиции поэтического творчества в Америке. При всем том особенно неоправданно сопоставление Уитмена не только с Лэниром, но и с Дикинсон — воздействие Уитмена на американскую и на мировую поэзию несопоставимо с ролью любого другого американского поэта в развитии американской поэзии.

Заключаящая том глава «Марк Твен» Диксона Уэктера обстоятельно рассматривает творческий путь Твена, но, к сожалению, обходит молчанием вклад Твена в развитие реалистической американской прозы. Автор малообоснованно сопоставляет «Тома Сойера» с повестью Олдрича, о которой уже шла речь, тем самым несколько снижая значение замечательного романа

Твена. И совсем неоправданно он сводит значение Твена только к роли величайшего комического гения Америки. Здесь сказывается недооценка и реализма Твена, и недостатки общей концепции «Литературной истории Соединенных Штатов», где чрезвычайно скрупулезно разработанный социально-исторический фон и картина литературной жизни иногда вытесняют собственно литературоведческий анализ творчества крупнейших писателей.

Таким образом, собрав богатейший материал о многих социально-экономических и историко-культурных факторах развития литературы в США, рассмотрев в историческом ракурсе многие ранее выпадавшие из поля зрения историков литературы аспекты литературной жизни, авторы «Литературной истории Соединенных Штатов» существенно расширили наши представления об обстановке, в которой творили крупнейшие мастера американской литературы. В результате подобного подхода мало места оказалось уделено самим шедеврам американской литературы, но в этом и состоит замысел книги — как уже отмечалось в предисловии к первому тому настоящего издания, — авторы видят свою задачу не в том, чтобы писать историю литературы Соединенных Штатов.

Видный литературовед из ГДР Роберт Вейман усматривает в самом названии исследования «хорошо продуманную литературную программу: она стремится быть не более и не менее как *литературной историей Соединенных Штатов*, то есть историей литературы в ее взаимодействии с историей нации»<sup>1</sup>. К сожалению, этот замысел тоже не полностью выполнен и из-за буржуазно-либеральной ограниченности авторских представлений об истории Соединенных Штатов, и из-за недостаточного понимания значимости крупнейших американских художников слова. Именно поэтому Р. Вейман справедливо отмечает, что «Литературную историю Соединенных Штатов» нельзя рассматривать как цельный труд по истории литературы. Ее значение состоит лишь в стремлении (методологически весьма противоречиво реализованном) углубленно осознать литературу как составную часть литературного процесса»<sup>2</sup>.

В целом же второй том «Литературной истории Соединенных Штатов», выходящей на русском языке, несомненно является ценным материалом для всех, кто интересуется историей американской литературы. Книга позволяет по-новому осмыслить переломную эпоху в истории американской литературы, связанную с Гражданской войной, с победой в ней демократических сил, и глубже понять истоки демократических и революционных традиций в американской литературе.

Я. Н. Засурский

---

<sup>1</sup> Вейман Р. История литературы и мифология. М., «Прогресс», 1975, с. 176.

\* Там же, с. 179.

*...борьба,  
стремление  
к  
совершенству,  
успех*

V  
КРИЗИС



## 30. ДОМ РАСПАВШИЙСЯ И ВОССОЗДАННЫЙ

### 1

В 1850 году рядовой американец считал некоторые истины самоочевидными. Он почти машинально аплодировал, когда они изрекались с украшенных флагами трибун или слышались в гулких залах незаконченного пока еще федерального Капитолия. Он верил, что бог наделил человека определенными правами и достоинствами и дал ему для руководства моральный закон — то, что в 1854 году Эмерсон назвал «Конституцией Вселенной». Положенный в основу нашей Конституции, он превращает ее в документ почти такой же святости, как сама Библия, и дает нам, американцам, возможность иметь самую лучшую форму правления. По сути дела, все человечество следило за нашим экспериментом в области демократии, ожидая, пока он успешно завершится или провалится. Именно форма правления, а не наши запасы угля и железа и не необъятные поля пшеницы и хлопка сделала нас великой нацией. Свобода порождала самостоятельность и возможность развития. Свобода была больше, чем Равенство, ибо она включала его, давая каждому шанс подняться и стать вровень с любым другим.

Это был прекрасный символ веры, если скромность при этом ограждала американца от самодовольства, а искренность не подменялась пустой болтовней. Если же случалось, что поведение рядовых граждан противоречило этим правилам — когда они сталкивались, к примеру, с иммигрантами, прибывающими в эту землю обетованную, или с неграми, которые давно укоренились в стране свободных, — то это противоречие показывало, что человек, как и целая нация, может быть «распавшимся домом». В таких случаях, как бывало всегда, раздвоение личности означало напряженность, разочарование, несчастье.

Убежденность, что американской нации открыт свет высшей истины, позволяла некоторым гражданам свысока взирать на «старые, траченные молью системы Европы», как они виделись, молодому Уитмену с его наблюдательного поста в Бруклине. Гордость иллинойских демократов сенатор Стивен А. Дуглас говорил, что Европа в сравнении с Америкой просто «огромное кладбище». Наиболее громко, пожалуй, выражали эту самонадеянность коренники в колеснице материализма — громадный



коммерческий центр Нью-Йорк и новая столица прерий Чикаго. Умеренно богатая Филадельфия и тем более Бостон с его европеизированной культурой взирали на их чванливость с едва скрываемым презрением. Признавая национальный гений в предпринимательской и прикладной областях, здешние землевладельцы и ученые пальму первенства в искусствах и словесности отдавали тем не менее Старому Свету. Наслаждаясь беззаботным пребыванием в Европе в 1851—1852 годах, Джеймс Рассел Лоуэлл посчитал наши наклонности скорее римскими, нежели греческими. «Я не могу удержаться от мысли, что мы более других народов воплощаем древнеримскую силу и дух, — писал он своему другу Джону Холмсу. — Наша литература и искусство, так же как и у них, носят в определенной мере экзотический характер, зато наша одаренность в политике, праве и особенно в колонизации, наше инстинктивное стремление к накоплению и торговле — все это черты римские». Примирившись, как с *fait accompli*<sup>1</sup>, с доктриной высшего предначертания, с Мексиканской войной и захватом Калифорнии, Лоуэлл не мог не воздать должное экспансионизму великой Республики, подобному тому, который когда-то связал Европу, Северную Африку и Малую Азию в *Rex Romae*<sup>2</sup>. Некоторые американцы равно презирали культ вульгарного самодовольства и противоположную манию культурного низкопоклонства. Надменный брамин Френсис Паркмен раздраженно отзывался о коммерции, которая в 50-х годах создавала мощь Америки, сетовал, что не может найти «убежища от американского предпринимательства», и в то же время никак не желал пасть жертвой «преклонения перед Джоном Булем — этой самой опасной болезнью в бостонском свете и низах».

Лишь после начала Гражданской войны, когда французский император и двор королевы Виктории откровенно встали на защиту Юга, а Карл Маркс, Джон Брайт и текстильщики Манчестера и Лиона выступили в поддержку Союза, американцы стали яснее понимать, что существуют две Англии, две Европы — одна аристократическая, абсолютистская, другая пролетарская, либеральная. В 50-х годах разграничительные линии между ними уже наметились, но не были столь очевидны. Если состоятельные, праздные слои восточного побережья все больше проникались социальными условностями Лондона и изяществом Парижа, приходили в восхищение перед стариной и блестящей жизнью пэров, американцы в массе своей были склонны симпатизировать Кубе, томившейся под испанской пятой, и восторженно приветствовали Лайоша Кошута, символизировавшего восстание против Габсбургов, когда он в качестве официального гостя посетил в 1851 году наши берега. Сосредоточенное в ста-

---

<sup>1</sup> Свершившийся факт (*фр.*).

<sup>2</sup> Римская империя (*лат.*).

рых штатах меньшинство могло, пожалуй, разделять ностальгию бабки Лоуэлла, которая имела обыкновение Четвертого июля облачаться в траур и «громко оплакивала наше несчастное расхождение с Его Всемилоштивейшим Величеством», однако большинство американцев аплодировало революциям, которые совершались во имя Конституции, революциям наподобие той, в которой сражались их предки.

Отношение же к экономической революции было гораздо более сдержанное. Зачем что-то свергать, разрушать, уравнивать, если каждый надеялся рано или поздно стать собственником? Поэтому и появившийся в 50-х годах с приездом некоторых немецких иммигрантов марксистский социализм не получил особой поддержки. Более того, наличие радикальных настроений в среде новых иммигрантов в сочетании с предрассудками по отношению к ирландским католикам подогрело чувство превосходства над пришлыми. Из подозрительности и страха возникла партия «ничего-не-знающих», которая набрала такую силу, что в 1854 году победила на выборах в Массачусетсе и чуть не получила большинство в Нью-Йорке. Два или три года эта партия угрожала традиционным гражданским свободам в Америке. «Если партия «ничего-не-знающих» придет к власти, — писал в августе 1855 года Линкольн своему другу, — то Декларацию независимости будут читать так: все люди созданы равными, кроме негров, иностранцев и католиков. Если дойдет до этого, я предпочту эмигрировать куда-нибудь, где не притворяются, будто любят свободу». Линкольн дает понять, что «ничего-не-знающие» пытались соединить собственные расовые предрассудки с предрассудками рабовладельческого Юга. Эта попытка стоила им поддержки северных штатов, столь необходимой любой третьей партии для победы, и после этого движение распалось.

Тем временем умы дальновидных американцев были заняты тем, как добиться улучшения участи трудящихся, причем способами менее революционными, нежели те, что содержались в «Коммунистическом манифесте». Развитие фабричной системы в Новой Англии положило конец благотворительному патернализму, довольно распространенному в то время, когда в Фолл-Ривер только начинали подниматься хлопчатобумажные предприятия. На смену ему пришли толпы иммигрантов, ищущие работу, низкие из-за конкуренции заработки, потогонная система труда, быстрый рост доходов. Длительное замораживание низкого уровня жизни трудящихся классов подрывало староамериканскую доктрину широких возможностей. Линкольн выступал против теории «лежачего бревна», утверждающей будто «тот, кто стал наемным рабочим, обречен пожизненно пребывать в этом состоянии». Для того чтобы защитить свои права, американские трудящиеся начали объединяться, хотя результаты были незначительные вплоть до Гражданской войны, когда

нехватка мужчин позволила ставить более высокие требования при найме на работу. Сколько иронии заключено в том, что до самого начала войны наиболее резкими критиками северной потогонной системы выступали, как будет показано ниже, апологеты рабства.

Вообще же 50-е годы — это время расцвета разнообразных движений и программ, увлечения противоречивыми лозунгами, иногда устаревшими. Проект «брачной реформы», направленной на смягчение законов о разводе и определение прав сторон на собственность, и требование предоставить избирательные права женщинам, за которые ратовали Люси Стоун, Лукреция Мотт и Элизабет Кэди Стэнтон, снискали симпатии лишь у слабого пола. Характер возражений консерваторов-мужчин лучше всего можно проследить на типичном примере Паркмена. Преклоняясь перед средневековым за его религиозность и почитание рыцарственности, он язвительно замечал, однако, что благодаря американской вульгарности вера в Америке возрождается лишь как столотверчение, а идея рыцарского отношения к даме — в форме «женского равноправия, отчего избави нас боже». И все же феминизм имел горячую поддержку таких людей, как Джеймс Рассел Лоуэлл, муж поэтессы и умеренного реформатора Марии Уайт, и Генри Уорд Бичер, церковнослужитель и брат Гарриет Бичер Стоу. Выдвигая в журнале «Атлантик» в 1859 году идею совместного обучения, литератор и аболиционист Томас Уэнтворт Хиггинсон писал: «Женщина может быть либо подчиненным существом, либо равной — третьего не дано». Возникло движение за ограничение потребления спиртных напитков. В 1851 году в штате Мэн был принят первый сухой закон, и к 1855 году законы всех северных штатов, за исключением Нью-Джерси, предусматривали ту или иную форму ограничения спиртного, хотя механизм контроля и вмешательство судов часто оказывались недостаточными, и в течение следующего десятилетия эксперимент отошел на второй план. Пока же Уэнделл Филлипс и миссис Стоу призывали бойкотировать вино, подаваемое к столу в общественных местах. В 50-х годах участники «Армии холодной воды» занимались пропагандой воздержания по всей долине Миссисипи и даже совершали вылазки «в страну Дикси и виски». Как правило, южане относились высокомерно к подозрительным причудам янки и с немалым опасением — к самому мощному «изму» — аболиционизму.

## 2

В первые годы столетия на родине Джефферсона склонны были еще извиняться за существование рабства — этого неизбежного зла, которое непременно отомрет со временем. Но начиная примерно с 1830 года в связи с межпартийными схватками джексоновской эры и раздражением, которое вызывали на Юге

аболиционисты вроде Уэнделла Филлипса и Уильяма Ллойда Гаррисона, по мере того, как экономика южных штатов все более подпадала под власть Короля хлопка, а дань, собираемая им на мировых рынках, росла, на рабство все реже смотрели как на временное явление. Оказалось, что это «самобытное установление» Юга представляет собой непреходящее благо и оно подкреплено авторитетом истории — вспомним величие Древней Греции — и освящено мудростью господней, так как бог сотворил черных для того, чтобы служить белым господам. На Юге не оставали твердить, что Джефферсон превозносил сельское хозяйство, однако все чаще забывали его преданность идеям естественного права и общественного просвещения, его веру в человеческий прогресс. В то время как в Западной Европе и северных штатах — то есть областях, где невыгодно строить экономику на труде рабов, что не упускали случая подчеркнуть южане, — росла озабоченность положением черных, дух Дикси устремлялся в прошлое, находя безопасное прибежище в средневековой рыцарственности, расовых мифах и культурном изоляционизме. Прославляя свое англосаксонское первородство над смешанной кровью и неассимилированными иммигрантами Севера, утверждая свое происхождение от Кавалеров \*, а не пуритан, Юг все упорнее считал себя особой, неповторимой цивилизацией, а собственный образ жизни — истинно американским.

Другие, разумеется, придерживались противоположных взглядов на смысл истинного американизма и выдвигали весомые доводы. Однако южане словно бы затыкали уши, они пресекали распространение южнее линии Мэсон — Диксон антирабовладельческой литературы, как это случилось с книжкой Хинтона Р. Хелпера «Надвигающийся кризис» (1857), и в 50-х годах стали отзываться свою молодежь из Принстона, Гарварда, Йеля и других учебных заведений, направляя ее в «ортодоксальные» колледжи дома. Юг старательно отгораживался от всяких споров, дискуссий, разногласий, опасаясь измены со стороны белых и восстаний рабов. Верность нации у населения стала подменяться верностью штату, региону. Заколдованные собственной логикой, многие южане в 50-х годах стали требовать возрождения работоторговли и более того — распространения рабства на Тихий океан. Становилось ясно, что Юг с его аграрной системой хозяйства и неподвижным населением (из которого четыре миллиона черных не имело избирательного права) отстает в развитии от Севера, который набирал силы благодаря промышленности, иммиграции и продвижению на запад. Если не считать войну, оставалось только два способа укрепить позиции Юга. Первый заключался в том, чтобы предоставить права меньшинствам, другой — в установлении рабства на новых землях с тем, чтобы иметь перевес в голосах на землях новых штатов.

Таким образом, давняя распря из-за тарифов уступила место разногласию по вопросу о рабстве, которое неумолимо грозило

расколоть Союз по тридцать девятой параллели и реке Огайо. Древнейшая экономика в мире (монокультурное сельское хозяйство на базе труда рабов) столкнулась с новейшей (промышленный капитализм, основанный на системе наемного труда) в рамках одного демократического государства.

Компромисс 1850 года вызвал чувство всеобщего облегчения, похожее на то, что возникло после Мюнхена в 1938 году, и оно сохранялось достаточно долго, чтобы обеспечить избрание в Белый дом добродушных демократов — Франклина Пирса в 1852 году и Джеймса Бьюкенена в 1856 — эти «подлые президентства» привели в ярость разочаровавшегося в демократах Уолта Уитмена. Билль «Канзас — Небраска» 1854 года, которым конгресс предоставил населению этих территорий на Великих равнинах самому решать, быть ли этим новым штатам свободными или рабовладельческими («местный суверенитет»), выглядел как еще один шаг к умиротворению, хотя вскоре после его принятия благодаря бурному потоку переселенцев с Севера в Канзасе победили противники рабства. Само собой разумеется, решение по делу негра Дреда Скотта, распространявшее права рабовладельца на своего раба на территории свободных штатов, означало внушительную победу южан, захватившую даже августейший символ власти — Верховный суд. На следующий год Авраам Линкольн был выдвинут кандидатом в сенат от Иллинойса по списку новой республиканской партии — коалиции противников рабства, сбросивших тесные одежды вигизма и исполненных идеалистического рвения, которое, правда, умерялось участием нескольких ловких политиков. После серии дебатов со своим оппонентом Стивеном А. Дугласом, которые прошли в ряде городов Запада, Линкольн потерпел поражение при незначительном недоборе голосов. Хотя он не был избран, эти речи помогли Линкольну встать во главе новой партии.

Несмотря на компромиссы и политические победы южного блока, сила оппозиции неуклонно росла. В 1852 году был опубликован самый действенный во всей истории роман — «Хижина дяди Тома» миссис Бичер Стоу; в первый же год было распродано 300 000 экземпляров. К своему сожалению, Юг не нашел писателя, который мог бы служить его делу с такой же силой убежденности, которой обладал Север в лице миссис Стоу — а ведь у Севера был еще Лоуэлл и его «Записки Биглоу», аболитионистская поэзия Уитьера и гневные высказывания Эмерсона и Торо в конце 1859 года, когда прямо с виселицы Джон Браун ступил в сонм святых и в боевые марши недалекого будущего.

Война и в самом деле была неизбежна. Теперь уже стало очевидно, что партия и лидер, которые окажутся способными объединить Запад и Север — чего были не в силах достигнуть деятели прибрежных штатов, — выиграют следующие выборы, и тогда, как предсказывали горячие головы среди южан, неизбе-

жен раскол Союза штатов. Умеренный республиканец из Нью-Йорка Уильям Г. Сьюард обронил фразу о «неразрешимости конфликта». Она эхом отдалась по всей нации вместе с высказыванием другого умеренного, Авраама Линкольна, о распавшемся доме в его пророческом выступлении 1858 года, когда он сказал, что «наше правление не может долго оставаться полурабовладельческим и полусвободным». Ни тогда, ни после назначения и избрания его президентом в 1860 году (очевидно, без единого голоса со стороны Юга) Линкольн не предлагал насильственного освобождения черных в рабовладельческих штатах. Но на двух вещах новый президент и его партия стояли твердо. Рабство не должно распространяться дальше на Запад, ибо пионеры, по образному выражению Линкольна, заслуживали «чистую постель, без копошащихся там гадов». И Союз штатов должен быть сохранен. Из-за этого и разгорелась Гражданская война — после того как в качестве обещанной ответной меры на избрание Линкольна несколько штатов, начиная с Южной Каролины, зимой 1860/61 года отделились от Союза, а 12 апреля федеральные войска, посланные для спасения осажденного гарнизона форта Самтер, вызвали огонь береговых батарей Чарльстона.

3

Лидеры Севера и Юга, большинство писателей и ученых, масса рядовых граждан обеих сторон с особой силой чувствовали справедливость именно того дела, которое они защищали.

Южанин, отражая нападение из-за Потомака, сражался за свой дом и очаг, за право на свободу и самоуправление, за равное превосходство и против, как считалось на Юге, угрозы бунта, грабежей и убийств. Волнующие песни вроде «Мэриленд, мой Мэриленд», такие стихи, как «Юный Гиффен из Теннесси» доктора Френсиса Тикнора и «Ода на могиле солдата Конфедерации» Генри Тимрода, восхваляли дух самопожертвования, нередко подлинного героизма простых людей. Самый утонченный поэт на Юге Сидни Лэнир надел мундир и служил всю войну, а к концу ее был захвачен в плен и водворен в тюрьму. И все же в условиях этого смертельного кризиса духовная и художественная жизнь, казалось, совсем остановилась. «Сперва спасите свою страну, а потом становитесь проповедниками и учеными и , — говорил полковник Джеймс Чеснат некоторым студентам-богословам, добивавшимся освобождения от воинской повинности. — Когда отстоите страну, тогда будет предостаточно священников, студентов и ученых, чтобы облагораживать и украшать ее». Задолго до Аппоматокса многие лучшие библиотеки были растасканы и сожжены, большинство колледжей закрыто, те зародыши общественного образования, которые были на Юге, уничтожены. В пылу войны южные землевладельцы часто про-

возглашали идеалы не только аристократий, но и автократии. В Бостонской речи 1863 года Оливер Уэнделл Холмс «проехался» по недавней передовой из ричмондского «Игзэминер», где признавалось, что сражающаяся Конфедерация «сошла с ошибочного пути цивилизации века. Ибо лозунгу «Свобода, Равенство, Братство» мы намеренно противопоставили Рабство, Подчинение, Власть». По мере того как война затягивалась и множились поражения, появилось чувство разочарования и противоречия не только среди белых бедняков и обитателей горных деревень, но и в среде тех, кто не имел рабов (перепись 1860 года показала, что из восьми миллионов белых на Юге только четыреста тысяч были рабовладельцами). Начали поговаривать, что «богатые затеяли войну, а сражаться бедным». К последнему акту трагедии — сражению при Аппоматоксе — Юг уже истекал кровью, был расколот географически и духовно, хотя сохранял гордость и величие даже в падении.

По сравнению с речами Линкольна о целях войны и идеалах Союза высказывания Джефферсона Дэвиса кажутся раздражительными и односторонними. Несомненно, человек из Иллинойса был выразителем самых определенных взглядов и здравых суждений Севера, рупором идеалистов по всему земному шару. Люди меньшего масштаба поначалу часто не соглашались с Линкольном, но в конце концов вставали на его точку зрения. Моральный дух Севера в период войны — это, можно сказать, история растущего влияния Линкольна по мере того, как он сам добирался до сути вещей и просто, ясно выражал свои взгляды. Он не обращал внимания на неприязнь и действовал с помощью демократического механизма, терпеливо дожидаясь, пока созреет общественное мнение, искусно выбирая подходящий момент.

На ряде примеров можно было бы показать, что литераторы не оставались в стороне и подкрепляли своим искусством аргументы Линкольна. С самого начала войны Север был гораздо богаче литературой убеждения. Пацифизм, которым Новая Англия продемонстрировала свое неприятие Мексиканской войны, быстро уступил место священной кампании шестьдесят первого, как о том свидетельствуют высказывания Торо, Лоуэлла и даже квакера Уитьера. Под влиянием споров, предвещавших войну, журналисты и ученые покинули уютные кабинеты и приветствовали начало военных действий как значительный поворот к возрождению. И ветераны, подобные Эмерсону, и новые люди вроде Генри Адамса одинаково радовались этому испытанию силой. Типичной для умонастроения Новой Англии была вторая серия «Записок Биглоу» Лоуэлла, которые в эту тяжелую годину простым, обыденным слогом выражали любовь к родине и гордость за нее. То же самое можно сказать о новоанглийском Обществе патриотических публикаций, которым руководили

Чарльз Элиот Нортон и другие литераторы и ученые, поставившие целью формировать общественное мнение в пользу Союза, распространяя плакаты и другие средства пропаганды, рассчитанные на провинциальные газеты и обитателей прилегающих к Югу штатов. Подобная организация в Нью-Йорке под тем же названием распространяла тонны брошюр, критикующих пацифизм. Ее духовным вождем был Френсис Либер, который в 1856 году покинул чуждый ему Юг, занял должность профессора в Колумбийском университете и отдал свое перо прославлению органического единства Соединенных Штатов и мудрости их конституционной формы правления.

И в самом деле, единство нации, его значение в глазах всего человечества было первейшей заботой Линкольна и людей, работавших под его руководством. Сохранение Союза было главным доводом в пользу войны. Еще до того, как заговорила первая пушка, Линкольн именно так толковал борьбу. Направляясь на акт инаугурации, Линкольн выступил в филаделфийском Индепенденс-холл и апеллировал к Декларации независимости, которая «содержала обещание в соответствующее время снять!» с плеч всех людей всякое бремя и дать каждому равную возможность». Мировая демократия делала жизненно важную ставку на спасение Союза. Если внутренние распри погубят страну, говорил Линкольн конгрессу и народу на протяжении всей войны, то учение о народном самоуправлении будет дискредитировано навсегда. На нас с тревогой устремлены глаза всех наций и всех людей — и крепостных, и королей. Последняя и самая лучшая надежда земного шара висела на ниточке.

Разумеется, даже после Геттисбергской речи Линкольна находились инакомыслящие, смотревшие на войну не с той высокой точки зрения, какой она требовала. Некоторые юнионисты, как, например, большой друг Лонгфелло Чарльз Сэмнер, сводили войну к злобному местничеству, такому же узколобому, как и у многих южан. Другие же восторженно прославляли войну как таковую. Сожалея, что слабые глаза и нервы вынуждают его остаться дома, Паркмен рассылал в газеты письма, напоминая американцам, что «Рим достиг величия столетиями войн». Кое-кто руководствовался единственно чувством мести и совсем потерял голову, как, скажем, теннессикий пастор Браунлоу или ожесточенный пенсильванский конгрессмен Тэд Стивенс. Но более мудрые и умеренные граждане на Севере все чаще были склонны согласиться с Линкольном, что эта война не только за Союз штатов, но и за мировую демократию и что ее оправдание в ее гуманизме и духе милосердия.

Вторая цель войны, о которой было объявлено позднее и которая наиболее эффективно соединяла стремления Союза с надеждами мирового либерализма, состояла в освобождении рабов. Если бы в воссозданном среди крови и слез Союзе



сохранился такой анахронизм, как институт рабства, то были бы обмануты надежды тех, кто многим пожертвовал ради победы, и страна не завоевала бы симпатий мировой общественности. Одно время Линкольн склонялся к постепенному освобождению и выплате компенсации рабовладельцам, но в пламени и страстях войны эта мера оказалась несостоятельной. С каждым днем возможности компромисса уменьшались. «Настал час, — говорил Линкольн, — когда я понял, что рабство должно умереть, чтобы нация могла жить». 22 июля 1862 года Линкольн внес на рассмотрение кабинета свой проект Прокламации об освобождении и предложил в сентябре объявить о предстоящем акте. Ни на йоту не сбавляя усилий по спасению Союза, Линкольн понимал, что такое новое «вливание» идеализма наилучшим образом оживит либеральные настроения на Севере и за океаном. Пришел конец молчаливому приятию федеральной администрацией южных теорий о природном превосходстве белых над черными. (В том же 1863 году, когда была подписана Прокламация, общественный деятель-новатор, друг Эмерсона и Дарвина Чарльз Лоринг Брейс в книге «Расы Старого Света» дал научное опровержение теории раздельного происхождения рас.) Прокламация получила поистине мировой резонанс. Чарльзу Френсису Адамсу, американскому посланнику в Лондоне, пришлось долгое время сдерживать симпатии аристократических кругов к Конфедерации; теперь же он почувствовал, как сильно изменились настроения в пользу Линкольна и Севера. 26 марта 1863 года в Лондоне состоялся организованный Карлом Марксом для консолидации общественного мнения гигантский рабочий митинг, на котором выступил Джон Брайт. Молодой Генри Адамс, сын посланника, писал после посещения митинга: «Я не мог оценить силу морального влияния американской демократии и понять причины страха привилегированных классов Европы перед нами, пока собственными глазами не увидел ее в действии».

После Геттисберга и провала летнего наступления генерала Ли в 1863 году в Мэриленде и Пенсильвании, после падения мощного речного форта конфедератов у Викасбурга и беспощадного броска Шермана через Джорджию в 1864 году, разрезавшего Конфедерацию надвое, исход войны становился все более очевидным. Несмотря на попытки «медянок» умиротворить Юг и призывы радикалов применить карательные меры против них в ноябре 1864 года, в обстановке растущей любви миллионов к «отцу Аврааму», подавляющим большинством голосов Линкольн был переизбран президентом. Наступление северян продолжалось: Грант наносил тяжелейшие удары по армии Ли в Северной Виргинии. Уже за несколько месяцев до капитуляции Ли в Аппоматоксе победа Севера была предрешена. С чисто американской импульсивностью на Севере заранее праздновали

победу, повсюду распространялись мирные настроения — особенно в крупных городах побережья, где снова воцарялись процветание, излишества, эгоизм. Напрасно моралисты с газетных полос и церковных кафедр напоминали согражданам, что молодежь Севера еще сражается и умирает: пылкий дух причастности к святому делу начал угасать. Что до Юга, то почти фанатическая восторженность — традиция «твердокаменного» Джексона, которую всячески поддерживал Ли, — уступила на конец место мрачному отчаянию, которое после 9 апреля 1865 года, когда Ли капитулировал, вылилось в усталое равнодушие.

На Севере победа принесла всеобщее ликование и подъем патриотизма. 13 апреля Лоуэлл писал своему другу Чарльзу Элиоту Нортону, что при вести о победе ему одновременно хотелось и смеяться, и плакать, но «в конце концов возобладало чувство покоя и благоговейной благодарности. Есть что-то величественное в любви к родине. Почти то же самое испытываешь, когда любишь женщину. Может быть, не столь нежно, но столь же полно и самозабвенно». (Совсем иное, разумеется, чувствовал измученный Джонни Реб, который после сражения при Аппоматоксе отбросил ружье и, по преданию, сказал: «Будь я проклят, если еще раз полюблю какую-нибудь страну».) На другой день, после того как Лоуэлл написал эти слова, убийство Линкольна повергло массы американцев в такую глубокую печаль, какой они никогда не знали. Для Уитмена, барда этой трагедии, смерть Линкольна была катастрофой на сцене вечности, которая «завершила громадный акт в долгой драме творческой мысли, придав ей свет и яркость изображения, неведомый вымыслу».

#### 4

Память о Линкольне и полумиллионе погибших на Севере и Юге какое-то время жила как святыня. Проповеди, речи, стихи, устные сказания словно бы слились в едином мистическом благоговении перед жертвами самой жестокой в истории нации войны и гибелью величайшего американца столетия. Это чувство еще владело и Лоуэллом, когда летом 1865 года его попросили написать поминальную оду гарвардцам, погибшим в войне, среди которых были и три его любимых племянника. «Так пламенно захваченный замыслом, как не был лет десять», по его собственным словам, Лоуэлл прочитал это благородное стихотворение 21 июля и перед публикацией его в сентябре добавил самую знаменитую строфу, восхваляющую умершего вождя:

Рожденного на нашей новой почве — первого американца.

Восторженность Лоуэлла в этой оде, содержащей строки о «земле обетованной, где реки текут молоком и медом Свободы»,

через несколько лет сникла и в одном из стихотворений уступила место горькой насмешке над «страной обманутых обещаний». (Эти строки были сняты по настоянию друзей.) После войны снова распространился дух себялюбия, который пробудился уже в последние месяцы войны. Попытки президента Эндрю Джонсона выполнить обещание Линкольна — быть милосердным по отношению к поверженному Югу — натолкнулись на решительное сопротивление радикальных республиканцев, и сам Джонсон едва не потерял пост из-за предъявленных ему беспочвенных обвинений.

Одна цель была достигнута: Союз стал более прочным, но его властью стали злоупотреблять, когда на потерпевшие поражение штаты были надеты оковы военной администрации. Действия «саквояжников» и их антиподов — куклуксклановцев в конце 60-х годов добавили смуты и насилия. Медленно и болезненно поверженный Юг вступал на каменистый путь воссоединения с Союзом. Крайняя нищета как среди негров, так и среди белых, уничтожение средств производства, разруха рождали всепоглощающее чувство катастрофы. Говоря об экономических трудностях, большой чахоткой Сидни Лэнир, который как бы символизировал лишения, выпавшие на долю художника в те годы, однажды заметил: «Для нас, на Юге, почти вся жизнь заключалась в том, чтобы не умереть».

Другая цель — освобождение негров — тоже была достигнута, но расовая проблема осталась. Может быть, самым обнадеживающим знаменем того периода было рвение, с каким федеральное Бюро по делам освобожденных негров и филантропы с Севера принялись за просвещение негров. На протяжении короткого промежутка времени самым насущным и реальным послевоенным делом считалось всеобщее образование белых и черных. Некоторым наблюдателям казалось, что идеализм, который прежде вдохновлял аболиционистов, теперь нашел выход в массовом просвещении по всей стране. Через несколько месяцев после Аппоматокса кумир Юга генерал Ли занял пост президента Вашингтонского колледжа, расположенного среди предгорий Виргинии, так как считал, что образование — самая важная задача мирного времени в восстановлении разорванных нитей южного образа жизни и деловой предприимчивости. В 1867 году массачусетский банкир Джордж Пибоди пожертвовал 3,5 миллиона долларов на просвещение всех слоев населения Юга.

Над угасшим идеалом плантаторской аристократии с ее изящными манерами, но нелиберальным мировоззрением, с ее тонким, но стерильным гуманизмом постепенно брала верх философия успеха и культ бизнесмена. В первые же послевоенные годы, когда торговая необходимость восстанавливала мосты общения через линию Мэсон — Диксон, эта философия начала

проникать и на Юг. Но, конечно же, ее постоянным местожительством оставался Северо-Восток, громадные центры промышленного капитализма. Перепись 1870 года показала, что за десять лет богатство Севера, приходящееся на душу населения, удвоилось. Иные припоминали массачусетского адвоката-диссидента Лисандера Спунера, который утверждал, что война ведется за экономическое влияние, что северный капитализм намерен контролировать рынки Юга. Ирония состояла в том, что Четырнадцатая поправка к Конституции, предусматривающая необходимость «законного судебного разбирательства», в конечном счете больше помогала проповедникам евангелия преуспевания, нежели бедному негритянскому ребенку; благодаря словесным фокусам иногда казалось, что Линкольн жил и умер не ради того, чтобы негр стал личностью, но ради возвышения какой-нибудь гигантской корпорации. Хотя все по-прежнему клялись демократией, требование военного времени и послевоенное развитие техники породили корпоративную промышленность: железные дороги, заводы, огромные нефтяные и угледобывающие компании. Из-за потока демобилизованных и короткого, но острого периода депрессии в 1866—1867 годах заметно ослабили позиции рабочих организаций. На расширяющихся заводах Севера и Запада, где позарез нужны были рабочие руки, с распростертыми объятиями принимали иммигрантов, так что призрак «ничего-не-знающих» пока покоился в могиле. Однако другое направление предвоенного либерализма, требовавшее равноправия для женщин, развивалось неважно, хотя и добилось определенных завоеваний в области высшего образования. Несмотря на значительную помощь, которую они оказали во время войны в таких, в частности, группах, как санитарные комиссии, женщинам не удалось в качестве награды получить право голоса, и им пришлось дожидаться своего часа вплоть до окончания первой мировой войны.

В Америке незаметно изменился баланс сил. Традиционное соперничество между Новой Англией и Югом в области идей и культуры, в богатстве и политике кончилось. Поверженный Юг пришел в упадок. Однако и победоносная Новая Англия претерпела изменения — не столь заметные, но такие же реальные. Гражданская война оказалась не только священным опытом, как полагали идеалисты. Конец войны, судя по всему, положил предел росту престижа и творческих сил Новой Англии, ее простому образу жизни и возвышенным мыслям, ее страсти к реформам и литературному расцвету. Культура Новой Англии вступила в серебряный век, отныне она стала давать больше критиков и редакторов, нежели романистов и мыслителей, больше политиков, нежели государственных деятелей, больше хранителей унаследованных богатств, нежели искателей приключений и предпринимателей. Теперь, когда возникли новые потоки

торгового кровообращения нации по железным дорогам Восток — Запад, заменившие прежний проходящий водными путями круговорот Север—Юг, на одной чаше весов оказались Нью-Йорк, пенсильванский уголь и пенсильванское железо, а на другой — Чикаго, миннесотская пшеница и кукуруза в Небраске. Родился Великий Запад. Под руководством человека из Иллинойса он взял на себя такую львиную долю созидания, экипировки и снабжения огромной армии Союза, что казалось, будто именно Средний Запад выиграл войну. Во всяком случае, он стал открыто претендовать на первенство в основных отраслях производства, в торговле, политике и интеллектуальной жизни всей нации.

## 31. ПОД ЭГИДОЙ НАРОДА

### 1

Еще до начала Гражданской войны Средний Запад стал мощной силой — если не в качественном, то по крайней мере в количественном отношении — в совокупной жизни нации и созрел для миссионерской деятельности евангелистов от культуры с Востока, хотя многое порой их попросту обескураживало. В 1852 году Эмерсон высказал предположение, что среди 95 тысяч душ, населяющих Сент-Луис, найдется «едва ли один думающий или читающий человек», а в 1866 году в одном из городков Айовы он понял, что именно здесь «создается из сырья Америка, хотя она отнюдь не спешит на лекции и тянуть ее туда бессмысленно».

Это впечатление вполне, казалось, подтверждали газеты. Кливленд возмущался, что Эмерсон, этот «ходячий гроб», приехал учить Запад «закону успеха», а детройтская газета сообщала, что он «сбывает банальности из старых альманахов и словарей... и для вящего восторга туземцев, ставит трансцендентализм на ходули». В Квинси, штат Иллинойс, его называли «еще одним занудой», а в Блумингтоне приклеили кличку «Ралф Трудолдо Пузырьсон». И несмотря на это, каждый год он снова и снова отправлялся осенью в страну обетованную, быстро добираясь до самых отдаленных уголков, куда только протянулись новые железнодорожные ветки; подобно всякому профессиональному лектору, он понимал, что теперь аудиторию надо искать к западу от Гудзона. И каждый год слушателей так или иначе собиралось достаточно. Может быть, они рассчитывали, что на будущей неделе объявится с комическими стишками Джон Годфри Сакс, или Бэйард Тейлор продемонстрирует свое искусство и представит в Пеории Персию, или Джон В. Гоу нарисует образ пьяницы, ставшего трезвенником. Где-нибудь в Айове на этой неделе могли внимать Эмерсону, рассуждающему «О власти», на следующей — одетому в турецкий костюм и окруженному тремя дамами в гаремных одеждах «профессору» Осканьену, колоритно живописавшему «Семейную жизнь турков», однако показательно, что именно Эмерсону, а не «профессору» лекции служили основным источником дохода на протяжении 35 лет. Эмерсон объяснил это так: «В каждом

из этих растущих городов есть горстка приехавших сюда патриотов Новой Англии, которые почитают Лицей из-за любви к Мерримаку и Коннектикуту», однако это была лишь часть правды, причем не самая главная. Главное состояло в том — и Эмерсон это знал, — что рушилась культурная обособленность и превосходство старого Северо-Востока: весь Север от Бостона до Миссисипи, включая Балтимору, Питтсбург и Цинциннати на южной его границе, становился единым культурным целым.

Материальной основой этого знаменательного явления были железные дороги, протянувшиеся в 1850—1870 годах от Аллегана до долины Миссисипи, причем только до войны было уложено десять тысяч миль новых путей. Любой наблюдательный проводник мог, например, на маршруте Олбэни — Кливленд стать свидетелем символического зрелища. В вагонах можно было увидеть не только Эмерсона, но и Хорэса Грили, Джорджа Уильяма Кертиса, Анну Дикинсон, и у каждого были тексты лекций, только что прочитанные в Нью-Йорке или деревнях Новой Англии; труппу Дайона Бусико, везущую популярную «Девушку Воон» из Нью-Йорка в глубинку и не подозревавшую, что тем самым она революционизирует американский театр; первых разъездных представителей издательства Джеймса Р. Осгуда или Тикнора и Филдса со списками книг, выпускаемых осенью, для книготорговцев Детройта и Цинциннати (еще одно нововведение) и подписных агентов, демонстрирующих образцы роскошных изданий из Нью-Йорка и Хартфорда. В дороге многие пассажиры коротали время за чтением книг в мягких обложках, выпущенных специально для путешествующих по железной дороге, — «Двухнедельные выпуски для путешественников» Патнэма или «Доступную библиотеку» Эпплтона. В багажном отделении были уложены увесистые кипы субботних изданий «Нью-Йорк трибюн» Хорэса Грили, нью-йоркского «Леджер» Боннера или «Харперс уикли», перевозка которых, согласно указанию почтового ведомства от 1852 года, обходилась совсем недорого. В идущих следом товарных вагонах высились коробки с последней книгой Гарриет Бичер Стоу, специальный груз холмсовского «Самодержца», на титульном листе которого рядом с маркой бостонского издателя стоял импринт книготорговца из Цинциннати, большие ящики с романами Огасты Джейн Ивэнс, Мириэм Харрис и Мэри Джейн Холмс и, уж конечно, особый заказ «Гайаваты»: к середине 1856 года десятую часть всего тиража закупил некий чикагский комиссионер.

Пассажиры и грузы такого рода двигались с Востока на протяжении уже нескольких десятилетий, но они зависели от прихотливого течения рек и наводнений, от тяжелой поступи тягловых лошадей вдоль каналов, от утопающих в трясине дорог. Теперь же резко изменились количественный уровень, скорость и направление движения. Поскольку миграция с Се-

веро-Востока шла не на Юг, а на Запад, то и северо-восточные предметы культурного потребления текли в книжные лавки, лекционные залы, художественные галереи и театры Запада. Но еще важнее, чем количество или скорость, было то, что этим товарам не препятствовали ни культурные запреты, ни тарифные преграды, которые появлялись вдоль линии Мэсон — Диксон.

Что же произошло с Югом? Примерно до 1840 года он представлял собой основной рынок сбыта продукции нью-йоркских и филаделфийских книжных и журнальных издателей, чьи связи с книготорговцами в крупных южных городах свидетельствовали об известной культурной однородности Атлантического побережья. Даже в начале 50-х годов немногие издатели с Севера осмелились задевать чувства южан, дабы не потерять их, и оказывали давление на тех авторов, которые не учитывали предрассудки читателей. В 1845 году, например, филаделфийский издатель изъясил из томика Лонгфелло антирабовладельческие стихотворения, так как они могли испортить ему коммерцию на Юге. В 1851 году бостонский издатель предупредил популярную Грейс Гринвуд, что ее замечания о рабстве скажутся на распространении книги южнее линии Мэсон — Диксон, а это имеет «немаловажное значение для писателя, чья репутация позволяет рассчитывать на широкую продажу ее книг по всей стране». Однако сия литературная дама понимала в делах лучше своего издателя. Ничуть не заботясь о мнении южан, она рекомендовала ему проследить за распространением ее книг в городах Запада, где на них был постоянный спрос. В том же году другой бостонский издатель отверг «Хижину дяди Тома», так как опасался, что на книгу не будет спроса на Юге. Когда же его конкурент все-таки рискнул и издал книгу, на новом Севере в течение восьми недель разошлось сто тысяч экземпляров. Джеймс Т. Филдс в 1849 году не случайно вычеркнул самый влиятельный на Юге журнал «Сазерн литерэри мессенджер» из списка периодических изданий, куда отправлялись бесплатные экземпляры для рецензирования. Не случайно и Д. П. Патнэм не обращал внимания на прямые угрозы читателей-южан в адрес его «Мансли»: только в Огайо расходилось больше экземпляров этого журнала, чем на всем Юге. Тот факт, что бурное развитие общедоступных лекций после 1850 года происходило почти исключительно на Севере, тоже заставлял сделать вывод: Юг как литературный рынок утратил влияние. Его покупательная (а следовательно, и культурная) способность уменьшалась по мере того, как ослабевал заслон против проникновения идей с Севера.

Северо-Запад приходилось не только брать в расчет — к 50-м годам его культурное, экономическое и политическое влияние становилось решающим. Склонный, как и Северо-Восток, строить свою экономику на трех китах: сельском хозяйстве,



торговле и промышленности, он отнюдь не воздвигал барьеры на пути культурной экспансии с побережья. Преданный, как и Северо-Восток, идеалу всеобщего, бесплатного и в конечном счете обязательного образования, он обеспечивал постоянный прирост общенационального процента взрослого грамотного населения. Связанный железными дорогами с Нью-Йорком, Бостоном и Филадельфией — этими центрами культурного производства и меккой для талантливых людей со всей страны, Средний Запад стал составной и влиятельной частью той мощной цивилизации, обозначаемой понятием «Север», которой предстояло господствовать над всей нацией.

Доступность западного рынка для издателей основывалась не только на железных дорогах, но и на росте городов. Конечно, почта доставляла газеты и журналы на самые отдаленные фермы, однако главным источником сбыта издательской продукции оставались книжные лавки, которые могли процветать только в значительных городах. И если теперь книготорговцы в Цинциннати, Буффало и Кливленде обслуживали растущие агломерации городов, благодаря которым только и могли существовать книжные магазины, то они лишь пожинали плоды экономического явления, характерного для промышленного Северо-Востока уже несколько десятилетий. В штатах Новой Англии население деревень стекалось в Лоренс и Потакет, в Фолл-Ривер и Хартфорд, население штата Нью-Йорк — в Олбэни и Трою, в Скенектади и Эльмиру, пенсильванцы — в Гаррисберг, Рединг и Аллентаун. Имея такие географически сконцентрированные рынки, нью-йоркские, бостонские и филадельфийские издатели добились господствующего положения в книжном деле, которое сохранили и до сих пор.

Особое значение, несоизмерное с масштабом издательского дела, имел для литераторов Бостон. В 50-х годах в Нью-Йорке насчитывалось 107 издателей — вдвое больше, чем в Бостоне или Филадельфии, однако крупнейшие издательства и самые солидные журналы — «Харперс мансли» и «Харперс уйкли» — специализировались главным образом на английской литературе и нехудожественных сочинениях. Когда в середине 50-х годов прекратила существование наиболее «литературная» фирма Д. П. Патнэма и перестал издаваться «Патнемс мэгэзин», лучший литературный журнал своего времени, у Бостона не осталось сколько-нибудь значительных конкурентов в издании американской беллетристики. По общему признанию, самая лучшая печать, особенно поэтических книг, и лучшая вычитка корректур осуществлялась в Кембридже университетской типографией, а самые лучшие переплеты изготовлялись в Бостоне фирмой Бенджамина Брэдли. Тикнор и Филдс привечали поэтов и эссеистов, Джон П. Джуитт — популярных романистов, «Литтл, Браун энд компэни» специализировалась на истории, фирма Джеймса Манро — на философских сочине-

ниях, а «Филлиппс, Сэмпсон энд компэни» было издательством универсальным.

Улучшающееся железнодорожное сообщение с Западом через Олбэни и предприимчивость молодого поколения издателей (так, Джуитт, выпускавший книги Гарриет Б. Стоу, имел филиал в Кливленде) компенсировали неудобство географического положения Бостона. К тому же бостонские издатели могли рассчитывать на местную публику, которая давно привыкла покупать и читать книги, а поэты были даже убеждены, что стихи в Новой Англии расходились как нигде. Больше того, в глазах новоанглийской публики писатель обладал таким престижем, какого он не имел в других частях страны. Поэтому приехавшим сюда с соответствующими рекомендациями авторам был обеспечен сердечный прием и литературное общество в десятках частных домов, книжных лавках и редакциях как в самом Бостоне, так и вокруг него. Когда в 1857 году, через два месяца после того, как прекратил свое существование «Патнэмс мэгэзин», был основан «Атлантик мансли», успех его был предопределен — и не только потому, что здесь было достаточно литературных сил, чтобы заполнить его страницы (в этом одна из причин того, что журнал слыл «провинциальным»), но и потому, что за ним стояли деньги и влияние издателей, которые привыкли иметь дело с литературным материалом и творческими личностями. Эти обстоятельства имеют прямое отношение к ренессансу 50-х годов.

## 2

Как ни важны материальные факторы в росте могущества нового Севера, именно просвещение было той социальной основой, на которой этот регион строил культуру, качественно отличавшуюся от патрицианской культуры, преобладавшей в старых городах и на Юге. Если считать срок формального обучения показателем потребления печатной продукции, то ускоряющийся рост простой грамотности сам по себе имел определенное значение для литературного мира. Между 1850 и 1870 годами население страны увеличилось примерно на 68 процентов, тогда как посещаемость начальных школ почти удвоилась и достигла шести миллионов с четвертью. Конечно, ни методы обучения, ни наглядные пособия, ни преподавательский состав не поспевали за этим ростом, однако первейшей просветительской цели — научить хорошо читать — добивались более последовательно, чем сейчас. Несмотря на то что и в некоторых южных штатах делались смелые попытки преодолеть крайне неблагоприятные обстоятельства, подавляющее большинство будущих читателей получало образование на Севере. Неграмотность среди белых на Атлантическом побережье Юга была в пять раз выше, чем в Новой Англии, а в сравнительно

молодых центральных южных штатах — в три раза выше, чем на Среднем Западе.

Еще более ускоренными темпами в этот период шло и на Севере, и на Юге обучение предположительно более подготовленного слоя читателей, так как количество принятых в Академии (школы-интернаты), гуманитарные колледжи и другие частные учебные заведения выросло втрое и достигло почти миллиона. Академии, которым впервые в истории приходилось выдерживать серьезную конкуренцию со стороны общественных средних школ, располагали в 1850 году гораздо большим влиянием на литературный рынок, нежели колледжи, куда было принято всего лишь 27 тысяч учащихся. Количество же принятых в Академии было в десять раз больше; кроме того, в них принимали девушек, чего большинством колледжей на Севере пока не делало, практиковалось и чтение «современных» курсов, все еще вызывавших подозрение в большинстве колледжей. Как и общественные средние школы (в эти годы в крупных городах их было учреждено около шестидесяти пяти и только четыре из них — на Юге), в Академиях старались дать по возможности законченное образование, а не подготовительный курс обучения. Поскольку на Юге с его сравнительно небольшим белым населением было сосредоточено 40% частных школ страны (только в Академиях Кентукки обучалось вдвое больше учащихся, чем в Индиане), то не удивительно, что северные издатели сетовали на прохладное отношение читателей-южан.

Некоторые колледжи — общее число учащихся, принятых в колледжи накануне Гражданской войны, составляло всего 56 тысяч — делали все возможное, чтобы усовершенствовать традиционные классические курсы обучения. В преподавании точных наук, современных языков и новейших социальных наук происходили некоторые сдвиги, однако еще пользовались влиянием устарелые догматические взгляды, и высшему образованию предстояло пройти через коренную ломку, которая осуществится лет через десять после Гражданской войны под руководством новых молодых, получивших подготовку в Германии президентов. Именно потому, что колледжи с устоявшимися репутациями, придерживающиеся академических программ в изучении того, что Веблен назвал «ненужным мусором», слишком медленно отзывались на растущие нужды промышленности и сельского хозяйства, в рассматриваемый период стали возникать технологические училища — то как самостоятельные учебные заведения, то как ответвления имевшихся колледжей. В 60-х годах было основано двадцать два училища, и большинство из них, как и университеты штатов, получали федеральную поддержку согласно закону Моррилла (1862), который преследовал цель «донести преимущества образования до тех, кто занят физическим трудом». Хотя перед войной Юг послал в колледжи большой процент белого насе-

ления, чем Север, война серьезно задержала развитие технического образования в этом районе. Как бы то ни было, высшее и «полезное» образование для многих, так же как грамотность для масс — эта идея была типично северной, и она постепенно подрывала старую традицию исключительно классической и британской культуры для немногих.

Как ни парадоксально, растущее материальное благополучие было главным фактором в просвещении самого мощного слоя читателей в стране, а именно женщин. Хотя лишь немногие считали необходимым давать женщине образование выше принятого элементарного уровня, все же что-то нужно было делать с девицами, которые уже достигли того возраста, когда можно работать, но которым не приходится заниматься нудным домашним трудом. Женская Академия была, очевидно, наилучшим решением этой проблемы. Сравнительные данные о количестве обучавшихся в средней школе в 60-е годы и ранее отсутствуют, но в 1870 году более половины учащихся в Академиях составляли девушки. Что до женских колледжей, то тут факты поразительны: в 1870 году количество девушек, поступивших в колледжи Северо-Востока — а они считались лучшими в стране, — было совершенно незначительно, тогда как на Юге, где находились сорок два женских колледжа из пятидесяти шести основанных в эти годы, почти столько женщин получало высшее образование, сколько и мужчин. Если не считать нормальные школы, технические и профессиональные учебные планы были предназначены для юношей, и это имело немаловажные последствия для литературного рынка: образование ради духовного обогащения в отличие от образования как средства к жизни было монополизировано женщинами. Никто не знает, какой процент читателей поэзии, прозы и эссе составляли женщины, но существует немало свидетельств тому, что к середине века большинство потребителей художественной литературы были женщины высшего и среднего классов. Молодая женская читательская аудитория той поры определенно повлияла на ход литературной истории независимо от того, состояла она — согласно Хоуэллсу — из «ярких впечатлительных натур, каковые столь же умны и восхитительны, сколь и целомудренны», или была — согласно Бойсену — подобна «железной мадонне, которая душит в своих нежных объятиях американского романиста».

Самым характерным из неформальных видов образования тех лет были так называемые «общедоступные лекции», которые не следует смешивать с типичной лицейской лекцией, хотя они и выросли в сфере лицеев. Человек, обладавший культурным богатством, в 50-х годах уже не делился им с менее удачливыми соседями в местном отделении лицея, а продавал его критически настроенным незнакомцам, которые ожидали, что их расходы «на культуру» окупятся сполна. Ассоциации

молодежи и Библиотечные общества, которые пришли на смену лицам (особенно на Западе), теперь уже платили гонорар от 50 до 100 долларов именитым людям, чья репутация зиждилась отнюдь не на чтении лекций, и спрос на них зависел от умения «интересно» рассказать о путешествиях за границей или порассуждать на социальные и этические темы. Это испытание на популярность вовсе не вело к развращению общественных нравов. Эмерсон, который шел только на самые необходимые компромиссы с аудиторией, зарабатывал не менее 2000 долларов за лекционный «сезон». Бэйард Тейлор, успешно выступавший с лекциями о зарубежных поездках, часто зарабатывал 5000 долларов, а такие притягательные личности, как Генри Уорд Бичер, Анна Дикинсон и Джон Б. Гоу, даже больше. Хотя высокое вознаграждение вводило лекторов в соблазн, надо сказать, что публика не терпела шарлатанства. Автор бестселлеров и позднее редактор журнала «Скрибнерс» доктор Холлэнд заявлял, что «он не приемлет тех, кто слишком откровенно стремится заработать», и считал, что общедоступные лекции в лучших своих образцах были хорошим защитником свободы и оплотом против фанатизма в политике и религии. Начиная примерно с 40-х годов и до 1865 года публичные лекции были средством выражения общественного мнения и, как таковые, способствовали борьбе с предрассудками и — подобно радио в наши дни — сплочению нации. Конец войны вызвал быстрое, хотя и недолговременное снижение социальной и интеллектуальной активности, в результате чего пришел в упадок институт публичной лекции. Под вдохновенным руководством таких Гениев публицити, как Джеймс Редпат и Дж. Б. Понд, коммерческие лекционные бюро быстро превратились в «развлекательный бизнес», так что к 1870 году лекторская трибуна предоставлялась лишь для демонстрации модных знаменитостей, «чтений» новейших или старейших литературных кумиров и того, что Бэйард Тейлор с горечью называл «неумственными забавами». Меньше чем за сорок лет большое культурное начинание пережило самое себя. Вследствие этого серьезная публика обратилась за просвещением и наставлением к движению Чаутауква.

### 3

Журналистика еще легче приспособилась к социальным переменам. По мере того как торговля и промышленность вторгались в старую медлительную аграрную культуру, темп американской жизни все ускорялся. Массы грамотного населения, получившие образование в школах, тянулись к печатному слову, рассчитанному не на века, а на сегодняшний день, на эту неделю, на будущий месяц. Вот почему именно периодические издания приучали писателей писать, а читателей читать.

Не только грамотность, но и технические новшества и улучшающиеся методы сбора новостей позволили более чем втрое увеличить тираж ежедневных газет, хотя, разумеется, значительная часть из двух с половиной миллионов экземпляров объясняется интересом к новостям с театра военных действий.

Самой значительной из газет с точки зрения северной культуры была «Нью-Йорк трибюн» Хорэса Грили. Свыше половины ее огромного субботнего выпуска расходилось за пределами города, и, как утверждал Бэйард Тейлор, популярностью на Среднем Западе она уступала только Библии. Газета несла в провинцию обзоры книг и лекций, написанные Джорджем Рипли (а он был весьма расположен к таким общественным радикалам, как Эмерсон), путевые заметки Тейлора, Кертиса и Клеменса и наиболее доступные стихи нью-йоркских поэтов. Но даже Грили не удавалось противостоять десяткам дешевых журнальчиков и «воскресных газет», которые в середине века буквально захлестнули страну. Один историк нашей периодики хорошо, сказал, что убывающая кривая неграмотности могла сравниться лишь с возрастающей кривой популярности еженедельников: в 1870 году 4295 таких изданий имели общий тираж десять с половиной миллионов, то есть на двух-трех взрослых в стране приходилось по экземпляру. Многие из них, конечно, представляли собой жалкие религиозные и сельскохозяйственные листки с крохотным тиражом, но некоторые, выпускавшиеся в Нью-Йорке, читались в самых заброшенных хижинах. Среди тех, чей тираж превышал 100 тысяч, можно назвать «Нью-Йорк уикли» — его выпуски заложили основу династии дешевого романа Стрита и Смита; несколько более респектабельный нью-йоркский «Санди меркюри», который специализировался на исторических повествованиях Дж. Х. Ингрэма, приключенческих романах, «Неда Бантлайна» и на юмористике Уорда, Биллингса и Керра, а также нью-йоркский «Леджер», который обогнал всех и в 1860 году имел тираж 400 тысяч. Владелец «Леджер» Роберт Боннер был, как и Барнем, истинным мастером в новорожденном искусстве паблисити. Наверное, забавно было наблюдать, как, используя золотую приманку и обладая железной хваткой, он тянул таких знаменитостей, как Генри Уорд Бичер, Эдвард Эверетт и Лонгфелло, в те области, где господствовали Фанни Ферн (Сара Пейсон Уиллис Мартон), миссис Эмма Д. Э. Н. Саутуорт и Сильванес Кобб-младший, создавая тем самым неожиданные культурные видообразования.

С журналом Боннера успешно соперничали только иллюстрированные еженедельники вроде «Фрэнк Леслис иллюстрейтед» и «Харперс уикли». Как и иллюстрированный «Харперс мансли», они были менее важны для писателей, чем еженедельники типа «Леджер», так как печатали мало американской прозы. Тем не менее редакционная политика Боннера и братьев Харпер оказывала значительное влияние на литературу. До воз-

никновения «Харперс мансли» (1850) редкий отечественный роман печатался с продолжением в нескольких номерах. В том году был опубликован таким образом очередной роман Купера, однако это было, пожалуй, единственное исключение. Но уже к 1870 году почти все признанные романисты до выпуска книги продавали свои произведения в журналы и шли на необходимые компромиссы — будь то деление на главы, расположение событий, сюжет и стиль или уступки этическим и социальным пред-рассудкам. Затевая нововведение, Харперы стремились только к тому, чтобы обойти конкурентов, перепечатывая иностранные романы, как только они начинали публиковаться в зарубежных журналах, но очень скоро они поняли, какая магическая сила заключена во фразе: «Продолжение следует». Когда и другие журналы — например, «Леджер» (1850) или «Атлантик» (1857) — начали печатать американские романы из номера в номер, у писателей появился еще один заманчивый источник дохода, ибо теперь он мог получать гонорар два-три раза, если ему удавалось добиться одновременной публикации произведения в английском журнале, и четыре, если заинтересовать и британского книжного издателя.

Почти такое же значение имели и другие новшества в журна-лах. Редакторы стали практиковать иллюстрирование худо-жественных произведений, что так повлияло впоследствии на творчество романистов типа Хоуэллса и Джеймса; они повысили гонорары за журнальные произведения, и это не только помогло еще больше стабилизировать профессию литератора, но и сде-лало Нью-Йорк центром журнального производства; они доби-лись юридической охраны прав своих журналов и тем самым положили конец массовому плагиату, который в 40-х годах не позволял По и Лонгфелло вкушать плоды своей популярности; они помогли покончить с обычаем печатать материалы без име-ни автора, что, естественно, наносило ущерб писателю, и, након-ец, самое важное: обращаясь к общенациональной аудитории, новые журналы нанесли поражение узкому местничеству, кото-рое подрывало авторитет даже таких выдающихся соперников, как «Патнэмс» и «Атлантик мансли». Влияние этих доступных периодических изданий на литературное творчество было весьма значительно. Как ни оправданно язвительное замечание Эмер-сона, что уровень «воды и умственных способностей спал», столь же справедливо, что вкусы и потребности читателей повы-сились.

#### 4

В книгоиздательском деле действовали те же в конечном счете факторы. Открытие железнодорожного сообщения на Среднем Западе, широкая кампания за ликвидацию неграмот-ности по всей стране, потребность читать, которую выработали

лекции, газеты, журналы, — все это способствовало повышению продажи книг на всех уровнях. Много сделали для процветания издателей школы — они не только закупали учебники и книжки для детей, которые составляли главную часть многих издательских планов, но помогали формировать окружные школьные библиотеки, чей фонд увеличился с двух с половиной миллионов до трех с половиной. К середине века эти библиотеки играли уже такую роль на литературном рынке, что типовой авторский контракт у Харпера включал специальную статью, касающуюся изданий для школ.

Зримо способствовало развитию книжного дела распространение религиозного образования: церкви и школьные библиотеки в 1850 году владели шестьюстами тысячами томов, а в 1870 году их количество достигло почти десяти миллионов. Традиционный союз между церковью и литературной культурой, который был неизбежен в колониальный период и на первом этапе национальной государственности, так как именно сочинения церковнослужителей составляли большую часть печатной продукции, — этот союз вплоть до начала Гражданской войны поддерживался тесными связями между издателями и теми или иными вероисповедальными группами — братья Харпер сотрудничали с методистами, Эпплтон — с епископальной церковью, Тикнор — с баптистами, Манро и Френсис — с унитариями. Церкви не только стимулировали потребность в книгах, но в известной мере и удовлетворяли ее, немало публикуя за свой счет. Писатели горько жаловались, что Американский союз воскресных школ, Пресвитерианское общество, Компания методистской книги и другие подобные организации, которые все субсидировались из благотворительных фондов, издают и распространяют художественные произведения религиозной направленности, выступая конкурентами обычным издательствам и неохотно выплачивая вознаграждение авторам.

Рост книготорговли завершил процесс превращения литературы в ходкий товар. Расширение литературного рынка побуждало печатников закупать современное дорогостоящее оборудование, а издателей состязаться в ставках гонораров, количестве разъездных агентов, размахе рекламы. Рост накладных расходов требовал широкого сбыта, так что издатели были не в состоянии рассчитывать на немногочисленную верхушку, которая раскупала тысячу экземпляров «серьезной» книги. Дж. У. Керрис в 1854 году писал издателем, у которых он состоял консультантом: «В наши дни книга вряд ли может что-нибудь значить, если она не разошлась тиражом хотя бы в 5000 экземпляров».

Для тех, кто был готов сообразовываться со вкусами пяти тысяч, авторское вознаграждение постоянно повышалось. На смену почти повсеместной выплате 10 процентов с проданного экземпляра и (или) «авторскому риску» 40-х годов в начале



50-х пришли 15 процентов, иногда 20, а то и все 25, если автор платил за печатные формы. На период между 1850 годом и биржевой паникой 1857 года пришелся пик доходов писателей, так и не превзойденный на протяжении всего XIX века: перед паникой предлагавшиеся авторские отчисления достигли  $33\frac{1}{3}$  процента. Во время 60-х годов наблюдалось снижение до обычных 10 или 15 процентов, и этот уровень гонорара оставался, в общем, неизменным до 90-х годов. Особенно пострадали писатели во время Гражданской войны, потому что спроса на новые произведения — если они непосредственно не касались войны — не было, а удвоение стоимости жизни где-то около 1864 года поставило многих в трудное положение. Правда, розничная цена на книги тоже удвоилась, и, поскольку дефляция не привела к падению этой цены до прежнего уровня, писатели в конечном счете оказались в выигрыше.

Постоянно совершенствовались и методы книгоиздательского дела. К 1850 году прежняя так называемая бартерная система, при которой на издаваемой книге ставился торговый знак заказчика из другого города, уступила место публикациям для всего национального рынка. Благодаря щедрым скидкам, которые издатели устанавливали в зависимости от ходкости того или иного названия, книготорговцы получили возможность развезти наличные запасы по разным местам. Реклама в газетах и журналах, расходящихся по всей стране (даже издатели браминов Тикнор и Филдс не пренебрегали страницами многотиражного еженедельника «Лесли»), новые способы продвижения книги к покупателю подорвали влияние могущественных группировок местных рецензентов, которые причиняли такой ущерб авторам во времена Эдгара По. Варьируя форматы и цены в зависимости от покупательной способности различных групп, издатели научились гораздо лучше использовать потенциальные возможности читательского рынка. Труднее было охватить читателей в сельских районах, но тут в известной степени помогали издания по подписке. Так «Эмерикэн паблшинг компэни» в Хартфорде и «Скрибнер» в Нью-Йорке выпускали преимущественно биографии, исторические сочинения и путевые заметки, и вместе с тем в 1870 году Гарриет Бичер Стоу отважно взвешивала возможность отправки на Юг торговых агентов с иллюстрированным изданием «Жизни дяди Тома». Она писала своему издателю: «В южных штатах книги должны продавать торговые агенты, если мы хотим чего-то добиться... Деньги есть у многих, даже в семьях цветных, и привлекательная книга вызовет всеобщий интерес». Пример миссис Стоу наглядно иллюстрирует сравнительно новое явление: возникновение тесных доверительных отношений между автором и издателем. Патнэм, Скрибнер, Тикнор, Филдс и многие другие пользовались доверием таких писателей, как Эмерсон, который назвал издателя «нашим общим попечителем».

Одна из обязанностей, которые появились у дружественно настроенного издателя, состояла в том, чтобы организовать одновременную публикацию книг своих авторов в Англии. И писатель, и издатель тщательно штудировали британское авторское право, так что, несмотря на неблагоприятные решения, выносимые палатой лордов в начале 50-х годов, практические литераторы вроде миссис Стоу заключали с английскими издателями гораздо более выгодные сделки, чем в свое время Ирвинг, Купер, Прескотт и Мелвилл. Чтобы американец получил право возбуждать дело в английском суде, он должен был хотя бы на несколько дней избрать местожительством Канаду, и этим широко пользовались, однако нередко можно было обойти юридические рогатки путем тщательных предварительных переговоров с надежной зарубежной компанией. Отношения с Канадой в издательской области были отличные, хотя в следующие десятилетия они ослабли. Канадский закон 1848 года ликвидировал все пошлины на ввоз американских книг, а закон 1850 года разрешил даже ввоз американских переизданий книг, охраняемых британским авторским правом при условии выплаты на границе отчислений в пользу английского автора в размере  $12\frac{1}{2}$  процента. В 1852 году один из корреспондентов писал, что дешевые американские книги почти свели на нет канадско-английскую книжную торговлю и покупательным центром всего доминиона вместо Лондона стал Нью-Йорк.

В самой Америке в середине века острая конкурентная борьба за скорейшее издание английских книг создала частичное противоядие — систему джентльменских соглашений, согласно которой с издателем, который купил и объявил зарубежное произведение, не вступали в соперничество. Такая договоренность подняла цену американского издания зарубежной книги, создала лучшие условия для сбыта отечественной книжной продукции. Как бы то ни было, примерно к 1860 году доход многих американских писателей, извлекаемый из продажи их книг на внутреннем рынке, был таков, какой не получали даже авторы с утвердившейся репутацией — Ирвинг, Купер, Уиллис и другие в первой половине века. Сочинительство из побочного занятия превратилось в профессию, способную обеспечить respectable существование представителя средних классов.

## 5

Благодаря объединенному действию сил просвещения и бизнеса тяга населения к литературе превратилась в экономический факт и литературное творчество неминуемо стало испытывать влияние читателей и издателей. Опираясь на понятия прямой логики, можно прийти к заключению, что такое влияние было губительно для чисто творческих идеалов

и что успех Т. С. Артура, Сильванеса Кобба, Сьюзен Уорнер и Джоша Биллингса в годы упадка творчества Мелвилла, Готорна и Джорджа Генри Бокера был не случаен. Здравый смысл мог бы подсказать, что в результате распространения грамотности возникла новая категория читателей, не ущемлявшая существующие. Между логикой и здравым смыслом и лежит истинный факт: даже лучшие из старшего поколения писателей признали в новой категории читателей значительную культурную силу и стремились приспособиться к ней, не поступаясь творческими принципами. Неискушенные читатели были безразличны к репутации писателя или лектора, которая утвердилась где-то, пусть в крупном городе — они ожидали, что интересного он имеет сказать «не литературной», «не интеллектуальной», но образованной публике. Необходимые условия для завоевания аудитории были тогда те же, что всегда и везде: простота, конкретность, легкость изложения, красноречие, свежесть взгляда и заметная — если не замечательная — индивидуальность стиля. Если к этому добавлялись воображение, выразительность и беспощадная правдивость, то тем лучше, ибо публика требовала лишь, чтобы писатель умел установить контакт с нею и был интересен.

Обоснованность таких требований понимал Эмерсон, который жил лекциями не для крохотной группы трансценденталистов в Бостоне, а для публики, которая обитала на большом пространстве, раскинувшемся от Бангора в штате Мэн до Давенпорта в Айове. Когда в 1853 году Торо заметил, что всякая лекция, которая пришлась по вкусу публике, непременно должна быть плоха, Эмерсон запротестовал. «Я мечтал бы написать что-нибудь такое, что прочли бы все — вроде «Робинзона Крузо», — сказал он. — Написав статью или книгу, я с огорчением обнаруживаю, что ей не хватает основательности, верного материалистического подхода, который всех восхищает». Мелвилл тоже признал эти требования, когда добивался лучших условий у издателя «Пьера»: «беспорная новизна» романа при том, что он «представляет собой обычную романтическую историю с загадочным сюжетом и всем тем, что составляет новую и возвышенную сторону американской жизни и будоражит страсти», — все это, указывал он, обеспечит книге популярность. То же было и с «Редберном» — «простым, незамысловатым повествованием, основанным на личном опыте... никакой метафизики... ничего, кроме веселых приключений».

Более молодые и менее даровитые писатели тех лет отличались тем, что не в пример Эмерсону и Мелвиллу, стремившимся соотносить свой талант с потребностями читателей, пытались примирить непримиримое: они «выдавали» коммерческую продукцию, к которой сами относились с презрением, а на заработанные деньги публиковали свое не приносящее дохода «настоящее искусство». Бэйрд Тейлор чувствовал унижение,

когда во время лекций дамы, замирая от восторга, восклицали: «Смотрите! Это он!!» Он сетовал, что лекционная работа (благодаря которой он построил загородный дом стоимостью пятнадцать тысяч долларов) губит его поэзию, какую он просто не смеет писать ради денег. Точно так же терзался муками совести в 1869 году Стедмен — из-за того, что «ради денег написал в последнее время так много чепухи», а год спустя он сообщал в письме, что вкусы публики портятся, ибо она тянется «к буффонаде, гротеску, к тому, что не имеет непреходящей ценности».

Надо признать, что действительно никогда прежде не было такого спроса на «чепуху», но те, кто искренно верил в демократического человека, знали, что массы были готовы воспринимать и не «чепуху», если только найдутся люди, которые научатся говорить на их языке. Уитмен и Эмили Дикинсон не научились, зато Марк Твен научился и был по достоинству оценен. Мелвилл, который тоже так и не овладел этим языком, сказал с горечью в 1851 году: «Нашей страной... управляют крепкие провинциалы, замечательные парни, что и говорить, но у них нет ни малейшего литературного вкуса и им наплевать на всяких там писателей, кроме тех разве, кто сочиняет самую покупаемую сегодня словесность, то есть газеты и журналы». И тем не менее он не вовсе отнимал надежду: «Наша страна занята сейчас тем, что готовит материал для будущих писателей, а не заботой о живущих». Дилемму, встающую перед литератором в век Барнема, Бичера и Боннера, увидел, как всегда, в верной перспективе Эмерсон. Отправляясь на очередную лекцию, этот решительный иллинойсец рассудил, что «народ всегда прав (в определенном смысле) и что литератор должен сказать себе: да, таковы новые условия, к которым я должен приспособиться... Не может считаться мастером тот, кто не научится видоизменять формы и успешно достигать своей цели, преодолевая самое трудное». Время и в самом деле было трудное для художника, трудное, но не невыносимое. От художника требовались только вера и смирение, чтобы понять: хотя сам он вынужден служить одновременно Мамоне и богу, народ служил богу и Мамоне.

## 32. ИСТОРИКИ

### 1

Ничто лучше не иллюстрирует попытки писателей аристократического Востока удовлетворить возросшие духовные потребности публики в середине века, чем обращение Ирвинга на склоне лет к многотомной биографии Вашингтона и выход монументальных исторических исследований Прескотта, Паркмена и Мотли.

В разных странах и в разные времена «литературная» история наполнялась разным содержанием, если она не означала истории литературы, как всюду в этой книге. В Соединенных Штатах определение «литературная» обычно применяется к историческим трудам Уильяма Хиклинга Прескотта, Джона Лотропа Мотли и Френсиса Паркмена, созданным в середине XIX века. Работу наших литераторов-историков отличали выбор широкой темы, богатство и обработанность материалов, преимущественный интерес к драматическим судьбам выдающихся деятелей, к общественным потрясениям, а не к будничному существованию простого люда и, наконец, художественное совершенство исполнения, по сей день обеспечивающее им благодарного читателя. Еще один, менее определенный признак подобного рода литературной истории обязан тому обстоятельству, что все три ее корифея были патрициями.

### 2

Начинаниям Прескотта, Мотли и Паркмена благоприятствовал стремительно возросший интерес к истории. Когда в 1829 году их старейшина Прескотт сел за свою первую книгу, нация достигла той степени самосознания, когда прошлое обретает притягательное очарование. Наскоро сшитые истории и немногим лучшие биографии и официальные учебники, написанные поколением раньше, привлекали много читателей. Приспело время создавать и новые книги. В первые десятилетия века из многочисленной группы редакторов и издателей документов, обнимающих период от колонизации Америки до принятия Конституции, выделился политический деятель, журналист и издатель Питер Форс, работавший в Вашингтоне. Архивариусов, писал

Форс, объединяла убежденность в том, что «здравый разум и философия определили историческому направлению ведущее место в современной действительности», и правоту его мысли подтвердили интерес к этим публикациям и государственные субсидии (свыше 200 тысяч долларов). Историческое направление определило также облик критических журналов. Ведущий критический журнал «Норт эмерикэн ревью» с 20-х годов и вплоть до окончания Гражданской войны по составу сотрудников и характеру публикаций был в равной степени историческим и литературным изданием. В 1857 при содействии литератора-историка Прескотта был основан «Атлантик мансли», и журнал с самого начала дал такой же крен в историческую науку, как и «Норт эмерикэн».

Пестрый поток исторических и биографических сочинений затопил печатные станки повсеместно, а особенно в Бостоне, этой цитадели вновь обретенного энтузиазма. Здесь к именам Прескотта, Мотли и Паркмена добавились еще три имени, и список ведущих историков того времени по праву стал полным. Из этих троих двое были лишь отчасти литераторами, третий же был просто воинствующим антилитературным историком. Самый плодовитый из них, Джеред Спаркс, написал почти семьдесят книг, хотя обязанности унитариянского священника и президента Гарвардского университета особого досуга не предполагали. За время его жизни свыше 600 тысяч американцев приобрели книги, на которых его имя фигурировало в качестве автора или редактора; это прежде всего десять томов «Сочинений Бенджамина Франклина, с замечаниями и жизнеописанием Автора» (1836—1840), пожалуй, лучший образец исторической прозы Спаркса, и «Библиотека американской биографии» (1834—1838), замечательное достижение Спаркса-редактора. И при всем том имя Спаркса не стало вечным достоянием литературы или истории. Слепленный патриотическим чувством, он игнорировал, а то и вовсе переиначивал факты, могущие, по его мнению, повредить репутации выдающихся деятелей, и ясность изложения остается единственным достоинством его сочинений.

Еще больше литературными достоинствами дорожил Джордж Бэнкрофт, прославленный автор 12-томной «Истории Соединенных Штатов» (1834—1882). Когда в 1834 году вышел первый том его «Истории», многие ревнители литературного вкуса объявили о рождении классического образца. Характерен отзыв Эдварда Эверетта: «Вы написали книгу, которая будет жить, доколе будет жива память об Америке». «История» Бэнкрофта служила своего рода эталоном вплоть до смерти ее автора в 1891 году, репутация же Бэнкрофта как властителя дум возросла до такой степени, что Честер Артур мог почти без преувеличения написать президенту Соединенных Штатов: «Позволено принимать приглашение членом Кабинета, Верховного Суда и м-ра Джорджа Бэнкрофта». Однако сегодня, оглядываясь

на сто лет назад, мы ясно видим, насколько преувеличенными были восторги критиков и соотечественников, завороченных высокопарной трескотней о Свободе, Демократии и Нации. «В едином порыве колонии бросились к оружию. В едином порыве объявили о готовности к решительным действиям. Единой грудью выдохнул континент: Свобода или Смерть!» — едва ли образцовый литературный вкус будет петь дифирамбы сочинению, написанному в таком стиле.

В полемике с этой аляповатой красотой написана более краткая «История Соединенных Штатов» (1849—1852) Ричарда Хилдрета, бесхитростная, как схема железнодорожного расписания. На создание заведомо антилитературной истории Хилдрета подвигли раздражение «юбилейными проповедями и речами» и английский утилитаризм. Многие позднейшие историки, адепты «научной истории», отведут Хилдрету место самого значительного историка XIX столетия; современники же прошли мимо него — ограниченный человек, все низводит до своего скудного уровня.

Но сколько бы ни отличались между собой Хилдрет, Бэнкрофт и Спаркс, одно их объединяло: их выпестовал не Бостон, богатый и ко всему равнодушный. В своей жизни они не ведали чувства непричастности политическим страстям и совершавшимся вокруг экономическим переменам. Бэнкрофт был деятельным идеологом демократической партии, Хилдрет — активным вигом, оба не боялись немного замарать руки в политике. Выбирая для себя историческую тему, они сосредоточивались на таком периоде национальной истории, который был им ближе — и по времени и по своему общественному содержанию. Они до такой степени были поглощены злободневностью, что даже в исторических экскурсах не упускали случая высказаться о тарифах и центральных банках, по вопросам аграрным и рабовладельческим, — словом, по всему кругу современных проблем. Меньше был болен современностью Джеред Спаркс, но и он два года прослужил капелланом в палате представителей и в своих занятиях историей усматривал проповедническую миссию.

Вот этой заинтересованности в окружающем мире, сознанию участия в его делах остались чужды и Прескотт, и Паркмен, и только отчасти был ими задет Мотли. Положение литераторов-историков определило им такую общественную орбиту, откуда они могли сойти и увидеть жизнь без прикрас, лишь сделав сознательное усилие. Все трое наследовали значительные состояния и порвали с торговлей, которая обогатила их отцов. Собственно, они были в том привилегированном положении, которого Революция никому уже не обещала. Они вели жизнь аристократов в своем Бостоне: благосклонно посещали Гарвардский университет, проводили *Wanderjahre*<sup>1</sup> в Европе, а вернувшись, чрезвы-

---

<sup>1</sup> Годы странствований (нем.).

чайно разборчиво заводили светские и литературные знакомства. На своих собраниях они обсуждали сочинения друг друга, вкушая недурной ужин — свиязь, чирок, выдержанный кларет; может статься, владелец корабля, доставившего этот кларет, сидел здесь же, но только своего корабля он не видел в глаза. Никто из них ни разу не замахнулся на тогдашние условия жизни; самое большее, что они могли себе позволить в общественной жизни, — это, как Мотли, высидеть один срок в Законодательном собрании штата и, решив на будущее не служить вообще, время от времени развлекаться на дипломатической службе. Друг от друга они отличались только степенью неприятия своего века и современной истории, в которых торжествовали грубый индустриализм и «вульгарная» политика фабричных рабочих, мелких фермеров и лавочников.

Однако этот же Бостон был детищем Новой Англии, его ислестанное совестью прошлое еще было живо и не могло удовлетвориться модным дилетантизмом. Если деды полагали безделье грехом и, помышляя только о небе, мотыгой и гарпуном добыли-таки себе состояние, то и внуки их не могли только наслаждаться роскошной жизнью. В этих обстоятельствах им оставалось одно — создавать серьезные книги. Прескотт писал: «Человек, не интересующийся политикой и деньгами, на которых все держится в нашей стране, вынужден уповать только на самого себя, и если ему безразличны книги, то лучше ему повеситься, потому что праздношатающихся джентльменов у нас не водится».

При выборе литературного поприща было еще одно обстоятельство, определившее Прескотту, Мотли и Паркмену область именно литературной истории. Осипшая от крика новая Америка была не по душе Бостону, зато он с готовностью открывал сердце литературным веяниям и поветриям из Западной Европы, а там как раз совершался расцвет яркой исторической литературы, живописавшей драматические судьбы и положения. Но и без европейского влияния наша литературная история явилась чрезвычайно кстати. Ибо что могло составить более разительный контраст неряшливым фабрикам, загрязнившим прелестные речушки Массачусетса, или горластым оборванцам, не расставшимся с пуншевой чашей в день вступления в должность Эндрю Джексона? И, радуясь возможности бежать от всего этого, Прескотт обратился к золотым дням испанских завоевателей, Мотли погрузился в перипетии борьбы голландцев за независимость, а Паркмен углубился нехоженными тропами в дебри американской истории.

### 3

Высокий, стройный Уильям Хиклинг Прескотт был душой молодого Бостона, но при этом у него не было и тени сомнения в том, что он еще сделается «образцовым работником».



В студенческих проказах он потерял глаз, а после воспаления почти ослеп и на другой, однако ничто не могло охладить его желания трудиться. Сначала он испытал свои силы в сочинении сентиментальных историй, представляемых на суд своих коллег по литературному обществу «Клуб»; затем подготовил для «Норт эмерикэн ревью» несколько тщательно проработанных обзоров английской литературы. Удовлетворения не было, его дух и честолюбие не были утолены. Он подумывал написать историю итальянской литературы, примеривался к истории Рима, выискивал соблазнительную биографию. Между тем в англо-американских литературных кругах стремительно рос интерес к Испании, подогретый наполеоновским вторжением на Пиренейский полуостров. Радужные перспективы изучения испанской истории рисовал вернувшийся из Европы Джордж Тикнор, еще один бостонский патриций; Прескотт в ту пору вступил уже в четвертый десяток. Он заворожено прослушал несколько лекций Тикнора в Гарварде, перерыл его богатейшую испанскую библиотеку. В 1826 году он принял решение: «пожертвовать» собой в пользу царствования Фердинанда и Изабеллы.

Слово «пожертвовать» далеко не показывает, с какой жертвенностью он служил своей теме. Дабы справиться с обилием научной и литературной работы и помочь слабому зрению, он старался из всего извлекать пользу для работы. Зная за собой любовь побездельничать, он рассчитывал свое время, как бедняк рассчитывает гроши. Всегда в один и тот же час слуга убирал постель; с секретарем заключались пари относительно дневной выработки; даже верхом на лошади он продолжал обдумывать свою историю. Результатом этой редкой сосредоточенности на предмете явились — причем с завидной быстротой — четыре главных сочинения Прескотта: «История царствования Фердинанда и Изабеллы» (1837), «История завоевания Мексики» (1843), «История завоевания Перу» (1847) и «История царствования короля Филиппа Второго» (1855—1858); работу над последним оборвала смерть.

Научная состоятельность этих книг Прескотта обеспечила им сотни монографий. Общий приговор современной и позднейшей критики сводится к тому, что научная обработка доступных Прескотту источников не оставляет желать лучшего. Однако самому Прескотту больше польстило бы то обстоятельство, что спустя столетие его «Мексика» и «Перу» разошлись в нескольких общедоступных изданиях: ведь он считал себя в первую очередь профессионалом-литератором. Потому-то, прежде чем сесть за первую из своих книг, он внимательнейшим образом изучил существовавшие образцы. Разумеется, самое пристальное внимание было уделено сзру Вальтеру Скотту, «мастеру живописного». У Скотта Прескотт заимствовал мысль о превосходстве событийной канвы перед протокольной обстоятельностью календаря. В его сознании созвучно отозвались слова аббата де

Мабли, современника сэра Вальтера: «Историю следует делать не только занимательной, но и полезной, подводя события к некой известной цели, или морали; коротко говоря, вести развитие событий к решающей цели с таким же тщанием, которое потребно для сочинения романа или драмы». Прескотт был обязан и французским ученикам Скотта, которые оживляли изложение свободным пересказом занимательных документов. В своей методологии Прескотт следовал современной ему европейской школе романтической истории, для которой решающими были единство темы, украшенной яркими событиями, эффектная аранжировка этих событий и выписанные с превеликим старанием характеристики главных участников. В основе своей концепция литературной истории была у Прескотта та же, что у Могли и Паркмена.

Вначале стиль Прескотта был чужд той раскованности, которую поощрял европейский романтизм, и заметно равнялся на английскую прозу XVIII столетия с ее требованием ясности, уравновешенности, продуманного употребления антитезы и метафор и воздержания от «простого языка». Некий рецензент в своем отзыве на «Фердинанда и Изабеллу» ставил Прескотту в вину то, что его прозу отличают «безупречные манеры: она выдержанна, донельзя пристойна и высокомерна». И критик был прав. Размеренные периоды, хорошо рассчитанные антитезы и параллели во множестве представлены в «Фердинанде и Изабелле». Женщина у него всегда «госпожа», подарок — «дар», люди не женятся, но «вступают в брак», их не зовут по имени, а «величают», и, когда приходит срок, они не умирают, а «возвращаются праху». Прескотт не замедлил возразить: о вкусах — де не спорят, но ясно, что столь простой ответ не мог удовлетворить и его самого. В дальнейшем он весьма упростил свой стиль, все дальше отходя от той теории XIX века, по которой существует лишь один «правильный стиль». «Наилучшее правило, — признавался он теперь, — это вовсе обходиться без правил, исключая, разумеется, грамматические правила, и следовать естественной склонности своего гения». Но в одном отношении он оставался непреклонен, чем наверняка заслужил бы одобрение доктора Сэмюэла Джонсона, когда тот стал особенно нетерпимым пуристом: правомерным для прозы Прескотт признавал только английский литературный язык, никак не американский диалект. Так же недолюбывая это наречие, как и вообще новую Америку, он предостерегал от «постоянной угрозы нововведений в стране, чей предприимчивый и изобретательный народ, более привычный держать в руках кошельки, нежели книгу, без особого старания замутил чистые воды дотоле ничем не оскверненной английской речи». До какой степени дистиллированным мог быть язык Прескотта, показывает сравнение его прозы с письмами, в которых нет-нет да резанет слух такой бесспорный американизм, как «отвратный» или «смотри проще».

Несмотря на приверженность строгому литературному этикету, проза Прескотта обладает чрезвычайно притягательной силой — главным образом благодаря удачной драматургической организации материала, точности языка и еще поразительному умению Прескотта приводить язык в соответствие с содержанием. В батальных сценах это энергичные фразы одинаковой конструкции, строгим рисунком напоминающие боевой порядок войск. Философствуя же или прибегая к общим рассуждениям, Прескотт одной-двумя метафорами проясняет мудреную мысль. Его исторические пассажи то поражают яркостью, то удручающе сухи — всегда в зависимости от того, какого отношения к себе заслуживает выбранный материал.

Как произведение художественной литературы «Завоевание Мексики», бесспорно, высшее достижение Прескотта. Сам предмет заключал чрезвычайно выразительность. Присутствие одного Кортеса способно оживить скучнейший перечень фактов. Прескотт справедливо писал: «Естественное развитие событий совершается по тем же законам, что действуют в искусстве. Читатель ни на минуту не забывает о том, что рассказ венчает завоевание страны. С той первой минуты, когда испанцы ступают на материк, эта великая цель ведет их через сражения и переговоры, поддерживает в гибельном отступлении, помогает собраться с силами перед решающей осадой, а развязка в длинном ряду событий — сдача столицы на милость победителя. Это готовая эпическая поэма, на всем своем протяжении сохраняющая напряженность действия».

Задумывая свой труд, Прескотт предвидел двоякого рода сложности. Было бы странно дать картину завоевания, обойдя молчанием завоеванную цивилизацию ацтеков; в то же время соответствующее вступление, скорее всего, нарушило бы цельность сочинения. Прескотт сознавал также, что надобно сказать и о жизни Кортеса после завоевания, а это могло ослабить общий драматический тон. В искусном предисловии и заключении Прескотт блистательно разрешил эти трудности. Нисколько не нарушая цельности картины, его «Обзор цивилизации ацтеков» стоит особняком и множество действительно необходимых сведений самую историю завоевания не обременяет. Более того, акцентирование варварских черт цивилизации ацтеков делает ее сокрушение тем паче достойным славы. Не ослабляет интереса и рассказ о последующей жизни Кортеса — он представлен незаурядной личностью и по совершении великих деяний, так что интерес к нему только возрастает.

Первенец Прескотта, «Фердинанд и Изабелла», в отношении драматического единства с самого начала уступал «Завоеванию Мексики», но Прескотт и здесь показал себя превосходным писателем, пронизав рассказ единой мыслью: путь Испании от «варварства» к могущественному и объединенному состоянию. В «Завоевании Перу» литератор столкнулся с еще большими

сложностями. Ни силой, ни яркостью характера Писарро несколько не напоминает Кортеса. Центральное событие — завоевание государства инков — происходит задолго до конца книги, дальнейший рассказ посвящен грызне между завоевателями, в конце концов усмиренными властью короны. Заботясь об единстве действия, Прескотт представляет события звеньями цепочки, которая завершится «великой целью» — господством испанской короны, однако, как отмечал один из критиков, этот итог, будучи верным, грешит неубедительностью. Едва ли «великая цель» может оправдать закабаление доброго народа горсткой людей, для которых Прескотт не нашел иного определения, как «накипь (испанского) рыцарства», да и побежденные были не чета ацтекам, и покорение столь слабого противника лишь изредка привносит в рассказ драматические интонации. Казалось бы, история движется и сверкает огнями, но на самом деле это просто снуют мелкие людишки и в нужных местах автор подсвечивает декорации. Последний труд Прескотта, «История царствования короля Филиппа Второго», вероятно, потребовал бы от него предельного напряжения всех сил, ибо материал был крайне неблагоприятный для литературной истории — это хаос разнородных обстоятельств, и вместе и порознь суливших упадок и распад. Как и следовало ожидать, в этих томах Прескотт уже не держался заповедей доктора<sup>1</sup>; они ценны для нас как собрание прелестно и красочно выписанных сцен.

#### 4

Как раз в разгар работы над «Филиппом Вторым» Прескотт получил встревоженное письмо от некоего молодого бостонца, Джона Лотропа Мотли. Тот начал работу над историей восстания голландцев против Филиппа II, и слухи об успешном предпринятии Прескотта смутили его. Верный духу научного содружества, Прескотт пригласил Мотли на собеседование и убедил его продолжать работу, поделив сферы занятий. Прескотт сосредоточится на правлении Филиппа в целом, а Мотли займется историей Нидерландской республики. Пашня обширна, успокаивал он молодого коллегу, хватит работы и на двоих. И действительно, помешать друг другу они не могли, поскольку концепции литературной истории у них были разные.

Нельзя сказать, чтобы разными были условия, в которых они сформировались. С рождения Мотли также принадлежал к бостонской элите, окончил Гарвардский университет, совершил обязательную поездку в Европу, учился там; вернувшись в Бостон, также проводил невыгодное сравнение «пустого и голого» прошлого Соединенных Штатов с Европой, «где сказки и романтические легенды одушевляют каждую рощу, каждую скалу и

---

<sup>1</sup> Т. е. С. Джонсона. — *Прим. перев.*

всякую речушку». Попыткой закрепить это очарование на бумаге стали два его романа, не вынесшие груза собственных сюжетов. Непоседливый, бурлящий избытком сил (из всех троих у него одного было благополучно со зрением), он некоторое время подвизался на дипломатической службе в России, один срок пробыл в Законодательном собрании Массачусетса. Но в холодном Санкт-Петербурге его допекла тоска по дому, а два года в Массачусетском Капитолии навсегда отвратили его от участия в политической жизни — он не мог без содрогания вспомнить «правление мрачное толпы».

Между тем в небольшой рецензии, написанной для «Норт эмерикэн ревью», он набрел на свое призвание. Начав писать отзыв на две книжки о России, Мотли создал превосходный историко-литературный очерк царствования Петра Великого. Друзья в один голос советовали Мотли всерьез и глубоко заняться историей. И это был дельный совет. История не заставляла Мотли докучно изобретать подходящий сюжет: история дала ему возможность полностью отдать талант живописи словом и широким обобщениям. Втайне он всегда будет считать, что в истории работают «саперы и минеры», а сочинение романов — это «кавалерийская атака», однако он внял совету друзей и в тридцать с небольшим всерьез засел за исторические штудии. В последующие годы он ненадолго отвлечется от них — это будут необременительные обязанности посланника в Австрии и Англии и выступления по поводу Гражданской войны, которая представлялась ему борьбой за совершенно абстрактную «свободу». Делом его жизни стала многотомная литературная история, в которой все тот же идеал свободы был уточнен и увиден через призму голландской истории. На протяжении многих лет его добротные труды все шире раздвигали эту историческую панораму — освободительная война против Испании, борьба за утверждение свободы во вновь обретенном отечестве. «Возвышение Голландской республики» (1856), «История Нидерландской республики по смерти Вильгельма Молчаливого до Синода в Дорте» (1860—1861) и «Жизнь и казнь Яна Олденбарневелта, защитника Голландии» (1874) составили настоящую эпопею.

В отношении композиции и стилистики литературной истории Мотли держался, в сущности, тех же взглядов, что и Прескотт: в «великой путанице подробностей» выхватить единую нить и потянуть ее дальше, нанизывая «до восторга страшные и прекрасные картины». Но недаром в детстве Мотли играл в домашний театр и к месту и некстати декламировал: безудержная тяга к драматическим эффектам сообщила его сочинениям интонации, неведомые Прескотту. Даже в характеристике Кортеса Прескотт сохраняет выдержанность и спокойствие. Мотли же вслед за «великолепным» Карлейлем видел в своих героях только героев, и, даже когда персонаж не вызывал у него

симпатий, он писал: «Если он (то есть Филипп II) и был лишен каких-нибудь пороков, а это не исключается, то лишь потому, что человеческой природе не дозволено воплощать совершенное зло». Отличается он от Прескотта и своим воинствующим дидактизмом. Его старший коллега, признавая, что рассказ об исторических событиях должен быть подчинен единой мысли, предостерегал, однако, от того, чтобы тема управляла фактами. Мотли был устроен проще, был эмоциональнее и историю писал как трактат. Не ведая и тени сомнений, он славил добродетели «благородной», «величественной» протестантской свободы и обличал «безжалостный», «гнилой» католический абсолютизм.

Вернее, чем любая другая его книга, в литературе останется дебют Мотли — «Возвышение Голландской республики». Здесь само содержание — борьба голландцев за независимость — предполагало драматическое напряжение как следствие несовместимости свободы и абсолютизма; борьба малой нации против могущественной империи оправдывала возвышенный строй языка; предводитель же голландцев, Вильгельм Оранский, являл собой характер почти карлейлевского чекана. Освобождение Нидерландов и смерть Вильгельма Оранского осложнили дальнейшие замыслы Мотли. «Найти еще одного Вильгельма Оранского будет трудновато», — с горечью признавался он. К тому же действие уже не ограничивалось пределами нидерландских провинций, оно распространилось на значительную часть Западной Европы и даже вслед за мореплавателями вышло на океанские просторы. В «Истории Нидерландской республики» немало волнующих эпизодов, но также в избытке трескучего словоизвержения. Столкнув две яркие личности и придав исходу их борьбы трагическую предопределенность, Мотли в «Яне Олденбарневелте» вновь овладел драматизмом ситуации. Местами книга не уступает «Возвышению Голландской республики», но даже там идеализация Вильгельма Оранского определенным образом исказила историческую картину — что же говорить о «Яне Олденбарневелте», где целых два центральных героя!

Передержки ради эффекта, дидактизм и недостаточная — по сравнению с работами Прескотта и Паркмена — исследовательская глубина сулили недолгий век книгам Мотли. Позднейшие историки в основном наново переписали историю Голландской республики; трудно представить нашего современника, который не по обязанности прочел бы сегодня Мотли от корки до корки — даже его «Возвышение Голландской республики». И однако отдельные характеры и положения, очерченные ярко, возвышенно и сильно, остаются непревзойденными в американской литературе: портреты Вильгельма Оранского и Филиппа II, осада Лейдена, отречение Карла V, убийство Вильгельма...

После 1905 года биографы словно забыли о Мотли и Прескотте, зато Паркмену в 1942 году было посвящено обстоятельное жизнеописание, и вообще о нем частенько вспоминают. Интерес неслучайный. Общее мнение отвело Френсису Паркмену первое место в ряду литераторов-историков, а главное — как личность он не менее интересен.

Долговязый и застенчивый потомок коренных бостонцев, Паркмен еще студентом, по собственному признанию, подхватил «индейский вирус». Еще до выпускных экзаменов он постраивал в лесах к северу и западу от Бостона. Получив степень, он верхом отправился в путешествие по Орегону, а это чуть не две тысячи миль пути. В сороковые годы прошлого столетия такое предприятие таило не меньше опасностей, чем плавание в шлюпке через Атлантический океан, но Паркмен был не робкого десятка. Из этого путешествия он привез книгу «По тропам Орегона» (1849), которая не только является ценным документом очевидца о первобытном укладе жизни тогдашних индейцев, но и по сей день доставляет наслаждение любителям приключенческой литературы. Из этого же путешествия он вывез и болезни, мучившие его до конца жизни и надолго лишившие трудоспособности. Медики и сегодня не могут с уверенностью решить, чем страдал Паркмен и в какой мере был всему причиной общий невроз. Его надолго выводили из строя острые приступы артрита, в обычное же время донимали слабое зрение и невообразимые головные боли, и редко-редко удавалось в один присест написать несколько страниц.

В борьбе с недугами Паркмен, подобно своему почитателю, Теодору Рузвельту, воспитал в себе крайнюю нетерпимость к «слабости». Самым явным признанием в «слабости» была для Паркмена пропаганда демократии, и столь же нетерпимо относился он к коммерции и промышленности, поскольку они насаждали нравы, далекие от прямоты и твердости духа, украшавших прежние времена. Он как-то сказал о себе, что «мимоходом забрел из средневековья», и действительно, его высокомерное отношение к таким вещам, как рынок или избирательная урна, отдает чем-то феодальным. В политической жизни он занимал крайне реакционные позиции, как никакой другой американский писатель; в области художественного творчества его личные пристрастия побудили его писать историю фронта, к которому он питал самую нежную привязанность. Здесь было где развернуться рассказу о первобытной силе, которую еще не обуздали поборники демократии, и торгаша-коммерсанты. Еще не достигнув тридцати лет, Паркмен уже нашел свою путеводную звезду: «история американского леса», но если конкретизировать — это борьба Франции и Англии за господство в Северной Америке. Грандиозный замысел вопло-

тился в восьми книгах, вышедших с 1851 по 1892 год, — всего одиннадцать томов. Вся серия известна под названием «Франция и Англия в Северной Америке».

Из всех трех литераторов-историков Паркмен в наименьшей степени сознавал себя профессионалом, хотя, разумеется, столь же добросовестно готовился к своему поприщу. Он проштудировал всю классику, в том числе историческую литературу, освоил методику и стиль изложения, наиболее отвечавшие его задаче. Ему претило путаное литературное теоретизирование, без чего не обходился ни один романтик, неумеренная экзальтированность. Случайные высказывания, предисловия, само содержание его работы, рецензии в «Норт эмерикэн ревью» — вот и все, что может прояснить основные положения его концепции истории.

Следует, считал Паркмен, со всем тщанием и настойчивостью собирать факты — если возможно, работать с первоисточниками и самолично посещать места исторических событий. Писатель должен подходить к своему материалу, полный решимости «пропитаться жизнью и духом того времени», не читать морали и не философствовать, а в первую голову «домогаться истины». В основании труда должно лежать драматическое единство темы; безыскусная правда и художественный вымысел должны быть строжайше уравновешены. Стиль «мужественный» должен быть «прямым», «без приглаженности, готовых оборотов речи, риторических фигур, свободным от ухищрений, которыми так любят себя улаживать писатели-ремесленники».

Подобный взгляд на историю, естественно, обещает много точек соприкосновения с исторической прозой Прескотта и в меньшей степени Мотли. Однако некоторые стороны паркменского идеала исторической науки породили и существенные различия. Истовая верность материалу гасит все краски, которыми так любили играть Прескотт и Мотли, и вместо словоохотливой хроники требует аналитического изложения фактов. Со своей антипатией к философствованию Паркмен вымарал бы не одну страницу у Прескотта, а Мотли переписал бы от начала до конца. Благодаря своему «мужественному» и «прямому» стилю Паркмен меньше своих коллег похож на выходца из XVIII века или современных ему романтиков: уравновешенный период, антитезы так же чужды ему, как приторные прилагательные и многосуставные глаголы.

Все, в чем Паркмен отходил от Прескотта и Мотли — и видимо, отходил сознательно, — обеспечивало его книгам долгую жизнь. Данью своему времени были и красочная нарядность рассказа у Прескотта и Мотли, и любовь пофилософствовать, на что был особенно падок Мотли, и свойственная им обоим праздничная приподнятость стиля. Но прошлое бессмертно, и Паркмен видел свою задачу в том, чтобы воссоздать его в первоизданном виде. Он не уставал напоминать своим критикам



слова Мишле: история — это не изложение событий, как полагал Тьерри, и не их анализ, как утверждает Гизо, — это «воскрешение».

По общему признанию, Паркмену не было равных в умении воскресить историческое прошлое. Раз за разом читателем овладевало чувство живой сопричастности событиям. Читая Паркмена, нетрудно увидеть, что английскую цивилизацию он предпочитал французской, протестантизм — католицизму и приветствовал бы возвращение многого на место демократии, что кануло со старым режимом. Новейшие открытия восполнили некоторые эпизоды — например, участие французов в освоении края, некоторые же события были существенно уточнены, в их числе история поражения Брэдока. Современные историки серьезно упрекают Паркмена и в недооценке экономических факторов. Однако в целом труды Паркмена выдерживают самую строгую критику нынешней исторической науки — поразительны их научная убедительность, продуманное использование материалов, точный язык. Обыкновение Паркмена навещать места, где совершались описываемые события, сообщило его изложению ту правдоподобность, о которой умудренная опытом современная наука не может и мечтать, ибо в его время еще можно было воочию видеть незатянувшиеся раны былых сражений. И Паркмен закреплял увиденное средствами, которые застрахованы от будущей переоценки: драматические сцены лишены ненавистной ему мелодрамы, ясную картину в нужном месте оживляет яркий мазок.

Высокие достоинства сочинений Паркмена нередко заслоняют неровность его стиля. Порою прошлое, обретя второе рождение на его страницах, вдруг сбивается на безудержную декламацию: «И дикая эта река<sup>1</sup>, смиряя свой неукротимый бег и варварские повадки, мутным потоком вливается в лоно своей смиренницы-сестры»; или о Французской революции, оставившей после себя «охваченные пожарами деревушки, разграбленные города, поля, залитые кровью, оскверненные алтари и обесчещенных дев». В зрелых работах Паркмена от этой напыщенной высокопарности не осталось и следа. Толковые авторы-новички видели поучительный для себя образец его стиля, например, в описании смерти Вулфа на Авраамских равнинах (в книге «Монкалм и Вулф»): бесхитростная простота прозы как нельзя лучше выявляет драматическое содержание этого события.

Когда в свои семьдесят лет Паркмен делал смотр «Франции и Англии в Северной Америке», его совершенно удовлетворил стиль, стоивший ему невероятных трудов. Тревожило другое — внутренняя структура многотомной эпопеи. С точки зрения идеальной композиции литературная история Паркмена грешила известной непоследовательностью. Принцип драматизма требо-

---

<sup>1</sup> Миссури.

вал, чтобы конфликт между французами и англичанами коренился в столкновении идей-антагонистов и их ярких выразителей. По логике же вещей рассказ должен строиться как причинно-следственный ряд, и те или иные мысли и герои могут входить в этот ряд лишь постольку, поскольку они уместны. В границах определенного событийного ряда и в отдельных книгах Паркмен попеременно пользуется как драматическим, так и логическим принципом организации материала. Эта непоследовательность не могла его не тревожить, он во всем стремился к совершенству, и только смерть помешала его планам заново перекомпоновать этот колоссальный труд.

Но, может быть, Паркмен преувеличивал серьезность усмотренного недостатка и это все проблемы внешнего оформления, а не существо дела? В конце концов, борьба между Францией и Англией за Северную Америку всегда развивалась в форме назревающего конфликта, где драма и логика легко переходили друг в друга. Может статься, чутье служило Паркмену вернее, чем расчет, и некоторая свобода его композиции отразила колебание истории, творимой людьми. Как бы то ни было, можно по пальцам счесть критиков, которых не удовлетворила структура его эпопеи. Даже такой убежденный популист, как Вернон Паррингтон, всегда сатирически трактовал любого из бостонских браминов, — даже он признавал «Францию и Англию в Северной Америке» шедевром непреходящего значения. Величие полуслеплого, измученного болезнями и мнительностью историка только тогда осознаешь в полной мере, когда вспоминаешь, что после него никто еще не отважился приступить к изложению подробной истории борьбы за господство в Северной Америке.

## 6

Задолго до смерти Паркмена в 1893 году американская историческая литература свернула с проложенного им пути. Но еще появлялись работы, написанные в традициях литературной истории. Сознательную попытку в этом роде предпринял в своей «Истории народа Соединенных Штатов» (1883—1913) мечтавший о лаврах «американского Маколея» инженер-строитель Джон Вейч Макмастер. Внимание к жизни простого народа позволило пухлым зеленым томам Макмастера занять выдающееся место в историографии, многие критики-современники находили его «Историю» чрезвычайно «живой», однако сколько-нибудь заметным явлением литературы она не стала — рыхлая композиция, неровный стиль. Равняясь на Паркмена, Теодор Рузвельт написал «Завоевание Запада» (1889—1900), продолжив рассказ своего учителя вплоть до приобретения Луизианы. Однако и в этом случае попытка создать литературную историю не шла ни в какое сравнение с трудами

предшественников — научная ценность была ничтожна, стиль — выпранный и пустой.

По сравнению с историческими писаниями Рузвельта или Макмастера одиннадцать не связанных единым планом книг Джона Фиска снискали большую популярность у читателя. Просто и живо написанные, эти исторические книги лишней раз подтвердили его талант популяризатора, благодаря которому Фиск по сей день считается непревзойденным лектором. И однако, даже его книга «Критический период американской истории: 1783—1789» (1888), плод серьезных изысканий и глубоких раздумий, вряд ли больше чем искусно скомпонованное собрание известных истин. Из всех историков, творивших в конце века, лишь один оставил книги, явившиеся весомым вкладом как в литературу, так и в историю, и характерно, что им оказался новоявленный бостонский брамин Генри Адамс. Его «История Соединенных Штатов в периоды правления Джефферсона и Мэдисона» (1889—1891) — триумф ученого, мыслителя и художника.

При всем том даже Генри Адамс был далек от намерения создать идеал литературной истории. «Не допуская и тени предвзятости, неукоснительно излагать проверенные факты, и излагать их в том порядке, как они вытекают один из другого», дабы закрепить «этапы продвижения человечества вперед» — этой целью он и руководствовался в работе над девятью томами своей истории. Адамса, видимо, можно отнести к числу «научных историков», уже задававших в то время тон в историографии. Американской исторической ассоциацией, основанной в 1884 году, заправляла группа энтузиастов, видевших в объективном изложении строго выверенных фактов возможность и даже необходимость превращения истории в науку. «Научная история» лишала историка права трактовать факты в свете какой бы то ни было литературной или идеологической доктрины, украшать и оживлять повествование произвольным обращением с материалом. Нашелся и предтеча, которому «научная история» возносила хвалы, — Ричард Хилдрет, суровый обличитель литературных красот в историческом сочинении.

Падение интереса к литературной истории объяснялось также охлаждением патрициев к историческим занятиям. К 1900 году подавляющее число американских историков были выходцами из буржуазной среды, и аристократической антипатией к торговой и промышленной Америке они были заражены разве чуть-чуть. Более того, многих профессоров увлек дух перемен, взбудораживший Соединенные Штаты в начале XX столетия. Вместе с этим увлечением возникла тенденция использовать как мощное оружие движение в пользу реформ, исследовать экономическую подоплеку событий прошлого и современности. Даже те историки, что не сочувствовали программе социальных преобразований и настроенно относились к строгим выводам

экономического анализа, — и они выступали против романтического культа феодального прошлого. Они все чаще обращались к неярким судьбам рядовых тружеников, маленьких людей. Традиционную литературную историю, поглощенную судьбами сильных мира сего и яркими историческими событиями, с обеих сторон потеснили «научная» и «социальная» истории, вместе давшие историю нового типа.

Новая история вызвала к жизни и нового читателя. Прескотта, Мотли, Паркмена читали и читают широкие круги образованной публики. Опутанные же, ссылками и сносками «научные историки» за редким исключением читали только друг друга. В первые десятилетия нашего века «новая история» переживала расцвет, а это означало только, что интерес широкой публики к истории были вынуждены удовлетворять беллетристы, не поднимавшиеся до художественных высот старой школы и беспомощные перед высокими научными критериями школы новой.

«Самоновейшая история», таким образом, должна была сочетать черты обеих традиций, а это уже вопрос времени. В начале 20-х годов просвещенного читателя начинает затоплять поток исторических книг, которые читались так же легко, как сочинения литературных историков, а в методологическом отношении выдерживали сравнение с трудами «научных историков». Основная масса этой продукции выходила не из университетских стен: профессора истории, как правило, корпели над монографиями. Но кто бы ни были авторы этих книг, в них ставились и зачастую успешно решались проблемы сугубо литературного порядка. А эти проблемы стали тем более запутанными, что неуклонно накапливалась информация, возростала требовательность исторической науки, совершенствовались методы научной интерпретации.

«Самоновейшую историю» приветствовали как возрождение литературной истории, но это, по всей видимости, уже не та литературная история, о которой шел разговор в этой главе. Да, их книги тоже легко читаются, но трактуют они совсем о других предметах, оперируют современными методами социального и экономического анализа, в них действуют иные композиционные и стилистические закономерности. Литературная история, представленная именами Прескотта, Мотли и Паркмена, возникла в определенной среде, которая уже никогда более не возродилась в Соединенных Штатах. Разновидности браминов еще появятся, и они также будут блюсти книжную культуру и презирать дух коммерции и «толпу», но истинные брамины были только однажды, в сотрясаемом ветрами XVIII и XIX столетий Бостоне середины прошлого века. Всегда будут историки, пекущиеся о литературной славе, но в своем роде единственными и неповторимыми останутся сочинения Прескотта, Мотли и Паркмена.

## 83. ОРАТОРЫ

### 1

Ораторское искусство всегда составляло предмет национальной гордости американцев, было национальной чертой. В русле одной традиции стоят разделенные тремя столетиями проповедь Томаса Хукера «Смирение души», сказанная с кафедры в Хартфорде, штат Коннектикут, и положившая конец национальному бедствию первая инаугурационная речь президента Франклина Д. Рузвельта: «Я решаюсь высказать твердую убежденность в том, что страшиться нам следует одного — самого страха». У нас богатейшее по объему и разнообразию ораторское наследие. Речи, произнесенные в переломные моменты нашей истории, покоряют неотразимой силой мысли и красоты.

Искусство красноречия, к которому прибегает оратор, Аристотель определял как способность знать (хотя и не обязательно применять) все доступные средства убеждения. Взывая к рассудку и чувствам, облеченные непререкаемым авторитетом, наши риторы склоняли целые группы сограждан к определенному образу мыслей, побуждали занять определенные общественные позиции. В Америке ораторское искусство стало гарантом лояльности. Вся наша литература, как устная, так и письменная, пронизана мятежным духом; оратор же, даже случись ему возглавить мятеж, будет стараться расшевелить безразличного и разубедить недоброжелательного с единственной целью: сохранить лояльность всей группы. Непосредственное обращение к слушателям рассчитано на того же рода признательный отклик, каким вознаграждают романистов и поэтов только потомки.

Существует определение, по которому «ораторское искусство есть отчасти искусство, отчасти двигатель истории и в отдельных случаях — отрасль литературы». Оратора в первую очередь занимают вопросы общественной жизни, но литературные критики отметят и сохраняют в его речи, напротив, те места, где проглядывает частная жизнь. С точки зрения литературного критика, Геттисбергская речь Линкольна — это превосходная проза, ее создал человек, многое передумавший в одиночестве, сумевший подняться над частным событием и адресовать свои слова будущему. Однако не будем забывать, что Линкольн таки

использовал этот частный случай, так близко касавшийся всех и каждого, и побудил слушателей продолжать Гражданскую войну.

Критическое осмысление ораторских речей и обращений мы будем называть «риторической критикой». Предмет ее заботы — действенность обращения, а не то, как долго его будут помнить и каковы его художественные совершенства. «Риторическая критика» весьма четко проводит разграничительную линию между литературой и политикой, ее место на площади, а не в тихом кабинете. Затворническим идеалам мыслителей и поэтов она предпочитает духовную стихию масс, разбуженных вождями. Вершителя общественного мнения она оценивает соответственно тому, насколько он умелый политик. Личность оратора, предмет его выступлений, характер оппозиции, с которой ему пришлось столкнуться, характеристика его аудитории — для «риторической критики» эти вопросы почти так же важны, как художественная сторона дела, благодаря которой и сейчас интересно читать о вещах, давно утративших всякую актуальность. И поэтому естественно, что характерный для этой главы критический подход будет отличаться от анализа предыдущих глав: там речь шла о творениях мыслителей и поэтов, которых аудитория не брала в плотное кольцо, напряженно ловя каждое слово.

В американской истории не найти столь благодарного для ораторов периода, как те пятьдесят лет, что предшествовали Гражданской войне. На арену явилась целая плеяда способных ораторов, чье необыкновенное красноречие имело решающее влияние на общественное развитие. Многие были не только лекторами и ораторами, но и оставили яркий след в литературе — Эмерсон, Филлипс, Паркер. Поэтому глава, посвященная истории американского ораторского искусства, и представляется уместной в книге, дающей очерк развития американской литературы: ясно, что из золотого века американского красноречия следует отобрать лишь самые крупные фигуры. Но чтобы обзор был полным, придется заглянуть в прошлое и будущее, проведать великих проповедников-пуритан и обратиться к эпохе, когда радио даст возможность вождю нации — а он был оратором тоже — говорить перед миллионами соотечественников, побуждая их к действию.

## 2

Первые американские ораторы — проповедники, губернаторы колоний и законодатели — были, как и следует ожидать, весьма искушены в искусстве риторики, которое они постигали в университетах, юридических корпорациях метрополии и новорожденных колледжах Новой Англии. Студентам Гарвардского университета в 1655 году вменялось в обязанность дважды в

месяц произносить речи перед публикой. По утрам в пятницу читались лекции по риторике, а остальную часть дня студенты посвящали упражнениям в красноречии, взяв за образец логику Питера Рамуса и риторику Талона.

Для протестантского проповедника такая обстоятельная подготовка была необходима: ведь надлежало распутать каверзные пункты теологического Ковенанта и простым языком изложить их перед слушателями. Очень многое зависело от искренности, ясности мысли, это позволяло вырваться за тесные пределы «простого стиля». Современного читателя могут отчасти озадачить проповеди Инкриза Мэзера и Уриана Оутса, но они с блеском достигали своей цели, делая доступными великие таинства религии неискушенным слушателям.

Законодательные органы колоний вплоть до середины XVIII века заседали при закрытых дверях, однако в адвокатских конторах Бостона и Уильямсберга уже разгорались искры великой распри между короной и мятежной Америкой. На открытой сессии губернаторы, случалось, брали резкий тон с народными представителями, хотя обычно старались мирным путем соблюсти интересы короны, и постепенно страсти накалились, так что власть предержавшие любезно отмалчивались. Потом на галерку допустили избирателей, и спустя короткое время депутаты научились обращаться к широким массам народа через головы губернатора и его приверженцев.

Ораторы первой трети XVIII века были выучениками той традиции, которую Ренессанс наследовал у Аристотеля и Квинтилиана и приспособил к своим нуждам. Теперь же Америка вступала в новую эру — простой люд тянулся к сильному участию в религиозных и политических диспутах, и эмоциональный стиль стал настоятельной необходимостью. Проповедники, способствовавшие в 1730-е годы Великому Пробуждению, старались открыть слушателям глаза на то, какие опасности подкарауливают грешника на каждом шагу. Когда государственная церковь отказывалась допустить их на кафедру, они проповедовали народу на улицах — Франклин слушал так Джорджа Уайтфилда, когда тот держал речь перед самым зданием суда в Филадельфии. Сила его голоса заставила Франклина поверить газетам, которые сообщали, что Уайтфилда слушало до двадцати пяти тысяч народу. Великие ораторы периода Революции знали, как направлять чувства своих слушателей, это искусство они освоили в суде, изматывая оппонентов и не давая заснуть присяжным. В своей речи «О примирении» Берк справедливо заключал, что американские законодатели все сплошь юристы или люди, которые «стремятся понатореть в этих науках», что опыт сделал их «стремительными в нападении, умелыми в обороне, глубокими в познаниях».

Джон Адамс жаловался на скуку, в которой проходили заседания Континентального конгресса: «По любому поводу вся-

кий стремится выставить себя оратором, наводит критику, рассуждает о политике», однако его коллеги сходились на том, что и сам Джон Адамс, и Джордж Уайз, и Джеймс Уилсон, и еще дюжина завзятых ораторов умели сделать обсуждение живым и интересным. У Джона Уизерспуна был такой тихий голос, что в задних рядах его не слышали вообще, но его частые выступления встречали с неизменным вниманием — значит, услышим что-то важное. Джефферсон, Франклин и Вашингтон не увлекались показным красноречием, зато говорили всегда по существу дела. Американцам не приходится напоминать и другие имена великих ораторов-конгрессменов — Патрика Генри и Ричарда Генри Ли.

Вскоре всенародное внимание привлекут решающие дебаты о Конституции, и искусство ораторов, в нескольких штатах вставших на ее защиту, не уступит усилиям памфлетистов, также выступавших за ее ратификацию. Неутомимыми и изобретательными поборниками принятия Конституции показали себя Джон Джей и Александр Гамильтон в конвенте штата Нью-Йорк, Пинкни — в Северной Каролине и Оливер Эллсуорт — в Коннектикуте. Известную угрозу представляла яростная оппозиция виргинца Патрика Генри, однако ее скоро охладил и сокрушил логика и здравый смысл главного архитектора Конституции Джеймса Мэдисона.

### 3

Чего другого, но недостатка в ораторах и слушателях ранний период нашей национальной истории не знал. Собирались просто в поле, на деревенских площадях, в зданиях суда и так называемых городах — в 1830 году едва ли шестая часть народа жила в поселениях, где обитали свыше 8000 человек. Всюду было видно жадное стремление учиться, высказываться, соглашаться и спорить, принимать решение. «Смышленость, живость и покладистость уже в 1817 году составили черты национально-го характера», — отмечал Генри Адамс, многозначительно уточняя: «Еще одна духовная черта — стремление смягчить суровость». Впереди открывались новые горизонты. Людям не сиделось на месте, они были неутомимы, полны юношеского оптимизма, им не терпелось устроить себе лучшую, более счастливую жизнь. Грамотность и образованность еще не стали общим достоянием, зато безграничной была способность слушать и спорить.

Наиболее достопамятные речи были произнесены в законодательных учреждениях (прежде всего — в сенате Соединенных Штатов), перед судьями и присяжными, на торжественных церемониях, собиравших множество народа, — как выступления Дэниела Уэбстера в Плимуте (1820), на Банкер-Хилле (1825) и в Фэней-Холле (1826). Замечательные речи Уэбстера не



имеют себе равных за всю историю торжественного красноречия.

Кафедра проповедника, лекторская трибуна и избирательная кампания открывали перед оратором широкий круг тем, и поучительных, и просто занимательных. В период с 1815 по 1850 год характерным был витиеватый и многословный стиль речи, отвечавший вкусам аудитории, тогдашним нормам разговорного языка и уровню образования выступавших. Аналогичные процессы наблюдались и в письменной литературе. Например, в 1858 году некий писатель разъярился в «Норт эмерикэн ревью»:

«Нашим английским критикам доставляет удовольствие всех американских литераторов, в особенности историков, трибунов, эссеистов, лекторов и застольных ораторов на наших частых торжествах и юбилеях, — всех решительно обвинять в приверженности к «стилю орлиного размаха», которого принадлежность составляет преувеличения, высокомерие, дутая напыщенность, небрежные метафоры, пошлости, размахивание кулаками и непочтительные апелляции к Верховному Существо. Однако в наши дни подобное обобщение суть заведомая клевета, нельзя одним миром мазать всех американских писателей и ораторов. Спору нет, мы заплатили щедрую дань похвалы и высокомерности... Однако этот стиль речи и поведения уже обнаружил такие смехотворные крайности, что дни его сочтены независимо от раздраженных нападков по обеим сторонам океана».

Это предсказание сбылось. В пору своей юности нация заявляет о себе самоуверенно и громогласно. Но вот ее трибуны (Уэбстер и Линкольн в первую очередь) вступают в зрелость, а умудренные и просвещенные граждане внимают их сильным, простым и откровенным словам.

Какие вопросы волновали тогда людей? Известнейший оратор-аболиционист Уэнделл Филлипс ратовал за избирательное право для женщин и всеобщее равноправие, обсуждал проблемы трезвенности, смертной казни, отношений с индейцами, религиозных распрей, вопросов образования, тюремных реформ, финансов и банков, требовал увеличения заработной платы, улучшения условий труда. Главной его заботой, впрочем, было уничтожение невольничества. В этом отношении он был истинным сыном своего времени. Начиная с 1820 года и вплоть до капитуляции Ли в Аппоматоксе рабство являлось важнейшей политической проблемой в стране. За ее многоголосым обсуждением едва замечали такие, например, события, как война с Мексикой или освоение Запада. Вопрос о рабстве захватил в свою орбиту и разногласия по вопросу о правах отдельных штатов, о народном суверенитете, рабство породило доктрину «нуллификации», привело к «компромиссу 1850 года» и к сессии в 1860-м. Год за годом разгоралось народное чувство,

утверждались требования справедливости и добра — Билль «Канзас — Небраска» (1854), «дело Дреда Скотта» (1857). Когда в 1858 году Линкольн и Дуглас открыли свой известный диалог, это была заключительная сцена в драме, которая в нарастающем темпе и со всевозможными перипетиями игралась уже добрых сорок лет.

Три имени особенно выделяются в ряду тех, кто подводил под кровлю здание Конституции. Все трое начинали регионалистами: Дэниел Уэбстер был северянин, Джон Кэлхун — южанин, Генри Клей представлял от имени Нового Запада. Однако все трое болели интересами нации в целом, а Клей и Уэбстер сумели выйти за региональные рамки. Не «внутренний свет» и не систематические занятия политической философией положили основание их принципам — просто они знали и понимали своих избирателей. Шло время, борьба ставила новые цели — и изменялись их взгляды. Конечно, их можно упрекнуть в пристрастном интересе к президентскому креслу, но их способность формулировать цель, которая объединит наибольшее число конфликтующих групп и партий, заслуживает безусловного уважения. Их сила была в том, что в осуществлении этой цели они действовали с непреклонной убежденностью, одновременно внедряя в сознание избирателей мысль о своей незаменимости в качестве защитников общественного мнения.

Им не требовалось напоминание Эмерсона о «горшке супа и миске молока», они сидели на своих фермах в Маршфилде, Форт-Хилле и Эшланде, словно Вашингтон и Джефферсон, с достоинством удалившись в свои имения Маунт-Вернон и Монтчелло. Они не просто платили дань привязанности своим ларам и пенатам — они деятельно занимались хозяйством. За плечами у них было классическое образование, и слово «республика» было для них не звук пустой. Дух лояльности, к которой они неизменно взывали, многое объясняет в экономической и политической истории в период 1815—1850 годов, ибо преданность интересам страны и своей партии часто вынуждала их жертвовать требованиями экономической и политической целесообразности.

#### 4

Генри Клей был первым в ряду новых лидеров, которого искусство красноречия сделало фигурой национального значения. «Гарри с Запада» родился в Виргинии, сформировался под влиянием аграрных идей Джефферсона. Перебравшись в Кентукки, он вдохнул воздух предпринимательства и экспансии, вошел в законодательный орган штата, в 1806 году был избран в сенат Соединенных Штатов. Не пробыв и двух недель в столице, писал Генри Адамс, двадцатилетний сенатор, воскуривая фимиам Союзу и отцам нации, внес новую струю в американскую

политику. Джордж Вашингтон и его современники, разумеется, уже были вознесены на пьедестал, и время от времени им платилась необходимая дань уважения, но отныне американские ораторы наперегонки кинулись обожествлять их.

Впрочем, сам Клей отваживался и на упреки тому, кого обожествлял. Политика Вашингтона и других стариков основывалась на благоразумной осторожности и стремлении к миру, и в результате такой политики армия превратилась в скромную полицейскую силу, противостоящую индейцам. Выражая чувства шестидесяти молодых новоиспеченных конгрессменов, Клей преисполнился решимости показать, на что способна молодежь, и убедил страну, практически не имевшую армии, дать отпор державе, чью армию возглавлял Веллингтон, а флот хорошо усвоил уроки Нельсона. «Сэр! — восклицал он в сенате за два года до начала войны 1812 года. — Неужели никогда не настанет такое время, когда мы, будем заниматься собственными делами, не боясь оскорбить при этом его британское величество? Неужели над нами будет всегда занесена британская розга?.. Заявляем мы свои права на море, утверждаем ли на суше — нас всюду преследует эта угроза. И она уже отягощает сознание народа».

«Ястребы» и, конечно, Клей оправдывают характеристику, данную им Джосайей Квинси: «Только что вылупившиеся, совсем неоперившиеся молодые политики». Однако, войдя в палату представителей в 1811 году и сразу избранный ее спикером, Клей, «Западная Звезда», был выразителем настроений, охвативших всю долину Миссисипи, где население болезненно переживало вызывающее самоуправство британских властей и Юга, решившего отторгнуть Флориду и Мексику от союзника Британии — Испании. Несмотря на обиды, чинимые рыбакам англичанами, Новая Англия в целом процветала и потому не пылала желанием вступить за национальное достоинство, но и она не осталась глуха к призывам крестоносцев с Запада и Юга. Предводительствуемые Клеем «Ребята Свободы» видели в освобождении от диктата европейских государств своего рода новую Декларацию независимости. Потребовались два напряженных года организационной работы и публичных выступлений, прежде чем Клей одолел сопротивление федералистов. Обосновывая необходимость создания флота, милиции, кавалерии для охраны фронта, требуя для них снаряжения и продовольствия, Клей понял, какой это труд — привести в порядок государственные ресурсы и внедрить в сознание народа идею национальной независимости. Поистине Клей и его коллеги заслужили репутацию отменно храбрых людей — столь велики были трудности, с которыми они столкнулись. По всем расчетам их политика была чревата поражением и разрухой, но в конечном счете, невзирая на военные неудачи, нация обрела уверенность в собственных силах и заставила Европу считаться с независимым положением страны.

Умение Клея широко мыслить породило грандиозные планы по созданию сбалансированной экономики Соединенных Штатов — сам Клей и назвал это «американской системой». Выразилось недовольство: система только повод для проведения политики высоких тарифов, но это была очень близорукая оценка. Клей выступал за протекционистский тариф, поощрявший развитие промышленности, что было явным отходом от политики Джефферсона, в которой Клей был наставлен в юности. Высокие тарифы, убеждал Клей, дадут стране индустриальную самостоятельность в случае войны, обеспечат занятость рабочего населения, а это в свою очередь создаст необходимый рынок для развивающегося Запада и плантаторского Юга. Значительная часть тарифного сбора пойдет на образование фондов, потребных для внутренних преобразований на Западе, и, стало быть, выгоды от системы познает вся страна в целом. Если бы было возможно взять под контроль местнические, классовые и производственные интересы и стремиться к равновесию в экономике, то «американская система» с лихвой отблагодарила бы своего неумолимого автора. Но поразительная слепота сторонников Национального банка, непреклонная враждебность Джексона и «людей фронта» и требование привилегий для Юга, предъявленное Кэлхуном, создали критическое положение, разрешившееся «нуллификацией» 1833 года. Клей понял, что «американская система» идет вразрез с интересами Союза, и пожертвовал этим своим крупнейшим вкладом в искусство государственного управления, открыв дорогу компромиссному тарифу.

В годы своего наиболее полного расцвета сил, с 1833 по 1844, Клей был лидером оппозиции, но достиг немногого. Присоединение Техаса заставило его с горечью признать, что превыше всего он ценит сохранение целостности Союза, а для кандидата Юга на президентских выборах (1844) такая позиция была уступкой; в его стремлении найти среднее решение усмотрели только неумолимое желание сесть в президентское кресло. Ему будет семьдесят два года, он уже шесть лет просидит затворником в своем Эшланде, когда его призовут выступить в прежней роли миротворца, и тогда он напомнит сенату, что он выше честолюбивых соображений, резко осудит жестокий дух партийности и со всей страстностью будет, убеждать в необходимости компромисса:

«Ее конечным результатом (то есть Гражданской войны) будет угашение этого славного огня, который светит всему человечеству, жадно вззирающему на него в надежде, что воцарившаяся здесь свобода рано или поздно распространится по всему цивилизованному миру».

Разгоревшиеся вокруг компромиссных предложений Клея дебаты вписали яркую страницу в американскую историю, а может стать, и в историю любой парламентской системы. Ни годы, ни болезни ничуть не поколебали влияния Клея, Кэлхуна

и Уэбстера в сенате, где все громче заявляла о себе горячая, нетерпеливая молодежь — Уильям Сьюард, Сэлмон П. Чейз, Джефферсон Дэвис, Стивен Дуглас. Но старые лидеры были живым подтверждением проверенных временем истин; у молодежи не было этого преимущества. Гарри с Запада был теперь Великим Миротворцем. Впалые щеки, заострившийся нос, лысина, пепельно-серая бахрома волос, падавших с затылка на плечи, — все говорило о преклонном возрасте, но этот старец как никто умел пронять переполненные галереи. Его речи были тем неотразимее, что он являлся автором компромиссных предложений. Ему были ведомы крайности обеих партий. Он знал характер своего народа, и никто не решится обвинять его в честолюбии после таких слов:

«Всегда и во всем я выступаю за почетный компромисс. Сама жизнь есть только компромисс между жизнью и смертью, борьба во все время нашего существования, покуда не восторжествует Великий Уничтожитель. Законодательство, правительство, общество основываются на принципе взаимной уступчивости, предупредительности, уважения, на этом все держится... тот, кто сумел подняться над всем человеческим, не ведает людских слабостей и нерешительности, всем доволен и ни в чем не испытывает нужды — пусть он говорит, если ему угодно: «Я никогда не пойду на компромисс!» — но не пристало прерывать компромиссы тому, кто не превозмог своей природы».

Современники наградили Клея званием величайшего оратора, однако его речи не оставили заметного следа в литературе. У него был удивительно практический взгляд на вещи, и его выступления были всегда подчинены соображениям пользы. Но он изнутри понимал американца и как никто из современников увидел его силу и слабость, раскрыв чувства, надежды и стремления, которыми тот жил.

## 5

Слава выдающегося оратора пришла к Дэниелу Уэбстеру в 1818—1830 годах. В 1813 году, когда ему был тридцать один год, его избрали в конгресс и он привлек внимание первой своей речью, выказав начитанность в истории и убедительную аргументацию. Тогда же главный судья Маршалл в письме к другу пророчествовал: Уэбстер «займет место среди первых государственных мужей Америки, а может, и самого первого». Если бы каким-то образом карьера Уэбстера прервалась после Второго ответа Хейну (1830), его огромная слава не знала бы ущерба. К этому времени он был уже автором двух десятков речей, вошедших в историю. Он завоевал репутацию блестящего адвоката — и в Верховном суде (дело о Дартмутском колледже, 1818).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> За исключением специально оговоренных случаев, в этой главе приводятся даты произнесения речей, а не их публикации.

и в уголовных судах (процесс о Белом убийстве, 1830). Однако подлинную славу Уэбстеру доставили его торжественные речи — в Плимуте (1820). Первая речь в честь Банкер-Хилла (1825), панегирик Адамсу и Джефферсону (1826). Вплоть до Гражданской войны не одно поколение американских школьников декламировало эти речи в подобающих случаях, а торжественная каденция его Второго ответа Хейну — «Свобода и Союз отныне и присно единые и неделимые» — стала боевым девизом федеральных войск в 1861 году.

Внешне, по знаниям и деятельному характеру Уэбстер был идеальный оратор. Однако неповторимо своеобразным его делают юридический склад ума, способность облекать великие идеи в гармонический стиль и замечательная сила воображения. Клей превосходил его в искусстве полемики и организаторскими талантами; Кэлхун как мыслитель был глубже и дальновиднее. Уэбстер был оратор-ментор *par excellence*<sup>1</sup>. Свои принципы выразительной речи он изложил в панегирике Адамсу и Джефферсону, произнесенном в Фэней-Холле 2 августа 1826 года:

«Когда в важных случаях обращаются к собранию, когда в опасности общие интересы и страсти возбуждены, тогда ничто так не важно для речи, как достойный духовный облик. Ясность, сила, честность — вот что убеждает. В сущности говоря, истинное красноречие — это не речь сама по себе... Оно должно заключаться в человеке, в предмете его интереса, в поводе для выступления. Наигранная горячность, яркая выразительность, декламаторство сами по себе красноречивы, но это не красноречие. Оно прорывается как родник из земли, как извержение вулкана, это вольная, настоящая, природная стихия».

Когда на сессии сената 1829—1830 годов Уэбстер выступил с ответом Хейну, его репутация вознеслась на недостижимую высоту. Сенатор Фуг от Коннектикута внес резолюцию, предлагающую рассмотреть практические выгоды от сокращения продажи государственной земли на Западе. Сенатор Хейн от Южной Каролины заявил гневный протест: восточные штаты всегда суют Западу палки в колеса. В поддержку Фуга взял слово Уэбстер. Его вступительная фраза остается самой известной в анналах наших парламентских прений: «Господин президент! Когда моряк на много дней вверяется непогоде и океанской стихии...» Этой речью Уэбстер решительно пресек злые толки о своем характере и якобы истинных побуждениях, представив весомые доказательства своей верности Конституции. Что же касается Хейна, утверждал Уэбстер, то он сеет мысли, которые наверняка приведут к расколу Союза и Гражданской войне. В заключительной части его речи мы вдруг начинаем слышать язык, которому придет срок только через тридцать лет:

<sup>1</sup> Преимущественно (фр.).

«И когда в минуту прощания я подниму глаза к солнцу на небе, то пусть не дано мне будет видеть, как его лучи затопляют светом обесчещенные обломки некогда славного Союза, как приходят в запустение, расстройство и ожесточаются штаты, как земля отдается гражданским распрям или, того хуже, заливаётся братской кровью».

Общественное мнение чрезвычайно высоко оценило Второй ответ Хейну. Звезда Уэбстера была в апогее. Еще немало речей он произнесет, будут и удачи, но многие выступления окажутся недостойными его имени. Только раз сверкнет он былым блеском, хотя и стяжает сомнительную славу, — это его Речь от Седьмого марта (1850), где он отмежевывается от аболиционистов и, по существу, оказывает поддержку южанам.

С дистанции сегодняшнего дня видно, что уже с весны 1850 года над Союзом нависла угроза военного конфликта. Генерал Уинфилд Скотт писал генералу Шерману: страна стоит «накануне страшной гражданской войны». Те же мысли высказывали такие разные очевидцы событий, как Александр Стивенс, Френсис Либер и Хорэс Манн. Эдвард Эверетт писал в конце декабря 1850 года: «Радикалы с Юга намерены отделиться, катастрофа, по-видимому, неизбежна».

И во всем этом Уэбстер отдавал себе отчет, когда обдумывал речь «Конституция и Союз» — в истории она известна как Речь от Седьмого марта. Первая же фраза задает всему тон: «Сегодня я хочу говорить не как человек из Массачусетса или с Севера, но как американец».

Его выступление продолжалось свыше трех часов — в опубликованном виде это сорок одна страница текста. В основной части оратор бесстрастно анализирует взаимные претензии Севера и Юга. Он признает, что Север нарушил конституционные обязательства относительно возвращения беглых рабов. Он допускает, что аболиционистские общества лишь накалили страсти, не содеяв ничего «доброе или полезное». Он не отрицал воспламеняющих последствий резолюций об отмене рабства, принятых законодательными органами Севера. Но ведь Север всегда выступал против института рабства, который Юг желает «увечковать, сохранить и расширить». Решение, настаивал Уэбстер, можно обрести только на основе нового взаимопонимания, при условии восстановления «искренних и братских чувств между Севером и Югом». Любая попытка «мирного отделения в корне невозможна», — возгласил он в сторону Кэллуна.

Коснувшись экономического решения проблемы, Уэбстер высказался в поддержку проекта, по которому освобожденных рабов следовало отправлять «в колонии и другие места земного шара». Он согласился также с выплатой Техасу порядочной компенсации за передачу Соединенным Штатам земель, погра-

ничных с Нью-Мехико и в представлении техасцев всегда бывших их собственностью.

В заключение оратор рекомендовал «прекратить разговоры о возможности и целесообразности отделения», по-прежнему вдыхать «чистый воздух свободы и Союза», сохранить Конституцию и «всем, кому судьба назначила жить под ее сенью, дать согласие и мир».

В целом это мудрая и сдержанная речь, спокойная и выдержанная по тону. В этом ее сила. Уэбстер показал себя способным мыслить как государственный деятель, и история его оправдала. Но друзья из Новой Англии, в особенности аболиционисты, так никогда ему и не простили. Поэт-квакер Уитьер не замедлил наречь некогда великого Дэниела именем Икабод и в язвительных строчках пропеть ему отходную.

Не оскорби, страна, того,  
Кем ты гордилась встарь,  
Боль не усугуби его,  
Бесчестно не ударь.  
Пусть, как над мертвым, там и тут,  
От моря до озер,  
Над ним сыны твои вздохнут —  
И кончен разговор.

Зато еще целое десятилетие Союз сохранял единство. Найдись хотя бы один такой оратор после Уэбстера и сумей он замирить нацию, скажем, до 1870 года, и экономические факторы — а теперь мы знаем им цену — предотвратили бы кровопролитие.

## 6

Третий в триумвирате, Джон К. Кэлхун, вступил в пору расцвета несколько позже Клея и Уэбстера. Его лучшие речи были произнесены в сенате в период 1833—1843 годов и затем незадолго перед смертью (1850). Наиболее известны, его речи против закона о насилии (1833), в поддержку прав отдельных штатов (1833), против подстрекательских публикаций (1836), в осуждение резолюции об отмене рабства и поддерживающей аболиционистские петиции (1837), против закона о десяти полках (1848) и, наконец, последняя, произнесенная буквально накануне смерти, «К вопросу о невольничестве» (1850);

Уже один этот перечень показывает, что обычно Кэлхун был в оппозиции; в качестве представителя Юга он последовательно выступал против всех мер, направленных на ограничение или уничтожение рабства. Как в 1837 году он убеждал, что рабство — «это безусловное благо», так до самой смерти храбро вел свою линию в сенате, добиваясь равновесия между рабовладельческими и свободными штатами. Блестящее йельское образование, первоклассная юридическая стажировка у судьи Рива из



Личфилда, аналитический ум — с такими данными Кэлхун был более чем достойный соперник даже для Клея и Уэбстера.

На протяжении многих лет Уэбстер, выразитель интересов промышленной Новой Англии, и Кэлхун, представитель рабовладельческой аристократии Юга, были непримиримыми антагонистами (впрочем, в 1830 году, которым датируется ответ Уэбстера Хейну, Кэлхун был уже вице-президентом, и поэтому великий инициатор нуллификации уступил Хейну лавры первого проводника доктрины). Короче говоря, Кэлхун утверждал, что каждый штат сохраняет право сопротивляться, даже препятствовать федеральному правительству в проведении на его территории того или иного законодательного акта Соединенных Штатов.

Эмерсону принадлежат слова: «Красноречия нет там, где за словами не стоит человек». Из всех государственных деятелей эпохи, предшествовавшей Гражданской войне, Кэлхун, пожалуй, наиболее подходит под классическое определение оратора: хороший человек, искусный в красноречии. Даже политические противники были в восторге от его характера, охотно признавали его абсолютную неподкупность. Его голос и эрудицию нельзя было купить. Чтобы дать Кэлхуну справедливую оценку, мы должны все время помнить о прямолинейности его духовного склада.

«И более того, если современное состояние цивилизации допускает существование рядом двух разнородных рас, отличающихся друг от друга цветом кожи и другими физическими признаками, а также уровнем духовного развития, то форма их взаимоотношений в наших южных штатах — я это утверждаю — не есть зло, а, напротив, это благо, безусловное благо. Я чувствую необходимость высказаться со всей прямоотой, коль скоро затрагиваются честь и интересы моих избирателей. Поэтому я утверждаю, что во всяком развитом цивилизованном обществе одна часть населения живет за счет труда другой части. Это общее наблюдение подтверждается всем ходом истории».

Это из обращения Кэлхуна к сенату в 1837 году, когда дебатировалось принятие конгрессом ходатайства об отмене рабства в округе Колумбия. Речь дает хорошее представление о стиле и логическом мышлении Кэлхуна. В отличие от многих своих коллег он был чужд излишней эмоциональности. Неуклюже и в целом неудачно трактовал он этическое доказательство, и тема была не по его характеру. Но его продуманные, сильные аргументы слушатели ловили на лету. Он был мастером причинно-следственного анализа и для вящей убедительности часто обращался к примерам и аналогиям из специальных областей, прибегал к мнению специалистов. От его слов исходит холодный стальной блеск, это не какие-нибудь переливы струй, куда-то увлекающие. Вопреки южной ораторской традиции язык Кэлхуна лишен экзальтированности и вычурности.

И уж никому не пришло бы в голову бросить ему упрек, высказанный однажды Джоном Квинси Адамсом по адресу Джона Рэндолфа: «Как обычно, в его речи не было ни начала, ни середины, ни конца. Самовлюбленность, виргинская аристократия, бичевание рабов, свобода, религия, литература, наука, остроумие, воображение, добрые чувства, злые страсти — все это совершенно перемешалось в его голове и ничего путного произвести на свет не может». «Железный человек и словно таким родился», — отозвалась о нем Гарриет Мартино. Понятно, почему Кэлхун никогда не был столь популярен, как Клей, и не мог сравниться с Уэбстером в его блистательном красноречии. Его влияние (отнодь не интересы) было местным. Человек суровый, замкнутый, прямолинейный, он и не мог претендовать на роль народного кумира. И однако его речи определенно заслуживают внимания. Они не скучны, не громоздки, а главное — в них содержится толкование конституционных принципов, позволившее Югу три десятилетия подряд защищать институт рабства, пока в форте Самтер не прозвучал первый роковой выстрел.

7

Летом 1850 года молодой адвокат Авраам Линкольн из Иллинойса записал несколько мыслей, готовясь к лекции о юриспруденции. Это как бы краткий очерк его характера и будущей карьеры:

«Импровизированные выступления нужно поощрять и развивать. Это средство расположить к себе публику. Пусть во всех других отношениях адвокат и хорош, и заслуживает доверия, но, если он не умеет говорить, люди вряд ли доверят ему свои дела. При этом нет для молодого адвоката более роковой ошибки, нежели полагаться только на искусство составления речей. Можно заранее обещать неуспех тому, кто, полагаясь на дар речи, сочтет себя свободным от каторжных забот правоведа».

Следуя собственным предписаниям, Линкольн посвятит десять лет прилежным занятиям и участию в диспутах, чтобы стать признанным народным лидером и продолжать традиции Клея, Кэлхуна и Уэбстера.

Если спросить американца, какие речи Линкольна он помнит, ответ почти наверняка будет — Геттисбергская и Речь при втором вступлении в должность президента. Специалист в области литературы или истории добавит Дебаты Линкольн — Дуглас (1858), Обращение к Купер-юнион (1860), Прощальное слово в Спрингфилде (1861), Письмо родителям полковника Элсуорта (1861), Письмо миссис Биксби (1864) — список можно продолжить. Эти письма и речи упрочили за Линкольном славу мастера англоязычной прозы.

Подобно Уэбстеру, Линкольн не сразу оценил выразительную силу простого стиля. Будучи начинающим политиком, он приобрел вкус к орнаментальности. Но в 1858 году, во время президентской кампании Захарии Тейлора, ему довелось услышать в Бостоне Уильяма Сьюарда (его будущий вице-президент), и его потрясли ясная логика и непритязательная выразительность этого выступления. Зрелым мастерством отмечены уже выступления в Пеории (1854), знаменитая речь «Дом распавшийся и воссозданный», произнесенная в 1858 году на съезде республиканцев Иллинойса, и особенно Обращение к Куперюнион (27 февраля 1860 года).

Генри Уорд Бичер пригласил Линкольна выступить с этой речью в его плимутской церкви в Бруклине; потом выбор пал на более просторное помещение. Основную часть своего выступления Линкольн отвел полемике со Стивеном Дугласом, утверждавшим, что авторы Конституции не давали правительству право запрещать рабство на территориях Союза. После этой речи Линкольн мог уже спокойно выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Вот впечатление очевидца, Джозефа Чоута: «В тот вечер весь огромный зал, а поутру и целый город разражались аплодисментами и поздравлениями, и вчерашний незнакомец отбыл триумфатором в лавровом венке».

Линкольн-президент будет известен уже не только как оратор, но автор превосходной прозы. Он и речи обычно будет читать по рукописи, уделяя больше времени и внимания их подготовке. Пронизанные грустной надеждой, заключительные слова его менее популярной у читателей речи на первое избрание написаны твердой рукой литератора:

«Я не хочу кончать. Мы не враги, мы друзья. Мы не должны быть врагами. Даже напряженность в наших отношениях не должна разрывать узы взаимной любви. Мистические струны памяти, протянувшиеся от полей сражений и могил патриотов к живым сердцам и теплым очагам, еще прозвучат в многоголосье нашего Союза, когда их затронут добрые ангелы нашей души».

Эдвард Эверетт первым по достоинству оценил Геттисбергскую речь Линкольна. На следующий день он писал президенту из Вашингтона:

«Я был бы счастлив польстить себя мыслью, что за два часа сумел так же близко подойти к смыслу явления, как Вы за две минуты».

Линкольн учтиво ответил ему:

«Перед нами стояли разные задачи, и как вам не простили бы короткого выступления, так и меня не стали бы слушать долго. Мне было приятно узнать, что; по вашему мнению, в своем кратком слове я что-то успел высказать».

Возвышенную красоту Геттисбергской речи оценят позже. Та же судьба постигнет Речь на второе избрание. Зато британ-

ские критики, прежде не упускавшие случая пренебрежительно отозваться о достижениях американской литературы, сразу высоко оценили поэзию этих строк:

«Ни к кому не питая злобы, исполненные милосердия, твердые в истине, в которой наставит нас Господь, будем же со всем старанием подвигать к окончанию нашу работу: перевяжем стране ее раны, позаботимся об ушедшем на поле брани, о его вдове и сироте, — сделаем все возможное, чтобы завоевать и сохранить справедливый долгий мир у себя дома и в семье других народов».

Гладстон писал: «Я совершенно покорен этой замечательной речью. Я вижу в ней награду тяжким испытаниям: если их достойно перенести, то человеку откроются высокие мысли и дела. Порою народы обретают лучшую жизнь лишь ценой жестоких страданий. Такова же судьба человеческая. Слова Линкольна убеждают в том, что преображающую чашу тревог и страданий он испил до дна».

Таково свидетельство оратора, ставшего затем литературным критиком. Его мнение ценно, оно напоминает нам, что Линкольн-оратор сохраняет для нас значение как художник слова, литератор. У него был настолько верный вкус, что мы готовы забыть его усилия риторика. Однако, когда Линкольн говорил, он сознавал себя оратором. Он всходил на трибуну, чтобы убеждать.

## 8

В течение сорока с лишним лет выдающимся оратором-ученым был Эдвард Эверетт (умер в 1865 году), одно время он даже сравнился славой с Уэбстером. Сто лет назад его речи были бестселлерами, в 1878 году их насчитывалось девять изданий. Его знаменитая речь «О характере Вашингтона» издавалась без малого 150 раз, значительную часть доходов от этих изданий он передал в Женскую ассоциацию Маунт-Вернона. Эта организация основалась около 1856 года с целью содержать в порядке поместье Вашингтона. Во всех речах Эверетта содержание и форма отмечены печатью его классической учености. Он не глубок, но и в поверхностности его упрекнуть нельзя. Пожалуй, перенасыщенность и разномастность примеров из литературы и истории как раз и составляют уязвимую сторону его речей. Но современники не возражали. Они восхищались Эвереттом, восторженно слушая его.

«Он очень искусствен, — жаловался Эмерсон, — и, несмотря на все его таланты и высокие достоинства, я сейчас вижу больше поводов осуждать его, нежели превозносить. Ему мало быть Эдвардом Эвереттом, ему хочется быть еще Дэниелом Уэбстером. Это его неутолимая боль». На склоне лет и сам Эверетт признал необходимость несколько подсушить свой

красочный стиль. «Эту операцию, — продолжал он, — можно к вящей пользе ужесточить, поскольку я вижу, что они (его речи в издании 1849 года. — *Ред.*) все еще страдают от недостатка той простоты, которая является их главным достоинством».

Справедливость этой самокритики очевидна всякому, кто одолел двухчасовую речь Эверетта в Геттисберге. Но выступление Эверетта отнюдь не назовешь неудачным. Публика наградила его долго не смолкавшими аплодисментами, и продолжить критику Эверетта несправедливым сравнением с Линкольном — значит совершенно не оценить его способность воодушевлять аудиторию. Впоследствии и Эмерсон отдаст должное Эверетту, который «был одарен замечательным умением отбирать нужные факты и каждый раз с искусной непринужденностью пускать их в дело». Эверетт был самым эрудированным ритором того времени, тысячам и тысячам не прошедших наук американцев он раскрыл вождельный мир высоких чувств.

Проповедники с кафедр, профессионалы агитаторы, ораторы-женщины, публика мелкого разбора — все включились в борьбу с рабством. Эта широкая кампания не ограничилась стенами конгресса. Она включает сотни имен. Первыми среди проповедников и реформаторов были Теодор Паркер, Генри Уорд Бичер и Филлипс Брукс. Это заметные фигуры в антирабовладельческом движении, а влияние Бичера и Брукса сохранилось и в эпоху Реконструкции.

Теодор Паркер поддерживал идеи, которым только предстояло завоевать популярность, и в их популяризации его немалая заслуга. Он выступал против бесплодного рационализма официального унитаризма, бичевал общественные злоупотребления, в 50-е годы словом и делом сокрушал институт рабства. Не покладая рук он боролся с бостонской олигархией — с сильными пережитками федерализма, с «хлопковыми» вигами, с демократами, которые не моргнув глазом приняли закон о беглых рабах, с влиянием Уэбстера, которого любил, но после его смерти разделал так, что другой такой поминальной речи не сыщешь.

«Никто из живущих, — сказал он своей пастве, — не преуспел столько в совращении духа народного, никто так не скомпрометировал прессу, кафедру, народное собрание и судебное присутствие... Он отравил нравственные родники, и испившие этого яда погубили свои души».

Оставив свою церковь в Вест-Роксбери ради попечения о трех тысячах прихожан, обосновавшихся в старом здании «Мюзик-Холл» на Вашингтон-стрит, Паркер стал хранителем общественной совести Бостона. Он рассказывал, что в городе его люто ненавидят, что ему постоянно угрожает физическая

расправа. Эмерсон был близок к истине, когда назвал его одним из четверки великих мужей своего времени.

В богословии Паркер был трансценденталистом. Его проповедь «О преходящем и вечном в христианстве», сказанная в 1841 году, занимает в истории трансцендентализма примерно такое же место, как балтиморская проповедь У. Э. Чаннинга (1819) — в истории унитаринства. По сравнению со взглядами Эмерсона в трансцендентализме Паркера больше логики и меньше возвышенности. По этой причине его пропаганда ново-явленной веры доходила до тех слушателей, которых Эмерсон не мог увлечь. Красноречие, с которым он проповедовал «новые взгляды», было сдержанным, неприязательным, метафора обогащала простой, обиходный словарь. Все речи Паркера, а в особенности его выступления против рабства, убеждают, что это и был эмерсоновский «мыслящий человек» — великая душа, он жил мужественно и думал мужественно и ни разу не поступился собственным мнением ради «общепринятых представлений и в угоду обстоятельствам».

Нечастый пример настойчивости, с которой завоевывается расположение враждебно настроенной аудитории, представляет речь Генри Уорда Бичера в защиту Севера, произнесенная в Ливерпуле в 1863 году. Оратор с поразительным искусством выбирал аргументацию, ориентируясь на слушателя. Он оперировал яркими убедительными примерами, ссылаясь на историю, приводил цифры, добиваясь одного — справедливости и права быть выслушанным. Начавшись под свист и выкрики, речь кончилась единодушным выражением благодарности.

Проповедь памяти Авраама Линкольна (1865), речь Бичера на поднятии флага в форте Самтер (1865) и его йельские лекции об искусстве проповеди не утратили интереса по сегодняшнему дню. Бичера нельзя упрекнуть в неспособности отстаивать свою точку зрения доводами рассудка, однако понастоящему хорош он был, апеллируя к воображению. Он так определял свой метод:

«В любом обществе примерно шестеро из семерых восторженно примут эмоциональную, дышащую страстью часть проповеди, восклицая: «Вот такая проповедь по мне, я все понимаю, потому что так же чувствую». Они прислушиваются к своему сердцу, и у них столько же права слушать голос сердца, как у других — доводы разума».

В числе менее влиятельных политических ораторов заслуживают быть упомянутыми «золотой старик» Томас Харт Бенсон из Миссури, защитник прав поселенцев на общественные земли и апологет преимуществ золотой и серебряной валюты перед бумажными деньгами; Томас Корвин, в блестящей пророческой речи предостерегавший от войны с Мексикой; бывший президент Джон Квинси Адамс, вселявший жизнь в дис-

куссию о рабстве и в 1844 году, после шестилетнего запрета добившийся разрешения зачитывать в палате представителей антирабовладельческие петиции; Стивен Дуглас, занявший место Линкольна в сенате, а затем завоевавший репутацию «представителя и выразителя самого существа демократии»<sup>1</sup>.

Наиболее характерные выступления, связанные с Гражданской войной, принадлежали Чарльзу Самнеру («Преступление против Канзаса», 1856), Уильяму Сьюарду («Неукротимый конфликт», 1858), Джефферсону Дэвису («Об отпадении от Союза», 1861) и Александру Стивенсу («К вопросу о Конституции Конфедерации», 1861). За региональные рамки выходило значение и таких ораторов-южан, как Роберт Хейн из Южной Каролины, Уильям Л. Йенси («певец сессии») и Сарджент С. Прентисс, уроженец Мэна, усыновленный Миссисипи.

Могущество гласного слова накануне Гражданской войны ярче многих современников воплощал, пожалуй, Уэнделл Филлипс. Он не был ни государственным деятелем, ни проповедником — это был образцовый агитатор-профессионал. Джордж Уильям Кертис относил его знаменитую речь «Убийство Лавджоя» (1837) к числу величайших публичных выступлений в Соединенных Штатах, ставил ее в один ряд с «Призывом к оружию» Патрика Генри и Геттисбергской речью Линкольна. В 50-е годы Филлипс занимал первое место среди таких ораторов, как Дуглас и Линкольн, Сьюард и Сэмнер, Чейз и Чоут. В годы войны (1861—1865) его лекция о Туссене Лувертюре, прочитанная свыше тысячи раз, возбуждала и покоряла даже ослепленных расовыми предрассудками. Призванная показать неразбуженные возможности цветного человека, она помогла лучше понять негра, внушала к нему симпатию, как к равноправному существу.

В 40—60-е годы заметной была и деятельность женщин-агитаторов. Многие из их превосходных речей пропали, и вплоть до недавнего времени историки даже не принимали в расчет этот пласт духовной культуры. Зато столетие назад они будоражили умы: Френсис Райт, шотландка по происхождению, в своих лекциях призывала мыслить независимо, уроженка Южной Каролины, светлая голова Анджелина Гримке обличала рабство, проповедовала аболиционизм новообращенная учительница из Новой Англии Эби Келли. Чуть позже превосходных ораторов — честных и искусных — дал Оберлинский колледж; это поборница женского равноправия Люси Стоун, противница рабовладельчества Антуанетт Браун и Сэлли Холли.

В описываемый период замечательных ораторов дала и юриспруденция. Специальностью Руфуса Чоута были выступления в суде присяжных; Иеремия Блэк обычно брал защиту гражданских прав в Верховном суде; Уильям М. Эвартс был

---

<sup>1</sup> Линкольн был республиканцем, Дуглас — демократом. — *Прим. перев.*

правительственным адвокатом по делам каперства и прочим тяжбам, доставшимся в наследство от Гражданской войны. Чоуту принесло известность также его Похвальное слово Уэбстеру (1853), прочитанное в Дартмутском колледже. Речи Блэка и Эвартса далеко не литературные шедевры, но сами ораторы были толковые юристы, брали всегда трудную тему и развивали ее искусно, в лучших аристотелевских традициях, применяясь к аудитории — будь то собрание искушенных законников или рядовых обывателей.

Рассматриваемое в сложном переплетении политической и литературной истории, американское ораторское искусство в период 1861—1865 годов предстает силой, оказавшей глубокое влияние на судьбы нашей нации. Сегодня мы хорошо сознаем, что многие могучие общественные движения, увлекшие за собой обыкновенного человека, возникали в захолустье. И точно так же в безвестности начинали свой путь многие трибуны этого исключительно ораторского века. К вершинам славы и власти их вынесли грандиозность и злободневность проблем, которым они отдавались, и отличная школа ораторского мастерства. Мы бегло назвали нескольких, а их были тысячи, сегодня они позабыты, но в своих скромных пределах они пользовались уважением, воспитывали в людях убеждения, побуждали к действию.

Ораторское искусство — инструмент политики. В сущности говоря, только демократическая практика публичных обращений — официальных, в форме дискуссий, совещательных — создала и упрочила национальное самосознание, сформулировала основы развития Запада, открыла перед простым человеком перспективы, утвердила, а затем и сокрушила рабовладение. Оглядываясь назад, мы видим, что даже самые пламенные речи недолго сохраняют свое значение: что услышано — то позабыто. Однако в годы, предшествовавшие Гражданской войне, американцы, услышав, без конца обдумывали, перечитывали вслух и закрепляли в памяти любимых ораторов. «Затверженные в школе благородные пассажи из Уэбстера подготовили мальчишек Севера к тому, чтобы с оружием в руках откликнуться на призыв Линкольна поддержать национальное правительство и спасти Союз».

## 9

После Гражданской войны радикалы из республиканской партии оказались победителями. В течение последующих двадцати лет им принадлежало решающее слово в общественной жизни, но им не требовалось ораторского искусства, чтобы защищать свое господствующее положение. Помахать в воздухе окровавленным знаменем — вот все, что могло потребоваться в драматическую минуту. На политических и юбилейных обе-



дах самыми желанными ораторами были генералы Гражданской войны — одно их присутствие воскрешало в памяти Геттисберг и Атланту, и, взметнувшись с мест, присутствующие затягивали «Мы идем по Джорджии». Закономерно, что в эти годы традиции политического красноречия почти сошли на нет. Единственным политическим деятелем из заметных ораторов был Джеймс Блейн. Да и он был скорее полемист, чем оратор, а его тактика нападок и высмеивания частенько оборачивалась против него самого.

По мере того как демократы понемногу возвращали утраченные позиции, проблему Реконструкции сменили новые общественные заботы — популизм и свободная чеканка серебряной монеты, империализм и могущество трестов, — и на арену вступило новое поколение ораторов. Целых тридцать семь лет звучный, неутомимый голос Уильяма Дженнигса Брайана растолковывал американскому народу программу демократической партии. Как отмечал один наш историк, в искусстве управлять людьми с ним соперничал только Сэмюел Адамс, а ведь Адамсу не приходилось выступать перед пятнадцатью тысячами слушателей и подниматься на трибуну по тридцать раз в день. Библейская простота стиля, апелляция к чувствам слушателей, видевшим в нем неутомимого защитника Запада и Юга от власти денежных магнатов с Востока, — все это способствовало успеху его выступлений. Он не выдвигал новых идей и не снисходил до спора. Он свято верил в мудрость дела, взятого им под защиту, и со всем доступным красноречием пытался обратить публику в свою веру.

Республиканцы Теодор Рузвельт и Элберт Дж. Беверидж, ставшие вскоре лидерами прогрессистов, в продолжение десяти лет (с 1896 года) были соперниками Брайана. «Любимцы публики» Рузвельт и Беверидж отметили свою общественную зрелость тем, что, не сбавляя наступательного тона, принесшего им известность, усвоили более прямолинейный и разговорный стиль. Скрипучий голос Рузвельта, прерывистый в минуты крайнего возбуждения, поначалу озадачивал слушателей, но скоро они переставали замечать это, настолько их захватывал цепкий и властный поток речи, в которой оратор страстно обличал корыстные «интересы» и отстаивал идеал воинственной империалистической Америки.

Время между Линкольном и Вильсоном великих ораторов не выдвинуло, однако и тогда были способные люди, отдававшие злободневности свое красноречие; некоторые их речи стали историческим событием в жизни нации. Речь Букера Т. Вашингтона на выставке в Атланте (1895) нашла широкую поддержку среди белого населения Севера и Юга, согласного с главной мыслью докладчика: негр должен «трудиться головой и руками на любом поприще нашей жизни». Одновременно речь раздражила часть воинствующих негров, и разногласия по

этому пункту до сих пор дают о себе знать в массе негритянского народа. На всю страну сделала известным редактора из Атланты Генри Грэйди его толковая речь о Новом Юге, произнесенная в декабре 1886 года в Нью-Йоркском новоанглийском обществе. За всю историю ораторского искусства в Америке можно буквально по пальцам пересчитать такие случаи, когда выступавший склонял на свою сторону деньги и власть, обладатели которых сначала отнеслись к нему с подозрением. Грейди не только сумел убедить их в том, что Новый Юг сохраняет верность Союзу: Дж. П. Моргану, Расселу Сейджу и прочим магнатам важнее было убедиться в другом — в деловых качествах Юга, которые после Реконструкции гарантировали северному капиталу прибыли.

К речам и выступлениям, спекулировавшим на трудностях в рабочем вопросе, все эти годы в основном сводилась руководящая роль организатора Американской федерации труда Сэмюэла Гомперса. Раскол внутри федерации он пресекал решительно и агрессивно. В рабочей среде по сей день помнят о его знаменитом выступлении на съезде в 1903 году, когда он свалил сильную социалистическую оппозицию.

Однако самым популярным в ту пору было имя Роберта Дж. Ингерсолла: народ богобоязненный видел в нем пресловутого язычника, а для других это был проповедник нового Евангелия, избавивший их от суеверия и фанатизма. Ингерсолл удачно выступал защитником в судах, на политическом же поприще не без его помощи прошли в президенты три республиканца; но запомнят его как величайшего агностика, умевшего внушить своим бесчисленным слушателям чрезвычайно серьезное отношение к себе, человеку с большим сердцем, вступившему за честь «поруганного с кафедры» бога. Устроитель лекций Редпат называл его «самой верной картой» в Америке, а относительно его дома в Сан-Франциско высказался в том духе, что никому еще не доводилось так отстроиться на гонорары с лекций.

Конечно, и в период между 1865 и 1912 годами были достойные личности, продолжавшие ораторские традиции Клея, Кэлхуна, Уэбстера и Линкольна, однако год от году притягательность ораторского искусства падала. Профессоров риторики в колледжах едва не ставили на одну доску с заурядными преподавателями элоквенции, и очень часто, увы, заслуженно. Некогда гордая профессия оказалась в немилости у академической братии. Все меньше места в организации студенческого досуга занимали дискуссионные общества, где прежде сложились многие великие ораторы и одно участие в которых давало больше пищи уму, нежели посещение регулярных занятий. Но и восстановить это искусство в прежней славе удалось вождю, получившему образование в университете. Вудро Вильсон уже мальчиком усвоил, что слово движет людьми. Читая с отцом

ораторов, он научился точно выражать мысль. В Принстоне, в колледжах Джона Хопкинса и Уэслианском он был постоянным организатором студенческих диспутов. Став профессором в Принстоне, он много лет удерживал звание самого популярного лектора; сколь бы хорошо ни знал преподаватель свой предмет, считал Вильсон, без ораторской выучки он не расшевелит студента. В Белый дом он вступил уже известным на всю страну трибуном. Когда страна оказалась на грани войны, он сумел внушить народу свои идеалы, следуя примеру своих учителей — Берка, Брайта, Гладстона, действовавших так же в решающие моменты британской истории. Не будем забывать, что именно красноречие Вильсона покорило его соотечественников, выступивших в великий крестовый поход за утверждение демократии. Поэтому-то столь глубоким и безысходным было разочарование, вызванное крушением его идеала мирового господства.

Изобретение радио открыло перед оратором огромные возможности и подвергло строгой ревизии все, чем он располагал. Эфир до неузнаваемости искажал голоса, весьма недурно звучащие в зале. Жесты и мимика как помощники вообще отпадали. А некоторым политикам, как, например, губернатору Элфреду Смуту, микрофон сослужил добрую службу. Слышавшие, как в кампанию 1928 года он после обязательных слов «подведем итоги» вечер за вечером разоблачал неприглядные дела республиканцев, — слышавшие его вспомнят, что по радио выигрышно звучал даже его ист-сайдский акцент<sup>1</sup>. На радио возникла и совершенно новая общественная фигура — политический обозреватель. У каждого слушателя есть свой любимец, и все же вряд ли кого любили больше, чем Рэймонда Свинга: это он в годы второй мировой войны каждый вечер успокаивал смятенные души соотечественников и братьев-англичан. Анализируя проблемы и события, он находил единственно верные слова — строгие и продуманные.

Но, безусловно, пальма первенства на радио должна быть отдана президенту Франклину Д. Рузвельту, Технический персонал не мог нарадоваться, до какой степени он был безразличен ко всякого рода производственным неудобствам. И радио доносило биение его сердца и мысли во все концы страны. Юмор, сарказм, чувство — все сохранялось. Он говорил из своего дома, но всем казалось, что он рядом со слушателем. И то, что он был гостем под кровом миллионов своих соотечественников, объясняет чувство личной потери, пережитой американцами после его смерти. Ни для кого не секрет, что, подобно многим общественным деятелям, он привлекал компетентных помощников, готовя свои речи, но общий тон и ключевые фразы безраздельно принадлежали ему. Наряду с Вильсоном он

---

<sup>1</sup> Ист-Сайд — восточный район Нью-Йорка.

внес немало крылатых слов в нашу речь. Он мог заставить оппонентов проглотить колючки иронии, мог волной красноречия всколыхнуть весь народ. Его силу составляла убежденность, что он говорит со всем народом и с единственной целью — сплотить его и умножить его мощь. В этом отношении он ровня ораторам нашего золотого века, и Клей, Уэбстер и Линкольн, мечтавшие увидеть объединенную Америку, подписались бы под словами, которые Рузвельт сказал в президентскую кампанию 1940 года:

«Разные нации, разные расы, разные вероисповедания — таков наш народ, скрепленный единым союзом — союзом Свободы и Равенства. Настраивать одну нацию против другой — значит замахнуться на все нации. Настраивать одну расу против другой — значит нести рабство всем расам. Настраивать одну религию против другой — значит поставить под угрозу все религии. Я борюсь за свободную Америку, за такую страну, где *все* мужчины и *все* женщины имеют одинаковые права на свободу и справедливость. Я борюсь и всегда боролся за права и самого скромного, и самого выдающегося, слабого и сильного, мне одинаково дороги и беспомощные, и те, кто могут позаботиться о себе сами».

## 34. ЛИТЕРАТУРА И КОНФЛИКТ

Итак, историческая проза и ораторское слово достигли, по-видимому, своего апогея как литература в те тревожные годы, когда национальное чувство было обострено — и болезненно обострено — Гражданской войной. Менее отчетливо эти последствия сказались в литературе, непосредственно с текущей жизнью не связанной. Многие писатели к этому времени утратили влияние, а то и умерли — Эмерсон, Готорн; другие, как Лоуэлл и Уитьер, на время предоставили свою энергию и мастерство решению жизненно важных задач.

«Так вы и есть та маленькая женщина, чья книжка развязала такую большую войну?» — сказал, приветствуя Гарриет Бичер Стоу, президент Линкольн и обнаружил политический реализм — он на собственном опыте научился уважать силу писательского пера. Пренебрежительно относиться к «писанине» было не в его духе. Самнер был прав: без «Хижины дяди Тома» не было бы и президента Линкольна.

Однако историку следует избегать преувеличений. Сколь бы великой ни была популярность романа миссис Стоу, все же сомнительно, чтобы одна эта книга могла определить развитие событий. Общество расшевелили не чувствительные lamentации, а та яростная пропаганда, которую уже тридцать лет вели аболиционисты. В XIX столетии либеральное направление давало тон всей общественной жизни, оно смело с лица земли даже самые благонравные и почтенные феодальные пережитки. В конечном счете рабство было упразднено по той простой причине, что людям стала невыносима сама мысль о нем. И прежде всех разобрался, в какую сторону дует ветер, наш смекалистый простой народ.

### 2

«Кучка недалекого ума энтузиастов, с позиции радикальной демократии ратующих за отмену рабства» — так отозвался в 1835 году об аболиционистах Джон Квинси Адамс. Сам он не принадлежал к их числу. В ту пору лишь немногие люди с положением в обществе примыкали к аболиционистам. Тра-

диционные законодатели общественного мнения — финансы, политика, церковь — отнюдь не были застрельщиками этого движения. Почин принадлежал людям скромного звания, которые среди повседневных забот и трудов не разучились думать. Устроителями и ревностными членами первых антирабовладельческих организаций были странствующий печатник и редактор газеты, поэт-сапожник и янки-коробейник. Вот их имена: Уильям Ллойд Гаррисон, Джон Гринлиф Уитьер и Бронсон Олкотт. Интеллектуальная элита включится в движение позже.

Они были простые души, ранние аболиционисты, убежденные христиане и демократы. Они верили в силу увещевания, надеялись влиять на национальную политику, взывая к разуму и здравым принципам. Издание еженедельной газеты в четыре полосы обходилось тогда дешево, и добиться гласности не составляло особого труда. Уже в 1821 году квакер Бенджамин Ланди выпустил аболиционистский журнал «Дух всеобщего освобождения», с перерывами издавая его и позже; а в 1831 году Гаррисон, компаньон Ланди, только что отсидевший в балтиморской тюрьме, основал в Бостоне «Либерейтор» — из всех антирабовладельческих изданий этот был самым решительным, он требовал безоговорочного и немедленного освобождения несчастных. С образованием в 1833 году Американского антирабовладельческого общества в северных штатах появилось по меньшей мере два десятка газет и журналов, посвященных борьбе за освобождение негров.

Защитники рабства не стеснялись отказывать своим противникам в конституционных гарантиях свободы слова и печати, права собраний и подачи петиций, хотя сами первыми кричали о незыблемости Конституции, когда ущемлялись их собственные интересы. На аболиционистских деятелей и ораторов травлили толпу, силой разгоняли собрания. Однако попытки заткнуть рот общественному мнению доставили антирабовладельческому движению влиятельных сторонников. Нелегкую битву выдержал в палате представителей Джон Квинси Адамс, спасая от замораживания и замалчивания петиции своих избирателей. Когда Элайджа Лавджой, редактор аболиционистского «Обзервер» (г. Олтон, шт. Иллинойс), погиб, защищая свой печатный станок, стало очевидно, что рабство и свободное обсуждение проблемы рабовладения несовместимы. Митинг протеста, устроенный в Бостоне по случаю убийства Лавджоя, выдвинул на роль самого пламенного аболиционистского оратора Уэнделла Филлипса. Так постепенно к движению примыкали знаменитые священники, ученые, литераторы, юристы, государственные деятели.

Заполучив в свои ряды такие светлые головы, как Теодор Паркер и Уильям Эллери Чаннинг, Эдмунд Квинси, Лоуэлл, Эмерсон, Лонгфелло и Чарльз Сэмнер, аболиционисты буквально наводнили литературу пропагандой своих идей. Задачи

ставились прямые и самые практические, и потому литературную продукцию движения составляли манифесты, резолюции, петиции в законодательные органы, газетные заметки, циркулярные письма, трактаты, лекции, речи, проповеди и политические песни. О характере последних можно судить по приводимым строкам Гаррисона (они пелись на мотив «Доброго старого времени»):

Я — аболиционист!  
Я — мщенье и война!  
За голову мою — давно  
Назначена цена.  
Моя отчизна — белый свет.  
Все люди — земляки.  
Я рабство изведу на нет  
И цепи — на куски!

Литераторы первого призыва, отдавшись целиком борьбе с рабством, отлучили себя от литературы. Надежда переделать мир, проникнувшись чаяниями угнетенного люда, для поэзии обернулась великим античародем, как впоследствии назвал такое положение вещей Роберт Фрост.

Типичной для многих второстепенных поэтов стала творческая судьба миссис Лидии Марии Чайлд. Она родилась в Бостоне, в 1802 году, в культурной семье; трансценденталист Конверс Френсис доводился ей братом. Уже юной девушкой она писала недурную историческую прозу, вдохновляясь одним видом чистой бумаги. Много обещал и затеянный ею журнал для детей. Но вот она вышла замуж за преподобного Дэвида Ли, социального мыслителя, и ее захватили общественные проблемы. Она решительно ступила на новую для себя дорогу, выпустив в 1833 году нелюбимый труд «В защиту тех американцев, коих именуют африканцами», в котором пылкое негодование и здравый смысл, трезвые экономические выкладки и антропологические фантазий одинаково служат делу освобождения. С этого времени миссис Чайлд прослыла опасной дамой. «Радикальные мысли не оставляли ее даже в оранжерее», — вспоминал Уэнтворт Хиггинсон. Она перепробовала решительно все жанры антирабовладельческой пропаганды и при этом еще охотно вступала в другие баталии — например, приняла участие в движении за отмену смертной казни (пользовались известностью ее «Письма из Нью-Йорка» — 1843, 1845). И лишь в конце творческого пути ей удалось счастливо сочетать филантропию и литературу в позднем детище аболиционистской литературы — в «Романтической Республике», появившемся в печати лишь в 1867 году.

Однако в массе своей поэты и романисты достаточно нерешительно касались проблемы рабства. На Севере еще долго считали неприличным (да и невыгодным делом) замечать пятна на солнце Свободы. Негра полагалось изображать в ко-

мическом свете, как это сделал Фенимор Купер в «Шпионе», либо подавать с романтическим пафосом фигуру непокорного дикаря, чья благородная душа не в силах выносить рабское положение — как в ранней поэме Брайента «Африканский вождь». Но даже такие убежденные противники сохранения рабства, как Брайент, старались своих чувств в поэзии не обнаруживать. Редактор «Либерејтор» Эдмунд Квинси, автор небольшого цикла повестушек, в которых речь идет и о восстаниях рабов и о преданности рабов своим хозяевам, с большим удовольствием живописал в своем главном романе «Уэнсли» канувшую в прошлое утонченность нравов — словно музейный экспонат, встает перед глазами общество колониального периода.

В начале 1840-х годов несколько знаменитых новоанглийских поэтов вслед за Уитьером внесли вклад в антирабовладельческую поэзию. Во время бурного обратного пути из Европы Лонгфелло написал семь стихотворений из восьми, составивших тонкий, в бумажной обложке сборник «Стихи о рабстве» (1842). Восемь лет спустя, тревожась о безопасности Союза, он написал слова, впоследствии многократно повторявшиеся: «Плыви, Корабль! Счастливый путь!». Впрочем, по отношению к аболиционистскому движению он всегда сохранял позицию сочувствующего наблюдателя. Отчасти в стороне оставался и Эмерсон, копивший силы для освобождения душ человеческих от такого рабства, какого не знали даже негры.

К проблеме рабства весьма определенный интерес проявил и Лоуэлл, хотя последовательные борцы за освобождение негров находили тон его выступлений легкомысленным. В пятидесяти передовицах, опубликованных в аболиционистских изданиях в период, когда обсуждался вопрос о присоединении Техаса, и в первой серии «Записок Биглоу», появившейся 17 июня 1846 года в бостонском «Курьер», Лоуэлл от имени идеалистов Новой Англии без обиняков высказался против войны, призванной служить интересам рабовладельцев. Свои твердые принципы демократа и пацифиста Лоуэлл передоверил простоватому Хоси Биглоу, однако определенность его позиции отчасти страдает из-за витиеватого прозаического комментария, написанного от лица преподающего Уилбера. Но и многословность эта достаточно остроумна, чтобы подтвердить сатирический замысел вещи. Позднее Лоуэлл научился очень серьезно оценивать текущие события, однако ничто из написанного им, включая возрожденные в годы Гражданской войны «Записки Биглоу», уже не сравнится с теми ранними безоглядными взрывами негодования.

Хоси Биглоу не знал недостатка в реальных прототипах. Правительственная политика потворства Югу в распространении рабства на территориях, только что отторгнутых от Мексики, побудила Бронсона Олкотта к яростному протесту: он



отказался платить налоги и некоторое время отсидел в конкордской тюрьме. Чуть позже его примеру последовал Генри Торо. Этому эпизоду обязана своим возникновением его статья «О гражданском неповиновении» (первоначально, в 1847 году это была лекция) — классический образец защиты достоинства личности в эпоху нравственной деградации общества. Духовная непреклонность, обнаруженная Торо и здесь, и в «Защите капитана Джона Брауна», составляет разительный контраст сентиментально-благотворительному человеколюбию, в основном питавшему аболиционистскую литературу.

Вплоть до феноменального успеха «Хижина дяди Тома» об антиколониальном романе вряд ли можно говорить. Может быть, только один из немногочисленных его образцов заслуживает упоминания — «Раб, или Воспоминания Арчи Мура» (1836), принадлежащий перу историка-федералиста Ричарда Хилдрета. Книга рисует полную характерных превращений жизнь светлого мулата, сына и одновременно раба полковника-аристократа из Виргинии. Арчи испытал жестокость во всех ее проявлениях; замечательна смелость, с какой автор относит к числу зол, порождаемых рабством, еще и моральную распущенность. Рассказ ведется от первого лица, и очень часто место героя-мулата заступает интеллигент из Новой Англии.

Миссис Стоу проложила дорогу аболиционистскому роману и его апологетическому антиподу. Почти все аболиционистские романы страдали тягой к исключительному: либо похищают и продают в рабство белого ребенка, либо действуют до невозможности идеализированные герои и героини. Столь же малоотрадное явление представляли собой и романы-антиподы (кстати, производили их не столько даже на Юге, сколько в Филадельфии). Наиболее пристойное впечатление оставляет «Хижина тетушки Филлис» (1852) миссис Мэри Игмен, но и этот роман совершенно справедливо считали скучнейшим.

На Юге прения по вопросу о рабстве закончились до 1830 года. К этому времени восторжествовало единое мнение, и весь регион грудью встал за свой «особенный путь». Общественное мировоззрение плантаторов впервые сформулировал Томас Р. Дью и Уильям Харпер; Джон Кэлхун обосновал его политический аспект, Уильям Л. Йенси пропел этой системе восторженные дифирамбы. И на пороге 1854 года Джордж Фицджеральд, автор «Социологии для Юга», неофициально пророчествовал: «Либо рабство будет повсюду уничтожено, либо его повсеместно восстановят» — причем было ясно, что это чисто риторическая альтернатива. Свято веруя в то, что их общественная система неизбежно станет предметом зависти и подражания для остального мира, лидеры-южане не удосужились прислушаться к протестующим голосам, поданным от имени фермеров-бедняков и вообще безземельных белых, — к

голосу, например, Хинтона Р. Хелпера («Надвигающийся кризис Юга», 1857). На Севере реформаторы разного толка обещали книге широкую известность, но яростным нападкам опять подверглись аболиционисты.

Здесь важно отметить, что крестовый поход против рабства раздражал не только южан, но едва ли не в такой же степени и северян. Многие руководители-северяне вполне удовлетворились компромиссом, достигнутым в Конституции. Даже интеллектуалы Чарльстона вроде Хью Суинтона Легарэ или Уильяма Гилмора Симмса не могли состязаться в защите рабства с Джеймсом К. Полдингом из Нью-Йорка, близким другом Вашингтона Ирвинга. С глубоким неудовольствием смотрел на возмутителей общественного спокойствия и бостонский кружок Джорджа Тикнора. Френсис Паркмен писал в 1850 году:

«Что касается меня, то к алтарю целостности Союза я готов сложить хоть всех рабов и еще прибавлю к ним, сколько потребуется, аболиционистов».

Заключительная мысль была восторженно подхвачена и развита в едкой стихотворной сатире Уильяма Дж. Грейсона из Южной Каролины «Наемник и раб» (1854) и в «Диких южных сценах» (1859) журналиста-южанина Джона Бичема Джонса, проявившего массу выдумки в сценах Гражданской войны, которая пока еще разыгрывается в воображении автора. А бостонский антикварий и поборник умеренности Льюшес М. Сарджент уже после начала военных действий делает холостой выстрел, публикуя желчную комическую балладу «Мушкет аболициониста» (1861). И на Севере, и на Юге хозяева жизни не питали сочувствия к положению раба.

### 3

«Война одарила нас откровениями», — писал рядовой армии конфедератов Сидни Лэнир в своем первом романе «Тигровые лилии» (1867), созданном в минуты затишья после боя:

«Безвестности она предложила славу, бедности — богатство, голоду — насыщение; она соблазнила мечтательность на риск; патриотическому чувству дала обязанности перед страной, к мудрости государственного мужа прибавила решительную волю, добела отмыла добродетели, наградила любовь самым желанным даром — защитить самое себя на поле брани с оружием в руках».

То же воодушевление, несмотря на неудачу федеральных войск под Булл-Раном, обнаруживает северянка, семнадцатилетняя сестра Роберта Гулда Шоу: «Мы переживаем удивительное время... Даже если мы остановимся на полпути, война поубавит у нас дикости и эгоизма... Как нация мы получаем великолепный урок мужества и стойкости, которых другой ценой не купить...»

С началом военных действий потребовали немедленного выражения чувства, обуревавшие обе противные стороны. По чистой случайности, а вовсе не в силу заключенных в них достоинств выразителями этих чувств стали популярная песенка «Дикси» и торжественный марш «Тело Джона Брауна». Едва ли позже северные крестоносцы и южные инсургенты проявили строгий вкус, остановив выбор на «Боевом гимне республики» Джулии Уорд Хоу и «Мэриленд, мой Мэриленд» Райдера Рэндолла, однако только благодаря этим стихотворениям и остались в памяти потомков оба поэта. Совершенно забыты широко популярные в 1861 году ура-патриотические песни Уильяма Росса Уоллеса «Меч Банкер-Хилла» и «В ногу с музыкой Союза». Эти и подобные им стихи-однодневки, кипящие негодованием, буквально заполнили первые антологии военных стихов как на Севере, так и на Юге. Образцом для поздних сборников поэзии Гражданской войны стала подборка Френсиса Ф. Брауна «Звуки горна» (1882), где впервые от литературной мякины были отделены и поставлены в хронологическом порядке стихи — отклики на достопамятные события войны.

На Севере поэты с именем по-разному выразили чувства военного времени. Из состояния безмятежности вышел Брайент, разразившийся пламенными стихами «Еще рано» и «Страна зовет». Потом, правда, воодушевления ему хватило еще только на «Смерть рабства». Приветствовал освобождение негров и Эмерсон в «Бостонском гимне». В одном ряду с лучшими образцами патриотической элегии стоит отклик Лонгфелло на гибель военного шлюпа «Камберленд». Общественные проблемы прежде мало занимали Холмса, его талант притупился, и поэтому особенного признания не получили ни его марши, зовущие идти на новый Армагеддон, ни гневное обличение предателей и бездельников, отсиживающихся дома. Насильственно воскрешая «Записки Биглоу», Лоуэлл в «Стирке савана» успел дать мрачные прогнозы после первых дней войны.

В стане конфедератов начало войны и вступление в южные штаты федеральных войск имело решающее значение для творческой судьбы талантливейшего из молодых поэтов Чарльстона Генри Тимрода. Книжность и утонченность — вот, если угодно, достоинства его ранних стихов, часто грешащих подражательностью и неукоснительным соблюдением «правил». Война сделала его глашатаем нации, в муках переживавшей второе рождение. Будучи противником отделения, Тимрод, однако, был всей душой предан своей Южной Каролине. В его «Призыве к оружию» столько же патриотического чувства, сколько в «Страна зовет» Брайента, а его «Ода», исполнявшаяся на кладбище «Магнолия», — такая же дань памяти погибшим конфедератам, как «Поминальная ода» Лоуэлла, посвященная павшим северянам. Но сколь же резителен контраст между

чеканными двадцатью строками Тимрода и высокопарным многословием Лоуэлла.

Посев лавра на земле  
Вам хватит на венок,  
И столько силы в том стебле, —  
Чтоб камень взрезать мог.

Военных стихов Тимрода не наберется и дюжины, но они навсегда запечатлели классическое благородство в соединении с сильным чувством, а в этом и состоит духовный идеал южанина.

Пол Хэмилтон Хейн из Чарльстона заслужил благодарную память потомков своей рыцарской верностью Югу, но как поэт он не крупная величина, а стихи о войне вообще не самое ценное в его творчестве. Он тоже восславлял жертвенный энтузиазм солдат-южан, но по кротости характера охотнее тянулся к красоте, торжествующей над будничными тяготами, которые он безропотно переносил. После войны близкие дружеские связи с Уитьером, Тейлором и другими литераторами определили ему роль миротворца между Севером и Югом. И конечно, важнее любого сборника его собственных стихов было издание им поэм Тимрода.

Незадолго до окончания войны в поэзии прозвучал и голос страдалец-южанок: невестка Твердокаменного Джексона Маргарет Джэнкин Престон, сама уроженка Пенсильвании, опубликовала длинную и необычайно сентиментальную поэму «Биченбрук», снискавшую большую популярность. Благородную верность проигравшей стороне объявляли в «Поверженном знамени» пастор Авраам Джозеф Райан и в поэме «Земля, где мы мечтали» Дэниел Бединжер Льюкас, но, разумеется, этих отходных песен было не две, а много больше. Задолго до конца войны утратили боевой пыл солдатские песни. Унылая мелодия песни «Раскинув палатку на старой стоянке» отлично выражала настроение солдат на Севере и на Юге — затаившаяся война измотала людей, всем отчаянно хотелось домой.

Дневники и воспоминания участников, воссоздающие хронику Гражданской войны, хлынули обильным потоком, но очень немногие из них выдерживают сравнение — с точки зрения литературной и даже просто профессиональной — с материалами о двух мировых войнах нынешнего столетия. В лице Джона Бичема Джонса конфедераты подарили нашей литературе маленького Пеписа<sup>1</sup>: потомки располагают его подробнейшим отчетом о жизни в Ричмонде, изданным под названием «Дневник писателя мятежной войны» (1866). Обиходный, нормальный взгляд на вещи, присущий военному писарю Гамалиелу Брэдфорду, придает этой фигуре черты хора в античной трагедии. Безденежье

---

<sup>1</sup> Знаменитый английский мемуарист XVII века. — *Прим. перев.*

и растущее разочарование в вождах вынуждают его горько подытожить: «Такого еще не было, чтобы мелкота управляла великим народом».

Войну глазами северян мог бы запечатлеть автор нескольких романов Теодор Уинтроп, если бы его замечательные очерки не оборвала безвременная смерть писателя в бою. Тревожную атмосферу военного Вашингтона передают графически выразительные, хотя и не сведенные в единую картину зарисовки Уолта Уитмена. Видимо, пальма первенства в искусстве литературного репортажа принадлежит Томасу Уэнтворту Хиггинсону, автору книги «Военные будни в черном полку» (1870), хотя не менее интересно читается и документальная повесть «Военные лагеря и тюрьмы» (1865) Огастина Дж. Дуганна, полковника, владевшего пером настолько, что в другом своем сочинении он взялся увековечить каждую примечательную баталию в стихах — весьма, впрочем, посредственных. Генри Хоуард Браунэлл стяжал славу «боевого лауреата», по горячим следам изложив легкими, энергичными стихами картины сражений на воде близ Нью-Орлеана и Мобил-Бэй. Браунэллу принадлежит около тридцати стихотворений, навеянных войной; лучшее из них — посвященное Роберту Гулду Шоу «Похороните их» и «Авраам Линкольн», в котором на фоне столичного парада Великой Армии перед мучеником-президентом проходит длинная вереница павших героев. Только благодаря своим военным стихам Браунэлл остался в истории американской литературы.

До войны в изящной словесности задавала тон слезливая, сентиментальная проза, хотя существовала и сильная школа провинциальных юмористов, реалистически живописавших подвиги безграмотных мошенников вроде Саймона Саггса и Сата Лавингуда. Юмористов же военной поры занимали не столько характеры, сколько суждения. Подражая Лоуэллу в «Записках Биглоу», они писали своего рода передовицы, правда скрывшись за комической маской. Остроумно комментируя текущие события, они не давали людям окончательно раскиснуть, сорваться в отчаяние — на Севере это были Дэвид Росс Локк (Петролеум В. Нэсби), Роберт Ньюэлл (Орфеус Керр) и Чарльз Хэлпин (Майлз О'Рэйли), на Юге — Чарльз Смит (Билл Арп).

Между тем беллетристика расставалась с соблазнами сентиментальности и тянулась к реализму. Военные романы Джона Истена Кука еще скроены по романтическим шаблонам, но автор делает попытку представить реальные характеры и обстоятельства, цитирует подлинные слова Джексона, Джеба Стюарта, Эшби и других прославленных героев Юга. Еще более правдивой вышла под пером Уильяма Мамфорда Бейкера картина страданий, выпавших на долю сторонников Союза в штатах Конфедерации; рукопись своего романа «В самом центре: хроника отделения» (1866) автор вынужден был несколько раз перепрыгивать, чтобы она не попала не в те руки. Яркий образ

южного «северянина» создал в «Тобайасе Уилсоне» (1865) политический деятель из Алабамы Джереми Клеменс; этот роман заслуживает того, чтобы извлечь его из забвения.

Однако лучшим из романов о Гражданской войне и одним из самых замечательных достижений американской прозы стал роман писателя Джона Уильяма Дефореста «Мисс Равенел уходит к северянам» (1867). Книгу трудно переоценить — так жизненны в ней сцены и положения, столь энергично выявляются характеры и так пронизательна оценка происходящих событий! Памятуя, что автор был офицером федеральной армии, нужно отдать должное его замечательному чувству объективности: благородные цели северян не мешают ему видеть развал и коррупцию в их стане, он сожалеет и о той духовной спячке, что живо губит рыцарственность Юга. В эпоху, которая требовала от произведений искусства привычной искусственности, Дефорест был одним из первых реалистов, сохранивших в ущерб себе верность своему честному таланту. В особенности оскорбляла читательский вкус его трактовка женского вопроса: как всякое разумное существо женщина обязана сама принимать решения и отвечать за их последствия. В «Кейт Бомонт» (1872) и «Кровавой бездне» (1881) он снова не дает спуску обычаям и нравам Юга, зато в «Честном Джоне Вейне» (1875) и «Озорных проделках» (1875) крепко достается аморальным столичным политикам.

Умозрительное осмысление войны с той полнотой, которую могла позволить современность, выразилось в стихах Уитмена «Барабанный бой» (1865) и у Мелвилла: «Стихи о войне» (1866). К его «Стихам о войне» давалось прозаическое приложение, которое сравнивают с второй инаугурационной речью Линкольна: здесь высказывается благородная мысль о том, что «у этой войны главной не военная слава, а то, что она разоружит наконец вражду». Мелвилл признается, что на стихи его «воодушевило падение Ричмонда» и что в них запечатлелись настроения, навеянные воспоминаниями о назревавшем конфликте, — так арфа, выставленная в окне, звучит под порывами ветра. В стихах проскальзывает истинное воодушевление; мысль о служении великому делу ставит его «Стихи о войне» в один ряд с лучшей военной лирикой, и, однако, нет-нет да различить негромкую мрачную ноту даже в победных эпизодах. Размышляя о бедствиях, свалившихся на его страну, «о светлейшей надежде мира, посрамленной позорнейшим людским преступлением», Мелвилл не мог убедить себя в том, что за обращением к оружию должно непременно воспоследовать духовное возрождение. А что, если единственным следствием войны будет освобождение «непомазанной силы», триумф кошелька, который рассеет все упования отцов-основателей и наступит «средневековые демократии»? Мучимый этими мыслями, Мелвилл, как некогда Просперо, не находил в своей душе умиротворения.

А Уитмен за будущее не страшился. Он лучше многих современников знал, какой ужасной ценой, какими страданиями оплачивается победа, и, однако, перед его духовным взором витали апокалиптические картины преображения, он видел, «как Демократия шествовала с возмездья решимостью сквозь мрак, озаряемая сверканием молний».

«Я жил и видел, как расцветает человек, и так же из войны восстанет Америка», — ликующе возглашает поэт. «Никогда еще рядовой человек с его простой душой не был так силен, так богоподобен». Америке, «своей возлюбленной», он обещает великую будущность, ибо уверен, что «любовь решит все проблемы, стоящие перед Свободой». Но и в минуты упоения растущими силами и мощью Уитмен не пройдет мимо — остановится и утешит бедствующих и убитых горем, как в «Иди с поля, отец», или почтит память убитого Линкольна самым прочувствованным словом, какого не удостоился еще ни один государственный муж. Тревожные раздумья Мелвилла и страстная любовь к своей стране Уитмена в несколько сглаженном виде предстанут как стороны одной медали в «Поминальной оде» Лоуэлла, единоголосно признанной образцом официальной поэзии в литературе Соединенных Штатов, а для нас она лучший эпилог к разговору о литературе, рожденной грандиозным общественным катаклизмом.

Отчизна! Красота! Родимый дом!

• • • • •  
Чем бы мы стали без тебя?  
Чего бы мы ждали без тебя?  
Чего б не дали для тебя?  
Не сможем лишь хулить тебя.  
Приказывай, что хочешь, — мы дерзнем!

#### 4

После Аппоматокса развитие реалистической прозы совершалось главным образом усилиями писателей, связанных с Севером или Западом, как Уильям Дин Хоуэллс, и тех немногочисленных южан, что вместе с Джорджем Вашингтоном Кейблом обрели родной кров на Севере. Южная проза еще целое поколение питалась ностальгическими, сентиментальными настроениями, перебирая былое. Вкус к местному колориту и увлечение диалектом (как в «Сказках дядюшки Римуса» Джоэла Чэндлера Харриса) лишь отчасти разнообразили излюбленные картины довоенной жизни на старой плантации.

Реконструкция и ее проблемы стали достоянием художественной литературы в основном благодаря Дефоресту и Элбиону Турже, уроженцам Севера, из первых рук знавшим южную жизнь. Реалистами были и романистки Роуз Терри Кук и Ребекка Хардинг Дэвис, также писавшие о войне и ее последст-

виях. Освободив рабов, Север отмахнулся от возникших в этой связи социальных проблем и поставил негра в безвыходное положение — эта основная мысль романа Дэвис «В ожидании приговора» (1868) многое обещала, но так и не сделала роман по-настоящему крупным явлением. Крах южного уклада жизни как следствие военного поражения и нищеты объясняет горечь романа «Шкура льва» Джона С. Уайза, сына бывшего губернатора Виргинии; роман оставался ненапечатанным до 1905 года.

Последовательнее всех воплотил художественную хронику падения рабовладельческой империи и воследовавшего хаоса уроженец Огайо, офицер-федералист Турже, после войны вернувшийся на Юг. В качестве государственного судьи он скоро приобрел лютую ненависть своих сограждан, которым, впрочем, платил той же монетой. Надо ли говорить, что все его романы отличает дух яростного неприятия — прежде всего это касается деятельности ку-клукс-клана в штатах, где проводилась политика Реконструкции. Напрасно было бы ожидать от Турже того, чтобы он хоть отчасти понимал, какая труднейшая психологическая перестройка ожидала южан.

Если рассматривать полемические романы Турже в их внутренней хронологии, то первым следует назвать «В горячке раздела» (1883), основное содержание которого составили попытки совестливого рабовладельца освободить своих негров вопреки предрассудкам своей среды. Действие «Смоковницы и чертополоха» (1879) происходит в Огайо довоенных и послевоенных лет; взаимоотношения между восходящим политическим деятелем и поддерживающими его финансовыми и промышленными воротилами имеют своим прообразом реальную карьеру Джеймса Гарфилда. Роман «Туанетта» (1874), впоследствии перекрещенный в «Джентльмена королевской крови» (1881), представляет собой сентиментальный очерк драмы, которую переживает «почти белая» негритянка, не могущая выйти замуж за своего возлюбленного: этот плантатор с аристократической родословной не способен преодолеть врожденного ужаса перед самой мыслью о расовом равноправии. В романах «Миссия дурака» (1879) и «Кирпичи без соломы» (1880) анализируются политические и социальные проблемы, поставленные Реконструкцией, в частности тяжелое положение негров, оставленных без достаточных средств для свободного развития. Повесть «Джон Иэкс» (1882) рисует конфликт взбунтовавшегося героя-индивидуалиста с «южной» семейной престижностью. Сюжеты Турже не свободны от сенсационности, романы перегружены дидактикой, но общий фон всегда верен реальности, и это делает его книги весьма ценным общественным документом.

Турже, разумеется, не единственный, кто был пристрастным интерпретатором исторических событий и не скрывал этого. Бывшие конфедераты испытывали куда более настоящее



желание подсластить горькую пилюлю, которую был принужден проглотить гордый Юг. «Рассмотрение недавней войны между штатами в свете Конституции» (1868—1870), принадлежащее перу блистательного Александра Стивенса, бывшего вице-президента Конфедерации, положило начало долгому процессу реабилитации и возвеличения проигранного дела, причем процесс этот не завершён доньше.

Из писателей-южан Сидни Лэнир всех мужественнее воспринял издержки Реконструкции и занялся поисками средств возродить экономику Юга. Гордо называя себя в начале войны «стопроцентным сторонником отделения», этот еще молодой поэт создал в 1867—1868 годах полдюжины стихотворений, в которых с ужасающей отчетливостью осознал и выразил полное поражение своей партии: «Мы лежим в цепях, мы ослабили даже для страха». В «Зерне» и других стихотворениях Лэнир с такой настойчивостью призывает разнообразить зерновую базу на Юге, что это граничит с гротеском, но вспомним, что в те годы земледельцы вынуждены были сами впрягаться в плуг — и так ли уж странно, что музам пришлось заняться сельским хозяйством?

Так называемый американский Ренессанс приходится на тот период, когда аболиционистское движение только-только набирало силу. Однако сомнительно, чтобы напряженность общественной жизни, взбудораженной публичными выступлениями, оказала заметное влияние на литературу. Кстати говоря, общенародные потрясения малоблагоприятны для искусства. Они пробуждают сильные эмоции, которые скорее опустошают, нежели придают сил. Слишком много топлива уходит на горение — на свет его уже не хватает. Антирабовладельческий крестовый поход дал единственно «Хижину дяди Тома», которая в театральной версии стала частью американского фольклора. А после Гражданской войны остался десяток сильных стихотворений, два-три прекрасных поэтических сборника и всего один образец первоклассной прозы. Задумываясь о принесенных жертвах и утратах, о накале страстей и героизме, об изломанных судьбах, нельзя не прийти к заключению, что несоответствие великого конфликта и его отклика в литературе должно, видимо, означать одно: война притупила способность к творческому выражению (во всяком случае, это верно в отношении писателей неяркой индивидуальности).

Насколько участие в полемике может уложить писателя в одно-единственное русло и тем пресечь его всестороннее развитие, показывают судьбы Уитгера и миссис Стоу. В Гражданской войне и предшествовавшей ей борьбе мнений часто видят противоборство между Союзом и сепаратизмом, Севером и Югом, рабством и свободой. Литература вносит идеологическую поправку: между незнатным состоянием и привилегированным положением. Аболиционисты повсеместно выступали против

аристократов и консерваторов у государственного кормила. И поэтому закономерно, что глашатаями движения стали сельский поэт и дочь пуритан-уравнителей, одаренные необычайной творческой силой.

5

За восемьдесят пять лет жизни Джон Гринлиф Уитьер написал свыше сорока книг стихов и прозы и много публицистики, не собранной в отдельные издания, и это при том, что к писательской судьбе он был подготовлен далеко не лучшим образом. Он происходил из новоанглийских фермеров, знания приобрел в основном самоучкой и уже тридцати лет считал удачей, если чувствовал себя здоровым две недели подряд. Но за свою долгую жизнь он успел испытать себя в разных областях литературы, свернул такую гору работы, что по плечу только разве отменному здоровяку, и достиг того необходимого уровня мастерства, которое снискало ему уважение собратьев по искусству. С 1826 по 1832 год Уитьер был редактором сельских газет и поэтом-газетчиком. От этого периода мало что сохранилось, если не считать первых трех сборников, от которых в зрелые годы Уитьер с удовольствием отрекся бы. С 1833 по 1860 год он активный деятель аболиционистского движения, редактор его изданий, публицист. Его стихи, направленные против рабства, и публицистика занимают порядочно места в собраниях его сочинений. Окончательно он вернется к поэзии в последний период своей жизни — после 1850 года и до смерти в 1892 году. Стихи, созданные в это время, составили лучшую часть творческого наследия Лоуэлла.

По отношению к стихам Уитьера его проза представляется необычайным дополнением. Аболиционистский памфлет «Справедливость и целесообразность» (1833) важен как биографический факт — Уитьер объявляет о своем решении связать судьбу с малопопулярными друзьями рабов, но сам по себе он ничем не выделяется среди других антирабовладельческих трактатов, в то время как его полемические стихи были на голову выше литературной продукции этого сорта. «Дневник Маргарет Смит» (1849) — прелестный очерк Новой Англии колониального периода, какой ее воспринимает потомок квакеров. Биографические и исторические справки, всякого рода записи, также обычно включаемые в его сочинения, представляют малую ценность. Правда, письма (полностью так и не опубликованные) свидетельствуют о том, что наедине с самим собой Уитьер обладал чувством юмора, которое редко проявлялось в рабочие и творческие минуты. Зато как американский поэт Уитьер является сразу в трех ипостасях: антирабовладельческие стихи, баллады и идиллии, посвященные Новой Англии, и его интимная и религиозная лирика.

Наиболее бурные и созидательные годы жизни Уитьера пришлось на аболиционистскую деятельность, и поэт сам был склонен видеть свою единственную заслугу в том, что принимал участие в великой борьбе за человека. Он больше гордился своей подписью под Декларацией милосердия, принятой на первом съезде Американского антирабовладельческого общества, нежели своим именем на титуле книги. В 1847 году он написал скромнейшее по тону предисловие к готовящемуся сборнику (оно сохранилось во всех последующих изданиях), в котором решительно отказывал себе в «зрелом мастерстве» и «ясновидении», зато выделял свою безоговорочную преданность свободе и братству людей. «Я — человек, — писал он в 1883 году своему первому биографу, — а не стихотворец». Скромность тоже может быть чуть-чуть нарочитой. Ведь обычно поэты не отказываются вкусить даже малую толику славы, что им перепадает. Неоднократно подтвердив свой отказ от «эгоистической погони за литературной славой», Уитьер лишь укрепил подорожие в том, что какая-то внутренняя неудовлетворенность и жажда вознаградить себя побудила его к участию в аболиционистском движении. Примечательно, что треть всей поэтической продукции Уитьер создал и опубликовал в газетах в возрасте до двадцати пяти лет. Были стихи юмористические, были банальные, но большинство представляли серьезные попытки в высоком одическом роде — ясно, что для молодого человека литература была хранилищем идеальных ценностей, она не соприкасалась с повседневностью, витала над ней. В ту пору Уитьер определенно задумывался о славе, так неожиданно свалившейся на Бернса и Байрона, и чего-то в этом роде ожидал для себя. Однако стихи, помещаемые в газетах, не принесли ему ни славы, ни богатства. Литературное будущее не сулило Уитьеру чудес. Испытывая острое разочарование, он отрекается от литературы и, немного бравируя, пишет своему другу Джонатану Лоу: «Я разделался с Пегасом, как живодеи убивают своего уже нетрудоспособного овра, и пусть вороны — иначе говоря, критики, — клюют его кости».

Но если с поэзией вышла незадача, то все же оставалось поприще редактора газеты, к чему Уитьер обнаружил незаурядные способности. В журналистику он пришел неумелым и не очень образованным деревенским паренком, но он был тактичен, скромен и знания схватывал на лету. Редактором он оказался дельным и энергичным и, если бы не здоровье, несомненно, продолжал бы трудиться на этой ниве. Еще он был прирожденным политиком, его пронизательные суждения, даже если они были нелицеприятны, хорошо помогли и вигу Калебу Кашингу, и демократу Роберту Рэнтулу, а в поздние годы сделали его доверенным другом Чарльза Самнера. Убежденный сторонник Генри Клея и «Американской системы», он научился

улавливать общественное настроение и, мастерски используя лозунги и показательные события, направлять читательское воображение в нужную сторону. Эти способности пришлось кстати и в аболиционистской поэзии Уитьера.

Антирабовладельческие стихи Уитьера трудно назвать литературой, хотя в них различаются даже библейские отзвуки. Они до отказа набиты взрывчатыми лозунгами — «Томятся в цепях наши братья!», «Оковам не звенеть на Бэй-Стейт!». Некоторые стихи искусно адресованы определенному кругу читателей. Например, «Девушка-янки» — это своего рода аналогия избирательного плаката: те же кричащие краски, та же апелляция к вульгарным чувствам. В других случаях стихи Уитьера преисполняются и негодующей ветхозаветной интонацией — «Церковники-угнетатели», где поэт громит чарльстонских пастырей, или «Пастырское послание», осуждавшее священников-инdependентов за их отказ признать преступность рабства. Чрезвычайно выразительный контраст между христианской доктриной всеобщего братства и охотой на беглых рабов передан в «Воскресной сцене». Арест в Бостоне предполагаемого беглеца дал Уитьеру повод выразить в «Послании из Массачусетса в Виргинию» чувство гордости за свой штат. Когда Уэбстер в своей печально знаменитой «компромиссной» речи предал надежды северных идеалистов, Уитьер в стихотворении-отповеди «Икабод» достиг высот большой поэзии. Вообще же немногие его стихи о рабстве поднимаются над уровнем откровенной пропаганды, хотя благодаря им Уитьер научился формулировать мысль ясно и четко. Как пропагандист аболиционизма он обладал такой силой выразительности, какой никогда не добился бы, подражая миссис Хименс и миссис Сигурни.

Успех в одном непременно идет в ущерб чему-то другому. Тридцать лет самозабвенной филантропической деятельности оставили свой след на Уитьере. У него не было времени перестроиться, взглянуть на вещи шире, и однажды усвоенные принципы оставались неизменными. Притом, что он был покладистый и отзывчивый человек, была в нем и какая-то ограниченность, которая приводила порой к горьким последствиям: он так и не женился на женщине-квакерше, которую любил долгие годы, по причине некоторого расхождения в религиозных взглядах. Его «Песни труда» далеки от того знания реальных проблем рабочего человека, каким располагал, например, Орест Бронсон. Он не разделял настороженности Торо в отношении технического прогресса. За свой долгий век он так и не уразумел, что категориями личной морали не решить вопросы, поставленные индустриальной революцией. И то, что в годы поздней зрелости таланта и мастерства он обратился к прошлому Новой Англии и к религии, — это отчасти тоже свидетельство его ограниченности.

Уитьера, пожалуй, чаще многих других отождествляли с его родным регионом. Он родился в 1807 году, в городке Хаверхилле (штат Массачусетс), в семье фермера; он был вторым ребенком и старшим сыном. До него в городке сменилось четыре поколения Уитьеров. Семейную ферму (поэт опишет ее в «Занесенных снегом») отстроил в 1688 году Томас Уитьер<sup>1</sup>, который лет за пятьдесят до этого оставил родной Уилтшир<sup>1</sup>, удачно наладил новую жизнь и родил десятерых детей. В нарушение права первородства дом перешел от младшего сына к младшему, пока не достался отцу поэта, тоже Джону Уитьеру, управлявшемуся на ферме с холостяком-братом. От старших в доме и редких гостей Уитьер мальчиком слышал романтические предания и грустные житейские истории, узнал про колдуний и «охоту на ведьм» — все это был местный фольклор. Ни священников, ни купцов в роду не было. Уитьеры были типичные фермеры-янки, сроднившиеся с землей. Впрочем, в одном отношении эта коренная новоанглийская семья была нетипичной: три поколения Уитьеров были убежденными и ревностными квакерами. Принадлежность к малочисленной и некогда преследуемой секте позволила поэту сохранять некую критическую дистанцию в изображении прошлого Новой Англии и развила в нем привычку «уходить в себя», что в свою очередь укрепило его природную склонность к мистицизму.

Эпизоды из истории квакеров и колониальное прошлое в целом снабдили Уитьера материалом для баллад и поэм. Он не стремился, как Готорн, придать историческим эпизодам символический смысл, ему было достаточно передать живую атмосферу безвозвратно ушедших дней, сколь можно достовернее представить характеры. Наброя на то или иное предание, он редко переиначивал его — обработка обычно сводилась к тому, что рассказ делался длиннее. У него не было жилки исследователя, и поэтому он редко давал себе труд проверить полученные сведения. Не удивительно, что весьма совершенное в художественном смысле «Скачка шкипера Айрсона» стало объектом язвительных замечаний специалиста-историка: «В 1808 году случилась достойная сожаления история со шкипером Бенджамином (а не Флойдом) Айрсоном, поплатившимся за свой трусливый и коварный экипаж (а не за собственное жестокосердие): его вымазали смолой, вываляли в перьях и протащили на буксире в плоскодонке (а не в телеге, посуху) рыбаки (а не женщины) Марблхеда». Но Уитьер предпочел передать рассказ в том виде, каким он слышал его от одноклассника — тот сам был из Марблхеда; Уитьер, видимо, полагал, что если история существует в устном пересказе, то она уже как бы из фольклора. Помимо исторических и легендарных стихов, он оставил множество идиллий: «Босоногий маль-

---

<sup>1</sup> Графство в Англии. — *Прим. перев.*

чик», «Мой Мюллер», «Разговор с пчелами» — все это хрестоматийные образцы. Еще в 1847 году, рецензируя стихи своего приятеля аболциониста Уильяма Генри Берли, Уитьер сожалел об отсутствии «типично американских пасторалей» и в качестве желательной отрасли литературы называл «поэзию человека и природы, домашнего очага, своего поля», к которой он призывал обратиться не «любителей сельской жизни», а тех, кто сами живут ею. Таким образом, Уитьер провел первую борозду по целине, которую в наши дни с большим искусством поднимает Роберт Фрост.

Уитьер воспел в стихах и морское побережье в устье Мерримака, горные кряжи и ровные долины в окрестностях Хаверхилла, и высокие горы на западном горизонте. Но он не был рожден певцом природы. Страдая дальтонизмом, он не мог отличить красное от зеленого и вообще не был эмоциональным человеком; не обладал он и способностью Вордсворта увидеть в придорожном цветке основательный повод для глубоких размышлений. О природе он говорил словами, более подходящими для описания человека, как в «Монадке с Вачузета»:

Мы чувствовали: внешность — лишь убор,  
Лишь платье, под которым — жизнь души.

и очень редко, как в позднем «Закате солнца в Биркэмпе», приближался к осознанию идентичности, например заката с душевным состоянием человека.

Интерес к общественной жизни обязывал Уитьера откликнуться на события Гражданской войны. Обращение к оружию он воспринял как духовную катастрофу. «Эта грустная война затягивается, — читаем мы в его ноябрьском письме 1861 года. — Я увижу хоть какое-то вознаграждение за все ее ужасы только в освобождении рабов. Иначе это будет самая позорная война в XIX веке». Но и он испытывал приливы патриотических чувств: узнав о легендарном героизме Барбары Фритчи, он увековечил ее образ в превосходной балладе. Впрочем, самым прочувствованным военным стихотворением Уитьера стал «Laus Deo»<sup>1</sup>, который сложился буквально под колокольный звон в честь принятия поправки к Конституции, упразднившей институт рабства. Таков был итог его долгой борьбы, хотя, будь его воля, он бы вел ее другими средствами.

В 1864 году умерла его сестра, его верный друг и почти совладелица его поэтического дара, Элизабет; Уитьер остался один, и с тем большей силой его потянуло к сплоченной семейной жизни, которую он вел в детские годы. В лучшей из своих идиллий «Занесенные снегом» (1866), великолепной по точности и нежности воспоминаний, он не только платил дань памяти ушедших, но и стремился воплотить полноту жизни, которой

<sup>1</sup> Славлю бога (лат.).

дышал дом его детства, В целом эта поэма является новоанглийским вариантом «Субботнего вечера сельского» Бернса, и поводом для этого лестного сравнения служат точность описания скромной жизни и искренность чувства. Однако на фоне лихорадочной урбанизации страны поэма уже не была только безмятежной пасторалью. Это тихое «прости» еще одной отмирающей цивилизации. Здесь в ярких образах предстала мечта Джефферсона о добродетельном арендаторе, никому ничем не обязанном, честным трудом добывающем питание себе и семейству. Если и можно представить себе осуществление этого идеала правдивой жизни, то лишь в условиях нетронутого континента, и утопичность картины Уитьера была ясна задолго до президента Гранта. Но она продолжала волновать горожан в первом поколении, чье бесхитрое воспитание было неважной подготовкой к сложным проблемам индустриального века. Идиллический мирок Уитьера не знал лихорадочного закона купли-продажи и многим американцам представлялся потерянным раем. Показательным примером того, как быстро устаревают определенное мировосприятие, служит наивное простодушие поэтической техники Уитьера. Его не соблазнил суггестивный метод, продемонстрированный Уитменом в стихотворении «Из колыбели, вечно баюкавшей», где воспоминание о детстве разлагается на составные чувственные образы, которые затем произвольно сливаются в завершенное и гармоничное произведение искусства; Уитьер в «Занесенных снегом» дает линейное, мелодическое развитие от одного образа к другому. Намеки и ассоциации почти отсутствуют — каждое переживание оговорено с исчерпывающей ясностью и полнотой. И дело здесь не только в простодушии Уитьера, здесь действует глубоко укоренившееся народное убеждение в том, что благословенна лишь простая речь, а в случае с Уитьером это убеждение было укреплено квакерским воспитанием. Его душевный строй ничем не был поколеблен, его не тянуло в темный лабиринт, лежавший за порогом сознания, где только и внятен язык ворожбы подтекста и символов. Что он чувствовал, то и говорил.

Стихи Уитьера не все привязаны к Новой Англии. Он следил за освободительной борьбой в разных уголках земли — в Италии, Бразилии. Много сюжетов почерпнул из скандинавских и восточных источников — он был человек широко начитанный. Простота и искренность чувства роднят «Занесенных снегом» с «Пенсильванским пилигримом» (1872), где рассказывается о религиозной немецкой общине, основанной Пасториусом рядом с другим новосельем — квакерской колонией Уильяма Пенна; вскоре они сливаются, образуя некую религиозную общность. Из этой-то среды перфекционистов и раздался первый голос, осуждавший рабство. Сам Уитьер считал, что «Пенсильванский пилигрим» не уступает, а может, и превосходит все им написанное. И действительно, никакая другая поэма на

английском языке не передает с такой убеждающей силой обаяние и радость человеческого общения, когда людей хотя бы на краткий срок объединяет решимость восстановить на земле подобие золотого века.

В лучших своих образцах поэзия Уитьера покоряет искренностью. Он писал только о том, что хорошо знал. Его побуждения основывались на чувствах, проверенных жизнью, ставших убеждением. Религиозные взгляды Уитьера прямо вытекали из его убеждения в божественном присутствии. Для этих мелодий, для этих много раз обдуманых сокровенных истин Уитьер находил емкие, простые, трогательные и почти всегда единственно верные слова. Казалось, он без остатка отдавал себя миру политики и повседневности, но между тем дух его таил скрытые силы. Самая ценная часть его наследия — это стихи, которые он называл «субъективными и вспоминающими», а также его духовная лирика. Прекрасная иллюстрация к сказанному — его автобиографические стансы в «Моем тезке»; и все же больше силы и чувства заключают в себе те строки из «Моего триумфа», в которых поэт провидит свое собственное осуществление в торжестве идеального человеческого общества.

И ветер вольный надо мной,  
И солнце надо мной —  
Каким здесь станет род людской,  
Свободный, удалой!

---

Землю солнышко пригрело —  
Землю моего надела.  
Жизни может не хватить —  
Господа благодарить.

С той же искренностью Уитьер запечатлевал минуты религиозных сомнений и в большей степени характерных для него мгновений трансцендентного общения. Животворная близость бога вдохновила его на создание таких благочестивых гимнов, как «Вечная благодать», «Троица», «Наш пастырь», «Вопросы жизни», «Сердце переполнено», «Собрание», «Мой псалом», — мы назвали лишь самые любимые в народе. Хотя Уитьер был прежде всего квакером и христианином, его вера была так же свободна от формалистических пут, как у любого другого мирянина. Он обращался к богу с той горячей детской доверчивостью, для которой не требуется ни стимула со стороны, ни специальных установлений. Среди самых прекрасных духовных гимнов, созданных в XIX веке, — его отрывок «Господи, отче наш» из стихотворения «Приготовление сомы». «Тайна вечности, открытая любви» и прелесть разлитого вокруг божественного покоя владели им сильнее местных привязанностей, которым он заплатил дань вместе с Готорном и Лонгфелло, пробудив романтический интерес к прошлому Новой Англии, и глубже гуманистического рвения, отданного делу освобождения угнетенных.



В отличие от безыскусного Уитьера Гарриет Бичер Стоу была продуктом духовной аристократии Новой Англии. Ее отец, преподобный Лаймен Бичер, воинствующий евангелист на кафедре и неутомимый инициатор всякого рода добрых начинаний в минуты досуга, был оплотом пуританской ортодоксии подобно Джонатану Эдвардсу. Шестеро его сыновей приняли духовный сан, из них четверо прославились на всю страну. Старшая дочь, Кэтрин, пережив смерть жениха, профессора математики, посвятила свою жизнь делу женского образования. Поборницей женского равноправия с детских лет заявила о себе и младшая дочь. Даже оказавшись на острове среди канибалов, любой член этого семейства сумел бы в ожидании помощи основать церковь, открыть школу, развернуть умиротворяющую кампанию и организовать общество «В помощь женщине». У всех Бичеров был общественный темперамент.

Когда родилась Гарриет, вторая дочь в семье, ее отец был пастором влиятельной церкви в Личфилде, штат Коннектикут. Воспитанная в жестком режиме пуританской дисциплины, навсегда оставившей на ней свой след, она вся ушла в свой внутренний мир, вооруженная острым воображением и болезненным самоанализом. У таких натур религиозное обращение совершается почти незаметно. Кальвинистские доктрины она усвоила с молодых ногтей, и все дни ее были заполнены возвышенными помыслами и самоотречением. Некоторое послабление в эту суровую программу привносили только поездки за город, случайное чтение романов Скотта и либеральные мнения дядюшки Сэмюэла Фуа.

В шестнадцать лет Гарриет уехала в Хартфорд — сначала ученицей, а вскоре учительницей в школе для девочек-подростков, которую открыла Кэтрин; к тому времени отца перевели в Бостон, и в церкви на Ганновер-стрит он произносил громopodobные обновленческие проповеди, немилосердно вороша останки унитариянства. В 1832 году он принял предложение из Цинциннати, штат Огайо, основать Лейнскую семинарию для подготовки священников и миссионеров, способных выпалывать зловредные языческие сорняки на американском фронтире. С ним последовал весь «бичеровский караван», и, поскольку работы было непочатый край. Бичеры повели себя так, словно Цинциннати и был тем канибальским островом. Школьным вопросом занялись Кэтрин и Гарриет. Переживая вынужденную разлуку с домом ее детства, Гарриет начала писать для религиозных журналов маленькие рассказы о горячо любимой Новой Англии и о фермерах, которых хорошо знала. Набожность и цепкая наблюдательность определяют лицо ее сборника «Мэйфлауэр, или Очерки нравов и характеров потомков пилигримов» (1843).

В это же время Гарриет вышла замуж за коллегу отца по семинарии, преподобного Кэлвина Стоу; это был вдовец, сущее дитя, и при этом великой учености человек, херувим-богослов в скромном сюртуке. У супругов Стоу было шестеро детей. Миссис Стоу хватало забот по дому (на границе и без детей трудно наладить хозяйство), но даже в самых неблагоприятных условиях, заботясь о семейном бюджете, она старалась прибавить к нему хоть несколько долларов, сочиняя время от времени какую-нибудь безделицу. Ей довелось на краткий срок съездить в Кентукки, где она воочию увидела рабство — причем в его гуманной разновидности. В Цинциннати она узнала, что беглым рабам оказывается помощь через «подземную железную дорогу», и супруги Стоу влились в сочувствующую массу, не примкнув открыто к непопулярному в общественном мнении аболиционизму. Зато ее брат Эдвард Бичер, друг и помощник убитого Лавджоя, был откровенным аболиционистом.

Затянувшаяся ссылка окончилась в 1850 году, когда профессора Стоу пригласили в Боудойнский колледж в Брунsvике, штат Мэн. Вновь окунувшись в благопристойную тишь сельского быта Новой Англии, миссис Стоу со свойственным ей чувством религиозной ответственности задумывалась о случаях насилия, которые приводились в антирабовладельческих брошюрах и находили подтверждение в рассказах беглых негров. Жена брата Эдварда прислала письмо, умоляя миссис Стоу пожертвовать свое перо в защиту несчастных. Миссис Стоу отправилась к причастию, обуреваемая глубокими и смутными чувствами, и тогда-то перед ее духовным взором возникла сцена патетической смерти дяди Тома, по-христиански прощающего своих мучителей. В эту высокую минуту родился пропагандистский роман, величайший во всей истории американской литературы.

Роман «Хижина дяди Тома» (1852) велик скорее как явление общественное, нежели литературный факт. Преуспевая в беллетристике, которую разрешается читать учащимся воскресных школ, миссис Стоу ничем особенным поразить не могла. Ей были доступны хорошо продуманная мелодрама, юмор и пафос, на читателя они действовали безотказно, и миссис Стоу их все пустила в дело. Хотя ее пером водило страстное негодование, она с поразительным тактом избежала нападок на южан. Все негодяи в ее книге — это вырожденки-северяне. Она ограничивается тем, что вскрывает зло, сопутствующее рабству: продажа и распад негритянских семей, жестокость, с которой преследуют и наказывают беглых рабов. Аболиционисты поначалу нашли, что книга написана очень мягко, южане тоже не увидели в ней ничего особенного. Никто не мог предполагать, какой прием ожидал ее у публики. Популярность романа в северных штатах, в Англии, во всем мире была столь велика,

что никакими заслугами миссис Стоу и достоинствами романа объяснить ее просто невозможно. Когда писательница приехала в Европу, все встречи неизменно проходили на грани массовой истерики. Она стала символом.

Во втором антирабовладельческом романе — «Дред, история о проклятом болоте» (1856) — писательница задалась целью восполнить картину, акцентировав на этот раз губительное действие института рабства на самих рабовладельцев. Но ее подвели недочеты, которые в первом романе покрывались эмоциональным накалом, а это повторить невозможно. Сюжет романа представляет собой сплетение невероятных вещей. Автор не смогла объединить две линии повествования: попытки отзвучившей Нины Гордон и ее возлюбленного постепенно подготовить окончательное освобождение рабов и действия мятежного негра Дреда, организовавшего в болотах сборный пункт беглых рабов. До невозможности мелодраматические сцены перемежаются в романе проповедью.

После «Дреда» миссис Стоу уже не имела ничего нового сказать о рабстве. Хотя, с точки зрения Линкольна, Гражданская война была едва ли не делом ее рук, сама она накануне войны обратилась к другим темам. Она вторично побывала в Европе, где ее приветствовали не менее восторженно, чем прежде, после чего поселилась в Эндovere, штат Массачусетс, а затем осела в Хартфорде. Знаменитая писательница продолжала работать. Она произвела огромное количество литературной продукции для журналов и религиозных брошюр; кое-что выходило отдельными книгами. Из этой массы невыразительных и спешно написанных вещей по достоинству выделяются ее новоанглийские романы.

Для «Сватовства священника» (1859) она избрала сюжет, более всего отвечавший ее склонностям: дать картину духовной и материальной жизни фермеров Новой Англии в ту пору, когда их пастыри с решимостью Джонатана Эдвардса, бросающего кафедру в Нортхэмптоне, каждый свой шаг сверяли с теологическими доктринами совершенной жизни, безразличные к тому, в какое время они живут и в чем нуждается вверенная им паства. Напрашивается вывод о крахе кальвинистской догмы, и, видимо, с этой мыслью писал Холмс свою озорную притчу «Шедевр дьякона, или Одноконная повозка». Но миссис Стоу лучше других знала, сколько бескорыстного рвения и благородной самодисциплины посвятили потомки пуритан заботам о духовном совершенствовании, сколь многим они жертвовали ради него просто по-человечески. В особенности она понимала женскую долю — зажатые в тиски нерассуждающей обусловленности, сколько чувств они должны были подавить в себе, как психологически приноровиться, чтобы выжить и сохранить здравый рассудок. Самоотречением обременен и запутан сюжет романа; это не великое произведение искусства, но —

мастерский анализ внутренней механики пуританского характера. Свет, который он проливает на внутренний мир прирожденного, коренного поэта Новой Англии (например, Эмили Дикинсон), многое прояснит читателю, не обладающему специально развитым историческим воображением.

В романе «Жемчужина острова Опп» сюжет, страдающий идеалистическими натяжками, вырывают сочно, в манере Диккенса выписанные типажи с побережья Мэн. Миссис Стоу умом и сердцем знала человеческую натуру, и создать характер не представляло для нее никаких трудностей, но она неизменно спотыкалась на одном: она хотела, чтобы он иллюстрировал качества, которые она с детства научилась считать священными.

Этот недостаток выступает не так ясно в беллетризованных ею воспоминаниях ее супруга о детских годах в маленьком массачусетском городишке Саут-Нэтик. Полные покоя новоанглийские сцены в «Олдтаунских старожилах» (1869) окончательно утвердили ее в роли интерпретатора народной жизни особого склада: здесь почти два столетия сохранились нетронутые внешним влиянием учреждения и убеждения. Описательные главы романа и пестрая галерея деревенских персонажей позволяют считать миссис Стоу главой школы новоанглийских реалистов. Вернувшись к тому же локальному материалу в книгах «Олдтаунские рассказы у камина» (1872) и «Жители Поганука» (1878), она вновь продемонстрировала умение создавать обстановку и характер, но в идейном отношении ничего нового уже не прибавила.

В известном смысле миссис Стоу пала жертвой своей непомерно огромной славы: всемирное признание «Хижины дяди Тома» заслонило ту единственную область, где она больше всего была на месте. Достоинства ее новоанглийских романов действительно ждут быть открытыми. Сомнительно, впрочем, что сама миссис Стоу трезво сознавала границы своего таланта. Ее итальянский роман «Агнес из Сорренто» (1862) — явная ошибка, творческая нелепость. Ввязавшись в непродолжительный, но ядовитый пересуд семейной драмы лорда Байрона, она сделала плохо продуманный шаг, опубликовав книгу «Оправдание леди Байрон» (1870), выказав не только чувство справедливости, но и бестактное пренебрежение условностями. Ее романы 70-х годов пользовались успехом у современников, но художественная их ценность невелика. Фрейдистский анализ этих романов, думается, прольет неожиданный свет на побуждения, задолго до срока подавленные в их авторе.

Строгие рамки поведения, усвоенные всеми Бичерами, и естественные желания богатой творческой природы нередко вступали в конфликт, разрешавшийся иногда самым курьезным образом. Так, миссис Стоу разделяла мнение своего отца: театр — орудие дьявола. Но вот весной 1852 (или 1853) года в

Бостон привезли сценический вариант ее «Хижина дяди Тома», и она не сумела преодолеть желания увидеть постановку. Френсис Андервуд проводил ее в директорскую ложу — «нас не узнали, она была под вуалью». Миссис Стоу была очарована. «Я ни у кого не видел такого восторга на лице», — вспоминал Андервуд. Зато ее новоанглийской совести была нанесена смертельная рана. Не столь таинственно, но так же смешно происшедшее на обеде в «Атлантик», когда впервые пригласили авторов-женщин. Миссис Стоу согласилась присутствовать, но выставила железное условие: чтобы вина за столом не было. Но сама, по воспоминаниям одного из жаждущих гостей, явилась в причёске, украшенной виноградными листьями. И наконец, прелестный анекдот сохранила супруга Томаса Бейли Олдрича. Миссис Стоу пришла к обеду немного раньше времени. День был жаркий, и простая душа отведала освежающего пунша, после чего стала клевать носом. Не позавидуешь хозяйке, которая встречала прибывающих в гостиной, а рядом, на софе в нише, разметав широкую юбку и не сняв кружевных митенок, крепким сном спала автор «Хижина дяди Тома».

Гарриет Бичер Стоу не была великой личностью, не была и великой писательницей, но слова, написанные ее рукой, заставили содрогнуться мужественный народ. Сама она объяснила этот парадокс с очаровательной простотой, отозвавшись о своей всемирно известной книге: «Ее создал Бог». Она же только записывала под диктовку всевышнего. Уму, воспитанному на Ветхом завете, не казалось невероятным, что бог избирает глупого посрамить умного, а слабого — осилить могучего.

## 35. ТРИУМВИРАТ НОВОЙ АНГЛИИ: ЛОНГФЕЛЛО, ХОЛМС, ЛОУЭЛЛ

### 1

Ни споры о рабстве, ни начавшаяся Гражданская война — ничто не могло нарушить мира и покоя, царивших в середине прошлого века в городке Кембридж близ Бостона. Рядом с запущенным двором колледжа и семью зданиями из красного кирпича, где обитали «питомцы муз», находилась «деревня», описанная Лоуэллом в одном из его самых жизнерадостных очерков «Кембридж тридцать лет назад». То был маленький, но независимый от Бостона городок, не блиставший красотами, но и небезобразный. Живые напоминания о революции и предмет особой гордости — собственный колледж — отличали Кембридж в глазах заезжего путника от многих подобных городков Новой Англии. При более близком знакомстве обращало на себя внимание то, что научным занятиям отдавалось здесь предпочтение перед остальными сферами человеческой деятельности. Почитая превыше всего собственный интеллектуальный аристократизм, общество Кембриджа было настолько демократично, что ректор колледжа мог числиться майором добровольной милиции, где его собственный слуга занимал пост полковника.

Кембридж стал тем милым уголком, где общество не очень поощряло уединенный образ жизни, который принуждены были вести многие американские философы и писатели. Традиции пуританского прошлого, направленного в новое русло, еще давали здесь себя знать. Кембридж выглядел несколько провинциальным, находящимся как бы в стороне от главных течений американской мысли, однако трудно, пожалуй, назвать другой американский город, где так хорошо бы жилось ученому, философу или писателю. Даже молодой поэт, оказавшись он там ненароком, не вызвал бы насмешек и не встретил бы ледяного молчания.

В 30-е годы в Кембридже и Бостоне жило трое молодых поэтов — Генри Уодсворт Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс и Джон Рассел Лоуэлл. Счастье сопутствовало всей их долгой жизни начиная с самого рождения. Новая Англия их молодости представляла собой сельскохозяйственный регион, в жизни которого немалую роль играло море. Население было

довольно однородно, а исторические традиции отличались своеобразием. За два века упорного труда он накопил небольшие, но умело используемые богатства. Нигде основы науки и образования не были столь доступны, как там. Никогда еще со времен великих Афин не знало общество столь гармонического сочетания индивидуальной свободы с сознанием общественных и политических обязанностей граждан. Новая Англия того времени состояла главным образом из маленьких городков, жители которых с таким единодушием отстаивали свои права и обязанности, что проницательный иностранный наблюдатель Алексис Токвиль писал о Новой Англии в 1835 году как об образце демократии, близком к совершенству. От подобных городков Новой Англии Кембридж отличался лишь своим старинным колледжем.

Подобные условия позволяли поэту жить в мире с настоящим, посвящая свой досуг изучению минувшего. Купер и другие писатели раннего периода американской словесности когда-то жаловались, что молодая нация не в состоянии создать подлинно великую литературу до тех пор, пока у нее нет культурной традиции, уходящей корнями в далекое прошлое. Без этого не появится читатель, сопереживающий мыслям и чувствам писателя. И вот теперь такие «великие писатели» заявили о себе в лице Лонгфелло, Холмса и Лоуэлла.

С неизменным успехом каждый из них сочетал в себе противоречивые качества ученого, художника и джентльмена. Все трое хорошо владели литературным мастерством, отличались трудолюбием, порождавшим многословие их прозы и стихов. Они были «достойными» людьми во всех отношениях, происходили из старых добропорядочных семей, снискали глубокое уважение в Новой Англии и немало преуспели в создании литературного престижа страны, занятой совсем другими делами. Унаследовав новоанглийское пуританство, значительно смягчившееся в течение XVIII века, они взирали на мир оптимистично, спокойно и терпимо, вызывая тем добрые чувства и восхищение своих соотечественников. Хотя бесспорный патриотизм этих поэтов уходил корнями в почву родного края, каждый из них выступал хранителем культуры Старого Света. В течение полувека вращались они в одних и тех же кругах, слушали одни и те же речи, читали одни и те же книги. Произведения друг друга вызывали у них прочувствованную похвалу, и они нередко собирались вместе как члены Субботного клуба в Бостоне, прозванного Обществом взаимных востргов.

Лонгфелло, Холмс и Лоуэлл предпочитали писать для тех, кого хорошо знали и к кому обращались на понятном всем языке. Их читательская аудитория была обширна и доброжелательна. Не усложняя дела, можно сказать, что многие поэты, выступившие после первой мировой войны, писали для самих

себя не столько из-за того, что презирали большую читательскую аудиторию, а потому, что страшились широкого читателя. У кембриджско-бостонского триумvirата не существовало причин для подобного страха. Их естественное и оправданное желание быть понятными, любимыми и даже влиятельными поэтами полностью удовлетворялось. Они испытывали такую же уверенность в своих читателях, как священник, составляющий воскресную проповедь для своей паствы, что придавало их стихам ораторскую убежденность. Но этим же объясняется та банальность и сентиментальность, переливание из пустого в порожнее, повторение общеизвестных истин, подорвавшие репутацию этих поэтов у позднейших поколений читателей. Однако, подводя итоги, не следует забывать вклада Лонгфелло, Холмса и Лоуэлла, продемонстрировавших, что в Америке могут быть написаны хорошие стихи, которые понятны и доставляют удовольствие непритязательному читателю.

## 2

Двадцати девяти лет от роду, в 1836 году, Лонгфелло приступил к исполнению обязанностей профессора новых языков в Гарварде. Подготовка к этой должности не потребовала от него серьезного напряжения и не повела к тому, что можно было бы назвать академической ученостью. Лонгфелло родился в 1807 году в Портленде, штат Мэн. Его отец был преуспевающим юристом, а дед — прославленным героем американской революции. Окончив Боудойнский колледж в одно время с Натаниелом Готорном, он три года свободно путешествовал и набирался знаний в Европе. Затем последовали пять лет преподавания в Боудойнском колледже, женитьба на девушке из Портленда, вторая поездка в Европу и смерть молодой жены. До своего появления в Кембридже Лонгфелло успел написать и опубликовать изрядное количество ничем не примечательных стихов, несколько журнальных статей, кое-какие учебники для своих студентов в колледже и небольшой томик путевых очерков в манере Ирвинга, озаглавленных «За океаном». Было совершенно очевидно, что молодой человек исполнен решимости выдвинуться в какой-либо ему самому еще неясной области, однако созданное пока не обнаруживало ни самобытности, ни творческого таланта.

Невысокого роста, но с привлекательной внешностью и изящными манерами, исполненными спокойной грации, не страдающий излишней молчаливостью и уделяющий большое внимание своей одежде, склонный посмеяться, обладающий при этом скорее чувством юмора, чем истинным умом, молодой профессор ценил земные блага, отличался общительностью, легко сходился с людьми и надолго сохранял добрые отношения. Он держал себя с чувством собственного достоинства, внушавшим



уважение, однако не то безмерное почитание, что порой мешает простой привязанности. Коллеги и студенты полюбили его с самого начала, хотя в цветных жилетах и вьющихся волосах профессора было нечто слегка экзотичное. Равнодушие Лонгфелло к современной Америке можно легко объяснить как следствие двух долгих пребываний за границей. Этот веселый и общительный молодой человек принес с собой в провинциальный университетский городок дух романтизма. Ведь он бродил по Риальто \* и улицам Мадрида, подолгу жил среди «ушедшего очарования средневековья» \*. Таким представлял его себе молодая Америка — в Геттингене, в Гейдельберге или на берегах Рейна, где высятся старинные замки. «Старый Свет, — писал он когда-то давно в своем аккуратном дневнике, — это почти святая земля». Подобные чувства ни в коей мере не мешали его успеху в Кембридже и Новой Англии, где преклонение перед гебраистикой постепенно уступало место тяге к европейской культуре. И действительно, Лонгфелло не был там чужаком. Его отец и дед учились в Гарварде, а четверо предков по материнской линии, включая Джона Олдена \*, приплыли на «Мэй-флауэр».

Профессор Лонгфелло исправно, но без видимого энтузиазма исполнял свои университетские обязанности, и, хотя как преподаватель не отличался блеском, его нельзя было назвать и скучным. Лекции Лонгфелло по новой европейской литературе, спокойные и проникнутые глубоким пониманием предмета, содействовали не столько познанию литературы, сколько повышению «общей культуры слушателей», как бы исходя из того, что джентльмен не станет похвалиться своей ученостью, как не станет хвастаться своим банковским счетом. К тому же Лонгфелло не отличался склонностями или способностями к литературной критике. «Первоначально критика служила для проявления благожелательности, подчеркивая не столько недостатки произведения, сколько его красоты, — писал он позднее в «Застольных беседах». — Природа человека обратила критику в злословие, подобно тому как дурное сердце Прокруста превратило ложе сна, этот символ отдохновения, в орудие пытки».

Некоторые места в ранних лекциях Лонгфелло свидетельствуют, что, очевидно, еще в Европе он изучил теорию высшего образования, чтобы поскорее применить ее на деле в Боудойне и Гарварде, однако рутинность занятий не стала от этого менее утомительной. Не прошло и двух лет его работы в Гарварде, как в дневнике появилась запись: «Самое неприятное в жизни преподавателя — это, очевидно, то, что ты должен приравниваться к уровню мысли подростка... вместо того чтобы подняться и сразиться со зрелым умом». Такие слова производят весьма странное впечатление в устах человека, редко с кем-нибудь сражавшегося и ни разу не замеченного в попытке «подняться» над чем-либо. Слова эти столь же необычны, как и

строка «Жить, творить среди борьбы» в «Псалме жизни», самым знаменитом, хотя и наименее характерном для него стихотворении. Ибо Лонгфелло ни в коей мере не был человеком действия. В своей жизни и в своей работе он руководствовался двумя противоположными желаниями. С одной стороны, страстно стремился оставить по себе след, прославиться в глазах мира; с другой — ему хотелось и, очевидно, безотчетно — провести жизнь в неторопливом чтении старых книг, размышлениях и воспоминаниях, приведших к созданию его стихотворения «Моя утраченная младость». В том и состояла задача, чтобы сопрячь эти, казалось бы, противоречивые желания. И уже довольно рано он нашел ответ в призвании поэта. Работа в Гарварде не отвечала ни одному из этих желаний, и в 1854 году он оставил профессорскую кафедру.

Чтобы опровергнуть представление, будто вся жизнь Лонгфелло подтверждает его холодную расчетливость и чуть ли не приспособленчество, столь несовместное с поэтическим даром, достаточно привести ряд случаев, когда он не только проявлял сноровку в устройстве своих земных дел, но и оставался верен сладостной мечте. То, как он отбирал или отвергал поэтические темы, безошибочно знал, какое время наиболее удачно для публикации стихов, его умение ладить с издателями, а более всего способность предугадывать вкусы читателей свидетельствуют, что склонность строить воздушные замки, унаследованная, по-видимому, от матери, хорошо сочетается с практической жилкой, сделавшей его отца удачливым юристом и политическим деятелем.

Поэзия не была внутренней и прирожденной необходимостью Лонгфелло. В молодости он мог годами не писать стихов, и первый его поэтический сборник вышел в свет, когда автору исполнилось тридцать два года. Несомненно, он любил поэзию, любил писать стихи, но при условии, что они способны давать ему нечто более реальное, чем «воздушные замки». Когда же наконец он увидел и убедился, что поэзия может предоставить ему возможность легко и с достоинством оставить память о себе без того, чтобы «жить, творить среди борьбы» или «сражаться как герой», Лонгфелло обрел успокоение и стал первым американским поэтом-профессионалом — определение, содержащее противоречие в себе самом.

Любопытный образчик того, как Лонгфелло умел приумножить свои земные богатства, отдаваясь порывам собственного сердца, представляет собой история его длительного ухаживания за Френсис Эпплтон. Никто не скажет, что к его любви к этой очаровательной женщине примешивались какие-либо материалистические расчеты, и все же нелишне отметить, что она была дочерью одного из богатейших бостонских купцов, а став наконец в 1843 году его женой, принесла в приданое внушитель-

ный Крейги-хаус и земли в Кембридже, где некогда находился штаб генерала Вашингтона.

Решая вопрос, следует ли позволить дочери выйти замуж за человека, который не только профессор колледжа, но еще и сочиняет стихи, Нейтану Эпплону, преуспевающему купцу Бикон-Хилла, пришлось принять во внимание, что к 1843 году профессор Лонгфелло быстро становится знаменитостью. Первый его поэтический сборник «Голоса ночи», опубликованный в 1839 году, разошелся в количестве 43 000 экземпляров, а некоторые стихи из него, такие, как «Псалом жизни», «Жнец и цветы», приобрели широкую известность. Этот успех не мог не смягчить рану, нанесенную прозаическим сочинением Лонгфелло романом «Гиперион», также появившимся в 1839 году, где профессор обнаружил дурной вкус, поведав в слегка завуалированном виде о первой поре своего ухаживания за дочерью Эпплтона. В 1842 году вышли «Баллады и другие стихотворения», значительно превосходящие первый сборник. Здесь были напечатаны две отличные морские истории — «Гибель „Вечерней звезды“» и «Скелет в броне», понятные любому купцу, а также сладостно-сентиментальное «Девичество», бесцветный «Дождливый день» и «Деревенский кузнец», проникнутый барственным снисхождением к трудовому народу. Подобные стихи снабжались обычно морализаторской концовкой, связь которой с сюжетом была весьма отдаленной; тем не менее мораль смягчала непосильную ношу поэзии для тех, кто отдавал предпочтение проповедям. Короче говоря, в этой книжечке были стихи на все вкусы, а стихотворение под названием «Excelsior» представляет собой подлинный шедевр доходного искусства нравиться сразу всем. Ибо изображенный в нем юноша, несущий «непонятный девиз», может при желании воплощать собой стремление ввысь, к вершинам Парнаса, к полному развитию своих творческих сил или же равным образом к тому, чтобы сделаться президентом банка, железнодорожной компании или колледжа. Во всяком случае, он к чему-то стремится, надеется, уповает и в таком качестве может восприниматься как великолепный символ молодой и честолюбивой нации, едва ли еще понимавшей, куда она движется, но твердо знавшей, что она в пути.

Стихи этих двух поэтических сборников так глубоко запали в память американского народа, почти достигнув распространенности пословиц, что вспоминаются и сегодня, как только речь заходит о Лонгфелло и мы начинаем говорить, будто он не заслуживает серьезного внимания. Оставим выяснение подлинных причин неоспоримой популярности Лонгфелло историкам американской культуры. Самое милосердное, что может сказать ныне критик о стихах поэта, — это, выражаясь языком музыкантов XVII века, назвать их экзерсисами, написанными для испытания диапазона и звучности инструмента. Другими словами,

человек, которому было мало что сказать, прилагал усилия, ища и заблуждаясь, в своем стремлении найти те сюжеты, настроения и литературные приемы, которые больше всего по нравились бы читающей публике, еще никому пока неведомой. Поэт пытался разглядеть в Америке основы жизни, о существовании которых страна еще не подозревала. Не удивительно, что вначале он неуверенно брел ощупью и хватался за все, что попадалось на пути, пока крепко не ухватился за найденное сокровище.

Любовь к Френсис Эпплтон дала Лонгфелло возможность испытать страсть, а также преходящую боль и кажущуюся неудачу, что углубило и усилило его чувство. Успешный исход наполнил его душевным покоем и освободил от реальной или мнимой необходимости бороться за всеобщее признание. В течение долгих последующих лет безмятежной в целом жизни поэзия Лонгфелло обнаружила превосходные качества, которые трудно было бы предугадать в его ранних стихах. Обретя счастье в семейной жизни, окруженный друзьями — Лоуэлл, Сэмнер, Нортон и Агассис, — в то время как его слава завоевывала обе Америки, Англию и Европу, Лонгфелло с необыкновенной легкостью писал все новые и новые стихи. Сборник «Башня в Брюгге и другие стихотворения» (1845), помимо таких известных вещей, как «Мост» и «Старинные часы на лестнице», содержит прекрасный сонет «Mezzo Cammin» («На половине пути»), в котором поэт скромно и с мужественным спокойствием взирает на свое прошлое. Два года спустя «Эванджелина», длинная и хаотичная поэма, написанная нерифмованным гекзаметром, продемонстрировала, что наконец появился американский поэт, считающий сочинение стихов делом своей жизни. Блестящего успеха этой поэмы не омрачило даже появление «Кавана» (1849), неудачного экскурса в область художественной прозы, обнаружившего слабость мысли поэта, освобожденной от искусно орнаментированного покрова поэзии. Расцвета творческих сил Лонгфелло достиг в пространным стихотворном повествовании «Песнь о Гайавате» (1855) и в «Сватовстве Майлза Стендиша» (1858). Как и «Эванджелина», эти произведения в известной мере утолили голод Америки по своему собственному легендарному прошлому, своим мифам. Ту же задачу выполняли «Рассказы придорожной гостиницы» (1863), написанные по образцу Чосера и Боккаччо, объединившие новеллы о разных странах, в том числе об Америке, и рассказанные у камина массачусетской гостиницы поселенцами Новой Англии.

Не только повествовательная манера, но и сама тематика этих «Рассказов» подтверждает склонность Лонгфелло к старине. Лишь немногие из них, подобно не очень достоверному в деталях, но весьма впечатляющему стихотворению «Скачка Поля Ревира», могут быть названы американскими по своему духу и содержанию, хотя поэт приложил все возможные усилия,

желая придать им налет национальной старины. Остальные посвящены дальним странам и давно минувшим временам. Лучший же рассказ «Сага о короле Олафе» при всех своих достоинствах лишен какой-либо мифологической первозданности.

Конечно, не следует думать, будто компания американцев прошлого века, расположившаяся вокруг новоанглийского камелька, и вправду могла рассказывать друг другу подобные истории. Ясно, что Лонгфелло нигде и никогда не стремился к внешнему правдоподобию. У него не было преклонения перед реальными фактами, придававшими ощущение жизни книге Чосера, которая послужила образцом для «Рассказов придорожной гостиницы». Лонгфелло, очевидно, и не догадывался, что поэтическое воображение призвано не уводить от действительности, как то нередко случалось в его собственных стихах, а помогать проникновению в эту действительность, чтобы понять ее. И уж конечно, ничто не представлялось ему поэтичным до тех пор, пока все проявления современной жизни начисто не изымались или не запрятывались далеко вглубь. Когда же объектом поэтического изображения все-таки избиралось некое современное событие, первым и произвольным стремлением поэта было погрузить его поглубже в «вечный поток времени». Так, описывая «Гибель „Вечерней звезды“» менее двух недель спустя после этого события и находясь на расстоянии пятидесяти миль от места происшествия, он сделал все возможное, чтобы стихотворение напоминало средневековую народную балладу. Местом действия его трех совершенно американских по тематике поэм с таким же успехом могла стать древняя Аркадия, столь далеки они от реальных примет жизни своего времени. Лишь однажды, да и то с явной неохотой, обратился он по просьбе своего друга Чарльза Самнера к животрепещущей проблеме современности. Результатом этого неудачного опыта явились «Стихи о рабстве» (1842).

Склонностью к старине отличался не один Лонгфелло. С тем же встречаемся мы у Ирвинга и Готорна. Эта характерная черта присуща романтизму на протяжении всей его долгой истории. Однако даже в американской литературе Лонгфелло являет собой исключение в «пристрастии к чему-то весьма далекому от злобы дня». Его тоска по пленительным сумеркам прошлого нередко объясняется как результат странствий в молодости и беспорядочного чтения европейской, в особенности немецкой, романтической литературы, возникшей раньше и просуществовавшей дольше, чем где-либо. Однако здесь причина смешана со следствием. Когда Лонгфелло впервые отправился в Европу, его романтизм уже вполне созрел, а если у него и были источники, то искать их следует в «Книге эскизов» Ирвинга — произведении, которое вызывало его восторг в детстве, которому он тогда

же начал подражать и от влияния которого не мог избавиться всю жизнь. Более вероятно все же, что романтизм завладел поэтом в результате столкновения материнской мечтательности с отцовской поглощенностью земными делами. К последним он никогда не терял уважения, но в то же время понимал, что они потребуют от него энергии и настойчивости, борьбы «в труде упорном» \*, что было совершенно чуждо его натуре. Между тем поэзия и мечты не требовали соприкосновения с грубой действительностью. Говоря словами Оссиана, одного из любимых поэтов его детства, то были «преданья старины, дела давно минувших дней»».

Источник любви Лонгфелло к старине сам по себе еще не столь существен, как то обстоятельство, что по-настоящему его интересовала не Америка и не Европа, а прошлое. Однако не то прошлое, которое реконструируется научной мыслью или воссоздается смелым историческим воображением, но неизменная и вневременная, совершенно мифическая эпоха, плод его собственного воображения. Все это означало, что книги Лонгфелло с их огромной популярностью не противоречили, а скорее, напротив, подтверждали представление, к которому давно склонялась Америка, — представление о том, что поэзия и другие искусства не имеют никакого отношения к реальной жизни и, подобно религии, предназначены для дождливых праздников и досуга ничем не занятых женщин.

После ужасной гибели жены во время пожара в 1861 году Лонгфелло «нашел убежище», как писал он одному из своих немецких друзей, в работе над переводом «Божественной комедии» Данте. Появившиеся в результате три тома (1865—1867) представляют собой весьма точное изложение слов великого флорентийца, лишенных, однако, чеканной и пламенной силы. Таланту Лонгфелло не суждено было здесь проявиться. Самые, казалось бы, плодотворные годы жизни не дали результатов ни в этой лишенной творческого начала работе, ни в попытке создать поэтическую драму. Важнейшим своим творением он считал, как говорят, стихотворную пьесу для чтения «Христос. Мистерия», опубликованную в полном виде в 1872 году и представляющую собой довольно рыхлую трилогию. Сегодня для чтения пригодна лишь вторая часть, озаглавленная «Золотая легенда» и оставляющая впечатление весьма развлекательного «Фауста» Гёте. Самим же собой Лонгфелло выступает в простом и величественном «*Morituri Salutamus*» («Обреченные на смерть приветствуют»), написанном к пятнадцатой годовщине выпуска его класса в Боудойнском колледже.

В старости Лонгфелло испытал подлинный прилив творческих сил. В двух последних сборниках — «*Ultima Thule*» («Крайний предел») и «В гавани» (1880 и 1882) — заключено немало стихотворений, значительно превосходящих стихи первой книги. Лонгфелло стал и с присущей ему скромностью считать себя са-

мым известным поэтом в Америке или даже на всем свете. Любовь к нему была столь же повсеместна, как и его слава, и он просто не мог не счесть себя благодетелем человечества. Письма с выражением восторга и признательности, на которые он неизменно и любезно отвечал, сыпались на него из всех стран и на всех языках. Все школы Соединенных Штатов отпраздновали 75-летие поэта. Две недели спустя он написал последнее стихотворение «Колокола Сан-Блас», а еще через десять дней, 24 марта 1882 года, его не стало.

Вечный вопрос относительно «американизма» Лонгфелло не столь уж сложен, как это может показаться. Лучшим свидетельством того, что он американский поэт, является мнение соотечественников, считающих его глашатаем своих мыслей, своим любимцем. С этой точки зрения Лонгфелло самый американский поэт, какого когда-либо знала Америка. Он столь близок нам, что внимательное чтение его книг помогает понять самих себя, хотя и не всегда льстит самолюбию. Он «честно унаследовал», сказали бы мы, сентиментальность, банальность и назойливый морализм, отличающий его ранние произведения. Своей археологической увлеченностью седой стариной, внешним налетом меланхолии, никогда по-настоящему не омрачающей его оптимизма, а более всего своими неожиданными переходами от мечтательности к призывам «жить должны мы Настоящим» \*, Лонгфелло вызывает представление о самых сокровенных чертах американского характера. Вот почему не знать Лонгфелло или высокомерно пренебрегать им — значит утратить некую часть культурного наследия Америки.

И все же надо сказать, что вряд ли главная забота поэта состоит в том, чтобы быть представителем своего времени и своей страны, отличаться остроумием, глубокомыслием или даже просто здравомыслием. Мы часто забываем тот очевидный факт, что поэт должен создавать поэзию. Лонгфелло хорошо понимал это и в своих лучших произведениях проявил себя добросовестным и уравновешенным художником, преданным своему делу. Он отличался мастерством традиционного стихосложения, легко и умело сочинял стихи, используя все разнообразие метрики и строфики. Ему ничего не стоило зарифмовать такую повесть, как «Эванджелина», богатую оттенками музыки слова и чувства. Он умел поведать о «Скачке Поля Ревира» в строфах, которые как бы мчатся и звенят. Среди написанных им позднее дюжины или даже более того сонетов особенно памятен сонет «Природа» и шесть других, созданных в связи с его переводами из Данте и производящих впечатление массивной и величественной бронзы. Язык Лонгфелло прозрачен как ни у кого, и, что бы он ни писал, хорошо ли, плохо ли, он всегда писал легко, без малейшего напряжения или напыщенности. Используя образное выражение Торо, можно сказать, что Лонгфелло ударял не кончиком, а се-

рединой палки. Иногда, особенно в старости, ему удавалось достигать поразительной простоты стиля, которая так гармонировала с присущей ему природной добротой, безмятежностью и умиротворенностью.

### 3

Лонгфелло понадобилось двадцать девять лет, чтобы попасть в Кембридж, а Оливер Уэнделл Холмс — как он сам бы сказал — сэкономил время, родившись прямо там, в старом доме, с высокой двускатной крышей, расположенном между пригородной пустошью и колледжем. Холмс оставался жителем Кембриджа до конца своей долгой жизни и в то же время слыл истинным бостонцем. Девятнадцати лет, в 1829 году, он окончил Гарвардский университет и на следующий год, «зевая над книгами по юриспруденции», написал яркое стихотворение «Старый броненосец», сделавшее имя поэта известным далеко за пределами Новой Англии и спасшее старый фрегат «Констительюшн» от слома. Оставив вскоре юриспруденцию, Холмс занялся медициной, сначала в Бостоне, а в 1833 году отправился в Париж, где два с половиной года усердно занимался анатомией, хирургией и терапией под руководством самых выдающихся ученых того времени. Как свидетельствуют письма Холмса, то были годы его духовного возмужания. Стремясь к более определенной цели, чем Лонгфелло, отправившийся в Европу за несколько лет до того, Холмс сумел достичь гораздо большего. Овладев прочными познаниями в избранной области, он преуспел в знакомстве с парижской жизнью, а также, хотя и бегло, с Англией, Шотландией, Италией в достаточной мере, чтобы не стать провинциальным бостонцем, каким сам иногда не без чувства юмора называл себя.

В первый же год по возвращении из Европы Холмс получил диплом доктора медицины на медицинском факультете Гарвардского университета (1836), открыл медицинскую практику, выпустил первый сборник стихов, стал членом Массачусетского медицинского общества, опубликовал диссертацию о перемежающейся лихорадке в Новой Англии, получил Бойлстонскую премию в Гарварде и написал поэму для выпускников Гарварда, исполнение которой заняло, не считая аплодисментов, один час и десять минут. Этот год, отразивший лишь некоторые стороны позднейших свершений доктора Холмса и его кипучую деятельность, представляет своего рода беглый набросок той напряженной, бурной и многогранной жизни, которую он более полувека вел в Кембридже и Бостоне.

И тем не менее его интересы всегда, как в юности, так и в старости, отличались цельностью. Даже пришедшая со временем слава писателя и поэта не в силах была поколебать его упорной целеустремленности. Прежде всего он считал себя док-



тором, хотя и понимал это звание шире, чем обычно принято. Свою медицинскую практику, не отличавшуюся обширностью, Холмс оставил еще в молодые годы; не прославили его и научные исследования в области медицины. Наиболее успешной была преподавательская деятельность, которой он отдавался со всем увлечением и энтузиазмом. О Лоуэлле говорили, что он иногда зевал, входя в аудиторию; имеются подозрения, что и студенты Лонгфелло иногда делали то же самое в середине лекции. Ум, здравый смысл янки и одухотворенная эрудиция профессора Холмса служили надежной защитой от микроба скуки. С 1838 по 1840 год в Дартмуте, а с 1847 по 1882 год на медицинском факультете Гарварда он неизменно читал лекции по анатомии и физиологии с глубоким чувством исполненного долга. Воспоминания учеников Холмса свидетельствуют, что в лекциях он стремился воплотить свою страстную увлеченность тем, что гордо называл Наукой. Безмерное эстетическое наслаждение доставляла ему сложная упорядоченность и гармоничность природы, в особенности человеческого тела, как раз в то время раскрывшиеся перед наукой.

Если мы обнаруживаем, что прозе и стихам Холмса не хватает яркости и напряженности, то не потому, что сам доктор был лишен этих качеств, а лишь оттого, что они были направлены к другой цели. Миниатюрного телосложения, внешне вечно юный, обаятельно эгоцентричный, падкий на похвалы как мальчишка-школьник, всю жизнь сыплющий каламбурами, эпиграммами и острыми словечками, неизменно убежденный, что нет худа без добра, этот доктор, профессор, поэт и мастер прозы по имени Холмс оказывался несколько суров к тем, кто воспринимал всерьез лишь внешнюю сторону его облика. Для всех, хорошо знавших Холмса, было очевидно, что его выступления против любых проявлений фанатизма — будь то фанатизм медиков старой школы, высмеянных в блестящем остром очерке 1843 года «Инфекционная родильная горячка», либо фанатизм теологов-кальвинистов, с которыми он беспрестанно боролся и в очерке о Джонатане Эдвардсе, и в стихотворении «Облака и движения звезд», — язвили подобно осиному жалу. Его отвращение к беспорядку и путанице, невежеству и жестокости явилось неизбежным следствием пристрастия к упорядоченности и ясности, к тому интеллектуальному свету и благодетельности, которыми, по его мнению, человечество обязано современной науке. Мы, конечно, правы, называя Холмса консерватором. Он и сам считал себя таковым, однако в основе его осторожности и органического неприятия каких-либо перемен лежала та страсть, та смелость, которые делают возможными революции. Решение членов Массачусетского медицинского общества по годовичному докладу Холмса «Борьба различных направлений в медицине» явилось тем выражением общественного мнения, которым Холмс мог по праву гордиться. Это решение гласило, что «общество

снимает с себя всякую ответственность за положения, высказанные в Ежегодном докладе».

Главное, что привез Холмс из Европы и что всеми силами стремился привить американской почве, — это твердая и безоговорочная вера в Науку. Слово «вера» здесь вполне уместно, ибо он воспринимал Науку (всегда с большой буквы) и писал о ней то же, что новоанглийский священник старых времен о религии. Холмс считал Науку по меньшей мере новым откровением божественного разума, в свете которого следует пересмотреть все подлинные или мнимые откровения прошлого. «Принципы современной науки, — говорил он, — четкие и ясные, ее решимость непреклонна, а развитие необратимо; ибо она рассматривает себя в качестве Провидения, подлинной наследницей древних мужей, принесших людям небесный свет».

Вера в Науку не раз заставляла Холмса вопреки прирожденному консерватизму выступать в одном ряду с реформаторами. В длительной борьбе с упорствующими приверженцами кальвинизма наряду с эрудицией, разумом, здравым смыслом и остроумием он свободно применял научную аргументацию. Используя научные доводы и факты, Холмс доказывал, что преступников, злонамеренных лиц и вообще «грешников» следует не наказывать, а воспитывать, поскольку они не несут полной ответственности за свои проступки. Ради этой идеи были написаны три романа — «Элси Веннер» (1860—1861), «Ангел-хранитель» (1867) и «Смертельная антипатия» (1885). Писатель с таким жаром говорил о наследственности и окружающей среде, что казалось, он проповедует материалистический детерминизм, а не высмеивает кальвинистскую догму предопределения.

Однако Холмса никак не назовешь материалистом. Он допускал известную свободу воли и никогда не терял веры в милосердие бога. По утверждению близко знавшего его Джона Т. Морзе-младшего, главного биографа Холмса, последнего больше занимала теология, чем литература или медицина. Для тех, кто считал Холмса всего лишь приятным шутником, теологическая эрудиция писателя представлялась наиболее удивительной стороной его многогранных и точных познаний. Религиозная вера самого Холмса, однако, не отличалась ни определенностью, ни глубиной. Однажды он даже признался, что мог бы суммировать ее первыми двумя словами молитвы «Отче наш» и считал это вполне достаточным. Несмотря на свою непокладистость и суетность, этот маленький человек и не подозревал, каким душевным покоем и верой в бога он обладал. Здесь Холмс походил на английских поэтов XVIII века, таких, как Парнелл или Грей, братья Уортон или Уильям Шенстон, столь искусно скрывавших какие-либо внешние проявления «восторга», что их истинная религиозность редко себя обнаруживала.

Произведения Холмса заставляют вспомнить английский классицизм. Великолепный стиль его прозы основывается, как и очерки Аддисона и Стиля, на самых выдающихся беседах того времени (главным участником которых выступает он сам). В поэзии его излюбленной формой был пятистопный ямб, рифмованный попарно. Подобно Попу, хотя и не в такой степени, Холмс полагался главным образом на силу «остроумия» — понятия, в которое им включались как разум, так и здравый смысл. Его чувства к Бостону, где во времена его молодости еще не иссяк легкий аромат XVIII столетия, напоминали чувства доктора Джонсона к Лондону. Выдержка, изысканность и спокойное самообладание значили для него не меньше, чем для лорда Честерфилда. Произведения Холмса могли бы соперничать с сатирой Свифта, если бы его убеждения отличались большей пылкостью, а сердце большей холодностью. Даже его преданность науке заставляет вспомнить о деистах XVIII века, видевших в законах природы некое второе проявление разума и целей Создателя. Неизбывный оптимизм Холмса, основывающийся на уверенности, что человеческий разум в состоянии понять и в известной мере управлять физическим миром, в котором он находится, весьма напоминает оптимизм ближайших последователей Исаака Ньютона.

Одним из немногих выдающихся событий в жизни Холмса стало предложение, полученное им незадолго до пятидесятилетия, сотрудничать во вновь созданном «Атлантик мансли», который редактировал его друг Джеймс Рассел Лоуэлл. В то время, в 1857 году, Холмса мало кто знал за пределами Бостона, да и там он был известен лишь как толковый врач и преподаватель, к которому, как к любителю изящной словесности, всегда можно обратиться и попросить тотчас же написать забавные стихи на случай, будь то ежегодная встреча выпускников Гарварда или иное празднество. Однако «Самодержец обеденного стола» (1857—1858) сразу же принес славу как автору, так и новому журналу Лоуэлла.

Американская литература не знала до тех пор ничего подобного этому обширному произведению, умному и веселому, счастливо сочетающему факты и фантазию, искрящемуся остроумием и исполненному при всем том сердечной мягкости. В этой книге, как и в двух, продолжающих ее — «Профессор за обеденным столом» (1860) и «Поэт за обеденным столом» (1872), — Холмс успешно разработал художественную форму, отвечающую складу его таланта. Соединив воедино технику прозы, драмы и очерка, он создал для себя тот художественный метод, с помощью которого мог рисовать характеры, рассказывать истории, излагать свои любимые идеи и предубеждения, выставлять напоказ свою эрудицию, восхвалять Бостон, поносить глупость и предаваться бесконечным монологам, не опасаясь быть прерванным. Такое разнообразие тематики воз-

водилось в достоинство, а то, что могло казаться нарочитым эгоизмом и в действительности было недалеко от него, превращалось в чистое очарование. Восхищаясь художественной формой серии «Обеденного стола», не следует забывать о достоинствах прозаического стиля Холмса, упругого и изящного, как паутинка. Мало что устарело в суждении, высказанном много лет назад в бостонском «Эдвертайзер» о том, что стиль Холмса напоминает «живучестью — гикори, вкусом — сидр и при этом отличается тонизирующим действием климата его родины, мужественностью, закаленной в борьбе, в которой складывался наш национальный характер».

«Самодержец обеденного стола» — одна из самых удивительных книг, написанных в Америке. Из семян конкретного познания вырастает здесь древо мысли, приносящее плоды разума. Эта книга — характерный продукт своего времени, шедевр остроумия. Подтверждение тому — великолепный блеск метафор, которыми она, если так можно выразиться, инкрустирована. Однако все это не самоцель писателя. Смеешься и восторгаешься уместностью этих метафор, как бы разделяя непритворное удивление самого Холмса, неизменно поражавшегося подобным открытиям в своих книгах. «Что происходит, когда одна мысль влечет за собой другую? — вопрошает он в «Технике размышления и этике». — Каким образом остроумный человек с воображением соединяет различные мысли, пользуясь их отдаленным сходством?.. В каждом из нас живет дельфийская Пифия-прорицательница».

В Холмсе жило три человека: остроумец, художник и ученый, и все трое постоянно стремились проникнуть в тайну того, что он называл «безбрежным океаном подобий и аналогий, кающихся через нашу вселенную». Это тройное обличье, несомненно, помогало Холмсу спускаться с высот абстрактных размышлений, чтобы безошибочно выбирать то частное и конкретное, что лучше всего раскрывало и иллюстрировало его мысль. Конечно, он заблуждался, когда полагал, будто на такое способен всякий. Он был ближе к истине, утверждая: «Именно благодаря напряженной работе и развитию наших умственных способностей мы можем видеть многое в одном и единичное во многом».

Что бы ни говорили об умении Холмса работать, он обладал выдающимися умственными способностями, являлся эрудитом не только в области терапии и анатомии, теологии и английской литературы XVIII века, но и знатоком диалекта Новой Англии, истории рысистых испытаний, бокса, фотографии и гребли, гремучих змей, вязов, внутриутробной патологии, наследственности, гарвардского выпуска 1829 года и микроскопов. Ничто бостонское не было ему чуждо. Его одновременно влекли к себе и книги, и люди; он был и тружеником, и досужим собеседником, любящим поговорить. С каждым он мог беседо-

вать на его тему, обладая при этом большим запасом чисто профессиональных познаний, на которые могли бы претендовать очень немногие.

Можно предположить, что «недостаток профессионализма», как говорят французы, помешал Холмсу стать поэтом в полном смысле слова. Хорошо развитое чувство юмора так и не дало развиваться его поэтическому таланту. В полный голос прозвучало лишь одно стихотворение «Моллюск в раковине». Холмсу принадлежит изрядное число «стихотворений на случай», пользовавшихся несомненным успехом при первом публичном чтении, но ныне по большей части забытых. Он написал дюжину или немного более миниатюрных шедевров, напоминающих искусную китайскую резьбу по слоновой кости, среди них «Последний лист», «Дороты Кью», «Удовлетворение», «Тетушка Табита» и «Раздувальщик мехов органа».

Доктор Холмс знал, в чем ограничены его возможности. Он мирился с этими ограничениями и даже находил прелесть в том, чтобы представлять их как свои достоинства. Так, поняв, что работа и астма, которой он страдал всю жизнь, приковали его к Бостону, он уверил самого себя и всех вокруг, что «привязанность к определенному месту дает больше права на бессмертие, чем космополитизм», и что «здание законодательного собрания в Бостоне является центром солнечной системы». Подобным же образом примирился он и с известной ограниченностью интеллектуальных и художественных способностей, которыми наделила его природа.

#### 4

Упорядоченность творческой судьбы Холмса становится особенно очевидной при сравнении ее с судьбой Джеймса Рассела Лоуэлла. Намного более многосторонний и ярче одаренный Лоуэлл не признавал никаких ограничений, дисциплины или раз навсегда заведенного порядка жизни. Свои выдающиеся познания Лоуэлл приобрел благодаря постоянному чтению на иностранных языках, не менее шести, хотя ни сам он, ни другие не уделяли серьезного внимания его обучению. Это обстоятельство стало одной из причин той неясности, которая возникает при изучении его многогранной жизни, его блестящих очерков, стихов самого разного рода и очаровательных писем, свидетельствующих, что Лоуэлл действительно «способный человек» во всех смыслах этого слова.

Подобно Холмсу, Лоуэлл — уроженец Кембриджа, выходец из семьи священника-конгрегационалиста. Он родился 22 февраля 1819 года в солидном доме дореволюционной постройки, носящем название «Элмвуд» и расположенном на обширных землях примерно в миле к западу от Гарварда. По отцовской

линии Лоуэлл происходил из славного новоанглийского семейства, которому суждено было прославиться еще больше. Политические и общественные воззрения его отца соответствовали тому, что он обитал в части города, известной под именем «Горный квартал». Мать Лоуэлла, передавая ему свой поэтический талант, происходила из семьи, несколько поколений которой жило на Оркнейских островах.

В пору счастливого детства он бессознательно впитывал красоту окружающей природы, обогатившей поэтическими образами его будущие сочинения, а пятнадцати лет от роду поступил в Гарвард. Его студенческие письма воссоздают облик восторженного вертопраха, преданного друзьям и веселью, но не склонного упорно трудиться. На старшем курсе его временно уволили за нарушение университетской дисциплины, и он вынужден был провести шесть недель в Конкорде, где познакомился с Эмерсоном, о котором писал одному из своих друзей студентом: «Несмотря на свои теории, он добродушный человек».

В 1840 году, окончив Гарвардский университет, а также гарвардскую юридическую школу, Лоуэлл обручился с Марией Уайт, высокообразованной молодой женщиной, обладавшей поэтическим талантом и способствовавшей пробуждению интереса Лоуэлла к либеральному и филантропическому движению, в том числе аболиционизму. Его первый сборник «Год жизни и другие стихотворения» появился в 1841 году, а когда через три года последовала книга «Стихотворения», репутация молодого поэта столь возросла, что Н. П. Уиллис смог назвать его «самым многообещающим поэтом Америки». Тогда же начал Лоуэлл многообразную журналистскую деятельность, приступив к изданию в Бостоне журнала «Пайонир», просуществовавшего весьма недолго. Женившись, он на время поселился в Филадельфии, где сотрудничал в либеральных журналах, а в 1848 году выпустил двухтомное издание своих стихов, «Басню для критиков», первую серию «Записок Биглоу» и «Видение сэра Лонфэла», завоевав таким образом признание еще до тридцатилетнего возраста. Предпринятое им длительное путешествие по странам Европы, вскоре после которого умерла его жена, вспоминал Лоуэлл в старости, разделило его жизнь на две части. Он лишился единственного друга и наставника, направлявшего его бурную энергию и разносторонние интересы.

Подобно Лонгфелло, овдовевший Лоуэлл обратился к старым книгам. Еще со времен детства он был смелым искателем приключений в стране книг, теперь же стал, по собственным словам, «одним из последних великих читателей». В 1855 году он занял кафедру в Гарварде, только что освобожденную Лонгфелло, превратив склонность к старым книгам в служебную обязанность. Лоуэлл честно относился к своей работе, хотя и

не вкладывал в нее души, а в 1857 году стал первым редактором-издателем «Атлантик мансли».

Трагедия Гражданской войны, отнявшая у него трех любимых племянников, глубоко взволновала Лоуэлла, отличавшегося гораздо большей общественной активностью, чем Холмс или Лонгфелло. Она заставила его написать вторую, художественно более зрелую серию «Записок Биглоу», (1867) и опубликовать в «Атлантик» и «Норт эмерикэн ревью» ряд действительно глубоких статей по обсуждавшимся тогда проблемам. Так вернулся он к социальным и политическим делам, которыми интересовался в молодости, приобретя со временем репутацию общественного деятеля. Одним из первых среди американских писателей заявил он во всеуслышание о величии Авраама Линкольна. Замечательный шестой раздел «Поминальной оды, прочитанной в Гарвардском университете» (1865), целиком посвященный Линкольна, переживет все другие сочинения Лоуэлла.

Главная мысль Лоуэлла о «катящейся вниз» демократии сводилась к тому, что спасти ее способно лишь постоянное присутствие старой аристократии. Примерно такова же была позиция Томаса Джефферсона, однако Лоуэлл пришел к ней самостоятельно, изучая жизнь Новой Англии. В своем обращении в связи с 250-летием со дня основания Гарварда он сказал несколько хвалебных слов в адрес первых религиозных деятелей Новой Англии, отметив, что они представляли собой «признанную аристократию» и что «никогда дотоле не существовало такой невинной и простой, такой примерной и способной аристократии». Если это консерватизм, то, значит, Лоуэлл оставался консерватором всю жизнь, а предпринимаемые попытки разделить его политические и социальные воззрения на различные «периоды» не отражают прирожденного склада его ума.

Испытывая отвращение к политической коррупции, процветавшей на Севере в послевоенные годы, Лоуэлл тем не менее много и плодотворно работал в это время. В 1870 году появилась поэма «Собор», которой он придавал особое значение. В следующем году был напечатан сборник уже известных очерков «Окна моего кабинета». Две серии очерков, озаглавленных «Среди моих книг» (1870 и 1876), содержащие пространные портреты Драйдена, Мильтона, Вордсворта, Данте, Спенсера и Китса, окончательно утвердили за Лоуэллом репутацию литературного критика и одного из ведущих американских писателей.

Однако литературная слава не могла удовлетворить Лоуэлла, ибо его живой ум не знал покоя. В 1877 году он не без удовольствия принял от президента Хейса назначение посланником при испанском дворе, а с 1880 по 1885 год пребывал на посту американского посланника в Англии. В качестве дипломата и

представителя Америки он пользовался большим успехом в обеих странах и с увлечением занимался этой работой, обзаведясь большим количеством друзей и со временем отказавшись от привычки поносить Джона Буля, столь очевидной во второй части «Записок Биглоу» и в политических очерках, написанных перед и во время Гражданской войны. Англия и впрямь стала для него второй родиной, и он четырежды посещал ее последние пять лет своей жизни. Вторично овдовев в 1885 году, Лоуэлл остался одиноким и убитым горем человеком. Его всегда завидное здоровье теперь было подорвано постоянными приступами подагры. 12 августа 1891 года он умер в «Элмвуде», в том же доме, где родился.

Чем ближе знакомишься с этой блестящей карьерой, столь бесспорно успешной, тем с большей уверенностью думаешь, что она не удалась. Как это ни прискорбно, больше всего Лоуэллу не хватало гармонической цельности — и это касается не только стиля его прозы и стихов, но и всей жизни, мыслей, убеждений, самой натуры. Бесспорно, Лоуэлл принадлежал к самым блестящим умам Америки; но это блеск разбитого зеркала или, скажем, разноцветных кусочков стекла в калейдоскопе, дающем новые геометрические фигуры при малейшем повороте трубки. «Он действительно не произвел на меня цельного впечатления, — говорил Уильям Дин Хоуэллс, — а скорее тысячу различных впечатлений, которые я не смог бы свести к единому представлению».

Читая Лоуэлла и не переставая восхищаться искрометностью его стиля, невольно диву даешься, как человек такого таланта не обратил его к единой цели, использовав все его возможности.

Лоуэлл прекрасно осознавал свои недостатки и писал в старости: «У меня такое чувство, будто жизнь прошла понапрасну, что я растратил себя попусту больше, чем кто-либо другой». Тому он находил и в молодости, и в старости уйму причин. Лоуэлл считал, что преподавание в Гарварде, работа литературного редактора и критика, а может быть, даже и эрудиция препятствовали проявлению его творческих наклонностей. «Я настолько хорошо знаю, как надо что-то написать, — говорил он одному из своих друзей, — что сам это сделать уже не могу». Временами он жаловался, что необходимость зарабатывать на жизнь пером оставляла ему мало свободного времени для создания собственных шедевров. Он также понимал, что удивительная легкость его стиля или то, что сам он именовал способностью импровизировать, мешала достижению совершенства. Не раз ополчался Лоуэлл на свою собственную склонность к «проповеди». Однако он ближе к истине, признаваясь в своей прирожденной «праздности», которой объясняются беспорядочные вспышки его кипучей деятельности, когда ждать уже больше нельзя.



Количество, объем и разнообразие его «Сочинений» не могут скрыть того факта, что мы редко видим Лоуэлла за работой. Он уваливает от умственного труда с такой грациозной искусностью, ускользает от него с таким отработанным мастерством, как будто хочет убедить нас, что работа уже сделана; стоит, однако, лишь взглянуть повнимательней на страницу-другую его сочинений, чтобы убедиться, как любит он цитировать, перефразировать или вспоминать когда-то прочитанное, вместо того чтобы думать самому.

С другой стороны, недостатки Лоуэлла объясняются тем неистребимым юношеским задором, который он сам, как и многие из его современников, принимал за достоинство. «Я остаюсь юным, как всегда», — писал он в шестьдесят девять лет своей дочери.

«Однажды я проходил мимо приюта для душевнобольных детей и заметил своему спутнику: „Когда-нибудь я окажусь там“». «Блажен молодой поэт, ошибки которого вызваны излишествами, если его творческие способности рано или поздно искупят их», — говорил Лоуэлл. Сам он, однако, отнюдь не обладал такими способностями. Его интеллектуальная жизнь представляет собой не размеренную эволюцию, а вечное бродяжничество. В его поэзии мы не найдем того развития, которое наблюдается хотя бы у Лонгфелло.

В старости Лоуэлл не был склонен переоценивать достоинства своих стихов, однако часто повторял, и притом вполне искренне, что в них есть «хорошие места», «падают звучные фразы». Большею частью то были живые и осязаемые образы его детства, запечатлевшиеся в памяти тогда, когда он еще не загрузил ее словами других людей и не стал считать, что главное — это быть остроумным, глубокомысленным и неотразимым.

Иногда Лоуэлл имел смелость предаваться «менящим гретам ранней поры», и тогда из-под его пера выходила настоящая поэзия — «Первый снегопад», «К одуванчику», «Ухаживание», «Нечто в пасторальном духе». Однако чаще он вводит эти воспоминания в совершенно чуждый контекст. В «Видении сэра Лонфэла», бесспорно одной из самых слабых поэм на английском языке, он втискивает в рассказ о средневековом рыцаре щедрое описание июня в Массачусетсе, а поэму о Шартрском соборе начинает еще более «неопределенно и издалека», посвятив сотню прекрасных строк картинам своего детства в Кембридже.

«Записки Биглоу», написанные с позиций янки, а отчасти и на тщательно отработанном диалекте янки, обязаны своей несомненной жизненностью и своеобразием чувству подлинного патриотизма Лоуэлла. Стихи обеих серий неравноценны в художественном отношении, и некоторые из них, посвященные некогда животрепещущим, а ныне почти забытым проблемам, без-

надежно устарели. В них нет поэзии. Журчанье этих стихов, не лишенных ума, едва ли представляет собой что-либо значительное. Народный диалект дан в излишке, к тому же служит мыслям и чувствам, весьма чуждым простому народу. И все же «Записки Биглоу» ближе к жизни, чем большинство произведений Лоуэлла в стихах, ибо дают исход его учености, юмору и тому неискоренимому провинциализму, который роднит его с Холмсом.

Большинство лучших стихов Лоуэлла явилось порождением живого, богатого, но недисциплинированного ума, ищущего тему и ее поэтическое воплощение. От чтения его «Рекуса», «Колумба» и «Эндимиона» не остается никакого определенного впечатления. «Агассис», хотя и согретый большим чувством, тем не менее слишком многоречив. «Нынешний кризис», некогда весьма известное стихотворение, часто читавшееся с американских кафедр, представляет собой велеречивую и невыразительную декламацию, обязанную своим возникновением как мысли Эмерсона, так и просодии «Локсли Холла» Теннисона. Знаменитая «Поминальная ода» не более как великолепная речь в стихах, предназначенная для торжественного университетского акта.

Проза Лоуэлла, лучшие образцы которой мы встречаем в его превосходных письмах, как бы искрится и пенится. Подобно прозе Холмса, она обладает очарованием блестящей беседы, однако лишена последовательности и неуклонной целенаправленности. Относительно критических воззрений Лоуэлла мнения существенно разошлись. Дж. Дж. Рили \* заключает свою книгу о нем утверждением, что Лоуэлл вовсе не был критиком. Норман Форстер полагает, что Лоуэлл обладал «самым здравым и всесторонним пониманием литературы, какое мы встречаем в Америке до XX века». Оба эти мнения отнюдь не противоречат одно другому, ибо, чтобы стать критиком, недостаточно обладать только здравым и всесторонним пониманием литературы. Теория литературы, развиваемая Лоуэллом, бесспорно, отличалась здравомыслием, однако, примененная в собственных произведениях и в суждениях о других писателях, она страдала хаотичностью, импрессионистичностью и непоследовательностью.

Влияние Лоуэлла на американское литературоведение и критику глубоко и всесторонне. Однако то не было влиянием ума, пришедшего к твердым выводам и предлагающего свои выношенные суждения. Глубокое впечатление производил отзывчивый и неуравновешенный характер писателя, всю жизнь пребывавшего в интеллектуальном бродяжничестве. В своем чистом наслаждении литературой — от всего сердца, искреннем и по сравнению с писателями прошлого непредубежденном — Лоуэлл мог сравниться лишь с Лэмом и Хэзлитом, и уж никто, конечно, не был в силах превзойти его. Любовь к книге стала самой

большой его страстью, а преданность ей более, чем что-либо другое, сформировало и направило его жизнь. К тому же своими наставлениями и личным примером он немало сделал для распространения в Америке любви и восторга перед книгой. Таков главный вклад Лоуэлла в дело «пересадки европейской культуры». Подобно Лонгфелло и Холмсу, он по-своему делал необходимую работу всякого здравого консерватизма, сохраняя наследие.

## 36. ТРАДИЦИИ СТАРОГО ЮГА: ВЗГЛЯД МЕНЬШИНСТВА

### 1

Усилия поэтов Новой Англии были направлены на то, чтобы окутать создаваемый ими американский миф чарами культуры Старого Света, в то время как писатели Юга с отчаянной серьезностью пытались создать свой собственный миф, усиленно романтизируя феодализм. Как уже говорилось в предыдущих главах, литература плантаторского Юга зародилась в 30-е годы в результате существенных изменений в экономике. Промышленная революция, создавшая в Англии и Новой Англии практически неограниченный рынок для хлопка, влила новые силы в дряхлеющий организм рабства и дала новый толчок к распространению рабовладельческой системы в юго-западных штатах, превратив Юг в один из величайших колониальных регионов мира. Быстрота, с которой совершались эти перемены, была поистине удивительной. Вся история Старого Юга, сохранившаяся в памяти народной, продолжалась не более тридцати лет, пока война 1861 года не покончила с ней бесповоротно.

Литература Юга не успела достичь полного расцвета. Многие в ней не пошло дальше общих деклараций и полемических рассуждений. К тому же писателям Юга приходилось бороться с тем, что мешало их развитию и на что южные критики не могли не обращать внимания. Наиболее ощутимым недостатком было отсутствие больших городов, которые могли бы стать центрами литературной жизни. Если искусство и не является непременно результатом большого скопления людей в одном месте, то в наше время литература все же существенным образом зависит от таких городских учреждений, как журналы, библиотеки, издательства. Плантаторское же хозяйство Юга не породило больших городов. Это явилось следствием колониального склада экономики и в то же время не могло не сказаться отрицательно на психологии писателей Юга. Ни одна из частей Соединенных Штатов не была в состоянии до 1820 года проникнуться идеей национального самосознания и сбросить интеллектуальную и литературную зависимость от Англии. Особенно затянулся этот процесс на Юге. Невзирая на свое политическое устройство, Юг оставался колонией Великобритании и Новой Англии до самой Гражданской войны. Джефферсон Дэвис

в речи при вступлении в должность президента Конфедерации провел недвусмысленную параллель между положением отделившихся штатов и положением британских колоний в Америке в 1776 году. Не надо быть приверженцем теории экономической обусловленности литературы, чтобы обратить внимание на взаимосвязь между экономикой Юга и его зависимостью от литературы Англии и Севера.

Другим результатом общественного уклада Юга стало то обстоятельство, что большинство населения не имело возможности читать книги и журналы. Само собой разумеется, рабы в счет не шли. Скучность источников образования на Юге не могла ликвидировать безграмотность большинства белого населения. Что же касается остальных потенциальных читателей, образованного аристократического меньшинства, то консервативные литературные вкусы заставляли их отдавать предпочтение не безвестным и неумелым писателям вроде Уильяма Гилмора Симмса, пытавшимся содействовать развитию американской или южной словесности, но английской классике. В 1831 году один из критиков в издававшемся Хью С. Легарэ «Сазерн ревью» заявил, что рост американского литературного национализма бессмыслен: «Нам не нужна своя собственная литература». К писателям Юга он был беспощаден:

«Всеобщее отвращение к сочинительству, испытываемое на Юге, находится в прямом соотношении с хорошим образованием и развитым литературным вкусом».

Укажем только еще одну помеху на пути литератора Старого Юга: если он и встречал сочувствие, то при этом от него требовали писать согласно определенной программе. Критика, поддерживавшая идею создания южной литературы, прилагала всяческие усилия, чтобы поставить художественное воображение на службу строго предписанной общественной задаче — защите рабства или, во всяком случае, южного общества от каких-либо поползновений извне. И хотя никто из больших писателей Юга не взбунтовался против навязанных таким образом правил — все они от По до Симмса и Джона Истена Кука выступали за рабство, — нетрудно догадаться, что постоянно растущее чувство надвигающегося кризиса и необходимость сплотиться, чтобы отразить нападение, не могли не препятствовать в какой-то мере свободному полету фантазии.

## 2

Что могли при таких ограничениях создать писатели Юга за период 1830—1860 годов? Следует с самого начала сказать, что призыв литературы к защите рабовладельческого общества никогда по-настоящему не реализовывался. Но вот в 1852 году появилась «Хижина дяди Тома», и южные критики дрогнули. То был вызов, на который нельзя было ответить отвлеченным

анализом или ораторским красноречием в стенах конгресса. Единственным ответом, понимали они, могло бы стать достойное художественное произведение. Но на Юге не было писателя или школы писателей, способных на такое. Юг проиграл литературную баталию прежде, чем начались военные действия.

С другой стороны, хотя задача защиты рабства средствами литературы и не была выполнена, Юг создал в период 1830—1860 годов интересную литературу. Еще более примечательно, что Юг положил начало тенденциям, получившим развитие в американской литературе и идеологии в последующие периоды.

Самым значительным достижением Старого Юга стали, конечно, произведения По. Бесконечные кошмары его символики могут при желании рассматриваться как не осознанное поэтом выражение отчаяния вследствие проигранной битвы и неотвратимости поражения Юга. Многие из этих настроений перешли в Европу, так что плоды фантазии, порожденные условиями Старого Юга, пережившего крушение рабовладельческой системы, были восприняты французским символизмом и его английскими и американскими последователями. И все же книги По — это не мертвое наследие. Помимо архаической склонности ко всему готическому и культа рационализма, заимствованного у Просвещения, но лишённого социального звучания, произведения По обнаруживают напряженность действия, хвостовство познаниями, — одним словом, ту «вульгарность», которую Олдос Хаксли называл провинциализмом.

Другое несомненное литературное достижение Старого Юга состоит в умении возводить провинциализм и вульгарность в достоинство, доводя до крайности напыщенность языка, образов и сюжета, служащих целям местного колорита. Юмор Старого Юго-Запада, это порождение бурного фронта хлопковой экономики, распространившейся на прибрежные равнины Западной Джорджии и Алабамы, а также Миссисипи, превосходит юмор Новой Англии того времени как по силе воображения, так и по тому влиянию, какое оказал он на последующее развитие американской литературы. Юмор фронта содержит зародыш американской художественной прозы, основывающейся не на литературной, а на народной традиции, и вместе с тем предвещает возникновение после Гражданской войны литературы местного колорита. Юмор Юго-Запада, оказавший воздействие на фольклорную традицию, которая затем получила развитие у Марка Твена, интересен особенно тем, что он не только охватывает различные традиции, но и оказывается шире их. Оценивая заслуги Старого Юга, необходимо припомнить, что Марк Твен вырос в рабовладельческой общине, некоторое время служил в армии Конфедерации, а действие его величайшей книги «Гекльберри Финн», повествующей о рабстве, разворачивается на рабовладельческой территории. Если Марк Твен и стремился в какой-то мере к обличению Юга, его едва ли

можно назвать в числе художников, прославившихся своими выступлениями против породившего их общества. Справедливее было бы видеть две стороны отношения Твена к Югу — невыносимое и в то же время плодотворное сосуществование в его художественном творчестве любви и антипатии, близкое чувствам, которые вызывал Юг у Уильяма Фолкнера.

Лирические мотивы в литературе Юга, если не говорить о десятке стихотворений По, не представляют собой существенно-го интереса. Счастливым исключением стало лишь несколько стихотворений, а в остальном господствовала сентиментальная поэзия миссис Хименс. Более значительны достижения южной исторической прозы. В числе последователей Купера надо назвать его главного продолжателя в Америке Уильяма Гилмора Симмса, а также эпигонов вроде Уильяма Карузерса, Джона П. Кеннеди, Филипа Пендлтона Кука и его более известного брата Джона Истена Кука. Эти писатели живыми нитями связывают творчество Купера с возрожденными в конце века историческими романами Мориса Томпсона, Мэри Джонстон и Уинстона Черчилля. Применение Купером канонов Вальтера Скотта к американскому материалу имело, по-видимому, особое значение для Юга. В других частях страны Купера ценили за созданные им картины природы и приключений в лесах Америки, на Юге же преимущественно за то, что он воскрешал прошлое.

### 3

Самые популярные южные романы, написанные в куперовской традиции, такие, как повести Симмса и Кеннеди о революции, не имели подчеркнуто областнического характера. Революция, подобно фронтиру, стала национальной темой. Исторический роман становился выражением областнических настроений лишь в тех случаях, когда в прошлом обнаруживалась специфическая символика Юга. Один из таких символов — виргинские кавалеры. Эволюция культа кавалеров и полемика вокруг этого вопроса может быть прослежена в сочинениях Натаниела Бевэри Такера, профессора юриспруденции Колледжа Уильяма и Мэри, одного из представителей первого поколения бретеров. Когда в 1834 году началась публикация «Истории Соединенных Штатов» Джорджа Бэнкрофта из Массачусетса, Такер проникся убеждением (на самом деле ошибочным), будто историк изобразил виргинцев XVII века сторонниками парламента, на сторону которого они переметнулись после казни Карла I. Такер считал это мнимое утверждение невыносимо оскорбительным, ибо превыше всего ставил непоколебимую преданность своих предков Стюартам.

«Одни скажут, — писал он, — что было бы верхом самонадеянности пытаться причислить их к когорте доблестных и отважных слуг короля. Другие же сочтут безумием подчеркивать

*в наше время их преданность королю, тем более такому королю, который давно утратил возможность не только наградить, но даже воспользоваться их преданностью».*

Такер требовал, чтобы «мы могли говорить о наших предках так, как они того заслуживают». И его собственный рассказ о них отвечает этому требованию:

«Я думаю, что мы в состоянии верно понять характер первых поселенцев Виргинии. То была рыцарская благородная порода людей, всегда готовых дать отпор сильному, помочь слабому, утешить униженного и поднять упавшего. Так встретили они захват власти Кромвелем, сопротивляясь, пока это имело хоть какой-нибудь смысл; а будучи изгнанными из родной страны, направили свои стопы в Виргинию, поскольку именно там, в заморском владении Англии, дух справедливости оставался еще в силе. По свидетельству Холмса... народонаселение Виргинии возросло почти на 50 процентов во время смуты. Вновь прибывшие были лоялистами и пополняли ряды тех, кто хранил верность королю. Могли ли они, не теряя чести, выступать с чистым сердцем за новый порядок? Им ли было выступать на стороне нового порядка, если они сами эмигрировали из-за своих принципов? Останься они в Англии, они сражались и погибли бы вместе с Монтрозом».

Факты общеизвестны. Эйбиел Холмс из Кембриджа, отец Оливера Уэнделла Холмса и автор «Американских анналов», на которые ссылается Такер, утверждает, что рост населения Виргинии с 20 до 30 тысяч во время Гражданской войны в Англии вызван эмиграцией кавалеров. Однако в представлении Такера это обстоятельство приобрело необыкновенный смысл. Его кавалеры не просто рыцарски благородны — они одержимы той доходящей до безумия бескорыстной преданностью, которая у таких людей тем сильнее, чем очевиднее безнадежность проигранного дела.

Решающим обстоятельством, определившим «специфические особенности характера современного виргинца», стал склад характера кавалера XVII века. Виргинец неповторим в своей обреченности:

«Трудно предвидеть, когда «прогресс разума», как мы это называем, переедет нас колесницей Джагернаута, сомнет и уничтожит всякое воспоминание о наших предках, а заодно и о нас самих. Отдалить этот страшный день сможет лишь сопротивление попыткам навязать нам ложные представления о нашей ранней истории и о характере наших предков».

При этом не следует забывать, что объект преклонения виргинских кавалеров сам по себе не вызывает симпатий:

«Никто яснее нас не понимает, насколько недостойн верной и страстной любви, тот негодяй, которому они оставались преданны. Но им были неведомы его пороки. Они знали лишь его родословную и его несчастья... Мы больше гордимся тем, что происходим



от людей, принимавших активное участие в делах тех дней, чем возможностью проследить свою генеалогию через всех расчетливых и благоразумных эгоистов, каких когда-либо видел мир вплоть до самого Адама».

Расчетливые и благоразумные эгоисты — это новоанглийские потомки круглоголовых, врагов кавалеров, прижимистые скупцы, дети которых всегда торжествуют в этом мире над детьми света. Преданность виргинца прошлому, которое воплощается в такие устаревшие понятия, как монархия или рабство, изолирует его в современном мире, развивающемся в ином направлении: прогресс разума отменяет его в сторону и все больше и больше превращает в беспомощное меньшинство. Честь виргинца может заблестать во всей своей чистоте лишь в том случае, если она связана с проигранным делом и поверженными знаменами. С этой точки зрения экономическое процветание Севера явилось всего-навсего торжеством торговашеского духа.

Хотя мысли Такера концентрировались на Виргинии, символ чести, воплощенный в образе кавалера, легко можно распространить на весь Юг. В 1843 году анонимный критик провозгласил со страниц «Сазерн литерэри мессенджер»:

«Особым прирожденным правом южан является рыцарская отвага, возвышенные устремления, которые можно уничтожить, но нельзя подавить. Так определяется честь каждого южанина, для которого все остальное несущественно. Эти свои достоинства южане считают унаследованными от славного рода кавалеров, эмигрировавшего из всех частей Европы и поселившегося в южных колониях. Не утратили своей силы эти свойства характера и в потомках кавалеров».

Миф о кавалерах приобрел яркое литературное воплощение в историческом романе. Действительно, не раз отмечалось, что американский исторический роман возник в результате исторической прозы Вальтера Скотта и Булвера-Литтона, поэтому не удивительно, что символ кавалера прочно вошел в литературу. Во всяком случае, виргинский кавалер появился в литературе 30-х годов одновременно с пробуждением антидемократической мысли Юга. Первым историческим романом, обращенным к проблеме происхождения кавалеров на Юге, стали «Виргинские кавалеры» (1834—1835) Уильяма Карузера, посвященные истории восстания Бэкона, смелая, но безжизненная попытка воплотить в художественные образы и сюжет то, что Такер утверждал в своей версии истории XVII века. Однако если исторический роман куперовской традиции предоставлял неограниченные возможности для изображения приключений авантюристов в далекие времена, то он вовсе не был идеальной формой для прославления достоинств современного общества, основанного на рабстве. Приходилось защищать не мужество и отвагу героя или щеголя-аристократа, а систему социальных отношений — пасторальное царство благонаравного феодального порядка. Наи-

более эффективной оказалась здесь сентиментальная традиция. Дух Ирвинга должен был слиться с повествовательной манерой Купера.

Сентиментальное изображение южной плантации, хотя и вне рамок исторического романа, впервые проявилось в слабо связанных между собой очерках Кеннеди «Суоллоу-Барн» (1832), написанных в манере Ирвинга. В романах Джона Истена Кука тема социальной общности живущих на плантации преданных рабов, доблестных и любезных хозяев и смелых женщин, уже разрабатывавшаяся Такером в «Джордже Балкомбе» и «Вожаке партизан», опубликованных в 1836 году, и Филипом Пендлтоном Куком в его новелле «Два загородных дома» (1848), созрела для того, чтобы слиться с приключенческим историческим романом. Только в одном 1854 году Кук выпустил три романа — «Кожаный Чулок и Шелк» (изобразив «отважного горца» Джона Майерса, «живое воплощение старой пограничной полосы», этакий недвусмысленный намек на Купера), «Виргинские комедианты» и «Юность Джефферсона». Нынешнему читателю эти романы представляются ходульными, но они казались весьма убедительными в эпоху, привыкшую к неизменному сентиментализму в прозе, а кроме того, они отражали очевидный интерес к областнической проблематике, владевшей общественным мнением в годы компромисса «Канзас — Небраска». Хотя Кук лишь мельком упоминает об институте рабства, его существование ощущается во всем, будь то Уильямсберг XVIII века или захолустье Виргинии столетие спустя; и даже беглый взгляд обнаруживает счастливых, праздных рабов, связанных со своими хозяевами узами глубокой привязанности.

Творчество Кука, разрубленное пополам Гражданской войной, донесло плантаторскую идеологию до времен, когда усилились чувства ностальгии, когда новое поколение писателей-южан во главе с Томасом Нелсоном Пейджем обрело общенациональную аудиторию, внимающую мечтательному повествованию о достоинствах рабства, на уничтожение которого страна только что затратила четыре года борьбы. Пристальный анализ этого парадоксального феномена обнаруживает последний вклад довоенной южной традиции в историю американской литературы и духовной жизни. Ибо удовольствие, получаемое читателями всех слоев общества в 70-е и 80-е годы от рассказов об утраченном на Юге золотом веке, свидетельствует о несомненной реакции на уродливую юность Большого бизнеса. Плантаторская тема воплощала в себе то милосердие и социальную гармонию, на которые не могло претендовать урбанистическое промышленное общество. Хотя этот аспект потонул в сентиментальном мареве плантаторской прозы, отошедший в небывшие феодальный Старый Юг был единственным, кто бросил серьезный вызов торжеству финансовой и промышленной олигархии в американском обществе.

Противники рабства были правы, утверждая, что оно стало нетерпимым анахронизмом современного мира, злом, отжившим свой век еще тысячу лет назад и даже раньше. Поддержка общественных взглядов Юга не имела успеха, поскольку то была попытка оправдать систему, не поддающуюся оправданию. Однако критика, заложенная в южной традиции, имела и свои положительные стороны. Апологеты рабства привлекли внимание к недостаткам, свойственным Северу, которые иначе остались бы незамеченными в ходе всеобщего «шестивия разума». Как северяне, так и южане стали жертвами разгоревшегося соперничества. Мало кто из идеологов Севера мог удержаться от того, чтобы не усмотреть в недостатках Юга разительный контраст достоинствам их собственного региона. Если спор шел между рабством и свободным трудом и рабство признавалось порочным, то свободный труд тем самым олицетворял справедливость. Но свободный труд означал на деле систему промышленного капитализма.

Была ли промышленная революция бесспорным благом, сияющей вершиной, к которой стремилось человечество из своих джунглей? Южане отвечали на этот вопрос отрицательно. Парламентские отчеты об ужасающей нищете английских промышленных рабочих в 30-е годы, предоставившие богатый документальный материал для разоблачительных страниц «Капитала» Карла Маркса, а также различные отчеты, сравнивающие положение в американских городах, опубликованные в то же десятилетие первыми филантропами, — все это бросало мрачный свет на плоды индустриализации. Америка еще не была готова провозгласить, что прогресс влечет за собой нищету, однако наиболее проницательные апологеты рабства уже в 40-е годы начали говорить о «несостоятельности свободного общества».

С другой стороны, они отнюдь не были согласны с северными реформаторами, которые также подчеркивали пагубные последствия промышленного развития. Философы Юга считали, что все утопические планы социальных преобразований тщетны и опасны. Сколь ни отвратительны язвы свободного общества, их невозможно излечить средствами, предлагаемыми филантропами. Виргинский юрист Джордж Фицхью, самый плодотворный из полемистов Юга, отмечал, что реформаторы, осуждая промышленное общество во имя «суверенитета индивидуума», доводили до логического конца мысль, заимствованную школой Адама Смита у Джона Локка \*. Все эти теории, при всем их различии, возможно претворить в жизнь лишь после того, как «общество расчленено на части и человечество сведено к отдельным, независимым и противоборствующим монадам или человеческим атомам». В 1857 году Джордж Фредерик Холмс выдвинул в «Дебоус ревью» те же доводы против «Социальной статистики»

Герберта Спенсера, что и Фицью в вышедшем в том же году романе «Все каннибалы, или Рабы без хозяев». Доводы южан, направленные против промышленного капитализма, исходили из совершенно иных предпосылок. Анархии частной конкуренции они самым убедительным образом противопоставили органическую теорию общества. Эти аристотелевские взгляды лежат в основе интересной и в наше время политической теории Кэлхуна, весьма отличной от его фантастической финансовой системы. Фицью, неумело опираясь на Карлейля, тоже пытался раз или два обратиться к этим идеям.

«Человек и все иные ведущие стадный образ жизни животные, — писал он, — отличаются общностью мыслей, поступков (то есть эмоций?), инстинкта и интуиции. Социальный организм — это думающее, действующее и чувствующее существо... Огромной ошибкой современной философии является игнорирование или забвение этого факта».

Однако философы Старого Юга не довели до конца свое отрицание либерализма, очевидно, потому, что оно неизменно увлекло их вопреки собственному желанию к общим принципам утопистов. После Гражданской войны идеологи Юга отнюдь не были склонны выступать против буржуазной экономики. В обмен на молчаливое согласие северян передать решение негритянской проблемы в руки южан группа деятелей Нового Юга во главе с Генри У. Грэйди восприняла доктрину северного капитализма и с энтузиазмом принялась индустриализировать Юг. Взгляды наиболее последовательных южан ничем не отличались от взглядов занимающих официальные посты республиканцев, если не принимать во внимание возникавшие время от времени легкие разногласия по вопросу тарифов.

Тем не менее особое мнение Юга не умерло, и после Гражданской войны его признали некоторые самые пронизательные умы Америки XIX века. Чтобы нагляднее представить политическую коррупцию сенатора Сайлеса П. Рэтклифа из Иллинойса, «гиганта прерий Пеонии», Генри Адамс делает героем своего романа «Демократия» (1880) Джона Каррингтона, виргинца «старой школы Вашингтона» и ветерана армии Конфедерации. Каррингтон обличает Рэтклифа перед героиней миссис Лайтфут Ли, а к концу романа получает авторское благословение и вместе с тем надежду стать счастливым претендентом на ее руку. Не вызывает сомнения, что Адамс нашел известную поддержку своему обличению политики послевоенной Америки в южной традиции. Южанин выступает героем и в «Бостонцах» (1886) Генри Джеймса. Бэзил Рэнсом с Миссисипи избавляет героиню Верину Тэррэнт от «медиумов, спиритов и громогласных радикалов», приверженцев традиции социальных реформ в духе Новой Англии. Традиционная склонность южан к филантропии выдавалась за спасительный принцип жизнестойкости. Рефор-

маторы второго поколения являются, по существу, либо обманщиками, либо неврастениками.

Особый интерес вызывает трактовка южной точки зрения в большой эпической поэме Мелвилла «Клэрел» (1876). Устами Унгара, «темного человека», экспатрианта, искателя удачи, не примирившегося с поражением Юга, писатель изрекает самые горькие обвинения американскому обществу в годы господства «отвратительной продажности». Унгар по очереди осуждает фабрикантов, губящих ради своего барыша жизнь детей, социальные реформы, идеи демократии («главной проститутки нечестивого века») и всеобщее избирательное право. Когда другой герой провозглашает развитие техники свидетельством прогресса, Унгар восклицает:

В распаде веры — ваших муз расцвет.  
Вы рады б новых гуннов к нам призвать.

В будущем Унгар видит лишь «гражданское варварство»:

Нас человечности лишить  
И в атеистов превратить —  
Как в трубочистов —

«мертвящую силу грубой посредственности», «англосаксонский Китай»:

Коль Демократии грядет Позорный Век,  
Да устыдится каждый человек!

Не касаясь вопроса целесообразности существования общества, основанного на рабстве негров, нетрудно тем не менее заметить, что мелвилловский Унгар — духовный отпрыск такеров, холмсов и фицхью Старого Юга.

## 5

Пафос южной традиции, получивший отражение в книгах Адамса, Джеймса и Мелвилла, сводился к протесту меньшинства: недоверие к гуманистическому восторгу, отвращение к практицизму демократии, скептицизм в отношении результатов научного и технического «прогресса». Положительная программа — защита духовной самобытности человека и его религиозных взглядов — не была, однако, разработана достаточно полно.

Стихи Сидни Лэнира «Торговля» и «Симфония» явились одним из первых свидетельств того, что тоска по ушедшему прошлому, отличавшая традицию Старого Юга, превратилась у послевоенных писателей-южан в неприятие промышленной экономики. Лэнир выразил обе стороны этой традиции, а также интерес к технике, который каким-то непонятным образом сопутствует южной традиции от По до наших дней. Однако для предвестника будущих аграриев у Лэнира было слишком много романтизма.

Как зрелое явление культурной жизни, эта традиция предстала в XX веке в лице нэшвиллских аграриев. Движение аграриев зародилось вскоре после первой мировой войны среди преподавателей и студентов, группировавшихся вокруг Джона Кроу Рэнсома в Университете Вандербилта, назвавшихся «беглецами» и посвятивших себя поэзии — ее сочинению и обсуждению. Они не были сознательными сторонниками областничества, однако кое-кто из них позднее возглавил движение за восстановление ведущей роли земледелия в экономике Юга как средства, позволяющего избежать пороков промышленного общества. Помимо опубликованного в 1930 году манифеста «Я займу свою позицию», аграриям принадлежат также книги «Бог без грома» Рэнсома (критика «либерального» христианства), «Реакционные очерки о поэзии и понятиях» Аллена Тейта, «Нападение на Левиафана» Доналда Дэвидсона. Хотя трудно представить какое-либо направление южной мысли вне политики, аграрии снискали себе аудиторию не столько своей политической программой, сколько литературно-критическими теориями. В «Сазерн ревью», редактировавшемся Клинтон Бруксом и Робертом Пенном Уорреном в конце 30-х годов в Университете штата Луизиана, программа аграриев в отношении Юга уступила место национальным проблемам эстетики, особенно интерпретации «трудных» современных поэтов. «Кеньон ревью», редактировавшийся с 1939 года Рэнсомом в Кеньон-колледж, Огайо, и заменивший «Сазерн ревью», уже не может быть назван южным журналом.

Хотя к середине 40-х годов многие аграрии покинули Юг и стали преподавателями различных колледжей на Севере, они и их сторонники опубликовали к тому времени работы, которые последовательностью и единством выраженных в них идей представляют собой совершенно небывалое явление в истории американской литературы. Через восемьдесят лет после поражения при Аппоматоксе \* в романах Роберта Пенна Уоррена и Кэрлайн Гордон, в стихах Тейта, Уоррена и Рэнсома вновь слышится голос Старого Юга. Если к произведениям этих писателей добавить художественную прозу Уильяма Фолкнера и Ээтрин Энн Портер, а также целого ряда менее значительных писателей, то станет очевидно, что на Юге тоже было свое литературное возрождение, хотя и надолго запоздавшее.

## 37. ВЕСТИ ИЗ НОВОГО СВЕТА

### 1

К концу Гражданской войны большинство образованных американцев осознали факт существования американской литературы. Уже не слышно было призывов к созданию своей национальной словесности, к духовной независимости от Англии. Литературный цикл развития зрелой цивилизации Атлантического побережья, совпавший с подъемом романтического движения, достиг той стадии, когда писателей ценят за их художественные достоинства, а не за выражение тех или иных политических идей. Имена Ирвинга и Купера вызывали всеобщее уважение. К Готорну, умершему незадолго до окончания войны, пришла слава. Эмерсон стал кумиром своих последователей. Даже По, скончавшийся в возрасте сорока лет в 1849 году, уже не считался одиозной фигурой и был причислен к классикам. Представители молодого поколения — Лонгфелло, Холмс и Лоуэлл — продолжили литературную традицию своих предшественников. Ниши в пантеоне американских писателей быстро заполнялись.

Несомненно, изменившееся отношение европейских критиков, писателей и рядовых читателей к американским книгам содействовало росту литературного самосознания. В начале столетия благорасположенные к Америке европейские либералы выражали надежду, что величие наших свершений породит своих поэтов и романистов. Во времена Гражданской войны эти ожидания оправдались.

Потребовалась бы целая библиотека исследований, чтобы осветить историю восприятия Европой классической американской литературы XIX века. Европейские литературоведы сделали в этом отношении гораздо больше, чем их английские или американские коллеги. Наш демократический эксперимент вызвал восхищение и понимание со стороны Европы и Англии, понимание, которое распространяется не только на литературу, но и на все сферы духовной жизни.

Мы обладаем достаточным библиографическим аппаратом, обобщающими статьями и обзорами, работами о влиянии одного писателя на другого. Чтобы обстоятельно написать историю нашей литературы, потребуется еще больше материала. Здесь

мы предлагаем только очерк, основанный на уже собранных фактах.

В начале столетия европеец, сколь бы он ни был захвачен зрелищем политического эксперимента по ту сторону Атлантики, едва ли счел бы возможным говорить об американской литературе, ибо практически с нею не встречался. В своем утверждении, что у нас нет литературы, британские критики не были одиноки. Токвиль, Шале \* и другие пришли к мрачному выводу, что демократия, очевидно, по самой своей сущности не способствует развитию искусств по крайней мере до тех пор, пока не появится настоящее общество. Правда, в Америке пробуждается склонность к поэзии, но американская поэзия — всего лишь подражание европейской.

Карлейль писал Эмерсону об упрямом, тощем и всегда голодном поселенце-янки, неукротимом в своем стремлении перевалить через горы Запада; каждый европейский критик ощутил прелесть американского мифа. Если он был англичанин, он не склонен был верить, что такой миф породит литературу, житель Европейского континента укорял нас за англофильскую робость и напоминал, что только перестав ходить на материнских помочах, можно надеяться на создание собственной литературы.

Как уже говорилось в предыдущих главах, европейца интересовало не то, что писала Америка, а то, чем она являлась на самом деле. Она представлялась страной обширных лесов и величественных рек, где Краснокожий все еще сражался с белыми пионерами. По словам Гёте, Америка — «Эльдорадо для тех, кто ущемлен существующими условиями». Надежда обрести там прелесть тихой жизни, исполненной простоты и свободы, привлекала даже больше, чем новизна романтического пейзажа. Осуществима ли демократия в Америке? Предоставит ли она простому человеку возможность сохранить достоинство и честь для осуществления своих чаяний, не стесненных ни политической тиранией государства, ни еще более жестокой тиранией касты? Так ставился вопрос. Не изящную словесность искала Европа в Америке, а лучший образ жизни.

Вот почему американские книги и памфлеты, бесчисленное количество записок путешественников (в одной Англии до 1860 года их появилось более трехсот), эпистолярные произведения эмигрантов воспринимались не как художественная, а документальная литература. Если, по мнению Джефферсона, с Европой покончено и Америка стала символом свободы, кому нужна подражательная литература? То был недальновидный взгляд на вещи, и уже до Эмерсона раздавались голоса, что духовная мощь народа проявляется в его творческом гении. Тем не менее еще долгое время критику интересовали главным образом политические и социальные идеи, выраженные в литературе. Даже Купер усматривал своеобразие американской.



литературы в ее четкой политической направленности и считал, что английская и американская литературы имеют единую модель.

Уже тогда, когда лорд Чэтэм\* восхищался протоколами американского конгресса за октябрь 1774 года, политическая литература Америки снискала себе высокую оценку. Вплоть до войны 1812 года различного рода истории Америки, государственные отчеты и протоколы конгресса, а также биографии отцов-основателей США пользовались большим спросом в Англии. Героями Европы слыли Вашингтон и Франклин — избранники Гёте, величайшего поэта, и Сент-Бёва, самого влиятельного из критиков. Конечно, высказывания британских журналов определялись политическими суждениями. Блестящий и язвительный «Эдинбург ревью» проявлял исключительную суровость отнюдь не к американской литературе, а к более насущным вопросам английской жизни. Его торийский соперник «Квотерли ревью», как и «Антякобин ревью» и «Литерэри газет», сознательно травил все демократическое. «Блэквудс» и «Атенеум» относились к американской литературе терпимо, но покровительственно, а «Вестминстер ревью» позволял себе даже безмерные похвалы. Органы официальной церкви высказывались весьма сдержанно, диссидентские журналы были более благосклонны. Литературные мнения, таким образом, оказывались мнениями различных партий.

Не следует думать, будто Европа и Англия не замечали, что в Америке существует национальная литература. Скорее напротив. «Коннектикутские мудрецы», представлявшие американскую литературу, ценились в Англии выше, чем они того заслуживали. Напыщенная «Колумбиада» Джоэла Барло, как и «Завоевание Ханаана» Тимоти Дуайта, снискали положительные отзывы британских рецензентов, хотя англичане не могли не знать подлинную им цену. Наибольшие похвалы — и не без оснований — выпали на долю «Макфингала» Джона Трамбулла. Рано завоевал европейскую известность и Чарльз Брокден Браун. Лондонское издание его сочинений породило разговоры о непризнанном американском гении. Браун был писателем для писателей. Перси и Мэри Шелли зачитывались его романами, его хвалил Китс, Скотт видел в нем «огромную силу», а Хэзлит — подлинный талант. Незаурядный американский журналист Джон Нил, написавший свою «Американскую литературу» как цикл статей в «Блэквудс» за 1824 и 1825 годы, с гордостью заметил, что подлинно американские писатели — лишь Браун, Полдинг да он сам. Предшественник Готорна, Браун вызвал широкий читательский интерес в Германии и Франции, где лучшее из созданного им признали «добросовестным анализом человеческого сердца, его тайных страстей и неудержимых порывов».

К концу войны 1812 года американская литература обнаружила уже достаточно сил, чтобы всерьез заявить о себе и вызвать жаркие споры, которые закипели в бурное время после 1820 года, то угасая, то вновь разгораясь. Война 1812 года была не столько европейской, сколько английской, ведь только родитель мог принимать все так близко к сердцу. Встревоженные американской конкуренцией и своими собственными потерями, понесенными в результате эмиграции, англичане легко раскусили наше почти болезненное пристрастие ко всему национальному и не преминули его оспорить. Что же касается американцев, то они всегда отождествляли литературу с патриотизмом. Нас не интересует здесь скучная и спорная история оскорблений, нанесенных нам Англией, и почтительного отношения к ней американцев. Сплетни об Америке рождались по ту сторону Атлантики среди книжных людей, мало что знавших о нашей стране и еще меньше стремившихся что-либо узнать. Возбужденные американские патриоты у нас задавали тон. Однако все это имело самое отдаленное отношение к такой литературной критике, которую бы действительно волновали пути воздействия американской жизни на художественное творчество.

Главные критические работы — «Английские писатели об Америке» Ирвинга (1820), «Лекции о поэзии» Брайента (1826), «О национальной литературе» Чаннинга (1830), «Защита поэзии» Лонгфелло (1832), «Американский ученый» Эмерсона (1837), «Готорн и его „Мхи старой усадьбы“» Мелвилла (1850), очерки Торо, «Демократические дали» Уитмена (1871) и другие произведения этих писателей — свидетельствуют о понимании, насколько было важно дать оценку литературы и условий, в которых она складывалась в Америке. Не подражание европейскому, а отличие от него взрастило творчество больших писателей — иностранное влияние было благотворно лишь тогда, когда сочеталось с национальными устремлениями. То, что европейцам казалось ясным как день, не переставало мучить писателей; вместо того чтобы свидетельствовать, что американская литература — всего лишь английская литература в Америке, их произведения доказывали обратное: влияния, которые испытывает страна, должны способствовать формированию национальной литературы.

Писатели были устремлены в будущее, но против них действовали могучие силы. И одна из них — неизбежное чувство ностальгии по старой европейской культуре, тоска по нравам и обычаям традиционного общества с его высокой цивилизацией и художественной культурой. Англичан, которые давно уже перестали думать о старине, немало забавляло преклонение перед нею в книгах Ирвинга и Уиллиса. Позднее Хоуэллс презрительно отзывался об американских романистах, стремивших-

ся стать маленькими лондонцами. Множество таких романистов пребывало в центрах американской культуры, особенно колледжах, где американская литература не преподавалась вплоть до конца XIX века.

Проблема авторского права еще больше подчеркивала нашу зависимость от иностранного книжного рынка. Один из английских друзей Эмерсона писал: «До тех пор пока вы не дадите нам авторского права, мы будем учить вас». И оказался прав, ибо отсутствие эффективного международного соглашения в этой области приводило не только к ущемлению права американских писателей в Англии; американский рынок наводнялся пиратскими изданиями английских книг, многие из них перепечатывались в дешевых гигантских газетах. Протесты американских и английских писателей были безрезультатны. Пиратские издания приносили большие барыши, а издатели лицемерно выступали в защиту свободных книг для свободных людей и с неумными заявлениями, будто международное авторское право поставит национальную книготорговлю под иностранный контроль. Только в 1891 году в американское законодательство был внесен более или менее сносный закон об авторском праве.

Борьба сопровождалась и определенными завоеваниями. Писатели США, оскорбленные конкуренцией пиратских английских изданий, активизировались на страницах американских журналов, техника рассказа при этом достигла небывалой высоты, и английские журналы стали открыто подражать американским. Бесспорно, что международное признание По, Уиллиса и Лонгфелло неизмеримо возросло благодаря деятельности издателей-пиратов, которые открыли широкий доступ в Англию серии «дешевых книг» американских писателей, принятой британскими книгоиздателями. То же, хотя и в меньших масштабах, происходило во Франции и Германии, где небольшие барыши принесли издания Таухница.

Ирвинг первым среди американских писателей привлек к себе интерес всей Европы. Мы порой забываем, сколь глубоко повлиял он на писателей своего времени и что породило целую школу подражателей — Уиллиса, Полдинга, Лонгфелло, Кеннеди, Кука. Однако его современники помнили об этом, даже такие, как Эмерсон и По, видевшие ограниченность Ирвинга.

«Салмаганди» и «История Нью-Йорка» привели в восторг Кольриджа, Байрона и Скотта, однако ни они, ни другие английские читатели Ирвинга не ожидали бурного успеха «Книги эскизов», переведенной в 1820 году все существующие представления. Сэмюел Роджерс воскликнул: «Разбавленный Аддисон!», подобно тому как Мелвилл позднее сказал: «Дополнение к Голдсмиту!» Однако Ирвинг действительно задел ту струну, на которую читатели неизменно отзывались. Британцы удивлялись, что он так хорошо пишет по-английски, американ-

цы гордились им. С «Книги эскизов» началось международное признание Ирвинга. Джон Меррей, отклонивший в свое время рукопись этого произведения, теперь предложил 1200 гиней за ее продолжение «Брейсбридж-холл» (1822), и вскоре обе книги были переведены на французский и \* немецкий. В Лондоне, Дрездене и Париже Ирвинга называли великим писателем.

Ирвинга читал Гёте, хотя и отдавал предпочтение Куперу. Ирвинга хвалил Гейне, а королева Саксонии выражала надежду, что он напишет «Брейсбридж-холл» для ее страны. И он стремился к этому, неутомимо собирая местные предания, которые затем включил в «Рассказы путешественника» (1824). Немцы, привыкшие считать его поставщиком английских легенд, были приятно удивлены тем, что «Рассказы путешественника» основывались на заведомо германских источниках, английские же критики по той же причине рьяно поносили книгу, так что полторы тысячи гиней Меррея не принесли Ирвингу утешения. Все же, хотя «Рассказы путешественника» нельзя назвать безупречными, отдельные неудачи уже не могли помешать росту популярности писателя. С 1826 года во Франкфурте издается его «Собрание сочинений», неуклонно растет число переводов во Франции — к 1842 году вышло тридцать восемь отдельных изданий. Конечно, раздавались и неодобрительные голоса, полагавшие, что «талант писателя невелик и уже полностью исчерпал себя». Тем не менее Ирвинг слыл признанным европейским писателем, и многие американцы усматривали в этом его главную заслугу. Лишь Купер придерживался иного мнения, считая его льстецом.

В Испании, истории которой Ирвинг посвятил пять книг и где высоко ценили его искусство дипломата, его книги, как ни странно, не пользовались известностью. Полный испанский перевод «Альгамбры» (1832) появился только в 1888 году, хотя рассказы из нее и переработки из «Книги эскизов» выходили отдельными изданиями. Как «История жизни и путешествий Колумба» (1828), так и «Завоевание Гранады» (1829) были приняты благосклонно, но дело в том, что испанские издания Ирвинга появлялись малыми тиражами и испанцы знакомились с ним главным образом по французским переводам. Однако, восхищаясь Ирвингом, они, по-видимому, не читали его. Сочинения Ирвинга приобрели известность во всех европейских странах, даже в России, где они популярны со времен революции \*.

Европейское признание Ирвинга начиналось под покровительством Англии и развивалось как следствие ее престижа. В отличие от Ирвинга Купер начал с того, что отверг подражание английскому канону и открыто презрел мнения иностранцев. Он отрицал утверждение, будто своей популярностью в Америке обязан за границе. Особенно же его раздражало прозвище «американский Вальтер Скотт», которым широко

пользовались не только английские, но и французские, немецкие, испанские, итальянские критики. Боевой дух, владевший писателем в течение шести лет, проведенных в Европе, не покинул его и по возвращении на родину. Как социальный критик Купер хотел познакомить Европу с отличительными особенностями американцев, американцев же — с нравами европейцев. Однако, как ни странно, своей широкой известностью писатель обязан главным образом очарованию созданных им картин лесов и прерий, изображению индейцев и пионеров американского Запада. Он заворожил европейского читателя мастерством рассказчика, а стилистические погрешности в переводе терялись. Что же касается мнения критиков, то читателю оно не интересовало.

Купер оказался в Европе в 1826 году как нельзя более вовремя, чтобы закрепить свое авторское право за рубежами Америки. К 1829 году его первые шесть романов появились в Англии и были переведены на французский и немецкий, а также итальянский, датский и шведский языки. Через четыре года книги Купера продавались уже в тридцати четырех европейских городах. На континенте писатель пользовался всеобщим признанием, однако в Англии его дела обстояли не столь блестяще. Правдивые «Понятия американцев» (1828) не вызвали восторга ни в Англии, ни в Америке. Если Ирвинг бывал вкрадчив и обходителен, то Купер поражал своей резкостью. С восторгом заявлял он, что американский народ уважает лорда не больше, чем бревно. Подобные оскорбительные высказывания встречаются и в «Европейских заметках» (1837). Хотя английская критика не щадила Купера, сам он по достоинству ценил английских писателей, и они в свою очередь — от Скотта до Конрада — высоко ставили талант американского романиста. В последнее двадцатилетие XIX века в Англии вышло не менее пятидесяти изданий произведений Купера, и целые поколения английских детей играли в куперовских индейцев.

В Германии романы Купера содействовали утверждению в молодых умах романтического образа Америки, созданного Шатобрианом\*. Вслед за немецким изданием в 1824 году «Шпиона» и «Пионеров» количество переводов столь возросло, что к 1850 году их появилось уже более сотни, возникла целая школа его немецких подражателей. Столь же горячим было признание Купера и во Франции, особенно со стороны Бальзака. Таинственность куперовских лесов и их изгой-дикари как бы проглядывают сквозь страницы Гюго, Дюма-отца и многих других французских романистов. Хотя искаженная картина венецианской тирании в «Браво» (1831) вызвала серьезную критику в Италии, этот роман был прочитан, как и другие, давшие итальянцам живую картину американской жизни. В Испании, где с романами Купера знакомились по французским переводам, его читали больше, чем По, хотя критика уделяла

Куперу меньше внимания. Расцвет славы, ознаменованный мадридским изданием «Красного корсара» в 1839 году, продолжался два десятилетия. В России романы Купера получили в 1839 году поддержку влиятельного критика Белинского\*, долгое время считались образцовыми и выдержали до 1927 года тридцать два русских издания\*. В России, как и во всей Европе, слава Купера зиждется на завораживающем изображении первозданной американской жизни.

### 3

Середина века, с 1852 года, отмечена баснословным успехом «Хижины дяди Тома». Пиратские издания романа содействовали небывалому литературному успеху. Этому помогла сама миссис Стоу, разославшая экземпляры книги английским знаменитостям — принцу Альберту, Диккенсу, Маколею, Кингсли и другим, а триумфальные заграничные поездки писательницы еще более способствовали популярности книги. Один из сорока ее английских издателей оценивал общее количество проданных в Англии экземпляров в полтора миллиона, причем большей частью пиратских изданий. Феноменальный успех романа открыл в Англии эпоху бестселлеров. Британские поэты-песенники наводнили рынок сентиментальными стихами о рабстве, длинные очереди выстраивались у лондонских театров, чтобы посмотреть инсценировку «Хижины дяди Тома» — наступила «мания дяди Тома», писал «Спектейтор». В Англии «Хижина дяди Тома» и «Дред» разошлись за четыре недели в количестве 100 000 экземпляров и широко использовались в борьбе за освобождение труда, завершившейся реформой 1867 года. Даже пресловутый выпад миссис Стоу против Байрона\* — сочинение, вызвавшее самую широкую дискуссию в Англии XIX века, — не мог сдержать победной поступи романа. Стоу полагала, что французы лучше, чем англичане, понимают «все нюансы» ее творчества. И не удивительно. Жорж Санд называла ее не просто талантом, а гением. Альфред де Мюссе воскликнул: «Она оставила нас всех позади, далеко, далеко позади!» Тургенев был рад встретиться с ней в Париже, где «Дядя Том» печатался в ежедневных газетах. К хору похвал присоединились многие другие европейские страны, а изгнанник Гейне признавался, что молится вместе со своими черными братьями. Фредрика Бремер писала из Швеции миссис Стоу о том, что ее роман печатается в стокгольмской прессе. В авторизованной биографии миссис Стоу перечислены переводы «Дяди Тома» на двадцати языках — от армянского до валлийского, не говоря о пропущенных переводах на хинди и яванском языке. В России ни одна иностранная книга не пользовалась такой популярностью, как «Дядя Том», перевод которого появился в 1857 году, не раз инсценировался, в том числе и на советской сцене.

Если миссис Стоу взволновала сердца европейцев, то Эмерсон — их разум. «У души свой собственный мир», — говорил он и отбирал в европейской мысли все то, что отвечало его глубокому индивидуализму, — мускулистость английской словесности; XVII века, Кольриджа и Карлейля. Уже в 1820 году Эмерсон читал Канта, в 1834 году — Гёте, в 1835 — Бёме \* и Сведенборга, в 30-е и 40-е годы — Якоби \*, Шлейермахера \*, Шеллинга, Гегеля и Мишле. Ко всем ним он прислушивался, но повиновался только велению своей души. Он искал слушателей для своего собственного голоса.

В Англии такими слушателями были сначала пылкие молодые люди, пустившиеся или собиравшиеся пуститься в свои собственные крестовые походы: Карлейль, в течение всей жизни помнивший о «чистой и возвышенной мелодике» этого американского голоса; Мэтью Арнольд, слушавший его в Оксфорде и назвавший затем «Очерки» самым значительным произведением в прозе столетия; Клаф \*, считавший Эмерсона единственным глубоким американским мыслителем; Фруд, признававший Эмерсону за то, что тот освободил его от церковных догм; Джон Стерлинг, для которого он стал «учителем лучезарной мудрости»: Спенсер, стремившийся узнать мнение Эмерсона о своей философии; Тиндал \*, признававшийся: «Мир обязан ему всем, что мне удалось сделать». Среди его учеников были и другие, не уступавшие этим ученым, — Джордж Сирл Филлипс \*, автор первой книги об Эмерсоне («Эмерсон, его жизнь и сочинения», 1855), Александр Айрленд \* из Эдинбурга, которому мы обязаны знаменитым путешествием 1847—1848 годов, познакомившим англичан с Эмерсоном. В двадцати четырех городах Эмерсон прочитал шестьдесят четыре лекции перед публикой, состоявшей главным образом из слушателей механических институтов. Наряду с богатыми попечителями присутствовали и рядовые граждане, чья поддержка оказывалась важнее, чем поклонение светских последователей в Лондоне. В Англии Эмерсон пользовался популярностью главным образом среди диссентеров-унитарианцев и реформистов, отнесшихся к его книгам, как к Священному писанию.

На континенте влияние Эмерсона ощущалось с тех пор, как в 1838 году польский революционный поэт Мицкевич познакомил знаменитого французского историка Эдгара Кине \* с «Природой»; когда же через несколько лет эти двое вместе с Мишле начали кампанию против иезуитов в Коллеж де Франс, то принципы Эмерсона оказались для них важным подспорьем. Тот же Мицкевич подвигнул графиню д'Агу на публикацию в июле 1846 года первого французского отзыва об Эмерсоне, хотя Шале и Монтегю \* уже писали о нем в своих обзорах. Поколение спустя известности Эмерсона способствовала другая его поклонница — Мари Мали, участница прогрессивного кружка в Брюсселе, в который входили Метерлинк, Вер-

харн, Верлен и Вьеле-Гриффен \*. Ее «Семь очерков Эмерсона» (1894) с введением Метерлинка были направлены против европейского пессимизма. Воздействие Эмерсона на французскую мысль оказалось весьма широким, оно ощущается в размышлениях Амьеля \*, в бергсоновской философии творчества, во французском либеральном протестантизме, даже в отчаянных попытках Бодлера найти свой основополагающий принцип. Кое-что из идей Эмерсона было воспринято в Испании, где его читали по-французски до 1900 года, пока не появились испанские переводы. Лучшие испанские критические работы об Эмерсоне написаны в XX веке, в частности введение (1910) Себриа-Монтолиу \* к каталанскому переводу «Доверия к себе» и «Дружбе».

В Германии, где Эмерсон привлек внимание многих ученых, самым верным его последователем выступил Герман Гримм \*, а самым влиятельным — Фридрих Ницше. Шесть лет спустя, после того как Гримм познакомился с сочинениями Эмерсона, в которых обнаружил «самые сокровенные свои мысли», он опубликовал о нем очерк, что дало повод к началу дружеской переписки и привело к встрече во Флоренции в 1873 году. Ницше познакомился с очерками Эмерсона в Пфорте в 1874 году и, подобно Гримму, столкнулся с мыслями, которые так напоминали его собственные — веселую мудрость его Заратустры. В России Толстой признавал силу Эмерсона, а руководители индийского движения подтверждали близость его идей философии индуизма. Луч света из Конкорда обошел весь земной шар.

Эмерсон выступал с лекциями за границей. Торо, путешествовавший по своему Конкорду, не покидал Америки. Тем не менее свет его очерков в «Дайэл» и прочитанных затем лекций достиг другой стороны Атлантики, а «Уолден» часто переиздавался в Англии и переводился в других странах. Готорн с удовлетворением называл «Уолден» среди немногих произведений, достойных представлять подлинную американскую словесность. Книга Торо стала библией английского рабочего движения, сильно повлияла на «Веселую Англию» Блэчфорда \* (1895), разошедшуюся в количестве двух миллионов экземпляров, а полвека спустя после смерти Торо «О гражданском неповиновении» обрело силу оружия в руках Ганди.

Иностранная критика не повторила ошибки Лоуэлла, назвавшего Торо маленьким Эмерсоном. Пометки Толстого испещряют чуть ли не все страницы «Уолдена»; Джордж Элиот находила немало здравого смысла в этой книге не от мира сего; Стивенсон, называвший Торо «бездельником», признавался, что не может написать и строки, в которой не обнаружилось бы его влияние; Фруд видел в книгах Торо предвестие грядущего мира, а английский биограф А. Х. Джап \* считал Торо не больше не меньше как Франциском Ассизским XIX века. Йейтс вспоминает, как отцовское чтение «Уолдена» пробужда-



ло его детские мечты об озере Иннисфри; во Франции Пруст писал о великолепных страницах книги Торо. Томас Чолмондели \*, английский друг Торо, прислал ему бесценный дар — библиотеку индийской классики, а другой англичанин, Г. С. Солт, опубликовал в 1890 году его первую серьезную биографию.

Встречались, однако, и недоброжелательные высказывания. Диковинной птицей представлялся Торо не только Стивенсону, который вслед за Уоттс-Дантоном \* считал его столь же эксцентричным, как и образ готорновского Донателло. Необычность и творческая сила писателя настолько нарушали границы привычного, что лишь немногим современникам Торо было дано сполна осознать его достоинства. Не удивительно, что из всех англоязычных писателей Торо меньше всего теряет при переводе на китайский.

Никто в европейской критике не постиг Готорна так глубоко, как его соотечественник Мелвилл. Зато оба нашли своих проницательных читателей за рубежом. В Европе Готорна считали натурой глубоко артистичной, его проза с восторгом принималась столь разными умами, как Арнольд, Троллоп, Джордж Мур \*. В Англии 50-х годов книги Готорна расходились лучше, чем в Америке, вызвав столь же большой интерес к себе, как за несколько лет до того романы сестер Бронте. До 1851 года появилось пять английских изданий «Дважды рассказанных историй», три издания «Алой буквы» и два «Дома о семи шпильях». Только «Наша старая родина» (1863) не понравилась англичанам, и это немало удивило автора, полагавшего, что его случайные сардонические замечания не заслоняют искреннюю любовь к Англии. В Европе Готорн, подобно Куперу, выступал в роли обидчивого провинциала, невольно протестовавшего против явной приверженности ко всему европейскому. Он никогда не чувствовал себя счастливым за границей, особенно не доверял итальянцам, а его единственный роман о Европе «Мраморный фавн» (1860), раскупавшийся в Англии лучше, нежели в Америке, разочаровал читателей, хотя мог бы служить прекрасным путеводителем по Италии.

В 50-е годы Франция зачитывалась рассказами Готорна, а один из них был даже сплагирирован Дюма-старшим. Среди первых французских критиков наибольшей проницательностью отличались Монтегю, ощутивший меланхолию Готорна, и Э. Д. Форг \*, восхищавшийся «Алой буквой». Позднее символисты черпали у Готорна, как и у По, вдохновение для своих фантазий. В Испании произведения Готорна были встречены с восторгом, причем испанцы начали его переводить довольно рано и не с плохих французских, а с немецких переводов «Алой буквы» и «Дома о семи шпильях», появившихся в 1851 году. «Книгу чудес» читали в начальных школах Аргентины и Чили, снискала она популярность и в России. В течение десяти-

ти лет после 1852 года почти весь Готорн был переведен в Россию, и несомненно, что такой тонкий знаток проблем совести, как Достоевский, испытал его воздействие.

Относительно Мелвилла в Америке и за границей существует ложная легенда о якобы враждебном отношении к нему современников. На самом деле «Тайпи» (1846) и «Ому» (1847) получили признание в Англии как яркие путевые очерки, а когда в 1849 году Мелвилл, уже будучи автором «Марди» и «Редберна», накануне публикации «Белого бушлата» посетил Англию, его с почетом принимали литературные знаменитости. Лишь религиозным журналам не понравились «Тайпи» и «Ому» из-за сатиры на миссионеров Южных морей. Кое-кого из критиков обеспокоили аллегорические выпады против английского империализма в «Марди»; «Белый бушлат» же, как и «Редберн», снискал всеобщее признание. По другую сторону Ла-Манша о Мелвилле писали Шале и Форг в «Ревю де дё монд». Мелвилл был «запрограммирован» в качестве автора приключенческих историй, и никто не ожидал от него грандиозного «Моби Дика». Хотя «Кит», как назвали роман в Англии, был подвергнут сокращениям, он оставался столь же устрашающе огромным. Критики по обе стороны Атлантики пришли в смятение, тем не менее одна из трех доброжелательных рецензий была опубликована в английском журнале «Ландон лидер» и вопрошала: «Знает ли кто-нибудь ужасы океана так, как Герман Мелвилл?» Когда же Мелвилл достиг зенита славы, критика и вовсе прекратилась. С выходом шокировавшего публику «Пьера» (1852) поклонники Мелвилла разбежались, и ему не суждено было увидеть их неизбежное возвращение, хотя редкие знатоки продолжали его почитать втайне.

В континентальной Европе Мелвилла не замечали, и первым большим исследованием о нем оказалась книга К. Г. Зудерманна «Мир идей Германа Мелвилла», вышедшая в 1937 году. В Англии, а позднее и в Америке гений Мелвилла породил своих приверженцев, увлекавших за собой других. К творчеству Мелвилла обратилась целая группа его английских поклонников, чьи высказывания представляют бесспорный интерес, — Томсон \*, Моррис \*, Солт \*, Добелл \*, Беррелл \*, Лююкас \*, Форстер \*, Томлинсон \*, Мейнелл \*, Вулф \* и другие. Мелвилловский Пьер познал, что посредственность и банальность «приготовили огонь и меч для великих людей своего времени». В этом отношении Мелвилл был Пьером, и время жестоко отомстило ему.

#### 4

Мелвилл выступал провозвестником будущего. Иное дело Лонгфелло, которого Уитмен называл поэтом «полутоннов исторического прошлого Италии, Германии, Испании и Северной

Европы». Другие новоанглийские барды — Лоуэлл, пользовавшийся влиянием в светских кругах; Холмс, разделявший с Лоуэллом славу первого заатлантического остроумца; Уитьер, не уступавший им в европейской популярности; наконец, Брайент, с которым Ирвинг познакомил англичан как с представителем прекрасной школы английской поэзии, — все они были неразрывно связаны с Англией, однако ни один из них не выдерживал сравнения с Лонгфелло.

Сами цифры ошеломляют: в одной только Англии во второй половине века в более чем семидесяти издательствах вышло около трехсот изданий Лонгфелло, главным образом пиратских. До 1900 года увидели свет не менее сотни отдельных изданий переводов его стихотворений на восемнадцать языках, а в Латинской Америке появилось примерно восемьдесят семь стихотворений в ста семидесяти четырех различных переводах, выполненных пятьюдесятью тремя переводчиками. В популярности для домашнего чтения Лонгфелло превзошел Теннисона; «Эванджелина» (1847), «Золотая легенда» (1851), «Гайавата» (1855) и «Майлз Стендиш» (1858) стали общим достоянием всех англичан от Британских островов до антиподов. Английская критика относилась к этому благосклонно, — более благосклонно, чем По и Маргарет Фуллер в Америке. Однако недостатки Лонгфелло не прошли незамеченными. Локхарт \*, братья Россетти, граф Литтон, Харрисон \* и Суинберн наряду с другими жаловались на дидактизм и сентиментальность его стихов, лишенных естественной выразительности. Троллоп утверждал, что среди современных поэтов Лонгфелло «менее всего похож на американца». Однако никто не отрицал его мастерства. Последнее слово оставалось за широким читателем, которому в конечном счете Лонгфелло и обязан учеными степенями Оксфордского и Кембриджского университетов, а также бюстом в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства.

Популярность Лонгфелло в континентальной Европе была ни с чем не сравнима, с ней не мог соперничать даже По. Широкое распространение получили стихи Лонгфелло во Франции, особенно «Эванджелина». Его любили в Северной Европе. «Передайте, ему, — писали корреспонденты, — что Исландия знает его стихи наизусть». В Испании, куда книги Лонгфелло доходили, минуя Францию, из Испанской Америки и непосредственно из Соединенных Штатов, он пользовался большим влиянием, чем По, слывший просто рассказчиком. Италия переводила его больше, чем даже Франция, а Германия восприняла как немецкого поэта. Там его произведения выдержали большее число изданий, чем где-либо в Европе, не считая Англии. Поэт Фрейлиграт, с которым у Лонгфелло завязалась дружеская переписка после их знакомства в 1842 году, заверял, что популярность Лонгфелло в Германии растет с каждым днем. «Все антологии буквально растаскивают Вас на части».

В 1858 году Фрейлиграт перевел «Гайавату», а за год до этого перевела «Золотую легенду» Элиза фон Гогенгаузен. Их примеру последовали многие. В России, где Лонгфелло наряду с Марком Твеном и Купером издавна пользовался известностью, мастерски перевел «Гайавату» Иван Бунин. В Латинской Америке расцвет популярности Лонгфелло приходится на 1870—1900 годы, а ныне Лонгфелло начинает уступать место По и Уитмену. Его, однако, по-прежнему любит средний читатель, для которого он живописал легендарное прошлое.

Талант Лонгфелло — это уже история, наследие же По и Уитмена столь актуально, что рассказ об их влиянии все еще остается ненаписанным. Здесь может быть дана лишь самая общая характеристика этого воздействия. По и Уитмен как наиболее самобытные среди американских поэтов открывали новые пути, провозглашали новые поэтические принципы, на основе которых и развивалось их творчество.

Европейские критики обычно исходят из полуправды, будто бы По оставался независим от своего окружения и умер непризнанным. В действительности же он был искусным писателем-профессионалом, чутким к событиям своего времени, использовавшим — и к тому же весьма успешно — склонность публики ко всему готическому. Клевета Грисуолда закрепила ошибку, и По считали в Англии «гением, склонным к пороку», до тех пор пока Джон Ингрэм \* не восстановил истину в своей превосходной биографии По (1880), которой предшествовало выверенное издание его сочинений.

Английские писатели с самого начала не скупались на похвалы. Суинберн восхищался «хрупкой и утонченной музыкой» стиха По. Лэнг \* провозгласил его величайшим литературным талантом Америки, Теннисон считал его самым самобытным американским писателем, Россетти декламировал его стихи, Стивенсон, Конан Дойль и другие писали о нем в своих книгах. Джордж Бернард Шоу даже выразил удивление, что такой человек мог родиться в Америке, и во время столетнего юбилея По в 1909 году громко прозвучал голос Британии: «Мы приносим дань уважения одному из великих мастеров английского языка».

Франция признала По своим с тех пор, как Бодлер открыл в нем двойника своего собственного демона. В великолепном очерке 1852 года, который затем в переработанном виде появился как предисловие к переводам «Необыкновенных рассказов» (1856) и «Новых рассказов» (1857), Бодлер, подвергнув суровой критике американское варварство с его газовым освещением, отдал дань уважения забытому писателю, чьи сочинения «волнуют нас и поныне». Так Бодлер создал образ позабытого гения; этот образ, хотя и не повлиял на суждения Твена и Сент-Бёва, тем не менее был принят многими критиками, включая Д'Оревилю \* и Вилье де Лиль-Адана \*. Земная чув-

ственность отличает Бодлера от По, и мы часто забываем, что еще прежде его проникновенного анализа произведения По подверглись пристальному рассмотрению Э. Д. Форга, которого привлекла в них сила логического мышления. Логика стяжала ему популярность во Франции. Парнасцы \* восприняли блестящую эстетическую теорию По; декаденты и сюрреалисты нашли в нем то, что искали, — сумеречную сторону разума; символисты использовали силу его стихосложения. «Ворон» и другие стихотворения По, переведенные Малларме, существенно содействовали экспериментированию в области французского свободного стиха. Французы никогда не считали По рифмоплетом \*.

Нет возможности перечислить всех французских писателей, обращавшихся к По, проследить его воздействие на Бодлера, Верлена, Рембо, Вилье де Лиль-Адана, Гюисманса, Швоба \*, Метерлинка, Валери и других. Проблема эта не утратила своей актуальности и поныне, свидетельством чему являются блестящие работы Ловриера \*, Лемоннье\* и Моклера \*. Прежде чем наступил XX век, во Франции было написано полсотни критических исследований о По.

Бодлеровские переводы познакомили испанского читателя с По и в 1858 году подвигли романиста Аларкона \* написать очерк, исполненный энтузиазма и всяческих кривотолков. Интерес к По в Испании, усилившийся в годы модернистского движения, не угас донныне, а в Испанской Америке, где стихи предпочитают прозе, влияние По даже глубже, чем на его родине. Самоотверженно переводили По испаноамериканские поэты, и среди них Бональд \*, Диас \*, Дарио \*, Сильва \*, Нерво \*. Еще ждут своих исследователей проблемы влияния По на таких крупных испанских писателей, как Вильяэспеса \*, Каррере \* и Бароха \*.

В Германии Бодлер также явился посредником между По и читателями, ценившими у По мрачное настроение, напоминавшее им Гофмана. Над принципами композиции По размышлял Шпильгаген \*, его переводили Элиза фон Гогенгаузен, Штротдман \* и другие, а «Ворон» был почти так же популярен в Германии, как и во Франции. Русские читали По в конце 30-х годов \*, задолго до того, как он получил признание во Франции. Достоевский в своем журнале «Время» (1861) обратил внимание на психологическую глубину его рассказов, воздействие По проявляется в «Преступлении и наказании», так же как и в произведениях Чехова, Андреева, изучавших технику По. Главным же его глашатаем в России был поэт Бальмонт, приступивший в 1906 году к переводу полного собрания его сочинений. Своей страстной и категорической защитой По он сыграл в России ту же роль, что Бодлер во Франции.

В глазах иностранца имя По ассоциируется с мастерством, имя Уитмена — с идеей. Для Европы Уитмен — это символ, даже миф: с одной стороны, мятущийся вдохновенный любовник, с другой — мечтатель о человеческом братстве. Иностранная критика изобилует восхвалением Уитмена как пророка лучшего будущего, к которому стремится человечество. Литературные достоинства Уитмена встретили широкое признание, сила его поэтического мастерства привлекла к себе поэтов от Суинберна до Хопкинса \* и Лоуренса, его просодия тщательно исследована учеными — Джаннаконе \* в Италии, Базальгетт \* и Катель \* во Франции. Критики особо отмечали возвышающую силу — не столько эстетическую, сколько религиозную — его поэзии.

Здесь не место для анализа восприятия творчества Уитмена за рубежом, но, когда такая история будет написана, она охватит всю проблематику взаимодействия европейской и американской мысли, ибо истоки творчества Уитмена находятся и в Европе, и в Америке, в нем воплотились чаяния Европы. И дело не только в том, что Уитмен собирает массовую аудиторию, а в том, что гений, слишком сложный для рядового читателя, привлек внимание ученых, интеллигенции, поэтов. В Европе Уитмен стал не автором бестселлеров, а классиком. Эта истина нуждается в оговорке, ибо его поклонники весьма различны.

Английские отклики на Уитмена, часто приводимые в противовес американской недооценке, блистают именами Даудена \*, Россетти, Саймондса \*, Бьюкенена \*, Райса \*, Сентсбери \*, Эллиса \*, Карпентера \*. Однако Уитмен стал в Англии и «копеечным поэтом», доступным в дешевых переизданиях, популярным среди учеников-рабочих Блэчфорда и рабочих корпораций в промышленных центрах. В Германии, где Фрейлиграт открыл Уитмена в 1868 году и неумело перевел по изданию Россетти, литературоведы и поэты содействовали его популяризации, особенно Иоганнес Шлаф \* (1907, 1919), ставший оракулом поклонения Уитмену, и Ганс Райзигер \* (1922), чей великолепный перевод вызвал благодарность Томаса Манна. Здесь, как и в Англии, Уитмен вдохновлял ущемленную и страстную молодежь, таких поэтов-рабочих, как погибший в годы первой мировой войны Энгельке \*, Брёгер \*, Гризар \* и Лерш \*.

Во Франции критика до тех пор относилась к Уитмену с недоверием, пока символисты — Лафорг \*, Вьеле-Гриффен, Малларме и другие — не стали переводить «Листья травы» и не дали художественно полноценный текст этого новаторского по форме произведения. Близкой духу самого Уитмена оказалась авторитетная биография, написанная в 1908 году Базальгеттом, за которой в 1909 году последовал перевод его стихов (вызвав-

ший критику Жида), а в 1921 году вышло его аналитическое исследование об Уитмене. Для Базальгетта американский поэт был проповедником, и преклонение перед ним оказало воздействие на ревностную группу, известную под названием «Аббатство» \*, — Ромен, Вильдрак, Дюамель и другие, для которых Уитмен стал поэтом грядущего века. Французские солдаты брали «Листья травы» в окопы. В 1926 году был создан Комитет Уолта Уитмена, а такие позднейшие исследования, как психоаналитическая работа Кателя о личности Уитмена и его «звучащем стиле», еще больше упрочили славу, затмившую в конце концов славу По.

В России Уитмена восприняли с советской точки зрения, перевод московским поэтом Чуковским «Листьев травы» вышел в 1923 году шестым изданием. После революции уитменовские стихи во славу «человечества» и «машины» декламировались по всей стране, и такие классово сознательные поэты, как Маяковский, Мейергоф \* и Гастев, признавали свою близость к Уитмену, а еще раньше Тургенев собирался переводить его, Толстой счел необходимым отметить туманность его мысли, поэт Бальмонт создавал свои переводы в духе мистического экстаза, в журналах появились вводящие в заблуждение биографические очерки, а первые переводы, сделанные Чуковским, были задержаны полицией. Влияние Уитмена неуклонно росло. В Венгрии его переводили Пастор, Гаспар и другие, а влияние испытали такие поэты, как Костоланьи, Бабич и Маргит Кафка.

Растущее число приверженцев Уитмена невозможно даже обозреть. Назовем Йенсена и Шиберга \* в Дании, Гамберале \*, Джаннаконе, Праца \* и Ненчьони \* в Италии, Манна и Верфеля в Германии, Верхарна в Бельгии, Бросса, Герра и Себриа-Монтолиу в Испании, Дарио в Латинской Америке. Подобно «Уолдену» Торо и эмерсоновским «Очеркам», слово Уитмена нашло отклик и на Востоке — в Индии, Китае и особенно в Японии, где «Листья травы» были восприняты как манифест западной демократии. Возможно, мечта Уитмена осуществится и он первым из американских поэтов дойдет до «народных масс всех стран».

## 6

Европейцы не без помощи самого Уитмена превратили его в мифическую фигуру — некое бородатое божество, обаятельное и непоколебимое, если и не характерное для Америки, то олицетворяющее образ американца, каким он должен был явиться миру. Нечто сходное ожидали за пределами Соединенных Штатов от писателей американского Запада, выступивших после Гражданской войны: Артимеса Уорда, Джоакина Миллера, Брет Гарта, Эмброза Бирса и, конечно, Марка Твена. Всех их отличала яркая, пышная театральность, как то подобает

странникам из мира грез, и все они свято хранили верность манере юмористического преувеличения, восходящей к ранним негритянским песенкам и деревенскому фиглярству актера-комика Чарльза Мэтьюза \*, к Сэму Слику Хэлибертона, к проделкам Дэйви Крокетта, к бесчисленным пиратским изданиям юмора янки, а также к «Запискам Биглоу» Лоуэлла, острословно Холмса и Гансу Брайтману Леланда.

Перечень этот неполон: дело в том, что, когда Артимес Уорд 13 ноября 1866 г. впервые выступил в Лондоне, публика была уже к этому подготовлена. Предприимчивые пиратские издатели, главарем которых слыл Хоттон \*, перепечатавший из Уорда все, что только можно было перепечатать (одна из его поделок разошлась в количестве 250 000 экземпляров), буквально затопили юмором Запада всю Англию. Англичанам нравились забавные нелепицы Уорда, сугубо индивидуальная манера его писем в «Панч» и увлекательные лекции, подорвавшие слабое здоровье писателя. Красная рубашка и буйные стихи Джоакина Миллера («Тихоокеанские стихотворения», 1871; «Песни Сьерры», 1871; «Песни солнечных земель», 1873) тоже привлекли к себе интерес читателей, особенно в светских кругах. Увлечение Миллером возникло внезапно и столь же быстро прошло. В 1878 году, когда он в последний раз посетил Англию, которую публично благодарил за доброе к себе отношение, ему был оказан весьма холодный прием. Живший в Лондоне пять лет (1872—1877) в качестве журналиста и литературного сотрудника гудовского \* «Фан», Эмброс Бирс, презиравший юмор, пользовался репутацией остроумца и блестящего рассказчика. Его первые три книги, напечатанные в Англии, удостоились похвалы такого выдающегося человека, как Гладстон, однако Бирс заслуживал лучшей критики, чем статьи собратьев по перу, лондонских газетчиков. В Лондоне манеры американского Запада, присущие Бирсу, быстро преобразились, приобретя некий торийский оттенок.

Феноменальный успех в Европе «Счастья Ревущего стана», «Изгнанников Покер Флэта» и «Язычника Вань Ли» Брет Гарта воспринимался в Англии как симптом рождения нового заатлантического таланта. Его произведения, пиратски изданные Хоттоном, расходились с трудом, а когда, потеряв надежду преуспеть в Америке, Брет Гарт поехал в Англию (1879), публика горячо заинтересовалась его книгами и сохранила этот интерес вплоть до самой смерти писателя, оборвавшей в 1902 году период его изгнания. «Англии никогда не надоедало это ласо», — говорил Олдрич. Гарт надеялся сказать нечто новое об Англии, но это ему явно не удалось. Для англичан он оставался живым и занятым писателем, в творчестве которого удачно сочетались чувство и юмор. Особой популярностью пользовался Гарт в Германии, где служил в 1878 году консулом в Креффильде. Необыкновенный успех, выпавший на долю



немецкого издания «Рассказов об аргонавтах» (1873), подвигнул лейпцигского издателя книг Гарта предпринять первое издание Марка Твена. Однако до самого конца века количество немецких изданий Гарта существенно превосходило число немецких публикаций его великого соотечественника.

Летом 1872 года Марк Твен отправился в Европу с тем, чтобы, во-первых, защитить свое авторское право и, во-вторых, научиться свободному обращению с английскими обычаями и нравами, подобно его «простакам за границей». Он удовлетворительно разрешил все дела с Хоттоном. Что же касается второй цели путешествия, породившей столько толков среди самих англичан, то здесь Марк Твен не преуспел. Возникает вопрос: почему? Упомянутая им причина, будто он не мог критически высказываться о тех, чьим гостеприимством пользовался, не остановила в свое время ни Эмерсона, ни Готорна. Действительной причиной был его колоссальный успех в Англии: огромные тиражи книг, переполненные залы на лекциях, многочисленные праздничные застолья, на которых Твен блистал остроумием, дружба с европейскими знаменитостями, разного рода почести вплоть до оксфордской мантии — все это неизбежно превращало писателя в некоего международного шута. Более того, он с непревзойденным мастерством играл роль неофициального американского посла в Англии.

И действительно, заслуги Твена неопределимы, ибо он обладал талантом оставаться собой, сохранять свою внутреннюю сущность. Пребывание за границей еще глубже оттенило американские черты его характера. Как говорил один из критиков, он привез с собой в Европу обычаи и нравы Коннектикута. Нелегко разгадать, было ли его добродушие искренним или притворным. Бернард Шоу и Томас Гарди, например, видели в Твене не только развлекателя, но и отмечали его родства с Сервантесом и Свифтом. Если бы они заглянули в его записные книжки, то нашли бы тому подтверждение, поскольку здесь писатель давал простор своему негодованию, возмущаясь лицемерием наследственных привилегий. Однако публично Марк Твен сражался только против порядков средневековой Англии, как то было в «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889), этом историческом маскараде. «Янки» не пришелся по вкусу английской публике, хотя ей нравилось почти все, что выходило из-под пера Твена. В этом отношении англичане напоминали американцев, взхлеб хваливших то, что соответствовало общепринятому.

Весь мир считал Марка Твена развлекателем. Он всегда охотился, признавался Твен Лэнгу, за большим зверем — за народом. И для народа он стал легендой. В Германии интерес к Твену, как и к Брет Гарту, достиг благодаря стараниям издателей особого размаха в 70-е годы, чему в немалой степени

содействовало обаяние писателя. Переводы его произведений в Германии превысили миллион экземпляров, в Советской России — три миллиона, в Латинской Америке он до сих пор остается самым популярным американским писателем. Нетрудно догадаться, что для этих миллионов читателей он стал классиком детской литературы. Утратил ли он в глазах иностранцев интерес для взрослого читателя? Отнюдь нет. В год смерти Марка Твена датский критик Йоганнес фон Йенсен призывал к более серьезному изучению его таланта. Немецкие критики всегда отмечали, что Твен — олицетворение американской энергии; Шонеман \*, наиболее проницательный из его европейских критиков, решительно возражал против того, чтобы считать Твена просто юмористом, а швед Лильегрен \* подчеркивал его антиромантическую направленность. Цени демократические традиции, Европа всегда будет обращаться к наследию Твена.

7

К началу нового века необходимость американской литературы для Европы ни у кого не вызывала сомнений. В этом кратком очерке мы не в состоянии перечислить всю ту популярную литературу, которая вывозилась из Америки в Европу — книги Луизы Олкотт, Фрэнка Стоктона, Томаса Бейли Олдрича, Сьюзен Уорнер, Элизабет Фелпс, Э. П. Роу, Мэриона Кроуфорда и многих других. Наряду с потоком сентиментальных романов через Атлантику шло своеобразное искусство областнической литературы, и не только крикливые образчики литературы Запада, но столь непохожие друг на друга книги Мэри Мэрфри из Теннесси, Сары Орн Джуит и Мэри Уилкинс Фримен из Новой Англии, Джорджа В. Кейбла из Нового Орлеана, Хэмлина Гарленда со Среднего Запада, Джоэла Чэндлера Харриса из Джорджии, Эдварда Эгглстона из Индианы, а также новые социальные мечты. Генри Джорджа и Эдварда Беллами.

В 90-е годы Англия столкнулась с новой волной миграции американской литературы. Конечно, Генри Джеймс поселился в Англии еще в 1876 году, погрузившись в занятия изящным искусством, «международный стиль» которого не мог затмить его американской сущности. Книги Джеймса и Хоуэллса печатались в Англии и распространялись за границей Таухницем и другими издателями. Старательный реализм этих писателей, преданных сдержанному и благовоспитанному миру, затмили их дерзкие последователи — Хэролд Фредерик, чье «Проклятие Зерона Уэйра» (опубликованное в Англии в 1896 году под названием «Просвещение») стало поистине сенсацией; Стивен Крейн, чей «Алый знак доблести» (1895) казался молодым писателям, таким, как Уэллс и Конрад, первым произведением гения нового

типа, совершенно свободного от английской традиции; Фрэнк Норрис, чей «Мактиг» (1899) предвосхищал грубую силу таланта Драйзера и Лондона.

Таким образом, несмотря на то, что часть Европы и Англия признавали художественную значимость американских писателей, в течение XIX века американская литература привлекала внимание Европы и Англии прежде всего как выражение демократических устремлений, а своей широкой популярностью она обязана интересу читателей не столько к новому искусству, сколько к новому образу жизни. С наступлением моды на Генри Джеймса европейцы поняли, что они могут кое-чему поучиться у Америки в отношении искусства. Но это уже другая история, которая не может быть рассмотрена до тех пор, пока сама европейская литература не будет детально изучена.

*...новые  
перспективы*

VI  
ЭКСПАНСИЯ



## 38. ГОРИЗОНТЫ РАЗДВИГАЮТСЯ

### 1

Американская литература Первой республики к концу Гражданской войны заканчивает определенный исторический цикл развития и, оставив позади годы зарождения и расцвета, переживает упадок. В 70-е годы «золотой век» Америки проявляется лишь в активности культурного центра на озере Чаутауква; и, хотя казенные стандарты культуры и «идеалов» официально сохраняли идеологические высоты вплоть до конца века, они все менее и менее соответствовали действительности, облик которой определялся яростной, грубой, неоформленной энергией, порождаемой американским обществом, — движением на Запад через континент, созданием машинной промышленности, привлечением иммигрантов из всех уголков Европы.

В период Первой республики Соединенные Штаты были аграрным государством, имеющим несколько отдаленных друг от друга торговых центров; Вторая республика, рожденная Гражданской войной, проводила политику индустриализации, тяготеющей к быстрой экономической интеграции. Первая республика была относительно второстепенным государством Северо-Атлантического региона; Вторая республика уже имела значительно большую территорию и сферу политического влияния. К 1900 году США выходят в число сильнейших держав мира, почти готовые к превращению в Первую Американскую империю, доминирующую в Карибском бассейне и вторгающуюся в Тихий океан.

Преобразующие силы XIX века, если и разрушили основополагающие традиции Первой республики, в то же самое время раздвинули культурные горизонты, заложив фундамент для нового расцвета американской литературы в XX веке. В этой связи отказ от временной последовательности обзора в данной части нашей работы представляется целесообразным, поскольку хронология затрудняет выявление хотя бы некоторых аспектов влияния экспансии на быт и сознание американского народа.

Знаменитая картина американского общества 1800 года, открывающая «Историю Соединенных Штатов в периоды правления Джефферсона и Мэдисона» Генри Адамса \*, подчеркивает повсеместную национальную консервативность и инертность. Юг, конечно, продолжал поставлять государственных деятелей, но,

несмотря на влияние Джефферсона, интерес к науке и литературе на Юге уменьшился сравнительно со временем Уильяма Бирда. Господствующий в Новой Англии Союз администрации и духовенства больше всего на свете боялся новых идей. «С 1790 по 1820 год в Массачусетсе, — утверждал Эмерсон, — не было создано ни одной книги, речи, беседы или мысли». Даже Филадельфия, бывшая при жизни Франклина самым культурным городом Америки, отличающимся еще и религиозной терпимостью, дает Джозефа Денни, в «Порт Фолио» ориентирующегося в основном на литературную моду и читательские вкусы Англии предшествующего поколения. Среди американских литераторов лишь творчество Филипа Френо, Чарльза Брокдена Брауна и Хью Генри Брэккенриджа указывало на борьбу новых точек зрения с канонами старой традиции, но их усилия были разоблачены и в целом неэффективны. Доминирующей традицией была провинциальная узость и бесплодная интеллектуальная ортодоксия.

## 2

Однако силы, впоследствии призванные революционизировать американское общество, уже были приведены в действие, и первой из них дала себя знать территориальная экспансия. Уже перед революцией границы белых поселений уперлись в барьер Аппалачей, а с окончанием военных действий первый вал миграции населения прорвался на Запад по долинам рек Камберлендского плато. Насчитывавший сто тысяч жителей штат Кентукки в 1792 году был принят в федерацию. В 1820 году белое население территорий, расположенных западнее Аппалачей, исчисляется уже в 3 млн. человек, а фронтир поднимается на 200 миль по Миссури. К 1848 году пионеры проходят весь континент, захватив по пути Техас и Орегон, и тогда границы Соединенных Штатов в основных чертах стали напоминать современные.

На огромной территории, простирающейся от Аппалачей до Тихого океана, по мере продвижения поселенцев начинает складываться общество, крайне слабо связанное с Англией. Человек с Запада, как он описан современниками, был неутомимым, предпримчивым накопителем. В его душе патетическая, но абстрактная жажда культуры уживалась с едва скрываемым презрением к непрактичным, бесплодным представителям старших цивилизаций. Он считал себя воинствующе демократичным, но его демократизм часто принимал формы непризнания никаких авторитетов, превосходства над другими. Наблюдатели из восточных штатов называли жителей Запада варварами, и в определенной степени обвинение было обоснованным, поскольку, несмотря на усилия просветителей по организации учебных и культурных центров наподобие Лексингтона и Цинциннати, Запад потерял контакты с культурной традицией Европы, не создав еще соб-

ственной цивилизации. И все же в истории страны Запад сыграл огромную роль, поддерживая равновесие сил при обостряющемся соперничестве Севера с Югом и дав в лице Джексона и Линкольна двух единственно деятельных президентов в период между правлением династии виргинских джентльменов и Гровером Кливлендом.

Пионер, пройдя по Континентальной Тропе до Тихого океана, обнаруживал, что многие американцы уже побывали на побережье до него. Торговцы пушниной заплывали в залив Пьюджет-Саунд в конце XVIII века, а каботажные суда, на одном из которых матросом плыл Ричард Генри Дана, часто навещали Калифорнию в 1820—1830-х годах. Как только завоевание независимости освободило американский флот от ограничений, установленных Британией в пользу Ост-Индской компании, американские суда отправились на Восток. Зарегистрированная в Нью-Йорке «Китайская императрица» бросила якорь в водах Макао в 1784 году. К 1790 году «Колумбия» из Бостона обследовала северо-западное побережье Тихого океана, открыла реку, получившую ее имя, и вчерне проложила трудный, но прибыльный торговый маршрут от Атлантического побережья вокруг мыса Горн до залива Пьюджет-Саунд, оттуда в Кантон, минуя Сэндвичевы острова, и затем — домой вокруг мыса Доброй Надежды.

Вскоре торговыми путями поплыли и миссионеры. Американское правление уполномоченных по вопросам миссионерства открыло в 1812 году свое отделение в Бомбее и в 1816 году — на Цейлоне. К 1840 году оно имело уже 283 заграничные миссии, причем 50 из них были разбросаны в Юго-Восточной Азии — от Бомбея до Макао. Евангелисты не проявили особого интереса к цивилизациям Дальнего Востока, однако они серьезно взялись за изучение восточных языков с тем, чтобы перевести Писание на языки учеников миссий. Таким образом, благодаря коммерческой и религиозной деятельности на Востоке по крайней мере часть американцев знала о существовании далеких своеобразных государств по ту сторону Тихого океана.

Освоению этого океана также способствовал китобойный промысел. Многочисленные китобойцы вслед за кораблями миссионеров отправились на охоту в районы Полинезии и Меланезии, и в 40-е годы Мелвилл, работая над «Тайпи» и «Ому», мог воспользоваться обширной литературой, посвященной описаниям тихоокеанских плаваний и экспедиций. Потребности китобойного промысла заставили флот Соединенных Штатов снарядить в исследовательскую экспедицию специальный корабль под командованием кадрового офицера Чарльза Уилкса. Экспедиция побывала на Таити, Самоа, в Австралии, доплыла до берегов Антарктиды и посетила побережье Орегона перед возвращением на родину через Филиппины, Сингапур и Кейптаун. Приобретение Орегона и Калифорнии подогрело желание развивать тор-



говлю с Востоком и вызвало ряд попыток проникнуть в Японию, завершившихся экспедицией под командованием Перри в 1852—1854 годах и подписанием торгового соглашения. Однако с конца 50-х и вплоть до 1898 года интерес к Востоку существенно ослабел. Гражданская война, уменьшение тоннажа американского торгового флота, освоение Запада и индустриализация, потребовавшие огромных материальных и физических затрат, вызвали почти полное пренебрежение к восточным районам Тихого океана.

Первые десятилетия после войны оказались, по сути дела, периодом самоанализа, в течение которого вновь объединенная нация попыталась разобраться в самой себе. Читательская аудитория страны столкнулась в это время с необходимостью изучить и освоить два внутренних фронта — не только западный, переживавший в 70-е годы наивысший период бума, но и Юг, изолированный от Севера в горькие десятилетия антирабовладельческой кампании и теперь впервые открывающийся для экономической и социальной интеграции под эгидой Севера. Открытие Юга сотнями тысяч солдат армии федералистов получило отражение и в популярности документальных очерков типа «Великий Юг» Эдварда Кинга (выпущенных иллюстрированными сериями издательством «Скрибнер» в 1874 году), и в удивительной северной моде на прозу и поэзию, популяризирующую миф южной плантации\*.

### 3

Еще большую роль в преобразовании американского общества и предопределении путей его развития сравнительно с захватом территорий сыграли взаимосвязанные процессы индустриализации, роста гигантских городов и иммиграция. Начиная с применения паровых двигателей в производстве и на транспорте, в 30-е годы уже широко использовавшихся в США, технологическая революция стала развиваться невиданными прежде темпами. К 60-м годам, когда телеграфный кабель, проложенный по дну Атлантического океана, связал Соединенные Штаты с Европой, жизнь приобрела характерные для современности ритмы: массовое производство товаров, быструю передачу информации, скоростные и относительно дешевые средства наземного и водного транспорта.

Стремительно развивающаяся экономика Соединенных Штатов привлекала из-за океана миллионы европейских крестьян и ремесленников, связывавших с Новым Светом утопическую надежду об улучшении своего благосостояния. В течение первой половины XIX века основной поток иммигрантов составляли беженцы из разоренной Ирландии и рейнских земель Германии. К началу 40-х годов ирландские крестьяне уже битком забили бостонские подвалы и стали вытеснять из тек-

стильной промышленности армию фермерских дочерей. Наличие трущоб в городах американцы быстро восприняли как неотъемлемую сторону иммиграции. Столкнувшись с явлениями, не имевшими в Соединенных Штатах прецедента, лидеры типа Теодора Паркера были вынуждены изобретать или занимать у англичан современные методы изучения проблемы и организации благотворительности.

Иммигранты из Германии в период до Гражданской войны оседали в основном на Среднем Западе, скопляясь в строящихся городах или еще чаще выкупая земли у переселенцев и образуя спаянные, трудолюбивые фермерские общины. Многие из них, гордясь культурой старой родины, старались сохранить ее и в Новом Свете, основывая немецкоязычные школы и периодические издания; а в городах Среднего Запада они строили пивные с палисадниками, организовывали гимнастические общества, мужские хоры, камерные, а иногда и симфонические оркестры. Еще одной иллюстрацией немецкого влияния на американский Запад может служить упоминание о группе философов-гегельянцев, издававших с 1867 года «Журнал теоретической философии» в Сент-Луисе.

В течение первых десятилетий XIX века американцы обычно гордились своим представлением о республике как спасительной гавани для угнетенных подданных европейских монархов. Это отношение к иммиграции было в определенной мере связано с постоянной нехваткой рабочей силы, и особенно отчетливо оно проявилось на Западе. В 1839 году, например, «Геспериэн» (Колумбия, Огайо) провозгласил, что «наши входные двери никогда не закроются перед чужими людьми и иностранцами, но всегда будут широко распахнуты для угнетенных любой национальности и любого языка на земле». Однако в то время, когда Запад еще призывал к себе иммигрантов, скопление ирландцев на Атлантическом побережье уже начало вызывать недовольство коренного населения. Враждебность к ирландцам подогревалась различием вероисповеданий: члены секретной Американской партии, называвшиеся игнорамусами<sup>1</sup>, проповедовали ограничения в области натурализации иммигрантов, разглагольствуя о заговоре римского папы и габсбургской династии против Американской республики. Вдобавок тот факт, что до и после Гражданской войны большинство иммигрантов оставалось на Севере и на Западе, дал южанам-публицистам повод расценивать иммигранта как одно из проклятий северного общества.

Американская партия «ничего-не-знающих» исчезла с политической арены в период перегруппировки сил в 50-е годы, а сельские иммигрантские общины, преимущественно немецкие и скандинавские, стали в конце концов поддерживать респуб-

---

<sup>1</sup> Невежественные (лат.).

ликанцев. Это существенно ускорило ассимиляцию. Соответственно отсутствие языкового барьера и традиционная в США антипатия к Англии помогли ирландцам получить признание в ряде районов страны. Однако промышленное развитие, начавшееся после Гражданской войны, изменило положение дел. Хотя многие вновь прибывшие иммигранты и засылались железнодорожными и землевладельческими компаниями на Великие Равнины, значительно большая часть «новых» шла на фабрики и селилась колониями в крупнейших индустриальных городах, где они начали играть значительную, если не ведущую роль в профсоюзном движении с его растущим классовым самосознанием. Кроме того, после 1880 года основная иммиграция шла из Юго-Восточной Европы, языки и культурные традиции которой были гораздо более чужды американскому варианту культуры, нежели традиции ранней иммиграции из Северо-Западной Европы. Неблагоприятным результатом этого процесса стало то, что к концу столетия иммигранты все более решительно воспринимались как самостоятельный, четко определенный класс и, возможно, не поддающийся ассимиляции сегмент промышленного пролетариата. Затянувшийся диспут по проблеме американизации и «плавильного котла» занял много газетных и журнальных полос; исподволь зародившийся культ «англосаксонского превосходства» особенно усилился после 1890 года, и многие из участников полемики обнаружили неразумный страх перед пришлецами, выразившийся в ограничительных законах XX века.

Определить в точности влияние этих следующих одна за другой волн иммиграции на американскую культуру нелегко. Население больших городов к концу столетия уже было многонациональным. Одна из фабрик Чикаго, например, в 1909 году имела 4200 рабочих 24 национальностей; а в 1900 году в США выходило около тысячи периодических изданий на 25 различных языках. Общее число иммигрантов в XIX веке достигает 20 млн. человек, а по переписи 1900 года в Соединенных Штатах значится 10 млн. рожденных за границей из общего числа населения 76 млн. человек. Если включить в эту графу детей от иностранных родителей, то это число, возможно, удвоится и на долю иностранцев придется больше четверти всего населения.

От художников и ученых до безграмотных крестьян все иммигранты привозили с собой невидимый груз культурных традиций: фольклор, ремесла, религии, семейные и коллективные отношения, кухню и напитки. Многие из этих традиций исчезли в процессе американизации, но многие вошли составной частью в американский образ жизни. В искусствах и ремеслах влияние иммигрантов и их потомков было особенно значительным. Следует также заметить, что присутствие многочисленных групп,

живо интересующихся европейскими проблемами, помогло преодолеть изоляционизм и провинциальный национализм, столь влиятельные в Америке XIX века.

4

Подобные социально-экономические влияния, добавляя чужой опыт и вызывая новые интересы, расширяли культурные горизонты американского общества. Помимо этого, столетие привнесло массу собственных интеллектуальных импульсов, в такой же мере воздействовавших на Соединенные Штаты, что и на Европу. Американский народ участвовал во всех основных преобразованиях мира идей, имевших место в этот период.

Сначала перед человеком XIX века приоткрылось прошлое, способствовавшее усилению историзма, его мироощущения. Ирвинг и Купер довольно рано показали, какое богатство оттенков и значений может быть придано знакомым пейзажам, если на них набросить покров исторических легенд. Писательский интерес Купера к эпохе Войны за независимость совпал с растущим чувством национализма, что повело за собой систематическое исследование американского прошлого. Около 1830 года два вашингтонских журналиста начинают издавать собрания американских исторических источников: это «Дебаты» под редакцией Джонатана Элиота (материалы съездов, посвященных разработке проекта Конституции (1827—1845) и «Американские архивы» (9 томов, 1837—1853) под редакцией Питера Форса, включающие документальную историю британских колоний в Америке. За период с 1820 по 1850 год было создано 35 местных, подчиненных администрации штатов, исторических обществ. Лишь три — Массачусетское, Ньюйоркское и Пенсильванское — общества были организованы до 1820 года.) Одновременно коллекционеры Джон Картер Браун из Провиденса и Джеймс Ленокс из Нью-Йорка начали собирать библиотеки американской письменности. Результатом этого интереса к американскому прошлому было появление выдающихся историков, определивших лицо американской историографии середины века: это Джордж Бэнкрофт, Джеред Спаркс, Ричард Хилдрет и Френсис Паркмен.

Развитию историографии и исторического романа во многом способствовало обучение американцев в Германии в первой половине XIX века. Эти американские студенты были причастны к обновлению немецкой науки, последовавшему за национальным движением против наполеоновской агрессии. Новый, «философский» подход к античному, особенно греческому, наследию; текстологические исследования Писания; научное изучение литератур современной Европы привлекли группу талантливых молодых американцев в университеты Германии. Не только «История Соединенных Штатов» Бэнкрофта, но и вели-

колепная «История испанской литературы» Джорджа Тикнора, «Возвышение Голландской республики». Мотли, а также «Гиперион» и «Золотая легенда» Лонгфелло были результатом подготовки, полученной в Геттингене, Гейдельберге и Берлине.

Однако в этом отношении живые контакты имели большее значение, нежели связи научные. Дневник молодого Тикнора, сына состоятельного бостонского купца, описывающий чувства автора, посетившего в 1817 году Вецлар, является важным моментом в истории американской культуры:

«По дороге я представил, что мы миновали долину, в которой разыгралась сцена между Вертером и безумным поклонником Шарлотты, и холодный ветер долины навевал на меня ощущение такой невыразимой грусти, какую мне редко доводилось испытывать. Я остановился в одиночестве. Немного погодя я поднялся на утесы, на которых Вертер, покинув Шарлотту, провел ужасную ночь, — и в самом селении я, не нуждаясь в гиде, сразу узнал церковь из красного камня, липы, кладбище и дома, описанные (Гёте) с такой достоверностью. Возвращаясь в город, я вновь остановился на утесах — прочитал описание его отчаяния и простоял до тех пор, пока заходящее солнце почти не скрылось за холмами».

Култ Гёте в Америке, свидетельством которого является и приведенная цитата, не только познакомил новое поколение американцев с плодотворной эмоциональностью «Бури и натиска», но и привел к многолетней полемике об этической стороне искусства, способствовавшей расшатыванию основ «изысканной традиции», и подготовил последовавшее позднее признание реализма в литературе. Окольным путем, но с неменьшей силой немецкая мысль повлияла на культуру Америки, передав ей при посредничестве Кольриджа и Карлейля трансценденталистскую философию, подхваченную Эмерсоном и его кругом. Параметры души, внутренний мир субъекта, исследуемые трансценденталистами, часто определялись противниками направления как болезненные немецкие фантазии.

Близко связанным с трансцендентализмом, хотя и не во всем тождественным ему, было общественное брожение 30—40-х годов, нащупывающее путь социальных реформ. Если все установления и институты призвать на суд совести и потребовать от них отчет, то может последовать великое их аутодафе, полагал Готорн. Молодые участники Брук Фарм, считая, что они порвали с чересчур их ограничивающей цивилизацией, занялись строительством общества будущего, основанного на принципах коллективизма. Вместе с фурьеристами, перфекционистами, последователями Оуэна и обитателями многочисленных икарый \*, разбросанных от Нью-Джерси до Техаса и Висконсина, они исследовали практические возможности утопизма и, хотя аболиционистское движение поглотило все остальные крестовые отря-

ды реформистов, процветавшие в 40-е годы, последние оставили до сих пор не исчезнувшую из американской жизни внутреннюю готовность к экспериментированию. Поколение, молившееся «Новизне», заставило консерваторов всех последующих поколений отказаться от их главного принципа — порочности любых инноваций — и искать дополнительные аргументы для обоснования борьбы против перемен.

## 5

Пока трансценденталисты и реформисты странствовали по неизведанным сферам мысли, оспаривая правомерность основ государственности американского общества, менее радикально настроенные писатели и мыслители предприняли попытку описать действительные условия жизни на Американском континенте, особое внимание уделяя огромным, совсем недавно заселенным внутренним районам страны. Эмблемой специфики американского быта и его отличия от европейского стал индеец. Хотя традиция интереса к экзотической фигуре краснокожего восходит еще ко времени Колумба, к моменту начала работы над пенталогией о Кожаном Чулке, из литературы, доступной Куперу в 20-е годы, самыми надежными оставались документальные описания и отчеты миссионеров. Однако уже в ближайшее время потребность собрать и систематизировать данные дала ощутимые результаты. Начиная с критического разбора описаний индейцев у Купера, предпринятого Льюисом Кассом в конце 20-х годов, «Норт эмерикэн ревью» традиционно включает почти в каждый номер по крайней мере одну солидную статью по этому вопросу. А Элберт Галатин, опубликовавший под старость в «Трудах» Американского антикварного общества «Краткий обзор индейских племен... в Северной Америке» (1836), по сути дела, открывает историю американского языкознания.

Одновременно осуществлялись и проекты не столь научные по характеру — возможно, в связи с тем, что политика вытеснения восточных племен за Миссисипи, проводимая Эндрю Джексонем, заставила воспринимать индейцев как исчезающую расу\*. Джордж Кэтлин, житель Пенсильвании, оставивший адвокатскую практику ради занятий живописью, совершил начиная с 1832 года ряд путешествий, посетив почти все уголки Соединенных Штатов от Флориды до Йеллоустона, в которых еще можно было наблюдать и писать аборигенов с натуры. Его серия индейских портретов и коллекция индейских нарядов, оружия и ритуальных принадлежностей выставлялись для широкого обозрения в городах восточных штатов и Европы. Его «Нравы, обычаи и бит североамериканских индейцев» (1841) сильно отдают примитивизмом, представляя главный интерес как описания авторских путешествий. Генри Р. Скулкрафт, женившись

на индейке из племени оджибуэй, прожил около тридцати лет среди индейцев региона Великих Озер. Его многочисленные книги (издававшиеся с 1839 по 1857 год и время от времени субсидируемые федеральным правительством) представляют еще более грандиозный, чем у Кэтлина, план записать все, что только известно о туземном населении. Работы Скулкрафта послужили источником для «Гайаваты», но они слишком бессистемно написаны, чтобы иметь специфически научное значение. Отсутствие методологии столь же отрицательно сказалось и на роскошном собрании индейских портретов, снабженных биографическими очерками, принадлежащем управляющему отдела министерства обороны по торговле с индейцами Томасу Л. Маккинли и писателю из Цинциннати Джеймсу Холлу. Коллекция вышла в свет тремя томами (1836—1844).

В течение 40-х годов Американское этнографическое общество (образованное под руководством Галатина в 1842 году) и после 1848 года Институт Смитсона проводят постоянную работу в области американской этнографии, и к 70-м годам эта дисциплина приобретает современные формы. Фрэнк Хэмилтон Кашинг, проживавший в пуэбло Зуни с 1879 по 1882 год, написал для журнала «Сенчюри» цикл статей (1882—1883), ставших вехой в истории научного изучения индейских культур авторами, симпатизирующими аборигенам. Организатор Бюро Американской этнографии (1879) Джон Уэсли Пауэлл издал серию докладов, подготовленных штатом профессиональных сотрудников и имевших большое значение для науки. Не менее рьяным исследователем быта индейцев был и Джон Дж. Берк, офицер регулярной армии, сражавшийся в 70-х годах против племен, заселявших Великие Равнины. Помимо новаторской монографии, посвященной описанию танца Змея в исполнении индейцев хопи (1884), ему принадлежат многочисленные научные статьи и полдюжины книг, рассчитанных на более широкую аудиторию. Результаты и опыт этнографических исследований жизни индейцев были синтезированы в работе Г. Г. Бэнкрофта «Племена тихоокеанских штатов» (1876—1882). Одновременно и американская археология, на ранней стадии неотделимая от этнографии, благодаря работам выходца из Швейцарии Адольфа Банделира, посвященным исследованию вооруженных сил, землевладения и социальной структуры Древней Мексики, издававшимся в 1877—1879 годах, была поставлена на современную научную основу.

Растущий интерес к фольклору обогатил представления людей о возможностях жизни в Новом Свете в такой же степени, что и изучение исчезнувших американских цивилизаций. Появление британских и европейских собраний сказок и песен простого народа не сразу подвигнуло американских ученых заняться сбором местного фольклора. Это, вероятно, объясняется тем, что Соединенные Штаты не имели крестьянства, традиционно

привязанного к земле, как это было в Европе. И тем не менее в Соединенных Штатах имелись различные меньшинства, которые, будучи изолированы от основных течений американской жизни, могли сохранить или даже развивать подлинно народное творчество. В Южных Аппалачах, например, к великой радости собирателей, были найдены горные селения, до конца XIX века сохранявшие социальную структуру, характерную для предыдущего столетия; их жители пели баллады, завезенные предками с Британских островов. Интерес к балладам был пробужден активной деятельностью Френсиса Д. Чайлда, профессора Гарвардского университета, который занялся изучением английской и шотландской баллады еще в первой половине столетия. Его пятитомный шедевр издавался в течение пятнадцати лет (1883—1898). В соответствии с заслугами профессор Чайлд стал первым президентом Американского фольклорного общества в 1888 году.

Ценнейшей находкой коллекционеров оказались песни негров из южных штатов, впервые записанные для публикации северными аболиционистами и офицерами армии федералистов в период Гражданской войны. Джеймс М. Макким из Филадельфии и его дочь Люси (впоследствии жена Уэнделла Филлипса Гаррисона) записали религиозные песни (спиричуэл), как их пели освобожденные рабы Морских Островов (Южная Каролина) в начале 60-х годов. Т. У. Хиггинсон собрал песни того же района, распеваемые солдатами его негритянского полка. В статье, открывающей изучение негритянской религиозной песни в Америке («Атлантик», 1867), Хиггинсон пишет, что его заинтересовал негритянский фольклор потому, что он «был настоящим любителем шотландской баллады и всегда завидовал сэру Вальтеру, умевшему выследить балладу среди родного ей вереска и записать ее отрывки из уст дряхлых старух». Но северянами-собирателями двигало также и стремление поднять культурный престиж негров. Эта цель ясно просматривается в первом сборнике «Песни рабов Соединенных Штатов», вышедшем через несколько месяцев после появления статьи Хиггинсона. Составителями песенника были Люси Макким Гаррисон, Чарльз Пикард Уэйр и Уильям Френсис Аллен, школьный учитель с Севера, перебравшийся на Юг во время войны для оказания помощи освобожденным неграм.

Аналогичные мотивы и побуждения руководили и студентами-неграми Университета имени Фиска, которые в 1871 году начали разъезжать по стране с негритянской концертной программой, собирая средства на школы для цветных. «Сказки дядюшки Римуса», напечатанные в журнале «Констительюшн» (Атланта) в 1879 году, явились первой значительной публикацией по мотивам негритянских рассказов и сказок.



Несмотря на значительность указанных факторов, самое мощное преобразующее влияние на американскую мысль в XIX веке было оказано естественными науками. Геологические гипотезы относительно возраста Земли, выдвинутые в начале века, и теория органической эволюции Дарвина, ставшая популярной в конце века, подвергли сомнению непогрешимость Писания и ослабили господствовавшую ранее веру в управляемость Вселенной согласно доступному для понимания божественному предустановлению. Результатом явился спад интереса к сверхъестественным аспектам религии и соответствующее усиление внимания к ее этической стороне, рассматриваемой в социальном контексте современности. Как только кальвинистская концепция греховности потеряла свое значение, силы зла стали проецироваться не на индивидуальное сознание, а на окружающую среду. И здесь их встретили в штыки люди, стремившиеся привить «социальное евангелие» американскому обществу в качестве средства искоренения нищеты городских низов и примирения противоречий предпринимателей и пролетариата, обострившихся в связи с ростом монополий. О «социальном евангелии» начали говорить уже в 70-е годы, и в конечном счете его влияние испытали все протестантские секты, хотя, конечно, не в одинаковой мере. Но если, с одной стороны, идея эволюции видов опосредованно способствовала усилению гуманистических тенденций в религии, с другой стороны, она могла иметь и прямо противоположный эффект: категория выживаемости сильнейших стала часто интерпретироваться как научное обоснование яростной конкурентной борьбы последних лет XIX века.

Понятие приспособляемости к среде, имплицитно выведенное эволюционистской биологией, повлияло на литературу, привлекая внимание писателей к разным формам и методам приспособления человека к географическим и климатическим условиям местности. Не только в лавине путевых заметок, описывающих различные районы страны, особенно Крайний Запад, но еще отчетливее в литературе местного колорита, расцветшей в 80-е годы, проявилось жадное любопытство к природе и людям различных частей Соединенных Штатов. Это новое увлечение материальными условиями жизни в Новом Свете в сочетании с новым направлением развития американского общества сыграли, быть может, не совсем ясную, но, без сомнения, огромную роль в переориентации американской литературы после Гражданской войны.

Одно из наиболее осязаемых свидетельств становления новой эстетики — изменение писательского отношения к языку. В 20-е годы американцы восторгались элегантною стилистическим Ирвинга и его умением избегать американизмов, которое так

высоко ценили англичане. Лучшая часть произведений послевоенного периода, напротив, отличается почти полным пренебрежением к «правильности» языка. Это кардинальное изменение было подготовлено юмористами 30—40-х годов, произведениями, такими, как «Картинки Джорджии» О. Б. Лонгстрита и «Улей «ловца пчел» Т. Б. Торпа, с их влюбленностью в безграмотный диалект фронта. Даже брамины этого великого периода внесли свою лепту в литературное освоение народного языка. Джордж Филип Крапп отмечает:

«Насколько раздражающе близка была эта местная сельская речь (Новой Англии) к речи культурной, явствует из произведений таких писателей, как Холмс, Лоуэлл и других, вознамерившихся выразить доморощенные характеры доморощенным языком. Хотя эта местная речь и считалась крайне выразительной, а возможно, даже и ощущалась как единственно настоящая речь Новой Англии, авторы все-таки использовали ее всегда с некоторым снисхождением — в качестве примера несовершенства этого мира. Однако сомнительно, чтобы Лоуэлл где-либо искреннее выразил самого себя, чем он сделал это в «Записках Биглоу», да и Холмс время от времени, когда он добродушно позволяет себе забыть о литературной позе, превращается вдруг в коренного, глубоко провинциального жителя Новой Англии, такого же мудрого, доброго и простого, как и его речь».

Сознательному использованию разговорной речи в литературных произведениях предшествовала лингвистическая дискуссия, начатая еще в XVIII веке. Ной Уэбстер, утверждая, что «национальный язык есть обруч национального единства», заявил в 1789 году протест против того, чтобы «поразительное уважение к искусству и литературе метрополии и слепое копирование их художественных манер» продолжали препятствовать установлению духовной независимости Америки от Англии. Он предсказывал, что американский вариант английского языка в конечном счете станет совершенно самостоятельным языком. Хотя Уэбстер и принадлежал к федералистам, большинство политических консерваторов были против принятия американизмов. «Порт Фолио», например, с одобрением перепечатал анонимную нападку на проект Уэбстера создать американский словарь. Автор статьи, пользуясь давно избитой аргументацией, писал, что «долг литераторов заключается в охране языка от всех засоряющих примесей, а также в его очищении с помощью критического бича от всех бесполезных инноваций... Язык всех стран изобилует разговорными варваризмами, однако среди образованных людей последние никогда безнаказанно не допускаются в книги».

Официальная точка зрения еще более полувека сохраняла неприязненное отношение к использованию разговорного языка в литературе. Не ранее 1878 года один из критиков в жур-

нале «Атлантик» высказывался против использования в исторических романах «диалекта, на котором, как принято полагать, говорили наши неотесанные предки из деревушек Новой Англии», ввиду абсолютной вульгарности искаженных звуков и исковерканной грамматики, характерных для речи «необразованных». Лишь с появлением после войны на литературной сцене Брет Гарта, писателя могли единодушно похвалить за то, что он уловил «искрающую силу и неподдельный аромат речи охотников за золотом».

Уитмен, однако, уже в то время значительно опережал Гарта в его отношении к родной речи. Если Гарт использовал словарь картежников и горнодобытчиков-исключительно для комического эффекта, то Уитмен обращался к лексике, а может быть, и к ритмам американской устной речи из самых возвышенных мотивов.

«Американские писатели должны значительно свободнее использовать слова (заявил он в конце 50-х годов). Сегодня уже выросли или еще подрастают десятки тысяч местных идиом, из которых огромное число может быть использовано американскими писателями содержательно и впечатляюще, — слов, в жилах которых течет американская кровь, и поэтому они будут радушно приняты нацией; слов, которые дадут то ощущение тождественности произведения месту своего рождения, столь высоко ценимое в литературе».

«Листья травы» целиком и полностью реализуют теорию Уитмена; действительно, вопрос просодии он считал столь значительным, что однажды описал свою поэму как «языковой эксперимент», как «попытку дать духу, телу, человеку новые слова, новые возможности речи». Но лишь Марк Твен в «Гекльберри Финне» (1885) доказал всей Америке, что разговорный народный язык способен удовлетворить любые требования серьезного писателя, предъявляемые к средствам выражения.

Как подразумевает цитата из Уитмена, использование американского варианта английского языка было тесно связано с выбором отчетливо локализованных сюжетов и героев. Несмотря на частые увещания критиков использовать национальный материал, американские писатели в течение первой половины века не вполне освободились от представления, согласно которому «низкие» сцены и образы должны быть представлены только в комическом ключе. Юмористы, создавшие в сериях альманахов майора Джека Даунинга, Сэма Слика и Дэйви Крокетта, наделили свои персонажи обаятельной остротой ума и поэтичностью, восходящей к народному мироощущению, и тем самым отошли от традиционного презрения к безграмотным героям. Как указывает Уолтер Блэр \*, их произведения получили широкую, восторженную читательскую аудиторию, хотя большинство критиков да и сами юмористы с

удивлением бы узнали, что последующие поколения будут рассматривать их рассказы и анекдоты как начало собственно американской литературы. «Картинки Джорджии» Лонгстрита вышли двенадцатью изданиями с 1835 по 1894 год; 50 тысяч экземпляров «Жизни и изречений мистера Партингтона», написанных Бенджамином П. Шиллабером, были распроданы за несколько недель со дня выпуска в 1854 году; а «Сватовство майора Джонса» Уильяма Т. Томпсона с 1844 по 1855 год издавалось тринадцать раз. Популярность «Записок Биглоу» была обусловлена теми же причинами: тот факт, что сильно локализованные персонажи нравятся американской публике, к 1860 году ни у кого не вызывал сомнений.

Литературное течение местного колорита было тесно связано с традицией локального юмора, но оно представляется более стихийным и поверхностным. Потребность в создании американской литературы часто воспринималась лишь как призыв к использованию специфически американского материала. «Гайавата» и «Эванджелина» свидетельствуют о том, что писатели иногда считали своим долгом применять традиционную поэтическую технику для описания местных пейзажей, событий и персонажей, обычно из прошлого страны — и только. Творчество местных колористов и после Гражданской войны почти не изменило своего характера, за исключением того, что теперь они обратились к современным «региональным» материалам. Эти писатели создали поразительную моду. За десять лет после успешного литературного дебюта Брет Гарта в 1869 году читатели познакомились с длинным списком специалистов-регионалистов, описавших заброшенные уголки от Нью-Орлеана до Мэна. К концу 80-х годов любой грамотный американец знал дотоле ему неизвестные, не связанные с миром регионы.

Ход XIX столетия с его взаимодействием центростремительных сил полностью изменил масштабы американского бытия и сознания. Новая национальная культура во многих отношениях оставалась еще сырой и неотшлифованной, но она была отмечена высокой жизнестойкостью, и, несмотря на сложный конгломерат составных частей, вовлеченных в национальный синтез, фрагменты начали приходить в определенное соответствие друг с другом. В будущем, хотя роль региональных культур существенно возрастет, ведущие писатели уже не смогут замкнуться в проблематике и мироощущении своей местности, рассматриваемых изолированно от общества в целом.

## 39. ЛИТЕРАТУРНАЯ КУЛЬТУРА НА ФРОНТИРЕ

### 1

В последнее время стало обычаем приписывать все перемены в культурной жизни страны влиянию фронта. Натаниел Эймс с талантом прорицателя, присущим этому составителю календарей, еще в 1758 году предсказывал, что «Искусства и Науки в своем Шествии чрез Аппалачские горы к Западному Океану преобразят Лик Природы». И если поселенцу суждено было изменить фронт, то само собой подразумевалось, что и сам он подвергнется переменам.

Этот взаимосвязанный процесс разворачивался последовательно во времени и пространстве, по мере того как белые поселенцы устремились после революции в обширные луга Кентукки и плодородные долины Огайо, а позднее, в начале нового века, поспешили в Иллинойс и стали осваивать огромную долину Миссисипи, в то время как другой поток выходцев из Виргинии и обеих Каролин перевалил через тогдашнюю юго-западную границу Джорджии, Алабамы и Теннесси. Распространявшаяся из старых поселений, подобных Новому Орлеану и Сент-Луису, волна миграции, столь быстро выплеснувшаяся на территорию приобретенной Луизианы — «земли обетованной, где хватит места для всех», как говорил президент Джексон, — вскоре захватила мексиканские владения в Техасе, а затем и Дальний Запад, пока наконец в 1848 году оба эти обширных региона не отошли к Соединенным Штатам. Между тем в 1846 году США получили по договору с Англией полное право на Тихоокеанское побережье Северо-Запада, многие годы служившее окончанием знаменитого Орегонского торгового пути. Такова вкратце история фронта, продвижение которого расширило континентальную экспансию США в первой половине XIX века, хотя отдельные области и участки оставались незабытыми еще многие десятилетия, а официально фронт был объявлен закрытым лишь после переписи 1890 года. Обратимся к тем средствам культуры, которые формировали умонастроения фронта: печатный станок, чтение, литература.

Вскоре после завоевания независимости толпы поселенцев, прихватив с собой семена, инструменты, одну-две необходимых книги вроде Библии, устремились через Аллеганские горы к

«месту встречи дикой природы и цивилизации», как называл фронтир историк Фредерик Дж. Тернер. Эта область определялась как государственное владение, лишенное дорог, где на квадратной миле жило менее двух человек. В социальном и культурном отношении она представляла собой с самого начала лабораторию смешения рас и народных обычаев. Успех здесь сопутствовал молодости и силе, а не богатству и знатности. Книжная наука не шла ни в какое сравнение с соленым, дерзким и земным фольклором простого солдата, лесоруба или фермера.

В те далекие времена клапаны влияния открывались только на Запад. Получая от восточного побережья все то культурное достояние, которым оно владело, фронтир почти ничего не давал взамен. Стоило поселенцу отправиться на Запад, и он уже не возвращался домой. Жители восточного побережья вообще-то мало интересовались суровым фронтиром. Эта неведомая земля привлекала к себе лишь писателей-романтиков. В начале XIX века путешествовать стало значительно легче благодаря проложенным на Запад дорогам и пароходам, которые начали бороздить воды великих рек Запада, соединенных теперь каналами. В 30-е и 40-е годы появились первые железные дороги, и победа была обеспечена.

По этим дорогам и водным путям повалили первые посланцы цивилизации: бродячие возрожденцы-ревивалисты, миссионеры, священники, объезжающие верхом свою паству. Они содействовали ликвидации разобщенности жителей фронта, и суровая гомилетика Коттона Мэзера и Джонатана Эдвардса отступала перед сердечностью проповедников в медвежьих углах — Лоренцо Доу и Питера Картрайта. «Когда я слушаю проповедника, — говорил Линкольн, — мне нравится наблюдать, как умело, подобно пчеловоду с пчелами, обращается он с прихожанами». Действенной силой, формирующей воображение и повседневную речь фронта, стали взволнованные проповеди с церковной кафедры и чтение трактатов миссионеров. Система образования в глуши фронта многим обязана проповедникам. Еще в 1800 году Всеобщая методистская ассоциация превратила своих разъездных священников в распространителей церковных книг; величайший из миссионеров Запада епископ Френсис Эсбери явился апостолом народного образования. Баптисты, разделившие с методистами первенство на фронтире, последовали их примеру. Пресвитерианцы и конгрегационалисты, как истинные янки, привыкшие к ученым священникам и грамотной пастве, с давних пор возделывали виноградник знания. Теологи, такие, как Лаймен Бичер и Кэлвин Стоу, один — отец, другой — муж Гарриет Бичер Стоу, перенесли свою пользовавшуюся большим успехом педагогическую деятельность в штат Огайо.

Светское образование на Западе едва ли не всем обязано странствующим учителям. Первым историком штата Кентукки,

познакомившим мир в 1784 году с Дэниелом Буном, стал педагогом из Пенсильвании Джон Филсон. Образ жизни преподавателей фронта не назовешь сидячим; первому учителю одной из бревенчатых школ в Лексингтоне (Кентукки) довелось как-то начать свой трудовой день с того, что он задушил голыми руками рысь, пробравшуюся в класс. Сначала на Юге, а затем и на Юго-Западе школьный учитель из Новой Англии вошел в поговорку не своей преданностью уединенным занятиям наукой, а как образец находчивости и предприимчивости. Он получал столько, сколько удавалось заработать, кормился в домах учеников и преподавал в обмозанных глиной бревенчатых хижинах, где вместо парт были доски, а вместо грифельных досок — стружки и кусочки угля. От учителя требовалось не больше, чем уметь «писать, читать и вести счисление по тройному правилу». Тем не менее он оказался причастен к таинству книгопечатания, что столь ощутимо в бойких американских учебниках, издававшихся после завоевания независимости, таких, как букварь-хрестоматия с синим корешком Ноя Уэбстера, география Джедидии Морзе и арифметика Николаса Пайка («более подходящая для нашей страны, чем те, что печатались позднее»).

Бродячие коробейники, эти скромные разносчики культуры, доставляли на Запад наряду со школьными учебниками книги по юриспруденции, медицине, межеровому делу, истории, художественную литературу, жизнеописания. Подобно величайшему представителю этого племени Бронсону Олкотту, коробейниками обычно оказывались уроженцы Новой Англии и Центральных штатов. То обстоятельство, что при жизни первого поколения обитателей фронта большинство попадавших туда книг сочинялось, издавалось и привозилось из Новой Англии, сыграло немаловажную роль в формировании неопуританства Запада.

Пионеры Запада издавна лелеяли идею свободного образования. Земельный закон 1785 года предусматривал выделение одной шестнадцатой доли земель каждого поселка под общественные школы, а закон 1787 года обещал, что «школы и иные средства образования всегда будут поддерживаться». Что же касается действительности, мечта о настоящей системе народного образования на Западе не сдвинулась с места, пока в 1830-е годы не были введены налоги, необходимые для ее поддержания.

Однако колледжи появились на Западе довольно рано. Уже в 1785 году в Кентукки на вновь освоенной территории к западу от Аллеганских гор возникла Трансильванская семинария, тогда еще просто средняя школа. С 1802 года она начала присуждать ученые степени, собрала богатую библиотеку и снискала широкое уважение, пока внутренние дразги не подорвали ее авторитета. Университет штата Огайо в Афинах, основанный согласно закону штата в 1804 году, содержался на

средства федеральных земельных доходов. Из него вышло целое поколение замечательных учителей, воспитанных в новоанглийской традиции. В эпоху Ван Бюрена ректором университета был Уильям Холмс Макгаффи, по компилятивной хрестоматии которого правильному английскому языку и основным принципам честного поведения училось три поколения американцев. Большинство колледжей Запада не имело хороших по нынешним понятиям библиотек и не отличалось высоким уровнем преподавания, однако дух, царивший в этих колледжах, как и во всей стране, был преисполнен надежды. Конечно, центр интеллектуальной жизни Америки находился на Востоке, откуда выходили лучшие педагоги и куда стремились честолюбивые сыновья западной глухомани. Из-за религиозной ортодоксальности фронта Иельский университет с его устойчивыми традициями и тринитаризмом, а также добропорядочный пресвитерианский Принстонский университет считались в долине Огайо более почтенными, чем либеральный и еретический Гарвард.

Общества ремесленников, местные лицеи, курсы лекций и занятий, сенсационные музейные выставки и беседы — все содействовало просвещению взрослого населения Запада. Более того, возникавшие повсюду утопические общины, такие, как Новая Гармония \* в штате Индиана в низовьях реки Уобаш, и привлекавшие к себе внимание английского социалиста Роберта Оуэна, феминистки Френсис Райт, французского естествоиспытателя Шарля Лезуэ и других преподавателей, явились интеллектуальными маяками в прериях, хотя излучаемый ими свет распространялся не столь уж далеко.

Томимые духовной жаждой, лишь разжигаемой разного рода лишениями, пионеры Запада питались крохами книжной премудрости и культуры. В своем обращении, написанном в 1859 году, Генри Уорд Бичер живописует этих эмигрантов: «Они перевозили вместе с собой школы, как пастухи перегоняют свои стада. У них была паства церквей, академий и лицеев, так что рев этих религиозных и общеобразовательных гуртов разносился по равнинам Запада, подобно мычанию стада Иакова \* на сирийских холмах».

## 2

Платные библиотеки появились раньше общественных. Книга в пустыне фронта была не только редкостью, но и другом, с которым можно скоротать время. Один из пионеров Огайо, за десять долларов приобретший право пользоваться Белпровской фермерской библиотекой, вспоминает, как он совершал двенадцатимильные поездки за книгами и проводил зимние вечера, читая вслух при свете сосновой лучины, в то время как жена его чесала шерсть или пряла. Жители Эймса в том же



штате основали в 1803 году свою знаменитую «Библиотеку ентовых шкур»: ее читатели вносили плату мехами и шкурами, которые библиотекарь продавал в Бостоне и покупал новые книги. В следующем десятилетии появились бесплатные библиотеки. В 1816 году открылась общественная библиотека в Луисвилле. Идею подхватили и в небольших поселках. Генри Р. Скулкрафт, изучавший жизнь индейцев, обнаружил, плывя вниз по течению реки Уобаш, «общедоступную библиотеку классики» в поселке Элбион, где «улучшению образования уделяется не меньше внимания, чем культивации почвы». Проницательный молодой француз Алексис де Токвиль, объездивший глухие уголки Запада в начале 30-х годов и обнаруживший в простой хижине первопроходца «Библию, первые шесть книг Мильтона и две пьесы Шекспира», размышлял о парадоксе, каким явился для него житель фронта:

«Все вокруг него дышит первозданной дикостью, но сам он — продукт цивилизованного XVIII столетия. Он одет в городскую одежду и объясняется на современном языке; он знает прошлое, интересуется будущим и готов спорить о настоящем. Короче говоря, это высокообразованный человек, согласившийся на время поселиться в глуши Нового Света, куда он явился с Библией, топором и пачкой газет».

Печатный станок, путешествовавший следом за пионерами Запада, сделал фронтир еще более независимым. В 1784 году Филсон вынужден был возвратиться в Делавэр со своей рукописью о Кентукки ввиду отсутствия типографии к западу от гор, однако уже через два года по ту сторону Аллеган вышла первая газета — «Питтсбург газет», печатавшаяся иногда на бумаге для патронных гильз из Форт-Питта. Ее издатель Джон Скалл выпустил в 1793 году первую книгу, напечатанную западнее Аллеган, — третий том романа Х. Г. Брэнкенриджа «Современное рыцарство». Между тем печатный станок, перевезенный по суше и по воде из Филадельфии в Кентукки, позволил Джону Брэдфорду основать вторую газету Запада — «Кентак газет». Уложенные в седельные мешки верховых почтальонов экземпляры газеты проникали далеко в глушь. На устарелость новостей никто не обращал внимания, и соседи нередко собирались вокруг пня, чтобы послушать чтение газеты вслух. Как сообщал министр почт, в 1810 году западные газеты составляли менее одной десятой всех издающихся в стране; к 1840 году их количество достигло более четверти общего числа американских газет.

Недостаточная осведомленность, как национальная, так и международная, нередко оказывается благотворной для литературы. Непрофессиональные очеркисты фронта, находившиеся под влиянием Аддисона, Стиля и доктора Джонсона\*, робко следовали за чисто книжной культурой. В местных газетах пользовались популярностью разделы, именовавшиеся

«Парнас», «Обитель муз», «Поэтический уголок», где зеленые юнцы пытались состязаться с английскими поэтами XVIII века, а несколько позднее — со Скоттом и Байроном. Политика и религия, эти самые захватывающие увлечения фронта, породили множество стихов, злободневных или религиозных, которые, однако, редко поднимались над уровнем посредственности, хотя и разжигали пристрастие к версификации.

Подлинным заповедником литературы стали журналы. Первый западный журнал «Медли ор мансли миселени» («Ежемесячная смесь») Дэниела Брэдфорда, издававшийся в Лексингтоне, штат Кентукки, просуществовал всего один 1803 год. Через шестнадцать лет там же стал выходить его наследник «Уэстерн ревью» Уильяма Гиббса Ханта. Читателю предлагались истории, биографии, сентиментальная проза, поэзия, обзоры английских романов, а также серия серьезных статей Константина С. Рафинеска \* (работы этого естествоиспытателя наряду с еще более важными открытиями Джона Джеймса Одюбона \* и Александра Уилсона \* вызывали живой интерес фронта, любившего свою природу и гордившегося ее неповторимостью). В этих журналах формировался дух дерзаний, хотя чисто литературное их достоинство представляется весьма бледным, если не говорить о ежедневной хронике жизни Запада. Горячими сторонниками западной культуры, противостоящей изнеженному Востоку страны, выступили Тимоти Флинт, романтический миссионер-янки, начавший выпускать в 1827 году новый «Уэстерн ревью», и судья Джеймс Холл, основавший в следующем десятилетии два литературных журнала в Илинойсе. Весьма примечательно, что самый выдающийся журнал Запада — издававшийся с 1835 года преподобным Джеймсом Фрименом Кларком и другими унитарийцами-интеллектуалами «Уэстерн мессенджер» — получал крупную финансовую поддержку из Конкорда и Бостона. Этот либеральный и трансценденталистский журнал впервые опубликовал стихи Эмерсона, а благодаря Джорджу Китсу, брату поэта и гражданину Луисвилла, «Ода Аполлону» Китса впервые увидела свет на его страницах. «Мессенджеру», противостоящему сильным антиунитаристским веяниям, не удалось укорениться на Западе, и в 1841 году он прекратил существование. Многие журналы Запада не выдержали борьбы с нуждой, конкуренции с журналами, привозившимися с восточного побережья и из Англии, не хватало талантливых журналистов, и нередко издание прекращалось в год своего возникновения.

Тем не менее печатное слово успешно процветало за пределами художественной литературы. Основанная в Цинциннати примерно в 1830 году фирма Трумен и Смит вскоре стала самым большим в мире издательством школьных учебников. В первое десятилетие своего существования эта фирма выпустила более 700 000 экземпляров хрестоматии Макгаффи, ариф-

метики Рея, моральных наставлений мисс Бичер. Большим спросом пользовались сентиментальные и патриотические песенники, альманахи, особенно комические, где предсказания погоды оживлялись забавными историями о любимцах фронта — короле миссисипских лодочников Майке Финке и задирстом лесном горлопане Дэйви Крокетте. Юмор был средством выражения как домотканой литературы, так и искусства глухих районов страны. Сборники шуток и комических баллад, негритянские песни и небылицы, рассказывавшиеся на сторожевых постах или у костра, чтобы скоротать время и развеять одиночество, — все это сопутствовало развитию искусства юмора, достигшего совершенства в устах таких подлинных представителей фронта, как Эйб Линкольн и Марк Твен.

Искусство Юго-Запада носило особый отпечаток. Однако нас не должна вводить в заблуждение его приверженность фарсу, фривольным шуткам и грубому смеху. Если не считать автобиографии, написанной якобы Дэйви Крокеттом и опубликованной в 1834 году, герой которой с гордостью заявляет, что-де не знаком с книжной премудростью, наиболее характерные образчики юмора принадлежат перу литературно грамотных авторов. Огастес Болдуин Лонгстрит, выходец из штата Джорджия, получивший образование в Йельском университете и ставший со временем методистским священником, печатал в газете родного городка Огаста «Сентинел» забавные очерки, собранные позднее в «Картинки Джорджии» (1835). Изображая грубую жизнь фронта с ее состязаниями вралей и обманом простофиль, писатель делает отступления, чтобы процитировать Горация или подать в формах античной мифологии рассказ о травле лис. Очерк «Дискуссионный клуб» напоминает о другой традиции культуры фронта, воскрешающей широкие празднования Четвертого июля, или политических кампаниях, венцом которых стали речи Генри Клея; при этом автор шутливо замечает, что Американский орел неизменно парил в речах столь многих ораторов, что его тень протопила тропу в долине Миссисипи. Другой скромный шедевр старой литературы Юго-Запада «Бурные времена в Алабаме и Миссисипи» (1853) принадлежит перу погруженного в историю и античную литературу юриста Джозефа Г. Болдуина, живописавшего шумные драки и жестокие шутки грубых охотников фронта.

Весь старый Юго-Запад от Джорджии до Миссисипи представлял собой фронт с собственными нравами и обычаями, население которого, главным образом выходцы из Виргинии и обеих Каролин, было более однородно, чем на Северо-Западе. Южное влияние ощущалось здесь во всем, будь то спортивные состязания или кодекс чести. В развитии культуры наибольшую роль сыграли так называемые южные «академии», школы, отличавшиеся большим демократизмом, чем латинские

школы в больших городах Новой Англии, но менее демократичные, чем позднейшие американские средние школы. Иногда такие заведения называли Академиями округа, они добивались финансовой поддержки штата; обычно же их содержали на средства религиозных сект, по частной подписке или на деньги за обучение. С фантастическим энтузиазмом Юг и старый Юго-Запад раздували в своей лесной глуши светильник схоластики XVIII века. Главным в образовании джентльмена считался латинский и греческий в сочетании с поверхностным знанием математики и английской грамматики, в то время как на литературу и историю не обращалось никакого внимания. Плохо оборудованные и нуждающиеся в учителях Академии фронта тем не менее явились главными проводниками систематического образования в тех уголках, где начальные школы и колледжи встречались крайне редко. И нет ничего удивительного, что эта тощая культура из вторых рук не породила не только расцвета мысли или творчества, но даже не вызвала глубокого читательского интереса к литературе. Главными плодами досуга на Старом Юге явились спорт, политика, сплетни и пиршества. Как жаловался поэт из Джорджии Генри Р. Джексон, «по сравнению с Севером у нас больше досужих людей, не занятых повседневными делами... Природа наделила их темпераментом, требующим острых переживаний. Не привыкшие искать их в благородных занятиях литературой, они нередко прибегали к мимолетным утехам чаши с вином».

### 3

На карте прогресса культуры в глубинных районах Америки первой половины XIX века попадались островки экзотической и изоширенной литературной традиции. Так, в своем пути на запад англосаксонская волна сначала столкнулась с французской культурой долины Миссисипи, а дальше встретилась с испанским влиянием нового Юга-Запада и Тихоокеанского побережья.

Католические нравы в отличие от протестантских характеризуются пристрастием к веселым праздникам и масленичным карнавалам, романской приверженностью горячим краскам и откровенному проявлению чувств. Французские путешественники пронесли от Канады до Мексиканского залива песни лодочников, свой фольклор и французскую речь. Этот язык получил широкое распространение в новых школах и Академиях Огайо, Индианы, Иллинойса и Миссури. Основанный французскими трапперами Сент-Луис оставался центром французской культуры в глубинах Америки; заложенный в нем в 1832 году иезуитский университет не только определил духовную жизнь

всей местности, но привлек к себе студентов даже из Мексики и Южной Америки. Однако подлинным сердцем Франции *in partibus infidelium*<sup>1</sup> был Новый Орлеан, аристократия которого гордилась своим эпикурейством, изысканными нравами и европейской системой образования, приспособленной к местным условиям, ибо до Конституции 1845 года в Луизиане не существовало общественных школ. Многие поселившиеся там англосаксы постепенно подпали под очарование явного язычества тех мест, которые они были призваны обращать в истинную веру. Немалую роль сыграло влияние Нового Орлеана на таких беспокойных перелетных птиц, как Уолт Уитмен, Лафкадио Хирн и уроженец этого разноплеменного города В. Кейбл.

В потоке, хлынувшем на Запад страны, образовавшиеся культурные водовороты немецких иммигрантов в Иллинойсе после 1848 года и скандинавских поселенцев в Висконсине и Миннесоте середины века несли в хижины и землянки прерий свой язык, культуру и специфическую ностальгию. С иностранных печатных станков сходило немало газет и книг. Иммигранты в большинстве состояли, конечно, не из художников и ваятелей, а из здоровых, простых работяг. Тем не менее уровень грамотности в их среде был довольно высок, а «американская лихорадка» (как называла это явление Сельма Лагерлёф \*) порождала стремление к совершенствованию. Среди коренных американцев наибольший интерес в этом отношении вызывают мормоны, резко отличающиеся нравами и верованиями от соседних поселенцев. Обретя после выпавших на их долю испытаний землю обетованную в районе Большого Соленого озера, мормоны создали свой собственный образ жизни, бесцветный в культурном отношении, но типично американский по тому вниманию, которое уделялось предприимчивости и самосовершенствованию, а также системе обязательного образования для всех детей в светских школах, бесплатных для бедняков.

Для того чтобы дружно противостоять англосаксам, испанские поселения вдоль Тихоокеанского побережья были слишком малолюдны и разобщены. Понадобилось немного времени, чтобы испанцы растворились в культурном конгломерате Нового Запада вместе с выходцами из Южной Новой Англии, Среднего Запада, Европы и Востока, передав стране богатство красок испанской культуры. Несколько газет на испанском языке, проповеди по-испански, причудливые остатки литургического действия наряду с притоком современных книг из Мехико и Испании как бы вклинивались в стремительное наступление англоязычной культуры. Таким образом, история культуры фронта по ту сторону Скалистых гор переписывалась заново после того, как был провозглашен Манифест судьбы \*.

---

<sup>1</sup> В краю неверных (*лат.*).

К тому времени как американцы всерьез задумали отодвинуть западные пределы своей страны до границ континента, от тогдашнего фронта на Запад вели два главных пути. Старейшей была тропа Санта-Фе, начинавшаяся из долины Миссисипи и через Канзас ведущая к нагорьям Нью-Мехико. До начала калифорнийской «золотой лихорадки» это была не столько тропа миграции населения, сколько торговый путь. Большее значение приобрела новая Орегонская Тропа из лесов Миссури на северо-восток через Великие Равнины и горные ущелья в леса Орегона и Северной Калифорнии. Землепроходцы — проповедник Сэмюел Паркер и врач-миссионер Маркес Уитмен, — проложившие этот путь, жили среди индейских племен «проколотые носы» и чинуки. Голодное время, последовавшее за паникой 1837 года, выгнало на Орегонскую Тропу толпы семей, лишившихся своего имущества. Переселялись налегке, однако многие не захотели расстаться с тем, что придавало жизни прелесть. Отправившийся в Орегон в 1845 году Джоэл Палмер записал в дневнике во время остановки на Тропе: «У двух палаток слышались столь необычные на пустынных берегах Платы звуки скрипки, у одной палатки пели, в другой увлеченно читали — кто Библию, кто роман».

В то время немалые грузы книг из Новой Англии и Нью-Йорка завозились в порты западного побережья вокруг мыса Горн различными торговцами шкур и жира. После почти бескровного присоединения Калифорнии, отторгнутой от Мексики, последовало дальнейшее развитие культуры этих мест. В августе 1846 года в Монтерее стала выходить первая газета штата «Кэлифорниэн». Она вскоре перебралась в Сан-Франциско, слилась со своей младшей соперницей в известную «Алта Кэлифорния». Накануне «золотой лихорадки» на Портсмутсквер в Сан-Франциско открылся просветительский Народный институт; Конституция нового штата провозгласила в 1849 году всеобщее бесплатное обучение.

Своим расцветом Северная Калифорния обязана открытию золота (в качестве примера книголюбия поселенцев можно отметить тот факт, что когда в мельничном лотке Саттера\* был обнаружен золотой песок, то, прежде чем поверить своему счастью, он внимательно прочитал статью о золоте в «Американской энциклопедии»). Теперь переселение на Тихоокеанское побережье пошло полным ходом. Сколько бы ни призывал ректор Гарвардского университета Эверетт бостонских эмигрантов «держат в одной руке Библию, а в другой нашу новоанглийскую культуру с тем, чтобы наложить отпечаток на народ и страну», влияния на Западе были столь разнообразны, что трудно говорить о воздействии культуры Новой Англии, подобном тому, какое она оказала на долину Огайо в годы ее заселения. То был совершенно необычный фронт. Вольные

и честолюбивые люди всех штатов и многих стран мира устремились на золотые прииски. Утонченные интеллектуалы смешались там с грубыми дельцами. Неудачники, отложив в сторону кирку и лоток, принимались за торговлю, политику, журналистику или литературу. Гражданская война и ее последствия выбросили в Калифорнию тысячи новых искателей удачи, а с годами поездки туда стали намного легче благодаря клипперам, морскому переезду через Никарагуа, рейсам дилижансов, пони-экспрессу \* и, наконец, трансконтинентальной железной дороге, открытой в 1869 году.

В отличие от поселенцев ранних этапов фронта жители Северной Калифорнии обладали как богатством, чтобы покровительствовать музам, так и космополитическим духом, чтобы творить новое искусство. Своими лучшими талантами литература обязана молодым выходцам из добропорядочных общин в различных уголках Америки: Сэм Клеменс из Ганнибала, штат Миссури; Брет Гарт из Олбэни; Джоакин Миллер из Либерти, штат Индиана, переехавший затем в Орегон; Эмброс Бирс из Хорс-Кейв-Крика, Огайо; Чарльз Уоррен Стоддарт из Рочестера, штат Нью-Йорк; Прентис Малфорд из Сэг-Харбор, штат Лонг-Айленд; Джордж Хорейшо Дерби (Джок Феникс) из Дедема, Массачусетс, и Айна Кулбрит из Иллинойса, переселившаяся в Лос-Анджелес. Попадая в вольницу фронта, они проникались общим духом и достигали высот, до каких ни прежде, ни после уже не поднимались. Начитанность и страсть к писательству приобрели размеры, неведомые фронтиру. Уже в 1850 году в Сан-Франциско работало пятьдесят печатных станков. В середине 50-х годов город мог похвастаться большим числом газет, чем Лондон, и большим числом опубликованных книг, чем все штаты к востоку от Миссисипи, вместе взятые. Художественные журналы — «Пайонир», «Голден ира», «Геспериэн», «Кэлифорниэн», «Оверленд мансли» — появлялись как грибы и, даже погибая, оставляли после себя литературный чернозем, на котором произрастали новые журналы. Простые лавочники и маклеры писали в большие и малые газеты напыщенные очерки, юмористические скетчи и стихи для «Уголка поэта». Старатели прииска Комсток \*, в праздничных рубашках и навеселе, любили поспорить о достоинствах поэтов-соперников Джо Гудмена и Роллина Дэггетта или участвовать в торжественном избрании короля поэтов. Первый тощий сборник калифорнийских стихов «Всходы» (1865), составленный Брет Гартом, включал лишь девятнадцать пиитов и прошел мимо «тысячи» имен, что вызвало целый литературный скандал. Следующий сборник «Поэзия Тихого океана» (1866) расширил их круг до семидесяти пяти, не включив из известных писателей только Брет Гарта.

Свойственная фронтиру практическая сметка благоприят-

ствовала расцвету на Западе не только художественной литературы, К лучшим образцам «нехудожественных сочинений» относятся работы Кларенса Кинга и Джона Мьюира по геологии и естественным наукам, Генри Джорджа по экономике и социальным преобразованиям, а также Хьюберта Хоу Бэнкрофта об архивах и истории Калифорнии; большую же часть составляли бесчисленные заурядные политические речи, проповеди, юридические трактаты о разработке полезных ископаемых и правах владельцев прибрежной полосы, ранние образчики всякого рода рекламы.

Не оставались в забвении и другие средства развития культуры. Через семь лет после начала «золотой лихорадки» в Сан-Франциско существовали три публичные библиотеки, двадцать четыре бесплатные начальные школы и одна бесплатная средняя школа. А за пределами этого нового богатого района, в Лос-Анджелесе не было ни одной бесплатной библиотеки и существовала, наряду с приходской школой, единственная бесплатная начальная школа. В 1855 году был основан Калифорнийский колледж, вскоре превратившийся в Университет Беркли. Система общественного финансирования технического и сельскохозяйственного образования, гарантированная законом Моррилла \* в 1862 году, вскоре разрешила проблему высшего образования на Среднем Западе, в районе Скалистых гор и Дальнего Запада. Ввиду отсутствия колледжей и университетов, поддерживаемых частными фондами, как то принято на Востоке страны, Запад создавал свои колледжи и университеты, предназначенные для общекультурного и профессионального образования на основе местных и федеральных средств. Хотя некоторые прелести прежней системы образования отсутствовали, преимущества демократии были очевидны.

Позолоченный век Сан-Франциско стал свидетелем безумного увлечения драмой, оперой и музыкой. Чрезвычайной популярностью пользовались лекции, читавшиеся повсюду: в театрах, церквях, в биллиардных. Примечательно влияние гастролирующих знаменитостей на характер юмора и настроения Запада, на формирование молодых журналистов, таких, как Марк Твен и Брет Гарт. Пристрастие к зрелищам и культуре, излучаемое Сан-Франциско, докатилось и до глухих приисков. Старатели не жалели золотиносного песка, чтобы насладиться веселым представлением театра, кочевавшего между Рэббит-Крик и Марипозой. По воскресеньям они устраивали свои собственные дискуссионные клубы. Нередко обсуждения этих выскочек были до наивности непреклонны — американские провинциалы Негодовали на дошедшие до них насмешки миссис Троллоп и Чарльза Диккенса \*. Богатство открывало двери к знатности. Говорят, что первый старатель, нашедший в 1859 году золото в ущелье Грегори в Колорадо,



отбросил кирку со словами: «Слава богу! Теперь моя жена станет леди, а дети получают образование!»

Тон жизни на западной границе задавало некое общественное тщеславие в сочетании с искренним стремлением к хорошей жизни. Если золотоискатель, горняк или король скототорговли заслуживает презрения за то, что исчислял культуру на вес и объем, а красоту признавал, лишь когда она удовлетворяла условности, все же не следует забывать, что он при этом честно стремился к лучшему. Строя школы, колледжи и бесплатные библиотеки, Запад пытался в меру своих сил и в предвкушении грядущих успехов приобщить к культуре молодое поколение.

## 40. АМЕРИКАНСКИЙ ЯЗЫК

### 1

Великое продвижение на Запад окончательно закрепило характер американского языка, сохранив ему смелость елизаветинцев, специфичную для речи первых поселенцев. «Наши предки, — сказал Джеймс Рассел Лоуэлл в своей работе «О снисходительности иностранцев», — к несчастью, не могли принести с собой лучшего английского языка, нежели шекспировский». Это, разумеется, чисто риторический прием, и его единственная цель — дать отповедь английским шовинистам, для которых более полувека американская манера речи была объектом постоянных нападок. Кстати, немногие колонисты из числа бросивших якорь на Американском континенте в XVII столетии были приобщены к поэтическим красотам елизаветинского века, и четыре пятых из них, по всей вероятности, едва ли что-нибудь слышали о Шекспире. Но если пренебречь буквальным значением слов Лоуэлла — а это нередко верный путь, когда имеешь дело с литературным критиком, — и рассмотреть их подтекст, то в них обнаружится немалая доля истины. Прибывшие на необжитые земли пришельцы, хотя им и недоставало знаний и вкуса, были по крайней мере англичанами, и вместе с другими англичанами они участвовали в великой революции в области национального языка, равно как и в других областях культуры, которая совершалась в течение сорока пяти лет правления Елизаветы.

То были годы исчезновения последних остатков средневекового сопротивления переменам. Англичане, некогда изолированные на своем острове и основательно замкнутые, стали живым и экспансивным народом, народом необыкновенной любознательности и дерзкой предприимчивости. Они стали узнавать мир, который лежит за горизонтом; они соприкоснулись с чужестранными и непонятными народами; они посмотрели освобожденными от шор зоркими глазами на образ жизни и многие идеи, которыми жили в течение столетий. Эта закваска из свежих идей и нового опыта не могла не оказать влияния на язык, с помощью которого они выражали свои мысли, и он начал развиваться поистине удивительным образом. Последние связи, соединявшие его с другими языками индоевропейской семьи,

ослабли, это привело к таким искажениям грамматической структуры, что в некоторых случаях он стал похож на родственные ему немецкий, французский и латинский языки в меньшей степени, чем китайский. Одновременно быстро и значительно возрос его словарь за счет новых слов и идиом, привнесенных различными слоями населения, включая лексику лондонских улиц, мальчишек, язык придворных поэтов и университетских иллиминатов. Вклад самого Шекспира, создавал ли он или вводил в обиход слово, был внушителен и по крайней мере иногда непреходящ. Правда, нередко его новинки не прививались, как это было с его неологизмами *to happy* (сделать счастливым), *to child* (родить) и *to verse* (писать стихи), но удачи у него были не менее многочисленны, и трудно представить сегодняшний английский язык без слов, которые он ввел, например: *to fool* (дурачить), *disgraceful* (позорный), *barefaced* (бесстыдный), *bump* (удар, шишка), *countless* (бесчисленный), *critic* (критический), *gloomy* (мрачный) или *laughable* (смешной); или без многочисленных слов, созданных современными ему поэтами и драматургами, таких, как *dimension* (измерение, размер), *conscious* (сознающий, здравый), *joyful* (веселый), *gasconade* (мошенничество), *scientific* (научный), *audacious* (отчаянный) или *obscure* (темный, неясный).

Все эти обороты речи сейчас являются общепринятыми, и, по-видимому, никто никогда не оспаривал их право на существование. Но когда раскованность тюдоровской эпохи начала убывать под натиском пуританского догматизма, когда английская культура стала в целом менее гибкой, язык также не избежал этих влияний. Грамматисты предприняли активные попытки поломать английский язык и сделать его на манер латинского. Все новшества в речи встречались враждебно, повилась на свет доктрина, что слов достаточно и новых не требуется. Реставрация почти не исправила положения, и эта неразумная теория процветала вплоть до XVIII века, когда Сэмюэл Джонсон стал ее главным глашатаем. Никто из людей, когда-либо принимавшихся за составление словаря, не был так несведущ в разговорной лексике. Он был представителем голой теории, притом на девять десятых абсурдной. Сегодня этому трудно поверить, тем не менее это факт, что он пытался упразднить *touchy* (обидчивый) и *to coax* (добиваться, уговаривать); более того — *stingy* (скупой) и *to derange* (расстраивать); или даже *chapeçon* (дуэнья) и *fun* (забава). Увы, он был не одинок, например, Джонатан Свифт весьма неодобрительно смотрел на *banter* (подтрунивание) и *sham* (притворство), *bubble* (пузырь, дутое предприятие) и *mob* (толпа, шайка), *bully* (задира) и *bamboozle* (надувательство). Под натиском подобных атак английский язык вновь стал лощеным и почти полностью утратил присущий елизаветинской эпохе вкус к новизне. Писатель, придумавший новое слово, держал его при себе из опасения

приобрести дурную славу. Тонный английский стиль стал имитацией джонсонского квазилатинского, и сноб не одобрял ни одного слова, которого не было в словаре. Таким образом, прежнее стремление к словообразованию ушло в подполье, и это положение сохранилось в Англии до нынешнего дня. Горячие приверженцы неологизмов, конечно, появлялись после Джонсона — в частности, Томас Карлейль, — но они оказали весьма незначительное влияние на язык, а добрых три четверти неологизмов, которые английский язык принял в наше время, пришли из Соединенных Штатов и считаются вульгаризмами.

Почему народ Америки, в целом преданный пуританским идеям, сохранил присущую елизаветинской эпохе смелость в речи — не вполне ясно; вероятно, это объясняется тем, что их образ жизни продолжал оставаться в основном таким, как и в елизаветинскую эпоху. Людям в течение первых двух столетий приходилось осваивать и покорять опасную и дикую глухомань, и каждодневные трудности отнюдь не способствовали проявлению особой утонченности, будь то в языке или в чем-либо другом. Лишь в начале XIX века здесь впервые почувствовалось влияние английского пуризма, правда, только в высших слоях, но к тому времени началось великое продвижение на Запад, которое, кажется, окончательно определило характер американской речи. Более того, не следует забывать, что для иммигрантов, которые нахлынули в страну в течение следующего столетия, жизнь в Соединенных Штатах продолжала оставаться как бы пограничной даже на Востоке, и изысканность была им не под силу, даже если бы они знали о ней. Какова бы ни была цепь причин, американский английский язык упорно не желал становиться лощеным и продолжает оставаться чем-то вроде нарушителя грамматических, синтаксических и семантических законов вплоть до нынешнего дня. Сколь упорно ни пыталась классная дама Грамматика привести его к послушанию, это не дало никаких видимых результатов. Большинство местных грамматистов из числа не утративших здравого смысла давно отмежевались от нее, и правила, которые они теперь пропагандируют, носят все более краткий и общий характер. Если она продолжает воевать против *ain't* или *it's me*, смещения *will* и *shall*, то лишь потому, что большинство сверхпуристов, которые навешивают ее, не ведают, очевидно, о кризисе старой грамматики. Новые слова и идиомы роятся вокруг нее в таких количествах, что она в смятении, и ее функция арбитра в языке сходит на нет. В этой великой свободной республике приговор выносится не классным наставником любого пола, а жюри, напоминающим *posse comitatus*<sup>1</sup>, в котором заседают даже школьники. Короче говоря, формирование американского языка представляет собой

---

<sup>1</sup> Совет могущественных (лат.).

чисто демократический процесс, а в политическом плане основывается на доктрине, что всякий американец так же хорош, как любой другой.

2

Первыми американизмами, вполне естественно, явились существительные, заимствованные из индейских языков и обозначающие предметы, неизвестные в Англии. Некоторые из них достигли существующих границ Соединенных Штатов через более ранние колонии на Юге и Севере, например: tobacco (табак), canoe (челнок, каноэ) и potato (картофель), но подавляющее большинство включилось в язык колонистов непосредственно, при этом почти все более ранние заимствования пришли из диалектов алгонкинских индейских племен: hickory (1634<sup>1</sup>, гикори), hominy (1629, мамалыга), moccasin (1612, мокасин), opossum (1610, опоссум) и rope (1612, кукурузная лепешка). Колониальные хроники полны подобных заимствований, и, хотя многие из них живут главным образом как местные названия или полностью устарели, как, например, cockatouze (1624) sagamore (1613), вождь, и tuckahoe (1612, поселенец на неплодородных землях Виргинии), другие выжили и вошли в повседневный американский язык, например: moose (1613, американский лось), persimmon (1612, хурма) и gaccoon (1608, енот). Немало из них внедрилось и в литературный английский язык, например: tomahawk (1612, томагавк) и squaw (1634, скво, индианка) и даже в другие языки, как, например, totem (1609, тотем). «Индийский элемент в американском английском, — сказал Александр Ф. Чемберлен в 1902 году, — гораздо более велик, чем это принято считать. В диалектах Новой Англии, особенно среди рыбаков... многие слова алгонкинского происхождения, не знакомые широкой публике, все еще сохраняются, а еще большее количество слов было некогда в употреблении и исчезло за последние сто лет»<sup>2</sup>.

На более поздних этапах американскому английскому языку суждено было воспринять много заимствований из языков неанглийских иммигрантов, особенно голландцев и немцев, но до 1700 года их в количественном отношении было сравнительно немного. Portage (перевалка, перевозка) из франкоканадского относится к 1698 году или, возможно, к несколько более раннему времени, а bureau (бюро), chowder (похлебка из рыбы или

---

<sup>1</sup> Здесь и далее даты обозначают случаи самого раннего употребления слова, обнаруженного исследователями при составлении «Словаря американского английского языка».

<sup>2</sup> «Джорнэл ов эмерикэн фолклор», XV (1902), 240. Более подробную справку о подобных заимствованиях можно найти в этимологических исследованиях Джозефа К. Грина в «Новом международном словаре Уэбстера», 1934.

моллюсков) и rapids (пороги) не зарегистрированы до франко-индейской войны; многие другие известные заимствования из французского языка, такие, как prairie (прерия) и gopher (американская крыса), не были в широком употреблении до эпохи Революции. Такая же задержка во времени наблюдается и в отношении испанских заимствований; до середины XVIII века практически не наблюдалось заимствований из немецкого языка. Даже заимствования из голландского за пределами Нью-Йорка до 1700 года были редкими. Scow (плоскодонка) относится к 1669 году, hook (узкий мыс) — к 1670; но большая часть ныне широкоизвестных заимствований относится к более позднему времени, например: sleigh (1703, сани), stoop (1755, крыльцо), span (1769, парная упряжка), cooky (1786, печенье) и coleslaw (1794, шинкованная капуста). Вплоть до Йорктауна<sup>1</sup> не наблюдается сколько-нибудь значительного проникновения в повседневную речь заимствований из голландского, а некоторые из них, ныне широкоизвестные каждому американцу, являются поразительно поздними, например: spook (1801, призрак), cruller (1805, жареное печенье), waffle (1817, вафля), boss (1818, хозяин) и Santa Claus (1823, Дед Мороз). Джон Пикеринг не включил из этого ничего, кроме scow, sleigh и span, в свой первый словарь 1816 года, но к 1859 году Джон Рассел Бартлетт включает слова boss, cooky, hook, stoop и cruller во второе издание «Словаря американизмов». Yankee (янки) — пожалуй, наиболее заметный вклад голландцев в американский английский язык — вначале относилось к самим голландцам, и лишь в годы, непосредственно предшествующие Революции, это слово стало означать североамериканца.

Гораздо более важное значение, нежели эти заимствования, имели слова, которые колонисты образовывали на материале английского языка путем создания сложных слов или же путем придания старым словам нового смысла. Snowshoe (снегоступ, лыжа) «Словарь американского английского языка» относит к 1666 году, backlog (большое полено) — к 1684, leaf tobacco (табачный лист) — к 1673, statehouse (ратуша) — к 1639 и selectman (член городского управления) — к 1635. К середине XVIII столетия количество подобных неологизмов было весьма внушительным, а к концу его — почти не поддающимся подсчету. Многие были образованы для обозначения природных реалий, неизвестных в Англии, например: bluegrass (1751, пырей), catbird (1709, американский дрозд), tree frog (1738, древесная лягушка), slippery elm (1748, красный ильм), backwoods (1784, лесная глухомань), salt lick (1751, соляной источник, лизунец), garter snake (1775, подвязочная змея), а другие — для новых предметов материальной культуры, например smokehouse (1759, коптильня), breechclout (1757, набедренная повязка), buckshot

---

<sup>1</sup> Город, где в 1781 году Корнваллис сдался Вашингтону. — *Прим. перев.*

(1775, картечь), shingle roof (1749, гонтовая крыша), sheathing paper (1790, рубероид), springhouse (1755, маслодельня или мясной склад на ручье) и hoesake (1755, кукурузная лепешка). Однако нередко, словно получая удовольствие от подобных упрежнений, колонисты изобретали новые названия для предметов, хорошо известных в Англии, например: broomstraw (1785, стебли для метлы), sheet iron (1776, листовое железо), smoking tobacco (1796, курительный табак), lightning bug (1778, светлячок), bake oven (1777, печь, духовка), и почти столь же часто они давали старые английские названия новым предметам, например: corn (кукуруза), shoe (сапог), rock (камень), lumber (лесоматериал), store (магазин), cracker (сухое печенье), partridge (куропатка) или team (упряжка). Некоторые из названных слов расширили свое значение, например rock, которое в Англии употреблялось для обозначения большой каменной массы, скалы, и barn, означавшее постройку для хранения урожая, то есть амбар без каких-либо приспособлений для скота; другие, наоборот, сузили свое значение, например слово corn, которое означало в Англии любое зерно, применяемое в качестве пищи, а также boot, означавшее любую кожаную обувь; некоторые же полностью изменили смысл, например freshet, которое в Англии означало небольшой пресноводный ручеек, а в Америке стало употребляться в значении наводнения, равно как и partridge, которое в Англии относится к виду *Perdix perdix*, а в Америке — к *Bonasa umbellus*, *Colines Virginians* и другим видам птиц.

К 1621 году по наблюдению Александра Джилла отдельные новые слова, рожденные в Америке, начали получать признание в Англии; не позднее 1735 года Френсис Моор осуждал как варварское одно из наиболее образных слов, именно bluff в значении обрыв, откос, а еще до 1754 года Ричард Оуэн Кембридж советовал поскорее создать словарь этих слов. Однако, как показали изыскания таких историков филологии, как Аллен Уолкер Рид, М. М. Мэтьюз и У. Б. Кернз, попыток их серьезного изучения не делалось вплоть до 1781 года, когда Джон Уизерспун опубликовал серию материалов по этому вопросу в «Пенсильвания джорнэл энд уикли эдвертайзер», издаваемом в Филадельфии<sup>1</sup>.

Упомянутый Уизерспун был шотландским священником, который приехал в 1768 году и стал президентом колледжа в Нью-Джерси (Принстон). Когда во время Революции колледж закрылся, он приобщился к политике, был избран членом конституционного собрания в Нью-Джерси, выдвинут в конгресс страны и подписал как Декларацию независимости, так и Конституцию тринадцати штатов. Но, выступая столь горячо за

---

<sup>1</sup> Они появились под заголовком «Друид». Были полностью перепечатаны в «Истоках американского английского языка» М. М. Мэтьюзом, Чикаго, 1931.

идею политической независимости, он отвергал какую-либо самостоятельность в языке и осуждал не только простых людей, дерзающих ее проявить, но и представителей высоких рангов, демонстрирующих следы ее «в сенате, суде, с кафедры». Его критика была преимущественно лишь эхом голосов педантов, которые тогда процветали в Англии, и она оказала весьма незначительное влияние. Так, протестуя против специфического американского употребления глагола *to notify*, например, во фразе «*The police were notified*» («полиция была уведомлена»), он говорил: «В английском языке мы не уведомляем лицо о вещи, а предъявляем вещь лицу», — однако бушевал он напрасно. Политики, адвокаты, священники и журналисты того времени мало обращали внимания на него, и большинство американцев никогда не слыхало о его попытках улучшить их речь.

Гораздо более эффективными были усилия английских критиков, которые начали после Революции замечать американские книги. За небольшим исключением, они были настроены резко враждебно к новой республике, и одной из форм выражения этой враждебности была критика американизмов. Томас Джефферсон явился одной из первых жертв этой яростной кампании, которая продолжалась почти столетие и нередко возобновляется в наше время. Когда он употребил глагол *to belittle* (умалять) — по-видимому, его собственное изобретение — в «Заметках о штате Виргиния», «Юропизн мэгэзин энд Ландон ревью» выказал столь глубокое возмущение, как если бы он осквернил Вестминстерское аббатство, и в течение многих последующих лет чуть ли не все американские писатели того времени подвергались столь же яростным нападкам, среди них больше других Джон Квинси Адамс, Джон Маршалл, Ной Уэбстер и Джоэл Барло. Вряд ли можно сказать, что эти атаки сильно влияли на национальный язык, но определенное воздействие на национальных литераторов они, безусловно, оказали. В какой-то степени не избежал этого влияния даже Ной Уэбстер, который в своих ранних произведениях проявил исключительную почтительность к английскому мнению. Что же касается Бенджамина Франклина, то он подчинился ему почти без сопротивления.

### 3

Эта почтительность была наконец преодолена перед войной 1812 года, но следы ее еще заметны в первом официальном исследовании американской речи — в упоминавшемся «Словаре» Джона Пикеринга. Пикеринг был отнюдь не дилетант вроде Уизерспуна, а добросовестный и эрудированный исследователь языка, и Франклин Эджертон характеризовал его как «одного из двух величайших лингвистов первой половины XIX века в Амери-



ке<sup>1</sup>. Результаты его исследования американизмов впервые были сообщены в докладе, прочитанном в Американской Академии искусств и наук в Бостоне в 1815 году. Этот доклад вызвал столь большой интерес, что в 1816 году Пикеринг развернул его в книгу, которая и поныне заслуживает изучения, ибо она удивительно документирована и содержит большое количество ценного материала. К сожалению, в большей своей части она наполнена упреками по адресу английских критиков и, к еще большему сожалению, обнаруживает печальную тенденцию уступать им. Хотя он мог сослаться на ряд английских авторитетных источников, где употреблены многие из перечисляемых им американизмов, «тем не менее то обстоятельство, что их замечает образованный англичанин, служит доказательством факта, что они не применяются сегодня в Англии и, безусловно, их не следует употреблять где бы то ни было тому, кто хочет говорить правильным английским языком». Такая позиция делала невозможной сколько-нибудь разумную дискуссию о них, и в конечном итоге книга Пикеринга принесла, пожалуй, больше вреда, нежели пользы. Ее влияние довлекло над дискуссией о национальном языке в течение долгого времени, от него не освободились окончательно вплоть до нынешнего дня. В течение тридцати лет после ее опубликования некоторые американские писатели, в особенности Джеймс К. Полдинг, резко возражали против ее положений; однако многие, пусть с неохотой, смирялись с ними, и так до 1848 года, когда Бартлетт выпустил первое издание своего «Словаря американизмов» и американский язык обрел своего анатома, готового принять его таким, каков он есть, не ориентируясь на мнение англичан или англоманов, каким ему следует быть.

Пикеринг был типичным филологом-классиком, и в нем проявились некоторые из недостатков, которые иногда присущи ученым подобного типа. Его кругозор был довольно узок, он был чрезмерно осторожен. Пикеринг исключил всякое упоминание об индейских заимствованиях из своего «Словаря», вероятно, потому, что они были чересчур грубы, и весьма робко подошел к разговорному языку. Когда он писал, уже началось великое продвижение на Запад, оно уже рождало яркие неологизмы, которые должны были придать красочность национальному языку, но то ли он болезненно относился к их появлению, то ли не знал о них вообще. К моменту выхода «Словаря» Бартлетта они были заметны повсюду; в самом деле, их было так много после 1840 года, что все возникавшие неологизмы стали называть вестернизмами. Бартлетт не просто собирал их сотнями, но, по всей видимости, смаковал их, и такое

---

<sup>1</sup> «Заметки о первых американских исследованиях в лингвистике», «Прозиндинг ов эз эмерикэн философизэл сосайэти», июль 1943 года, с. 27. Другим был Питер Стивен дю Понсо.

же отношение к ним было у огромного количества читателей, поскольку «Словарь американизмов» пришлось выпустить в исправленном и дополненном виде в 1859, затем в 1860 и вновь в 1877 годах, причем объем его за это время удвоился. Он и сейчас стоит на полках большинства публичных библиотек, и его экземпляры часто встречаются в букинистических магазинах. Бартлетт не в пример Пикерингу не был ученым-филологом, но обладал тонким чувством языка и в своем предисловии к четвертому изданию высказал весьма проницательные суждения об источниках американизмов. Большинство из них произошло, отмечал он, от арго, бытующих среди людей простых ремесел и профессий, и вошло в обычную речь в качестве слэнга. Здесь они вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть для того, чтобы стать общепринятыми, без какой-либо гарантии, что выживут наилучшие. Некоторые из лучших уступали, а некоторые из тех, что похуже, приобретали респектабельность, получали одобрение лексикографов и становились неотъемлемой частью языка. Такова была история, к примеру, слов *to lynch* (линчевать), *squatter* (скваттер, поселенец на государственной земле), *to hold on* (упорствовать) и *loafer* (бездельник, бродяга).

Были и другие авторы, писавшие об американском языке в период между Революцией и Гражданской войной — например, Джонатан Бушер, Дэвид Хамфриз, Чарльз Астор Бристед, Джеймс Фенимор Купер, Робли Данглисон и Эдиел Шервуд, но их исследования носили фрагментарный характер и не имели большого значения<sup>1</sup>. Ной Уэбстер, хотя был горячим сторонником реформы правописания и верил в будущую автономию американского языка, уделял сравнительно мало внимания американизмам и совсем не рассматривал их до появления «Американского словаря» в 1828 году. В полной мере вопрос об американизмах привлек внимание со стороны компетентного лингвиста впервые в работе Максимилиана Шеле де Вере «Американизмы; английский язык Нового Света» (1871). Шеле был шведом по происхождению, получил образование во Франции и Германии и был приглашен в Виргинский университет для преподавания современных языков. Он приехал в 1844 году и за вычетом четырех лет, проведенных в армии Конфедерации, заведовал кафедрой вплоть до 1895 года. В своей книге он сделал попытку дать классификацию американизмов и впервые уделил должное внимание заимствованным словам. После него была пауза до 1889 года, когда англичанин Джон С. Фармер опубликовал «Американизмы старые и новые» — полезный справочник, не вполне, однако, свободный от английской предубежденности. Годом позже было создано Американское общество по изучению диалекта и началась публикация

---

<sup>1</sup> Работы Хамфриза, Купера, Данглисона и Шервуда напечатаны Мэтьюзом в «Истоках-американского английского языка».

журнала «Дайэлект ноутс». Официально общество определило себе узкое поле деятельности, но скоро оно расширило его, начав всестороннее изучение национального языка, о чем подшивки его журнала хранят богатый материал. Его организаторы привлекли многих крупных филологов, таких, как Чарльз Х. Гранджент, Э. С. Шелдон, Э. Х. Бэббит, Дж. М. Мэнли и Ф. Дж. Чайлд; со временем к нему проявили интерес и стали его сотрудниками многие молодые способные ученые, в числе которых следует отметить Луизу Паунд, ставшую в 1925 году первым редактором другого авторитетного журнала — «Эмерикэн спич». Однако общество, хотя оно и оставило глубокий след, отнюдь не преуспевало, и часто публикация «Дайэлект ноутс» задерживалась из-за недостатка средств.

Другим событием, которое наряду с появлением «Дайэлект ноутс» внесло наиболее ощутимый вклад в изучение американского английского языка на научной основе, была публикация Ричардом Х. Торнтоном «Американского словаря» в 1912 году. Торнтон был англичанином, переехавшим в Соединенные Штаты в 1874 году. Адвокат по образованию, он умер в 1925 году, будучи деканом Орегонской школы права, но большую часть своего досуга в течение полустолетия посвятил попытке создать универсальный словарь американизмов. Пикеринг, Бартлетт и Фармер до него сделали практикой пояснение понятий с помощью датированных цитат, но он пошел гораздо дальше любого из них. Помимо всего прочего, он, кажется, прочитал всю подшивку «Конгрешнл глоуб», а также множество старых газет. Результатом явилась работа широчайшего диапазона и весьма большой ценности. В ней были ошибки, но немного. К сожалению, ни один американский издатель не отважился опубликовать ее, и Торнтон вынужден был обратиться к маленькой фирме в Лондоне<sup>1</sup>. Он продолжал свои исследования и впоследствии, и с 1931 по 1939 год его материалы были по-смертно опубликованы в «Дайэлект ноутс». Эта работа была ценной не только сама по себе; она проторила путь гораздо более полному «Словарию американского английского языка» под редакцией сэра Уильяма Крейджи, изданному между 1938 и 1944 годами Чикагским университетом. Тем временем в 1939 году был начат «Лингвистический атлас Соединенных Штатов и Канады» под общим руководством Ганса Кьюрата.

#### 4

«Около двух столетий, примерно до 1820 года, — говорил в 1927 году Крейджи<sup>2</sup>, — путь новых слов или их значений, шед-

---

<sup>1</sup> «Дж. Б. Липпинкотт компани» в Филадельфии купила 250 экземпляров лондонских печатных листов в 1912 году, но они продавались медленно, а подлинно американского издания не было.

<sup>2</sup> «Курс американского английского языка» (S. P. E. Tract № XXVII), Оксфорд, с. 208.

ших через Атлантический океан, лежал на запад; практически единственным исключением были термины, обозначающие предметы или продукты, свойственные новой стране. Однако с началом XIX столетия начинает утверждаться противоположное течение, оно постепенно становится сильнее и сильнее, неся множество плавника к берегам Британии, где его подбирают и включают в состав языка». Это течение на восток встретило чрезвычайно энергичное сопротивление — отчасти из-за постоянной английской подозрительности по отношению к неологизмам, но главным образом — из-за усиления политической враждебности, которая появилась после Революции. С начала столетия и до окончания Гражданской войны американцы, по мнению всех благонамеренных англичан, были ярким воплощением всего самого зазорного. «Они обрели, — писал Саути, адресуясь к Лэндору еще в 1812 году, — отчетливо выраженный национальный характер с присущими чертами низкого и лживого мошенничества; и потому они вполне заслуживают того, чтобы никто не начинал с ними дела, не имея доказательств их честности». К этому его высокопреподобие Генри Элфорд, настоятель Кентерберийского собора, добавил в 1863 году:

«Посмотрите на эти фразы, которые столь озадачивают нас в их речи и книгах... и затем сравните характер и историю нации — ее притупившееся чувство морального обязательства и долга в отношении человека; ее открытое пренебрежение традиционным правом, если это сулит преуспеяние; и, я могу теперь сказать, ее безрассудную и бесплодную поддержку самой тяжелой и беспринципной войны в мировой истории».

Литераторы — например, Диккенс — находились на передовой линии этих атак, поскольку у них была своя причина для забот, а именно: отказ Соединенных Штатов подписать договор об авторском праве с Великобританией и в последующем — оптовое пиратство в отношении их работ со стороны американских издателей. Но были также более глубокие и отнюдь не столь частные соображения. Население Соединенных Штатов по численности в первой половине столетия постепенно перегнало население Соединенного Королевства, а в 50-е годы резко вышло вперед. Американская коммерция и ремесла стали развиваться с такой скоростью, что это создавало серьезную угрозу английской внешней торговле; американское сельское хозяйство и горное дело развивались почти в геометрической прогрессии, а открытие золота в 1848 и нефти в 1859 году рисовало перспективы нового и почти неисчерпаемого притока богатства. Поэтому англичане, некогда лишь полные презрения к американцам, начали смотреть на республику со смесью зависти и страха, и не удивительно, что большинство их прорицателей надеялись (и предсказывали), что Гражданская война явится для нее катастрофой.

Объяснявшаяся замкнутым островным положением враждебность к американской речи едва ли нуждалась в каком-то новом стимуле; она была активной и яростной, как мы это видели, начиная с золотого века английских критиков. Но теперь она еще больше возрастала по мере появления чувства бессилия. Что можно было сделать, чтобы остановить поток грубых неологизмов, которые столь обильно проникали в страну? Очевидно, не слишком много. Каждый возвращающийся английский путешественник привозил их в своем багаже, а каждая американская книга изобиловала ими. В 1820 году — а эта дата, как установил сэр Уильям Крейджи, является точным моментом поворота течения — Сидни Смит мог еще выступить со своими историческими насмешками по адресу американской литературы; однако всего несколько лет спустя Купер и первые американские юмористы начали взламывать английский барьер, а вскоре за ними последовали и более серьезные авторы. Английские пуристы, разумеется, не сдавали своих позиций без ожесточенной борьбы. Более того, они одержали ряд успехов, особенно в борьбе против таких шокирующих вестернизмов, как *gone soon* (конченный человек), *semioccasional* (полурегулярный), *to scoot* (удирать), *to skedaddle* (улепетывать), *to stay put* (оставлять на месте) и *to shell out* (раскошелиться). Но когда они столкнулись с более красочными и благопристойными американскими неологизмами, как, например, *outdoors* (на открытом воздухе), *telegram* (телеграмма), *reliable* (надежный), *anesthetic* (обезболивающий), *presidential* (президентский), *to belittle* (умалять), *to progress* (прогрессировать), *mileage* (расстояние в милях) и *saucus* (закрытое собрание партийных лидеров), их возражения оказались тщетными. В этих словах чувствовалась острая потребность, а сами англичане ничего не могли предложить взамен — ничего столь логичного, столь подходящего, столь образного. Елизаветинская склонность к созданию смелых и ярких неологизмов перешла по другую сторону океана и там осталась. Ученые мужи Оксфорда, вероятно, все еще демонстрировали определенную солидарность с язвительными суждениями Джонсона, но простые английские люди начиная с эпохи Гражданской войны отдавали все большее, а в последние годы — бесспорное предпочтение неологизмам с маркой «Сделано в Америке».

Решающую роль в этой революции сыграло американское кино. Когда первые фильмы американского производства достигли в 1907 году Англии, они были слишком малочисленными, чтобы привлечь внимание ревнителей национального языка; но этот безобидный период длился недолго. К 1910 году английские газеты начали печатать все возрастающий поток писем старых подписчиков, протестующих против новых слов и выражений, которые несли титры, и в течение последующих пятнадцати лет протесты постепенно достигли точки взрыва.

В 1927 году был принят закон, ограничивающий приток американских фильмов в надежде, что это нашествие будет остановлено. Эта надежда получила вторую жизнь с появлением звукового кино, так как многие авторитеты заявляли, что патриотически настроенные англичане не смогут вынести кошмара американской разговорной речи. Кажется, даже американские киномагнаты были того же мнения, ибо проявили признаки значительного смятения на заре звукового кино и даже выпустили английские варианты своих шедевров, в которых играли настоящие английские актеры. Но спустя короткое время они научили своих исполнителей сносно имитировать английскую речь и вскоре обнаружили, что английская аудитория вовсе не возражает против того, что осталось от специфического американского твэнга. К середине тридцатых годов оптовая имитация получила полное развитие. 14 декабря 1930 года постоянная сотрудница лондонской газеты «Ивнинг ньюс» писала:

«Американца, приехавшего в Англию впервые, поражает, что английские дети на улицах Лондона, как и повсюду в других местах, говорят точно так же, как дети в Соединенных Штатах. Некий американский импресарио приехал в эту страну снимать фильм. Ему нужно было заснять толпу детей, говорящих по-английски, но он потерпел полную неудачу, пытаясь найти детей, которые могут говорить по-английски, и вынужден был отказаться от этой части программы».

К этому Д. У. Броугэн из Кембриджского университета добавил в 1943 году:

«Нет ничего удивительного в постоянном подкреплении или, если хотите, разложении английского языка американским. И есть все основания полагать, что этот процесс усиливается, будет усиливаться и отнюдь не наоборот. Если американский язык мог влиять на английский сто лет назад, когда существовало преимущество страны-матери в богатстве, населении и престиже и когда большинство образованных американцев были полны колониальной почтительности к английской культуре, то как предохранить английский язык от этого влияния сегодня, когда все изменения произошли в пользу американской стороны?»<sup>1</sup>

## 5

Было время, когда большинство американизмов рождалось на Диком Западе, но к 1940 году их создателями стали главным образом искусственные горожане, многие из которых профессионально занимались их созданием. Новые американизмы появились в сочинениях газетных фельетонистов, художников-юмористов, спортивных репортеров, корреспондентов, авторов.

<sup>1</sup> «Побеждающий язык», Лондон, «Спектейтор», 5 февраля 1943 года.

объявлений и подобных им литераторов, их быстро подхватывало кино, и затем они получали право гражданства. Вначале их принимали в Англии, как и дома, в более низкие пласты языка, но, если они обладали необходимой изысканностью, они постепенно поднимались вверх. Любопытно заметить, что весьма немногочисленные англицизмы, вошедшие в американский язык, следуют другим путем: они вначале появляются в избранных кругах, а затем спускаются вниз. Но немногие из них действительно выживают. Английская речь кажется жеманной и изнеженной стопроцентному американцу, и он так же не станет употреблять *civil servant* (государственный служащий), *liftman* (лифтер), *luggage van* (багажный вагон) или *boot shop* (обувной магазин), как и затыкать свой носовой платок за манжету.

Американское правописание и произношение, как и американский словарь, также весьма значительно отделились от английских стандартов. Попытки упростить и сделать более рациональным правописание были предприняты в Англии еще в XVI веке, но лишь на долю американца Ноя Уэбстера выпало разработать первые эффективные реформы. Именно он побудил американцев опустить «ш» в словах, оканчивающихся на «ough», избыточные согласные в словах *traveller*, *jeweller* и *waggon* и конечное «к» в словах *frolick* и *physick*; изменить *gaol* на *jail*, *plough* на *plow*, *draught* на *draft*, *bargue* на *bark* и *cheque* на *check*. В первом порыве энтузиазма Уэбстер ратовал за реформированное правописание огромного количества слов, в том числе за такие причудливые формы, как *bred*, *giv*, *breſt*, *bilt*, *relm*, *frend*, *ſpeek*, *zeel*, *laf*, *dawter*, *tuf*, *proov*, *karacter*, *toor*, *thum*, *wimmen* и *blud*, но к тому времени, когда он подошел к своему первому словарю в 1806 году, он отказался от этого. Тем не менее до конца своих дней он имел слабость к написанию *ſag* (*keg*), *hainous*, *porpess* и *tung*, и уже другим лексикографам выпало избавляться от них. Его двумя любимцами последних лет были *chimist* и *neger*, но они так и не привились. Вероятно, его пристрастие к ним возникло из желания изменить обычное американское произношение. *Neger*, которое, кажется, было заимствовано ранними колонистами из северного диалекта английского языка, дожило до XIX века, хотя *negro* соперничало с ним с самого начала, а *nigger* относится к 1700 году.

Движение за упрощенное правописание, которое начали Френсис А. Марч, У. Д. Уитни, Ф. Дж. Чайлд и другие видные филологи в 1876 году, длилось до 1906 года, когда Теодор Рузвельт, находясь в то время в Белом доме, официально поддержал его, а Эндрю Карнеги финансировал. Во время своего расцвета, за последующие пятнадцать лет, оно предложило новое правописание для длинного списка слов — таких, как *ſorus*, *giv*, *ſtomac*, *brekfaſt*, *harth*, *bluf*, *activ*, *hoſtil*, *giraf*, *ar* и *wer*; но страна не приняла их, и после 1919 года, когда Рузвельт и

Карнеги умерли, оно заглохло. Однако это движение победило: слова типа programme, catalogue и quartette были усечены до форм program, catalog и quartet, а также некоторое хождение получили формы tho, thog и thru. Оно также способствовало тому, что две конечные буквы в словах типа theatre поменялись местами. В Англии реформу правописания в начале столетия проводили в основном братья Фаулер. Их «Краткий Оксфордский словарь», который впервые появился в 1911 году, сохранил окончание «-our»; но он заменил английское «-ise» американским «-ize», «у» на «i» в слове cynder и его аналогах, а также сделал различные другие уступки американской практике.

Первые англичане, изучавшие американскую речь, единодушно отмечали, что в этой стране нет диалектов. Это было преувеличением; однако остается фактом, что, как писал Уизерспун в 1781 году, «существует большая диалектальная разница между графствами в Британии, нежели между штатами в Америке». Более тщательные исследования определили три больших речевых района. Первый включает штаты Новой Англии, второй — Юг и третий — остальную часть страны. Эти районы делятся на большие или меньшие подрайоны, и говор Бостона, в общем, отличается от говора Новой Англии, так же как говор прибрежного Юга от говора его внутренних областей. Однако эти различия, относящиеся главным образом к произношению «а» и конечного «г», несущественны, и даже среди наименее образованных слоев американец одного речевого района легко понимает американца другого. Ной Уэбстер давал свои орфоэпические рекомендации, исходя из литературных норм Новой Англии, и в течение ряда лет эта практика насаждалась школьными дамами; однако со времени Гражданской войны от этого стали отходить, и большинство авторитетов полагает: то, что сейчас принято называть общеамериканским или западноамериканским языком, в конечном итоге возобладает повсюду. Это во всех отношениях замечательный вариант английского языка, и его большое превосходство над вариантом, модным в Англии, очевидно. И действительно, очень многие образованные англичане считают оксфордский вариант жеманным и нелепым, почему он не получает дальнейшего распространения. Общеамериканский гораздо чище и логичнее других диалектов — как английских, так и американских. Он демонстрирует ясное, металлически звонкое произношение, передает истинные качества всех согласных, укладывается в простые и узкие речевые тона, является энергичным и мужественным.



## 41. СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ

### 1

Обширное литературное наследство, оставленное неанглоязычными американцами, настолько богато и многообразно, что трудно поддается сколько-нибудь точным терминологическим обобщениям; и все же при детальном его изучении можно выделить некоторые повторяющиеся особенности. Иммигрировавшие в Америку до 1870 года, вне зависимости от происхождения и мотивов, побудивших их к иммиграции, приобретали в США общий эмоциональный опыт и находили одинаковые средства для его выражения. Процесс, по характеру сильно напоминающий тот, через который прошли английские колонисты, основавшие первые поселения на Атлантическом побережье, и повторяющийся снова и снова по мере продвижения границы на Запад.

Сначала наступил период дневников и писем, создаваемых пионерами. Разлука с родиной, путь через океан, первые шаги на новой земле представлялись каждому путешественнику опытом особого значения, который требовал быть запечатленным.

Затем начала развиваться мысль религиозная и политическая, в большинстве своем передовая, хотя среди иммигрантов преобладало устойчивое консервативное влияние; большинство из поселенцев были демократами лишь в том смысле, что считали американский образ правления более других подходящим для приобретения и сохранения собственности и общественного положения. С другой стороны, организаторы экспериментальных коммун и люди умственного труда, высланные в результате неудавшихся европейских революций первой половины XIX века, пусть и немногочисленные в массе рабочих, фермеров и ремесленников, были самоотверженными, рьяными и красноречивыми социальными пропагандистами, журналистами и литераторами. Они были полны решимости не допустить на новой родине того угнетения и произвола, которые изгнали их из старой. Им нужна была совершенная Америка. У каждого из них была своя миссия, и едва только иммигрант ступал на землю Соединенных Штатов, он приобретал печатный станок или получал к нему доступ, и вскоре появ-

лялся соответствующий том I, номер 1. Многие из этих журналистских начинаний едва пережили свое рождение; другие просуществовали годы; отдельные процветают и сегодня.

Читающие слои каждой расовой или национальной группы — немцев Милуоки, французов Нового Орлеана, мексиканцев Сан-Антонио, поляков Чикаго, китайцев Сан-Франциско, евреев Нью-Йорка — вскоре уже имели свои собственные ежемесячники, еженедельники или газеты. Даже немногочисленные и рассеянные по стране группы обзавелись периодикой. Нередко редактор англоязычной газеты был склонен, иногда даже желал предоставить немцу или норвежцу свою типографию для выпуска листка при условии, что тот не станет конкурентом его собственному. С помощью небольшого капитала, ножниц и клея иноязычные журналы вполне оправдывали свое существование, если и не всегда были первоклассного качества; они сослужили двойную службу, принося вновь прибывшим иммигрантам вести с родины и одновременно предоставляя им возможность запечатлеть новый опыт или выразить свои взгляды. Постепенно место, отводимое новостям с родины и перепечаткам из европейской периодики, сократилось, но далекий континент не мог быть забыт окончательно. Маркес Ли Хансен напоминает, что до 1914 года из всего американского населения наиболее осведомленным в международных событиях было, очевидно, старшее поколение фермеров-иммигрантов Среднего Запада. Постепенный процесс американизации можно проследить, почти измерить по удлиняющимся колонкам американских новостей и возрастающему вниманию, уделяемому местным делам и интересам каждой иммигрантской группы.

Несмотря на обычное несовершенство и примитивность первых журналистских попыток, они воспитали вкус читателей и издателей к самовыражению. Простые письма и воспоминания вскоре превратились в мемуары и исторические труды. За ними последовали эссе и полемика, а затем наступил третий этап иммигрантской письменности: появились рассказы, романы и пьесы, обычно в сильно романтизированном духе и явно имитирующие Скотта, Ирвинга или Купера.

## 2

После 1870 года литературные нравы изменились. Широкий приток иммигрантов — в год прибывало почти по миллиону — заставил их концентрироваться в городских районах, где процесс адаптации протекал болезненнее, чем для их предшественников десятилетием ранее, в большинстве своем поглощенных необжитыми землями. Новые иммигрантские писатели, все более чувствительные к социально-экономическим вопросам,

стали критиковать свое окружение в реалистических романах, как писатели-американцы.

Одновременно важные перемены происходили в отношении иммигрантов к своей родной культуре и родному языку. В XIX веке они разделяли теорию «плавильного котла», бытовавшую со времен Кревкера и превращенную в доктрину Израэлем Зангвиллом\* и Теодором Рузвельтом. Иммигранты полагали, что их культурные ценности и язык будут впитаны формирующейся американской нацией. К началу первой мировой войны уже было ясно, что такой ассимиляции не произошло, что спонтанная игра естественных социальных сил не привела к ожидаемому синтезу чужеродных культур. Американцы старшего поколения забили тревогу и начали бурное движение за американизацию, которое породило иммиграционный акт 1924 года, направленный на консервацию иностранных элементов в США в их тогдашних пропорциях, в результате чего иммиграция практически прекратилась. Вследствие этого ослабли страх перед «чужеземцами» у коренного населения и озлобленность против них.

В среде самих иностранцев немедленно по той же причине стало пробуждаться чувство расовой и национальной гордости. Умонастроение, уже давно присущее наиболее вдумчивым, делалось теперь общим. У национальных групп исчезло ощущение, что им следует как можно скорее отказаться от своего национального языка и национальных обычаев. Они стали гордиться своей расовой принадлежностью, обратились к своему фольклору и народной литературе и стали культивировать их. Возросла читающая аудитория на каждом из национальных языков. Одновременно писатели стали переводить свои произведения на английский язык и чтобы приобрести более широкую аудиторию, и с тем, чтобы показать Америке специфические особенности и культурный вклад своей нации.

Именно в это время многие романисты, американцы по рождению, выросшие в близком знакомстве с одним из национальных культурных островков, начали писать о своих друзьях и соседях. Изображение креолов Нового Орлеана у Джорджа Вашингтона Кейбла, чехов и немцев Небраски — у Уиллы Кэсер, испанцев Юго-Запада — у Харви Фергюссона красноречиво свидетельствует о том, что региональные культуры обогатили американскую литературу.

### 3

В творчестве американцев немецкого происхождения — самой значительной части неанглоязычной литературы США — различимы многие из вышеозначенных тенденций развития. Еще раньше, чем французы Нового Орлеана, немцы колониальной Пенсильвании и Нью-Йорка обрели свой голос.

Первые образцы их художественного самовыражения были вызваны к жизни религиозным рвением Франциска Даниэля Пасториуса, основателя квиетистского Джермантауна в 1683 году; Иоганна Келпиуса, отшельника Виссахикона; Конрада Байзеля и его монастырских братьев и сестер из обители Эфраты в графстве Ланкастер, Пенсильвания, которые сочинили и издали два больших сборника гимнов (1739, 1766). Примерно в 1730 году издал сборники гимнов для членов Эфратского братства \* Бенджамин Франклин, а типография Зауэра, созданная в 1738 году, печатала и более поздние издания, так же как полный текст Библии на немецком языке и немецкую газету для четырех тысяч читателей от Пенсильвании до Джорджии. Много немецких книг было опубликовано Генри Миллером, печатником конгресса, в «Филадельфийском издателе», основанном в 1772 году. Вскоре немецкие типографии уже были в состоянии справиться со всем, что было написано в США, кроме пространных лютеранских работ вроде «Новостей из Галле» (1787) и «Новостей» (1735—1752) зальцбургеров, дневников моравских братьев или путешествий Миттельбергера (1756), Ахенвалля (1769) и Шёпфа (1788). Такие книги, слишком сложные для германоамериканской печати, всегда были готовы выпустить издатели в самой Германии.

Во второе и третье десятилетия XIX века, когда хлынула более дружная волна немецкой иммиграции, возникла и литература путешествий, главным образом рассчитанная на привлечение иммигрантов и игравшая для них роль путеводителя. Некоторые из этих книг отличались значительными художественными достоинствами: иммигранты не только изучали их перед тем, как пересечь океан, но и с удовольствием перечитывали в самой Америке.

Приблизительно тогда же начали появляться и критические отзывы о Новом Свете. Они публиковались как эссе или художественная проза и грешили то экстравагантной идеализацией, то злобным приговором всему американскому. В них находили отклик попытки революционеров 1848 года сделать США олицетворенной мечтой. Люди, подобные Хейнцену, Экеру и Вейдемейеру, объединились с либералами старшего поколения типа Кернера, Вейтлинга и Мюнха для создания мощного германоамериканского блока на реформистских основах, которые представлялись современникам «радикальными» и «сокрушительными». Другие, подобно Николаусу Ленау, чей американский опыт послужил основой для книги «Уставший от Америки» (1855) Фердинанда Нюрнбергера, считали всякие улучшения безнадежными и утешались тем, что поносили «филистеров этих тупорылых Штатов, всех негодяев, которые в своей ужасающей пустоте не способны представить себе, что могут существовать кумиры превыше тех, что чеканятся на монетном дворе». Выйди они за пределы немецкой читающей

публики, книги, подобные «Уставшему от Америки», «Земля и люди Соединенных Штатов» Карла Бюхлиа и «В Америку!» Фридриха Герштекера (опубликованные одновременно в 1855 году), пробудили бы не меньше гнева, чем «Американские заметки» Диккенса.

Где-то посредине между этими крайностями — восхищением и разочарованием — находился Чарльз Силсфилд, первый значительный немецкоамериканский писатель, посвятивший себя художественной прозе. Он был энергичным республиканцем, готовым закрыть глаза на некоторые несовершенства американской культуры, потому что верил в суровые добродетели, направлявшие, как он видел, построение нового социального порядка. При этом он был заклятым врагом любых форм угнетения, пламенным защитником свободы, приводившим в активное действие всю батарею своей сатиры, насмешек и оскорблений там, где сталкивался с угнетением человека, политической коррупцией или коммерческой беспринципностью.

При жизни Силсфилд столь успешно скрывал свою подлинную личность, что издатели и критики двух континентов терялись в догадках о его национальности. Когда он умер в 1864 году в Швейцарии, из завещания выяснилось, что Чарльз Силсфилд, Ч. Ситсфилд и Ч. Сидонс были Карлом Антоном Постлем, беглым монахом богемского монастыря. В 1823 году он приехал как немецкий иммигрант в Новый Орлеан и долго путешествовал по долине Миссисипи и Юго-Западу, вероятно, до самого Мехико-Сити, накапливая опыт и впечатления, которые составили длинную полку книг, эссе и рассказов, публиковавшихся в Германии, Швейцарии, а также в Лондоне, Филадельфии и Нью-Йорке, иногда одновременно. В США Силсфилд сделал своей резиденцией Киттенинг, штат Пенсильвания, но постоянно пересекал Атлантику, так как был газетным корреспондентом и частным политическим агентом Лондона и Парижа, поддерживая множество рискованных связей. Находясь в близких отношениях с людьми столь разными, как лорд Пальмерстон, Жозеф Бонапарт и Стивен Жирар, он был замешан в ряде важных международных интриг. Книги его широко переводились и перепечатывались (иногда без его ведома), им подражали, их адаптировали и обкрадывали. Он наслаждался широким международным признанием еще до того, как стал известен в Америке за пределами германоамериканских кругов, в которых был популярен с самого начала. Он получил и гордо носил американское гражданство и, хотя тщательно соблюдал инкогнито, притязал на звание «самого известного автора в Америке».

Первыми его произведениями были «Соединенные Штаты Северной Америки как они есть» (опубликована в 1827 году в Штутгарте и Лондоне) и книга об Австрии, критиковавшая

реакционную политику Меттерниха. Его первый роман «Токея, или Белая Роза» (1829), переделанный в «Легитимиста и республиканца» (1833), хотя и представлял довольно безжизненное явление, все же стал прототипом жанра «этнографического романа» (в котором Силсфилд снискал известность), где герой является глашатаем народа. Персонажи — типичные строители новой республики — фронтисмены и пионеры. Силсфилд подчеркивал, что это портреты, сделанные с натуры, и действуют они на фоне великолепного пейзажа, описываемого в реалистических тонах.

С 1834 по 1841 год Силсфилд один за другим создает серию романов, посвященных американской тематике. Он объединял их общим названием, например «Сцены из жизни двух полушарий» или «Заокеанские путевые заметки». Местом действия обычно служили южные или юго-западные штаты, в которых он чувствовал себя свободнее, где жизнь на реках и плантациях, гонки, рыбная ловля, охота и приключения в лесах, на болотах и прериях обеспечивала достаточный размах его наблюдательности и воображению. Лучший из этих сборников — «Книга Каюты» (1841). Это истории, которые рассказывают в компании, собирающейся в доме отставного морского капитана (напоминающем корабельную каюту: отсюда и название книги). Рассказы большей частью представляют собой эпизоды войны в Техасе. «Прерии близ Хасинто», которым открывается книга, считается лучшим рассказом Силсфилда.

Поздние его книги слабее отчасти потому, что во время своих отъездов из США Силсфилд утрачивал связь с быстро меняющейся американской действительностью, а также оттого, что он начал окутывать реалистическое повествование туманом романтической фантазмагии. В конце концов он пришел к мнению, что невозможно реалистически изображать общество, которого больше не существует, сжег рукопись автобиографии вместе с мемуарами и личными бумагами и возвратился в Швейцарию, к бедности и одиночеству.

В дополнение к своей популярности у читателей Европы и США Силсфилд оставил след в американской литературе и в смысле влияния на исконно американских писателей. Лонгфелло проводил вечера напролет за чтением своего «любимого Силсфилда» и перечитывал отрывки о Луизиане из «Строителя жизни», работая над второй частью «Эванджелины». А. Б. Фауст доказал, что Уильям Гилмор Симмс заимствовал выразительный эпизод для «Гая Риверса» из «Свадебного путешествия Ралфа Доуби», что «Рамона» Элен Хант Джексон чрезвычайно напоминает «Токею» и что по крайней мере третья, лучшая часть «Дикой жизни» Майн Рида просто украдена из «Книги Каюты», переведенной Фредериком Хардманом.

Известны и другие популярные романисты, извлекая, подобно Силсфилду, литературный капитал из своих ярких приключений в Новом Свете. Фридрих Арманд Штрабберг побывал охотником, солдатом, владельцем ранчо, купцом, доктором и начинателем немецких колонизаторских предприятий, прежде чем в возрасте пятидесяти двух лет стал под псевдонимом Арманд выпускать сенсационные романы с такими заголовками, как «Рабство в Америке» (1862) и «Прыжок в Ниагарский водопад» (1864). Он был совершенно свободен от какого бы то ни было влияния, а его непосредственная грубоватая проза придает наиболее экстравагантным из его рассказов характер достоверности. Его книга «Карл Шарнхорст: приключения немецких мальчиков в Америке» (1872) долгое время была одной из самых популярных немецких историй для юношества.

Фридрих Герштекер после приключений, выпавших на его долю в обеих Америках, создал примерно сто пятьдесят книг путевых очерков и путешествий, полувывмышленных, полуреальных, и стал самым популярным из герmanoамериканских романистов.

Известнейшее и, пожалуй, лучшее из его произведений — «В Америку!» (1855) — реалистический рассказ о судьбе немецких иммигрантов, которые высаживаются в Новом Орлеане и плывут вверх по Миссисипи.

Более искусственным писателем (лучшая из его новелл — «Разносчик», 1857) был Отто Рупиус, изгнанник 1848 года. Он был журналистом в Нью-Йорке и Сент-Луисе до 1861 года, когда амнистия позволила ему вернуться на родину в Пруссию.

Генрих Болдуин Мёлльхаузен, которого иногда называют немецким Купером, приехал в поисках приключений, а не политического убежища. Он был художником и топографом Смитсоновского института, работал в экспедициях, картировавших в горной местности маршруты трансконтинентальных железных дорог. Он использовал свой опыт примерно в пятидесяти романах и книгах путевых очерков, переведенных на английский, французский, голландский и многие другие языки.

Хотя все эти писатели в конце концов вернулись на родину, их можно рассматривать не как немецких путешественников, а настоящих американцев немецкого происхождения. Они разделили все превратности иммиграции и тяготы границы, их взгляд на вещи характерен для иммигранта и поселенца, а не просто европейского наблюдателя.

Самым одаренным из писателей приключенческого жанра был полемист и поэт Роберт Райтцель. Он готовился стать священником, но оказался для этого чересчур свободомыслящим. В США он ездил по городам с лекциями, писал и отдал дань всем движениям социального протеста, руководимым на Среднем Западе немецкими радикалами. Он агитировал за социал-демократию, развитие рабочего движения, матери-

ализм, свободу личности, развитие спорта, космополитизм, борясь с произволом всюду, где с ним сталкивался, и проявлял к истине любовь несколько демонстративную. В 1884 году друзья и почитатели сделали его издателем еженедельной литературной газеты в Детройте, которую он назвал «Бедняга» и в которой оттачивал в течение остальных 14 лет жизни свою иронию и остроумие. Он поддерживал революционный дух всюду, где замечал его, и много сделал для ознакомления читателей фронта с идеями Эмерсона и Торо, переводя отрывки из их произведений.

Конечно же, американцы немецкого происхождения в XIX веке были и плодовитыми лириками. Тысячи стихотворений воздают хвалу новой родине или вздыхают по далекому отечеству, а сюжетный перечень, заключенный между этими двумя очевидными темами, очень широк. В значительном объеме бытовала эпическая поэзия германоамериканцев. К ней относятся несколько интересных поэтических сказаний, основанных на опыте иммиграции и фронта. Поэты доблестно пытались ознакомить своих соотечественников с поэзией, которую читали их новые сограждане. Появились немецкие переводы «Эванджелины», «Гайаваты», «Ворона», «Занесенных снегом» и «Листьев травы», а также английских поэтов, наиболее популярных в США. Уже давно поэтической столицей стал Чикаго: по крайней мере половина лучшей немецкой поэзии, созданной в Америке, была опубликована здесь.

Немецкий театр в Америке возник в Нью-Йорке в 1840 году, а к 1854 году в городе было уже два театра, ставивших исключительно немецкие пьесы. Знаменитый театр «Германия» открылся в 1872 году; «Галия» — в 1879, а «Ирвинг-Плейс» — в 1888. В Филадельфии, Милуоки, Чикаго, Сент-Луисе и Цинциннати тоже появились крупные театры, и по крайней мере дюжина других городов со значительным немецким населением переживала расцвет драмы. За редким исключением, пьесы, которые ставились, были классическими, как это водилось в Германии, потому что актеры предпочитали играть Валленштейна и Гамлета, а не создавать известность новым драматургам, но можно найти несколько удачных примеров немецкоамериканских пьес («Латинский фермер» и «Бакалейщик на углу авеню А»), удержавшихся на подмостках, хотя в отличие от романистов большинство драматургов старались обращаться к событиям грандиозным или излагать романтические истории на экзотическом фоне.

После 1870 года немецкий язык и литература приходят в упадок. Некогда популярные рассказы сводятся к дидактическим историям в церковной периодике; в 1900 году немецкий театр почти исчез, а лирическая поэзия оскудела. На пороге XX века не больше двух-трех значительных писателей использовали литературный немецкий язык. Напротив, литература



на немецких диалектах, особенно на германопенсильванском, уверенно возрастала по мере того, как росло национальное самосознание и гордость за свою культуру. Создается много юморесок на диалектах, появляются популярные стихотворения на гессенском, швабском, пфальцском, так же как и на нижненемецком.

Довольно уязвимы в лингвистическом отношении, хотя и забавны для широкой аудитории, были «Устные анекдоты» Карла Адлера (1886) и «Баллады Ганса Брайтмана» Чарльза Годфри Леланда (1856—1895), написанные на разновидности Kauderwelsch, смеси ломаного английского языка с немецким диалектом, который не следует смешивать с германопенсильванским. Главный герой Ганс предстает в них добродушным бродягой, толстым и бородатым, совершающим свой жизненный путь, страдая от обжорства и неутолимой жажды. Язык его, как и сам этот персонаж, в глазах герmanoамериканцев был злостной карикатурой. Много позже, в 20—30-х годах, Курту Штайну удалось заинтересовать американцев и немцев подобным же родом языкового гротеска.

#### 4

Германопенсильванский, или пенсильванский голландский, как часто его называют, является скорее языком, чем диалектом. Это язык эмигрантов из земли Пфальц и верховьев Рейна, которые поселились в Пенсильвании в XVII—XVIII веках. В течение долгого колониального периода немецкая литература Пенсильвании, по большей части религиозная, создавалась на литературном немецком, но в десятилетие между 1830—1840 годами газеты и журналы были заполнены историями, стихами и передовицами на диалектах. После Гражданской войны литературный немецкий язык отступил под натиском английского, но трехсоставный немецкий Пенсильвании удерживался в разговорной речи. Язык уже не казался смешным, и люди вроде Генри Гарбау и Генри Л. Фишера использовали его для сохранения «простоты, достоинства и очарования всех этапов жизни, от колыбели до могилы и за ее пределами». Легенды, небывлицы, анекдоты из деревенской жизни, ее быт: очистка кукурузы, производство яблочного варенья, посиделки; мягкая насмешка над претенциозностью и суевериями — постоянны для поэзии пенсильванских немцев. К концу века на диалекте пишут все больше и больше. Может быть, только здесь было так много горожан средней руки, которые искали самовыражения в поэзии. Диалект из писем, публикуемых в газетах, проник в колонки обозревателей, а затем в радиопрограммы. Процветала новелла на диалекте. Так же как и немецкие литераторы, германоязычные поэты Пенсильвании переводили для своих читателей популярные американские стихи современ-

ников. К середине XX века, с увяданием литературного языка, стали необычно популярны пьесы на диалекте.

В американской литературе пенсильванские немцы появились еще в 1869 году, в романах мисс Фиби Гиббонс, и продолжают появляться до настоящего времени. Из всех бытописателей больше всех знакома с ними мисс Элен Рейменсайдер Мартин, чья «Тилли, девушка-меннонитка» (1904) выдержала двадцать изданий. За ней последовала дюжина или более романов и новелл, некоторые были поставлены на сцене, другие — экранизированы. Сами пенсильванские немцы считают картины, нарисованные мисс Мартин, клеветническими и предпочитают те, что были созданы еще более плодотворной романисткой Элси Сингмастер (мисс Элси С. Льюорс).

## 5

Французская литература расцвела в Луизиане лишь пятьдесят лет спустя после того, как этот регион стал американским. Ее робкие побеги появились в 1762 году, когда Луизиана была передана Испании и пышно расцвела уже после аннексии (1803). Из литературы раннего периода мало что сохранилось, и значение этого наследия скорее историческое, чем литературное.

После 1820 года число французских писателей в Луизиане уже значительно. Библиография Эдварда Лерока Тинкера насчитывает 350 человек при населении менее четверти миллиона креолов, как называли потомков первых французских и испанских поселенцев. Способность к прозаическому и поэтическому творчеству была обязательным достоинством креольского джентльмена независимо от рода занятий, а творческий досуг его увеличился с предоставлением Луизиане прав штата (1812) и после того, как непрерывные волны иммигрантов с Севера повлекли за собой рост цен на землю и рабов. Теперь креолы имели средства, чтобы путешествовать и учиться за границей, обычно в Париже, что укрепляло их культурные связи с Францией. В то же время, по мере того как росло англосаксонское окружение, креолы стали ревнивей относиться к своему языку и культуре и решительнее их охранять. Именно тогда, в 1840 году, и позже появились наиболее значительные франкоязычные произведения: исторические труды Гайарре, лирика братьев Рукетт, пьесы Канонжа и исторические романы Тестю.

Шарль Этьен Артюр Гайарре был креолом, чьи предки на протяжении поколений играли важную роль в колонии — его дед по материнской линии принимал герцога Орлеанского в 1798 году во время его визита в Луизиану. Получив образование в Новом Орлеане и изучив юриспруденцию в Филадельфии, Гайарре обратился к политике и занимал ряд важных выборов

и государственных должностей, включая должность сенатора США в 1835 году, кресло, которое он оставил по состоянию здоровья вскоре после избрания. Будучи богатым, он имел возможность провести восемь лет, путешествуя по Европе и собирая материал и документацию для своей истории Луизианы. Первым его очерком явился «*Essai Historique sur la Louisiane*»<sup>1</sup> (1830), который в расширенном и документированном виде превратился в «*Histoire de la Louisiane*»<sup>2</sup> (1846—1847). Позже он опубликовал на английском языке несколько курсов лекций, которые, будучи собраны в четыре тома, составили «Историю Луизианы» (1866).

Гайарре претендовал и на звание луизианского Вальтера Скотта. Им написан ряд романов и пьеса, а в своих «Историях» он порой обращался с историческими фактами с поэтической вольностью. Он позаботился также о том, чтобы по ходу повествования наметить привлекательные сюжеты для прозаиков, например экспедиция шевалье Сен-Дени в Мексику в 1714 году. Его заявки были подхвачены рядом романистов и драматургов. Шарль Тестю опирался на Гайарре в двух из трех своих исторических романов; то же самое можно сказать о Луи-Армане Гарро и его «Луизиане» (1843), истории антииспанского заговора 1768 года. Тот же заговор вдохновил Огюста Люссана на создание поэтической трагедии, а Луи-Пласида Канонжа — на драму в прозе. Канонж, лучший из драматургов Луизианы, был автором пьесы «Граф Карманьола» (1856), которая, по словам современников, выдержала сто постановок на парижской сцене.

Вся сколько-нибудь значительная луизианская поэзия была создана братьями Рукетт, сыновьями француза и креолки, идеализировавшими благородных дикарей в лесах Сент-Таммани под Новым Орлеаном. Их восхищение индейцами не было только результатом воображения, как у их французских современников. Маленькими детьми они постоянно убегали из дому, чтобы пожить среди чокто\*, и каждый провел в лесах значительную часть своей зрелой жизни.

Франсуа-Доминик Рукетт, старший из братьев и лучший поэт, получил образование в Новом Орлеане и Париже и, насколько состояние семьи позволяло ему это, чередовал пребывание в Париже с наездами в Сент-Таммани. Вынужденный в конце концов зарабатывать на жизнь, он предпринял ряд неудачных авантур — будучи директором то лицея Нового Орлеана, то владельцем бакалейного магазина в Арканзасе. В конце концов он перестал заботиться о делах практических и о своем долге перед обществом и стал воспевать простую первобытную жизнь индейцев и негров, прелести одиночества и при-

---

<sup>1</sup> «Исторический очерк Луизианы» (фр.).

<sup>2</sup> «История Луизианы» (фр.).

роды. Его «Meschacébéennes» (Париж, 1839) удостоились похвал Гюго и Беранже, а «Цветы Америки» (Новый Орлеан, 1857) были встречены парижской критикой столь же тепло. Политические взгляды Рукетта ярко отразились в стихотворении периода Гражданской войны: «Не буду сражаться — меня расстреляют, а буду — конечно, повесят».

Младший из Рукеттов, Адриен-Эмманюэль, был так увлечен жизнью индейцев, что по завершении образования во Франции возвратился к чокто и, как истинный романтик, влюбился по слухам о ее красоте в дочь индейского вождя, которой никогда не видел (она умерла от туберкулеза перед свадьбой). Подобно своему брату, Адриен-Эмманюэль курсировал между Парижем и Новым Орлеаном и именно во Франции опубликовал свой первый сборник стихов «Дикари» (1841). Его похвалили Бартельми и Сент-Бёв. Бризо\* славил в лице автора «американского Оссиана», а Томас Мур назвал его «американским Ламартином». По возвращении в Луизиану Адриен-Эмманюэль поступил в семинарию и принял духовный сан. Четырнадцать лет он был главным викарием при архиепископе Нового Орлеана, неизменно тоскуя по лесному уединению и обществу индейцев — чувство, которое отразилось в «Американской Фиваиде» (1852). Наконец, он получил разрешение отправиться к чокто миссионером, где и провел остаток своих дней, настолько усвоив их привычки, что индейцы прозвали его чахта-има, «один из нас». Он умер в 1887 году, работая над словарем языка чокто. В числе его книг — «Дикие цветы» (1848), англоязычный сборник стихов, и «Новая Атала» (1879), индейская легенда, высоко оцененная его другом Лафкадио Хирном. Он писал также прекрасные стихи на гомбо, негритяно-французском диалекте.

Гражданская война нанесла роковой удар французскому языку и литературе Луизианы. Она разорила креолов, как и весь богатый Юг, и оборвала пуповину, соединявшую их с Францией; они не могли больше позволить себе ни поездок в Париж, ни европейского образования. Кроме того, в период Реконструкции правительство с заметной враждебностью относилось к французской культуре из-за ее чужеродности, а также из-за бескомпромиссной приверженности креолов идеалам Конфедерации. В 1868 году был издан декрет, согласно которому законы и документы в Луизиане должны были публиковаться только на английском языке; обучение французскому запрещалось в начальной и осуждалось в средней школе. Детей из креольской семьи, говорящих на французском языке, усвоенном дома, школьные товарищи дразнили «кискидисами» («Qu'est-ce qu'il dit?»)<sup>1</sup>. Писатели старшего поколения вроде Гайарре и аббата Рукетта продолжали некоторое время печат-

<sup>1</sup> «Что он говорит?» (*фр.*).

таться на французском, но слишком мало молодых могло прийти им на смену и продолжить их работу.

Наиболее значительной фигурой в той небольшой группе, что продолжала вести эту проигранную битву, был доктор Альфред Мерсье, писавший романы и стихи, занимаясь медицинской практикой. Вместе с одиннадцатью другими интеллектуалами он основал в 1876 году Луизианский Атеней, культурную ассоциацию, бюллетень которой, «Отчеть», оставался какое-то время единственной возможностью для французских писателей публиковаться в Луизиане. Сам доктор Мерсье представил шестьдесят наименований. Один из последних сотрудников, Альсэ Фортье, сделал первую попытку дать обзор французской литературы в Луизиане, а также составил «Историю Луизианы» (1914), равную по значению «Истории» Гайарре.

Учеными XX века проведены интересные исследования о взаимодействии франкоязычной и американской культур. Как в XIX, так и в XX веке креолы поставляют материал для американской прозы. Самые яркие сцены из жизни французского Нового Орлеана содержатся в романах и рассказах Джорджа Вашингтона Кейбла, Кейт Шопин, Лафкадио Хирна и Грейс Кинг.

## G

На протяжении периода открытия и завоевания испанцами американского Юго-Запада и за период миссий \*, последовавших за ними, официальными лицами и членами религиозных орденов составлялись сообщения, истории, дневники и мемуары. Некоторые из них были опубликованы в Испании или в Мексике, а позже напечатаны в англоязычном варианте американскими историками.

Литература, живущая сегодня в среде потомков первых колонистов, — это устные пьесы, песни, баллады и сказки, привезенные из старой Испании. В 1598 году священники-миссионеры в Нью-Мехико начали разыгрывать религиозные мистерии и пантомимы с целью обращения индейцев в христианство, и эта традиция сохранилась. Каждый год с наступлением некоторых праздников, особенно в период рождества, местные труппы в большинстве испанских поселений ставят религиозные драмы. Наиболее популярные из них — «Трое волхвов», «Мавры и христиане», «Пастухи», «Явление богоматери Гвадалупской» и «Команчи».

Вообще же литературное творчество здесь скудно. Теократизм миссий был враждебен всякому светскому знанию. Научные труды порой публично сжигались, а печатный станок был доставлен в Калифорнию не ранее 1833 года. Тогда на нем печатались почти исключительно официальные документы. Первая книга, изданная в 1829 году в Техасе американским имми-

грантом, была англоязычной. Секуляризация миссий (1833—1834) могла бы способствовать созданию более благоприятной атмосферы для развития литературы, но она была проведена всего за несколько лет до присоединения Калифорнии к США. Почти сразу же последовала «золотая лихорадка», принеся с собой обширную американскую иммиграцию и период беззаконий, обездоливший испанское население. У владельцев ранчо не было ни средств, ни досуга, чтобы сделать для испанской литературы то, что удалось креольским плантаторам Луизианы для французской.

В XX веке испаноамериканская культура — и ранняя, и современная — поставляла материал таким исконно американским писателям, как Гертруда Азертон, Уилла Кэсер, Харви Фергюссон и Джон Стейнбек.

## 7

Задолго до того, как основная масса иммигрантов прибыла в Америку, в США приезжали или селились итальянские первооткрыватели, политические изгнанники и авантюристы. Число их было невелико — в 1850 году 3645 человек, в 1870 году — 16 766 — не так уж много, чтобы составила читающая публика, и литераторы из их среды писали соответственно на языке тех, с кем жили — на английском, французском, испанском, — чаще, чем на родном. Одна из немногих ранних италоязычных работ представляет собой серию статей на политические темы, посвященных колониям в 1774 году. Написанная доктором, торговцем, фермером и дипломатом Филиппо Маттеи, она была переведена на английский Томасом Джефферсоном и опубликована Пинкни в «Виргиния газет».

Политические изгнанники, прибывавшие в Америку между 1815 и 1861 годами, публиковались или на английском, или на итальянском в самой Италии. Единственным достойным внимания исключением был Лоренцо да Понте, еще до своего приезда в Америку в 1805 году написавший большое количество либретто для опер, в том числе для «Женитьбы Фигаро» и «Дон Жуана». Осев в Нью-Йорке, он стал первым профессором итальянского языка в Колумбийском университете и опубликовал много стихов и прозы на итальянском — произведений в большинстве своем недолговечных. Единственной его книгой, оставшейся жить, была автобиография, переизданная несколько раз в Италии и переведенная на французский и английский.

Сильный рост итальянской иммиграции после 1880 года привел к образованию в Америке рынка для итальянских писателей, но, поскольку большинство иммигрантов были скромного происхождения, их литературные требования удовлетворялись ежедневной и периодической прессой, а также пропагандистской литературой, выпускаемой рабочими союзами и

протестантскими церквями, старавшимися обратить иммигрантов в протестантство. Лучшие из писателей вскоре овладели английским языком так же хорошо, как итальянским, чтобы найти доступ к читающей американской публике, а также потому, что большинство детей иммигрантов уже не могли читать по-итальянски.

## 8

Скандинавская культура в США связана с историей XIX века, но ее развитие напоминает то, как развивалась литература ранних переселенцев из Южной Европы. Норвежцы, шведы и датчане легче приспособились к новой земле, чем немцы или представители романских народов. У себя на родине они получили некоторое представление о демократических процессах; их не слишком стесняли классовые различия; их тянуло к широким просторам Северо-Запада США, где они пустили крепкие и глубокие корни. Число их увеличивалось с такой быстротой, что, например, в конце XIX века в США было больше норвежцев, чем в самой Норвегии в пору ее образования. Многочисленны были также шведы, благодаря которым в США возник значительный литературный слой. Первыми начали писать журналисты и священники, но к концу века развился класс профессиональных литераторов, создавший большое количество произведений, традиционных по форме. Некоторые из них были превосходны. Однако ни один американский автор шведского происхождения не поднялся до уровня американонорвежца Рольваага.

Рост скандинавоамериканской литературы тесно связан с энергичным развитием скандинавской периодической печати, но вскоре писатели стали прибегать к английскому языку, даже обращаясь к тематике Старого Света. Первый норвежскоамериканский роман «Гуннар» Хьяльмара Хьорта Бойесена был написан на английском и опубликован (1873) Уильямом Дином Хоуэллсом в «Атлантик мансли». Материал был полностью норвежский. Это история о маленьком пастухе и русалке, где важная роль принадлежит троллям. Некоторые из романистов более поздней поры с успехом писали на двух языках, но большинство писало по-английски независимо от того, обращались они к скандинавским темам или к борьбе пионеров с индейцами и девственной природой.

В XX веке характерным жанром этой литературы стал социальный роман. Он достиг высшей точки своего развития в романе О. Е. Рольваага из норвежскоамериканской жизни «Гиганты в земле» (1927). Рольвааг, выходец из семьи норвежских рыбаков, приехал в Америку в 1896 году, когда ему было двадцать. В течение трех лет он работал на ферме своего дяди в Южной Дакоте, а затем решил получить образование. Без

денег, с плохим знанием английского языка, больной, он выстрадал три года школы и был принят в колледж св. Олафа в Норфилде, Миннесота. Его решимость, способности и сила характера расположили к нему администрацию, которая после окончания им колледжа в 1905 году предоставила ему возможность проучиться год в Норвегии, а затем отозвала в колледж для преподавания норвежского языка.

Рольвааг обнаружил, что переход от Старого Света к Новому труден, но увлекателен и благотворен. Он вдумчиво проанализировал этот процесс и пришел к убеждению, что, для того чтобы стать хорошим американцем, норвежцу нужно крепко стоять на почве собственной культуры. Он верил, что США нуждаются в основательности и зрелом богатстве древних цивилизаций. Всю свою жизнь — она оборвалась в 55 лет — он с жаром проповедовал эту идею с кафедры и на страницах многих романов, написанных по-норвежски, от «Америка-бреве» (1912), столь автобиографичном, что он был опубликован под псевдонимом, до «Петера Победителя» (1929) и «Бога их отцов», вышедшего в 1931, в год его смерти. Самый выдающийся из всех роман «Гиганты в земле» (1927), переведенный, как большинство его произведений, широко известен и в Норвегии, и в США; в нем осуществилась заветная мечта Рольваага стать глашатаем своего народа, рассказать о том вкладе, который внесли иммигранты в формирование новой нации.

## 9

Еврейскоамериканская литература, один из богатейших продуктов языкового смешения, развивалась в некотором отношении так же, как и романская, немецкая и скандинавская. Но есть и резко выраженное отличие, поскольку еврейская иммиграция шла из разных частей света и каждый иммигрант привозил с собой не только расовые и религиозные обычаи, объединявшие его с другими евреями, но и многие нравы и обычаи народов, в среде которых он жил до эмиграции. Таким образом, евреи в США составляют не одну группу, а скорее множество групп, одновременно индивидуальных и родственных. На иврите, языке традиционно национальном, за пределами Палестины говорят сравнительно мало евреев, в то время как иудейско-немецкий, обычно называемый идиш, родной язык примерно для семи миллионов, представляет ближайшую ветвь иврита. Немецкие и французские, греческие и сирийские евреи часто говорят на языке своих сограждан, в то время как русские и польские евреи, жившие за чертой оседлости на старой родине, используют в основном идиш. Множеству еврейских иммигрантов, высадившихся в США, пришлось подвергнуться двойному процессу ассимиляции: сначала утвердиться в гетто, а затем устраивать свою судьбу в Новом Свете. Несмотря на



эти помехи и другие трудности, численность евреев, которых в 1825 году насчитывалось всего 16 000 человек, настолько возросла, что через столетие их стало более 4 000 000. Приблизительно половина этого числа осела в Нью-Йорке, поэтому здесь еврейская община больше, чем где бы то ни было.

Литература евреев США, как почти во всех европейских странах, началась с иудаистских произведений религиозного характера и развивалась или на специфических национальных диалектах, бытовавших среди евреев, или на идиш. Евреями было создано значительное литературное наследие не только на иврите, идиш, но на немецком, английском, французском, испанском, португальском, итальянском, датском и русском языках. Разделенная на группы, нередко раздираемая противоречиями, еврейская община была подвержена не только лингвистическим разногласиям, но и такому множеству социальных, религиозных и экономических течений, что трудно делать какие-то определенные обобщения.

Приверженность сионизму, которая вскоре нашла последователей в Америке — Мордекай Мануэль Ной, Эмма Лазарус и Генриетта Цолд, — всегда была нерасторжимо связана с религиозной ортодоксией и ивритом. Тяжелое положение в Европе до и после 1900 года пробудило среди многих американских евреев, еще не затронутых сионистскими идеями, стремление к политическому сионизму, а после первой мировой войны сионизм, главой которого был Луи Д. Брандис, распространился шире, чем когда-либо ранее. Брандис интерпретировал сионизм с помощью американизма, объявив, что, для того чтобы стать хорошими американцами, евреи должны быть еще лучшими евреями, а для этого они должны стать сионистами.

Сначала движение было отмечено религиозным фанатизмом и идеализмом; но веры и идеализма недостаточно, чтобы привлечь и удержать массы, которые находились под слишком сильным влиянием социальных конфликтов, бурливших в гетто, тяжелых условий труда и борьбы за существование. Эти условия заставляли активно участвовать в рабочих союзах и радикальной прессе на идиш, которая была в большинстве своем антирелигиозной и антисионистской.

Кроме того, было много приверженцев теории «плавильного котла» и социально-расовой ассимиляции, которые порвали со своим культурным наследием и хотели путем отказа от национальных корней стать стопроцентными американцами или стремились, уничтожив все национальные различия, к нереальному интернационализму или утопическому космополитизму. Между этими полярными крайностями существовали всевозможные варианты и градации.

Литературный вклад этого сложного феномена отражен в подборке «Американо-еврейская библиография... до 1850 г.» (1926) А. С. Розенбаха. Составить подобную библиографию

весьма трудно. Сложность усугубляется поразительной активностью тех, кто писал на идиш и попал в Америку с волной великой еврейской миграции из Восточной Европы, начавшейся в 1881 году, и американских евреев, пишущих на английском: от Мордекая Ноя и Эммы Лазарус до Уолдо Фрэнка и Людвиг Льюисона или Джорджа Джина Натана и Элмера Райса (Райзенштейна), не говоря о еврейских писателях в смежных сферах радио и кино. Очень часто американский англоязычный еврей сознательно или безотчетно писал, подраживаясь под основной поток англоамериканской литературы. Эта тенденция очень заметна, почему выдающийся еврейский критик Людвиг Льюисон утверждал, что вне зависимости от художественности языка или сюжета книга является еврейской только в том случае, если она написана евреем, который «осознает, что он еврей». Но даже такой несложный подход не способен выявить все книги, написанные евреями. Если можно считать еврейской англоязычную книгу «Восхождение Дэвида Левинского» (1917) Абрама Кахана, то этого нельзя сказать об автобиографии Мэри Энтин «Земля обетованная» (1912), лиричном, экзотическом обращении к Америке как к земле неограниченных возможностей от лица преследуемого иммигрантского ребенка.

Одной из мощных сил, замедляющих процесс ассимиляции евреев, был их древний язык, который в свою очередь продолжал жить даже в самые трудные для евреев времена, так как религиозные обряды совершались на иврите. Разумеется, и первыми в США произведениями на иврите были почти исключительно словопрения по дискуссионным вопросам, связанным с религиозной законностью, комментарии к Талмуду и проповеди. Собственно художественной литературы на иврите не создавалось, пока под мощным влиянием первой мировой войны у американских евреев не возрос общий интерес к иудаистскому движению.

На иврите написана значительная поэзия, несколько романов, новелл и эссе, но в целом американоивритская письменность все еще преимущественно служит религиозным целям. И пишут на нем по-прежнему иммигранты из Восточной Европы. Развитие истинной американоивритской литературы, глубоко укоренившейся на американской почве, все еще зависит от упрочения американского иудаизма и американоеврейских традиций.

Литература на идиш, или иудейско-немецком, развивалась в США медленно. Образованные слои отказывались признать идиш литературным языком, а массы из-за нищеты приобретали мало книг. Однако с быстрым ростом иммиграции и постепенным утверждением идиш как признанного средства художественного выражения, с основанием периодических изданий авторы, пишущие на идиш, стали пользоваться поддержкой. К 1916 году ежедневная пресса на идиш была доступна

637 982 читателям Нью-Йорка; после чего цифра снизилась до трех-четырёх сотен тысяч. В Чикаго, Филадельфии, Кливленде и других городах периодика на идиш процветала...

Таким образом, подъем литературы на идиш тесно связан с развитием журналистики. Эта связь — одна из важных причин обращения еврейских писателей к *skitze*, короткому рассказу. Наиболее значительны из авторов *skitze* Соломон Либбин (Израэль Гуревич) и Соломон Рабинович (Шолом Алейхем), которого называют иногда еврейским Марком Твенем.

Писатели, почти не имевшие в Европе успеха в области драматургии, в Америке смогли найти применение своим способностям. Их ранние и примитивные драматургические опыты были обработаны постановщиком Джейкобом Гордином, который, не будучи первоклассным драматургом, охотно признавал превосходство других. К концу XIX века он поднял драму на идиш от уровня дешевого популярного развлечения до ранга искусства, пользующегося признанием. Его утверждение, что актерская игра — искусство, требующее серьезного изучения и неустанной работы, способствовало повышению критериев актерской игры и всеподавляющему увлечению театром. Американский театр на идиш, возникнув к 1883 году, достиг расцвета в 20-е годы с организацией Художественного театра идиш, возглавлявшегося сначала Эммануилом Рейхером, а потом Бен-Ами и Морисом Шварцем.

Изучение прочих иноязычных культур США — исландской, финской, польской, чешской, португальской, южноамериканской и азиатской — еще только началось, но уже ясно, что путь их развития сходен с теми, о которых шла речь выше. Кое-что о природе этого культурного влияния можно почерпнуть из библиографического очерка, посвященного смешению языков. Первоначальное стремление превратить выходцев из Старого Света просто в материал для «плавильного котла» уступило место убеждению, что иммигрант послужит своей второй родине лучше всего тогда, когда укрепит традиции своего отечества; что разнообразные и жизнеспособные региональные культуры увеличат плодотворность общей культуры США.

## 42. ИНДЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ

### 1

Американцы стали воспринимать индейцев как культурную силу лишь в XIX столетии. Английские колонисты с Атлантического побережья обычно считали, что хороший индеец — мертвый индеец, и целые племена были уничтожены, не оставив никакого свидетельства своей духовной жизни. Если индейская традиция и приобретала известность, то в романтизированном виде, перелицованном согласно литературным вкусам белых.

Интерес к индейцу даже со стороны Купера распространялся скорее на личность, а не традиции или искусство. Генри Роу Скулкрафт предпринял первую попытку собрать предания и песни племен американских индейцев.

Скулкрафт был усердным тружеником и в 1830-х годах уже обладал большим фольклорным материалом племен оджибуэев, живших в окрестностях Со-Сент-Мари. Но сам он жил в эпоху романтизма, и поздние сборники подтвердили, что он не только изменял и приукрашивал, но фактически сочинил часть материала. Он, несомненно, смешивал предания различных племен. Однако Скулкрафт все же оказал важную услугу американцам: познакомил их в какой-то мере с увлекательными легендами наших индейцев. Удачным оказалось и то обстоятельство, что работа Скулкрафта в благоприятный момент попала в руки Лонгфелло, потому что именно из «Гайаваты» большинство американцев даже сейчас черпают то небольшое, что им известно из индейских легенд.

И только группа выдающихся этнографов, работавших в конце XIX — начале XX века, собрала достоверный материал, отражающий индейскую жизнь и фольклор. Их лозунгом была буквалистская точность записи и стремление фиксировать как можно больше источников на языке оригинала. С усовершенствованием фонографической записи стало возможно сохранить не только лексику, но и подлинную интонацию и устное изложение; поэтому песни и предания американских индейцев следует рассматривать именно как искусство устного слова.

У индейцев Соединенных Штатов практически не существует того, что можно было бы назвать письменной литературой. Пиктографическая письменность, которая встречается на скалах,

березовой коре или шкурах, представляет собой всего лишь род языка знаков, иногда служащего для грубой записи исторических событий, иногда — средством для запоминания деталей различных обрядов. Единственный претендент на звание «литературного» творения у индейцев США — это историческая хроника делаваров «Валам Олум» \*. Ее текст, явно записанный под диктовку, сопровождается пиктограммами. Ценность его исключительно лингвистическая и историческая, а не литературная.

Все предания, имеющие художественную ценность, у наших индейцев носят устный характер. Они передаются от поколения к поколению и хранятся индивидуальной и коллективной памятью. Подобный род художественного выражения аналогичен по многим элементам формы и содержания жанрам, которые знакомы исследователям европейских литератур. Он долгое время служил и служит у не имеющих письменности народов для тех же нужд, что рукописная и печатная книга для читателей.

В целом у американских аборигенов можно найти почти все известные литературные формы. Лирика, эпическое песнопение, заклинание, миф, волшебная сказка, юмористический анекдот, иногда даже загадки и пословицы — все они широко использовались еще в пору открытия Америки. Незначительность изменений, наблюдаемая в преданиях, заставляет заключить, что многие из них очень древние. Легенды, зафиксированные в отчетах иезуитов 1630-х годов, мало изменились три столетия спустя. Но издавна существовал еще и приток нового материала, его заимствование у соседних племен; путешественник по дальним краям всегда был источником нового и переносил его в еще более отдаленные районы. Эта народная литература коренных обитателей США, таким образом, сложное явление, результат смешения многих влияний, столетий созревания и совершенствования.

Индейцев Соединенных Штатов нельзя рассматривать в полном обособлении от остальных жителей континента. Наши современные политические границы не имеют существенного значения для традиций этих народов \*. Береговые племена штата Вашингтон и Британской Колумбии образуют единство, каким не являются племена Орегона и Калифорнии. Культура племени пуэбло далеко вторгается в Мексику, а блэкфит чувствуют себя одинаково на родине и в Монтане, и в Альберте. Глубокое исследование культуры американских индейцев должно вестись с учетом условий континента в целом. Разумеется, высокоразвитые культуры инков в Перу и майя на Юкатане создали прекрасные мифы и обрядовые песни, а возможно, и другие литературные формы. Но, не считая нескольких жалких фрагментов, сохраненных первыми испанскими колонизаторами, эта литература исчезла, не оставив следа в культурной традиции.

Из-за разнообразия доступных источников, а также широты географического распространения мифы и сказки американских индейцев привлекали всегда больше внимания, чем другие фольклорные материалы. В отличие от исследователей прошлого века современные ученые не стремятся обнаружить скрытый смысл, символику мифов или фантастически их интерпретировать; не занимает их и вопрос о том, что именно сказка, а что — миф. Они находят, что эти повествовательные виды не только интересны сами по себе, но предоставляют прекрасную возможность изучить распространение повествовательного материала от одного культурного ареала к другому и для их сравнительного исследования. Всякого, кто знакомится с преданиями американских индейцев, поражает их сюжетная общность в масштабах континента; но дальнейшее изучение всегда выявляет значительные различия, зависящие не только от географической среды, но и от многих неприметных исторических фактов. Ибо девять ясно различимых культурных ареалов, сложившихся к северу от Мексики, обладают не только своими характерными повествовательными чертами, но и интересными различиями в стилистической окраске и социальной среде сказителя.

В соответствии с предложенным здесь определением мифологического предания значительное число историй, представленных этими регионами, может рассматриваться как мифы. Они рассказывают о происхождении явлений, и действие в них совершается в мире, отличном от современного. Что касается собственно мифа о сотворении мира, вряд ли таковой существует. Вероятно, вид, наиболее приближающийся к нему, можно обнаружить в Калифорнии и на Юго-Западе. У некоторых небольших племен, все еще живущих в Калифорнии, есть довольно подробные повествования о возникновении Земли и природы, о начале человеческой культуры. Но «творец», обычно представляемый в зооморфном виде, уже бороздит первозданные воды и посылает одно животное за другим на дно за почвой. Когда ондатре или другому животному удастся добыть немного ила, «творец» создает из него землю. Однако исходный вопрос о том, откуда появились первичная вода и ондатра, так же как и сам создатель, остается у этих народов без ответа, как, впрочем, у наших собственных теологов.

Несколько меньшей наивностью, хотя, возможно, большей трудностью для восприятия, как и некоторым сходством с преданиями других племен Юго-Запада, характеризуется история о начале всего сущего у зуни, в Нью-Мехико. Здесь мир представляется эманацией мысли создателя. Как передает Кашинг, он «направил мысль в пространство, в котором возникли и поднялись вверх туманы приумножения, пары, обладающие силами

роста»<sup>1</sup>. Это таинственное мировое вещество сконцентрировалось, пройдя ряд постепенных стадий, и после множества коренных перемен превратилось в Землю, какой мы ее знаем.

В других областях континента все так называемые мифы о сотворении мира предполагают изначальное существование Земли и рассказывают в основном о происхождении героя или полубога данного племени и тех подвигах, с помощью которых он изменяет облик и состояние предметов и животных на Земле. Например, ирокезское предание повествует, как мать их божественных близнецов упала из верхнего мира на водоплавающих птиц и как Земля вначале покоилась на панцире громадной черепахи. Многие в этом мифе характерно и для алгонкинских народностей района Великих Озер. В преданиях прерий и плато интересны превращения героя; это же относится в известной мере и к преданиям племен Северо-Востока. Но у последних герой — человек, а не животное. На Юго-Востоке ближе всего к мифам о происхождении мира подробные истории о миграциях племени от фантастического первоначального местопребывания. Эти миграционные легенды присутствуют также и в мифологии Юго-Запада, где они состоят обычно из рассказа о восхождении людей через ряд нижних миров.

Если целостные мифологии редки, то это не значит, что наши аборигены вообще не интересовались объяснением генезиса. У каждого племени существует особый ряд преданий, задача которых — дать объяснение определенному феномену. Особенно часто встречаются предания о похищении света и огня. Несмотря на внешнее сходство с мифом о Прометее, эти истории, несомненно, местного происхождения. Особенно популярны они в западной части страны. Обыкновенно в этих повествованиях зооморфный герой узнает о том, что огонь находится во власти какого-либо чудовища. С помощью той или иной уловки ему удастся выкрасть его. Основной смысл истории состоит обычно в описании этой хитрости. Иногда, например, герой превращается в мельчайшую частицу и его глотает вместе с водой дочь чудовища. Чудесным образом родившись вновь, он в облике ребенка успешно похищает огонь. Другие широкоизвестные мифологические эпизоды связаны с разграничением времен года, происхождением смерти, истреблением или умиротворением чудовищ или непокорных сил природы — мощных ветров, высокого приюба, наводнений и т. д.

Невозможно провести четкой границы между такими описательными историями и значительным количеством простых анекдотов, в которых объяснения почти случайны. Прежде ученые были склонны переоценивать эти объяснительные элементы и считали, что они являются важнейшей частью анекдота. Более поздние исследования показали, однако, что именно анек-

---

<sup>1</sup> Сообщение Бюро американской этнографии, № 13, с. 379.

дот, а не объяснение скорее сохраняется традицией. Не существует единой истории о том, откуда у бурундука полосы, но это объясняется в нескольких различных анекдотах. У некоторых племен есть обыкновение постоянно сдабривать текст уместными или излишними объяснительными ремарками.

Почти во всех областях континента значительная часть повествования аборигенов посвящена ситуациям, которые кажутся смешными и рассказчику, и аудитории. Обычно они известны как рассказы о плуте, и анекдот почти всегда рассказывает о хитроумном поступке полуживотного-получеловека, которого для удобства именуют шутником. Его имя и характер варьируются от региона к региону. На севере Тихоокеанского побережья это Ворон, Сойка или Норка в зависимости от месторасположения племени. Но из всех шутников самой большой известностью пользуется Койот, чья хитрость и глупость славятся от восточных прерий до Калифорнийского побережья. У таких племен, как оджибуэи, герой и шутник — одно и то же лицо. В религиозном контексте, в обрядах инициаций и им подобных, Манабозо (Гайавата у Лонгфелло) предстает перед своим народом как творец культуры и жизненных благ. Но в повседневном кругу истории, которые рассказывают о Манабозо, во многом напоминают рассказы о шутнике, идущие с Запада и относящиеся к Койоту. Утки, которые по наущению шутника танцуют с закрытыми глазами, так что их легко перебить, или состязание, в котором он побеждает, притворившись хромым, дают представление о простых трюках, демонстрирующих его находчивость. Но тот же шутник в иных обстоятельствах оказывается простофилей. Он прячет свою добычу в песок, пока не взберется на дерево, чтобы прекратить шелест ветвей. На дереве он застревает и беспомощно смотрит, как у него крадут уток.

Подобные приключения шутника юмористичны. Многие из них распространены на большей части континента и, вероятно, известны сказителям больше, чем другой вид историй. Создается впечатление, что несообразности их не важны. Сейчас Койот может быть животным, через минуту он, несомненно, уже человек. Манабозо предстает то полубогом, то шутком, а все шутники одновременно и хитры, и глупы.

Как и в нашей культурной традиции, эти юмористические или полуюмористические истории обычно кратки и повествовательно мало разработаны. В лучшем случае они остроумны и закончены, в худшем — наивны, бессвязны. Их можно сделать длиннее единственным способом, известным всем сказителям: нанизыванием самостоятельных эпизодов в допустимой последовательности.

У наших аборигенов есть, однако, довольно пространные истории. Изложение некоторых из них занимает не менее получаса, и обычно они пересказываются в более торжественных



случаях, чем анекдоты о шутнике. Из этих пространных историй многие широкоизвестны, порой от одного побережья океана до другого. Другие распространены лишь в одном или двух культурных ареалах. Разработанная история редко остается достоянием одного-единственного племени. Процесс, посредством которого довольно развитые повествования распространились по континенту, чрезвычайно интересен для фольклориста. Ибо здесь он свидетель свободной передачи устного повествования без вмешательства письменности.

Из этих пространных историй наибольшей популярностью у американских индейцев пользуются примерно сорок. Около дюжины можно рассматривать как «истории о героях», поскольку они повествуют о конфликтах между героем, часто слабым а заурядным, и чудовищем или по крайней мере ужасающим противником. Некоторые из них напоминают европейский цикл, в котором будущий тесть подвергает жениха дочери почти невыносимым испытаниям. Другой цикл, о Приемьше и Отверженном, распространен прежде всего в прериях и имеет случайное сходство со средневековым рыцарским романом о Валентине и Орсоне. Некое чудовище, убив женщину, извлекает из ее чрева мальчиков-близнецов, одного оставляет у себя, другого выбрасывает в кусты. С течением времени Приемьш и Отверженный находят друг друга и вместе переживают героические приключения.

Часто истории о героях служат продолжением событий, случившихся в верхних сферах. Эти истории о потустороннем мире немногочисленны, но относятся к числу наиболее популярных и лучше всего сложенных из всех преданий аборигенов. Особенно широкоизвестна история о «звездном муже», в которой рассказывается о девушке, попавшей в звездный мир; она выходит замуж за звезду, ей запрещается копать в определенном месте, но она ослушивается, и ею овладевает тоска по дому. По некоторым преданиям она родит сына. Во всех историях она сплетает веревку и начинает спускаться на землю. По одним версиям, она удачно возвращается домой, по другим — выживает только сын. У племен, живущих в прериях, юноша становится героем многопланового приключенческого цикла.

Истории вроде «звездного мужа», вероятно, древние. Понадобилось время для развития трех различных ее характерных форм, каждая из которых обладает ясно выраженным географическим бытованием и пользуется известностью от Аляски до Новой Шотландии, от Калифорнии до Алабамы.

В кратком очерке невозможно дать детальный обзор преданий американских индейцев. Однако даже беглое знакомство показывает, что они обладают значительной изощренностью, охватывают довольно широкий круг проблем, им свойствен высокий полет воображения. У большинства племен есть сказители, наделенные особым даром повествования. Стилистические воз-

возможности таких художников, их репертуар, социальное положение и отношение к другим одаренным личностям — все это остается в значительной мере не освещенным в имеющихся сборниках, но фольклористы все более и более отдают себе отчет в важности дальнейшего исследования данных проблем.

### 3

Для человека, связанного с традицией европейской или белой американской культуры, предания североамериканских индейцев по большей части интересны и понятны даже в весьма буквальном переводе. Но это относится не ко всем литературным формам. Есть еще загадки и пословицы, правда немногочисленные, но в переводе они утрачивают значительную долю смысла. Нам известно также о существовании многих прославленных индейских ораторов. Некоторые из их речей приобрели популярность. Исследователи американской истории знакомы с замечательной речью, приписываемой вождю Логану\* из племени минго, которую он произнес вскоре после того, как семья его была вырезана в 1774 году:

«Ни капли крови моей не осталось больше в жилах человеческих. Это взывало к моей мести. Я мстил, я убил многих; я сполна утолил мою жажду крови. Я рад, что страну мою осветили лучи мира; но не утешайте себя мыслью, что радость моя — радость труса. Логан не знал страха. Он не покажет спины даже для спасения своей жизни. И кому оплакивать Логана? Некому!» Однако чрезвычайно трудно определить, что на самом деле сказал вождь, потому что, очевидно, речь эта приобрела известный нам вид на основании пересказа. Разумеется, в этой и других речах сохранилось что-то от действительно сказанного, но вполне естественно, что в пылу дебатов никому в голову не приходило записывать подлинные слова оратора.

Хотя обряды многих племен американских индейцев сами по себе не являются частью литературы, они послужили своеобразным обрамлением для некоторых устолитературных форм, в частности мифов и песен. Теснейшим образом связан с ними религиозный танец. Во многих группах племен обрядовая жизнь имеет такое важное значение, что становится основой практически всего художественного творчества. Особенно это справедливо по отношению к племенам юго-западной группы, которые всему склонны придавать ритуальную форму. Внешняя сторона такого ритуала ясна и интересна для наблюдателя, даже для случайного свидетеля, но эзотерическое значение плясок и песен остается скрытым для него: он его просто не замечает.

Трудно делать какие-либо обобщения в области поэзии и песен американских индейцев, поскольку и те и другие значительно варьируются от племени к племени. Велика дистанция между многоплановыми магическими ритуальными поэмами

юго-западных народностей и короткими, разнообразными по теме и часто невнятными песнями прерий. Для последних в особенности характерно то, что слова значат меньше, чем музыка. Часто имеется лишь последовательный ряд слогов, лишенных смысла, всегда многократно повторенных. Музыкальные выразительные средства варьируются, но они почти всегда неприятны для непривычного слушателя, если он не подготовлен профессиональным композитором. Сюжетный круг этих песен широк и меняется в зависимости от назначения: сопровождают ли они определенные обряды, пляски, азартные игры, магические заклинания, являются ли боевыми, игровыми, любовными, колыбельными или сопутствуют иным событиям повседневной жизни.

Ритуальные песнопения навахо или ирокезов, хотя и изобилуют повторами, обычно четырехкратными, и утомляют постороннего слушателя, часто содержат великолепные образы и в соответствующем контексте представляют собой действительно впечатляющие поэмы. Верное представление об их литературной ценности можно получить лишь теперь, в связи с более широкой публикацией текстов. Однако было бы большим преувеличением утверждать вслед за Мэри Остин, что эти многоплановые поэмы оказали сколько-нибудь глубокое влияние на ритмику американской поэзии\*.

Вероятно, лучшую возможность для выражения индивидуального поэтического дара американскому индейцу представляло короткое магическое заклинание. Обычно считалось, что такие песни рождались в пророческом сне и представляли собой сочетание хорошо известных поэтических формул с впечатлениями или эмоциями момента. Мы считаем, что в этих песнях вещи изображаются такими, какими их хочет видеть певец. Исполнением песни он надеется достичь желаемого. Так, одна из песен папато, записанная Рут Н. Андерхилл в Аризоне, должна ускорить созревание кукурузы:

Встает кукуруза,  
Зеленая, встанет;  
Вот на полях  
Раскрываются кисти.  
Встает кукуруза,  
Зеленая, встанет;  
Ветер на поле  
Кольшет листья.  
Падет синий вечер,  
Падет синий вечер,  
Вблизи и повсюду  
Кисть затрепещет.

Или же после долгой засухи в пустыне из туч призывается дождь:

Где тучка трепещет  
Над горой Кихотоа,

Трепещет тучка —  
Сердце трепещет.  
Внутри Кихотоа  
Рокочет громом.  
Виден насквозь  
Свет отовсюду.  
Вихрь приходит, тучи приводит.  
Под ними сижу я,  
Мираж блистает.  
Выпадет дождь —  
Миражи исчезнут.  
У края мира  
Свет нарастает.  
Деревья сияют —  
Мне радостно это.  
Свет нарастает.  
У края мира  
Свет нарастает.  
Ввысь нарастает.  
Под ним день восходит  
И ночь накрывает<sup>1</sup>.

Устная литература индейцев Соединенных Штатов играла у этих народов ту же роль, что и письменная литература, содействовавшая в Европе развитию цивилизации. В ходе контактов индейцев с белыми эти предания остались по большей части неассимилированными и даже неизвестными господствующему общественному слою. Но они существовали здесь задолго до появления белых и по-прежнему остаются в век книги и радио творческой отдушиной для нашего все растущего индейского населения.

---

<sup>1</sup> Стихотворные переводы в главах 42 и 43, кроме особо указанных случаев, принадлежат А. Ващенко.

## 43. ФОЛЬКЛОР

### 1

Переворот в историческом сознании, привлечший внимание масс к традициям и культуре американских индейцев, к середине XIX века определил углубленное исследование сокровищ американских народных песен и фольклора. На Севере примерно в годы Гражданской войны был «открыт» негритянский спиричуэл, а в 1888 году появился добротный сборник народных сказок. К началу XX века ученые рьяно и тщательно собирали, сличали и сопоставляли.

Собственно говоря, фольклор представляет собой сумму значней (верований, обычаев, магии, афоризмов, песен, историй, преданий и т.д.), созданных спонтанной игрой наивного воображения на основе повседневного человеческого опыта, которые передаются устно или жестом и сохраняются без помощи письменных или печатных средств. Практически с тех пор, как печатная продукция стала дешевой и общедоступной, а чтение и письменность — заурядным явлением, фольклор стало трудно отличать от популярной (или устной) литературы, и наоборот.

В 1849 году в период «золотой лихорадки» тысячи людей ринулись через континент, испытывая опасности и лишения, страдая от разочарований. Фольклор отразил этот исторический факт в балладе «Джо Бауэрс», юмористическом рассказе о судьбе «форти-найнера»\*, который покинул графство Пайк в Миссури, чтобы застолбить участок для своей Салли. Кем была сложена эта песня — на самой тропе кем-либо из «аргонавтов» или профессиональным комическим актером, — не известно, но ее пели на подмостках Сан-Франциско, она облетела поселки старателей, вновь возвратилась на Юг, чтобы стать любимицей солдат Конфедерации в годы Гражданской войны, и в конце концов сделалась почти общенациональным достоянием.

Сегодня, почти столетие спустя, ее все еще поют повсюду в США. Она стала фольклором, после того как долгое время побывала в обращении у множества людей, сохраняясь и распространяясь устно в многочисленных вариантах.

Таким образом, в основе возникновения фольклора заложены попытки воображения передать события, выразить чувства и объяснить явления путем конкретно запоминаемой схемы. Этот материал обычно передается одним другому посредством устного слова или действия. Повторения и бессознательные варьирования стирают начальные следы индивидуальности, если таковые есть, и фольклор становится общим достоянием группы. Создавали и сохраняли фольклор лучше всего такие группы людей, которые «хранили в изоляции общую культуру в течение времени, достаточного для того, чтобы формы ее социального выражения смогли приобрести эмоциональную окраску». Примером могут служить южные горцы, когда-то отрезанные от остальной страны трудностями сообщения, немцы Пенсильвании и французы Луизианы, чье лингвистическое и культурное наследие отличается от господствующего, а также ковбои, матросы, лесорубы и старатели, объединенные физическим трудом.

В том смысле, который принят у большинства европейских наций, население США нельзя назвать народом, и потому «традиционные» фольклористы отрицали существование американского фольклора. Но подобные теории сводили к минимуму или оставляли без внимания запечатленную в культуре память о нескольких направлениях богатого опыта, присущего американскому народу. Прежде всего он заключается в наследии фронта. Хотя для миллионов иностранцев и для горожан это наследие не было личным опытом, все же оно является уникальной традицией, окрасившей манеры, речь, песни, историю и общественные взгляды. В значительной мере оно сказывается в сходстве умонастроений, родственности характеров и том способе самовыражения, что составляет истинное содержание народности. Более того, региональное сознание, узы общей профессии и другие интегрирующие принципы объединили каш народ в группы, способные сохранять фольклор и стимулировать его развитие. Несомненно также, что вне зависимости от того, чей фольклор ввозится в страну, он становится фольклором данной страны и остается таковым, пока его помнят. Мера участия народа США в создании значительного фольклорного слоя можно определить, рассматривая разные виды фольклора и примеры того, что было сохранено.

Фольклористы различают четыре основных типа. Три из них распространяются устно. «Литературный», включающий народную поэзию и столь различные прозаические формы, как легенда, миф и сказка; «лингвистический» — афоризм, пословица и загадка, и «научный», к которому относятся заговоры, предсказания, волшба, народные приметы и тому подобное. Четвертый, распространяющийся посредством жеста или практического подражания, включает искусства и ремесла, обряды, танцы, драму, празднества, игры и музыку. Понятно, почему в этой

главе речь пойдет в основном о литературном и лингвистическом типах, оставляя отдельные категории — речь и миф — для рассмотрения в прочих разделах и привлекая некоторые из «действенных» видов — то есть драму и игры — в связи с песней и рассказом. Научный и большая часть действенного типов останутся в стороне как принадлежащие скорее научному знанию — антропологии, социологии и общей истории культуры, чем к литературной истории. Хотя сюжеты народных песен и баллад часто пересекаются с сюжетами сказок, стихотворные и прозаические формы будут рассматриваться отдельно.

## 2

Общие черты и мотивы нашего фольклора в основном английские. Лингвистическим орудием, посредством которого они хранились и передавались, служил английский язык. Установившиеся таким образом типы состоят в тесном родстве с литературой, сохранившейся в письменном виде. Поэтому, кроме эпизодических ссылок и сравнений с тремя другими крупнейшими сокровищницами — Францией, Германией и Испанией, — видовые примеры будут приводиться из фольклора британского и его модификаций, выраженных на английском языке в американском его варианте.

Первым видом «реликтов староанглийского фольклора», упомянутым первым издателем «Джорнэл ов эмерикэн фолклор» (1888) в качестве объекта исследования, были древние баллады. «Перспектива обнаружения значительных ценностей, — писал он, — не блестяща». А в это время в Гарварде Френсис Джеймс Чайлд уже свыше тридцати лет собирал английские и шотландские баллады, в основном из британских источников, и готовил к публикации свой монументальный труд. Итог почти пятидесятилетнего собирательства по всем Соединенным Штатам показал, что перспективы были значительно недооценены; из 305 баллад в книге Чайлда «Английские и шотландские народные баллады» (1882—1898) более трети было обнаружено в устном бытовании среди народов США.

Эти старые баллады, истории, рассказанные в песне, выделяются в США как «голубая кровь» среди остальных народных песен. Их сюжеты раскрывают все важнейшие темы этого древнего искусства. Самыми любимыми являются романтические любовные истории вроде «Барбары Эллен», «Лорда Томаса и славной Эннет», «Девицы, избавленной от казни», «Леди-цыганки». Семейно-бытовые трагедии хорошо представлены «Эдвардом», «Вавилоном», «Двумя сестрами» и «Лордом Рэндэлом». Загадки и состязания в остроумии отражены в «Разумно решенных задачах» и «Сватовстве капитана Уэддерберна».

Эхом средневековых романсов являются «Свадьба сэра Гавэйна» и «Томас Рифмач». Легенды о святых воскрешаются в «Сэре Хью или Дочери Иудея», а также «Рождественском гимне»; шутки и фаблио — в «Нашем хозяине» и «Жене, завернутой в баранью шкуру», цикл о Робин Гуде представлен шестью сюжетами. Область сверхъестественного выразительно запечатлена в «Женщине из Эшерс-Велл» и «Призраке милого Вилли». Существовали две превосходные морские баллады — «Благая Троица» и «Сэр Патрик Спенс», которая недавно обнаружена в Виргинии и в Теннесси.

Подобные древние песенные повествования, выдержанные в архаических языке и стиле и положенные на старый хорошо запоминающийся музыкальный мотив, удовлетворяли потребности Нового Света в своего рода романсах, трагедии, комедии, героических, авантюрных сюжетах. Их хорошо помнили как раз потому, что потребность в балладе еще сохранялась в изолированных и социально неразвитых районах страны, а также благодаря цепкости народной памяти. Но они вовсе не были исключительной принадлежностью неграмотных и невежд. Большинство лучших текстов было привезено на места людьми образованными и выдающимися, воспринявшими их по традиции. Великие американцы, далеко не лингвисты — Джон Рэндолф \* из Виргинии, Авраам Линкольн, Вудро Вильсон, — напевали и любили их. Метрические особенности хорошо сохранились. Большинство баллад пострадало в процессе передачи, хотя некоторые от этого выиграли. Незнакомые слова были искажены или утеряны, имена действующих лиц и названия мест изменились, чуждые обычаи или верования опущены или трансформированы, феодальные аксессуары заменены предметами повседневного обихода. Один издатель заметил, что эти древние баллады отличаются такой американской добротностью, какая недоступна даже индейцам. Это своего рода замороженные шедевры.

Из иноязычных баллад, присущих устной традиции, ближе всего только что рассмотренной группе испанские романсы Юго-Запада. Около дюжины их, относящихся к XVI и XVII векам, было найдено в Нью-Мехико. Большинство принадлежит к новеллистическому типу и развивает темы любви, чести, верности и измены, войн, легенд (из арабских источников) и религиозного опыта. Они мало изменились с тех пор, как были занесены на континент. Среди них известны: «Дельгадина», излагающая древнюю историю Аполлония Тирского об отце, повинном в кровосмешении; «Геринельдо», рассказывающая о любви Эммы, дочери Карла Великого, и Элингарда, сенешаля императора; «Печальный ангел», описывающая вмешательство девы Марии во имя спасения души осужденного; и «Жил-был черный кот», бурлескная история кота, охваченного страстью. Французские баллады «Принц Оранский» и «Принц Евгений»



исполнялись в районах, примыкающих к французской Канаде, а «Мальбрук», «Взойди, Красавица» и «Семь лет на море» известны в Луизиане.

Говоря о древних традиционных легендарных и романтических балладах, редактор уже цитированного «Джорнэл ов эмерикэн фолклор» сетует: «В XVII веке пора сочинения баллад уже прошла, их в известной мере вытеснили стихи более низменного литературного происхождения, распространявшиеся посредством листков \* и песенников, или популярные вирши, которые можно считать балладами, но которые почти не имеют художественной ценности». Возможно, именно эти «глупые песни и баллады», которыми торговали вразнос и распевали в каждом городе, так раздражали Коттона Мэзера. Между прочим, даже сегодня эти поздние образчики плебейского пошиба и прочие подобные виды вроде ирландских застольных более популярны, чем легендарные и романтические баллады. Не все они, однако, совершенно низкопробны. Нужно сделать исключение для таких, как «Малютки в лесу», которую Аддисон назвал «этой милой песней простых англичан», почти столь же популярную в Америке; «Как застрелили его милую», «Йоркширская приманка», «Славная, милая девушка», «Багэбу», «Роса и туман», и любимых детских песенок «Дерзкий Робин» и «Три веселых охотника». Часто встречался в листках «Сын мясника» в его англоамериканском варианте «Шиповник Брамбла» (безыскусственная аналогия «Изабеллы» Китса; тема, до него использованная Боккаччо и Гансом Саксом), «Крепкий сон», «Серебряный кинжал», «Подмастерье из Шеффилда», «Девушка из Уэксфорда», из которых последние три — кровавые истории об убийствах, установившие стандарт для многих местных баллад на эту тему. По отношению к древнему балладному искусству и по низменной своей природе они напоминают испанские баллады Юго-Запада вроде «Неверной жены» и «Лоренцо Гутьерреса» (баллада об убийстве), французские баллады Луизианы «Осталось нам шесть лет на море» и германопенсильванские «Когда я вернулся из Франции» (вероятно, старая баллада времен Реформации, превратившаяся в популярную песню) и «Смерть Базеля».

Многие из бытующих в стране детских песенок, вероятно, так же стары, как и баллады, и в большинстве случаев тоже восходят к британским или ирландским источникам. Таковы, помимо «Малюток в лесу» и «Дерзкого Робина», «Веселый мельник», «Мельник и трое его сыновей», «Три ворона-стервятника», «Школа в Ароне», «Три веселых уэльсца» и «Сватовство Лягушки». У заимствованных из Англии «Булавочницы», «Мальчика Билли» и «Спи, малышка, спи» есть свои параллели: «Дам тебе булавочницу» и «Милый Билли», исполняемые луизианцами французского происхождения и немцами Пенсильвании:

Спи, малютка-молодец,  
Папа сторожит овец,  
Мама сторожит Рыжуху  
И вернется только к утру.

С балладами связаны общим происхождением и способом исполнения игровые песни и стихи. Древнейшие из них рано нашли применение в таких детских играх, как «Вот идет герцог», «Зеленый песок», «Король Артур, сын Уильяма-короля» и «Вокруг Розы». Из этих игр и народной кадрили с их песнями и кликами родился уникальный американский праздник игровая вечеринка\*. Задуманный как безобидная замена народной кадрили, запрещенной протестантскими религиозными сектами, игровая вечеринка вобрала в себя множество старых детских игровых песенок и создала новые, придав им американизированный характер. Среди самых любимых были такие песни, как «Всем спать», «Гуртовщики», «Девушка из Буффало», «Круг налево», «Король Уильям был сыном короля Джеймса», «Сын Мельника», «Застрели бизона» и «Передай моей Лу».

### 3

Из ранних исконно американских баллад немногие дошли до нас в народной традиции. «Битва у Лавуэлла», рассказывающая о столкновении с индейцами в 1725 году, держалась в памяти до XIX века. Пожалуй, «Гора Спрингфилда» (сначала печальная история о смерти юноши из Новой Англии от укуса гремучей змеи, затем с помощью бурлеска превращенная в детскую сказку) является старейшим и единственным живым свидетелем колониальных времен. Случай, на котором она основана, произошел в 1761 году, но «нет свидетельств о том, что баллада была сложена раньше второй четверти XIX века». От эпохи Революции частично в устной передаче дошли до нас «Янки Дудль», «Бомбардировка Бристоля» и некоторые другие, распространившиеся в листках. Известно, что одна, впоследствии утерянная, рассказывала о восстании Шейса. Война 1812 года создала «Конститьюшн и Воительницу», «Джеймса Берда» (о битве на озере Эри), «Поход Эндрю Джексона» (прославляющую кампанию против племени индейцев крик в 1813—1814 годах) и «О вы, охотники Кентукки» (известную отдельным исполнителям народных песен нашего столетия). Независимо от подлинности своего происхождения «Гора Спрингфилда» и «Юная Шарлотта» (Себы Смита) являются, вероятно, лучшими образцами местного балладного искусства, с которыми соперничают в популярности более поздние — «Джесс Джеймс» и «Кейзи Джонс», а также группа баллад, рисующих простонародную жизнь, из которых «Фрэнки и Элберт» — ярчайший пример.

Прочие виды народной песни можно охарактеризовать вне зависимости от происхождения или строгого разграничения между балладой и лирическим стихотворением. Произвольное различие, проводимое между двумя этими видами, состоит в том, что балладе свойственна тенденция к повествовательности, романтизации и безличности, лирике (без сюжетного содержания) — к эмоциональности, патетике и личному началу даже тогда, когда она не касается любовной темы. Народные певцы не делают различия между ними. Подводя итог сказанному, нужно заметить, что лучшим принципом классификации является функциональная связь народных песен с кругом интересов и деятельности певца.

Как ни удобна, однако, функциональная классификация, она в определенной мере искажает фактические связи. Практика народного песенного искусства тесно переплетается со всеми событиями, интересами и настроениями повседневной жизни. В одной из хижин Виргинии Мод Карпелес слышала исполнение «Зеленого ложа» матерью тринадцати детей, присутствовавших при этом: «Словно под влиянием неведомой силы, дети стройно подхватили чудесную мелодию... их юные голоса звучали на полтона слабее, чтобы не заглушать пение матери». Женщина с Миссисипи рассказывала, что она выучила «Сэра Хью», которую пела ее мать как колыбельную. Семья из Алабамы — отец, мать и сын — исполняли «Леди-Цыганку» в лицах. Сесил Шарп обнаружила у горцев Аппалачей вид «идеального общества», в котором каждый ребенок развивает врожденную способность к пению и исполняет песни предков «с той же естественностью и спонтанностью, с какой изучает теперь родной язык». Исполнение народных песен стихийно воздействует на всю совокупность отношений певца к самому себе и к друзьям. Все народные песни глубоко социальны.

Большая группа песен связана с событиями американской истории. Кроме уже упоминавшихся исторических баллад, некоторые аранжировки более ранних песен, таких, как «Равнины Мексики» и «Прекрасный вид», рассказывают об эпизодах Мексиканской войны. Во время Гражданской войны народная песня «Тело Джона Брауна» стала «боевым гимном Республики», а старые любимцы вроде «Мы все прогуляемся» трансформировались по типу таких, как «Повозка северян». «Подкупленный армией» была, вероятно, первой из многих комических разработок на тему нежелательной мобилизации. «Я буду не одна» — высокомерная трактовка той же темы от лица пылкой южанки, как «Уходи-ка от призыва» — шуточная песенка. «Привал на месте старого лагеря» и «Перед самой битвой, мама» получили широкое распространение по обе стороны фронта, чего нельзя сказать о «Мы идем по Джорджии». Конфедераты пели «Дикси» на народный мотив и слова, игнорируя «незаконную Марсельезу» Элберта Пайка \*, подновили «Дождись повозки»,

создали «Славный синий флаг» и пели на тот же мотив «Домотканое платье», тоже практически превратившиеся в народные песни. «Клятва южан», сочиненная, вероятно, в 1862 году Роуз Вертнер Джеффри, была популярна в Миссури вплоть до 1906 года. Южная жизнерадостность прекрасно отражена в «Бобах Губера», «Усатом капитане» и «Мятежном солдате» («Я наемся, когда захочу»). Наконец, воинственный дух Юга заявил о себе в песне «Я добрый старый мятежник». Из испано-американской войны была вынесена песня «Будет жарко ночью в старом городке» и несколько красочных историй о девушке, поцеловавшей морского героя Хобсона, но эта песня не получила широкого распространения. Первая мировая война оставила несколько солдатских песен, из которых «Хинки, динки, парлеву» («Девушка из Армантьера»), несомненно, была сочинена военными коллективно, как «Скибу», позаимствованная у англичан.

В пору шумных президентских избирательных кампаний 40-х годов широко обращались к политическим песням в народном стиле, опубликованным в сборниках «Песенник Гаррисона», «Бревенчатая хижина», «Менестрели Клея», «Песенник Полка», «Песенник на каждый день» и им подобных.

Песня, посвященная выборной кампании Гаррисона, «В чем причина суеты?» исполнялась на мотив «Хвост поросенка», в песне «Кампания Фремонта» поется: «Ты не гордись, Джимми Старина, десять центов тебе цена», «Генри Клей», которую исполняли на мотив «Старины Дэна Такера», распевалась в Миссисипи до 1920-х годов:

Генри Клей верхом на флажке прибежал;  
Чтобы спину сберечь, он на брюхе скакал.

«Песня о кампании Гаррисона», прославлявшая фермера, который покинул свою «славную хижину дровосека», чтобы выжить обитателей Белого дома, а также «Когда старая шляпа новой была» в честь Гаррисона Клея были известны в Миссури еще в 1912 году. Все это ранние примеры американской политической песни, традиция которой была продолжена в таких недолго популярных песнях, как «Славные времена снова здесь» и «Тротуары Нью-Йорка», и достигла кульминации в песнях и музыке хиллбилли \* во время правительственной агитационной кампании в Техасе и Луизиане во второй половине 30-х — начале 40-х годов XX века.

Одна из самых характерных американских песенных групп по содержанию, если не по оригинальности формы и стиля, посвящена Старому Западу. Существуют три типа таких песен.

«Золотая лихорадка» 1849 года и жизнь старательских городков породили множество песен. «Умиравший калифорниец» был сочинен по образцу старого сентиментального «Океанского по-

гребения». «Джо Бауэрс», на которого мы ссылались в начале этой главы, имеет не столь трагичный конец. Испытав изнурительный труд, лишения и опасности ради своей Салли, Джо получает письмо от брата Айка, который сообщает, что она вышла замуж за рыжего мясника:

И что хуже всего,  
Я не помер едва,  
У младенца Саллиного  
Рыжая голова.

Напоминает «Джо Бауэрса» «Милая Бетси из Пайка»:

О, помните ль милую Бетси из Пайка,  
Что шла через горы с возлюбленным Айком,  
С упряжкой волов и большим желтым псом,  
Пятнистой свинейей и большим петухом?

Было опубликовано несколько интересных и подробных изысканий о происхождении «Джо Бауэрса». Скорее всего, эта баллада стала популярной после того, как была исполнена в 1849 году в Музыкальном театре Сан-Франциско в обработке Джона Вудворда, члена труппы «Менестрели Джонсона». Происхождение «Бетси из Пайка» неизвестно. Подобные песни, исполнявшиеся на народный или популярный мотив, распространялись среди калифорнийцев с помощью песенников, например «Оригинального Калифорнийского песенника Пута» (1854). Среди любимейших образцов народной песни — «Честный старатель», «Дни сорок девятого», «Девушки Сакраменто», «Зоркий глаз», «Человек» и «Как зовут тебя в Штатах?». Две-три из них по-прежнему популярны. «Страшные Блэк Хиллз», посвященная стачке 60-х годов на золотом прииске в Вайоминге, дополняет эти баллады о людях сорок девятого.

Другим значительным вкладом Запада является ковбойская песня. В сборнике Джона А. Ломэкса, как и в большинстве удачных сборников, имеются два ее варианта. Песни, существовавшие только в устной традиции, представлены «Старой тропой Чисхолма», «Вперед, Малышка» и «Стариной Пэйнтом». Есть и другие. Говард Торп причисляет их к песням, которые были опубликованы в местном журнале или газете и положены на популярный мотив. Они переходили от ковбоя к ковбою, становясь таким образом истинно народными. Это «Тропа славы» (перефразированная и положенная на мотив песни «Боб Длинный Подбородок»), «Рождественский бал ковбоя» и «Техасский ковбой». К лучшим, наиболее распространенным и созданным на основе старых песен принадлежат: «Умиравший ковбой» («О, не хороните меня в пустынной прерии»), первоисточник — «Океанское погребение», «Сон ковбоя» — на основе «Сладостного рока» и «Жалоба ковбоя», в основе которой ирландская песня «Умиравший повеса». У них есть сходство с мексиканскими образцами, известными в Техасе и представленными песней «Коррида Киансаса», повествующей о героической гибели

ли вакеро. Независимо от происхождения ковбойских песен они были приспособлены к нуждам одиноких людей, перегонявших в ночи стада из долины в долину или на базары, сходящихся на привалах, ранчо или в салунах. Они обладают ясно выраженным американизмом, красочно расцвечивая палитру народной песни.

Третья группа песен, связанных с Западом, отражает процесс его освоения. «Голодная смерть во имя служебного долга» и «Страна дакотов» служат примерами распространенных тем. К ним примыкает значительное количество эмигрантских норвежских песен и баллад.

Песни о море, каналах и реках приспособлены к рабочему процессу, чувствам и интересам людей, чье дело заставило их пуститься по водам. Эти песни процветали в славную эпоху американского мореходства, последовавшую за войной 1812 года, и высшая точка их развития совпала с господством клипперов. Хотя историю некоторых из них можно проследить до времен Елизаветы, первое описание «шанти»\*, исполненной на американском корабле, как полагают, принадлежит Р. Дана. Она датируется 1834 годом. Их развитию равно способствовали английские и американские моряки. Настоящие шанти, имитировавшие трудовой процесс, следовали определенному канону, при котором хор и соло подчинялись конкретной практической цели. В сборниках представлены четыре типа: связанные с рывками, например «Трави, Джо», фаловые — «Джонни Виски» и «Сбей его»; песни с долгим хором и раскачиванием — «Шенандоа» и «Святая Анна» — и «баковые песни», представленные старыми, традиционными английскими балладами вроде «Золотой суэты» и популярными времен войны 1812 года, такими, как «Констительюшн и Воительница». Китобои пели шанти, а также баллады и песни, связанные с их профессией. Среди них была «Рюбен Рэнзо», история ловкого портного, который отправился на борту китобойца и компенсировал свои недостатки новичка жеманством на капитанской дочери; «Джек Рэк» — поучительная история о кутеже, «Дуйте, ветры» и «Китобои Гренландии» изображают тяготы и опасности китобойного промысла.

Создание каналов тоже повлекло за собой возникновение фольклора. Ирландские рабочие, их песни и истории распространились от Рима до Буффало. Строительство пятисотмильного канала Эри сделалось настоящим праздником песни. «Пэдди на Канале» описывает рытье траншеи. Другие баллады воспевают состязания и драки, вспоминают о барже, влекомой мулами, сатирически изображают гостиницы и подробно описывают обстановку тюрем. «Бурный канал» — рифмованная небылица на тему об опасностях плавания по канаве в четыре фута глубиной. «В лодке по Булл-Хед», однако, повествует о реальной опасности. Классический пример — «Низкий мост, все нагнилось»: «Как боцман — дозорный да крикнуть забыл: «Низкий мост впереди, все

нагнись!», а также «У меня был мул, его звали Сол», названная Сэндбергом «песней волжских бурлаков в Америке».

Еще разнообразнее по сравнению с песнями морей и каналов песни гребцов каное и лодок, шестовых килевых лодок, рулевых плоскодонок и пароходов, лоцманов, причальных рабочих и речных пассажиров. Песни подсобных рабочих и лотовых — ближайшие речные двойники морских шанти. Эти, а также рыхлые повествования вроде «Кэти» и «Джим Ли» решили чуть-чуть потягаться», «Пятерка Золотого песка» — яркие образцы речных песен. «Пароход за поворотом» времен Гражданской войны распространена по всей стране. За исключением отрывков из «Стэйкер Ли», «Любящая Кэти» и «Город Каир», большинство этих песен сохранилось лишь в памяти речников. Подобно ковбойским, они локальны и узкопрофессиональны по содержанию, рыхлы по структуре.

По мере того как лесопромышленность двигалась с Атлантического побережья на Запад, к концу XVIII столетия начал появляться промышленный лесовик (лесоруб, плотогон, пильщик). Изобретение циркулярной пилы и потребность Запада в стройматериалах повлекли за собой расцвет этой промышленности в северо-центральных штатах и породили национальный тип лесовика. К 1900 году, когда лесная промышленность распространилась на Юг, исчез и ореол ее славы, и романтика по мере того, как поселенцы — ирландец, шотландец и франкоканадец — уступали в лесу место наемным рабочим. В промежутке между 1850 и 1900 годами было сложено и впервые исполнено у «трона» главного лесовика большинство лесных песен. Самой популярной из них была «Расщелина в скалах Джерри». «Джим Уэйлен» рассказывает подобную же историю о смерти в расщелине бревна. «Лесовик и лесовичка» и «Немного чистой воды» развивают романтические сюжеты. «Маленькие бурные быки» — прелестный анекдот о состязании между упряжками. Несколько баллад прославляют Поля Беньяна, мифического героя лесорубов, но их в значительной мере заслонили небылицы о нем же.

Строительство железных дорог породило титанического негритянского героя цикла баллад Джона Генри. Функциональные черты этой баллады, задающей ритм для молота или кирки, развиваются во множестве других рабочих песен, особенно многопланово разработанных неграми. Но наиболее драматичные и яркие темы поставляют аварии, неожиданные для профессионала. Лучшие баллады о железнодорожных катастрофах пришли с Юга и Запада. «Кейзи Джонс», например, был сочинен, очевидно, на основе старых мотивов Уоллесом Сондерсом, негритянским рабочим в депо, о Джоне Лютере Джонсе, инженере экспресса «Пушечное ядро». Он погиб, когда идущий на полной скорости экспресс столкнулся с другим поездом в городе Вогане, Миссисипи, в 1900 году. В значительной мере своей настоя-

щей формой и широкой популярностью баллада обязана водевилю, использовавшему раннюю песню Сэндера «Крушение Старины 97» и хорошо известную в Виргинии и в обеих Каролинах.

К балладам о каналах, лагерях лесорубов и железных дорогах примыкают сдобренные кельтскими традициями песни, рожденные угольной промышленностью. Лучшие из них возникли в районе, богатом антрацитом, где ирландские и уэльские иммигранты со своими песнями и мотивами, вывезенными из Старого Света, и пикниками на лоне природы — неотъемлемой частью каждого праздника — демонстрировали песенное искусство. Некоторые его примеры воссоздают полные тревог дни ирландских рабочих, терроризировавших антрацитный район в 70-х годах; но наиболее характерное обращение к работе шахтеров, несчастьям и забастовкам отражено в «Пэте Долане» и «Томасе Даффи», двух балладах о забастовщиках; в «Шуфлай» и «Вниз, вниз, вниз», повествующих о страхах и надеждах, невзгодах и неожиданностях, связанных с этой промышленностью, а также в балладе «Моя любимая — это мул из шахты».

#### 4

Обращение в США к богатству и культурному значению народных песен религиозного содержания произошло сравнительно недавно и все еще является объектом дебатов. Интересен уже тот факт, что история их начинается в 40-е годы, когда труппы менестрелей стали обрабатывать напевы плантаций.

Воодушевленные этим, северные писатели в годы Гражданской войны «открыли» спиричуэл. Значительной вехой явились «Песни рабов Соединенных Штатов» (1867) Аллена, Уэйра и Гаррисон. За ними последовали и другие книги, посвященные спиричуэл. В 70-е годы стали принимать участие в изучении спиричуэл и сами негры из Университета Фиска и Института Хэмптона. Их собирали певческие капеллы, они публиковались в сборниках. До недавних пор считалось, что спиричуэл создали негры; более вероятно, однако, что они «заимствовали» темы, песенные мотивы и образцы у белых и приспособляли или перерабатывали их в соответствии с собственными психологическими, эмоциональными и вокальными особенностями. Таким образом, каждая раса заявляет свои, может быть не всегда обоснованные, претензии: белые претендуют на первородность спиричуэл как типа народной американской песни; черные — на своеобразие негритянской спиричуэл.

В результате почти столетнего собирания и более чем двадцатилетних споров об их происхождении наши ученые так и не пришли к общему мнению, но у нас есть великое множество прекрасных спиричуэл, сочиненных и черными, и белыми. Примерами песен, популярных у обеих рас, при старшинстве «бе-



лой» версии являются «Старая ладья Сиона», «Когда звезды начнут падать», «Стреми бег, Иордан», «Древняя вера», «Бедный бродячий странник», «Спустишь, славная колесница», «Сойди, Моисей». По освещенному временем богатству ассоциаций, силе эмоциональной выразительности и огромной аудитории спиричуэл не имеют равных среди прочих видов американской народной песни.

Однако в своеобразии с ними могут соперничать несколько других видов негритянских песен. Первыми привлекли внимание белых песни плантаций вроде «Невольник Зип» и «Старая Вирджи никогда не наскучит», которые по всей стране исполняли «Эфиопские мастера серенады» и «Виргинские менестрели». «Была у хозяйки цветная девочка», «Дядя Нэд», «О, Сюзанна» и «Беги, негр, беги» — примеры песен, целиком восходящих к напевам плантаций, но приспособленных для эстрадного исполнения белыми композиторами и завоевавших прочную популярность у негров и у белых. В современных сборниках негритянских народных песен содержатся многообразные трудовые песни, в том числе песни кирки и молота, которые пели рабочие, песни фермеров и людей других профессий. Кроме этих трудовых песен, есть посвященные животным, современным событиям и любовные. Во время кампании 1909 года по избранию мэра города Мемфиса, Теннесси, в которой играл важную роль негритянский певец У. К. Хэнди, в стране начал распространяться блюз. В отличие от спиричуэл, по природе коллективных и эпических, блюзы индивидуальны и лиричны. Темы и настрои, общие для них, лучше всего выражены в таких словах: «Когда на душе у парня плохо» или «Женщины на сердце у него». Одним словом,

Блюз ничего не делает,  
Но сердце мне томит.

(Перевод В. Топорова)

Как и в случае с довоенными песнями плантаций и «песнями енотов» пятьдесят лет спустя, превратности популяризации и коммерции свели на нет негритянское мироощущение в блюзе. Но и блюзы, и другие негритянские песни являются наиболее характерным вкладом в фольклор.

## 5

С самых истоков американской литературы и в течение эпохи романтизма связь между поэзией литературной и поэзией народной была случайной и отражала скорее британский опыт. В середине XIX века баллады, публикуемые в листках и газетах, были надежными поставщиками тем и сюжетов. Франклин, а позже Брайент и Купер писали баллады, заимствуя их из листков, у бродячих певцов и коробейников. «Ода Четвертому июлю»

(1796) Ройолла Тайлера содержит перечень красочных народных обычаев, песен и танцев. Порой Френо использовал мотивы народной песни, как в «Приглашении Барни» и в балладе «Битва при Стонингтоне»; в «Песне о людях Мэриона» Брайента и «Эннабел Ли» отражается влияние литературной моды на популярную поэзию. Уитьер и Лонгфелло идут несколько дальше норм, установленных британскими романтиками, когда обращаются к жанру баллады на американском материале. «Гиперион» и «Скачка Поля Ревира» традиционны по форме и национальны по сути. Оба эти качества меньше сказываются в идиллической «Мод Мюллер» Уитьера и «Беседе с Пчелами», зато больше в «Скачке шкипера Айрсона» с ее смачной, соленой народной речью. Оливер Уэнделл Холмс оценил бы иронию, знай о судьбе своей «Баллады собирателя устриц», пародирующей псевдобаллады его времени; она сама была воспринята народной стихией. Формы и характерные черты народной поэзии были хорошо знакомы Лоуэллу, так же как диалектизмы и хитроумие янки; они помогают объяснить национальный дух «Записок Биглоу», особенно отрывков вроде «Ухаживания». «Я слышу — поет Америка, разные песни я слышу», — провозглашал Уитмен. Он обнаруживал острое чутье к народной песне; ее рефрены и ритмы пульсируют в оркестровке его поэзии, но не слишком влияют на форму. По крайней мере две хорошие имитации «Отмщение Хэмша» и «Баллада о деревьях и хозяине» написаны Сидни Лэниром, сделавшим существенный вклад в историю американской баллады. Его стихи на диалекте вроде «Гимна воскресению Крестителя» и «Заложено больше в людях, чем в земле» слабее в художественном отношении, но они ближе к современной американской народной песне.

С появлением Брет Гарта и Джона Хэя национальная поэзия в США прочно становится на почву американской песенности. Вдохновенные «Джо Бауэрсом», они ввели моду на балладу в графстве Пайк, создав «Китайца-язычника» и «Джима Бладсо». Вскоре после этой новации молодой уроженец Миссисипи Ирвин Расселл показал пример более глубокой поэтической трактовки негритянской жизни и негритянского характера, чем это было до сих пор свойственно псевдонегритянской поэзии даже в лучших ее проявлениях — песнях Стивена Коллинса Фостера. Стихи, подобные «Рождественской ночи в квартире», частично обязаны своей выразительностью аромату негритянских песен и танца. Стихи на диалекте, обнаруживая увлеченность народной песней и близость к ней, составили заметную часть литературы местного колорита. Выдающимися практиками его были Уилл Карлтон, Джеймс Уиткомб Райли, Юджин Филд и канадец Роберт У. Сервис.

Неброская простота народной песни, а часто и ее форма весьма характерны для поэзии XX века. Один из ранних примеров — баллада Эдвина Арлингтона Робинсона «Минивер

Чиви». Роберт Фрост обыгрывал фольклорный материал и формы в таких стихах, как «Спуск Брауна, или Не хотел, да съехал», которую Луис Антермейер охарактеризовал как «едкий новоанглийский вариант «Скачки Джона Гилпина»; «Жена Поля» — кусок апокрифической Беньянианы. Выросший на «Сказках дядюшки Римуса», негритянских песнях и традициях пионеров, а позже ездивший по стране в качестве народного певца Вэчел Линдзи отдал дань народной песне в таких стихотворениях, как «Конго», «Генерал Уильям Бут отправляется в рай», «Отцы мои пришли из Кентукки», «Статуя старины Эндрю Джексона» и «Предисловие ко дню рождения Боба Тейлора». Карл Сэндберг, певец-менестрель, выдающийся составитель антологий народных песен, в меньшей степени обязан форме, в большей — пафосу и лексике народной поэзии. Лучшие примеры влияния совокупности всех этих элементов можно обнаружить в поэзии Стивена Винсента Бене. «Баллада Уильяма Сикоморы» — выражение духа пионеров, сопровождаемое превосходной американской транспонировкой старой балладной музыки. «Горный козодой» («Романс Джорджии») — выдающаяся баллада о состязании скрипачей. Эхо спиричуэл и танцевальных песен и изящный балладный зачин «В прибрежной дымке любимая шла» обогащают и расцветивают гармонию «Тела Джона Брауна». И сама американская народная песня, и поэзия Бене демонстрируют неистребимость американского духа:

Вас заставляли по-английски петь  
И говорить, как Темзы сыновья,  
Но все напрасно — нынче, как и впредь,  
Простой скворец осилит соловья.

(Перевод В. Топорова)

«„Народные песни“, — замечает Констэнс Рурк, — вплетались, подобно розеткам, в ткань пьес и романсов». Как предполагает сравнение мисс Рурк, в ранней американской драматургии и прозе они использовались в декоративных целях: главу увенчивал эпитафия из старых баллад, как в романах из серии Уэверли; иногда в пьесе или романе кто-нибудь из персонажей пел народную песню. Многие знаменитые актеры старшего поколения, например Эдвин Бут и Джозеф Джефферсон, прославились, исполняя народные песни. Развитие водевиля от соло к дуэту, от дуэта к диалогу, от диалога к пьесе характерно для истории театра США. «Старина Лаванда» (1877), выросши из водевильного наброска «О непревзойденном пьянице», может служить образцом. Важнейшие примеры использования народной песни в драматургии встречаются в 1930-е годы, это: «Зеленые пастбища» Марка Коннелли, представляющие сочетание из религиозных фантазий автора и негритянских спиричуэл; такие оперы, как «Порги и Бесс» Дюбоза Хейуорда, «Зеленеет сирень» Лина Риггса и прежде всего «Оклахома». Изучение юж-

ной прозы показывает, что между 1923 и 1932 годами тридцать один писатель (среди них Джеймс Бойд, Дюбоз Хейуорд, Элизабет Мэдокс Робертс, Томас Вулф) использовали свыше двухсот народных песен более чем в двадцати четырех романах и новеллах. Песни вплетались яркой нитью в полотно истории, поставляли краски для жанровой живописи, связанной с народными сценами и характерами; проливали свет, резче оттеняли контрастность индивидуальной личности; они вливались в тематику хоровой музыки, чтобы подсказать настрой и акцентировать драматическое действие, так же как его дух и сущность. Фисвуд Тарлтон в «Занавесях» и Олайв Тилфорд Даргэн в пьесе «Зови сердце домой» обогащали кульминационные эпизоды средствами песенного творчества.

## 6

По-настоящему собиранием и хранением народных сказок в США не занимались до 1888 года, когда У. У. Ньюолл заявил, что вряд ли в Америке была записана хоть одна детская сказка. Однако он надеялся, что еще можно спасти огромные запасы волшебных сказок, басен о животных и шуток, живущих в памяти нянь и матерей. В последние пятьдесят лет надежды Ньюолла были вознаграждены сторицей. В дополнение к названным им жанрам народного творчества были обнаружены и собраны другие, весьма богато представленные. Среди них — легенды привозные, но воспринимаемые как свои, созданные в Америке, а в особенности небылицы. Последние могут с большим основанием претендовать на звание исконно американских. В центре их стоят характерные американские герои: бытование этого жанра напоминает уже известный путь развития героического мифа в Старом Свете.

Запас сказок на сюжеты Старого Света, бытующих и собранных в США, ныне довольно велик. На английском языке существуют: «Волк и поросята», «Синяя Борода», «Как Джек отправился счастье искать», «Джонни Пирожок», «Ленивая Мария», «Три брата и кабан»; обработки древнего сюжета о Мэковцекраде и полный цикл «Сказок Джека» (избиение великанов, уничтожение дракона и т. д.). У негров Конгари-ривер в Южной Каролине есть истории, «объясняющие, отчего не следует убивать соек и почему, чтобы отхлестать мула, пользуются бычьей шкурой». Негры Морских Островов рассказывают традиционные варианты немецкой сказки «Спасение королевской дочери», а также о приключениях Братца Кролика, Братца Лиса, Братца Волка и прочих персонажей, знакомых по сказкам дядюшки Римуса. В самостоятельных вариантах многие сказки этого цикла были обнаружены в штате Миссисипи и опубликованы в превосходной книге «Дерево по имени Джон». Французские сказки Луизианы, ранее собранные Альсэ Фортье, вклю-

чают приключения Братца Кролика и других животных, волшебные сказки и рассказы с песенными вставками. Обширный сборник, составленный на фольклоре франкоязычных жителей Миссури, обнаруживает аналогичные категории: важнейшая фигура здесь — Братец Кролик; имеется также франкоканадский герой Маленький Жан. Сборники, составленные на Юго-Западе, дают представление о влиянии испанской сказки. В американском фольклоре фигурирует почти вся типология сказок Старого Света, включая такие международные образцы, как «Смоляное Чу-челко» и другие сказки из «репертуара» дядюшки Римуса.

Из других прозаических повествований, относящихся к классическим фольклорным категориям, широко бытует легенда. Литературная обработка легенды в творчестве Ирвинга, Готорна и Купера привлекала внимание к самому факту ее существования на Востоке. С тех пор ее обнаруживали повсюду. Рассказы о сокровищах капитана Кидда, Черной Бороды, Тийча и других пиратов были обнаружены в районе Денежной Бухты, штат Мэн, и отмелей Северной Каролины. В районе Чаппаквидика и Виноградника Марты \* были найдены истории о корабле-призраке, сокровищах Синей Скалы, заколдованной лошине и маленьком человечке. В графстве Байу в Луизиане процветают истории о Жане Лафите \*, жителях Акадии \* и старых плантаторских домах. У населения Среднего Запада возникли бесчисленные легенды вроде «Одинокого дерева» (рассказывающие о рождении ребенка у четы пионеров Айовы), «Пути Провидения» (о спасении ребенка от индейцев) и «Прыжка любовника» (история, кочующая во многих вариантах по всей стране; о клетье, которой остаются верными двое любовников). Самые характерные широко распространенные легенды Америки посвящены поискам сокровищ и богатства. Юго-Запад изобилует такими историями о заброшенных коях и тайных, иногда забытых кладях.

Определенную категорию представляют также истории о ведьмах, призраках, дьяволах и привидениях. По численности, популярности и разнообразию они составляют одну из самых значительных групп народных сказок, отражая старые и глубоко укоренившиеся предрассудки американского народа. «Ведьма и прялка» из Луизианы, «Старая Кожа-да-Кости» из Северной Каролины и «Из своей шкуры» у негров гула \*, Южная Каролина, отражают поверье, в соответствии с которым ведьма меняет облик, чтобы сотворить зло. В «Колокольной ведьме Теннесси и Миссисипи» рассказывается о вампире. Это история о преследованиях, которым дух убитого в начале XIX века сторожа подвергает семью жителей Северной Каролины, из-за чего они поспешно отправляются на Юг. Относящийся к XVIII столетию и распространенный в Нью-Джерси «Дьявол Лидса» повествует об устрашающих деяниях сына ведьмы. В «Смертном

вальсе» рассказывается о явлении духа умершего жениха на свадьбу невесты. Торг с дьяволом — основной мотив в «Джеке Фонарщике», мэрилендской истории об умном Джеке, перехитрившем дьявола. Импульс к созданию легенд о сверхъестественном по-прежнему действен. Автомобильные происшествия на безлюдных дорогах послужили стимулом к развитию широко распространенной истории о проезде человека, который берет в машину прекрасную попутчицу и в итоге обнаруживает, что это дух девушки, погибшей на том самом месте, где он ее подобрал.

«Сцены и характеры Фишер-ривер» Скитта (Х. И. Тальяферро), опубликованные в 1859 году, содержат северокаролинские истории, циркулировавшие, как полагают, в 20-е годы. Они являются, вероятно, типичными образцами историй о пионерах и включают охотничьи побасенки дядюшки Дэйви Лэйна, который просто-напросто вошел в поговорку своей способностью выдумывать небывальщину. Сюда же относятся истории о пантерах, медведях, рогатых змеях и бизонах, сражениях на фронтире, о состязаниях в том, кто больше съест, анекдоты о новичках и местных знаменитостях, специфические варианты легенды об Ионе и ките. Подобные истории, сохранившиеся еще в старых газетах, альманахах, хрониках графств и приходов, а также в памяти, по-прежнему в ходу там, где еще помнят о фронтире страны, все они носят характер анекдотов.

Побасенки и анекдоты о пионерах издавна начали группироваться вокруг двух типов народного характера: героя-философа и действующего героя. Первый из них представлен в «Контрасте» Ройолла Тайлера (1787) и в «Джеке Даунинге» Себы Смита (1834): это лесовик, ирландец, негр, еврей, старый фермер. В нем возвеличивается жизненная мудрость и хитроумие, проявляющиеся в суждениях о людях, нравах и событиях. Другой тип, начиная с лесовика, развивает образ эпического и легендарного героя. Он мастер рассказывать небывицы, определяемые как «буйное сочетание факта с неистовым вымыслом».

Лесовик, уже известная фигура в устной народной традиции, получил публичное признание в 1822 году в театре Нового Орлеана, когда комический актер Ной Ладлоу спел «Охотников Кентукки» перед залом, набитым лодочниками. «Полуконь, полуаллигатор», о котором поется в балладе, сразу же напомнил им «Хвастуна из глухомани»; образ Дэйви Крокетта, ярче всего воплотившего в себе этот тип, достиг апофеоза в посвященных ему рассказах, а также — в его собственных сочинениях и речах. «Взлепелый в лотке для процеживания сидра, закутанный в енотовую шкуру», он стал «желтым цветком ласа... весь из серы, кроме головы и ушей, а они — из азотной кислоты... я тот самый Дэвид Крокетт, только-только из чащи, полуконь, полуаллигатор и дальний родственник кусающейся

черепахи; могу перейти вброд Миссисипи, перепрыгнуть Огайо, прокатиться верхом на молнии и без единой царапины прошмыгнуть сквозь колючий кустарник; могу помериться силой с дикими котами и, если кто-либо из джентльменов пожелает, за десять долларов можно добавить и пантеру, обнять медведя, так что он заревет, и проглотить живьем любого противника Джексона».

Человек, рекламировавший себя таким образом, стал «конгрессменом в енотовой шкуре» от штата Теннесси и играл активную роль в политике Джексона, возглавлял процесс освоения Запада и пал героической смертью под Аламо. Было доказано, что миф о Крокетте был сознательно сфабрикован в Вашингтоне с явно пропагандистскими целями. С другой стороны, имена сочинителей остались неизвестными, их нельзя связать с альманахами, публиковавшимися Крокеттом или от его имени между 1835 и 1856 годами. В них, как и в историях, процветавших на Старом Юго-Западе и все еще рассказываемых в Теннесси, Техасе и районе Озарк, он борется с индейцами и охотится со своим длинным ружьем Бетси, собаками Гримом и Саундвеллом и медведем Обниму-Задущу; улыбкой снимает енота с дерева, крутит хвосты кометам, оттаивает и смазывает замерзшую земную ось и возвращается к своим соседям с куском солнечного восхода в кармане.

Современником Крокетта, оспаривавшим его популярность, был Майк Финк, король миссисипских лодочников, выведенный в альманахе Крокетта. Первые опубликованные истории о нем (начиная с 1828 года) близки устной традиции. Гигант по сложению и силе, ровня Крокетту в меткости стрельбы и прихотливый бражник, Майк однажды заметил вдалеке оленя и преследующего его индейца, одной пулей убил обоих, при этом оскальпировав молодого воина, и вызвал суматоху в Нэтчи — Что-Под-Холмом.

Подобные истории стали печататься Портером в «Спирит ов таймс», бойком журнале, издававшемся в Нью-Йорке 60-х годов, а также бесчисленных газетах Юга и Запада и в книгах вроде «Большого медведя из Арканзаса» (1845).

Между тем уже возникали новые типы, как комические, так и героические. В спектаклях и на концертах народных певцов фигурировали Джим Кроу и Старина Дэн Такер — образы, воплотившие народные нравы и характеры. В лагерях лесорубов пользовалась популярностью пришедшая из Канады легенда о Поле Беньяне. Лесорубы США уже создали Поля Синего Вола, у которого между глаз укладывалось сорок две рукояти топора и пачка жевательного табаку; мифический лагерь лесорубов и многих персонажей из его окружения. Он был фантазером, оратором и дельцом. Лесорубы изобрели для него хронологию и времена года: Зиму Синего Снега, Весну, когда Дождь Пришел

из Китая. Плотогоны Висконсина рассказывали истории о собственном герое, Джонни Виски, который когда-то работал вместе с Полем, но покинул лагерь из-за того, что ему надоел чернослив, и который на свой лад обыгрывал шутки Крокетта с енотом. Американские моряки создали Старину Вдольшторма, в котором было «четырнадцать морских саженей росту», океанского моряка и китобоя. Его славнейшим деянием было плавание на «Путеводном», который оказался слишком велик, чтобы развернуться в Северном море. Из диалогов, историй и песен слагался в кругу болотных скваттеров цикл об «Арканзасском путешественнике».

Анекдоты и небылицы, порожденные развивавшимися экономическими и социальными условиями вокруг новых народных героев, переиначивались. Кровным братом Поля Беньяна стал Пекос Билл — детище ковбоев. Он был «истребителем злодеев», научил дикого мустанга брыкаться, выжег весь Нью-Мехико и пользовался Аризоной как пастбищем для скота. Южные негры сложили сагу о Джоне Генри, титане-рельсопрокладчике, локализовав его родину, детские годы и подвиги на всем протяжении от Мыса Страшного до дельты Миссисипи и прославляя в балладах и историях его героическую смерть в союзе с паровым молотом.

Нефтяники Техаса приставили Поля Беньяна к буровым скважинам, а американские солдаты привезли его на фронты второй мировой войны. XX век создал Джо Мегарека, сталевара славянского происхождения с заводов Пенсильвании.

Народное воображение рождало то святого, то злодея. Фантазии пастора Уимса о Вашингтоне, прекрасная легенда пионеров о Джоне Яблочном Зернышке, некоторые побасенки (сдобренные юмором) о Лоренцо Доу и других священниках-пионерах и витиеватые легенды о Линкольне, собранные Ллойдом Льюисом, — все это свидетельства агиологической \* тенденции в условиях Нового Света. Противоположный импульс сказался в историях о негодях вроде Харпса из Старого Юго-Запада, банде Мьюрелла, Квонтрелле и Дальтонах. Большинство злодеев в собственном смысле слова вроде Джесса Джеймса, Билли Мальчугана и Дикого Билла Хикока были, однако, героизированы, что говорит об органически присущей американцам склонности восхищаться храбростью и насилием. Благодаря недавним историко-литературным разысканиям мы знаем, что важнейшим источником для юмористических произведений, созданных на Востоке и Юге США в 30-е годы, послужили популярные устные повествования, особенно анекдоты и небылицы, о которых шла речь выше. Параллельно с процессом сознательной литературной обработки этого материала он использовался часто в более безыскусной форме в периодике Портера (1831—1861); в книгах, подобных «Большому медведю из Арканзаса» (1845); «Тайне чашобь» Т. В. Торпа (1846), «Свадьбе Полли



Пиблоссом» Т. А. Берка (1851) и филладельфийской «Библиотеке юмористических американских произведений» Кэри и Хартса.

Критиками и историками нашей культуры уже отмечалось влияние этого материала на форму и содержание американской литературы XX века, в качестве примеров они ссылаются на «Там, позади», автобиографию Уэймена Хога, в основе которой фольклорные мотивы и народные обычаи; «Мифы о Линкольне» Ллойда Льюиса, отражающие нашу действительную способность к примитивному мифотворчеству, и «Джона Генри» Роарка Брэдфорда, «маленький эпос, полуфантазию, с трагическим подтекстом». «Радуга у меня за плечами» Х. У. Одама и «Я вспоминаю» Опи Рида являют интересные вариации фольклорной основы в автобиографическом произведении, в первом случае — вымышленной, во втором — фактографической. «Дьявол и Дэниел Уэбстер» Стивена Винсента Бене и истории Уиндвэгона Смита, созданного Уилбером Шраммом, — пример филигранной обработки небылиц, а истории вроде «Медведя» Фолкнера и «Под луной Юга» Марджори Киннэн Роллингс демонстрируют живучесть охотничьих побасенок.

7

Англичане, прибывшие в Америку в колониальный период, привезли свои народные драмы и продолжали ставить их в течение нескольких поколений. Старое «Рождественское действо Св. Георга» было так же хорошо знакомо бостонцам XVIII века, как и уэссекским крестьянам Томаса Гарди. «Карнавальное рождественское действо» и «Действо Пахотного Понедельника» горцы Кентукки помнили еще в 1930 году. Пример самой многоплановой народной драмы в США представляют «Пастухи» — драматургическое воспроизведение рождества, исполнявшееся жителями Нижней Рио-Гранде в Техасе вплоть до 1907 года. Примеры исконной народной драмы немногочисленны и рудиментарны. Лучшей, вероятно, является «Арканзасский путешественник», но это всего лишь пародия. Более сложный, но менее классический пример — «Пасхальная скала» — языческий ритуал, «облеченный в христианский символизм», сопровождаемый хоровым пением и лицедейством, традиция которого бытовала у негров нижней части миссисипской дельты.

Основным, если не единственным чисто американским драматическим развлечением является выступление народных певцов, менестрелей. \* Важнейшим его участником был, конечно, негр — натуральный или в исполнении белых. Хотя негр появился на сцене еще в 1795 году, его эстрадный тип, использующий фольклор, стал пользоваться успехом лишь в 1828 году.

Популярный актер того времени Томас Д. Райс, понаблюдав, как старый хромой негр «ковылал на пятках», выучил его

песню и танец и представил аудитории Луисвилла, штат Кентукки, Джима Кроу, чем положил начало карьере, принесшей этому персонажу международную известность. Райс не успокоился на достигнутом, он стал собирать негритянские мелодии и сделал из них попури для «Эфиопской оперы». Подобные «оперы» стали предшественницами скетчей, исполняемых народными певцами и утвердившихся в 40-е годы. Ярким примером служит «Бульон из костей» — комическая опера Райса и Чарльза Уайта.

Считается, что первое публичное представление народных певцов состоялось в «Амфитеатре Бауэри» в Нью-Йорке в 1843 году. Первое место разделяли «Менестрели Кристи» и «Виргинские менестрели». В числе прочих ранних трупп были «Менестрели Кентукки», «Менестрели Ринга и Паркера» и «Певцы Конго». Они выработали стереотипные формы выступления. Периодом его расцвета стали 1850—1870-е годы. Было подсчитано, что в 80-х годах этот вид сценического развлечения был показан практически в каждом крупном населенном пункте США благодаря усилиям тридцати трупп, которые разъезжали по стране в фургонах, дилижансах, на пароходах и в поездах. Вплоть до распространения кино концерты народных певцов оставались самым популярным видом общественного развлечения в закрытом помещении.

Несмотря на то что опера, бесспорно, возникла из негритянской народной песни и на национальной основе, ее нельзя, конечно, считать фольклором в чистом виде, тем не менее она продолжает использовать многие фольклорные жанры: танец, песню, спиричуэл, сказку, небылицу, пословицу, загадку, шутку. «Возник жанр, который нельзя уже рассматривать ни как собственно народную песню (хотя она сохраняет дух народной песни), ни как песню литературного происхождения, ни просто как популярную балладу». Значительным было ее ответное влияние на народную песню. В то время как менестрели использовали народные песни, народ усваивал и переделывал на свой лад песни из народных опер, сложных известными авторами. «О, Сюзанна» Форстера и «Старая Вирджи никогда не наскучит» Райса подтверждают сказанное.

Американский водевиль за 50—60-летний период своей популярности (примерно с 1870 по 1930 год) еще больше почерпнул из фольклора и народных обычаев, чем народная опера. Программы водевилей демонстрируют значительные заимствования из фольклорного материала колоритного деревенского происхождения. Например, в 80-х годах чикагский «Кларк-стрит мюзийм» поставил песенную и танцевальную миниатюру под названием «Арканзас» на негритянском фольклоре. Так же как и в народной опере, аккомпанемент на банджо, танец и песни здесь были нормой. В пьесе «Дом в Южной Каролине» цветной старик ревматик чередует игру на банджо, песню о «законах

равноправия» и беседу с плантатором о старом господине, который внезапно подвергся всеобщему обозрению, будучи в неглиже. «Комические» действия меньшинств» в 80-е годы (негритянские, ирландские, немецкие, итальянские и др.) наминали народную оперу. Некоторые из песен, исполнявшихся в них (например, «Странствие ирландских джентльменов» и «Простофили Локаванны»), связаны с определенным родом занятий. «Тренируйтесь, терьеры» стала фольклором, распространившимся далеко на юг до Флориды. Комический актер Дж. У. Макэндрюс так играл старого негра-южанина, что своим костюмом, речью и манерами вызывал у южан ностальгию. Госс и Фокс, знаменитая труппа 80-х годов под «негров», почти исключительно пользовались мелодиями плантаций и старательских поселков. В целом, однако, материал более поздних программ был урбанистическим и усложненным и обращался к таким темам, как политика, бейсбол, армия и флот, профессии и ремесла и жизнь иммигрантов.

В классической американской драме XX века прочие жанры фольклора, не только песни, используются так широко, что достаточно и нескольких примеров. В «Молнии» (1918) герой рассказывает небылицу о том, как, перегоняя зимой пчелиный рой через прерии, он не потерял ни единой пчелы, но «дважды был укушен». «Этот славный чудный мир» Перси Маккея (1923) выводит горца Спрэттлинга из Кентукки, «лжесвидетеля, который валяет дурака с Невидимым и Неслышанным и опережает закон на семнадцать тюремных сроков». «Остров» обрабатывает с драматической напряженностью китобойный фольклор, а «Император Джонс», колоритно иллюстрируя художественную практику Юджина О'Нила, использует ритмы тамтама, хор, фольклорный мотив серебряной пули и маски, внушающих суеверный ужас. Драматизация Джеком Кирклэндом «Табачной дороги» Эрскина Колдуэлла обнаруживает глубокое знание негритянских обычаев и речи бедняков южан Джорджии, что разжигает интерес пресыщенной публики. Очень трансформировалась «Порги и Бесс», народная опера, созданная на основе «Порги» Дороти и Дюбоза Хейуорда, трогательная и вызывающая симпатии драматизация жизни трущоб старого Чарльстона.

Еще больше склонности к обработке фольклора в произведениях, созданных в манере «школы народной драмы». Это пьесы о горах Лулы Фольмар — «Восход» и «Стыдливая женщина». В том же ключе были выдержаны и «Вызов ада небу» Хэтчера Хьюза (пьеса, получившая премию Пулитцера в 1923—1924 годах) и «Разоренные» (1925). Хотя эти пьесы пользовались успехом как обычные драматические произведения, для университета Северной Каролины они послужили поводом для фундаментального исследования. Программа исследования преследовала двойную цель: во-первых, поиски драматического материала в жизни населения, удаленного от городской цивилизации, и

создание на его основе немудреных пьес; во-вторых, донести эту народную драму до зрителей. Всем руководил Фредерик Х. Кох, а помочь ему должны были лекции по народной драме и «Драматургии Каролины». Первые пьесы сюжетно были связаны с жизнью ближайшего окружения — рыбаков с отшельниками, горцев, фермеров, батраков из Пьемонта и фабричных рабочих, контрабандистов, разбойников, колоритных или романтических типов негров и хорватов. Впервые эти пьесы были поставлены в Чэпел-Хилл, а затем показаны во время турне во всех уголках штата и крупных центрах соседних штатов. С тех пор последователи Коха расширили сферу поисков материала и обработку его, создав народные пьесы о жизни более чем половины штатов и всех крупных районов страны. Один из его учеников, Пол Грин, начинавший в традиции «Драматургов Каролины», распространил ее на пьесы, принесшие ему национальное признание. Прочие — в качестве актеров, драматургов и учителей — насаждали идею народной драмы по всей стране.

## 8

Из всех лингвистических видов фольклора, часто встречающихся в США, особенно прочно сохраняют социальный опыт населения пословицы. Они собирались у нескольких языковых групп — английской, немецкой, испанской, идиш и т. д., разумеется, ни одна из них не представляет всю страну. Сборники показывают, что большинство наших пословиц пришло из Великобритании. «По яблоку в день...» можно возвести к английской пословице:

По яблоку в день будешь съедать —  
Доктор не сможет свой хлеб добывать.

Из 199 пословиц одного из сборников более двух третей было известно в Англии 200 лет назад. Некоторые, однако, американского происхождения, например: «Ленивая курица не бывает жирной», «Лежачего не бьют», «Игра стоит свеч», «Чем ты больше, тем падать больнее» и «Греби на своей лодке». Большинство пословиц, собранных у разных иноязычных групп, возникло в Старом Свете.

Со времен «Альманаха Бедного Ричарда» американские ораторы и писатели сдабривали свой материал доморощенными пословицами. Два президента ввели в употребление американские поговорки: Линкольн, сказав, что не следует менять лошадей на середине реки, и Франклин Д. Рузвельт, который в речи о войне сослался на старую пословицу: «Не следует выпускать из рук плуга, пока не пройдешь борозду до конца». Свободно пользовался пословицами Марк Твен. Региональные юмористы использовали бытовые афоризмы и изобретали новые, например Джош Биллингс (Генри Уилер Шоу) в своем «Альманахе» и

«Кин» (Фрэнк Маккинни) Хаббард в «Эйб Мартин: лошадиный юмор и чепуха». Некоторые из них стали достоянием фольклора. Подобная склонность у Э. У. Хоу принесла ему прозвище современного Бедного Ричарда. Эстрадные юмористы и журналисты вроде Уилла Роджерса пользовались поговоркой как постоянным реквизитом. В «Доброе утро, Америка!» (1928) Карла Сэндберга она стала искусством.

За редкими исключениями, малые лингвистические виды фольклора, имеющиеся в США в большом количестве, не имеют важного значения для литературы. Хорошо сохранилась загадка, из-за ее бытового тона и лаконичной формы, — изобретение этой старейшей из форм юмора и интеллектуальной игры все еще остается одним из видов вечерних развлечений. Она существует в простых формах, например:

Бродит весь день по полям и лесам,  
Ночью стоит под кроватью вдвоем,  
Высунув язык,  
Просит каши он.

(Ботинок)

А также в испаноязычном варианте:

Утром в плоть вонзает гвоздик,  
Ночью — ест прохладный воздух.

(Перевод В. Топорова)

Существуют более сложные формы, где загадка вкраплена в историю о том, как с ее помощью осужденный спасает свою жизнь. Горцы Северной Каролины пытались лечить ожоги, а немцы Пенсильвании — отгонять диких шмелей с помощью заговоров. Считалки, ярко традиционные и, как правило, бытующие в селах или небольших городках, порой отчетливо обнаруживают урбанистические черты, например:

Люди, что живут левой  
Восемнадцать, Ист-Бродвей  
Что ни ночь — они дерутся,  
Повторяя все скорей:  
Ики-бики сода крекер  
Ики-бики бон,  
Ики-бики сода крекер  
Ну-ка, выйди вон.

Один из восхитительных видов городского фольклора — выкрики уличных торговцев, которые можно услышать в Чарльстоне, Новом Орлеане, Нью-Йорке и других старых городах, а также в некоторых новых. Как передают, некий негр из Луизианы напевал на улицах Чикаго:

Добрый арбуз, свежий арбуз,  
Прямо с земли.  
Подходи, выбирай себе спелый арбуз,  
Всего десять центов плати.

В данном очерке о разновидностях фольклора в США мы упомянули о многих способах его распространения. Для фольклора в его чистом виде первейшим средством передачи является, конечно, певец, сказитель или рассказчик. До появления железных дорог часто распространителем песен и историй был возница, так же как впоследствии — бродячий торговец, продавец фруктов деревьев, агент по продаже швейных машинок, строитель канала, железнодорожник. Эти естественные и самопроизвольные способы дополнялись печатной продукцией и средствами профессиональных артистов. Листки продолжали широко печататься в XIX веке; их по-прежнему время от времени выпускают в провинции. В XIX веке страну наводнили сотни песенников и альманахов, способствуя распространению народной песни, так же как современных шлягеров. Важнее альманахов оказались газеты. Редакторы в каждом городе следовали практике местных изданий, посвящая статьи старым песням и историям. Наряду с народной драмой, негритянскими певцами колледжей, исполнителями спиричуэл в университетах Фиска, Хэмптона и Таскеги и профессиональными вроде Континентальных Вокалистов и Семьи Хатчинсонов весь этот печатный материал оказывал свое действие при создании всенационального фольклора, который иначе был бы ограничен своим регионом.

В XX веке магнитофон, радио и звуковое кино чрезвычайно увеличили возможности распространения, так что история или песня вроде «Славь Господа и подавай боеприпасы», созданная, как считают, в годы второй мировой войны неким капелланом на Тихом океане, могла бы за сутки стать, по крайней мере на несколько недель, чем-то вроде всеобщего национального достояния, и миллионы людей на континенте могли узнать чувство, которое испытывало население шотландской границы, впервые знакомясь с одной из старых баллад.

Фольклор США — грандиозное, плодотворное, величественное наследие. Сначала бессознательная память о древней родине, известной по рассказам матери, он стал выражением истории страны, отразив глубокие изменения в человеческих привычках, взглядах и кругозоре. В своем отношении к литературе он был одновременно и должником и заимодавцем. Современные средства коммуникации и записи так стремительны и столь универсальны, что обладают тенденцией к размыванию всяких различий. Магнитофон, радио и звуковое кино ныне неограниченно расширяют масштабы устной передачи. В то же время с развитием печати, доступной для всех грамотных людей, уменьшается потребность в запоминании. Фольклор может внезапно сделаться литературой, а литература может быстро устремиться дорогой фольклора. Их взаимодей-

ствие может угрожать нивелировкой традиционных фольклористских критериев, но оно может быть благотворным для обоих. Томас Манн заставил сказать Май-Сахме, мудрого и гуманного тюремщика Иосифа: «Есть, насколько я могу судить, два вида поэзии: одна возникает из народной простоты, другая — из литературного дара к обобщению. Вторая, несомненно, является высшей формой. Но, на мой взгляд, она не способна к процветанию в отрыве от первой, которая необходима ей, как почва для растения».

## 44. ЮМОР

### 1

Американский юмор со времен колониальной эпохи способствовал и сопутствовал развитию нашей нации и входящих в ее состав народов даже больше, чем фольклор, ставший для юмора источником постоянных заимствований. Принято считать, что отправной точкой юмора является своего рода несообразность, в чем у нас никогда не ощущалось недостатка. На каждом этапе нашего неравномерного, лишенного гармонии развития отечественные юмористы демонстрировали нам наши сумасбродства, помогая тем самым осознать нормы присущей нам человечности. В произведениях этих юмористов можно часто и с большой определенностью обнаружить свойственные лишь американской литературе черты. Это — стремление к единству, несмотря на существующие различия, стремление облагородить поэтическим воображением реальность, демократичность нации, сформировавшейся из бесчисленных пришельцев со всех концов земли. Все это и придает американскому юмору значительность, привлекающую внимание не только тех, кто занимается изучением «этих штатов», как говорил Уитмен, но и тех, кому близки интересы всего человечества.

В том, что существует различие между американским юмором и юмором других народов не только в содержании, но и в форме выражения, согласились и у нас и за границей более века назад. Так, в 1838 году некий проникательный англичанин писал в журнале «Ландон энд Вестминстер ревью»: «Интерес публики к особенному характеру американского юмора, очевидно, уже в самом начале можно охарактеризовать всеобъясняющим словом «преувеличение». Очевидно, фарс и небылица представлялись тогда типическими образцами нашей литературы. Тогда же, вероятно, преувеличение было воспринято как наш самый «смешной» вклад в юмористическую литературу.

Но от кого мы унаследовали этот дар? Остроумец Лукиан, грек родом из Сирии, во II веке нашей эры сочинил претенциозную «Подлинную историю о путешествии во чреве средиземноморского кита», да и Рабле мог бы сделать нечто подобное, примостившись поудобней перед костром в каком-



нибудь лагере американских лесорубов. Вполне возможно, что американцы прошлого века были так же обязаны барону Мюнхаузену, как и рядовому англичанину, выдумщику побасенок. Этот благовоспитанный, невозмутимый мастер рассказывать небылицы — лишь единичный пример тех бесчисленных космополитических заимствований, которые питали американский юмор.

К 1835 году в Америке было опубликовано двадцать четыре издания «Приключений барона Мюнхаузена», согласно данным, помещенным на титульном листе одного из них. Одно из первых нью-йоркских изданий содержит описание путешествия, совершенного бароном по Соединенным Штатам в 1803 году, оно было также опубликовано в 1823 году в Филадельфии. Таким образом, барон Мюнхаузен может считаться желанным переселенцем в Америку. Многие рассказы о нем коллекционировались, а иногда и публиковались собирателями американского фольклора по всей территории от Новой Англии до Нью-Мехико. Часть рассказов содержала кое-какие отклонения, повлиявшие на их первоначальный вариант. Так, пользующийся наибольшей известностью рассказ об олене, в которого стреляют вишневыми косточками, почему у него вместо рогов вырастает на голове вишневое дерево, имеет по крайней мере четырнадцать американских вариантов, и, несомненно, ученые найдут еще не один. Что же касается тех изменений, которые американцы внесли в существовавшие уже рассказы о бароне Мюнхаузене, — это окружающая обстановка и местный диалект, а также использование комических сюжетов из «мюнхаузенианы» в юмористических историях, принадлежащих нашей устной традиции.

Определение «американское», соотнесенное со словом «преувеличение», может быть обнаружено и в других замечательных литературных побасенках. В XIX веке шутник представлял и в образе янки, и лошадника Дэвида Харума, но это и любимый герой Манабозо или Койот у индейцев, Братец Кролик или Джек у негров, Хершель и Мотке у евреев. На эту тему можно было бы написать целое исследование, начиная с героев Эзопа и кончая персонажами Джорджа Эйда и Джеймса Тербера. Но как велики наши заимствования, никто в точности определить не может.

Безусловно одно, что американцы отнюдь не всегда бесовестные мошенники только потому, что им нравятся ловкие дельцы или же наивные простаки, всегда верящие в небыльщину. Можно лишь с уверенностью говорить о том, что в области юмора, как и фольклора, американцы унаследовали достояние всех времен.

Хотя в развитии нашего юмора можно проследить определенную преемственность, между его проявлениями в разные периоды существуют некоторые различия. Артимес Уорд и

Кларенс Дэй кажутся людьми разных поколений. В какие-то отдельные периоды между 1860 и 1875 годами американские юмористы все меньше обыгрывают нелепости, которые встречались в жизни развивающейся нации. Они все больше уделяют внимание разноплеменным иммигрантам, перед которыми в процессе их приспособления к новым условиям жизни вставали сложные духовные проблемы.

Таким образом, весь путь развития американского юмора может быть в общих чертах разделен на два периода. Ведущие фигуры первого — Авраам Линкольн и Марк Твен. Этот период полон воспоминаний о Старом Свете, и в то же время он отразил жизнь американского фронта по мере продвижения цивилизации от Атлантического побережья к Тихоокеанскому. Во втором же периоде отразился процесс сведения многих иммигрантских потоков в единое русло, прогрессирующая индустриализация и урбанизация общества, а также всевозрастающие трудности нашей жизни. Следовательно, невозможно дать однозначное определение, что такое американский национальный юмор. Можно говорить лишь о том, что мы росли смеясь.

## 2

Отличительные черты американского юмора периода становления уже обозначались достаточно четко ко второй четверти XIX века, когда появился первый профессиональный юморист. В американском юморе сочетались в типично национальном единстве традиционная сатира ученого-остроумца с традиционными преувеличениями народной сказки и героической легенды. Таким образом, утверждение, что американский юмор исключительно западного происхождения, было решительно опровергнуто. Можно сказать, что такие типичные представители американского юмора, как доморощенный философ, янки, хвостун из пограничной глухомани и менестрель (т. е. исполнитель негритянских мелодий, песен, шуток, загримированный негром), стали воплощениями национального характера. Однако более точной является классификация по основным группам и его типичным представителям, например юмор доморощенного философа из Новой Англии, колониста, заселявшего Запад, жителя Дальнего Юго-Запада и профессионального комика-литератора.

Первые образчики юмора дала нам наша первая граница, проходившая по океанскому побережью. Ведь даже в Массачусетсе умели веселиться. Томас Мортон, отнюдь не пуритански настроенный, устраивал празднества под майским деревом и распевал песенку, начинающуюся словами: «Пейте и веселитесь, веселитесь, веселитесь, друзья». Он сатирически высмеял Майлза Стендиша под именем «капитана Шримпа» (т. е. Ничтожества). Здесь перед нами юмор, основанный на принципе

контраста и имевший целью месть. Но очень часто можно встретить, особенно в дневниках пуритан, и юмор абсурда, например у Сэмюэла Сьюолла, который описывает свое скучное и неудачное ухаживание за мадам Уинтроп, а также в заметках Сары Кембл Найт, которая в октябре 1704 года предприняла веселое путешествие из Бостона в Нью-Йорк и бегло запечатлела в дневнике свои дорожные приключения и переживания. В Виргинии мы находим прекраснейший образец остроумия времен королевы Анны в лице Уильяма Бирда II, владельца Уэстовера. Бирд был аристократ, однако проявлял интерес к образу жизни всех классов и народов. Особенно охотно изображал он средствами сатиры свой собственный класс, когда лаконично описывал историю родного поселения и его первых жителей, «большинство которых были безнравственными отпрысками добропорядочных семей». Ему нравились народные сказки, например о Шотландце, который выбрался из болота с помощью блохи из собственного воротника, или те, где описываются его забавные приключения с медведями. Возможно, он явился первым рассказчиком традиционных анекдотов о жителях Лабберленда, белых бедняках из Северной Каролины. Эти анекдоты также имеют фольклорный характер.

В период Войны за независимость наступил расцвет политической сатиры, почва для которого была подготовлена ранее, с появлением «Табачного агента» Эбенезера Кука. В создании этого произведения сказалось не только влияние Бирда, но и сатирической поэмы Сэмюэла Батлера «Гудибрас». Когда политические страсти в конце концов переросли в открытую войну, то, к изумлению многих образованных писателей, страницы американских газет, журналов, плакатов и брошюр заполнили насмешки, сарказм и ирония. Было изучено более трехсот произведений такого рода, стихотворных и прозаических, треть из них никогда ранее не печаталась. Большинство из них имело своим образцом балладу и народную песню, а также уже упоминавшегося «Гудибраса» или же очерки и басни, публиковавшиеся в периодической печати. Что касается английской литературы, то здесь источниками вдохновения для американцев были Свифт, Драйден, Поп и Черчилль. Однако можно явственно проследить и влияние Аристофана, Горация, Клавдиана и даже Рабле. Иначе говоря, наши остроумные горожане, например Бенджамин Франклин и Хью Генри Брэнкенридж, использовали не только фольклор, но и классическую литературу.

Подобное использование фольклорного материала или фольклорной художественной манеры можно обнаружить в многочисленных песнях, пародирующих «Чеву Чейз», «Сердца из дуба», «Брэйского священника», не говоря уже о веселой песенке «Янки Дудль» во всех известных ее вариантах. Как пример сочетания фольклорной традиции с городским юмором может

служить баллада «Битва бочонков» Френсиса Хопкинсона, человека удивительно одаренного, не только сочинившего музыку к нескольким любовным песням, достойную самого Томаса Арне, но и подписавшего Декларацию о независимости. Как позволяет заключить первая строфа баллады, ее можно было распевать на мотив «Янки Дудль»:

Вот песнь моя для вас, друзья,  
Внемлите, бога ради!  
Дела творятся, скажу вам, братцы,  
В филладельфийском граде.

Поэма Джона Трамбулла «Мак Фингал», теперь почти забытая, за исключением одной или двух эпитаграмм, и написанная в духе «Гудибраса», в свое время, по-видимому, представлялась наивысшим достижением американской сатиры. Ведь мы до сих пор с удовольствием читаем про потасовки в Коннектикуте колониальной эпохи, изображенные с соленым юмором фронта, но созданные в более поздние времена. Вальтер Скотт как-то заметил Вашингтону Ирвингу, что характер народа виден прежде всего в простых людях, богатые же везде одинаковы. Следовательно, и нам следует ориентироваться не на таких городских остроумцев, как Ирвинг и Холмс, а на простой народ послереволюционной эпохи, чтобы обнаружить юмор, который можно назвать типично американским.

Губернатору Джонатану Трамбуллу из Коннектикута, родственнику поэта Джона Трамбулла, порой оказывают честь, считая, что это он дал имя самой значительной и типичной фигуре американского юмора. Это Янки Джонатан, хотя и Янки Дудль из известной песенки был не лишен такого же грубоватого деревенского юмора. Жители Новой Англии в XVIII веке, да и позже, любили рассказывать всякие истории не только о простаках, но и о продувных ловкачах. Рассказы о забавных приключениях хитроумного янки составляли самую ценную часть этой второй «библии» Новой Англии, ее альманаха. Янки-коробейник был известен не только на Северо-Востоке страны, но и на Юге и на Среднем Западе, где он снискал репутацию проворного весельчака и мастера ловко обдывать дела; он продавал твердокаменные мускатные орехи, черный индиго, а заодно был разносчиком новостей. Джонатан впервые появился на американской сцене в середине второго акта комедии «Контраст» (1787) Ройолла Тайлера и стал главным объектом смеха в этой сентиментальной патриотической пьесе.

В течение нескольких лет «потомки» Джонатана играли на сцене незначительные роли, в то время как в газетах печаталось множество стихотворений о янки, зачастую в комическом тоне прославлявших даже его любовные приключения. Это было известно и Лоуэллу, когда он позднее писал свое «Ухаживание». Такие актеры, как Д. (Янки) Хилл, читали монологи в антракте между пьесой и следующим за ней фарсом, точно так

же как актеры, исполнявшие негритянские песни и предвосхитившие менестрелей. Наконец, в 1825 году Джонатан Плафбой, играя в мелодраме «Лесная роза» Сэмюела Вудворта, доказал, что янки вполне может быть героем пьесы, после чего такие актеры, как Хилл, Марбл и Силсби, получили широкую известность в подобных ролях.

Вашингтон Ирвинг слишком поторопился создать комическую фигуру голландца и потому не так уж много сказал о янки, к которому, хотя сам был жителем округа Йорк, отнесся весьма презрительно в своей «Истории Нью-Йорка, написанной Дидрихом Никербокером». Но Икабод Крейн считает, что тип влюбленного янки был знаком Ирвингу. Подобным образом и Купер проявлял гораздо больший интерес к колонисту, осваивавшему земли на запад от Нью-Йорка, чем к янки, хотя изобразил некоторых из них, правда без особой симпатии, в романах «Пионеръ», «Лайонел Линкольн» и «Последний из могикиан». Итак, можно заключить, что, хотя тип янки и не соответствовал высоким требованиям иных писателей, независимо от этого к 1830 году он прославился как герой фольклора, заполнил собой страницы альманахов и газет и часто появлялся на театральных подмостках.

Ничего подобного нельзя сказать о других типических характерах американской литературы, никогда не имевших того влияния, что образ янки, а также наследующий ему родственный образ западного поселенца. Исключение в этом смысле представлял лишь комический образ толстяка голландца у Вашингтона Ирвинга для «Истории Нью-Йорка», для которого характерен прежде всего юмор преувеличения. Ирвинг с присущим его манере ленивым добродушием описал губернатора Воутера Ван Твиллера, а потом создал дополняющий его образ деревенского мечтателя Рип Ван Винкля, но уже без юмористического преувеличения.

Менестрель, согласно представлениям белого северянина, был воплощением беспечного и находчивого чернокожего, комичного в любви и умении за себя постоять, певшего чувствительные, исполненные южной ностальгии песни. Позднее сочетание юмора и чувствительности стало отличительным качеством литературы и кино местного колорита. Что же касается менестрелей, то всегда сопутствовавший их творчеству юмор только мешал ему. Таким образом, основные типические характеры американского юмора появились еще задолго до того, как запад страны стал осваиваться первыми поселенцами.

### 3

Теперь мы обратимся к типу так называемого доморошенного философа, которого впервые представил в литературе Себа Смит, создатель «Записок Джека Даунинга», опубликова-

вший их с 1830 года в эпоху джексоновской демократии. Потомок английских иммигрантов XVII века, Смит родился в деревянной хижине в штате Мэн и, как истый янки, рано оставил школу для работы сначала в бакалейной лавке, потом на кирпичном заводе, в литейной мастерской и даже учителем в сельской школе. Затем в возрасте двадцати семи лет он с отличием окончил Боудойнский колледж. Историки литературы считают его журналистом, но фольклористы всегда принят о нем как об авторе широкоизвестной и по сей день «Юной Шарлотты», баллады о девушке, которая замерзла на дороге на вечеринку. Эдгар По окрестил его «худшим из никомушных поэтов» после того, как Смит сочинил веселую балладу о Сэме Пэче, популярном герое с острова Род-Айленд, который в 1829 году прыгнул на 120 футов в водоворот Ниагарского водопада и впоследствии погиб, пытаясь перепрыгнуть водопад Дженеси у Рочестера. «Необходимое нужно делать так же хорошо, как и все остальное» — таков был девиз Смита, который с одинаковым успехом мог быть девизом Джека Даунинга.

Первое письмо Даунинга было опубликовано в журнале «Курьер», который молодой выпускник Боудойнского колледжа основал в городе Портленде. В Письме I рассказывается, как Джек приехал в Портленд из своего родного городка Даунингвилла с грузом топорищ и стадом гусей, выращенных матерью. Случайно оказавшись на сессии законодательного собрания штата Мэн, впервые собравшегося в Портленде, он простодушно описал борьбу, развернувшуюся в ходе избрания главных должностных лиц. Обуреваемый политическим честолюбием, он выставил свою кандидатуру на пост губернатора, потерпел поражение, но решил еще раз попытать счастья в Вашингтоне, где, как ему сказали, правительство «передралось между собой». По приезду в Вашингтон он действительно находит там беспорядок и проявляет бесстрашие при разгоне непокорной толпы, которая «разбежалась тихо, как мыши», за что был произведен в капитаны, а после освобождения (без пролития крови) на северной границе нескольких американских заключенных стал майором. У него появляется поговорка: «Я и президент» (Джексон). Больше всего в государственных делах их тревожит проблема нуллификации, хотя временами у майора «душа уходит в пятки» при мысли о военных действиях. «По мне, так я бы уж лучше закопал эту нуллификацию в могилу и пусть бы ее там черви ели». Джек сопровождает президента во время большой поездки на Север, помогая ему пожимать руки при встречах.

«Я пристроился рядом и время от времени пожимал руки вместо него, чтобы помочь ему, но он потом так устал, что должен был присесть на скамейку, покрытую сукном, и продолжал по мере сил. А когда изнемог, то только кивал, когда

люди подходили. Наконец он так умирился, что только подмигивал. Тогда я встал позади него, просунул свою руку под его и полчаса крепко пожимал руки тем, кто подходил».

Весьма сходным образом Артимес Уорд «брал» интервью у президента Линкольна, когда его впервые избрали президентом, а Билл Роджерс описал свое «посещение» Белого дома в период президентства Кэлвина Кулиджа. И все три писателя-юмориста показали, как зауряден может быть доведенный до последней степени изнеможения президент США. А в результате родился лишенный социальной предвзятости добрый юмор.

Между 1833 и 1847 годами в публикации «Записок Даунинга», принадлежащих Смигу, наступил перерыв, тогда некоторые предприимчивые писатели позаимствовали у него героя. (Одно время, говорил Смит, он сам «узнавал себя лишь по шраму на левой руке».) Основная часть «Записок» рассказывает о временах Полка и проблеме аннексии, ставшей на повестку дня во время Мексиканской войны. Джеку приснился сон, будто Полк, став морским капитаном, решил захватить Европу, Азию и Африку. «И незачем останавливаться, чтобы собирать птичьи яйца на Вест-Индских островах. Мы сможем захватить их на обратном пути», — говорит он. Теория так называемого «божественного предназначения» еще никогда не находила столь откровенного выражения.

Народная мудрость проявляется в притче Джека, которую он рассказывает, желая дать понять, что мирное существование еще нужно завоевать. Когда действующие лица «Записок», майор и Билл Джонсон, были еще мальчишками, они решили разорить осиное гнездо, чтобы полакомиться медом. Билл разрушает гнездо дубинкой, однако говорит, что «оно не покорено, только разметано в стороны». «Ну и черт с ним, — говорит он, — уж если я не смог достать меда, так по крайней мере разрушил их дом, и это меня утешает».

Любопытно, что комический характер американца из Новой Англии, который в течение многих лет соперничал с майором Даунингом в популярности, создал Томас Чэндлер Хэлибертон, судья из Новой Шотландии. Еще более странным является тот факт, что созданный судьей образ Сэма Слика из округа Онион, Коннектикут, был задуман как пример контраста между ленивым и равнодушным жителем Новой Шотландии и трудолюбивым и изобретательным янки. Родственники Хэлибертона и с отцовской и с материнской стороны были выходцами из Новой Англии, и он знал кое-что об образе жизни янки. Но он столько же почерпнул из литературы, сколько из собственного жизненного опыта, а его художественной манере недоставало той цельности и убедительности, которой обладал Себа Смит.

В первой серии юмористических скетчей под названием «Часовых дел мастер», опубликованной в 1836 году (Галифакс), мы знакомимся с Сэмом. Это длинный, худой, со впалыми щеками и огоньком в черных глазах коробейник, который скачет на ретивом коне Старая Кляча. Сэм похвально сквайру из Новой Шотландии (т. е. автору): «Я так думаю, что мы самая что ни на есть превеликая нация во всей земле, да еще и самая ученая...» «Мы расчетливый народ, арифметику знаем». Янки «завсегда бывают первыми среди всех американцев по части всякой там осведомленности». Свои собственные успехи он объясняет знанием того, как «лесть действует на человеческую природу», почему он часы стоимостью шесть с половиной долларов продал за сорок. Он смягчает непреклонное сердце хозяйки кабачка, расхваливая и осыпая поцелуями ее детей, у которых «маменькины глазки». «Любой мужчина, если он хорошо понимает в лошадях, — считает Сэм, — то знает толк и в женщинах, потому что они как раз одного характера и обращения требуют одного. Поощряйте скромниц, будьте ласковы и терпеливы с капризными, укрощайте строптивых».

Мудрые старые поговорки и соответствующие примеры из окружающей жизни Сэм черпает главным образом в народной среде. Так, он говорит: «Слово — серебро, молчанье — золото», «Слепому коню, что ни моргни, что ни кивни, все одно», «Власть любит силу». Ему нравятся вошедшие в поговорку общеизвестные сравнения: «Нем как рыба». Он сам и его земляки «хитры как лиса, изворотливы как угорь, осторожны как ласка». Образная речь Сэма изобилует такими выражениями, как: «Я научу тебя держать язык за зубами». Он знает и народные предания, например о фольклорном герое Сэме Пэче. Миллионы людей по обе стороны Атлантики с удовольствием читали о проделках Сэма. В «Портретах семидесятых» Джастин Маккарти пишет: «Я помню времена, когда Сэм Слик пользовался такой же популярностью в Англии, что и Сэм Уэллер». А старший Уолтер Сэвидж Лэндор создал в честь «остроумного Хэлибертона» следующие строки:

В нем мудрости, по мне, поболее,  
Чем в мудрецах, что чушь пороли.

Подобно одному из тех хвастунов, что осваивали западную границу, Сэм, думали в Англии, мог тоже сказать о себе: «Я наполовину из огня и любви и еще чуть-чуть из грома». Он наиболее меткий стрелок во всей Виргинии, который называет себя самым «свободным и просвещенным, секущим негров коробейником, который когда-либо существовал на свете, к тому же не падким на лесть». По-видимому, англичане были знакомы с разными типами американского юмора, но предпочитали один-единственный.

Уже в старости Хэлибертон выступил с размышлениями по поводу многообразия юмористических приемов. Так, в предисло-



вии к антологии, озаглавленной «Черты американского юмора», он приходит к выводу, что «юмор Средних штатов очень и очень напоминает юмор английский», «одновременно грубоватый и добрый, расцвеченный фантазией, но отнюдь не страдающий гиперболизмом». Юмор Запада похож на ирландский — «эксцентричный, безудержный, веселый и добродушный». И наконец, юмор янки сродни шотландскому: «лукавому, рассудочному, причудливому, грубо реальному и саркастическому».

И Сэм Слик и майор Даунинг положили начало традиционному образу янки, но все тающиеся возможности в этом образе американцы осознали, когда Лоуэлл создал Хоси Биглоу. До 1846 года юмор северян не был заметным литературным явлением, связанным с именами талантливых писателей, и был принадлежностью главным образом опубликованных фольклорных произведений. Но вот Лоуэлл во время Мексиканской войны начал публикацию первой серии «Записок Биглоу» и, ободренный успехом, но уже позже, в период Гражданской войны, издал вторую. Лоуэлл, как и Себа Смит, был истый янки, получивший образование в Кембридже еще в те дни, когда этот маленький университетский городок окружали поля. Во Введении, написанном для полного издания «Записок», он характеризует диалект янки:

«Когда я пишу на нем, мне кажется, что это самый родной и близкий мне язык. Я словно переносюсь в те далекие дни, когда я еще не учился и во время сенокоса на отцовском лугу отдыхал в полдень, разговаривая с Сэмом и Джобом за стаканчиком дешевого вина под ветвями ясеня, тень от которого еще до сих пор иногда падает на то место, где они тогда сидели».

В обыденной речи янки Лоуэлл находит «множество метафор и выражений, которые заключают в себе гораздо более живые образы, чем когда-либо мне встречались». В Введении он подтверждает сказанное на примере популярных юмористических поговорок и сравнений. Что касается гиперболы, считающейся характерной чертой американского юмора, то он полагает, что «в подавляющем большинстве случаев преувеличение просто-напросто яркость и образность, т. е. признаки здорового воображения».

Однако для сатиры военного времени Лоуэллу одного янки было маловато. Создавая образ Хоси Биглоу, писатель имел в виду «человека из глубинки, каких я часто встречал на собраниях аболиционистов. По языку можно было догадаться, что он посещал начальную школу в своей округе. Но, как правило, он инстинктивно чувствовал себя увереннее, если, разгорячась, переходил на родной диалект». Другой персонаж «Записок Биглоу», священник Уилбер, был призван «выразить осторожность и педантизм, столь характерные для жителя Новой Англии». В сущности, Уилбер «являлся скорее дополнением, чем противоположностью, своих прихожан», и читатели смеялись,

узнавая «несомненное сходство под маской видимого несоответствия». Третий персонаж «Записок», Бэрдофридум Соуин, должен был стать, по замыслу автора, фарсовой фигурой. «Я хотел показать в нем стихийную безнравственность, развивающуюся, как я заметил, в грубых натурах под влиянием пуританизма, который все еще цепляется за свой символ веры, давно исчезнувший как из религии, так и из жизни», — пишет автор. Однако в единстве своих положительных и отрицательных сторон этот образ был задуман как олицетворение теории «божественного предначертания», т. е. национального безрассудства, когда дело идет о праве или вине. Таким образом, из сказанного напрашивается вывод, что появление подобных героев придавало сатире далеко идущий обобщенный характер.

Юмор Уилбера высокоумного происхождения и, очевидно, поэтому не получил дальнейшего развития, разве что в сочинениях решивших позабавиться ученых мужей.

Юмор Бэрдофридума, обманщика и мошенника, корнями уходит в глубины фольклора, главным образом фольклора американского Юго-Запада. Юмористичны монологи, а также поведение Соуина, отправляющегося на Мексиканскую войну, чреватую лишь разочарованиями, как считал не только Лоуэлл, но и другие писатели-юмористы, например Билл Моулдин. Герой теряет ногу, глаз, левую руку и четыре пальца на правой руке, крайне неумело занимается политикой, а во второй серии ни в чем не повинный попадает в тюрьму на Юге. После освобождения он присоединяется к южанам, женится на вдовушке Шеннон, для чего разводится со своей прежней женой из Новой Англии, и в конце концов весьма благополучно устраивает свою жизнь. Некоторые считают, что образ Бэрдофридума — пример морального падения, но в данном случае морали так мало, что уронить ее нельзя, и он по праву занимает место в галерее веселых мошенников, изображенных в американской литературе.

В аналогичной степени менялись характер и взгляды Хоси: от радикального идеализма 40-х годов до лирической грусти периода Гражданской войны, когда Лоуэлл потерял трех племянников, но все же не считал войну бойней. Поэт и гуманист в Лоуэлле победили остроумного приверженца решительных действий. Подобно Хоси, он мог бы сказать:

Все чаще кажется: чем дольше проживаю  
На свете я, тем меньше понимаю.

Люди доброй воли, выступающие как за единство нации, так и за единство людей во всем мире, по всей вероятности, могут лишь сожалеть о той язвительной пропаганде, которая неизбежна в сатире военного времени. Однако значение всепроникающего сочувствия в борьбе за человеческие права остается

непреходящим. Нельзя сбрасывать со счетов и юмор, который направлен против тех, кто утверждает:

Мне в принципы не верится никак,  
Зато в корысть мне верится — и как!

«Записки Биглоу» также одно из высших достижений юмора янки, который проистекает из народной мудрости. Лоуэлл присовокупил ко второй серии «Записок» поэму «Ухаживание» — об искренней, хотя и комичной любви. Такое приложение было в духе старой традиции и символизировало конечное благополучие.

#### 4

Второй после янки типической фигурой, в которой нашел воплощение американский юмор, была фигура переселенца, осваивавшего Запад. В качестве самого известного примера можно указать на полковника Дэвида Крокетта, привыкшего смотреть на жителей Новой Англии как на «хитрый, изворотливый народ», хотя, побывав в Новой Англии, он изменил свое мнение. А позже он умудрился даже обмануть «этого гуся лапчатого — янки», выменяв у него за одну енотовую шкуру десять кварт спиртного, причем тут же между делом стащил у него эту шкуру.

Для того чтобы познакомиться с первыми представителями этого типа американского юмора, следует вернуться назад, во времена прославленных охотников за индейскими головами в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания. Романтические черты этих охотников были переданы Фенимором Купером в образе Кожаного Чулка. Существовали, например, Том Квик, Мститель Делавэра, точивший зубы о кончик стрелы. Даже после смерти он ухитрился сделать фигурки сотни индейцев, которых горел желанием уничтожить в отместку за убитого отца. Поэтому труп Тома был выкопан из могилы и разрезан на кусочки, которые разослали по индейским селениям, где не верили, что Том умер от оспы. Том был известный ловкач. Рассказывают, будто он, как и Дэниел Бун, защемил руки семи индейцам, которые простодушно согласились помочь ему расколоть бревно прежде, чем его самого подвергнуть этой пытке. Том просто-напросто вытащил клин из бревна, пока индейцы трудились. Был также и Тим Мэрфи из конной охраны Моргана и милиции штата Нью-Йорк, который согнул ружье, чтобы стрелять в окруживших его индейцев, и который делал гамаша из их кожи. Был и Нат Фостер, охотник, ставивший капканы и, по преданию, называвший себя Кожаным Чулком задолго до того, как Купер написал свой роман. Нат говорил, что для него убить человека «все равно что вспороть одеяло». Когда жители штата Нью-Йорк в 20-е годы XIX века, да и позже, смеялись над подвигами полковника Крокетта, они видели в

нем своих сыновей, которые вполне разделяли мнение Артимеса Уорда, что «индейцев всегда надо уничтожать».

Задолго до того, как в 1834 году Дэйви опубликовал свою автобиографию или начал собирать материал о своей поездке на Север, еще во время войны 1812 года прославились «охотники из Кентукки». Под тем же названием в 1822 году в их честь стали петь в Новом Орлеане, где разыгралось одно из самых больших сражений, на мотив «Старого дубового ковша» популярную песню «Получеловек — полуаллигатор» — таков был подзаголовок бостонского печатного варианта песни. Для этих храбрых людей, отодвигавших границы страны все дальше на Запад, были придуманы и другие имена — «Хвостун из пограничной глухомани», «Краснобай», «Желтый лесной цветок». Им приписывалось много разных дел и поступков. После смерти под Аламо Крокетт из героя популярных альманахов превратился в героя самых невероятных небылиц еще до появления Поля Беньяна. В 30-е годы такие небылицы получили поразительное распространение. Автобиография Дэйви до сих пор читается с интересом, и не только потому, что автор часто представляет себя в комическом свете или описывает невероятные происшествия, но также благодаря повествовательному дару и чувству юмора, который он почерпнул из фольклора. Крокетт буквально так и сыплет на каждом шагу пословицами: вино у него, точно кролик негру, «сойдет всякое»; описывая любовные сцены, он употребляет выражение «требуется соль, чтобы приманить сосунка»; от индейцев он спасается «точно старый Генри Снайдер, который попал на небо через малюсенькую щелочку»; когда он побеждает на выборах, то говорит «глупому — счастье, а бедному — дети»; бесчестным финансистам он напоминает, что «лишнее не пойдет впрок»; ну а жители городских трущоб для него «слишком мелкая сошка, чтобы в адской кухне прибираться». Возможно, шотландско-ирландское происхождение таких поселенцев, как Крокетт, Бун и президент Джексон, объясняет не только их склонность к образному языку, но и к эпизодическому использованию фантастического. Что Дэйви действительно любит, так это «все хорошенько просеять, выкинуть коленце», устроить в «курятнике переполох». Он мыслит всегда очень образно: «Храбрость не в бороде, тогда и козла храбрецом сочтут».

Всякого рода небылицы и неумное хвастовство встречаются в рассказах о Майке Финке и лоцманах, о которых писал впоследствии Марк Твен. Их можно услышать почти от каждого гида в Адирондакских горах. Некоторое влияние небылиц Крокетта ощущается в пьесах, запечатлевшихся в памяти. Хэмлин Гарленд видел, например, Фрэнка Мэйо, игравшего главную роль в пьесе Фрэнка Мердока «Дэйви Крокетт, или Уверьтесь, что вы правы, а потом действуйте». Говорят, что Джеймс Полдинг имел в виду этого уроженца штата Теннесси, создавая

образ полковника Нимрода Уайлдфайера в пьесе «Лев Запада». Дэн Марбл, великолепный исполнитель ролей янки, пользовался большим успехом в пьесе «Хвастун из глухомани». Однако более характерные черты юмора Дэйви Крокетта проявились на американском Юго-Западе.

## 5

Юмор Старого Юго-Запада (штаты Джорджия, Теннесси, Миссури и глубокий Юг) может считаться третьим основным типом американского юмора, хотя и никогда не создавал таких колоритных фигур, как янки или поселенец западной границы. Американцы отчетливо представляли себе внешний вид и костюм янки. Он был примерно таков, каким выглядит на наших юмористических рисунках, изображающих дядю Сэма. Переселенец, осваивающий границу, представлялся им «балагуром в куртке из оленьей кожи и енотовой шапке». Возможно, белый бедняк был в 1835 году самым распространенным на Юго-Западе типом, но для него не существовало стандартного образа. Простое маловыразительное лицо приниженого белого бедняка было плохо знакомо американцам.

Майор Джонс, один из наиболее популярных героев юмора Юго-Запада, однажды был представлен в полосатых брюках и фраке как дядя Сэм, но в таком же виде столетие назад были запечатлены на обложках небольших музыкальных изданий и некоторые белые исполнители негритянских мелодий, песен, шуток, загримированные неграми. Нет, Юго-Запад не дал нам сколько-нибудь выразительного облика, лишь несколько отдельных портретов, юмористические черты которых имеют кое-что общее.

Писатели-юмористы Старого Юга-Запада имели обыкновение публиковаться только в местных газетах. Национальное признание они получили благодаря Уильяму Троттеру Портеру, уроженцу штата Вермонт, который жил в Нью-Йорке, но совершал частые поездки на Юг. Происходивший из семьи крупных землевладельцев и коннозаводчиков, он любил всякого рода спортивные развлечения: рыболовство, охоту, бега, игру в крикет. «Спирит ов таймс», который он редактировал в течение полувека, был спортивным журналом, где постепенно стали публиковаться анекдоты, соленые и юмористические скетчи, присылаемые со всех концов страны. Портер издал их отдельными книгами под названиями «Большой медведь из Арканзаса» и «Заезд на четверть мили в Кентукки». Большинство из тех, кто присылал ему анекдоты и скетчи, тоже публиковались. Характерные черты юмора этих произведений уже определены словом «солёный». Этот юмор спортивных состязаний, а также окружных судебных сессий, таких, где Линкольн, например, оттачивал свое величайшее умение рассказывать анекдоты. Ловкач и грубый шутник — частая фигура в юморе

Юго-Запада. Большинство авторов подобных анекдотов и скетчей были людьми разных профессий. Так, Огастес Лонгстрит, уроженец Джорджии, выпускник Йельского университета 1813 года, подвизался поочередно на поприще адвоката, члена законодательного собрания штата, судьи, методистского священника, ректора двух колледжей (в Эмори и Сентенэри) и университетов (Миссисипи и Южной Каролины).

Книга Лонгстрита «Картинки Джорджии» (1835) имеет подзаголовок: «Характеры, эпизоды и т. п. первой половины века существования Республики». Другими словами, его небывалые относились к менее цивилизованным временам и рисовали жизнь глубинных районов страны. «В них показаны, — заявлял автор, — подлинные эпизоды и характеры, обработанные воображением. Некоторые из описанных сцен следует считать достоверными лишь постольку, поскольку слабая память позволяет считать их таковыми». Это замечание можно отнести почти ко всем произведениям подобного рода. Именно здесь реализм в период, предшествовавший Гражданской войне, выступил в своей наиболее развлекательной функции, и именно реализм, присущий диалогам, в этих произведениях придает данному виду юмора жизненную силу. Первая «картинка» Лонгстрита рисует молодого человека, который на свой страх и риск упражняется в обмане, столь характерном для колонистов, осваивавших границу, причем его вранья с лихвой хватило бы на двух соперничающих лгунов. В одной из самых ярких сцен описывается потасовка, начавшаяся по наущению забитого и униженного белого бедняка Рэнси Снифла, между двумя силачами, которые кусают друг друга, к буйному удовольствию возбужденной толпы. В других скетчах описываются погоня за гусем, муштровка милиции, охота на лисиц, скачки и соревнования в стрельбе. (Все эти темы отражены также в фольклоре штата Нью-Йорк.) Перед Гражданской войной изображение негров в литературе Юга отводилось весьма скромное место, однако уже Лонгстрит иногда как бы случайно вводит в свои произведения негритянские персонажи, тщательно воспроизводя особенности их речи. Он даже чуть-чуть посмеивается над леди, которая, узнав, что наездник-негр разбил на смерть, говорит: «Все было бы замечательно, если бы не этот маленький инцидент».

Более положительное описание жизни глубинных районов Джорджии мы находим у Уильяма Т. Томпсона, когда он рисует образ майора Джонса. Уильям Т. Томпсон начинал как журналист вместе с Лонгстритом в газете «Стейтс райтс сентинел» в городе Огаста. (Позже он передал пальму первенства по части южного юмора создателю образа дядюшки Римуса, когда Харрис был газетным сотрудником в Саванне.)

«Сватовство майора Джонса», первая и лучшая из трех книг писателя, посвященная этому герою, рисует любящих по-

смеяться жителей глубинки, их обычаи и нравы в том виде, как они сохранились до 1843 года. Сам майор — добродушный простак, который добивается согласия на брак с предметом своих мечтаний, представ в ящике в качестве рождественского подарка к порогу ее дома. В одной из ярких сцен, которая происходит перед свадьбой, автор показывает, как соперник одурачивает майора во время вечеринки. Однако с помощью нареченной он мстит своему мучителю, который попадает в лохань с водой. Далее мы видим героя в роли молодого отца и становимся свидетелями многих смешных подробностей его домашней жизни. В «Путевых очерках майора Джонса» герой совершает путешествие в Вашингтон, Балтимору, Филадельфию, Нью-Йорк, Бостон, Лоуэлл, на Ниагарский водопад и в Канаду, попадая в разного рода затруднительные положения, как полагается великодушным и чувствительным героям романов XVIII века. Эпистолярная форма произведения помогла воссоздать характер простака-южанина, представленного и у себя дома и путешествующего по стране. Читая книгу, северянин воспринимает ее юмор не как местный, но близкий и понятный всем американцам. Проживший много лет в Джорджии и потому преданный ей защитник рабовладения, Томсон родился в Огайо. Отец его был виргинцем, мать — ирландкой, и подобно Джоэлу Чандлеру Харрису он почитал Голдсмита и даже инсценировал его «Векфилдского священника». Лучшим произведением о мошенниках в юмористической литературе Юго-Запада могут считаться до появления книг Марка Твена и Г. Т. Льюиса «Некоторые приключения капитана Саймона Саггса». Их автор — адвокат и журналист Джонсон Д. Хупер, который был также секретарем Временного южного правительства. Родившись в Северной Каролине, он двадцати лет переехал ближе к Мексиканскому заливу и поселился в Алабаме. Предводитель «добровольцев с Талапозы», более известных под именем Сорока Разбойников, Саймон руководствуется лишь одним-единственным жизненным принципом: «На новом месте нужно быть ловкачом». И в серии плутовских рассказов, отличающихся бурным диалогом и грубоватым юмором, который порадовал бы Смоллета, Саггс надувает в карты собственного отца, чтобы получить лошадь, а затем уж обманывает любого встречного. Наибольшей популярностью у читателя пользуется та глава, в которой рассказывается, как Саггс общился к религии, а заодно и к денежным пожертвованиям на церковь во время молитвенного собрания в лагере колонистов, где под вдохновенным водительством преподобного Белы Багга толпа в порыве религиозного экстаза восклицает:

На небо воспарив,  
Превыше я всего,  
Луна у ног моих.

Многие предпочитают эпизод неудачной попытки Саймона избежать тюрьмы или тот, где он так рискованно играет в «фараон». Почти столь же смешон более поздний замечательный скетч «Перепись», где, в частности, рассказывается о сосновых лесах. Если Саймон Саггс выступает главным образом как мошенник, то первым в ряду неотесанных шутников является герой сборника «Анекдоты Сата Лавингуда». Его автор Джордж Вашингтон Харрис родился в Пенсильвании, был учеником ювелира, капитаном речного парохода, работал на строительстве железной дороги, а после Гражданской войны служил начальником небольшой железной дороги в Теннесси — месте действия его анекдотов. Первый полностью напечатанный скетч, написанный Харрисом для журнала «Спирит ов таймс» в 1845 году, назывался «Танец дверной ручки». Его герой — человек неукротимого темперамента, который любит подражаться и поскандалить, образ, ставший затем популярным в районе Скалистых гор. «Я опять собираюсь жениться на Джули, и это для меня сущий крест господень. Это паровоз и хлопкоочистительная машина вместе». Так же рассуждает никудышный парень Сат Лавингуд на свадьбе у Сесили Бернс. На рога быка он нацепляет корзинку, что приводит к плачевным последствиям: животное пугается назад и попадает в пчелиный улей. Мастак по части грубых розыгрышей и драк, Сат не прочь под сурдинку посмаковать и тему секса, запретную для американской литературы того времени. Выражение «недозревший плод сада, где все созрело» — о преждевременно появившемся на свет младенце — не вполне приемлемо и для многих современных журналов.

Что касается других юмористов Дальнего Юго-Запада, достаточно упомянуть один-два их рассказа, например принадлежащий Т. Б. Торпу «Большой медведь из Арканзаса». Это шедевр устного повествования, полный фантастических небылиц, который, как предполагают, изначально рассказывался на пароходах, плававших по Миссисипи. «Тысячеструнная арфа» Генри Т. Льюиса — пародия на громогласную проповедь — в свою очередь вызвала ряд подражаний. Ну а Джозефу Г. Болдуину в его книге рассказов «Бурные времена в Алабаме и на Миссисипи», опубликованной в 1853 году, удалось бы создать более смешной образ хвостуна Овидия Боулса, если бы при этом он не стремился возродить изящество литературы XVIII века.

## 6

В десятилетие, предшествовавшее Гражданской войне, наиболее известные писатели-юмористы выступали не только как авторы художественных произведений, но как чтецы и лекторы. Этих писателей можно было бы считать создателями



четвертого основного типа американского юмора. Некоторые из их героев весьма известны нашей сегодняшней публике по страничкам юмора в газетах и журналах или как главные комические персонажи радиопередач. А в те времена эти писатели вели газетные колонки, однако общим для всех них были приемы устного обращения к читателю. Литературные приемы своих предшественников они обогатили рядом новшеств и даже сумели прославить их. К числу таких новаций относились невозмутимая серьезность повествователя, причудливость мысли, пародийность, снижение образа, игра слов, безграмотная речь, умело рассчитанный эффект. Короче говоря, форма выражения здесь превалировала над содержанием, так как главной целью подобных авторов было развлечь, а не желание запечатлеть типичные нравы и обычаи своего времени. Необходимо заметить, что каждый писатель выбирал для изображения какой-либо один характер с присущими ему эксцентрическими особенностями.

Говорят, президент Линкольн читал отрывки из произведений Артимеса Уорда перед тем, как представить своему кабинету проект Прокламации об освобождении негров. Чарльз Фаррар Браун, выступавший под псевдонимом Артимес Уорд, «родился в штате Мэн от родителей» (сделайте паузу после слова «Мэн»). Он учился печатному делу и настолько преуспел, что уже двадцати трех лет стал редактором кливлендской газеты «Плейн дилер», где за три года до Гражданской войны было опубликовано его первое выступление. А четыре года спустя успех его книги «Артимес Уорд. Произведения», как, впрочем, и лекций, был уже так велик, что он получил телеграмму из Сан-Франциско: «Сколько возьмете за сорок вечеров в Калифорнии?» Ответ гласил: «Бренди с водой». Браун был уже достаточно привержен этому горячительному напитку, когда встретил молодого Сэма Клеменса и других юмористов в городе Виргиния, штат Невада. Именно Уорд помог Марку Твену опубликовать его «Скачущую лягушку из Калавераса» и добиться признания на Западе. Особенно нравился Браун англичанам, настолько, что в июне 1866 года он отправился в Англию с циклом лекций и намерением сотрудничать в журнале «Панч». Однако судьба сыграла с ним и с его почитателями злую шутку: не прошло и года, как он умер от туберкулеза.

Артимес Уорд был все тот же доморощенный янки-резонер, с той лишь разницей, что ничем не прикрытое простодушие сочеталось у него с ухищрениями забавника, каким стал несколько позже знаменитый П. Т. Барнем, демонстрировавший с 1842 года свой Американский музей диковинок. Деятельность Уорда была уже. В его репертуаре было только «несколько восковых фигур» и «хитрых бестий», в число которых входили «три добродетельных медведя» и «маленький забавный мошенник кенгуру». Им он «предписывал строгую

мораль». Характерной чертой стиля Уорда является комическое искажение слов. Так, вместо «критик» он пишет «крикет», Бостон фигурирует у него как «современный Афинс». С глаголами у него также случаются «неладья»: «Я спросил ее, не заскользим ли мы плавно в этом беспорядочном вихревом танце. Она ответила утвердительно, и мы заскользнули».

Уорд, казалось, занимал нейтральную позицию в политике, как и следовало ожидать от юмориста, за выступлениями которого следила вся страна. «У меня такие же политические убеждения, как и у вас. Я точно это знаю, потому как мне никогда не встречался человек, с кем я разошелся бы во мнениях». Однако он не испытывал решительно никакой симпатии к «нашим африканским братьям», которых считал «здорово противными». Когда разразилась Гражданская война, в «Интервью с Линкольном» он прошелся насчет тех, «кто не мог жить спокойно», и советовал президенту пополнить кабинет политиками, умеющими угодить публике. И во время войны Уорд высмеивал не южан, а главным образом тех мошенников-северян, которые лицемерно радовались мобилизации. Он высмеял шестнадцать годных к военной службе граждан, купивших омнибусы, потому что водители их освобождались от военной службы, и молодого патриота, продавшего на мясо негодных кавалерийских лошадей. Конечно, после начала войны Артимиес «быстро смотался с солнечного Юга», изрядно рассорившись с конфедератами: «Уж слишком они лезли в его дела». В мае 1865 он отправился в Ричмонд, в связи с чем появилось знаменательное свидетельство, которое можно приписать чувствам сторонника Союза: «Сегодня я встретил одного человека. Его имени я не могу назвать, но это старый и влиятельный житель Ричмонда. Он сказал мне: «Мы выступили против нашего старого флага; что правда, то правда, но, да благословит меня бог, в одиночку». Потом он одолжил у меня пять долларов и заплакал горькими слезами».

Так же непочтителен Артимиес Уорд и по отношению к Вашингтону: «Округ Колумбия выдвигает в качестве кандидатов последних проходимцев, их там кишмя кишит, и почти всех одолела благородная страсть выпить на даровщинку». Уорд не затруднялся в выборе предмета своих насмешек: шейкеры, спириты, сторонники свободной любви, борцы за женское равноправие, мормоны и даже безобидные студенты — все это попадало в поле его зрения. О Гарварде он написал следующее: «Это прославленное учебное заведение весьма удобно расположено в баре Паркера на Школьной улице, и ученики стекаются туда со всех концов страны». Но даже в лучших его интервью, например, с Бригэмом Юнгом, имеется достаточно «плоских шуток», например о «легкомыслии» пророка, у которого было восемь жен. Но вряд ли кто мог так невинно спросить: «И как же это вы с ними управляетесь?» — или отказаться от

подобного мормонского счастья, воскликнув: «Убирайся, распутница! Ступай в монастырь!»

Самостоятельным приверженцем литературной юмористической традиции был и Петролеум Везувиус Нэсби, под именем которого выступал уроженец северной части штата Нью-Йорк Дэвид Росс Локк. Он происходил из семьи аболиционистов и в начале войны был редактором газеты «Блэйд» в Толидо. Нэсби — мошенник, весьма напоминающий Сагтса и Бэрдофридума. У себя на родине, в Огайо, он известен как тайный сторонник южан, который, когда его хотят мобилизовать, бежит в Канаду, откуда затем перебирается на Юг. Когда ему и там стала угрожать армия, он опять уклоняется, приняв на сей раз пасторский сан на Севере, где уже и остается до конца войны. Когда она кончилась, он ухитрился стать почтмейстером на «конфедератских дорогах» в Кентукки, потом пытался держать винную лавку в Нью-Йорке, но прогорел, так как сам пил не в меру. Когда Петролеума хотят мобилизовать в армию северян, он находит десять причин, почему не может служить в армии, в частности: 1. «У меня лысина, и я уже двадцать два года ношу парик». 2. «А те скудные волосы, что еще осеняют мои почтенные виски, покрыты перхотью».

Одна из наиболее злых сатир Нэсби написана в Нью-Джерси вблизи «усыпальницы Святого» и начинается следующими словами: «Нация скорбит! Рука подлого убийцы поднялась против этой гориллы — главы нации, отца народов. Он пал от руки патр — подлого убийцы». Если это грубо, как и все, что вышло из-под пера Нэсби, следует вспомнить, что, по свидетельству Чарльза Самнера, Линкольн говорил о Нэсби: «Я охотно променял бы свой пост на подобный талант». Сомнительно, чтобы Линкольн сказал именно так. Он выразился бы иначе, но ему, без сомнения, нравился Нэсби, как, впрочем, и Гранту и Лоуэллу, потому что в конечном итоге он высмеивал предателей, трусов и мошенников Севера.

Что же касается Юга, то и там был заслуживающий внимания литератор комического плана. Это майор Чарльз Генри Смит, адвокат из Джорджии, отец которого был выходцем из Массачусетса, а мать — из Южной Каролины. Он выбрал себе псевдоним Билла Арпа, и его произведения выдержаны в стиле создателя майора Джонса. Исключая упоминания о «нигерах», его «послания» сдержанны и рассудительны по тону и в конце даже несколько скучноваты, однако не лишены мужества. В первом послании к «Эйбу Линкольну» в апреле 1861 года он предлагает повременить с Прокламацией об освобождении, потому что парни в Риме, штат Джорджия, уж слишком воинственно настроены: «Несколько дней назад, как я слышал, они прижали двух наших именитых горожан, потому что их зовут Форт и Самтер». Билл вежливо просит,

чтобы президент «дал ему знать, где начнется стычка». В конце войны Арп пишет Уорду: «Если нам не разрешат выразить наши чувства, мы научимся ненавидеть, а уж в моем роду ненавидеть умеют, будьте уверены. Я как-то раз так ненавидел одного человека, что облысел, а человек тот утонул ночью в грязной луже, в которой любят валяться свиньи». «Белые, — как-то сказал он, — они ничего не стыдятся». А что касается черных, то «один из них как-то выиграл в лотерею слона и не знал, «куда его девать»».

Последним из наиболее представительных комиков в эпоху Линкольна был Джош Биллингс. Когда английский издатель готовил к публикации сочинения Биллингса, он полагал, что настоящим автором их является Биглоу<sup>1</sup> или Хорэс Грили, но получил серьезные заверения в том, что их написал сам президент Линкольн. Честь мистификации принадлежала Генри Уилеру Шоу, уроженцу западного Массачусетса, отец и дед которого были членами конгресса США. Уже в зрелые годы он вспоминал: «Из колледжа Гамильтона не раз исключали достойных людей. Я также попал в их число». По слухам, он был исключен потому, что украл язык колокола в часовне при колледже, однако, скорей всего, покинул его из-за охоты к перемене мест. Во всяком случае, как весьма справедливо заметил его однокашник: «Таким образом, жизненный опыт Джоша уже в пятнадцать лет был значительно богаче, чем у многих других людей, проживших долгую жизнь: он обладал чувством юмора, а кроме того, год проучился в колледже Гамильтона», Шоу уже занимался сельским хозяйством, плавал на речном пароходе, много странствовал. Ему было сорок, когда он стал аукционером в Покипси. И уже в следующем году он написал эссе о муле, которое начиналось словами: «Мул — это наполовину жеребец, наполовину осел. Создав его, природа зашла в тупик, однако поняла свою ошибку», а кончалось: «Я знал одного парня-бечевника, который упал в канал Эри и утонул сразу, но продолжал тянуть судно до следующей остановки, потому что дышал через уши, которые торчали из воды на 2 фута 5 дюймов. Я сам-то этого не видал, да один аукционер рассказал, а я не припомню, чтобы аукционеры врал, когда это почему-то их не устраивает».

Воздавая должное таланту соперника, Артимес Уорд в 1865 году помог ему опубликовать книгу «Джош Биллингс. Афоризмы». К этому времени Джош Биллингс был уже широко известен. Неудивительно также, что Шоу весьма успешно выступал как чтец, сохраняя при этом невозмутимый вид согласно распространенному тогда обычаю. Случалось, ему приходилось выступать по восемьдесят раз в сезон, и всегда у него было отсутствующее выражение лица, всегда он важ-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду журналист Д. Биглоу. — *Прим. ред.*

ничал, что так нравилось аудитории. Его ежегодник «Альманах фермера» имел большой успех в 70-х годах, когда Брет Гарт и Марк Твен оспаривали у него славу наиболее популярного юмориста. Читатели восторгались едкими «афоризмами» по поводу всего исконно американского, а ведь афоризм с присущей им народной мудростью суждена долгая жизнь: «Большинство людей раскаиваются в своих грехах, не забывая при этом поблагодарить бога, что они не так грешны, как их соседи».

«Возможно, наступят времена, когда лев и ягненок будут лежать рядом. Я, как и все, буду рад этому. Но все же я ставлю на льва». «Никогда не доверяйте другому больше, чем наполовину, а если это невозможно, то пускай идет себе на все четыре стороны».

Джош знал, что «сначала нужно иметь ум, а потом уж остроумие», и потому вкладывал собственный мудрый жизненный опыт зрелого, а впоследствии старого человека в уста своих дурашливых персонажей, героев «Назойливой мухи», например в свои загадки, а также рецепты и советы земледельцам и в предсказания о «ветряных ветрах» и «мокрых дождях». Шоу умер в 1885 году, греясь в лучах солнца на веранде калифорнийского отеля. Он был последним из числа тех американских авторов, которые выступали с чтением своих произведений перед публикой и которых так любил Авраам Линкольн.

## 7

Линкольн высоко ценил подобных авторов, потому что сам был юмористом. Мудрость, позволившая ему руководить американским народом во время Гражданской войны, была сродни остроумию. Линкольн и Марк Твен являлись представителями того раннего типа американского юмора, который лишь позднее принял законченную и традиционную форму. Оба при этом прекрасно сознавали, что «одного юмора мало», как говорил Марк Твен.

В той мере, в какой они понимали свою эпоху, они предчувствовали и веяния грядущих времен. Но Линкольн умер, не успев высказаться до конца, а Марк Твен продолжал жить и творить. Поскольку он — выразитель устной традиции в американской литературе независимо от расовой ее принадлежности, его юмор полон юношеского оптимизма. В ряду других писателей-юмористов он по праву занимает место первого поэта непознанных возможностей детства. Марк Твен рос вместе с эпохой, которая приносила ему все больше разочарований и сама теряла иллюзии. Именно поэтому мы сравниваем с ним наиболее иронических и умудренных остроумцев позднего времени.

Вполне возможно, что успех «Тома Сойера», а также и другие, более глубокие причины обусловили появление многочислен-

ных повестей для детей в конце XIX века. Томас Бейли Олдрич за семь лет до выхода в свет классического произведения Марка Твена в «Истории плохого мальчика» изобразил забавы детских лет. Герой ее Том Бейли, мальчик примерно того же возраста, что и Том Сойер и герой Таркингтона Пенрод, живет в «захолустанном, восхитительно старом городе» Ривермаус (Портсмут, Нью-Гемпшир), где он и его товарищи устраивают всякие каверзы: поджигают старый дилижанс и стреляют из старых пушек. Есть там и увеселительный клуб под названием «Сороконожка Ривермауса», а также театральные представления; Пенрод их тоже обожал, правда, вместо собак, игравших столь важную комическую роль в жизни мальчишек Таркингтона, у Олдрича фигурирует пони, а вместо обшитых, забавных негров Твена и Таркингтона действует смешной моряк Бен Уотсон, который сватается к горничной Китти Коллинз, чей род ведет начало от ирландских королей. Барышни из Примроуз-холл выступают здесь на вторых ролях, хотя Том был недолго влюблен в девятнадцатилетнюю мисс Нелли. «Это замечательно быть таким несчастным и нисколько не страдать», — говорит он. За исключением трагического происшествия, когда один из мальчиков погибает в море, произведение написано в комедийном ключе, хотя автор вообще-то предпочитает мужественных отроков, показанных впервые еще за тринадцать лет до этого в повести «Школьные годы Тома Брауна» англичанина Тома Хьюза. Олдрич считал ее лучшей книгой из «когда-либо написанных для мальчиков». Разумеется, в ней есть задира, которого заслуженно и смешно наказывает герой.

Книга Стивена Крейна «Уиломвиллские рассказы» (1900) продолжает традиции Олдрича и Твена, хотя и в присущей этому автору сухой манере. Крейну дети часто кажутся «волчатами с окровавленными клыками», а их матери — «толпой скрытых врагов», слепо восхищающихся забавами своих отпрысков. Он сознает, что «в джунгли детства... взрослым удастся проникнуть редко». Однако сам он обладал способностью проникать в психологию мальчишек, которые страдают от насмешек, унижения и враждебности. Есть у Крейна и добродушный, общительный слуга-негр, в юмористическом свете представлены сцены обжорства и похвальбы двух соперников-юнцов. Описание встревоженного отца, ангелоподобной дочки, отвратительно вопящей толпы ребят — все это мало напоминало Таркингтона. Его Пенрод гораздо больше похож на Тома и Гека. Происходивший из родовой семьи Таркингтон после окончания Принстонского университета поселился в той части Нью-Йорка, где в 90-х годах жила богема и где молодые писатели с благоговением взирали на Крейна, но отнюдь не считали его юмористом. Первый успех принесла Таркингтону романтическая проза, после чего он «вернулся» на родину из Парижа к описанию спокойной дружелюбной жизни «в своем родном Индианаполисе». Здесь в год, когда

разразилась первая мировая война, он почувствовал призвание юмориста и написал роман «Пенрод». Из его автобиографического произведения «Мир не стоит на месте» мы знаем, что он считал войну «проявлением стадного инстинкта, ...болезнью роста неразвитого (отсталого) человечества». Нам известно, что он, так же как и Синклер Льюис, подозрительно относился к повальному пресмыкательству перед респектабельностью». Но в своих лучших юмористических произведениях Таркингтон довольно благосклонно описывал мир, окружавший его в молодые годы, где, как заметил ему молочник, «все ходят в церковь или по крайней мере собираются». Вследствие этого современные мудрецы от литературы стали считать его чуть ли не шутником, тогда как он является одним из двух американских юмористов, способных глубоко заглядывать в детские души.

Для трех своих наиболее живучих произведений о детских проделках, а у него есть и другие, Таркингтон избрал: восьмилетнего мальчика героем повести «Маленький Орви», двенадцатилетнего для повести «Пенрод» — возраст примерно тот же, что у Тома Бейли, Тома Сойера и крайновских уиловиллских мальчишек, — а юношу, ученика средней школы, Вилли Бакстера, сделал героем «Семнадцатилетнего». Каждому возрасту присущи свои особенности и настроения. «Смотри, как поступаю я! Как здорово!» — таков боевой клич Орви и его буйных жизнерадостных товарищей. Тот факт, что «не так уж много взрослых исполняют свои желания», делает его в их глазах и забавным, и несколько загадочным.

Что касается Пенрода Шофилда, то он достиг того романтического возраста, когда человека обуревают жажда приключений. Посему он даже сочинил зажигательный роман «Хэрولد Раморес, или Бурная жизнь в Скалистых горах». Иногда на него находит какая-то странная, чуть ли не трансцендентная мечтательность, но он способен выдумать и небывальщину с приводящими в замешательство реалистическими подробностями. Прелестная Марджори Джоунз может задеть его сердце, но ему так далеко до галантного кавалера, что слова «маленький джентльмен» звучат для него оскорбительно. Мир Пенрода настолько изолирован от мира взрослых, что мотивы наказания и снисходительности для него одинаково непонятны.

Вилли Бакстер пребывает в той поре, когда жажда романтической позы приводит и к самолюбованию, и к боязни стать посмешищем. Его пожирает любовь к мисс Пратт, «красивой семнадцатилетней плаксе, которая за завтраком лепечет, как дитя». Жизненный кодекс Вилли не лишен таких понятий, как чувство собственного достоинства и порядочность, его же огорчения достаточно неподдельны, чтобы опровергнуть мнение, будто Таркингтон всего лишь неглубокий юморист. Трех главным героям Таркингтона сопутствует множество других запоминающихся индивидуальностей. Это состоятельные жители Средних

штатов, изображенные в последний спокойный период американской истории, а его дети — это американские дети, которые встречаются всюду в стране. Хотя они могут показаться и не столь достоверны, как герои Марка Твена, и, безусловно, лишены великолепной романтической обстановки, в какой действуют последние, они тем не менее будущие актеры человеческой комедии, разыгрываемой в мире взрослых. Подобно всем великим юмористическим героям, они примиряют нас с существованием других людей, напоминая, что все мы смешны и в конечном итоге всегда дети.

## 8

В то время как Марк Твен изображал мальчиков, постепенно переходя к изображению мира взрослых людей, и посыпал солью своего юмора Средний Запад, его современники: Брет Гарт, Эдвард Эгглстон и Джоэл Чандлер Харрис — в рассказах и стихотворениях воспроизводили местные обычаи, диалекты и другие региональные особенности. В десятилетия, последовавшие за Гражданской войной, понятие «местный колорит» одинаково относилось и к юмористической, и к серьезной литературе. Войдя в литературный обиход негров, ирландцев, евреев, явление это стало характерной чертой всей литературы послевоенного периода.

Наиболее успешно сочетал в рассказах, написанных в духе местного колорита, сентиментальную и юмористическую линии Д. Ч. Харрис. Сборник «Дядюшка Римус. Его песни и сказки» (1880) был первой среди восьми замечательных книг, давших Америке один из ее выдающихся юмористических характеров и лучший пример художественного заимствования из фольклора «до, в самое время и после войны».

Харрис настаивал на том, что его собственные рассказы о неграх старых времен «безыскусны», что, создавая их, он стремился быть «правдивым, искренним и простодушным». Будучи довольно робок от природы, хотя он и любил разного рода проделки и шутки, Харрис обратился к рассказам о животных, в которых элемент обмана почти всегда играл значительную роль. Возможно, от своих предков-кельтов он унаследовал не только любовь к мифическому и сверхъестественному, но также и к образной пословице. Ему нравились остроумные выражения, например: «Как поживает Ваше прелюбопытствие?» Он был достаточно мудр и знал, что «мы представляем собой то, чем являемся, а лучше быть не можем». Здесь, как мы видели прежде и в других случаях, хитроумный американец дает свою оценку жизненным явлениям, на этот раз уже глазами старого, благожелательно настроенного негра, который поучает окружающих в таком юмористическом произведении, как «Рассказ о всемирном потопе». Харрису, как и Марку Твену, «одного юмора было



мало», но в отличие от Твена «проклятая человеческая раса» не вызывала у него отчаяния, и в рассказах дядюшки Римуса, и в «Летописи жизни тетушки Минервы Энн» и других произведениях он продолжал смеясь учить уму-разуму своих читателей.

Первым американским негром, усвоившим литературные уроки Харриса, был Пол Лоренс Данбар, который великолепно владел диалектом. Данбар изучил его, познакомившись с поэзией белого уроженца штата Индиана Джеймса Уиткомба Райли, журналиста из Индианаполиса, чей сборник «Старая заводь и другие одиннадцать стихотворений» был опубликован три года спустя после выхода в свет книги о дядюшке Римусе. А сам Данбар родился в семье бывших рабов в Дейтоне, штат Огайо, через пять лет после того, как стихотворения Райли снискали известность по всей стране. Окончив среднюю школу, Данбар продал первую книгу своих произведений случайным покупателям, поднимавшимся на лифте, при котором он состоял за четыре доллара в неделю. Через два года под названием «Большие и маленькие» появилась вторая книга его стихотворений. В рецензии на нее Хоуэллс высоко оценил юмористическое изображение народных нравов, описанных, например, в стихотворении «Вечеринка». Когда в следующем году была опубликована «Лирика скромной жизни», поэзия Данбара завоевала самое почетное место в негритянской литературе. Подобно тому как это было характерно в более поздние годы для известного писателя Уэлдона Джонсона, Данбар понимал, что юмор в сочетании с чувством — «краеугольный камень диалекта». Однако, вместо того чтобы этим пониманием и ограничиться, как произошло с Джонсоном и Каунти Калленом, Данбар попытался вдохнуть аромат упомянутых качеств в свои стихи о детях (белых и черных), о любви, о шаловливых выходках и даже о религии. Несмотря на то что в таких стихотворениях Данбара, как «Мы носим маску», слышатся иногда трагические ноты, его в общем вполне удовлетворяет роль добродушного юмориста-бытописателя.

В третьем и четвертом десятилетиях XX века три молодых негритянских поэта показали, что смех все еще живет в литературе и не утонул в потоках слез и волнах гнева. Произведение Каунти Каллена «Цвет» включает язвительные эпиграммы «Пессимисту», «Болтливой женщине» и «Знакомой леди». Ему же принадлежат следующие слова о Данбаре:

Была его короной — радость,  
Души печалью рождена.

Каллен избегал диалекта, Лэнгстон Хьюз, напротив, использовал его традиционную народную форму, и довольно часто. В пример можно привести стихотворение «Блюз бедняка». Как считают фольклористы, удивительное сочетание юмора с жа-

лостью к самому себе и создает определяющий настрой этого блюза. В своей книге «Дороги Юга» профессор Стерлинг Браун из Хоуардского университета, известный своими исследованиями блюзов и других народных ритмов, дал их яркую характеристику. Он написал также несколько юмористических стихотворений о приключениях Слима Грира, бродяги-негра, чья одиссея полна всякого рода несуразностей и смешных эпизодов. Браун проявил себя как лучший негритянский юморист после Данбара. До известной степени это объясняется его оптимистическим взглядом на мир и широким кругом тем.

Что касается прозы, то здесь выдающейся негритянской писательницей-юмористкой является Зора Нилл Херстон, одновременно ученый-антрополог и литератор. Сборник ее рассказов «Мужчины и мулы» (1935) Алан Ломэкс назвал «лучшей книгой американского фольклора». Один из ее романов «Бутыль Ионы для вина» также полон юмора. Когда писательница описывает жизнь цветных во Флориде, она никогда не забывает ни о гуманности, ни о научном подходе к теме.

Однако не только творчество негритянских художников придало неповторимую окраску американскому юмору. Можно говорить о других влияниях, не связанных со старыми английскими источниками. «Чужак» всегда служил поводом для веселья, как и новенький в классе. Уже перед Гражданской войной ирландец выступал на сцене как фигура комическая, а в связи с массовой иммиграцией, следствием «голодных сороковых», сборники юмористических ирландских песен стали особенно популярны. Однако первый по-настоящему замечательный образ ирландца, мистера Дули, был создан лишь в конце XIX века Финли Питером Данном. Мистер Дули — один из самых популярных комических героев, доморощенный философ, занимающий промежуточное положение между Артмесом Уордом и Биллом Роджерсом. Родившийся в Чикаго в семье ирландцев-католиков, Данн начал работать в газете, когда ему было семнадцать, а в двадцать один год возглавил отдел городских новостей. Одновременно он становится и одним из лучших спортивных обозревателей по бейсболу. В 1898 году в этом качестве он выступал почти во всех чикагских газетах. Вполне вероятно, что у таких своих коллег, как Юджин Филд и Джордж Эйд, он позаимствовал некоторые юмористические журналистские приемы, но, начав выступать с публикациями на ирландскую тему в «Санди пост», он прочно стал на собственные ноги.

В своих ранних произведениях Данн создал образ Мак Нири, прототипом которого послужил трактирщик Мак Гэри. Однако, когда последний стал возражать против слишком большого сходства, имя Мак Нири было изменено на Дули, а трактир перемещен на Арчи-Роуд. Был введен образ невежественного поденщика Хенесси, предрассудки которого разоблачаются в разговорах с Дули. В 1898 году появилась книга рассказов «Мистер

Дули в дни мира и войны», изображавшая этих двух приятелей. В следующем году была выпущена в свет книга «Мистер Дули в сердцах своих земляков» с посвящением английским издателям, которые самовольно опубликовали первую книгу Данна. Он продолжал публиковаться ежегодно вплоть до 1902 года. Первые пять сборников — лучшее из того, что было создано Данном, хотя он еще довольно долго печатался. В общем и целом он создал более семисот очерков, которые написаны на диалекте, приблизительно одна треть их была переиздана в восьми сборниках.

Хотя некоторые из ранних очерков Данна содержат изрядное количество ирландской сентиментальности и пафоса, сегодня мы вспоминаем в основном его политические комментарии. Здесь сатирически изображены лицемерие и продажность, широко распространенные в Соединенных Штатах, низкопоклонство и империалистические повадки других стран. Большое число наших доморощенных философов прославились благодаря своему здравому смыслу. Когда Данн не находился в плену предрассудков, как, например, в очерке о Вудро Вильсоне, он бросал вызов трезвомыслию, оставаясь на позициях разума и гуманности. Накануне гибели броненосца «Мэн» Дули говорит Хенесси: «Из тебя никогда не выйдет настоящего патриота. У тебя дома нет аппарата, печатающего биржевые новости». После того как американская эскадра адмирала Дьюи уничтожила испанский флот в Манильской бухте, глубокомысленный ирландец начинает твердить, будто Дьюи член его семьи, и предсказывает, что адмирал станет королем Филиппин Дули Первым. Данн следующим образом перефразирует один из лозунгов Лоджа: «Протяни руки за море и запусти в чей-нибудь карман», а также другой: «Переложи бремя белых на черных».

Самая веселая из ранних юморесок писателя — та, где критикуется отчет Теодора «Розенфельта» о подвигах Смелых Всадников \*. Вот это действительно «Биография», если человек знает, что делает! ...Но я на его месте назвал бы книгу «Один на Кубе». После чего Рузвельт, будучи опытным политиком, пригласил Данна в Белый дом. Говорят также, что президент Маккинли читал вслух комментарии Дули на еженедельных заседаниях министров, проглатывая колкости, подобные тем, что содержались в «отчете» о визите президента в Чикаго: «Заседание началось молитвой, чтобы Провидение оставалось под защитой администрации».

Во время восстания боксеров в Китае Данн подвергал американский империализм жестокой критике. В ответ на самодовольную реплику Хенесси о том, что «китайцев война цивилизует», Дули отвечает: «Ясное дело, цивилизует, раз в гроб вгонит. Может, это неплохо и для прочих; сперва китайцев, потом немцев цивилизуем». Если американцы считают себя антиимпериалистами, так этим они обязаны прежде всего Дули, а потом уже

гневым филиппикам Марка Твена и благородному возмущению Уильяма Возна Муди.

Столь же язвительно комментировал Данн внутренние проблемы страны, особенно во время забастовки на угольных шахтах в 1902 году, когда американцам угрожала холодная зима.

«Богачи будут пылать от возмущения, вспоминая обиды, причиненные капиталу. Средние классы будут маршировать под присмотром милиции. А бедняки могут драться друг с другом да жечь своих детей».

Когда Хенесси спрашивает Дули, что тот думает о человеке из Пенсильвании, который считает бога своим компаньоном в угольном деле, то Дули отвечает: «Разве они делят барыши?» Когда в начале XX века было высказано извечное пожелание, чтобы «правил бизнес», Дули иронически согласился: «Да-да, пусть молодые совестливые хапуги с Уолл-стрит займутся общественными делами». Когда Хенесси стал защищать политику высоких тарифов на том основании, что иностранцы все равно платят налоги, Дули ответил: «Понятно, платят, иначе им голову сломят в Касл-гарден».

Рокфеллера-старшего он описывал как «своего рода организацию, которая препятствует жестокому обращению с деньгами. Если он находит, что человек употребляет их неправильно, то отнимает и присваивает».

В эру разгребателей грязи он порицал американский способ наводить порядок в собственном доме, сжигая его дотла. Но при этом добавлял: «Вот что я хочу сказать нашим соседям, которые подглядывают за нами и отпускают всякие там замечания насчет порядка у нас: в нашей части света мы не замалчивали беспорядки».

В американской юмористической литературе, где персонажи говорят на диалекте, нет больше героев с философским подходом к жизни, равных дядюшке Римусу или мистеру Дули. До некоторой степени их напоминают еврейские юмористические, добродушные персонажи. До наступления XX века евреев обычно представляли ловкачами и людьми, охочими до денег. Однако преданная своему делу школьная учительница из Нью-Йорка Майра Келли показала детей евреев и других иммигрантов в более привлекательном свете в своих «Маленьких чужаках» и «Маленьких горожанах», опубликованных в начале века. Взрослым всегда нравились эти книги, написанные на родном диалекте и смешно обыгрывающие контрасты двух цивилизаций. В 1910 году Монтегю Гласс, английский еврей, достаточно понаторевший в торговле готовым платьем в Нью-Йорке, начал выпускать серию книг о Поташе, Перлмуттере и других дельцах, которые были так же проникательны и добры, как Дэвид Харум, нью-йоркский янки. Сначала рассказы печатались в популярных журналах, потом были поставлены на сцене. В 1937 году журнал «Нью-Йоркер» опубликовал серию скетчей, позже вышедших от-

дельной книгой под названием «Образование Хаймена Кэплана». Автор, Леонард Росс (Лео Ростен), сделал героем взбалмошного, но доброго и патриотически настроенного ученика Американской вечерней подготовительной школы для взрослых. Читатель весело смеется, читая о том, как Кэплан одолевает английский язык, смешон и сам энергичный герой, изображенный очень достоверно. Но, как пишет автор, было «что-то кощунственное в попытке надеть на столь свободный ум английские железные кандалы». Возможно, это самый забавный иммигрант в нашей литературе и один из самых привлекательных.

Смешной немецкий диалект слышится в балладах о Гансе Брайтмане Чарльза Годфри Леланда, филadelphийца, проходившего курс науки в Гейдельберге и Мюнхене. Его первое стихотворение о Брайтмане положило начало серии, печатавшейся в журнале «Грэм мэгэзин» в 1857 году, а в 1914 году стихотворения были выпущены отдельной книгой. В 1930-е годы комик Джек Перл вновь популяризировал барона Мюнхаузена с помощью радио, не вполне ограничиваясь при этом рамками небылиц; что касается итальянцев, то Томас Огастес Дали из Филадельфии создавал юмористические стихи на диалекте итальянских иммигрантов начиная с 1906 года, когда были опубликованы его «Песни». В прозе же наиболее примечательна «Гора Аллегро» (1943) Джерри Манджионе, в которой описываются буйные нравы сицилийцев, живущих в Рочестере, штат Нью-Йорк.

Между тем юмористические персонажи с английскими именами постепенно стали появляться и в американской литературе. Любимым героем так называемой «Чертовой школы» был Дэвид Харум, созданный Эдвардом Нойесом Уэсткоттом в его одноименном романе, вышедшем в конце XIX века. Отпрыск известной семьи из Сиракуз, штат Нью-Йорк, Уэсткотт начал писать потому, что туберкулез вынудил его оставить карьеру финансиста. Хотя один из его друзей убеждал, что Дэвид, конечно, списан со многих лиц, по характеру он весьма напоминает Дэвида Хэннума, банкира и торговца лошадьми из маленького городка Гомер. Можно также утверждать, что он напоминает янки из Средних штатов, как Эбен Холден, образ, представляющий ту же эпоху и созданный Ирвингом Бачелером, олицетворяет рабочего-северянина.

Временами Дэвид выступает как доморощенный философ, высказывания которого вошли в поговорку: «Поступай с другим так, как ему хотелось бы поступать с тобой, и делай это первым», «Чуть-чуть больше, чем в самый раз», «Немного мух не повредит собаке, она не будет горевать о собственной участи». Случается, что он ведет себя как бесцеремонный шутник, но в глубине души Дэвид — добрый человек.

Двойник Харума в литературе американского Юга XX века присутствует в произведениях Ирвина Ш. Кобба, например в рассказе «Дома» (1912) о судьбе Присте, конфедерате-ветеране. Да

и самого Кобба, «мудреца» из Кентукки, можно считать своего рода героем, потому что его забавное лицо было одинаково приятно видеть и на киноэкране, и за банкетным столом. Такие его бессюжетные на первый взгляд эссе, как «К слову об операциях», показывают, что Кобб был одним из тех многих фельетонистов своего времени, которые всегда умели заставить соотечественника смеяться. К их числу относится и Фрэнк Маккинни (Кин) Хаббард из Индианы. Его фельетоны об Эйбе Мартине публиковались одновременно в нескольких газетах почти в течение сорока лет, а к 1930 году вышли отдельной книгой. Эйб принадлежит к числу тех доморощенных философов, высказывания которых, перешагнув границы родного штата, стали достоянием всей страны.

Безусловно, доморощенным философом, занимающим следующее после Дули место в истории американской литературы, является Билл Роджерс из Оклахомы, который гордился тем, что в его жилах текла кровь индейского племени чероки. Он был прирожденным наездником и хорошо знал жизнь ковбоев. Ковбойская тема в конце XIX века была широко представлена в сборнике рассказов Элфреда Генри Льюиса «Вулфвилл», а также в солидном сборнике ковбойских баллад Джона Э. Ломэкса, опубликованном в 1910 году. Во время англо-бурской войны Билл Роджерс колесил по миру как берейтор и жокей, а потом выступал в известном музыкальном ревю Зигфилда. Снимался он также в немых и звуковых фильмах, причем в последних был даже звездой в ролях коннектикутского янки и Дэвида Харума. В 1914 году он начал публикацию своих книг, в числе которых и «Письма президенту дипломата, который всем обязан самому себе». Кроме того, он вел колонку юмора одновременно в нескольких газетах, и его читательская аудитория достигала 40 тысяч человек, а его выступления по радио слушали буквально в каждом доме.

Наиболее известные изречения Билла: «Мы все невежественны, но только каждый по-своему», «Все свои знания я почерпнул из газет», «Я всегда против той партии, которая берет верх», «Нет большой заслуги быть юмористом, если на тебя работает все правительство. Все, что от тебя требуется, — просто излагать факты». Он утверждал, что «американский» детский сад «насчитывает 120 миллионов человек», и обращался к этим «детям» со своими неспешными и дружелюбными речами и в книгах, и в периодической печати. Непочтительность этого выходца с Юго-Запада порой шокировала его благовоспитанных читателей, например когда он назвал членов Верховного суда «десяткой стариков в кимоно» или когда в одном из популярных журналов шуточно описывал свой визит к президенту Кулиджу. Билл Роджерс был наследником американских писателей-юмористов старшего поколения и напомнил американскому народу, что «к западу от Гудзона простирается большая страна».

Об американском юморе конца XIX — начала XX века уже нельзя было сказать, что он отражает сознание нации, находящейся в процессе становления. Юмор стал более зрелым и тонким, приобрел черты национального своеобразия. Но это было уже остроумие, а не юмор. Изменение характера американского юмора было вызвано миграцией населения в города, что происходило и к западу от Гудзона, и повсюду в Америке после окончания Гражданской войны. Уже в 1879 году можно отметить весьма удачное появление так называемого пригородного юмора в романе «На барже» Фрэнка Стоктона. Он родился в Филадельфии, но большую часть жизни прожил в пригородах Нью-Йорка. Его самый популярный роман появился в результате знакомства с семьей, которая обитала на небольшом речном суденышке, стоявшем у берега реки Гарлем. А самый интересный образ этого романа, служанка Помона, весьма напоминал сироту-служанку в доме Стоктонов. Помона живет в мире самых невероятных романтических вымыслов. Однако все кончается, когда она вместе со своим мужем во время медового месяца посещает приют душевнобольных, где встречает людей, чье воображение унесло их несколько дальше, чем следует. Главный положительный герой романа и его жена Юфимия принадлежат к числу тех приятных молодых пар, которых Хоуэллс выводил в качестве своих «забавных персонажей из гостиной» и которые столь привлекательны во всех ранних произведениях Кристофера Морли. Стиль Стоктона так же правилен и легок, хотя и не столь оригинален, как у Морли; произведениям обоих писателей присуще сочетание реального и фантастического планов. Большого успеха Стоктон добился еще только раз, когда в 1886 году опубликовал роман «Уход миссис Лекс и миссис Эйлшайн».

Многие произведения, написанные в духе городского юмора, публиковались в последние годы XIX века в трех еженедельных изданиях: журнале «Пэк», который издавал Генри Баннер с 1876 года до своей смерти в 1896 году, журнале «Джадж» (1881 — 1939), основанном бывшими сотрудниками «Пэк», и старейшем из двух журналов, выходивших под названием «Лайф» (1883 — 1936), в котором с самого начала сотрудничали выпускники Гарвардского университета молодые юмористы Д. Э. Митчелл и Э. С. Мартин. Баннер сочинял популярные стихи и пародии, в том числе и на песенку «Дом, мой родной дом». Он также писал рассказы, опубликованные в сборнике «Неполная шестерка» и других.

Оливер Уэнделл Холмс и Джон Г. Сакс в середине века сочиняли превосходные легкие стихи, но именно Баннер, а также Джон Кендрик Бэнгс и многие другие способствовали, тому, что поэзия на тему о нравах общества в 90-е годы сделалась чрезвычайно популярной. Этот вид городского юмора получил свое

дальнейшее развитие особенно в 1920-е годы, когда свойственный этой поэзии тон комического уныния оттенял по контрасту гневное разочарование романистов. Подобные стихотворения встречались в сборниках «Басни для легкомысленных» (1898) Гая Уитмора Кэррилла; «На саях к Парнасу» (1911) Франклина П. Адамса; «Смеющаяся муза» (1915) Артура Гитермана; «Ягоды с кустов чертополоха» (1920), произведение Эдны Сент-Винсент Миллэй в легкомысленном духе Гринвич-Вилледж; «Стихи в похвалу ничему» (1928), «Не так глубоко, как колодец» (1936) Дороти Паркер, где были представлены произведения из ее трех ранее опубликованных сборников; «Стихотворения» Кристофера Морли, куда вошли наиболее интересные высказывания его персонажа по прозвищу Старый Мандарин; «Разбавленное молоко» (1943) Мориса Бишопа и «Знакомое лицо» (1940) Огдэна Нэша, сборник ранее публиковавшихся стихов. Фактически все эти стихотворения были в той или иной степени в стиле Горация, то есть отличались иронией и законченностью формы, что можно проследить, начиная от блестящих дактилических рифм Гитермана до нарочито неуклюжих и смешных рифм Нэша. И на всех стихотворениях лежит особая печать Нью-Йорка.

Что же касается прозы, то можно назвать несколько писателей, которые обращались к теме или даже темам, что в XX веке принято считать забавными. Так, «Басни, написанные на слэнге» (1899) Джорджа Эйда соперничали в популярности с книгами о мистере Дули. Разумеется, басням Эйда предшествовал длинный ряд комических и сатирических басен еще со времен Франклина, сюда относятся и саркастические «Фантастические басни» (1899) Эмброза Бирса, чей «Словарь сатаны» (1881—1906) — образец американского цинического остроумия. (Например, мы до сих пор помним, что «правда» — это «неуместность, сказанная во все горло».) Именно слэнг позволил Эйду добиться успеха, как это позднее произошло и с О. Генри. Слэнг помог сформироваться повседневной американской речи, бывшей в обиходе до наступления эпохи радио.

Дон Маркиз сумел передать в своих произведениях наиболее бесшабашные черты 20-х годов нашего века. Его «Старый пьяница», на основе которого была поставлена популярная пьеса, — комический памятник временам сухого закона.

В серии рассказов об Арчи и Мехитабель в образах таракана и кошки он комически изображает неудачи маленького человека и веселую сексуальную раскованность «эмансипированной» женщины. Почти в таких же тонах написано и другое произведение Дона Маркиза — «Гермиона и ее маленький кружок серьезных мыслителей», а также «Сонеты рыжей леди» и книга стихов «Ной, Иона и капитан Джон Смит».

Молодые, падкие на доллары искательницы приключений того же периода выведены в романе Аниты Лус «Джентльмены предпочитают блондинок» (1925), а также в его продолжении



«Но... женятся на брюнетках». Невежественные героини этих романов вполне под стать игрокам в бейсбол из сборника «Ты меня знаешь, Эл» (1916) Ринга Ларднера, а также многим другим его тщеславным и косноязычно выражающим свои мысли героям, которых он бичевал в рассказах, опубликованных до самой его смерти в 1933 году. Ни один американский юморист, за исключением, пожалуй, Бирса, позднего Марка Твена и Г. Л. Менкена, гонителя «бубуазии» не высказывал столько презрения к своим сатирически изображенным персонажам, как Ринг Ларднер. Мало кто мог сравниться с ним в беспощадно-язвительном пародировании их быта и жаргона, который получил название «ларднеровского Ринглиша»<sup>1</sup>. Более добродушны по тону рассказы Деймона Раниона. Так, например, сборник «Парни и девушки», опубликованный в 1932 году, был одним из первых, в которых на безграмотном, но образном жаргоне рассказывалось о приключениях игроков и других представителей спортивного мира в большом городе.

Ньюйоркцем, но из совершенно других слоев общества был Кларенс Дэй, воспитанник колледжа св. Павла и Йельского университета. Он первым стал изображать рассерженных родителей глазами их отпрысков. Уже в 1920 году он опубликовал роман «Этот мир обезьян», в котором эволюция человеческого характера объяснялась чертами, присущими животным, а ирония не была лишена морализации. К этому же десятилетию относятся и первые публикации его разысканий о бизнесе и собственной семье, использованные впоследствии в пьесе «Жизнь с отцом», которая в канун 40-х годов пользовалась успехом. «Бог и мой отец» и «Жизнь с отцом» были опубликованы в 1932 и 1935 годах. Писатель снабдил их собственными выразительными сатирическими рисунками, послужившими основой того стиля в иллюстрировании, который у Джеймса Тербера приобрел фантастические черты.

Дэй, начавший карьеру в журналах «Харперс мэгэзин» и «Литерэри ревью», приложении к нью-йоркскому «Ивнинг пост», с течением времени стал одним из ведущих постоянных сотрудников журнала «Нью-Йоркер», основанного в 1925 году Хэролдом Россом. Последний привлек для участия в этом журнале группу писателей, наиболее известных со времен возникновения «Атлантик мансли» и литературного объединения «Сатердей клуб». Среди них Ринг Ларднер выделялся удивительной способностью сочетать бесстрастный тон с ироническим подтекстом, в котором часто слышались безжалостные ноты. Кроме Ринга Ларднера, в эту группу входили Э. Б. Уайт, Александр Уолкотт, Роберт Бенчли, Дороти Паркер, Джеймс Тербер и многие другие писатели, которых можно было бы справедливо назвать нью-йоркскими остроумцами. Чисто городская энергичность нередко со-

---

<sup>1</sup> По созвучию с «инглиш» — «англ. язык». — *Прим. перев.*

четалась у них с почти наивным изумлением перед Нью-Йорком, этим безумным и прекрасным городом. Их стиль был нарочито прост и разговорен. Как писатель и актер кино Бенчли выступал в жанре сюрреалистического нонсенса, который доступен пониманию лишь образованного человека. «Десять лет в затруднительном положении и что я испытал за это время» — характерный пример названий его произведений. Что же касается Уолкотта, его остроумие, независимость суждений и умение подчинить себе аудиторию сделали его первым человеком на радио. Даже лучшие из созданных им книг, например «Пока Рим горит» (1934) и его «Письма», опубликованные в 1944 году, не дают полного представления о его яркой индивидуальности, что удалось передать его великолепному биографу Сэмюэлу Хопкинсу Адамсу. Дороти Паркер в уже упомянутых нами юмористических стихах изображала трагикомическую войну полов. В сборниках же рассказов «Оплакивание живых» (1930) и «После таких удовольствий» (1933) присутствует столько едкого остроумия в сочетании с удивительным пониманием печальной женской участи, что творчество этой писательницы можно рассматривать как далеко выходящее за рамки обычного юмора.

Э. Б. Уайт, который с основания журнала «Нью-Йоркер» был его постоянным автором, а позже начал вести рубрику «Городские сплетни», был также известен своим сборником очерков «Что полезно одному» (1942). Этот сборник является весьма характерным примером безличной манеры письма этого писателя. Здесь иронический ум как бы дает оценку человеческой природе в образе простодушных ее представителей, которые так нравились писателю, их он противопоставлял шумной бездумной жизни столицы, где погоня за известностью и богатством извратила подлинный смысл человеческого существования. Уайт был умудренным Торо, принесшим в современный город дух Конкорда, и многие современники считали его лучшим эссеистом того времени, когда эссе как жанр почти исчез из литературы. Заслуживает внимания и тот факт, что в начале и особенно в тяжелые годы второй мировой войны его неподписные статьи, доступные по стилю, но пронизательные и с волнующим эмоциональным подтекстом, играли ту же роль, что и выступления комментаторов, затмевавшие писательские. Да, статьи Уайта были неподписными, но им был присущ его индивидуальный стиль. Многие из этих статей были переизданы в книге «Непокорный флаг» (1946).

Джеймс Тербер, сотрудничавший в журнале «Нью-Йоркер», — представитель иной традиции американской литературы, изменившейся почти до неузнаваемости. У него был озорной талант, и его сатирические пародии и рассказы строятся на приемах фарса и преувеличения. Однако, как это было и с Марком Твенном, у Тербера за причудливым реализмом скрывалась убийственная сатира, что делало рассказ произведением искусства.

Он любил современную жизнь, так же как Марк Твен — Миссисипи. Но ярость Марка Твена к несовершенной человеческой природе выливается в трагическое отчаяние, а Тербер вполне удовлетворен, если мы поймем, читая его рассказы или рассматривая его рисунки, что мир скорее безумен, чем плохо устроен. Произведениями, в которых наиболее полно раскрылась его писательская индивидуальность, можно считать сборники «Карнавал Тербера» (1945) и «Белый олень» (1945).

Юмористы и эссеисты, названные выше, явно принадлежат к той пограничной области, которая находится между журналистикой и литературой, а возможно, относится и к журналистике, и к литературе одновременно. Однако во многих случаях, как, например, когда мы имеем дело с юмористическими стихами поэтов начала века, ироническими и в то же время добродушными скетчами Дона Маркиза, тонкими исследованиями эпохи Кларенса Дэя и эссе и пародиями Э. Б. Уайта и Джеймса Тербера, мы в конечном итоге имеем дело с юмором далеко не наивным. Не информация, что является краеугольным камнем журналистики, но знание жизни, преподанное взыскательному читателю и взывающее к его воображению, является отличительным признаком этого литературного журнализма, особенно в период его становления в начале 1920-х годов.

Таким образом, наш национальный юмор, традиция которого восходит к университетским остроумцам, окрепший на почве фольклора и различных привходящих влияний, бывал часто грубым, но почти всегда полным сочувствия, доброты и мудрости, пока не вернулся к городским острякам. На своем пути юмор встречал янки, колониста, осваивавшего Запад, жителя Юго-Запада США, детей, негров, ирландцев, евреев, итальянцев и таких веселых народных героев, как Дэвид Харум, судья Прист и Билл Роджерс. Многообразие литературных форм юмора достойно удивления: от выдумки, анекдота, небылицы, плутовского рассказа до любительского фарса, легких юмористических стихов и шутливого переложения классической легенды. В анналах юмора запечатлены все наши безрассудства, особенно политические и времен сухого закона, уловки золотопромышленников, шутки преступного мира. Юмор и сатира нераздельны там, где изображается человеческий характер, сформированный нашим обществом. Юмор не боится ни диалекта, ни слэнга. Наоборот, он прославил их. И юмор всегда был демократичен, поэтому он послужил делу нашего объединения.

## 45. ХРОНИКЕРЫ ЗАПАДА И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПИОНЕРЫ

### 1

Таким образом, на примере языка и этнического развития, фольклора и юмора можно проследить, как расширялись культурные горизонты Соединенных Штатов по мере того, как они из объединения бывших британских колоний превращались в многонациональное и могущественное государство, История его становления в дальнейшем наиболее подробно отразилась именно в литературе фронта или, вернее, в двух литературах, одной — создававшейся непосредственно на месте событий, другой — отразившей их восприятие на Востоке страны. В настоящей главе будет продолжен обзор литературы, начатый в главе 3 «Записки и хроники», в которой рассматривается около двух десятков книг, являющихся типичными образцами того, что было написано исследователями и путешественниками о западной границе, а также теми, кто впервые попытался осветить тему Запада в литературе. Поскольку эти книги интересны прежде всего изложенным в них материалом, они легко группируются по содержанию в соответствии с этапами освоения Запада: франко-английская борьба за господство в стране; продвижение американского земледелия за Аллегань; первые попытки приобретения Луизианы, отношения Америки с Новой Испанией на Юго-Западе; переход через Великие Равнины и Скалистые горы в Орегон и Калифорнию и, наконец, присоединение Запада после калифорнийской «золотой лихорадки».

### 2

Хроникальная литература района миссисипской долины на протяжении шести десятилетий XVIII века рассказывает о драматической борьбе между Францией и Англией за овладение Северной Америкой. Французскую точку зрения выразил молодой парижский иезуит Пьер Франсуа Ксавье де Шарлевуа, предпринявший в 1720 году по приказу Людовика XV путешествие для изучения страны от Квебека до Нового Орлеана по проторенным путям, которыми шло проникновение власти Бурбонов в Америку. Возвратившись, он вскоре дополнил свои путевые заметки описаниями флоры, фауны и местных жителей,

заимствованными из таких источников, как «Отчеты иезуитов». Написанный на основе этого «Дневник путешествия в Северную Америку», опубликованный в 1744 году в Париже как часть претенциозной «Истории Новой Франции», свидетельствует о ясном уме и тонком чувстве стиля автора. В описаниях индейцев у Шарлевуа почти нет религиозной нетерпимости, они не лишены даже некоторой доли уважения к естественному человеку, в чем чувствуется близость эпохи Просвещения. У франкоканадских колонистов он подмечает много характерных черт, ставших потом типичными для английских поселенцев в Новом Свете: жажду риска, трудностей и бродячей жизни, «способности к изобретательству», нежелание подчиняться дисциплине даже на войне и в то же время готовность «вершить большие дела». Все же, подобно тем английским чиновникам, которых Берк критиковал накануне Революции \*, Шарлевуа не сумел понять характера колонистов и предложил проводить заселение долины Миссисипи под контролем Парижа. Он не мог предвидеть, что продвижение европейских поселенцев в глубь великой девственной страны будет идти вопреки всякому контролю далекой метрополии.

Конечно, сам того не зная, Шарлевуа дописывал конец французской главы в истории Запада. Будущее Северной Америки было за англичанами. Через двадцать лет после того, как этот просвещенный иезуит плыл по Миссисипи, на восточном берегу реки был заложен сторожевой пост торговцами пушниной из Южной Каролины. Среди них был Джеймс Эдер, младший сын шотландско-ирландского баронета, оставивший единственное в своем роде описание юга долины Миссисипи до Революции, изданное в Лондоне под названием «История американских индейцев, в частности племен, живущих по течению Миссисипи, в Восточной и Западной Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролинах и Виргинии» (1775).

Хотя Эдер, к сожалению, потратил слишком много сил, чтобы доказать, будто американские индейцы произошли от евреев, его рассуждения об индейских обычаях, формах правления, красноречии, военной тактике до сих пор представляют интерес этнографического характера. Аристократ, он находил высшее удовольствие в жизни на лоне девственной природы, борьбе и во всем, что с этим связано; подобно жителю лесов, он испытывал презрение к обосновавшимся в городах представителям власти. В уста индейцев он вложил едкую сатиру на «молодых, ленивых, уродливых бледнолицых с большими животами», праздно проводящих время в Чарльстоне. Проникнутая любовью к лесу, суровым воинственным обычаям, духом отрицания устоев «цивилизации», «История» Эдера является первой важной книгой, написанной с точки зрения жителя границы.

Джонатан Карвер предпринял путешествие на Запад в район сегодняшней Миннесоты в 1766—1768 годах, в короткий

промежуток времени между концом французского владычества в Америке и началом Революции. Карвер служил под началом прославленного или, скорее, пресловутого Роберта Роджерса \*, бывшего одно время комендантом Детройта, которого Кеннет Робертс \* воспел в романе «Северо-западный проход». Однако благодаря своей книге «Три года странствий в глубине Северной Америки» (Лондон, 1778), выдержавшей более тридцати изданий, Карвер прославился больше, чем его командир.

В глазах путешественника из Новой Англии картина долины Миссисипи предстала в небывалом свете. Утверждая, будто центр империи переместится на Запад, Роджерс мечтал о том дне, когда величественные дворцы и торжественные храмы преобразят дикую местность, где ныне лишь хижина дикаря является творением рук человеческих. Однако наибольший интерес в его книге представляет пространный очерк «О происхождении, нравах, обычаях, религии и языке индейцев», содержащий богатый материал, почерпнутый во многом из вторых рук; благодаря ему «Странствия» получили всеобщее признание, какого не удостоилась ни одна книга американского автора в XVIII веке. Они служили образцом для Шатобриана, когда он писал «Путешествие в Америку», а в немецком переводе 1780 года — источником для известного элегического стихотворения Шиллера.

### 3

С заселением Кентукки в истории Запада открывается новая страница. Шарлевуа, Эдер и Карвер были прежде всего посланцами европейских держав, и лишь Американская Революция придала проблеме фронта самостоятельное и независимое от Европы значение. Две наиболее важные книги о том, что происходило на Западе после Революции, — «Открытие, заселение и сегодняшний день Кентукки» (1784) Джона Филсона и «Топографическое описание западных территорий Северной Америки» (1792) Гилберта Имлея — рисуют предполагаемую картину освоения долины Миссисипи в последующие сто лет. У Филсона Дэниел Бун уже обладает многими замечательными качествами, которыми его наделила народная фантазия в ближайшие полвека; Долговязый Охотник, гроза индейцев, он способен побить врага его же оружием. Примечательно, что герой не умеет ни читать, ни писать и должен рассказывать историю своей жизни школьному учителю, который излагает ее высокопарным языком. На переднем крае фронта отнюдь не обрывалась связь с культурной традицией Западной Европы.

Гилберт Имлей, вероятно уроженец Нью-Джерси, во время Революции служил в американской армии. С 1784 года он появился в Кентукки как земельный спекулянт и топограф, возможно, он был повинен в связях с испанцами. Через два года он

уехал в Лондон. Там в 1792 году было опубликовано его «Топографическое описание» и в 1793 — роман «Эмигранты», начатый в Кентукки. В том же году он перебрался в Париж, где имел недолгий роман с Мэри Уолстонкрафт \*. Его дальнейшая судьба остается неизвестной, видимо, он жил в Европе до своей смерти в 1828 году.

Книга Имлея о Кентукки проникнута просветительскими идеями Годвина. С чувством благоговения он пишет о красоте природы, воспринимаемой им в свете его общественных идей:

«Здесь все восхищает, и, окруженные мягким сиянием, мы испытываем благодарность Творцу за это дарованное нам щедрой рукой великолепие. Чуждые презрения к человеку за его порочность и развращенность, мы обнаруживаем в себе то чувство собственного достоинства, каким наградила нас природа в момент творения, чувство, которое осквернено низостью и коварством — плодами европейского образования».

Опуская скучные подробности заселения страны, Имлей высказывает как непреложную истину убеждение в том, что через сто лет весь континент будет покорен республиканцами и превратится в царство разума. В его книге уже проскальзывает идея «божественного предначертания» в отношении Америки.

Но освоение Аллегана шло не только на словах. Картину постепенного продвижения на Запад, носившего повсюду на фронтире одни и те же формы, мы находим у Фредерика Джексона Тернера: первым шел торговец пушниной и истребитель индейцев, за ним — фермер-охотник, который расчищал небольшой участок леса для посева, снимал один-два урожая и уходил дальше, когда территория вокруг начинала заселяться; его сменял оседлый фермер, имевший преимущественное право на покупку освоенного земельного участка; и, наконец, появлялись «деловые люди», жаждущие наживы, возникали первые торговые центры, банки, мелкие предприятия и тому подобное.

Среди характерных представителей фронта на всех его этапах лишь торговец пушниной и истребитель индейцев казались героическими личностями. В результате этого опыт пионеров в освоении территории, лежащей за Аллеганями, нашел художественное отражение преимущественно в литературных вариантах фигуры Дэниела Буна. Самый известный среди них, безусловно, Кожаный Чулок Купера. Но даже и в этом случае художественный образ не достигает цельности: Кожаный Чулок — наполовину благородный дикарь и лесной философ, наполовину — невежественный обитатель лесов, стоящий ниже по своему социальному положению, чем «культурные» герои и героини романов. Писатели долины Огайо, пытавшиеся использовать в литературе тему фронта, не смогли пойти дальше Купера. «Легенды Запада» (1832) Джеймса Холла, адвоката из Филадельфии, поселившегося в Цинциннати, были задуманы как восхваление «храбрецов... завоевавших для нас страну, ко-

торой мы так гордимся». Но хотя у Холла проскальзывают порой ценные наблюдения над теми, кого он видел вокруг себя — трапперами с Миссури, миссионерами, плывущими вниз по Огайо, а также впечатления от встреч на стоянках и описания преступлений на границе, его житель лесов столь же неестествен как и его благовоспитанные персонажи. Другой представитель ранней литературы долины Миссисипи Тимоти Флинт начал свою деятельность в этих краях миссионером и прибыл в 1816 году из Массачусетса. Он был честолюбивее Холла, однако не так удачлив. Прекрасно понимая, какие возможности для литературы раскрывала тема только начинающегося освоения Запада, но явно не обладая богатым воображением, он писал длинные, скучные и поэтому сегодня совсем забытые романы о трапперах, ловивших пушного зверя в Орегоне, о морской торговле на Тихом океане и борьбе Мексики с Испанией на Юго-Западе. Лишь его отрывочные «Воспоминания об истекшем десятилетии» (1826), не считая нескольких претенциозных пассажей, рисующих природу в стиле Шатобриана, дают нам гораздо более ценную картину жизни раннего периода освоения Запада благодаря содержащимся в них непосредственным впечатлениям о жизни в долинах рек.

Лишь изредка встречаем мы в литературе тех лет описания эпохи, когда первые поселенцы, еще слабо связанные с сельским хозяйством, начали продвигаться по следам истребителя индейцев. Наиболее яркие свидетельства мы находим у путешественников, например у Генри Р. Скулкрафта, который двадцатичетырехлетним молодым человеком отправился в 1818 году из северной части штата Нью-Йорк в геологическую экспедицию на плато Озарк. В верховьях Белой Реки он встретил семью Коукеров, обитавшую в трех милях от ближайшего поселка белых.

«Эти люди, — писал Скулкрафт, — живут частично за счет земледелия, частично охотой. Они сеют зерно себе на хлеб и лошадям на корм, прежде чем надолго уйти дальше в глубь лесов, и ничего не оставляют для продажи. Садоводство им неизвестно. Хлеб и мясо диких животных, чаще всего медвежье, — вот их основная пища. В манере поведения, нравах, обычаях, одежде, презрении к труду и неприветливостью они не слишком отличаются от дикарей. Школы, религия и образование им также неизвестны. Охота для них самое главное, почетное и выгодное занятие... в мужчине ценят зоркий глаз стрелка, ловкость, смелость и силу, с какой он убивает дичь, а также выносливость к презрению к тяготам охотничьей жизни».

Более поздний этап освоения страны, когда происходило расширение сельского хозяйства, описан Морисом Беркбеком в «Заметках о путешествии по Америке, от побережья Виргинии до Иллинойса» (1818). Беркбек был английским фермером (то есть владельцем участка земли, большую часть которого он сда-



вал в аренду). Он приехал в Иллинойс с намерением организовать в Америке фермерские хозяйства наподобие тех, которые принадлежали ему в Сэррее. Не разделяя предубеждений, присущих жителям фронта, он понял, какие возможности таила земля прерий еще тогда, когда многим казалось, что если там не растут деревья, то не вырастет и урожай. Заботясь о благе тех англичан, которые, питая отвращение к политической реакции в своей стране, захотят присоединиться к нему в республиканской Америке, он составил красноречивый отчет своих затрат и прибылей, подчеркнув, что через несколько лет он наверняка будет обладать значительным состоянием.

С приходом поселенцев, основывавших натуральное хозяйство за Аллеганями, наступила пора ажиотажа в градостроительстве, активной деятельности агентов по продаже недвижимого имущества, адвокатов и основателей дутых государственных банков. О распространении системы плантаций на равнинах, прилегающих к Мексиканскому заливу, рассказывается в двух сборниках очерков, которые представляют собой важные вехи в развитии американского юмора: это «Картинки Джорджии» (1835) Огастеса Болдуина Лонгстрита и «Бурные времена в Алабаме и на Миссисипи» (1853) Джозефа Г. Болдуина. Оба сборника полны подробностей, относящихся к местным обычаям и нравам по части судейской практики, стычек среди поселенцев, торговле виски, а также — небылиц. Приблизительно о тех же временах на Старом Северо-Западе рассказывает, хотя и без грубоватого мужского юмора, но с чисто женским остроумием и наблюдательностью, Кэралайн Киркленд, директриса женской семинарии в Нью-Йорке, отправившаяся в Южный Мичиган в 30-х годах и прожившая там несколько лет, пока авантюры ее мужа со строительством городов не прекратились из-за начавшейся паники. Ее книга «Кто обретет новую родину?» (1839) явно грешит попытками раскрыть тему Запада при помощи уже известных сюжетных штампов; но автору нельзя отказать в чувстве юмора, и ее высказывания о скваттерах и их женах, об обитателях небольших городков и сказочных богатствах западных банкиров являются ценным историческим свидетельством.

#### 4

Присоединение обширной территории от Миссисипи до Скалистых гор в результате покупки Луизианы (1803) означало, что дальнейшее продвижение на Запад нужно вновь начинать с исследования страны, представлявшей собой белое пятно на карте. Даже до того, как Наполеон неожиданно решил продать Луизиану Соединенным Штатам, Джефферсон собирался послать экспедицию к Тихому океану во главе со своим секретарем и другом виргинцем Меривезером Льюисом. Льюис вы-

брал своим помощником Уильяма Кларка, друга детства, перебравшегося в Кентукки. Экспедиция достигла восточного берега Миссисипи и разбила лагерь недалеко от Сент-Луиса, когда 9 марта 1804 года Луизиана официально перешла во владение Соединенных Штатов.

Хотя Джефферсон посвятил целые годы изучению географии района, лежащего за Миссисипи, Льюис и Кларк имели весьма смутное представление о той стране, через которую лежал их путь. Кроме двух офицеров, в отряд входили четырнадцать солдат, «девять молодых из Кентукки», два франко-канадских торговца пушниной, переводчик, охотник и негр Йорк, раб Кларка. Используя опыт пионеров дикой земли, французов и американцев и то, что они могли почерпнуть у индейцев, Льюис и Кларк одним броском достигли побережья Тихого океана и заложили там форпост для освоения Запада.

Цепь несчастий и последовавшая за ними насильственная смерть Льюиса при таинственных обстоятельствах в лесу в штате Теннесси в 1809 году — все это не позволило опубликовать отчет об экспедиции, названный «История экспедиции под командованием капитанов Льюиса и Кларка к истокам Миссури, оттуда — через Скалистые горы по течению реки Колумбия к Тихому океану», раньше 1814 года. Эта книга, подготовленная к изданию Николасом Биддлом из Филадельфии на основе рукописных дневников, представляет собой выдающееся произведение в литературе о путешествиях. Редактор благо разумно сохранил суровый лаконичный стиль дневников почти без изменений. В результате получился подробный, развертывающийся день ото дня рассказ о пережитом и увиденном, о труде и лишениях, о неизвестной стране и индейцах, о настойчивых поисках и обретенных познаниях. Лишь прочитав книгу целиком, можно понять все значение свершенного: открытие нового мира на Дальнем Западе горсткой людей, не считывавшей и полусотни.

Экспедиция Льюиса и Кларка сразу же дала толчок развитию пушной торговли в верховьях Миссури. За пять лет река превратилась в оживленную водную магистраль, и какой-нибудь непоседливый молодой человек не без литературных претензий мог легко совершить туристическое путешествие к Менден Виллиджиз (в современной Северной Дакоте). Генри Мари Брэнкенридж, сын автора романа «Современное рыцарство», вырос в Питтсбурге и намеревался стать адвокатом в Сент-Луисе. После путешествия с одним из отрядов Мануэля Лиса, скупавшим пушнину, в 1814 году был опубликован его дневник как приложение к небольшой книге под названием «Картины Луизианы», а в 1816 году он вышел расширенным изданием. Это замечательное сочинение. Свободный во время путешествия от трудов и обязанностей, автор был волен бродить по берегу, размышляя об Оссиане, Фенелоне, Ариосто или

«Сказках тысячи и одной ночи». Он читал Дон-Кихота по-испански с помощью Лиса. Он упражнялся в описании ландшафта: небо у него «такое же ясное, как у китайских художников», есть у него и «цветущий луг, холмистая местность, таинственная гора, бурный поток». Иногда он обращался к местным преданиям и слагал «Стихи о несчастной безумной женщине, появляющейся на берегах Миссури у поселений белых». Но Брэнридж был не только сентиментальным позером. Он записал много интересных сведений об индейцах и уже тогда понял, какую роль сыграет Запад в ослаблении мучительной разобщенности между Севером и Югом.

Пока Льюис и Кларк зимовали в районе устья Колумбии, капитан Зебьюлон Монтгомери Пайк осуществлял в северной Миннесоте другой план Джефферсона — он искал истоки Миссисипи. Как только он вернулся в Сент-Луис, генерал Джеймс Уилкинсон приказал ему отправиться в путь через Великие Равнины и достичь истоков реки Арканзас в горах Колорадо. Здесь Пайк в соответствии с задуманным планом сдался испанским отрядам и под конвоем вернулся в Соединенные Штаты через Техас.

Дневники Пайка, опубликованные в 1810 году под названием «Отчет об экспедициях к истокам Миссисипи и по западным районам Луизианы...», характеризуют автора как молодого и энергичного человека, профессионального военного. Он имел при себе книги Вольнея, Шенстона и Попа и время от времени записывал впечатления, возникавшие у него при виде красот природы. Его склонность к красноречию расцвела в радужные тона картины канзасских прерий, где его «разгоряченному воображению» виделись «будущие оазисы земледелия, многочисленные стада домашнего скота, что, безусловно, преобразит эти прекрасные равнины», но это же привело к тому, что он объявил Великие Равнины, простиравшиеся дальше на Запад, бесплодными, сравнив их с Сахарой столь убедительно, что это породило миф о Великой Американской Пустыне к востоку от Скалистых гор.

Вторая серьезная попытка американцев исследовать верхний Арканзас была предпринята через пятнадцать лет после экспедиции Пайка под руководством майора Стивена Х. Лонга, который имел хорошо подготовленных в научном отношении помощников. Поднявшись вверх по реке Плата в июне 1820 года, его отряд прошел через горные районы и вернулся обратно по реке Арканзас. Подробный отчет об экспедиции, опубликованный в 1823 году, был составлен из нескольких рукописных дневников Эдвином Джеймсом, молодым врачом и геологом из Вермонта. В отчете описаны разные районы долины Миссисипи, расположенные от Питтсбурга до Ройал Гордж в Колорадо, особенно много внимания уделено государственной собственности за фронтиром. Мнение ученого подтвердило мрачную вер-

сию Пайка. Джеймс писал о «Великой Пустыне» у отрогов Скалистых гор шириной около шестисот миль, простиравшейся от северного Техаса до канадской границы.

5

Книга Джошуа Грегга «Торговля в прериях» (1844) столь ярко запечатлела продвижение американцев к границам Новой Испании по проторенному пути в Санта-Фе, что ее можно назвать, как и книгу Льюиса и Кларка, литературным памятником освоения Запада. Автор вырос на фронтире у берегов Миссури, но бродячая жизнь в прериях так увлекла его, что даже на родине он чувствовал себя в слишком цивилизованном обществе:

«Не проходит и дня (писал он потом), чтобы я не испытывал мучительного сожаления о привольной жизни в прериях Запада. И в этом я не нахожу ничего странного, ибо я почти не встречал еще человека, который, хоть раз узнав ту жизнь, что я вел так много лет, расставался бы с ней без сожаления».

Грегг недолго учился, но у него было призвание ученого. Прерии и неведомая латинская цивилизация, скрытая за ними, — все это стало его библиотекой и лабораторией, ведение же дневника — профессиональным занятием. По форме его книга — классический пример дневника путешественника. Грегг назвал его «Дневник торговца из Санта-Фе». И хотя он сохранил форму последовательного повествования сначала о путешествии из Санта-Фе, потом — о путешествии к югу до Чихуахуа и Агуас Калиентес и, наконец, обратном — к берегам Миссури, в книгу вошли его размышления, явившиеся плодом всех четырех его путешествий за девять лет торговой деятельности. В приложении даны отдельные главы, где также рассказывается об истории и форме правления в Санта-Фе, флоре и фауне, индейских племенах. Кажется, что перед глазами научный труд, посвященный Юго-Западу, возникавшему на американском горизонте.

В книге Джорджа У. Кендалла «Отчет о техасской экспедиции в Санта-Фе» (1844) явно чувствуется атмосфера назревающей войны и тон повествования совсем иной, чем у Грегга, писавшего о спокойных 30-х годах. Эта удивительная экспедиция, в которой Кендалл принял участие, отправилась в путь, движимая верой в то, что население Нью-Мехико ждет помощи техасцев для защиты своей независимости от Мексики и что торговый путь из Остина в Санта-Фе сможет соперничать с путем из Миссури через Арканзас. Но когда измученные голодом путешественники достигли поселений на Рио-Гранде, мексиканские власти арестовали их, обвинив в вооруженном вторжении, двоих убили, а остальных под конвоем отправили в Мехико.

Первая часть повествования — это страшная картина бед, на какие обрекает Запад тех, кто, отправляясь в путь, думает, что смелость и энтузиазм заменят старинную науку торговать пушниной. Лошадей угнали индейцы, людей мучила жажда, снаряжение сгорело во время пожара в прериях, оставшие в пути были скальпированы. Все же Кендалл как редактор новоорлеанской газеты «Пикиюн» сохранял достоинство и находил в себе силы описывать пройденный путь или рассказывать товарищам занимательные истории, несмотря на страдания. Книга прекрасно выражает дух общества, стремившегося к войне, его широковещательные притязания, презрение к невежественным католикам-мексиканцам и пылкую молодую веру в американскую (читай западную) мечту.

Начавшаяся война оказалась далеко не такой, какой ее рисовало литературное красноречие. Но одна операция — поход Александра У. Донифэна в северную Мексику — явилась воплощением той невероятной удали, которой жаждало воображение американцев на Западе. Об этом рассказывают несколько дневников, из которых самый подробный — «Экспедиция Донифэна» Джона Т. Хьюза, изданный в Цинциннати в 1847 году. Донифэн отправился вниз по Рио-Гранде в декабре 1846 года с отрядом, насчитывавшим менее тысячи волонтеров из Миссури. Не завися от тыловых баз снабжения, они выиграли два боя и вошли в Чихуахуа. Затем отряд повернул на восток, чтобы совершить марш-бросок на семьсот миль через Болсон де Мапими и соединиться с армией Вула у Солтильо. Ни один профессиональный военный не рискнул бы действовать столь безрассудно и смело, но миссурійцы твердо решили не иметь ничего общего с кадровыми военными. В палатку воспитанника Уэст-Пойнта, когда тот решил обучить их строю, они швырнули овечьи внутренности. Хьюз так описывал этих людей, когда они вышли из пустыни:

«Их взъерошенные волосы, отросшие бакенбарды, одежда из оленьей кожи, суровая внешность, решительный взгляд и независимый вид привлекали всеобщее внимание и вызывали восхищение. Хотя им и не хватало дисциплины, они были выносливы, непоколебимы, решительны, горды, благородны, честны и умны».

Это был воплощенный идеал фронта.

Лучшей книгой, вызванной к жизни событиями бурной зимы 1846/47 года, можно назвать «Уэх-гу-уэх и путь к Таосу» Льюиса Х. Гаррарда. Автору, уроженцу Цинциннати и пасынку судьи Джона Маклина, члена Верховного суда США, было лишь семнадцать лет, но, несмотря на то, что шла война, он убедил родственников отпустить его в путешествие к Скалистым горам. Он сопровождал караван компании Бента и Сент-Врейна к форту Бента на реке Арканзас, на юго-востоке теперешнего штата Колорадо, и перезимовал там с трапперами и

индейцами. Книга «Уэх-ту-уэх» (индейское название Испанских Вершин около форта Бента) была издана в 1850 году, когда автору исполнился двадцать один год. Гаррард обладал редкой природной способностью схватывать красочные метафоры языка трапперов, представлявшего диалект жителей Кентукки с испанскими и индейскими заимствованиями. Ярчайшим образцом его творчества в этом духе является длинный отрывок, описывающий сон Джона Хэтчера, в котором ему представляется, что он попал в ад. Гаррард писал также о счастливых часах, проведенных у индейцев племени шайен: «Радостные лица девушек... веселые глаза Утреннего Тумана... низкий смех юношей, состязавшихся в любимой игре «угадай», другие хорошенькие девушки из Таоса, курившие маленькие сигарки, магический блеск их глаз, глядящих в самую душу».

## 6

Хотя военное вторжение на побережье Тихого океана в 1846 году шло с юга вдоль реки Хила, заселение Орегона и Калифорнии началось раньше по пролежавшему севернее пути торговцев пушниной, который начинался у реки Плата и тянулся через Южный Перевал. Широкий интерес к Орегону возник после отчета лейтенанта Джона Чарльза Фремонта о его походе к Южному Перевалу в 1842 году. Своей ролью в истории и литературе Запада Фремонг был обязан женьтье на дочери сенатора Томаса Бентона из Миссури, который добился от конгресса ассигнований на составление карты этого пути, назначения Фремонта командиром отряда, посланного для этой цели в горы, и позаботился о том, чтобы отчет (эффектно изданный и, очевидно, в основном написанный женой Фремонта) разошелся большим тиражом как государственный документ. Фремонг стал героем, а жадные до вымысла читатели восприняли его путешествия по Западу в том ложном свете, в каком они могли предстать в беспокойной общественной атмосфере времен «божественного предназначения».

«Отчет об исследовательской экспедиции к Скалистым горам в 1842 году» (1843) современному читателю покажется скучным, но в 1840-х годах тысячи американцев жадно вчитывались в описания вроде: «У меня была прекрасная охотничья лошадь по кличке Прово, знаменитая на весь Запад, глаза ее горели, изо рта летела пена, когда она, словно тигр, бросилась за самкой бизона».

Если этот отрывок уж слишком напоминает картины Де-Лакруа, то есть и целый ряд других, написанных в духе Дефо, например тот, где рассказывается, как Фремонг сделал новую трубку барометра из рога для пороха. Эпизоды, изображающие проводника Кита Карсона как верного слугу благородного героя, принесли Карсону, первому среди охотников, всеоб-

щую известность. Как и Филсону в книге о Буне, Фремонт удалось создать образ, ставший неотъемлемой частью американского фольклора.

Вслед за путешественниками шли поселенцы. Одним из них был Эдвин Брайент, журналист из Кентукки, отправившийся в Калифорнию. Его мастерски написанная книга «Что я видел в Калифорнии» (1848) — рассказ о путешествии, какие тогда совершались очень многими в фургоне через прерии: сбор будущих путешественников у города Индепенденс, Миссури, в апреле; церемония прощания с неизменными речами; избрание командиров и введение дисциплины; ночлег в прерии; звуки сигнальной трубы на заре. С приездом в Калифорнию Брайент прервал свой дневник, чтобы поведать об ужасной судьбе поселенцев 1846 года из партии Доннера, которые были отрезаны снегами в горах и дошли до крайней степени голода и даже людоедства; это самая страшная глава в истории освоения Запада. Позже, находясь в калифорнийском батальоне Фремонта и будучи алькальдом Сан-Франциско, занятого американскими войсками, он описывал комедию завоевания этих земель.

Книга Брайента — вполне убедительное свидетельство того, что освоение побережья Тихого океана началось еще до открытия золота. Поселенцы сорок девятого года лишь пополнили армию тех, кто по разным дорогам пересекал континент, и их рассказы не прибавят много нового к той картине движения на Запад, которую мы встречаем в более ранней литературе. Из дневников времен золотой лихорадки одним из лучших считается «Жизнь в прериях и на золотых приисках» (1853) Алонсо Делано. Сам родом из Иллинойса, он писал о тех несчастьях, сопровождавших поселенцев 1849 года, которые проистекали из-за нехватки корма скоту, воды и дичи в прериях, где сильно возросло передвижение. Так как путешественники были вынуждены избавляться от части груза, они бросали провизию и другие запасы прямо у дороги.

«Мы... находили сахар, облитый скипидаром (писал Делано), муку, смешанную с солью и грязью, фургоны, разломанные на куски или сожженные, одежду, разорванную настолько, что ее нельзя было носить, а также ценные вещи, бессмысленно уничтоженные лишь потому, что владельцы не могли ими пользоваться сами и не хотели, чтобы ими воспользовался кто-нибудь другой».

## 7

В течение первой половины XIX века все те, кто писал о землях за Миссисипи, считали, что этот район мало связан с жизнью американского общества. Но вот «золотая лихорадка» чуть ли не в одну ночь привлекла на Тихоокеанское побережье

толпы людей, и все вдруг поняли, что судьба американцев решалась на Дальнем Западе. В литературе о Западе с 1849 по 1869 год, когда государственная трансконтинентальная железная дорога соединила наконец Нью-Йорк и Сан-Франциско, соответственно подчеркивалась необходимость объединения Востока и Запада или таковое провозглашалось уже достигнутым. Об этом писали главным образом журналисты, которые считали своим долгом привлечь внимание американцев к теме Запада.

В книгах Бэйарда Тейлора «Приключения на пути к Эльдорадо» (1850) чувствуется перемена во взглядах профессионального писателя и путешественника. Хорэс Грили послал его на Запад, чтобы освещать эпизоды «золотой лихорадки» в нью-йоркской «Трибюн». На пароходе, шедшем в Панаму, Тейлор достиг Сан-Франциско в июле 1849 года и тут же, пересев на мула, отправился на прииски. Это было время наивысшего бума, когда золотоискатели разогревали на кострах консервированных омаров и распивали за столами из ящиков шампанское. Тейлор был свидетелем того, как стихийно возникало местное самоуправление в лагерях золотоискателей, как собрался первый Конвент, чтобы выработать Конституцию штата. Он писал о перестрелках, игорных притонах, театрах и песнях Стивена Фостера, которые с тех пор ассоциируются с 1849 годом.

В книге «Путешествие по суше из Нью-Йорка в Сан-Франциско» (1860) Хорэса Грили, писавшего в «Трибюн» письма, на основе которых и была создана его книга, две или три главы посвящены «золотой лихорадке» 1859 года у горы Пайкс. Но главное внимание уделено политике республиканцев в Канзасе и освоению земель за Миссисипи. Грили, сам будучи сыном фермера из Новой Англии, интересовался почвами и климатом на Западе и был удручен «спекулятивным ажиотажем и появлением земельных монополий», а также распространившейся коррупцией в связи с захватом государственных земель. В Калифорнии он видел, как начинала развиваться горнодобыча, там же он составил описание Йосемитской долины, которое с тех пор включено во все туристские справочники. Он также поддержал тех, кто горячо отстаивал преимущества Калифорнии перед другими штатами, отметив в своей книге, что пшеница здесь растет двадцати футов высотой, дыни величиной с медный котелок и двухгодовалые бычки больше, чем трехлетки на Востоке.

Гражданская война ускорила объединение Запада и Севера, которого так желал Грили. Когда наконец наступил мир, ликующие республиканцы убедились, что для развития промышленности Севера открылись широкие перспективы. Через шесть недель после капитуляции при Аппоматоксе Шайлер Колфлекс, спикер палаты представителей, отправился в триум-



фальный вояж за Миссисипи, что символизировало политический курс партии на развитие Запада. Его сопровождал Сэмюел Боулс, влиятельный редактор газеты «Рипабликэн» (Спрингфилд, Массачусетс), который описал это путешествие в своей книге «Через континент» (1865, переиздана в 1869 году с дополнениями после нового путешествия под названием «Наш новый Запад»). Подобно Гилберту Имлею, Боулс мечтал лицезреть на землях за Миссисипи «картину всеобщего процветания, которое... будет свидетельствовать о таком могуществе Человека на Североамериканском континенте, таком развитии государственной и общественной системы, умственном развитии и благосостоянии, какого мир никогда не видел, о каком и не мечтал».

## 46. ЗАПАД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОСТОКА

### 1

До покупки Луизианы американцы мало что слыхали об этой чужой земле, которой суждено было стать западной частью их страны. Да у них и не было никаких причин интересоваться ею. Как только Луизиана вошла в состав Соединенных Штатов, интерес к ней немедленно возрос, однако знакомство проходило медленно. Постепенно сведения о новом штате стали распространяться благодаря поездкам и рассказам очевидцев, газетным и журнальным известиям, книгам. Но прошло немало времени, пока Запад проник в литературу и были созданы произведения, о которых можно было бы сказать, что в них «Запад показан с точки зрения Востока».

Освоение Запада шло семимильными шагами. Внушительное зрелище представляет собой сам перечень книг на эту тему. Среди них большое количество официальных отчетов о путешествиях Льюиса и Кларка, Пайка, Лонга, Фремонта. Немало примечательных отчетов было написано и добротными исследователями Запада — Брэкенриджем, Кэтлингом, Леонардом, Греггом. Где-то между фактом и вымыслом находятся такие интересные книги, как «Рассказ очевидца» (1831) Джеймса Патти и «Заблудившиеся трапперы» (1847) Д. Г. Койнера. Другие, такие, как Эмерсон Беннет, писали романы или романтические повести. Некоторые изображавшие Запад даже не были американцами: англичане Ракстон \* и Марриет \* или жители Европейского континента Силсфилд и принц Максимилиан из Вида\*.

В настоящей главе мы рассматриваем не этих любопытных и разноликих литераторов, а нескольких наиболее крупных писателей. Книги таких авторов, повествующие как о Западе, так и о них самих, интересны вдвойне. Тем более что отношение подобных писателей к Западу обнаруживает особенности, свойственные и другим, менее значительным литераторам, а также стране в целом.

В пограничной местности главным источником информации о землях по ту сторону фронта служили рассказы трапперов, возвращающихся из поездок, и купцов, торговавших с индейцами. Все же стране приходилось довольствоваться чтением га-

зет и журналов. Литераторы обращались к книгам, их представления складывались в известной мере под воздействием этого чтения. Действительно, почти всегда источниками их сочинений о Западе служили книги, среди которых особо выделяются записки Льюиса и Кларка в редакции Биддла (1814), рассказ об экспедиции Лонга (1822—1823) и отчет Фремонта (1843).

## 2

Среди наших первых писателей наибольшее влияние Запада испытали Купер и Ирвинг. Именно они заслуживают самого пристального внимания, поскольку их книги в свою очередь оказали глубокое воздействие на более поздних писателей. Можно сказать, что мелодраматическая традиция прозы Запада непосредственно восходит к Куперу.

«Прерия» (1827) появилась, когда Купер был в зените славы. Публика, мало что знавшая о Западе и не способная отличить вымысел от действительности, прямо-таки набросилась на роман. Эта книга стала, таким образом, одним из важнейших документов в создании образа Запада в умах американцев.

Из романов Купера очевидно, что писатель читал отчеты Биддла и Лонга, а возможно, и газетные сообщения о торговле в Санта-Фе. И чем больше читал, тем лучше, ибо Биддл и Лонг были достаточно авторитетны. Из Биддла, например, Купер заимствовал имена своих вождей сиу — Матории и Уюча. Твердое Сердце и большинство других имен взяты у Лонга. Но беда в том, что Купер не пошел дальше и, по-видимому, не читал ничего иного. В отличие от Ирвинга он даже не посетил Запада. Ему было вполне достаточно поверхностного знакомства, не ограничивавшего свободы воображения. И как результат в завлекательном романе под видом картины Запада подается смесь разного рода нелепостей.

В подтверждение достаточно привести один из примеров куперовской манеры повествования. Его романы населяют герои и злодеи. Для индейцев он даже выработал правило: индейцы, которые с нами, — это благородные краснокожие (могикане); индейцы, выступающие против нас, — это краснокожие дьяволы (минго). В «Прерии» героями изображены индейцы племени поуни, злодеями — племя сиу (сиуксы, как писал Купер). В действительности между ними не было существенного различия, у каждого племени были свои достоинства и недостатки (любопытно, что в ирвинговской «Поездке в прерии» роль злодеев играют поуни). Куперовская несправедливость в отношении к сиу проявляется в том, что писатель неизменно приписывает им самые ужасные пытки, которым они подвергают своих пленников. Очевидно, он принимал их за ирокезов или других восточных индейцев. Что же касается

самых сиу, то они решительно отвергали такое обвинение. На самом деле, будучи людьми примитивными, они без промедления убивали своих врагов. Пытки же процветают там, где народ более изощрен и постиг искусство самообладания, например у ирокезов или итальянцев эпохи Возрождения.

Однако Купер блестяще предвосхитил будущую литературную тему, изобразив крытый фургон переселенцев в просторах прерий. В 1827 году лишь немногие торговцы из Санта-Фе отваживались пересекать прерии в фургонах. Однако, несмотря на эту удачную находку, «Прерия» была полна самых чудовищных нелепиц.

К счастью, другой большой писатель с Атлантического побережья, обратившийся к той же теме, находился на более высоком профессиональном уровне. Он придерживался забытых иными правил относительно того, что когда берешься за работу, то по мере возможности пользуйся сведениями из первых рук. Короче говоря, Вашингтон Ирвинг сам отправился взглянуть на Запад.

В последнее время принято посмеиваться над ирвинговскими описаниями Запада. Наши современники, обычно лишённые возможности черпать сведения о Западе откуда-либо, кроме книг, по-видимому, забывают, что Ирвинг видел Старый Запад собственными глазами. Он переправлялся через бурный Арканзас на лодке из буйволовой кожи; он видел возвращение раненого Саблета \* после легендарной битвы при Пьерсхале; он извёдал страх при крике: «Поуни!»

«Поездку в прерию» (1835) можно назвать бесхитростным документальным отчетом об экспедиции по местам теперешней Оклахомы, хотя Ирвинг, конечно, обращался и к художественным приемам. Критики отмечают, что им опущены некоторые эпизоды, где он выступает в комической роли, что его злосчастная антипатия к метису Битту ничем не оправдана, а изящный стиль не соответствует суровости леса Кросс-Тимбер. Известно, что ни один рассказ о путешествии не обходится без подобных отступлений. Однако рассказ Ирвинга, бесспорно, интереснее и обстоятельнее двух других, принадлежащих участникам той же экспедиции. «Поездка в прерию» написана во многом живее остальных его произведений.

Непосредственное знакомство с Западом придало Ирвингу ту уверенность, которая ощущается в добротности «Астории» и «Капитана Бонвиля» \*. Вдохновенными книги эти не назовешь, но они остаются авторитетными источниками в изучении Запада. Правда, «Астории» можно бросить упрек, что книга не содержит того, на что претендует. «Я главным образом основывался на своих дневниках», — утверждает Ирвинг в предисловии и называет еще шесть печатных источников, к которым обращался «от случая к случаю». На самом же деле наблюдается обратное — многие главы «Астории» представ-

ляют собой не что иное, как переложение печатных отчетов Бредбери \*, Брэкенриджа и других путешественников, писавших до него.

Установив вольное обращение Ирвинга с источниками, следует, однако, признать, что он проявил себя здесь ученым и писателем и, как то делают современные профессора, нанял помощника для черновой работы. Затем на основе полдюжины различных отчетов он прикинул, что могло бы оказаться наиболее вероятным, и написал связный и весьма завлекательный рассказ. Желая придать повествованию достоверность очевидности, Ирвинг обращался не только к собственному опыту, но и к таким основополагающим источникам, как Льюис и Кларк. Не будучи ни глубоким научным исследованием, ни блестящим художественным произведением, книга представляет собой довольно редкое сочетание большой эрудиции с искусством повествования.

Труднее оценить «Капитана Бонвиля», не отличающегося ни четкостью замысла, ни ясностью стиля «Астория». Вместе с тем перед нами гораздо более оригинальное произведение, основывающееся на ныне утраченных документах и на беседах с самим Бонвилем.

«Астория» вызвала самый восторженный отзыв По в «Сазерн литерэри мессенджер» за январь 1837 года. Очевидно, именно книга Ирвинга пробудила интерес По к Западу; в частности, можно отметить, что в «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» (1838) герой избирает для своего чтения «отчет об экспедиции Льюиса и Кларка к устью Колумбии», о его же приятеле Петерсе говорится, что тот был сыном белого и индейки из племени упшароков.

Единственное большое произведение По о Западе увидело свет в 1840 году. То был «Дневник Джулиуса Родмена», который он предпочел выдать за «описание первого путешествия через Скалистые горы». Однако это мало кого обмануло. В своей повести По неуклонно следует за Льюисом и Кларком, возвращаясь не только к «Астории», «Капитану Бонвилю», но, по-видимому, и к некоторым другим книгам. Поскольку «Астория» сама светит отраженным светом своих источников, трудно с уверенностью сказать, заимствовал ли По у Ирвинга или прямо из ранних книг. Чтобы сделать повествование убедительнее, По прибегает и к уничижению: «Мы хотим обратить внимание читателя на то обстоятельство, что данные мистера Родмена неизменно оказываются скромнее данных капитана Льюиса». Это, естественно, не способствовало созданию увлекательной истории, и в конце концов Родмен, подобно Пиму, исчерпал себя, и повесть осталась не оконченной. Сам по себе «Дневник» не представляет значительного произведения, хотя и остается еще одним свидетельством растущего в конце 30-х годов интереса к Западу,

Трансценденталистов больше волновал Дальний Восток, чем Дальний Запад, хотя скитальцы Запада на деле осуществляли «доверие к себе» и вели жизнь, в которую Торо только играл, поселившись на берегу Уолденского пруда. Как практичный янки, Эмерсон высоко ставил наступательный дух фронта, но его собственный опыт молодости и разрозненные высказывания относятся скорее к Среднему, чем к Дальнему Западу. Читал он и Фремонта, однако дневниковая запись Эмерсона, касающаяся застенчивости этого землепроходца, исполнена язвительности и не касается жизни Запада.

Казалось, Торо должен был бы проявить интерес к обширным землям, расстилавшимся к Западу. Однако его занимало совсем другое. Большое внимание уделено в его дневниках пушной торговле и калифорнийской «золотой лихорадке». При этом он по преимуществу оперирует экономическими понятиями и высказывает суждения, которые сам обычно называл «моральными основаниями». Конечно, трудно сказать, насколько экономические факторы определяли жизнь фронта. Любой прочитавший хотя бы несколько настоящих книг о Западе не мог не заметить, что жажда барыша редко оказывалась единственным или главным стимулом. Нашлось немало добровольцев, пожелавших отправиться в экспедицию с Льюисом и Кларком, хотя ни один из них не рассчитывал ни на что, кроме собственного жалованья. Среди мотивов, фигурирующих в воспоминаниях таких людей, обычно упоминаются страсть к приключениям и новым странам, стремление окунуться в жизнь, свободную от тенет цивилизации. Однако Торо видел в этих скитальцах Запада лишь «бездельников, подверженных искушению рома и денег», и восклицал: «Что за жалкое дело эта пушная торговля!» Он полагал, что калифорнийская лихорадка приносит «величайшее бесчестие роду человеческому», но в его неприятии Запада слышится отзвук некоей зависти. Трапперы смело пересекали стремнины сотен неведомых еще рек, а он бродил по равнине Конкорда; они устраивали гомеровские пиршества и вели сражение при Пьерсхолье, а он возделывал бобы на поле, с которого был слышен рожок, сзывающий горожан к обеду.

Не удостаивали своего внимания Запад и поэты. Знаменитая строка Брайента «где катит волны Орегон», очевидно, восходит к путешествию Льюиса и Кларка, опубликованному в обработке Биддла, о чем свидетельствует первоначальное написание Брайентом слова «Орегон»<sup>1</sup>. Следующие строки, начиная с «И мертвые там...», были, по-видимому, навеяны ярким

---

<sup>1</sup> Издание Биддла появилось в 1814 году. Даже если «Танатопсис» был написан в 1811 году, можно полагать, что строки об Орегоне-Орегоне написаны незадолго до первой публикации в 1817 году.

описанием острова Мемалус и индейских кладбищ на берегах Колумбии. «Прерии» Брайента, хотя и обнаруживают знакомство поэта с Дальним Западом, на самом деле возникли в результате опыта его собственной жизни в Иллинойсе и посвящены описанию ландшафта этого штата. О неизменном интересе Брайента к Западу можно судить также по нескольким мелким его стихотворениям.

Четвертый раздел второй части «Эванджелины» начинается широкой живописной картиной:

На Дальнем Западе, в пустыне, гор гряды,  
Заснеженные склоны лучезарны.

Большинство реалий поэмы можно найти у Фремонта, даже такую деталь, как сопоставление «роскошных гирлянд роз и пурпурных аморфов». Хотя поэма написана хорошо, она отнюдь не свидетельствует о начитанности Лонгфелло. Следы ее прослеживаются лишь в первых главах книги, а прекрасный обзор местности говорит о внимательном изучении поэтом географической карты.

Два молодых выходца из Новой Англии тоже отправились посмотреть Запад собственными глазами. Ричард Генри Дана-младший озаглавил свою книгу «Два года простым матросом» (1840), хотя с равным правом ее можно было бы назвать и «Год в Калифорнии». Френсис Паркмен, подобно Ирвингу, предпринял поездку в прерии с тем, чтобы воплотить свои впечатления в книгу. Однако заглавие «По тропам Калифорнии и Орегона» (1849) весьма обманчиво — Паркмен даже не приближался ни к Калифорнии, ни к Орегону. Хотя многие современники отнесли к этой книге как к дешевому чтиву, она осталась в числе популярных произведений детской литературы.

В своих зарисовках Запада Дана тяготел к документальной точности. Паркмен же легко увлекался, доверяясь собственным субъективным наблюдениям. И оба молодых человека отдавали дань бостонской литературной традиции: Дана был шокирован безнравственностью фронта, а Паркмен, восторгавшийся просторами Запада, презрительно усмехался, как и подобает истинному брамину, неотесанности поселенцев, живущих в фургонах.

Круг ранних произведений, посвященных Дальнему Западу, может быть ограничен 1850 годом. К тому времени «золотая лихорадка» 1849 года охватила всю страну. В поисках нового были извлечены из мрака забвения «Два года простым матросом»; тысячи читателей обратились к Фремонту; томик Паркмена благодаря вынесенному в название слову «Калифорния» стал бестселлером, а с печатного станка тем временем не переставали сходить десятки ныне забытых книг о Западе. Случайные упоминания о нем появлялись повсюду: в «Эльдо-

радо» По, мелвилловском «Моби Дике», на страницах которого разбросано с полдюжины реминисценций, таких, как «черные бизоны далекого Орегона». Даже готорновский мир туманной мечты и иллюзии не избег подобной же участи. Вступительный очерк к «Алой букве» (1850) содержит упоминание о добыче золота в Калифорнии, а Чиллингворт, говорится в романе, «рылся в душе несчастного священника, как рудокоп в поисках золота».

4

Таким образом, к 1850 году писатели Атлантического побережья либо что-то знали о Дальнем Западе, либо по крайней мере имели о нем некое смутное представление. Каковы же были эти знания или эти представления? Обыкновенно Дальний Запад рассматривался как страна диковинная. Американская, а еще раньше английская традиция исходила из того, что богатая водой и лесами страна сохраняет свой первозданный вид. (В действительности огромные пространства заняты пустынями или степями и только относительно небольшая площадь богата лесами и водами, однако такое недоразумение вполне понятно.) Поэтому в ранних описаниях Запада вновь и вновь говорится о безлесных равнинах, беспредельных, как океан, о голых скалистых вершинах, похожих на развалины замков, о солончаках и бессчетных стадах бизонов, сотрясающих своим топотом прерии. «Серные потоки» в «Улялюм», возможно, восходят к описаниям извержения лавы на Западе. Мало чем отличается западный ландшафт и в изображении Джулиуса Родмена: «Весь спуск к реке кажется нагромождением мрачных развалин. Растительности не видно нигде». Подобные примеры можно было бы умножить. И при встрече с ним, и в книгах Запад поражал своей необычностью, так же как он до сих пор поражает всякого, родившегося или выросшего на Атлантическом побережье и впервые оказавшегося по ту сторону Скалистых гор.

Если бы первое знакомство с Дальним Западом началось в середине XVIII века, то впечатление от новых земель было бы самое ужасное и отталкивающее. Однако дух романтизма опередил пироги Льюиса и Кларка, которые первыми пересекли мутные воды Миссури. Всеобщий восторг вызывали романтические ущелья, пестрые луга и дикие леса, выглядевшие, однако, не более заброшенными, чем хорошо подстриженные сельские парки. Эдгар По писал о Джулиусе Родмене: «Огромную и страшную чашу лесов он прошел с восторгом в сердце, вызывающим у нас зависть по мере чтения». Подобная фраза — хрестоматийное выражение романтизма, и в то же время она могла бы быть цитатой из Фремонта, Джелидидии Сми-



та \* или другого реально существовавшего исследователя Запада.

Этот восторг, не исключавший, однако, более практических целей, был причиной того, что Запад привлек к себе сердца многих. Сначала поражала необычность, а затем захватывала красота увиденного. Так, благодаря Жан-Жаку Руссо наши поэты и романисты стали взирать на Запад, как на дикие, но прекрасные просторы, где человеку дышится свободно. Таким — в мечте и отчасти в действительности — Запад остается до сих пор.

## 47. АВРААМ ЛИНКОЛЬН: ПОЧВА И ПОСЕВ

### 1

Есть человек, в чьих словах, будь они сказаны или написаны, Запад с его обширными просторами и Восток со многими народами предстают как единое целое. И не случайно вокруг имени и личности Авраама Линкольна возник легендарный ореол, подобно тому как ранее такой же ореол возник вокруг личности Джорджа Вашингтона. В Линкольне народ Соединенных Штатов смог наконец увидеть себя — каждого в отдельности и всех вместе.

Авраам Линкольн владел многими стилями. Подсчитано, что в его печатных речах и документах содержится 1 078 365 слов. Проштудировав столь обширное количество публичных выступлений, можно обнаружить гораздо большее многообразие стилей, чем у любого американского деятеля или оратора. И вероятно, ни один автор не писал и не произнес столь различных по стилевой тональности выступлений, адресованных самой разнообразной аудитории.

Это свидетельствует в конечном итоге о диапазоне влияния личности Авраама Линкольна, отождествившей себя с мятежностью и заблуждениями человечества, связанной с массами и отдельными людьми. Он предстает то как располагающий и дружелюбный собеседник, то как отрешенный от жизни, погруженный в размышления, молитву и созерцание мыслитель. То он общественный деятель, провозглашающий перед живой аудиторией свои решения, то уединенный исследователь, создающий абстракции о свободе человека и его ответственности.

Вероятно, ни один американец не воплотил в себе столь определенно эти две черты: гений трагика и дух комика. Судьба человека, бремя его тягот и испытаний, драматизм обстоятельств, трагическое в человеческой жизни — все это сквозит в выступлениях Линкольна столь же определенно, сколь и явная грусть на его лице во время отдыха. И в то же время он снискал себе славу поистине величайшего юмориста, когда-либо пребывавшего в резиденции главы исполнительной власти в Вашингтоне; его дар смеха и чувство юмора стали национальным достоянием.

Три небольших отрывка, вышедших из-под его пера, хранятся как бессмертные реликвии американского народа, и каждая из них написана в высоком трагическом ключе. Это письмо миссис Биксби, Геттисбергская речь и Речь при втором вступлении в должность президента.

Согласно документам Военного департамента, одна женщина из Бостона потеряла пять сыновей — они погибли на войне. Как показали позднейшие розыски, число погибших оказалось меньше, но через нее Линкольн обратился ко всем семьям, которые потеряли сыновей или мужей на войне. «Слабы и бесполезны будут слова мои в попытке утешить Вас в горе от столь огромной потери, — писал он. — Но я не могу не передать в Ваше утешение благодарность Республики, спасая которую они погибли». Прежде чем написать заключительное предложение, он в раздумье оторвал от бумаги перо, он, по чьей инициативе, воле и ответственности началась война и продолжалась уже почти четыре года, и написал: «Я взываю к Господу Богу, чтобы он утишил страдания Ваши по поводу столь тяжких утрат и оставил Вам лишь дорогие воспоминания о любимых и потерянных, да еще святую гордость за то, что Вы принесли столь великую жертву на алтарь свободы».

За одиннадцать дней до того, как произнести свою речь в Геттисберге, в студии фотографа, Линкольн держал в руках пространное выступление Эдварда Эверетта, признанного оратора того времени, опубликованную двухчасовую речь, занимающую почти обе полосы приложения к бостонской газете. Молодому, газетному репортеру из Калифорнии он сказал, что его речь в Геттисберге будет «краткой, краткой, краткой», каковой она и оказалась: десяток предложений, произнесенных менее чем за пять минут. По своему глубинному смыслу она является одним из самых блестящих выступлений в опыте демократических народов мира. «Новая нация, зачатая в свободе и утвердившаяся во мнении, что все люди созданы равными — во имя увековечения этого люди умирали на полях сражений», — сказал он. И умершие будут забыты, и их гибель бесполезна, если живущие не посвятят свои жизни завершению незаконченной части дела, которому мертвые воздали полную меру своей преданности.

По существу, Геттисбергская речь — одна из величайших американских поэм, которая имеет значение и находит отзвук, далеко за пределами американских берегов. Она удивительным образом воплощает требования и гарантии республиканских институтов, демократии, власти народа и прямо дает понять, что народное правительство, однажды возникнув, может затем «исчезнуть с лица земли». Он определяет «новое рождение свободы» более детально в других выступлениях. В речи нет ни обвинений, ни выпадов, ни грозных инвектив, ни даже мягко выраженного упрека в адрес врага. Некоторые находили в.

получившей широкий резонанс Геттисбергской речи негромкий призыв к тем на Юге, кто не без колебаний пошел на отказ от национального единства: возвратитесь в старый Союз штатов и давайте сделаем то, что рисовали себе виргинцы, Вашингтон и Джефферсон. Если отвлечься от конкретного исторического фона, речь представляет собой гимн на все времена в честь тех, кто не ограничивается *разговорами*, а *борется* и *действует* во имя великих человеческих целей, веря в то, что люди смогут «найти свое высокое предназначение» и «посвятить жизнь» этому делу, как бы давая клятву, что «эти мертвые погибли не напрасно».

Подобно тому как можно до бесконечности вникать в беспокойную глубину Геттисбергской речи, точно так же можно размышлять над Речью при втором вступлении в должность президента и сложными выводами, следующими из нее. Страстный призыв к дальнейшей беспощадной войне — так воспринимают ее некоторые, в то время как другие видят в ней благословение, безграничную надежду, молитву, звучащую как музыка. Как началась война? Он попытался сказать это в двух предложениях — одном длинном и одном коротком: «Обе партии отвергали войну, но одна из них готова была скорее прибегнуть к войне, нежели позволить нации выжить, другая же — скорее принять войну, нежели позволить ей погибнуть. И война разразилась». Характерная сдержанность суждения по отношению к обеим воюющим сторонам вызвала широкую дискуссию и имеет непреходящее значение: «Ни одна из партий не ожидала войны подобных масштабов и продолжительности, какие она уже приняла. Равно как не предвидела того, что причина конфликта не будет изжита вместе с его окончанием или даже ранее. Каждая рассчитывала на легкий триумф, не ожидая последствий столь фундаментальных и ошеломляющих. Обе стороны читали одну и ту же Библию, возносили молитвы одному и тому же Богу, и каждая молила его о помощи в борьбе против другой. Может показаться странным, что люди осмеливаются испрашивать справедливого Бога о помощи, добывая свой хлеб за счет пота других людей; но не будем судить, дабы не быть судимы. На молитвы обеих сторон нельзя ответить — и на них не было полного ответа».

В таком же ключе написан четыремя годами ранее часто цитируемый отрывок из Речи при первом вступлении в должность президента: «Предположим, вы идете на войну. Вы не можете воевать всегда; и, когда после многочисленных потерь с обеих сторон и без каких-либо выигрышей с любой стороны вы перестаете воевать, те же самые старые вопросы относительно условий общения вновь встанут перед вами».

Письмо миссис Биксби, Геттисбергская речь, Речь при втором вступлении в Должность президента широко печатались и с каждым десятилетием становились достоянием все более ши-

рокого круга читателей. Но есть еще одно выступление Линкольна, которое не было достоянием широкой аудитории вплоть до второй мировой войны. Оно представляет собой отрывки из Послания президента конгрессу от 1 декабря 1862 года. В этом послании Линкольн полностью использует все свое искусство убеждения, чтобы заставить конгресс принять закон о «компенсированном освобождении рабов», а федеральное правительство — купить рабов и затем освободить их. В этом послании он также говорил о проблеме национального единства на новых этапах.

«Можно сказать, что нация — это единство территории, народа и законов. Территория — это единственный элемент, обладающий какой-то стабильностью. Одно поколение уходит, другое приходит, но земля пребудет вовеки. Исключительно важно должным образом отнестись к этому постоянному явлению... Наши национальные разногласия возникают не из-за этого постоянного явления, не из-за земли, которую мы населяем. Наши разногласия восходят к нам самим — к преходящим поколениям людей; и они без особых потрясений могут быть навсегда улажены при смене поколений».

Представив свой план компенсированного освобождения рабов, он призвал к объединенным действиям конгресса и президента:

«Мы можем достигнуть успеха только сообща. Дело не в том, может ли кто-нибудь из нас придумать что-нибудь лучшее, а в том, можем ли мы все сделать лучше. Любая цель возможна, но остается вопрос: «Можем ли мы сделать лучше?»»

Далее следуют его предложения, из которых видно, насколько чутко он понимал ответственность момента и необходимость, того, чтобы вклад каждого человека был таким, какой выдержит оценку последующих поколений.

«Догмы спокойного прошлого неприложимы к бурному настоящему. Настоящий момент до предела насыщен трудностями, и мы обязаны быть на высоте положения. В нашем новом деле мы должны думать по-новому и действовать по-новому. Мы сами должны освободить рабов, и тогда мы спасем нашу страну».

Некоторые исследователи, долгое время изучавшие Линкольна, считают одним из наиболее высоких образцов отрывков, который заключал послание 1862 года:

«Дорогие сограждане, мы не можем избежать истории. Наш конгресс и наше правительство останутся в памяти независимо от нашего желания. Никто не избежит суждения о том, насколько значительна или незначительна роль каждого из нас. Испытание в огненной купели, через которое мы пройдем, озарит нас светом чести или бесчестья в глазах грядущих поколе-

ний... Мы либо благородно оправдаем, либо подло предадим последнюю, лучшую надежду земли. Другие способы могут иметь успех, но наш не может не иметь успеха. Это путь простой мирный, щедрый, справедливый — и если мы выберем его, мир всегда будет благодарен нам и Бог навсегда благословит нас».

Известно, что конгресс проявил мало предусмотрительности, что он воспрепятствовал принятию предложения, что он без должного внимания или безразлично отнесся к выразительному языку Линкольна и его доводам. И нет почти никаких свидетельств того, что конгресс, за исключением каких-нибудь двух или трех человек, мог хотя бы смутно предвидеть, что через восемьдесят лет, во время другого национального кризиса мирового масштаба, слова из этого послания Линкольна будут иметь глобальное хождение.

Лишь во время второй мировой войны четкие декларации этого послания приобрели широкую известность и прозвучали в прессе, радиопередачах и музыкальных композициях. Суровое, боевое, настоятельное требование увидели в этих строках: «Испытание в огненной купели, через которое мы пройдем, озарит нас светом чести или бесчестья в глазах грядущих поколений».

По-видимому, Линкольн культивировал свой талант самостоятельно, отработывал методику глубокой и убедительной аргументации, чтобы использовать ее в публичной дискуссии. Среди заметок, написанных во время дебатов с Дугласом, имеется следующий образец диалектики:

«Если некто А путем каких-либо умозаключений сможет доказать, что он имеет право поработить Б, почему Б не может воспользоваться теми же аргументами и с таким же успехом доказать, что он может поработить А? Вы скажете: А — белый, а Б — черный. Значит, дело в цвете, значит, светлые имеют право поработить темных? Берегитесь! По этому правилу вы можете стать рабом первого встречного, чья кожа светлее вашей. Вы не имеете в виду собственно цвет? Вы имеете в виду, что белые интеллектуально превосходят черных и, следовательно, могут поработить их? Вновь берегитесь. В силу этого довода вы можете стать рабом первого встречного, чей интеллект выше вашего. Но, скажете вы, это вопрос выгоды; значит, если вы можете извлечь выгоду для себя, вы имеете право поработить другого? Очень хорошо! А если он сумеет извлечь выгоду для себя, он имеет право поработить вас».

Древний клич «Против глупости бессильны даже боги» звучит как парафраза из речи Линкольна перед аудиторией на Среднем Западе.

«Если человек встанет и заявит, и повторит, и вновь подтвердит, что два плюс два не равно четырем, я не знаю никакого аргумента, который мог бы убедить его. Я полагаю, что

могу ответить судьбе лишь в том случае, если он принимает во внимание исходные посылки; но, если он уходит от них, я не могу использовать аргумент как кляп и заткнуть ему рот».

## 2

Трагичность, фатальность свершившегося или предстоящего события, непроницаемая, мрачная завеса, за которой скрыты предначертания провидения, драма человека, вступившего на неизведанный путь борьбы, — все это присутствует в Письме миссис Биксби, Геттисбергской речи, Речи при втором вступлении в должность президента и других приведенных примерах. Иной характер имеют многие образцы публицистики Линкольна, в которых он ставит целью продемонстрировать неумолимую и неотразимую силу своей логики. Наиболее известным образцом его стиля в этой области является письмо, написанное летом 1862 года в Нью-Йорк редактору-аболиционисту, который постоянно обвинял Линкольна в медлительности и нерешительном проведении политики освобождения. Оно отличается ясностью, дает определение политических и военных целей в смутное время Гражданской войны и проникнуто исключительным достоинством и самообладанием, воодушевляющим единомышленников.

Редактор написал резко критическое письмо Линкольту и, не послав ему копии, опубликовал в своей газете. Ответ Линкольна начинался так:

«Будь в письме какие-либо заявления или предположения, ошибочность которых мне могла быть известна, я не стал бы их сейчас здесь опровергать. Будь в нем какие-то выводы, которые я мог бы считать ошибочными, я не стал бы сейчас здесь спорить с ними. Будь дело в нетерпеливом и безапелляционном тоне, я пренебрег бы им из уважения к старому другу, кто сердцем, как я всегда полагал, прав».

Что касается его политики, писал далее президент, то пусть никто не сомневается, что:

«Я намерен спасти Союз. Я намерен спасти его наикратчайшим путем с помощью Конституции... Если некоторые не намерены спасти Союз, пока не будет сохранено рабство, я не согласен с ними. Если некоторые не намерены спасти Союз, пока не будет уничтожено рабство, я не согласен с ними. Моя главная цель в этой борьбе — спасти Союз, а не сохранить или уничтожить рабство. Если бы я мог спасти Союз без освобождения рабов, я бы сделал это; и, если бы я мог спасти его, освободив всех рабов, я бы сделал это; и, если бы я мог спасти его, освободив некоторых рабов и оставив в рабстве других, я бы сделал и это».

Столь же важной, известной и широко обсуждаемой в то время была его речь 1858 года «Распавшийся дом». Это было

прелюдией к девяти дебатам с сенатором Соединенных Штатов Стивенем А. Дугласом в том же году (именно с этого времени Линкольн становится фигурой национального масштаба), а речь в Союзе бондарей в феврале 1860 года заставила говорить о нем как о возможном кандидате в президенты. В гуле и смуте 1858 года возник высокий иллинойсец, повторяя как заклинание: «Если бы мы прежде знали, куда мы идем, к чему стремимся, мы могли бы лучше решить, что делать и как делать». Волнения рабов не прекратятся, заявил он, пока не будет достигнут и преодолен критический момент. Он цитировал: «Распавшийся дом не выстоит» — и продолжал: «Я полагаю, правительство не сможет постоянно терпеть полурабство, полусвободу. Я не думаю, что Союз распадется, я не думаю, что дом рухнет, но я ожидаю, что он перестанет быть распавшимся. Он станет либо тем, либо другим».

Вероятно, ничто другое из написанного или сказанного Линкольном не вызывало столько вопросов относительно того, что он действительно имел в виду в речи «Распавшийся дом». Некоторые истолковывали ее таким образом, что он выступал за войну, хотел войны. Эти вопросы возникали и до того, как он стал президентом, и после этого. Он старался быть предельно ясным, отвечал он тем, кто спрашивал его, и речь его означает то, что он сказал. Одному недоумевающему корреспонденту он писал, процитировав начальный абзац своей речи: «Меня затрудняет яснее выразить это. Просмотрите ее внимательно и попытайтесь понять, что я имел в виду все то, что сказал, и не имел в виду того, чего не говорил, и вам будет ясен смысл». Он таким образом заключает письмо: «Если вы укажете мне тот смысл, который, вы полагаете, я вкладывал, я немедленно скажу, имел ли я в виду именно это».

Ясное логическое построение, доведение позиции оппонента до абсурда часто было целью и методом Линкольна как писателя и оратора. Он прибегал иногда к мрачной фантазии, как сделал это, например, в 1856 году, когда описывал, как формируется отношение культурного аппарата и общественного мнения к рабу как предмету собственности:

«Кажется, все силы земли спешают сплотиться против раба. Мамона гонится за ним, ее примеру следуют амбиция и философия, и на их зов быстро откликается современная теология. Они загоняют его в тюрьму, они обыскивают его и не оставляют ему никакого инструмента. Одну за другой они закрывают за ним тяжелые железные двери; и вот он в их власти, он здесь, за ста запорами, которые не отпереть без доброй сотни ключей, что находятся в руках сотни различных людей, разбросанных в сотне самых отдаленных мест; и все они стоят, размышляя, что бы такое еще изобрести как в духовном, так и в материальном плане, чтобы полностью исключить всякую возможность его побега».



Итак, мы рассмотрели, пусть кратко, личность Линкольна как мыслителя и оратора — персонажа человеческой трагедии. Как он действовал и выступал на сцене человеческой комедии, стало легендой уже при его жизни, его каламбуры, сарказмы и шутки приобрели известность за пределами страны и положили начало его всемирной репутации сына всего человечества.

Налицо явный парадокс. Ежегодно появлялся поток фотографий, зафиксировавших внешность главы исполнительной власти. Искусство фотографии развивалось. Фотопортрет стал более чем модой. Для миллионов людей лицо Линкольна стало настолько знакомым, как будто они знали его в жизни. Вот оно, худое, изборожденное морщинами, грустное, с таким отпечатком трагизма, какого не найти ни у кого из числа тех, кто, облеченный властью, пребывал в президентских апартаментах. «Микеланджело из Индианы», — писал Уолт Уитмен. И в то же время этот человек был ходячим источником и кладезем множества шуток и анекдотов, популярность которых в народе росла с каждым годом и которые существуют поныне и периодически возрождаются на почве нового сходного материала, дополненные безымянными авторами.

Среди десятицентовых книжек в бумажных обложках, опубликованных во второй половине президентства Линкольна, одна была озаглавлена «Старик Эйб шутит», а другая — «Новые шутки старика Эйба, услышанные из его уст». Их можно рассматривать как часть целого течения в американской литературе. Американская школа гомерического смеха заявила о себе превосходными писательскими именами: Орфей К. Керр (Роберт Х. Ньюэлл), Аргимес Уорд (Чарльз Фаррар Браун) и Петролеум Везувиус Нэсби (Дэвид Росс Локк), вышедшие все из низов, разили высокомерие, обман, лицемерие и снобизм. Друзья и земляки президента, они поддерживали его и его дело с помощью сатиры и сарказма. Страна и народ тепло принимали этих остроумцев, чьи шутки часто были остры как бритвы. Все это привело к широкому хождению комических историй, которые впоследствии стали известны как «рассказы Линкольна».

Юмор Линкольна имеет несколько граней. В его роду были рассказчики, которые сочиняли небывлицы для простого времяпрепровождения или скрашивания будней первых поселенцев на отдаленных рубежах. Он мог рассказать веселую историю, почитая смех за лучшее лекарство. Иногда он мог воспользоваться известной историей как иллюстрацией для подтверждения своей точки зрения, иногда в качестве притчи и аллегории. Он умел завуалировать высказывание тонкой иронией. Некоторые его фразы и лаконичные сентенции стали известны как

афоризмы Линкольна, например: «Можно обманывать весь народ в течение некоторого времени и часть народа все время, но нельзя обманывать весь народ все время». Или: «Не самое лучшее дело менять лошадей на середине реки». А также: «Разбитые яйца не починишь»; «Лучше нарушать плохие обещания, чем выполнять их»; «Скорее получишь птицу, высиживая яйца, нежели разбивая их»; «В любом суде, как правило, найдется по крайней мере один член, который предпочел бы повесить присяжных, нежели предателя»; «Кому лучше знать, где жмет башмак, как не человеку, который носит его».

Из достоверных историй, которые Линкольн использовал в качестве иллюстрации, встречавшиеся с ним люди чаще других рассказывают следующую. Часто по долгу службы ему приходилось быть сверх меры скрытным в политических делах. И он рассказал об ирландце в штате Мэн, где запрещалась продажа алкогольных напитков. Он попросил стакан лимонада, и, когда перед ним поставили стакан, ирландец сказал шепотом: «А теперь не могли бы вы налить хоть каплю этого самого без моего ведома?» Во время дискуссии о правильности использования им конституционной прерогативы Линкольн однажды сказал: «Я как тот ирландец: иногда мне приходится делать некоторые вещи без собственного ведома».

Чтобы доказать свою точку зрения, Линкольн мог мимоходом рассказать о двух джентльменах, которые встретились и стали так отчаянно драться друг с другом, что в конечном итоге каждый из них оказался в одежде другого. На вопрос старого земляка: «Каково быть президентом Соединенных Штатов?» — он ответил: «Вы слышали о человеке, которого вымазали дегтем, вывалили в перьях и вынесли из города на шесте? Кто-то из толпы спросил, как ему все это нравится, и тот ответил, что, если бы это не было делом чести, он предпочел бы пойти пешком». Одному словоохотливому человеку Линкольн дал такую характеристику: «Он как никто умеет втиснуть много слов в самые маленькие идеи». Деревенский оратор с Юго-Запада, по его выражению, «поднимался на трибуну, со сверкающими глазами откидывал голову и целиком полагался на волю божью».

Словарь Линкольна охватывает многие лексические пласты, начиная от уличного просторечия и кончая древними и архаичными англосаксонскими выражениями. Противник «поджал хвост и побежал», сказал он перед толпой у Белого дома в 1865 году, к ужасу пуристов. И в то же время он смело употребляет древние формы существительного *burthen* (современное *burden* — бремя) или глаголов *holden* (*hold*) и *disenthral*. Его влияние на стиль других ораторов и писателей было огромным. Степень этого влияния трудно определить.

Его умение использовать шутку и юмор нашло больше подражателей, чем его глубокое стремление не вводить никого в

заблуждение словом или делом. Последнее лежит в основе его совета, данного конгрессу в послании 1862 года.

«Во времена, подобные нынешнему, люди не должны производить ничего такого, за что не были бы готовы нести ответственность теперь и всегда».

Человеческая солидарность, единство действий и стремления могут быть порождены руководством, которое понимает как почву, так и посев, понимает побудительные мотивы людей, политических учреждений и гражданских слоев, которые видел Линкольн, когда писал в 1862 году одному человеку из Нового Орлеана:

«Я ничего не сделаю во зло. То, что я делаю, слишком велико, чтобы я действовал с недобрыми намерениями».

*...традиции  
и  
эксперимент*

# VII ПРОВИНЦИИ



## 48. ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

### 1

Поражение Конфедерации в Гражданской войне сохранило. Союз, одновременно превратив его из федеративного объединения штатов в единое национальное государство, контролируемое промышленными и финансовыми силами) сосредоточенными в сфере Бостон — Нью-Йорк — Чикаго. После того как сопротивление южных плантаторских классов было сломлено, лидеры республиканской партии могли осуществлять свою программу, считаясь лишь — и то в незначительной степени — с быстро поднимавшимся аграрным Западом. Начиная с субсидий Тихоокеанской железной дороге и Национального банковского акта, республиканское большинство в конгрессе приняло целый ряд важных законов, направленных на поддержку финансового и промышленного капиталов. Тариф был поднят, военный долг приведен в соответствие с интересами вкладчиков, а бумажные деньги выкуплены по номинальной стоимости. Даже система общественного землевладения, официально служащая интересам безденежных поселенцев, фактически функционировала таким образом, чтобы огромные пространства общественной земли попадали под контроль угольных, целлюлозных и скотоводческих корпораций.

В этой благоприятной атмосфере масштабы деловых операций стремительно разрастались. Принципы управления, разработанные первоначально для нужд армии северян, использовались теперь в рамках частных предприятий соответствующего масштаба. Улучшившаяся система транспортных перевозок позволяла доставлять сырье на дальние расстояния и открывала рынки для массовой продукции, производимой на новых фабриках. Технологические усовершенствования вроде бессемеровского процесса выплавки стали, а также охладительных систем, применяемых при хранении мяса, революционизировали традиционные виды производства; а на бензине и электричестве вырастали новые мощные отрасли промышленности. Индустриальное развитие породило современные города: к 1890 году население Нью-Йорка, Филадельфии и поразительным образом Чикаго превысило миллион жителей. Нью-Йорк с его тремя

миллионами оставил позади Берлин и Париж, население его составляло половину Лондона.

Эти и подобные им факторы определили основные тенденции развития американской литературы в тридцатилетие, следовавшее за Гражданской войной. То было время скорее перехода, нежели завершения, хотя в эти годы творили Генри Джеймс и Марк Твен. Предвоенное просвещение, в котором столь богато и разнообразно выразились чаяния трансценденталистов, постепенно угасало; хотя недостатка в новых идеях не было, ни одна из них не могла дать литературе стимулирующего импульса, соизмеримого с самим состоянием нации, какой она сложилась после войны. Ведущая интеллектуальная традиция Америки была порождением Новой Англии. Откровенно теократическая в XVII веке, она затем, к середине XIX столетия, преобразовалась в систему гуманитарных реформ, а после формальной отмены рабства стала всего лишь выражением второстепенных политических целей вроде реформы гражданских служб. Гражданственные страсти бывших аболиционистов были ослаблены их приверженностью республиканской партии, во главе которой теперь стояли Роско Конклинг, Джеймс Блейн и Марк Ханна. А поскольку официальная традиция с ее акцентом на идеальное почти не брала в расчет экономику, она бессильна была понять — не говоря уж о том, чтобы руководить им, — общество, все подчиняющее интересам бизнеса. Даже такой хорошо информированный консерватор, как Э. Л. Годкин, в течение тридцати лет редактировавший влиятельный еженедельник «Нейшн» и считавший себя политэкономом, мог найти утешение только в моральных инвективах в адрес критиков системы бизнеса, отвергавших его догму безусловной благотворности свободной конкуренции. Люди, подобные Годкину, продолжали выражать туманно сформулированный кодекс ценностей, который они называли Цивилизацией, Культурой и Усовершенствованием. Но этот кодекс исторически основывался на теологии, и позиции его адептов становились все более шаткими, в то время как новые детерминистские идеи Дарвина и Спенсера подрывали прежние идеи «божественного предначертания» и соответственно взывали к необходимости переоценки всех принятых теологических доктрин.

Таковы, следовательно, были проблемы, с которыми столкнулись американские писатели в десятилетия, следовавшие за Гражданской войной: традиции Новой Англии должны были быть трансформированы, в случае необходимости обогащены идеями, которые выражали бы интересы нации, охватывавшей теперь наряду с теми районами, которые были свидетелями первого расцвета американской словесности, еще и Юг и Запад, точнее говоря, целую вереницу Западов. И надо было взглянуть в лицо промышленной революции. Отношения, сложившиеся в недрах разобщенного аграрного общества, следо-

вало заменить отношениями, соответствующими централизованному обществу, управляемому колоссальными метрополиями. Ценности, которые прежде основывались на идее «божественного предначертания», или вообще теряли авторитет, или их следовало перевести на язык закона естественного развития. Ни одна из этих проблем не была решена в полном объеме до конца столетия, но первые шаги были сделаны на всех направлениях. Были предложены методы литературного освоения Юга и Запада; началась критика большого бизнеса; американская литература приступила к увлекательному исследованию нетрадиционных жизненных форм, материала и возможностей. Новый реализм, импортированный в качестве литературного метода из Европы, стал мощным орудием изучения растущей Америки; старый идеализм превратился в строптивного противника, хранителя всех ценностей, всей памяти о былом, которому угрожала опасность.

## 2

Появление в Белом доме Хейса (1877) знаменовало конец Реконструкции Юга. Протест демократически и либерально настроенных республиканцев против коррупции, расцветшей при администрации Гранта, протест, который и привел к тому, что кандидатом на президентский пост был назван Хейс, а не Блейн или Конклинг, подкреплялся тем, что число избирателей, проголосовавших за кандидата демократов Тилдена, фактически превосходило число тех, кто отдал свои голоса избраннику республиканской партии. Время политических авантюр осталось позади, и Хейс быстро вывел с Юга еще остававшиеся там войска. Но необходимо еще было сформулировать интеллектуальную программу, на основе которой Юг можно было принять назад, в лоно Союза. Решение этой задачи взяла на себя группа деятелей, которых возглавлял Генри У. Грэйди, редактор из Атланты, выдвинувший лозунг «Нового Юга».

В области экономики «новые южане» стремились к индустриализации, используя при этом лозунги и методы, уже испытанные Англией и северными штатами; в качестве придатка рассматривалась развиваемая Сидни Лэниром идея многоотраслевого фермерского хозяйства, которое должно было прийти на смену однокультурным плантациям. В области литературы «новые южане» стремились к восстановлению контактов с издательствами и журналами Севера, которые формировали и воспитывали вкусы новой национальной аудитории. Те беллетристы Юга, чье творчество в течение десятилетия определяло лицо американских журналов, — Джордж В. Кейбл, Джоэл Чэндлер Харрис, Томас Нелсон Пейдж и в меньшей степени Мэри Ноэллис Мэрффри — поддерживали позиции «новых южан». Их стратегическая программа была изложена Дж. Г. Холлэндом и его преемником на посту редактора «Скрибнер сенчюри»



Р. У. Гилдером, которые нередко брали на себя инициативу поисков новых талантов на Юге и способствовали их развитию в нужном направлении, «Здоровый и серьезный дух американизма», настойчивое стремление «углубить чувство единства в рамках Союза» — таковы были принципы, внушаемые южанам и принимаемые ими до такой степени, что редакторы старались убирать из статей недостаточно четко сформулированные фразы и мысли. Лишь приняв новый порядок и принципы интеграции, эти писатели могли рассчитывать на то, что их услышит широкая читательская аудитория, но, раз заняв эту принципиальную позицию, писатель далее находил в романтике уже безопасного Юга неисчерпаемый кладезь тем, связанная с довоенными плантациями, тем, к которым читающая публика всей страны обнаруживала неизменный интерес. Так, например, фигура негра, изображенного, согласно южной традиции, представителем низшей расы, счастливо приспособившимся к системе феодального хозяйствования, стала в высшей степени распространенным литературным персонажем. Если южные писатели признали национальную концепцию Союза, то нация приняла южный взгляд на расовую проблему, и в 1890 году бывший аболиционист Т. У. Хиггинсон обливался слезами над описанием смерти рабовладельца — героя книги Пейджа «Марс Чэн».

### 3

Если Юг в течение двадцати лет между 1876 и 1896 годами постепенно превращался из угрозы метрополии в источник ее промышленного и финансового развития, то Запад двигался едва ли не в противоположном направлении. Читая репортажи бесчисленного множества журналистов, осевших по всей протяженности железнодорожной магистрали Юнион Пасифик, жители Востока привыкали глядеть на эти края как на неисчерпаемое хранилище природных богатств, которые только и ждут того, чтобы в их разработку был вложен восточный капитал. Энциклопедическое по своему размаху издание Л. П. Броккета «Наша западная империя» (1881), в котором была сосредоточена вся информация, извлеченная из «Эмигрантских справочников» первой половины века, вполне точно отражает господствующий взгляд на «райское наследие, которое бог оставил этой стране». Броккет подчеркивал значение экономических факторов, таких, как процветающие фермерские хозяйства, скотоводство, запасы минералов, железнодорожное строительство и поразительный рост населения в районах к западу от Миссисипи. В то же время он высказывал опасение, как бы бесчисленные толпы людей, которые хлынут в будущем на Запад, вынужденно «лишенные благ образования и удаленные от культурных влияний», не утратили должного «уважения к закону и порядку» и не стали, в своей гордыне и в условиях материаль-

ного процветания, легкой добычей демагогов. Предвидение это, хотя и опиралось на широко распространенные взгляды, оказалось ложным. Когда демагог пришел на Запад, чтобы заклеить позором свободное хождение серебра, ему пришлось черпать силу убеждения не в богатстве, но в нищете своей аудитории. Неспособность Востока оценить этот существенный факт в положении, сложившемся на популистском Западе, во многом объясняет те недоразумения, которые возникли между различными районами страны в 80—90-е годы.

Литературное открытие Запада совершилось вскоре после Гражданской войны в широко читаемых книгах Брет Гарта, Джоакина Миллера и Марка Твена. Мгновенный успех книг Брет Гарта в особенности убеждает, что американская аудитория жаждала новых литературных сюжетов, выходящих за рамки довольно ограниченного канона, утверждавшегося в критических теориях с их традиционным акцентом на идеальном. Столкнувшись с фактом популярности сочинений Брет Гарта, критики поначалу склонны были считать, что его типы — люди с золотым сердцем — в некотором роде уравнивали проституток, грабителей, картежников, хлынувших тогда в литературу. Его творчество, писал в 1870 году обозреватель «Патнэм мэгэзин», демонстрирует, что «наш американский опыт способен найти оригинальное и высокохудожественное выражение». Одаренный «проницательностью и состраданием гения», этот парень из Калифорнии сумел вырвать героев своих рассказов, самих по себе вполне заурядных и часто отталкивающих, «из их вульгарного окружения и перенести их в царство красоты». Но когда изначальная оригинальность жизненного материала, используемого Гартом, поистерлась от постоянного употребления и когда, особенно в лице Джоакина Миллера, появился еще более яркий певец Запада, заглушаемые до времени сомнения по части нравственности рассказываемых историй вновь возникают на первом плане. В 1882 году Уильям Дин Хоуэллс предсказывал, что читателя перестанет увлекать «раблезианский смех Калифорнии, лишь только рассеется удивление при виде причудливого сочетания цивилизации и варварства Тихоокеанского побережья». В конце концов, утверждал в журнале «Сенчюри» Джеймс Герберт Морзе, Гарт берет лишь «страсть в ее первобытной, естественной форме, страсть, освобожденную от всяких социальных запретов и подчиняющуюся лишь инстинктивному зову сердца». Даже «Атлантик», который, с Хоуэллсом во главе, пригласил в 1871 году Гарта на Восток, сделал ему беспрецедентное предложение — десять тысяч долларов за один только год работы, — даже и этот журнал утверждал в 1882 году, что в основе его рассказов лежат одни лишь сантименты; что героини его утрачивают свою честь, а герои — принципы и что в лучшем случае можно говорить о его «надморальной оценке аморальных предметов». Более решительное утверждение

чувственного — в противовес теократическому — кодекса этических установлений, осуществлявшееся Джоакином Миллером, уже проложило путь естественному развитию «беспечного оптимизма» его предшественника, как это было отмечено в «Эпплтон джорнэл» еще в 1876 году. Попытки Брет Гарта, пишет критик этого журнала, найти «нечто доброе даже в худших из мужчин и женщин — игроках, головорезах фронта, проститутках» — это одно дело; но совсем другое — сознательно превозносить этих же людей за их «примитивность» и «варварство» как качества подлинной человечности, безусловно заслуживающие похвалы. Мистер Миллер откровенно издевается надо всем, что цивилизованные и воспитанные люди привыкли уважать; а его социальный кодекс, кажется, базируется на представлении, будто «благородство», «величие», «серьезность» и «искренность» людей находятся в прямой зависимости от степени их варварства).

Неприкрытая, откровенно о себе заявляющая сентиментальная этика, таким образом, заходила чересчур далеко. Носители консервативных взглядов, привыкшие находить в литературе отчетливо выраженный моральный приговор, не были готовы к тому, что всей своей тяжестью он лег на ту чашу весов, где открыто попирался социальный порядок. Все же компромисс был возможен. Если аморализму не могло быть извинения с некоторыми другими, менее существенными проявлениями варварства, такими, как неправильная речь, безграмотность, грубые манеры, можно было примириться и даже позабавиться их колоритностью, при том, разумеется, условии, что автор показывал внутреннюю моральную чистоту внешне грубых людей. В этом смягченном варианте модель «золотого сердца» стала разменной монетой школы местного колорита и образовала подрамник, на который десятки трудолюбивых авторов могли натягивать холсты с изображением новых пейзажей, новых провинциальных типов, говорящих на новых диалектах, — все то, чем изобиловали журналы в течение 80-х годов, того отрезка времени, который можно было бы назвать «десятилетием местного колорита».

Влияние Запада ощущалось не только в распространении литературы местного колорита, но также и в том повороте на 180 градусов, который совершили количественно небольшие, но знаменательные по своему составу группы отступников, детей пионеров, которых гнало с Запада на Восток разочарование в эпических мечтах ранней границы и надежда на широкие возможности метрополий. Сам Линкольн был в некотором роде таким отступником. Его избрание прямо повлекло за собой перевод Джона Хэя в Вашингтон, а затем на дипломатическую должность в Париж — из Варшавы, штат Иллинойс, где последний, по собственным его словам, «прозябал в обстановке бездушного материализма»; и это же избрание косвенно было

связано с консульским назначением в Италию, которое получил молодой человек из Огайо — Хоуэллс, автор предвыборной биографии Линкольна. Вскоре после этого Хоуэллс стал редактором «Атлантик» и близко сошелся с кембриджскими браминами, а Хэй оказался в избранном кружке «Пятерки червей» — братья Адамсы, Хэй и геолог Кларенс Кинг, — собиравшейся в гостиной дома Адамсов. Подобным же образом в обратном направлении — до самой Европы — двинулись Брет Гарт и Джоакин Миллер. Марк Твен осел в Хартфорде и, подобно Годкину и Хоуэллсу, женился на уроженке восточных штатов. В других жизненных сферах вроде Джона У. Пауэлла, которые сделали карьеру на Западе, прокладывали себе дорогу к авторитетным и влиятельным должностям наподобие той, что занял сам Пауэлл, ставший директором Национального управления геологической разведки. Определение «отступники» принадлежит Хэмлину Гарленду, который через два десятка лет повторил путь Хоуэллса в Бостон, затем ненадолго вернулся в Чикаго, снедаемый честолюбивой идеей организовать там литературный центр, независимый от Востока, а когда эта попытка не увенчалась успехом, двинулся в Нью-Йорк.

Иные из «отступников» смогли приспособиться к новой индустриальной Америке, сохраняя при этом, по мере того как век подходил к концу, и душевную деликатность, и душевное равновесие; другие вроде Гарленда так и не смогли установить удовлетворительные отношения ни с Западом, ни с Востоком; а третьи, как Хэй, хоть и удачливые в карьере, пессимистически оценивали ведущих интеллектуалов с Востока. Романисты Э. У. Хоу и Джозеф Киркленд, оставшиеся на Среднем Западе и пребывавшие в особом рода меланхолии, вызванной несбывшимися надеждами первых переселенцев, писали мрачные очерки о нравах в маленьких городках; эти очерки внесли значительный вклад в сознательно, хотя и не вполне последовательно антиромантический «реализм» 80-х годов. В литературе формировались новые настроения.

#### 4

Они ясно дали о себе знать в протестах против индустриальной системы, которые равно питались недовольством фермеров с Запада по отношению к железным дорогам и ростовщикам, и растущим осознанием нищеты и убожества больших городов. Генри Клей Дин из Айовы, видный, хотя и нетипичный тайный сторонник южан в годы Гражданской войны, чье прозвище Грязная Рубашка предвосхитило тот период популистского красноречия, что связан с именем Босоногого Джерри Симпсона, заявлял в своих страстных «Преступлениях времен Гражданской войны» (1868), будто Восток использовал республиканскую партию, чтобы «закабалить» долину Миссисипи под пред-

логом освобождения негров-рабов, и призывал к союзу Запада и Юга против «восточного капитала и промышленного оборудования». В конце 60-х годов «Джентльмен Джордж» Пендлтон, другой лидер тайных сторонников южан, поддержал возникшую в Огайо идею заплатить военную контрибуцию в бумажной валюте — самый ранний из многочисленных, идущих с Запада проектов инфляции. Сменяющие друг друга третьи партии, приведшие в 90-е годы к образованию популизма, тщетно стремились наладить взаимодействие между фермерами и городскими рабочими. Проповедующие гуманистические идеалы настоятели городских церквей, которых отталкивал вид трущоб, вырабатывали «социальное евангелие», где утверждалось — если воспользоваться словами священника конгрегационистской церкви Джорджа Д. Херрона, — что «Нагорная проповедь есть наука об обществе».

Подобные движения обусловили появление множества книг, как художественных, так и документальных, авторы которых, опираясь на старые американские идеи равенства, восставали против плутократии. Генри Джордж, наиболее влиятельный критик существующего порядка, выработал в борьбе против земельных монополий, рост которых он наблюдал в 60-е годы в Калифорнии, теорию единого налога. Наиболее видные романисты среди протестантов — Эдвард Беллами, ранний Гарленд, а также Хоуэллс времен его утопических увлечений — могли расходиться в частностях, но были едины в, своем нежелании принять как ценностные ориентации, так и практические последствия экономической революции.

В консервативной Новой Англии критики большого бизнеса были не способны поддерживать развитие литературной традиции. Великие босстоны были джентльменами из хороших семей, и едва ли не все до единого люди состоятельные. Лонгфелло, Лоуэлл, Холмс, Нортон — такие люди принадлежали к аристократии, которую нельзя было причислить даже к среднему классу, и им трудно было помыслить о литературе, которая создавалась бы вне атмосферы утонченного досуга. Ведущие литераторы Нью-Йорка, такие, как Эдмунд Кларенс Стедмен, Чарльз Дадли Уорнер и Ричард Генри Стоддард, стремились изолировать творчество от мира политики и экономики. «Существовали определенные предметы, — отмечал литературный душеприказчик Стоддарда, — которые оставались решительно чуждыми атмосфере, в которой проходила жизнь поэта. Он жил в Нью-Йорке, но вездесущий голос биржи не доносился до его кабинета, хотя Стедмен, один из ближайших друзей Стоддарда, возглавлял маклерскую контору».

Тем не менее биржа существовала, и те, кто в последнее десятилетие века изучали проблемы развития американского общества, все сильнее осознавали ход перемен, итоги которых нельзя было предсказать. В своем знаменитом сочинении, ши-

роко читавшемся в 1893 году, во время кризиса, «Значение границы в американской истории» Фредерик Джексон Тернер широковещательно заявил о «прекращении великого исторического движения», что подразумевало исчезновение границы западных поселений. В очерке «Индустрия и финансы», включенном в трехтомное исследование «Соединенные Штаты Америки» (1894) под редакцией гарвардского геолога Натаниела С. Шайлера, экономист Ф. У. Тауссиг отмечал, что начиная с 1860 года в Америке наблюдается замедление роста населения, и предсказывал, что этот процесс будет продолжаться. Подобно Тернеру, он утверждал, что плодородные земли, находившиеся в общественном владении, вскоре будут окончательно истощены, и делал вывод, что «условия грядущего развития, видимо, будут отличаться от тех, что имели место в прошлом». Другие авторы исследования отмечали многочисленные проблемы, порожденные индустриализацией и урбанизацией: «новую волну иммиграции» из южной и восточной Европы, рост трущоб, приближающееся истощение лесов и других естественных ресурсов, коррупцию в государственном аппарате, трестах и монополиях. Доктор Д. А. Сарджент из Гарварда, известный специалист по физическому воспитанию, говорил о нервозности, возникающей в результате стрессов и возбуждающих стимулов современной городской жизни, и спрашивал: «Сможем ли мы выдержать это?» Он верил, что американцы сумеют приспособиться к новым условиям, но сам вопрос, должно быть, прозвучал бы странно в хоре оптимистических предсказаний, сделанных на церемонии открытия филладельфийской выставки 1876 года, посвященной столетию Республики. Слово «прогресс» стало там паролем, и официальные ораторы дружно возвестили приход новой эры, которая затмит даже блистательное первое столетие американской истории.

Мрачная тональность начала 90-х годов была несколько смягчена успехом другой всемирной ярмарки — Колумбийской выставки в Чикаго. Здесь белые колонны в неоклассическом стиле, величественные эспланады должны были стать свидетельством того, что и якобы материалистический Запад тоже дорос до определенного эстетического уровня, что американское искусство в целом уже не заслуживает обвинений в слабости и претенциозности по сравнению с лучшими образцами европейской культуры, а двадцать лет назад в Филадельфии эта противоположность бросалась в глаза. Даже Генри Адамс, дважды посетивший Чикаго и нашедший там «предмет для изучения, которое может занять сто лет», готов был признать, что Запад по меньшей мере научился занимать чужое искусство, выдавая его за свое. Сидя на ступенях административного здания Ричарда Ханта, он на миг почувствовал искушение задать вопрос — а на самом ли деле «новый американский мир» не способен, как он предполагал, «сделать резкий и осознанный

поворот в сторону идеалов». Он писал: «Чикаго в 1893 году впервые задал вопрос, знает ли американский народ, куда он идет?»

Но, вернувшись в Вашингтон в конце лета, он нашел ответ в отмене Акта Шермана о хождении серебряной валюты. Утверждение золотого стандарта он истолковал как окончательный отказ американского народа от своего прошлого, от XVIII века, от Конституции 1789 года, от мира Адамсов, как признание превосходства бизнеса.

«Капиталистическая система, — продолжал Адамс, — была принята, и если она вообще поддается контролю, то только централизованными и капиталистическими методами, ибо ничто не может быть бессмысленнее, нежели попытки управлять столь сложной и централизованной машиной силами южных и западных фермеров в абсурдном союзе с наемными рабочими города, — попытки, которые провалились даже в 1800 и 1828 годах, когда условия были намного проще».

Даже если Адамс и чрезмерно драматизировал значение 1893 года, его анализ результатов промышленной революции в Америке приподнимал завесу над будущим, с которым нации предстояло столкнуться на рубеже веков: «Признав эффективность машины, общество должно решить, в чьих интересах она должна управляться, но в любом случае она должна вырабатывать концентрированный продукт». А концентрация означает «протекционистский тариф; корпорации и тресты, профсоюзы и социалистический патернализм как неизбежное порождение последних; консолидацию всех механических сил, которые безжалостно выкорчевывают жизнь класса (в недрах которого был рожден Адамс) и взамен создают монополии, способные контролировать столь обожаемую Америкой новую энергию».

## 49. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

### 1

Джеймс А. Гарфилд, последний из претендентов на место в Белом доме, пришедший из лесной хижины, в ходе предвыборной кампании 1880 года заявил в своем выступлении на озере Чаутауква: «Вся борьба человеческого сообщества может быть разделена на две стадии: сначала мы боремся, чтобы завоевать досуг; затем наступает другая фаза цивилизации, когда мы задумываемся, а что делать с этим досугом, когда получим его». Обдуваемая озерным ветерком публика — все эти процветающие фермеры с обветренными лицами и задубелыми руками, бывшие торговцы и мелкие банкиры, женщины, обмахивающиеся веерами из пальмовых листьев, оставившие дома недоконсервированные фрукты и недоваренное варенье и пришедшие сюда, чтобы послушать о книгах и идеях, — все они знали, что Гарфилд имеет в виду. Большинство из них были людьми пожилыми и даже старше, ибо досуг пришел поздно и был дорого оплачен. И оратор имел успех — имел успех выходец из бедной семьи пионеров, «страстно искавшей горизонтов», который свернул с западных маршрутов своих предков, чтобы пробить себе путь — через обучение в Уильямс-колледже — к карьере школьного директора и политика.

Выступление было обставлено многозначительно. В 1874 году в юго-западной части штата Нью-Йорк начался эксперимент по обучению взрослых. Льюис Миллер, изобретатель различных сельскохозяйственных приспособлений и учитель воскресной школы, объединил свои усилия с Джоном Х. Винсентом, в юности служителем божьим, объезжавшим свой приход на лошади и имевшим у луки седла «несколько очень хороших книг». Поначалу этим двум методистам пришла идея проводить собрания учителей воскресных школ. Благодаря собственным склонностям, а также тем нитям, что связывали церковь с общественной жизнью и выступлениями серьезных артистов в большинстве американских городов среднего масштаба, им вскоре удалось организовать культурную программу под названием «Ассамблея Чаутауквы». Выступления на библейские темы, лекции по географии Палестины быстро переросли в изучение истории, литературы, наук, изобразительного искус-



ства и музыки. В 1878 году, идя навстречу требованиям аудитории, доктор Винсент расширил рамки программы «Идеи», включив в нее зимние чтения на дому, — образовался «Литературно-научный кружок Чаутауквы». Кружок был рассчитан на четырехлетний курс обучения, как и обычные колледжи, и предлагал свои услуги пожилым женщинам, которые не успели попасть в Вассар, Смит или Уэлсли. Слушатели изучали европейскую и американскую историю, проходили курс классической истории, а также современной науки. Тем, у кого хватало настойчивости закончить обучение, выдавался диплом и представлялась возможность пройти в день выпуска через Золотые ворота, в то время как специально выделенные девушки разбрасывали перед ними цветы — причудливое соединение академического и брачного обрядов. К 1892 году число постоянных слушателей кружка достигло ста тысяч. В 1883 году руководителем учебного процесса стал Уильям Рейни Харпер, впоследствии ректор Чикагского университета, и это привлекло к Чаутаукве внимание лучших университетских профессоров, таких, как историки Джон Фиск и Герберт Б. Адамс, экономист Ричард Т. Эли, психолог Дж. Стэнли Холл. Уильяма Джеймса вид этих «серьезных и беспомощных умов» мог устрашать, но его коллега по Гарварду Джордж Герберт Палмер усматривал в палаточных летних городках и шатрах выражение народного порыва к знанию, порыва идеалистического, исполненного надежды, удивительного, но жизненного, сопоставимого с крестовыми походами или мистериями эллинского мира.

Зародившись на берегах этого озера, «Идея» в 80-е годы широко распространилась по всей стране. Множество местных Чаутаукв каждое лето формировало свои стотысячные отряды, чтобы отправить их на зиму за знаниями, за «печатами» для их дипломов. Ряды тех, кто «хотел знать», пополнялись также за счет молодых мужчин и женщин, ищущих способов завязать знакомство, домашних хозяек и инвалидов, пасторов и паствы, неисчислимого количества сельских жителей, скучно коротающих одинокие дни в пересудах с соседями, домашних делах границы и раздумьях над туманным будущим автомобилей, радио и кинематографа. Чаутауква была для этого времени прежде всего средством утолить жажду знаний тех американцев, принадлежащих среднему классу, которые в юности не успели получить достаточно образования в скверных школах и жалких библиотеках и теперь ощущали острую потребность хотя бы немного сократить дистанцию между собой и своими детьми. Согласно евангелию от Чаутауквы, образование не являлось больше тяжелой обязанностью, но стало манящей возможностью; оно не завершалось в тот момент, когда молодой человек начинал работать, а девушка выходила замуж, но продолжалось бесконечно. Согласно тому же еван-

гелию, знание не было заповедником или классовой привилегией, оно стало доступно обыкновенному скваттеру.

Преодоление барьеров между научным работником и обыкновенным человеком, ученым и механиком, специалистом и обывателем — естественное следствие той самой джефферсоновской демократии, внутреннее содержание которой могло быть реализовано лишь в деятельности многих поколений. Но никакой другой период в американской истории не был свидетелем подобного ускорения процесса, выразившегося в распространении и популяризации знаний, как 70—80-е годы. Хотя образовательный уровень молодежи постоянно повышался, все же Гражданская война и Реконструкция служили отвлекающими факторами для людей призывного возраста и возраста, когда начинают деловую карьеру. Кризис 1873 года если и не вызвал радикальных перемен в области повседневной жизни и жизни интеллектуальной, то, во всяком случае, заставил предположить, что существуют ценности более долговечные, нежели биржевые операции Уолл-стрита. А в более широкой перспективе еще важнее было массовое и всевозрастающее знакомство с новой наукой и ее чудесами — если не с Дарвином и Гексли, то с наглядными диковинами химии и электричества, которые у многих возбуждали любопытство, а у некоторых — враждебность. Более того, наука приносила как фермеру, так и городскому жителю освобождение от ручного труда и новые резервы свободного времени.

И наконец, издательская техника обрушила на рядового гражданина потоки печатного слова. От газет он мог на пробу перейти к дешевым журналам и романам в бумажных обложках, далее — к книгам более высокого качества и в конце концов даже бессознательно начинал курс самообразования. По другую сторону барьера, пытаясь облегчить ему дорогу к садам знания, стояли как идеалисты наподобие основателей Чаутауквы, так и предприниматели, например Джеймс Редпат, занимавшийся организацией лекционных турне, или Томас Дж. Фостер, основавший в 80-е годы в Скрантоне международный центр обучения, или — немного позднее — Элберт Хаббард, автор дешевой серии народных баллад, возбуждающих воображение и расширяющих познания.

У популяризации были свои светлые и темные стороны. С одной стороны она означала понижение стандартов не только в области массового образования, но и в других сферах американской жизни, таких, как школа, колледж, церковная кафедра. На смену настоящей учености приходило поверхностное знакомство, а интеллектуальные различия растворялись в мишурном блеске новизны и сомнительной славы. С другой стороны, популяризация знаний помогала ученому избавиться от затворничества и интеллектуального снобизма, а обыкновенному человеку — от угрюмой подозрительности по отношению

к этим чудесам. Романистка из Висконсина Зона Гейл определила этот феномен 80-х годов как «домашний Ренессанс — не обучения, но познания». К добру ли, к худу ли, этот Ренессанс превратил нас в величайших популяризаторов знания на всем земном шаре. Наш наиболее пронизательный критик лорд Брюс признал этот факт в 1888 году, отметив в своем труде «Американское государство», что «средний уровень знания (здесь) выше, а привычка к чтению и размышлению распространена более широко, чем в любой другой стране».

Накопление подобных признаков в годы, последовавшие за Аппоматоксом, и привело к появлению Чаутауквы. Распространение женских клубов в Америке началось с основанием в 1889 году «Соросиса» в Нью-Йорке и Женского клуба Новой Англии в Бостоне; к 1889 году, когда была организована Всеобщая федерация женских клубов, имевшая свои филиалы во всех частях страны, бесчисленное множество женщин заучивали наизусть «Основы порядка» Роберта и сочиняли статьи об английских оранжереях и поэзии Роберта Браунинга. Еще раньше, в 1868 году, Редпат, журналист из Бостона, преобразовал старый лекторий в коммерческое лекционное бюро. Получивший широкую популярность, уделявший большое внимание разного рода юмористическим и чисто развлекательным представлениям, привлекавший к участию ярких людей, лекторий Редпата быстро поднял гонорары — от скромных 25 и 50 долларов, которые когда-то платили за лекции Эмерсону и Торо, до 400—500, запрашиваемых противником вина Джоном Б. Гоу или художником-карикатуристом Томасом Настом, или даже до 1000 — такие суммы иногда платили Генри Уорду Бичеру и Генри М. Стэнли (только что вернувшемуся из загадочной Африки). Почти не уступали им в популярности известная общественная деятельница и феминистка Анна Э. Дикинсон, путешественник Джон Л. Стоддарт, умевший красочно рассказать о своих странствиях, и затейники вроде Петролеума В. Нэсби и Марка Твена. Когда старые фавориты начали выходить из моды и у публики наступило пресыщение лекциями, Редпат сперва обратился к иллюзионистам, затем — к солистам и музыкальным квартетам, небольшим оперным труппам и программам, все больше и больше напоминавшим цирковые представления. Жанр морализаторских лекций, утолявший в пуританской Америке тягу к опере и драме, с течением времени после того, как крестовый поход за культурой принес большие прибыли, мирно увял.

## 2

«Я никогда еще не имел успеха, читая лекции в церкви. Люди боятся смеяться в церкви», — писал Редпату Марк Твен в начале 70-х годов. Но вдохновенные ораторы легко перебра-

сывали мост надо рвом, разделяющим лекторий и церковную кафедру. Одним из самых знаменитых был преподобный Рассел Х. Конуэлл из Филадельфии, который прочитал свои «Алмазные россыпи» более шести тысяч раз. Тому можно было сформулировать так: «Возможности таятся в вашем собственном дворе». Религия успеха, старая, как Коттон Мэзер, и достаточно популярная еще до Гражданской войны, теперь расцвела новым цветом. Одним из ее выдающихся пропагандистов в художественной литературе был Хорейшо Олджер. Болезненный священник-унитарий, человек робкий и одинокий, он жил в общежитии репортеров в Манхэттене и, начиная с «Оборванца Дика» (1867) и «Бродяги Тома» (1871), написал более ста книг на темы упорства и удачи; вдохновляющие судьбы Линкольна и Гарфилда побудили его также создать их жизнеописания. Подобно многим иным произведениям, прославляющим культ успеха, эти книги выросли из тяжелого авторского сознания собственной неудачливости. Но они, бесспорно, отражали дух наивной надежды, дышали страстью самосовершенствования, столь характерной для тех времен. Соединение темы богатства и моральной проблематики можно обнаружить и в десятках документальных книг, вышедших в эти годы, где все непременно указывались пути к процветанию и счастью.

В эту пору разнообразных устремлений церковь раскололась надвое. Слишком часто она уступала интересам богачей, утрачивая престиж духовной и формирующей силы американского общества. Частично она возвращала его, проповедуя евангелие гражданственности, пытаясь ответить на вопрос, заданный Чарльзом М. Шелдоном в его исключительно популярном в 90-е годы романе «Его путь» — «как бы поступил Христос?» Успех двух других бестселлеров этих лет — «Бен Гура» (1880) и нового издания Библии (1881—1885) — может служить показателем амплитуды интересов церкви. Более решительный отход от ортодоксии обозначился в учении христианской науки, начала которой были сформулированы г-жой Эдди в ее книге «Наука и здоровье» (1875), а затем стал излагаться в церквях, читальных залах, лекционных курсах и сочинениях, приобретших национальную популярность; таким же радикализмом отличались Теософское общество, основанное в Нью-Йорке в 1875 году г-жой Блаватской, и Общество культуры и этики, созданное в 1876 году по инициативе доктора Феликса Адлера. Тем временем заметный рост влияния католицизма, во многом обусловленный новой волной иммиграции, смущал умы деревенских протестантов и привел к созданию в 1887 году тайного ордена — Американского протекционистского общества, которое, подобно движению 50-х годов, известному под названием «Ничего не-знаю», на время противопоставило географический фермерский пояс городам, англосаксов — ирландской и латинской культуре.

Более существенные боевые действия на религиозном фронте разворачивались между приверженцами сверхъестественного и науки. В течение нескольких лет по окончании Гражданской войны американская мысль вполне испытала влияние дарвиновской теории происхождения видов. Нью-Йоркский журнал «Уорлд» опубликовал прочитанные Джоном Фиском в Гарварде лекции о Дарвине и Конте; в популярном сочинении Джеймса Фримена Кларка «Десять великих религий» (1871) проводилось сравнение между религиями и мифологиями; в том же году Эдвард Л. Юманс, фермер-самоучка из северной части штата Нью-Йорк, положил начало «Международной научной серии», в которой вскоре были опубликованы труды Тиндала, Дарвина, Гексли и Гельмгольца, а год спустя он же выпустил первый номер своего «Ежемесячника популярной науки». Научные методы нашли своих, быть может, наиболее компетентных в 70-е годы сторонников в лице двух деятелей: президента Корнеллского университета Эндрю Д. Уайта, чья знаменитая речь «Фронты сражения науки» была впоследствии и развернута в книгу «Война науки» (1876), и Джона У. Дрейпера — физика и врача, он был автором широко популярного сочинения «История конфликта религии и науки» (1874). Почти с самого начала некоторые священнослужители, например Генри Уорд Бичер, утверждали, что геология ничуть не меньше, чем Книга Бытия, может считаться божественным откровением и что идея происхождения *homo sapiens* от обезьяны унижает достоинство человека ничуть не больше, чем догмат, согласно которому он сделан «из комка глины». Разумеется, нельзя было ожидать, что цитадель традиционной религии сразу же выбросит белый флаг. «Гарвардский налет на религию» вызвал сильнейшее сопротивление в Кукурузном Поясе; недавно организованный Университет Вандербилта уволил в 1878 году профессора геологии за «неподобающие мысли», а на протяжении ближайших шести лет подобного рода чистка была осуществлена по меньшей мере в трех высших учебных заведениях Юга. Самые вдумчивые люди склонны были размышлять скорее не об этих конфликтах, но о более глубоком парадоксе — теория выживания наиболее приспособленных сталкивалась с кодексом любви и заботы о ближнем, да и с наукой (рассматриваемой в качестве целительной силы) в ее стремлении укротить грубые проявления природы. С ходом времени общественный интерес к новым идеям биологии и антропологии все возрастал, так что возникло нечто вроде компромисса между этими идеями и старыми представлениями о божественном. Комментируя лекции по теории эволюции, читанные Генри Драммондом в 1893 году в рамках летнего семинара в Чаутаукве, журнал «Нейшн» увидел в них «знамение времени, которое уже невозможно игнорировать».

Наряду с подъемом новых идей, чреватых дискуссиями, сомнениями, которые разрешились в конце концов признанием нового, необходимо различать более зримые инструменты культуры, способствовавшие распространению данных идей в эпоху Республики. Чтение, писательство, школьное образование, путешествия, книгоиздательское дело развивались в направлении, соответствующем интересам гуманитарного и технократического сознания в условиях демократии. Ибо даже фундаменталисты не оспаривали действенности прикладных наук.

В 1876 году Александр Грэм Белл изобрел телефон, благодаря чему расширились возможности коммуникаций, исчезла замкнутость деревенской жизни, но в то же время его изобретение способствовало упадку письменной информации как литературного жанра. Большее значение для литераторов и журналистов имела пишущая машинка, изобретенная Кристофером Шоулзом в 1868 году. Марк Твен и другие прогрессисты приняли ее с энтузиазмом, но большинство писателей использовали ее отнюдь не так широко, как деловые люди. Колоссальное влияние, произведенное на литературу этим открытием — в смысле увеличения беглости и скорости письма, хотя, быть может, и за счет тщательности отделки, — сегодня, когда большинство писателей поистине стали кентаврами машинного века, наполовину людьми, наполовину клавишами пишущего аппарата, трудно измерить. Практика диктовки, нашедшая распространение в деловой жизни Америки благодаря открытию системы Питмена, популярность смешанного метода в 70-е годы, появление системы Грегга к концу рассматриваемого нами периода — все это, за редкими исключениями (наиболее заметное среди них — Генри Джеймс позднего этапа своей творческой деятельности), не оказало существенного воздействия на литературную жизнь. Большее значение в жизни людей имела авторучка, изобретенная Льюисом Э. Уотерменом в 1884 году: теперь всякий мог писать, где бы ни находился. Столь же всеобъемлющее влияние на читательские и письменные навыки американцев оказало последовательное улучшение в 70-е годы системы газового освещения, триумфально разрешившееся изобретением в начале 80-х годов эдисоновой лампы накаливания. Что касается тиражирования книг, ни одно из технических достижений нового времени не имело такого значения, как линотип, изобретенный Оттмаром Мергенталером в 1885 году.

В целом поразительный рост городов, которым характеризовалось двадцатилетие, минувшее после Аппоматокса, озна-

чал повышение запросов к культуре и индустрии развлечений, требование больших по объему и по возможности лучше организованных газет, журналов, издательств и книжных магазинов. Он означал также сужение поля деятельности налоговых инспекторов и соответственно усовершенствование городских художественных галерей, музеев, концертных залов, общественных библиотек и школ. Все это способствовало укреплению образовательного и созидательного духа городской жизни.

Уровень неграмотности упал с 17% в 1880 году до 13% в 1890-м — и это несмотря на нашествие обитателей Эллис Айленда \*. Законы об обязательном школьном образовании, принятые на Западе и Севере в начале 70-х годов, охватили через десять лет девятнадцать штатов. Бесплатные учебники, появившиеся поначалу в Нью-Йорке 80-х годов, затем распространились в других городах, а энтузиасты вроде Игнациуса Донелли из Миннесоты немедленно потребовали того же нововведения для сельских школ. В деревенской местности объединения, подобные Союзу фермеров или «Грейнджу», призвали к благоустройству школ; а само Общество грейнджеров через сеть своих библиотек и домашних кружков, где обсуждались проблемы политики и экономики, способствовало повышению интеллектуального уровня населения. В 1878 году по всей стране насчитывалось менее восьмисот средних школ; двадцать лет спустя, согласно статистике, это число выросло до 5560. Этот скачок породил в свою очередь резкое увеличение студенческой массы, превратив высшее образование из классовой привилегии в естественное право любого американца, наделенного амбициями и способностями.

В промежутке между средней школой и колледжем располагались многочисленные формы технического образования. На волне Акта Моррилла (1962) поднялись коммерческие и технологические школы, специализировавшиеся в восточных штатах на инженерных профессиях, в среднезападных и южных — на сельскохозяйственных, в дальнезападных и в Скалистых горах на металлургии и горном деле. Другие учреждения расширялись за счет введения новых служб. В 70-е годы Ассоциация молодых христиан начала ставить перед собой задачи культурного и духовного воспитания, разрабатывались также проекты различных увеселений, в 80-е — были организованы вечерние курсы ремесел, быстро завоевавшие популярность. На то же десятилетие приходится начало расширения университетских курсов; следуя вдохновляющему примеру Англии и опираясь на труды Герберта Б. Адамса из медицинского центра Джона Хопкинса, университеты ввели лекционную систему и заочное образование.

Пионером в этом движении выступил Гарвард времен Чарльза Уильяма Элиота. В 1869 году на страницах «Атлантик» он протрубил побудку, чье эхо звучало на протяжении жизни

всего нового поколения: система отбора, отказ от омертвевших программ обязательного преподавания классических языков и дисциплин, акцент на собственную инициативу студента. В результате в центр образовательной программы вполне законно стали современные языки и история, наука, прикладная математика, экономика, английская литература. Новые университеты штатов, стремясь поднять уровень знания своих студентов, приветствовали эти перемены с таким же энтузиазмом, как и другое нововведение — совместное обучение. Роль женщин в Гражданской войне способствовала признанию их права на высшее образование и получение профессии точно так же, как их участие в следующей войне ускорило предоставление им избирательного права. К 1880 году в стране насчитывалось 154 смешанных колледжа и университета, не говоря о чисто женских учебных заведениях, первым среди которых был Вассар (1865), за коим последовало создание в новом десятилетии Смита и Уэлсли.

Аспирантура была еще одним значительным нововведением этого времени. В Йеле и Гарварде она начала постоянно функционировать где-то около 1870 года, хотя отдельные докторские стипендии на немецкий образец предоставлялись еще десятилетием раньше. Университет Джона Хопкинса открылся в 1876 году как сугубо аспирантское учебное заведение. Частные пожертвования, по щедрости своей прежде невиданные, привели к основанию новых сильных университетов, характерным примером которых может служить Стэнфорд (1885). В 80-е годы наблюдался также приток американцев в университеты Германии, где в лекциях Вирхофа, Моммзена, Харнака и других всемирно известных профессоров утверждались непревзойденные в то время критерии научного исследования. Согласно подсчетам, в этих университетах в 80-е годы постоянно обучались две тысячи американских студентов. В 1886 году, отдавая должное былым преимуществам обучения в Германии, Джеймс Рассел Лоуэлл тем не менее начал высказывать озабоченность, как бы прусский дух педантизма не увеличил разрыв между обыкновенной эрудицией («новая сухомытка учености») и истинной духовной культурой. Люди его убеждений устремляли свои взгляды в поисках идеала к Оксфорду и Кембриджу, где сохранялось равновесие между противоположными крайностями в соответствии с основополагающей формулой гуманизма: «Ничего чрезмерного». Но в ту пору, в эпоху настойчивой специализации, эти голоса звучали глухо.

## 5

Для огромного большинства американцев печатное слово оставалось основным орудием культуры, поэтому наиболее значительным явлением был расцвет общественных библиотек. Би-



библиотечные абонементы, как мы видели, процветали начиная с колониальных времен. Во многих городах честолюбивые механики и рабочие выкраивали из своих скромных доходов средства, чтобы вскладчину организовать библиотеку, выдающую книги на дом. Но бесплатные общественные библиотеки, средства на которые выделялись из общей суммы налогов, появились сравнительно поздно — начало было положено около середины XIX века в штатах Нью-Гемпшир, Массачусетс и Мэн. В 1865 году их примеру последовали некоторые другие штаты, и в конце концов это явление приобрело общенациональный масштаб. К 1875 году число бесплатных библиотек с книжным фондом, превышающим 1000 названий, достигло 2000; к концу века эта цифра увеличилась до 5400. Аргументы, приводившиеся поначалу в пользу бесплатных библиотек, покажутся современнику довольно наивными: так, например, говорили, что начитанные рабочие не поддадутся «соблазну порока и безрассудства», а «безработные чувствуют себя гораздо спокойнее с книгой в руках в библиотеке, нежели где бы то ни было». Так, словно бы ублажая прочный щепетильный дух пуританского капитализма, многие американцы всегда находили весьма практические аргументы в пользу массового образования и досуга. Крупнейшим из филантропов был стальной король Эндру Карнеги; в 1881 году он начал предоставлять суммы на строительство библиотек тем городам, которые могли найти для них место и обеспечить им финансовую поддержку. Еще до конца века весь континент был буквально покрыт сетью библиотек, построенных на деньги Карнеги. Тем временем в целях улучшения систематизации каталогов и других библиотечных служб была создана Американская библиотечная ассоциация (1876).

Количество журналов увеличилось с 200, выходящих в год начала Гражданской войны, до 1800 к концу века. Наивысшей литературной репутацией по-прежнему пользовался «Атлантик», во главе которого в 1871 году встал молодой Уильям Дин Хоуэллс. Бостонские брамины вроде Холмса, которые воодушевляли его торжественными словами об апостольской преемственности и возложении рук, весьма хитроумно выбрали именно этого человека: Хоуэллс с почтением относился к «священной земле Бостона» и ее литературным понятиям и в то же время его деятельность была отмечена искренним энтузиазмом Запада. Однако, несмотря на все усилия, «Атлантик» тиражом своим сильно уступал журналу «Харперс», постепенно набиравшему силу под руководством Генри Миллса Олдена. Но поистине поразительный успех выпал на долю «Сенчюри» (редактором был Ричард Уотсон Гилдер), тираж которого в 1885 году достиг 22 тысяч экземпляров, что в конце концов заставило самого Хоуэллса перебраться под сень ярких огней Нью-Йорка. Столь же популярны были два других — уже не

вполне литературных журнала — «Лэдиз Хоум», тираж которого в том же году составлял 270 тысяч экземпляров, и «Юс компэнион», побивший своими 380 тысячами все рекорды предшествующего времени. Помимо всего прочего, высоким тиражам в ту пору способствовали разветвленная сеть газетно-журнальных киосков и организаций наподобие Американской газетной компании, а также различные премии — от литографии до швейной машины, которые выдавались новым подписчикам. Влиятельным, хоть и небольшим журналом был «Нейшн», организованный в 1865 году, он питался идеями бесчисленного количества либерально настроенных проповедников, лекторов и редакторов всей страны. Карикатуры Томаса Наста, направленные против «Твид ринг» и позднейших проявлений продажности, обусловили репутацию граждански активного издания журналу «Харперс уикли». В 1877 году возник «Пэк», первый из американских юмористических журналов, пользовавшийся устойчивым успехом у публики, — в некотором роде его издатели использовали в качестве образца лондонский «Панч», за ним последовали «Джадж» (1881) и «Лайф» (1883), сатирический тон которых отличался большей умеренностью. Если сравнить предвоенный журнал вроде «Карпет-бэг» с его грубыми остротами и намеренным искажением слов, с новыми изданиями такого же типа, то сразу станет ясно, что Америка по части вкуса к комическому вошла в пору зрелости.

В области книготорговли Нью-Йорк далеко превосходил все остальные центры, уже к 1865 году он оставил позади Бостон и Филадельфию, вместе взятые. В 80-е годы к этой призовой тройке стал приближаться Чикаго, а также Сан-Франциско, где продолжала процветать литература местного колорита. Некоторые усовершенствования в книготорговле способствовали более широкому распространению книг. Пребывавшие ранее на положении бедных родственников — несколько заброшенных полок в аптеках и торговых лавках, газетных киосках — книжные магазины провозгласили свою независимость и во множестве стали появляться в средних американских городах, украшая свои витрины таким образом, чтобы привлечь внимание к товару. Продолжали умножаться библиотечные абонементы, нередко функционировавшие в качестве придатка к этим магазинам. Еще большую инициативу проявляли агенты по продаже книг: они становились все более и более привычными фигурами, их все чаще видели в городах и пригородных поселках, где они собирали подписку, а также на проселочных дорогах, на пути от фермы к ферме. Они были наследниками пастора Уимса и янки-коробейника времен юности Бронсона Олкотта, только в отличие от своих предшественников они имели дело исключительно с книгами. В первые годы после Аппоматокса они торговали энциклопедическими изданиями, словарями, иллюстрированными книгами о сраже-

ниях и деятелях Гражданской войны, а также произведениями общеизвестных авторов. Вскоре они начали поставлять серийные издания — «Сисайд лайбрэри», «Стэндард лайбрэри», «Лезэр Ауэр», «Лайбрэри ов эмерикэн хьюмор», «Таун энд кантри лайбрэри», — беллетристику и документалистику самого различного уровня в дешевых обложках и бумажных переплетах — книги, выходившие из-под печатного пресса неиссякаемым потоком. При отсутствии конвенции по авторскому праву выпускалось множество книг зарубежных писателей. Бесспорно, высокие доходы издателя, низкие авторские гонорары, что видно, например, из практики хартфордского книжного концерна «Эмерикэн паблшинг компани», побудили Марка Твена основать в начале 80-х годов собственную фирму «С. Л. Уэбстер энд компани». Издание трехсоттысячным тиражом многосерийных мемуаров генерала Гранта (по цене от десяти до двадцати пяти долларов за серию) принесло ошеломляющий успех. Но другие его инициативы вроде жизнеописания папы Льва XIII, которое, как полагал Твен, заинтересует всех добрых католиков, были куда менее успешны, и в результате фирма разорилась — факт широкоизвестный. Влияние, которое оказывали на литературу «подписные серии», тоже было далеко не благотворным. Например, для того же Марка Твена: сочиняя «Жизнь на Миссисипи» по заказу Джеймса Р. Осгуда из Бостона и его нетерпеливых агентов, автор всячески торопил развитие сюжета, расцвечивал его ненужными подробностями, чтобы придать книге формальную завершенность, — и все это за счет истинного искусства.

Но самое негативное воздействие, оказанное книгоиздательской системой на это поколение писателей, проистекало от отсутствия закона об авторском праве. Любой писатель рисковал ничего не получить за свою книгу, кроме как за издание ее в собственной стране, да и на родине ему приходилось выдерживать нелегкую конкуренцию с зарубежными коллегами, даже если эти последние ничего от нее не выгадывали. В 60-х — начале 70-х годов конвенция, заключенная между американскими издателями книг, вышедших в Европе — «с разрешения издательства», — сдерживала в течение какого-то времени практику неограниченных перепечаток. Но во второй половине 70-х, в 80-е годы, когда стали во множестве появляться новые фирмы, а конкуренция между издателями книг в мягких обложках резко обострилась, эта конвенция распалась. Джон Кэмден Хоттен и другие бритты не признавали никакого иного флага, кроме Веселого Роджера. К 1878 году, по словам Д. П. Патнэма, каждая десятая книга, выходившая в Англии, принадлежала американскому автору. Наборщики, переплетчики, беснemenы книгопечатного дела в целом противостояли идее международного авторского права, маскируя свою алчность благочестивыми словами о дешевом распространении

хороших книг. Нечего и говорить, что в своем отборе они руководствовались не критериями качества, а часто совсем противоположными аргументами. С другой стороны, авторы боролись за новое законодательство; в 1883 году они объединились в Американскую лигу авторского права, чтобы оказать организованное давление на Вашингтон. Бернская конвенция по авторскому праву, принятая в 1887 году, застала Соединенные Штаты все в том же состоянии изоляции. И лишь в 1893 году была выиграна первая крупная битва: конгресс наконец принял необходимый закон (хотя и не столь определенный, как Бернская конвенция).

В культурном отношении поколение, о котором идет речь, было поколением парвеню — наивных, пышущих здоровьем, по большей части самодовольных людей. Совершенно захваченный чудесами прикладной науки и материальными достижениями, за которые он благодарил Эдисона и Белла, рядовой американец ничего не слышал об Уилларде Гиббсе и с некоторым подозрением относился к Дарвину и Гексли. В то же время не следует сбрасывать со счетов и его интереса к проблемам экономической и интеллектуальной жизни, нужно также помнить и о талисмানে, почтение к которому возрастало повсюду (высшее образование), и смутном знакомстве с «лучшими книгами».

Первая ступень американской культуры — грамотность, которая шла об руку с начальными временами материального производства — зерно- и хлопкообработки, угледобычи и выплавки металла, — поглощала основные интересы и усилия общества в период, предшествовавший Гражданской войне. Теперь начался второй этап. На материальном уровне индустриализация некогда аграрной страны повысила значение промышленных предприятий, их технологии и объема продукции. В то же время в области всеобщей культуры уже не только образованные люди стремились объединить духовные интересы с интересами непосредственной выгоды, находя в образовании и книгах необходимое средство достижения успеха и счастья. Что касается третьей ступени — когда производству высоких духовных ценностей на одном полюсе должна соответствовать определенная концепция качества на другом, — то этот этап еще не начался.

## 50. ЗАЩИТНИКИ ИДЕАЛЬНОГО

### 1

Таким образом, в двадцатилетие между 1870 и 1890 годами старая традиция американской литературы — традиция, уходящая своими корнями в творчество Франклина и Эдвардса, наиболее полное выражение нашедшая в книгах Эмерсона, Мелвилла и Уитмена, — эта традиция неожиданно превратилась в отголосок ушедшей эпохи. Сохранились лишь ее идеалы, но уже не в прежнем обличье. Американский писатель опять столкнулся с грандиозной и тяжелой задачей — надо было заново открывать нацию, искать принципы ее самовыражения и те строгие формы искусства, в которые могли быть воплощены основы человеческого опыта. Конкорд и Кембридж уже не были цитаделью, хотя Лонгфелло и Лоуэлл, Холмс и Эмерсон еще жили. Естественно, культуру, на создание которой было положено столько усилий и которая ныне казалась близкой к своему расцвету, следовало сохранить. Марк Твен и Уильям Дин Хоуэллс, уже становившиеся выразителями идей нового реализма, чувствовали ее мощь и на рассвете своей деятельности поспешили на Восток. Альтернатива выражалась четко: если хочешь писать, надо либо поддерживать старые представления, либо сделать ставку на новое. В эти смутные времена приверженность идеальному было трудно совместить со вкусом к реальности.

С конца Гражданской войны до начала нового столетия поэзия и критика поэзии были преимущественно задачей кружка друзей, связанных многими личными и литературными узами. Выступая единым фронтом перед лицом материалистического века, отвергая претензии реалистов, они высокомерно провозглашали себя хранителями идеального в литературе. Их влияние было столь широко, что, когда писатели нового поколения вырвали из их рук контроль над журналами и издательствами, взрыв натурализма в литературе оказался мощнее, чем можно было ожидать, так как более четверти столетия его внутренняя энергия всячески сдерживалась браминами.

Ядро группы составляли пятеро близких друзей — Стоддарт, Тейлор, Бокер, Олдрич и Стедмен. Они вместе делали карьеру, и в годы юности, в Нью-Йорке, постоянно были рядом: восхваляли друг друга в переписке и в стихотворных посвящениях, рецензировали один другого и посвящали книги друг другу,

обхаживали редакторов во имя общего дела. Окружение их составляла дюжина литераторов, исповедовавших те же каноны в критике и связанных с ними дружескими отношениями.

Их общие взгляды выражал Ричард Генри Стоддард. Уроженец Новой Англии, сын моряка, в свои детские и юношеские годы он испытывал нужду, что помешало ему получить такое же образование, как другим членам кружка. Лишь после пятидесяти он смог зарабатывать себе на жизнь исключительно писательством. Обычным местом встречи участников группы — «банды», как они ее сами называли, — был дом Стоддарда на северо-восточном углу Четвертой авеню и Десятой улицы. Его энтузиазм и отзывчивость, а также пронизательность критических суждений его переменчивой в настроениях жены, чьи забытые романы свидетельствуют о воображении более ярком, чем у любого другого участника кружка, — все это привлекало в дом Дика и Лиззи.

Первым сюда пришел Бэйард Тейлор, который в конечном счете добился наибольшей известности среди всех членов группы. Впервые о нем заговорили после того, как в своих «Заметках путника» (1846) он рассказал о большом путешествии по Европе, стоившем ему менее 500 долларов. Он стремился стать великим поэтом, и к концу жизни его опубликованное стихотворное наследие составило десяток томов. Однако ненасытная публика требовала от него лишь новых описаний экзотических земель. За двадцать лет он объехал всю планету. В промежутках между путешествиями он написал три недурных романа на социальные темы, построил себе роскошный дом в своем родном городке Кеннет-Сквер, неподалеку от Филадельфии, служил секретарем дипломатической миссии в Санкт-Петербурге. Его друзья, наверное, не слишком удивились, когда в момент наивысшего триумфа — Тейлора назначили послом в Германию — тело этого человека, которое гордыня подвергала разного рода немислимым испытаниям, отказалось подчиняться его духу, и он умер в возрасте пятидесяти трех лет.

Еще более близким, нежели Стоддард, приятелем Тейлора был элегантный, с аристократическими манерами миллионер Джордж Г. Бокер, чей дом на Уолнэт-стрит, № 1720, стал филадельфийской резиденцией группы. Оба они вполне уверенно чувствовали себя в обществе европейских дипломатов и писателей. У Бокера хватало средств жить соответственно своим представлениям о красивой жизни, у Тейлора таких средств не было, но и он не унывал и время от времени позволял Бокеру давать ему взаймы. Не столь лихорадочно деятельный, сколь его друг, Бокер, однако, тоже заполнял жизнь полезными занятиями в деловой сфере и в области литературы; он также занимался благоустройством родного города и выполнял дипломатические поручения.

Томас Бейли Олдрич — Том Бейли из его собственной «Истории плохого мальчика» (1870) — собирался поступить в Гарвард, но смерть отца заставила его попытаться удачи в бизнесе в Нью-Йорке. Оставив Пирл-стрит ради занятий журналистикой, он очутился среди богемы, собиравшейся в ресторане Плаффа, в подвальном помещении дома № 647 на Бродвее. И хотя он вскоре порвал с приятелями своей юности, размеренная жизнь Бостона так и не стерла с его облика следов прежних увлечений. Причалив к тихому новоанглийскому берегу в 1865 году, он рад был забыть нью-йоркские приключения и лишь беспокоился, удалось ли ему сохранить свой английский язык на терпимом уровне. Переезд стал символом его существования: он только и делал, что уходил — ушел с поста редактора «Атлантик», ушел из Бостона, переехав на морское побережье в штате Мэн, ушел в праздность путешествий.

Октябрь 1859 года подарил нью-йоркским читателям минуты неподдельного веселья: в «Трибюн» была напечатана поэма «Бриллиантовая свадьба», в которой высмеивались широко рекламировавшиеся любовные истории тех, кто принадлежал к так называемому обществу. Поэма поставила ее автора, молодого поэта Эдмунда Кларенса Стедмена, перед угрозой дуэли и судебного разбирательства, зато открыла ему доступ в «банду». Тейлор, встретив его в коридорах «Трибюн», пригласил в дом, где жили он и Стоддарт. Год спустя при содействии последнего Стедмен выпустил в издательстве «Скрибнер» первую книгу стихов. Со временем его критические суждения станут наиболее полным выражением идеалов группы. Он мог бы проповедовать их перед самими филистимлянами, ибо зарабатывал себе на жизнь в конторах Уолл-стрита, и современники восхищались тем, что поэт может быть одновременно маклером.

Вокруг этой верной пятерки, которая думала и чувствовала, как один, группировались те, кого, соблюдая должную иерархию известности, можно было бы назвать свитой. Об их рано завоеванном престиже свидетельствует то обстоятельство, что Пол Хэмилтон Хейн, поэт с Юга, осаждал их в конце 60-х годов просьбами, чтобы они помогли ему вернуться в писательскую среду. В то самое время, как Хейн вернулся в кружок, его покинул Томас Бьюкенен Рид, которого помнят теперь лишь по его поэме «Скачка Шеридана». В конце 50-х годов он оставил поэзию ради занятий портретной живописью и посылал своим друзьям снисходительные письма из Лондона, где Пэтмор совершенно вскружил ему голову, сказав, что его «последняя сцена» выше Греевой «Элегии», и где ему позировало семейство Браунингов. Уильям Уинтер, напротив, был самым преданным приверженцем «банды». В течение сорока лет он оставался театральным обозревателем «Трибюн», на чьих страницах отстаивал ее принципы, осуждая еретика Ибсена. Очутившись в Калифорнии, а затем в Огайо, он предпринял

путешествие на Восток только затем, чтобы услышать от Олдрича: «У меня нет рядом друга мудреца, который помог бы мне оценить собственные писания... Потому приходится беспокоить Вас». Среди других членов кружка надо упомянуть Ричарда Уотсона Гилдера, который в 1881—1909 годах редактировал «Сенчюри». Нельзя не упомянуть Луизу Чэндлер Мултон, бостонскую поэтессу, любившую передавать мелкие литературные сплетни, и Ричарда Гранда Уайта: преимущественно джентльмен, он иногда был критиком. Это только начало списка. Интересующиеся могут найти менее значительные имена или, лучше сказать, имена тех, кто менее известен, на 1292 страницах, которые понадобились официальному биографу Стедмена, чтобы рассказать о литературных связях своего героя.

Члены «банды пятерых» и их сателлиты были убеждены, что представляют устойчивую традицию в поэзии и критике, и в то же время понимали, что Гражданская война легла рубежом между старым поколением жителей Новой Англии и их собственным. Предпринимая попытки возродить традицию и поддержать ее на прежней высоте, они понимали также, что сами идут на компромисс с грубыми вкусами публики, которая вот уже десятилетие воспитывалась на развлекательной и пропагандистской литературе, порожденной войной. Кроме того, им приходилось выступать против неизжитой популярности Лонгфелло, Холмса и Уитьера, которые все еще восхищали публику, хотя, по их же собственным словам, «шли по накатанной колее».

Отношение молодежи к старшему поколению поэтов было двойственным. Многократные проявления щедрости со стороны последних порождали чувство привязанности. Олдрич признавал, что поэтом его сделал Лонгфелло. Стедмен писал Уитьеру в 1890 году: «Вы возложили руки на мою главу и благословили меня». Тейлор был признателен Лоуэллу за то, что тот первым подверг его поэзию уважительному анализу. Даже Стоддарт, который порой выпадал из общего направления и отзывался о старших коллегах весьма пренебрежительно («банда» была шокирована его непочтительной рецензией на сборник Лоуэлла «Под ивами»), даже он вспоминал день, когда Готорн встретил его, безвестного молодого поэта, как равного, как друга.

При взгляде на отношения «банды» с Лоуэллом постепенно начинают обнаруживаться трещины в сыновней привязанности. Члены ее с достаточной кротостью внимали эпистолярным поучениям Лоуэлла и время от времени почтительно принимали лестные поручения, которые сначала предназначались ему: в 1876 году Тейлор согласился написать Оду к столетию Республики после того, как Лоуэлл (так же, как Брайент, Лонгфелло, Холмс и Уитьер) отклонил это предложение; в 1891 году Стедмен прочитал первый курс Тернбалловских лекций по поэзии в Университете Джона Хопкинса вместо Лоуэлла. Однако по мере того, как их известность возрастала, они, насколько можно



судить по раздраженным замечаниям в письмах, начали тяготиться этой обволакивающей опекой со стороны старших. Исключение составлял Олдрич, который был, по его собственным словам, если не истинным бостонцем, то по крайней мере «мечен Бостоном».

Эта решимость занять достойное место появляется и в отношении к английским современникам. «Банда» считала, что наконец-то поэзия и проза двух стран сравнялись. Они принимали дружбу английских писателей без малейшего налета как робости, так и пустого высокомерия. Даже Олдрич, который в конце жизни много ездил по Европе, ничуть не походил на экспатрианта. Постоянно толкуя о трудностях жизненной борьбы, они в то же время в отличие от своих более молодых последователей не думали, что она может быть проиграна и что единственное спасение в том, чтобы избавиться от американской вульгарности.

Не обладая страстью к преобразованиям вроде той, что испытывал Джордж У. Кертис, лишенные склонности к космическим провидениям в духе Генри Адамса, они в страхе взирали на разложение американского общества. Священнодействие, в которое превратили свою жизнь *arrivistes*<sup>1</sup> на пространстве от Ноб-Хилла до Ньюпорта, шутовской карнавал тех, кого Стедмен называл «аристократией шампанского», претенциозность палатцо Пятой авеню, ее лакейские претензии на родовое благородство — все это побуждало их противопоставлять подобной вульгарности идеальный мир собственной поэзии. Будучи, как и большинство интеллигентных американцев в наше время, людьми экономически безграмотными, они не могли осознать перемен, происходивших в жизни нации. Даже если бы им и удалось приспособиться к условиям законодательства, которое благодаря Четырнадцатой поправке превратило священную американскую доктрину личных прав в неограниченную возможность наживы для крупных корпораций, — даже и в этом случае они отвергли бы свидетельские показания самой жизни. При этом они не видели ничего унижительного в дружеских отношениях с такими относительно цивилизованными плутократами, как Эндрю Карнеги и Коллис П. Хантингтон.

Они предлагали сбить лихорадочную температуру века припарками, настоящими на Идеальной Поэзии. Что именно они разумели под этой формулой, сказать трудно, ибо употреблялась она в эмоциональном запале. Все, что им не нравилось во временах Гранта, они объединяли в слове «реализм» — практицизм этих времен, непомерное процветание, которое он приносил деловым людям, веру последних в то, что наука скоро даст ответ на все вопросы. Поэты, верные своему высокому призванию, должны увлечь людей в идеальный мир поэтического со-

---

<sup>1</sup> Выскочки (*фр.*).

знания — подальше от этого мира непосредственной реальности. Два четверостишия из бокеровской «Книги мертвых» выражают их общую позицию:

Поэты, у штурвала дней  
С начала Времени стоим;  
Мы скроем мрак его путей  
И блеск Былого возвратим.

А в нашем времени царят  
Вдвоем Наука и Расчет  
И преступлений душный смрад —  
Их порождение — цветет.

Что происходит в этом идеальном мире? Кто населяет его? Очевидно, это не Платонов мир идей, это и не царство духа, поскольку поэты разделяли пассивный агностицизм своего времени. Стоддарт размещает свой «Воздушный замок» в человеческом сердце, но дает понять, что, употребляя этот троп, он не имеет в виду выразить целостное сознание современного человека. Всего скорее это мир мечты, по которому бродит поэт, освободившийся от Фальши, в поисках (идеальной) Истины. Именно так. Идеальный мир этих поэтов может быть обнаружен лишь в мечте, очищенной от всех низких желаний, прозаических устремлений, любых действий (кроме действий героических). Как обычно, Стедмен наиболее ясно выражает их общую цель. Говоря о Теннисоновых «Хозяйке Шалотта» и «Видении благородной женщины», он отзывается о них как о «необычных, восхитительных, идеальных, *исключительно идеальных*, возвышенных созданиях».

Раз поняв, что они стремились писать именно такие стихи, уже нетрудно найти объяснение некоторым принципам и предрассудкам. Их неприятие поэзии на диалектах, например, проистекает из убеждения, что поступки и слова игроков Брет Гарта и солдат Кипплинга — не тот материал, из которого соткана поэтическая мечта. Или взять их отношение к сексу как возможному предмету поэзии. Распространенный взгляд об их застенчивости, конечно, абсурден и явно основывается на болезненных редакторских предрассудках чересчур шепетильного Гилдера, который не входил в основной состав «банды». Юношеская поэзия любого из ее участников была куда более согрета чувством, нежели стихи Китса, которыми они вдохновлялись. Секс, каким его изображали натуралисты, действительно не находил места в их более поздней поэзии, но не потому, что они «не выносили наготы» (Бокер, согласно предположениям его биографа, имел трех любовниц, *seriatim*<sup>1</sup>). Секс не находил места в их стихах потому, что не акт любви, но мечта Любви составляет предмет идеальной поэзии.

---

<sup>1</sup> Одновременно (*лат.*).

Тот, кто хочет понять их отношение к этой сложной эстетической проблеме, найдет ключ в рассуждении Стедмена о поэзии и сексе из его очерка об Уитмене («Поэты в Америке»). Можно ответить Стедмену, что, несмотря на все его возвышенные разглагольствования о сублимировании секса, его отношение к нему, на современный взгляд, весьма сомнительное. Он обвиняет Уитмена в том, что тот ничего не говорит о «сладости и красоте уединенных вод и тайного хлеба». «Furto cuncta magis bella»<sup>1</sup>. Даже для просвещенного викторианца секс в лучшем случае был предметом недозволенным.

Эстетические идеалы этих поэтов отчасти объясняют такие стороны их поэтики, как исключительное возвышение роли художника и постепенное исчезновение из их поэзии романтического идеала природы, что свойственно их более ранним произведениям. Идеальный мир открывается поэту не в процессе общения с природой, это не преображенный мир природы. Он подчиняется своим собственным законам — эстетическим. Общество должно лелеять поэта, как создателя этого идеального мира, который настоятельно нужен людям, — он подобен лекарству, исцеляющему раны, нанесенные Гексли, Твидом и Золя. Стремление этих поэтов принести пользу связано отчасти и с их приверженностью тому, что Стедмен называл «нашим Каноном» — «закону верности поэтической форме». Они искали влияния не только на современников, но на потомство, а «сохраняется, — по словам Олдрича, — то, что обладает совершенством формы».

Хотя к концу века эстетические принципы «банды» начали играть доминирующую роль, по крайней мере в критике поэзии, в ранние годы им не всегда удавалось одерживать победы и быть на первом месте. Исполненные этического пафоса, но в то же время остроумно-язвительные эссе Э. П. Уиттла украшали страницы «Норт эмерикэн ревью» до самой смерти автора в 1886 году. Хотя последний период жизни Лоуэлла был в основном посвящен дипломатии и послеобеденным речам, он в 80-е годы писал и критические статьи, и большинство читателей до сих пор считают его патриархом американской критики. В 70—80-е годы в журналах «Атлантик» и «Нейшн» часто появлялось имя Генри Джеймса-младшего в основном под статьями, посвященными французским и русским писателям. В лагере реалистов Хоуэллс и его друг, норвежец, романист и эссеист Х. Х. Бойсен, вели непримиримую войну против критической и поэтической практики «банды».

С течением времени связи, которые группа завязала с журналами и издательствами, умножались, и в конце концов имена ее участников стали появляться повсюду, так что они образовали нечто вроде литературного директората. Постепенно их

---

<sup>1</sup> Все таинственное прекрасно (лат.).

вливание распространилось даже на колледжи. Читали курс литературы в них главным образом уже немногочисленные профессора изящных искусств либо только что пришедшие им на смену бойкие «ученые» исследователи, получившие образование в Германии и исполненные решимости заменить изящество «Лекции по риторике» Блэра светом «Англосаксонской грамматики» Зивера. Ни один из членов «банды» не преподавал, хотя университеты и приглашали их, особенно Стедмена. Однако они часто были почетными гостями академических кафедр, и в следующем поколении такие их ученики, как Вудбери из Колумбийского университета, Уэнделл из Гарвардского и Ван Дайк из Принстона, уже могли бросить вызов ученым-филологам на своей родной земле.

## 2

Хотя Эдмунд Кларенс Стедмен вовсе не был великим критиком, он уникально воплощал черты целого поколения и может выступать от его имени. Его трудолюбие было поразительно. Несмотря на финансовую лихорадку его Уолл-стритской жизни, несмотря на приступы ипохондрии, которые часто не давали завершить самые трудные начинания, Стедмен был автором такого количества пространных критических статей и книг, что практически ни одно явление литературы не осталось без его внимания. В результате упорных занятий он стал специалистом по английской и американской литературной истории, а также по греческой поэзии. Более всего в нем поражали универсальность интересов и мужество. Пусть эти интересы были довольно хаотичны — сама их широта оказывала благотворное воздействие. Его энтузиазм побудил многих читателей более объективно взглянуть на творчество По и по крайней мере принять Суинберна и Уитмена.

Стедмен выработал для себя систему критических принципов, которые, не будучи слишком оригинальными и глубокими, отличались, во всяком случае, последовательностью. Он следовал им в «Викторианских поэтах» (1875) и «Поэтах Америки» (1885), и два поэтических сборника, служивших чем-то вроде иллюстраций к этим работам, — исключительно популярные «Викторианская антология» (1895) и «Американская антология» (1900) — составлены были в соответствии с этими принципами. После нескольких частных попыток определения их полностью сформулировал их в «Природе и элементах поэзии» (1892).

Эклектический метод Стедмена может поначалу скрыть от читателя его «Викторианских поэтов» тот факт, что книга была написана с целью утверждения демонстративным путем поэтического кредо. Он любил называть себя критиком-законником или критиком-философом и действительно по преимуществу был таковым. Но будучи эклектиком в методе, как и в идеях,

он неожиданно переходил от рассуждений об историческом фоне эстетического развития писателей к импрессионистским заметкам об их творчестве. Постоянно оттачивая свой метод на разных предметах, он неизменно имел в виду главное — иллюстрацию своих собственных теорий.

Книга создавалась медленно. Стедмен рассказывает ее историю:

«Эта книга выросла из анализа антологии Р. Г. Стоддарда «Поздние английские поэты», из рецензии, которую по просьбе Лоуэлла я написал в 1865 или в 1866 году для «Норт эмерикэн ревью». Пятью годами позднее я написал статьи о Теннисоне и Феокрите (см. главу 6), опубликованные в «Атлантик мансли». Интерес, вызванный ими, побудил меня написать еще несколько статей, в основном для «Скрибнерс мансли», которые я впоследствии переработал и собрал в книгу «Викторианские поэты». *Прилагательное «викторианские» ранее не употреблялось.*

В письме Теодору Уоттсу Стедмен утверждал, что подлинной целью, которую он преследовал и в «Викторианских поэтах», и в «Поэтах Америки», было «представить *взгляды* авторов и *каноны поэзии* и *воздух поэзии*, а также исследовать *поэтическую эру* и *поэтические темпераменты*».

Присущие ему такт и искренность в высшей степени пригодились Стедмену в ходе создания «Поэтов Америки». Холмс, Лоуэлл и Уитьер были еще живы; Брайент, Эмерсон и Лонгфелло умерли совсем недавно. Хотя почитатели этих поэтов изучили их досконально, Стедмену удалось написать книгу, нашедшую отклик у его поколения и сохранившую свое значение до наших времен. Этой книгой он хотел убедить американцев, что нашим духовным и интеллектуальным прогрессом, который неуклонно набирал скорость, мы не так уж обязаны Европе, а также, полемизируя с Лоуэллом и Ричардом Грантом Уайтом, продемонстрировать «выраженный национальный характер» нашей поэзии.

Как и в «Викторианских поэтах», Стедмен применяет свои принципы на протяжении всего исследования, но в отличие от более ранней работы объем формального анализа уменьшается за счет рассуждений о «поэтическом темпераменте и обстоятельствах, его формирующих; больше внимания уделяется музыке чувств, веры, стремлений; всем струнам жизни». Быть может, Стедмен избрал такой угол зрения, чтобы не слишком откровенно осуждать иные сочинения тех поэтов, которыми все еще восхищалась каждая американская семья. Тем не менее, следуя за автором, читатель восхищался способностью критика выразить свою мысль даже тогда, когда правда выглядит весьма непривлекательно. Если освободить его суждения о поэтах старшего поколения от шелухи чувствительных комплиментов, которые адресовались им как милым соседям и добропорядочным гражданам, то ясно, что автор порой точно судит самое

существо их творчества. В статьях о По и Уитмене Стедмен продемонстрировал лучшие свои качества, ибо, как стратег, он предпочитал нападение защите. Похвалить По было для Стедмена отчасти актом мужества, но никак не великодушия, потому что По, подобно Суинберну или Росетти, был в его глазах поэтом Идеала. А статья об Уитмене с ее широтой взгляда более выразительно, чем что-либо другое, им написанное, свидетельствует, насколько Стедмен превосходил критиков своего времени.

Когда в 1891 году ему первому было предложено открыть цикл Тернбалловских лекций о поэзии в Университете Джона Хопкинса, он не поленился написать трактат «Природа и элементы поэзии» (1892), используя эту возможность как военную акцию идеалистов против развращающего влияния науки, реализма и журнализма. Поэты от рождения наделены особым видением и должны руководствоваться божественной волей. Век эконоимики, физики и прозы забыл об этом, и его надо заставить признать суверенность поэзии. В этой работе Стедмен не только суммировал свои основные эстетические принципы, но и изложил историю поэзии и поэтических теорий. Всегда склонный к многословию, он на сей раз узрел возможность провозгласить истинную веру и попытался, насколько это было в его силах, исчерпывающе представить все идеи и аргументы в данной области. В освобожденном от отступлений и развернутых иллюстраций виде основной тезис его книги сводится к последовательной защите литературного идеализма, знамени времени. Легко установить связь его тезиса с платоновской традицией в критике, с По и Эмерсоном, однако осознание того, к сколь глухой защите заставили его и его единомышленников перейти новые силы, определяющие человеческую жизнь, побудило Стедмена обновить традицию. Он ясно видел, что научные открытия в физике, биологии и психологии и, как их производное, позитивизм ослабили позиции идеалистов и в искусстве и в религии. Главными врагами поэзии были реалисты, которые уступили давлению века. В своем эссе «Гений», написанном пятью годами раньше, Стедмен пытался переманить их в свой лагерь, задушевно убеждая лучших из них — в особенности Хоуэллса — в том, что и они, подобно поэтам, хоть, возможно, и неосознанно, ищут «идеал, который есть самая истинная из всех истин — абсолютный реализм». Но этот маневр переоценки ценностей не удался. Потому в Тернбалловских лекциях Стедмен предпринял новую атаку, чтобы выбить реалистов с их командных позиций.

Суть концепции Стедмена заключена в главах «Красота» и «Истина». Красота есть неизменный объект поисков поэта, будь он трансценденталистом, импрессионистом или реалистом. Красота существует, хотя и не поддается измерению: в представлении поэта она есть «свойство его воображаемой сущности». Во многом следуя в своих рассуждениях за Эмерсоном, Стедмен последовательно уравнивает красоту с истиной, коей она

является «ясным сверкающим обликом». Все естественные предметы «стремятся» к красоте, и поэт, наделенный способностью проникновения в суть истины (то есть в суть «натуральных предметов»), выражает прекрасное. Но истина, чтобы стать прекрасной, должна быть полной. Заблуждение реалиста состоит в том, что он имеет дело лишь с видимыми предметами, то, что остается за их пределами и что завершает истину, он игнорирует. Поэтому ему никогда не выразить красоты.

В этом месте своих рассуждений Стедмен выдвигает идею, которая показывает, сколь далеко он ушел от собственного возвышенного эстетизма ранних лет и как, хоть и бессознательно, приблизился к реалистическим и утилитарным идеям времени. По сути дела, он приходит к утверждению функционализма, господствовавшего в американской эстетике от Эмерсона и Грино (который как теоретик искусства гораздо интереснее, чем скульптор) до Льюиса Салливэна и Фрэнка Ллойда Райта. Он признает, что красота каким-то образом согласуется с пользой, что сущность прекрасного соответствует назначению предметов. Но на пороге полного приятия функциональной теории Стедмен останавливается — как раз вовремя, чтобы спасти свой идеализм. Верно, идеальная красота «состоит в приспособлении духа к обстоятельствам», но это приспособление не всегда должно облекаться «в откровенно материальные формы». Речь идет скорее о функции идеала, нежели о его земных воплощениях.

Цикл Тернбалловских лекций Стедмена должен был удовлетворить тех, кому хотелось верить, что реалисты могли быть побеждены, а превосходство поэзии, наиболее идеального и всеобъемлющего рода искусства, утверждено с новой силой. Собственная убежденность Стедмена в том, что подобная цель достижима, поддерживалась верой в скорый приход нового века идеальной поэзии. Гений, как пытался он убедить Хоуэллса, есть непреложная данность; поэт рождается внезапно, когда этого меньше всего ожидаешь. Поэзия, которую он несет в мир, отмечена знаком высшего качества, она героична по тону, драматична по форме. Стедмен был убежден: все симптомы, что подобного рода поэзия вот-вот проявится, налицо. Следы ее он обнаруживал — и это весьма показательно — в строках Суинберна и Уитмена. Он также считал существенным тот факт, что американские поэты отказываются от пейзажной живописи и, становясь портретистами, поворачиваются к «человеческой жизни с ее страданиями, страстями, поступками». Отношение Стедмена к поэзии — которое он, безусловно, разделял с такими викторианскими критиками, как Арнольд и Пейтер, — в конечном итоге скорее отталкивало, нежели привлекало читателей. В своей страстной апологии поэзии он сам терял почву, которую хотел выбить из-под ног у реалистов. Ирония состояла в том, что при всех щедрых, как он полагал, даже опасных уступках науке и принципам утилитаризма ему и его сподвижникам пред-

стояло в глазах уже следующего поколения выступить робкими реакционерами и носителями жеманной утонченности.

Хотя в свое время Ричард Генри Стоддард был так же влиятелен, как Стедмен, теперь его репутацию критика оценить нелегко. Читатель, который пробежит его многочисленные предисловия к антологиям, пролистает немалое количество написанных им литературных биографий и рецензий, с трудом обнаружит то, что относится к критическому жанру. В предисловии к наиболее содержательному сборнику своих литературных эссе «При свете ночника» (1892) Стоддард признает, что, обращаясь к своим героям — поэтам, «обделенным судьбою», он более интересовался их биографиями, нежели произведениями.

В основном именно благодаря Стоддарду столь популярны стали в последнюю четверть прошлого века более или менее интимные описания частной жизни поэтов и романистов. Н. П. Уиллис первым среди «книготорговцев» пустил в оборот собрания застольных бесед литературных знаменитостей, а форма подобных изданий была разработана авторами роскошно изданного тома «Американские писатели дома» (1854). Не будучи пионером «паломничества» к «гробницам» писателей, именно Стоддард тем не менее пробудил интерес к подобного рода скитаниям. Его карманная серия мемуаров о писателях, разошлась за полтора года в количестве 60 тысяч экземпляров.

Когда же Стоддард отваживался выйти за пределы анекдотов и банальных историй, его критический взгляд обнаруживал остроту и пронизательность. Печатно он никогда не нападал на своих друзей поэтов; он оставался верным членом Братства. Однако в его письмах встречаешь точные суждения о современниках. Вот, к примеру, отзыв о стихах Тейлора:

«Когда (его стихи) не выказывают особенных претензий, они хорошо написаны и в своем роде безупречны. Прочитайте его «Пропащие сокровища» в сентябрьском номере журнала «Патнэм». Я не смог обнаружить в них никакой фальши, но в то же время они не произвели на меня сколько-нибудь глубокого впечатления. Они выглядят механическими; им не хватает простоты; они скорее искусственны, нежели органичны. А согласно Бэйарду, искусственность выражения — вторая натура».

Острые суждения в таком роде заставляют предполагать, что Стоддард мог бы принять эстафету Лоуэлла и Стедмена, если бы решился высказывать свои критические суждения вслух.

### 3

Хотя последних из ведущих защитников Идеальности к 1910 году уже не было в живых, группа их эпигонов хранила традицию в эпоху Драйзера, Менкена и Андерсона. Трое из них, как уже говорилось, были профессорами литературы: Джордж Эдвард Вудбери — в Колумбийском университете, Баррет



Уэнделл — в Гарвардском и Генри Ван Дайк — в Принстоне. Четвертый участник группы, Хэмилтон Райт Мейби, литературный редактор журнала «Аутлук», чьи вдохновенные статьи об идеалах и литературе широко читались по всей стране, являл собою в глазах нового поколения натуралистов символ всего того, с чем они яростно сражались.

За двадцать лет до смерти, последовавшей в 1930 году, Вудбери уже знал, что дело проиграно. В последние годы жизни он стремился подольше бывать в своей любимой Италии, лишь изредка отваживаясь на путешествие в пустыню Запада, где вел летние семинары в различных провинциальных университетах. Даже восхищение, которое он вызывал в широких кругах своих слушателей, не могло примирить его с современной Америкой.

На первый взгляд критическая деятельность Вудбери представляет собой смешение идей Стедмена, Стоддарда и других, однако заметны и существенные отличия. Подобно им, он поклоняется красоте, однако поиски ее в конце концов завели критика так далеко, что он находит красоту лишь в Древней Греции и в современной Италии. Война, которую Стедмен вел против реализма, была радикальной контрреволюцией. Жалкость позиции Вудбери-«протестанта» показывает, насколько сузилась его гуманистическая платформа по сравнению с ранними Идеалистами. В его критической деятельности не Идеальность, а скорее тонченность стала ключевым понятием.

В своем отношении к американской литературе Вудбери также отошел от предшественников. Его первой значительной работой была совместная со Стедменом подготовка к печати собрания сочинений По, из чего впоследствии выросла написанная им биография поэта (1885, дополненное издание — 1909); он написал также биографические исследования творчества Готорна (1902) и Эмерсона (1907). Но с течением времени он начал все более скептически относиться к положению писателя в Америке. По мере того как усиливалось его отвращение к материализму, царящему в родной стране, он все с большей горечью говорил о будущем искусства в Америке. Достаточно грустно было признавать, что все созданное нами представляло лишь отходы европейских достижений. Но перспективы на будущее выглядели еще хуже: об этом свидетельствовала книга Марка Твена и жизнь Миссури.

Защищенный мантией гарвардского профессора, Бэррет Уэнделл избежал меланхолического отношения Вудбери к национальной культуре. Наделенного более крепким духовным здоровьем, его ограждали от вульгарности новых времен новоанглийское происхождение, консервативные предрассудки и пронизательный ум. В отличие от Вудбери, который в юные годы разделял патристические пристрастия критиков-идеалистов, Уэнделл никогда не ставил слишком высоко достижения американских писателей. В своей уничтожающей «Литературной исто-

рии Америки» (1900) он судит их с высоты английской традиции и обнаруживает в их творчестве такое количество литературных грехов, что читатель остается в недоумении, зачем автор вообще обратился к американской литературе. В 90-е годы он уже примирился с той «провинциальной безвестностью», которая становилась судьбой людей его типа и происхождения, и двадцать пять лет спустя почти спокойно писал, что «наше время (как в Англии, так и в Америке) становится буквально непотребным — оно повсюду открыто демонстрирует испорченность, которую следовало бы скрывать».

Два других члена этой группы поздних последователей Идеальности так и не сдали своих позиций. Мейби поддерживал бодрость у приверженцев угасающего дела тем, что всячески восхвалял своих друзей. Новую литературу натурализма он считал своим долгом попросту игнорировать. Наконец, доктор Ван Дайк, возвращенный в лоне пресвитерианской церкви Нью-Йорка, а затем в Принстоне, никогда не упускал случая вступить в полемику — теологическую, политическую или литературную. В возрасте 78 лет, когда голубая лента международного признания увенчала триумф натуральной школы — Нобелевская премия по литературе была присуждена Синклеру Льюису, — Ван Дайк был готов сразиться снова. Выступая в Деловом клубе Джермантауна, он выразил сожаление в связи с этим актом, охарактеризовав его как удар ниже пояса, направленный против Америки; это дало Льюису повод в Нобелевской речи посмеяться над Идеалистами, заявив, что Американская Академия искусств и литературы, основанная и все еще контролируемая последними, представляет одного лишь Генри Уодсворта Лонгфелло. Доктор Ван Дайк парировал этот удар, но ринг был уже пуст.

#### 4

Ни один из поэтов, участников «банды» или их коллег — а буквально каждый из них пробовал себя в поэзии, — не стремился так страстно к литературной славе, как Бэйард Тейлор. Из его переписки видно, что он постоянно думал о своем «месте». Его книги «постепенно обретают почву», немецкий «Konversations-Lexicon» намерен опубликовать биографические сведения о нем («Это уже похоже на славу, не правда ли?»); наконец, его назначение послом в Германию доказывает, что «мир-таки способен оценить серьезные усилия».

Затаенные сомнения, испытываемые Тейлором относительно своего поэтического дара — а эта непрестанная забота с собственной репутации вполне выдает их, — делают ему честь как критику. При всей новизне его «Калифорнийских баллад», при всей популярности искрометных «Стихов о Востоке» (1854), при том воодушевлении, с каким он работал над «Порт-

ретом святого Иоанна» (1866), несмотря, наконец, на множество стихов, в которых возвышенно говорилось о призвании поэта, поэтом Тейлор не был, а был, по словам Стоддарда, версификатором. Его строки не западали в память и вполне достойные сменялись едва ли ни фарсовыми. Его дар пародиста приводил к тому, что стихи его звучали эхом чужих сочинений. Даже «Песнь бедуина», которая сейчас в репертуаре некоего сопрано, есть лишь отголосок «Индийской серенады» Шелли. Показательно, что Тейлор в отличие от своего друга Олдрича редко отвергал или даже перерабатывал свои ранние стихи, сохраняя их в более поздних изданиях в первоизданном виде.

Из всех его стихотворных сборников лишь «Домашние пасторали» (1875) обладают художественной и исторической ценностью. Это тот единственный случай, когда, отбросив привычную амбицию барда, он прочувствованно пишет о своем предназначении человека и художника, которое наконец ему открылось; открылось с такой ясностью, быть может, потому, что он как раз окончил перевод великой философской драмы Гёте. Преисполненный впечатлений, он пишет о самом себе, как о человеке, возвращающемся наконец домой после странствий по свету. Его судьба тяжелее, нежели судьба других американских поэтов, которые, иссушенные Настоящим, устали петь только о Будущем. Его соседи-квакеры, чью жизнь он хочет опозитивировать, подозрительно относятся к нему и к его стихам. Здесь, как и в любом ином уголке Америки, «искусство пребывает на правах чужака».

В «Домашних пасторалих» тоже раскрывается борьба типичного американского интеллектуала того времени, стремящегося отыскать прочную философскую позицию. Ранее Тейлор разделял обычное романтическое преклонение перед Природой, но Природа, эта «равнодушная богиня», не вдохновляет его больше. Он заворужен физической красотой, и Человек теперь значит для него больше, чем солнце и дождь и «игрушечные страдания веков». Он решительно отвергает викторианские религиозные компромиссы и готов вступить под сень ангела Безверия. Эти темы он развивает в своей амбициозной фаустианской драме «Царь Девкалион» (1878), в которой царь и Пирра, руководимые Прометеем, последовательно отвергают соблазны Медузы (римская католическая церковь) и Урании (Наука), с тем чтобы принять доктрину, сформулированную в следующих строках:

Найти Его — нам не дано.  
Искать Его — нам суждено.  
Ведь Он — не племенной божок,  
Ведь мир наш для Него — мирок, —  
Ведь царь Он космосу всему!

Эти две поэмы показывают, что поэтическая зрелость, к которой Тейлор так неутомимо стремился, наконец была достигнута. Он умер месяц спустя после публикации «Царя Девкалиона».

Момент столь взыскуемой Тейлором славы был пережит им в декабре 1870 года, когда издательство «Филдс, Осгуд энд К<sup>о</sup>» выпустило его перевод первой части «Фауста» тем же форматом, что «Данте» Лонгфелло и перевод «Илиады», выполненный Брайентом; в марте 1871 года появился перевод второй части. Этот великий миг его карьеры был отмечен торжественным обедом в издательстве, во время которого автор выслушал сердечные — и столь долгожданные — комплименты со стороны своих учителей из Новой Англии. Правда, их утверждения, будто Тейлор внес выдающийся вклад в американскую культуру, встретили некоторые возражения. В Германии говорили, что он приспособился к немецкому «образу мысли и чувства». Все же, несмотря на некоторые пассажи, чуждые и английскому и немецкому языкам, а также случающиеся порой неточности в передаче мысли Гёте, тейлоровский перевод «Фауста» остается лучшим среди появившихся с тех пор сорока четырех переводов первой части и шестнадцати — второй, и похоже, ему нечего бояться соперничества.

Любовь Тейлора к «Фаусту» была так велика, что он с легкостью выучил наизусть почти весь текст первоисточника. Не имея академического образования, он изучил также критическую литературу о Гёте, весьма обширную уже тогда, и провел «побочное исследование», с тем чтобы углубить свое понимание драмы. Он добросовестно консультировался с немецкими учеными и с людьми, знавшими поэта. Он был первым энтузиастом в Англии и Америке, давшим себе труд проникнуть в замысел второй части «Фауста», которую даже Дж. Г. Льюис, ведущий английский биограф и переводчик Гёте, называл «гигантским заблуждением». Очень озабоченный тем, чтобы покончить с предубеждением, вызванным двумя существовавшими тогда «неумными переводами», Тейлор во Введении проанализировал, сцена за сценой, движение второй части и пришел к верному выводу относительно единства драмы.

В предисловиях обеих частей Тейлор развил свою теорию перевода. Чутко улавливая, сколь тесно *Stimmung*<sup>1</sup> произведения связан с его гибкими ритмами, он поставил своей задачей воспроизвести гётевские метры. Хоть удалось ему это не вполне, все же бесспорно, что настойчивость попытки придает его переводу масштаб и весомость, каких нет в работах многих его соперников. Поскольку он избрал верный путь — меньше полагаться на интуитивное восприятие гётевского творения, больше — на упорный поиск точного слова, — ни один критик не мог сказать, перефразируя доктора Бентли, что его «Фауст» — «прелестная поэма», но это не Гёте. Перевод нельзя назвать великим произведением, но и теперь, семьдесят лет спустя, читатель, слабо владеющий немецким, может рассчитывать на то, что ему откроются в нем глубины гётевского гения.

---

<sup>1</sup> Настрой (нем.).

Подобно своему другу Тейлору, Джордж Бокер жаждал поэтической славы. «К своему театральному успеху я равнодушен, — писал он Тейлору. — Я не стремился и не стремлюсь стать драматургом... Если я не добьюсь признания как поэт, меня ничто не будет интересовать и я покончу с литературой». Но его поэтические книги так и не нашли отклика, хотя один из сборников «Стихи о войне» был популярен и эта популярность была заслуженной, ибо автор был основателем первого из серии клубов «Юнион лиг» и побуждал своих коллег-поэтов выступать в защиту дела Севера. Его более крупные вещи вроде «Песни земли», «Резчика по слоновой кости» и автобиографической «Книги мертвых» (1882), написанные как обвинение тем, кто убил его отца, выдают порок, весьма характерный для второстепенной поэзии того времени. Его стихи напоминают музыкальную пластинку, когда игла проигрывателя застревает на одном месте. Образы меняются, но поэтическое измерение остается прежним.

Тейлор был единственным из друзей Бокера, который знал, что последний написал цикл из 313 любовных сонетов, возможно предназначенных для публикации, но так и не изданных при жизни автора. Вместе с пятьюдесятью восемью другими, напечатанными в книге «Пьесы и стихи, II» (1856), первые 282 из этого цикла отражают продолжительный и страстный роман со «златокудрой красавицей, хорошо известной в его родном городе». Остальные сонеты были вдохновлены двумя последовавшими любовными историями.

Подобно тому как злая судьба побуждала Бокера писать елизаветинские драмы во времена, предельно далекие от елизаветинских нравов, его любовные сонеты были обречены на сравнение с шекспировскими циклами. Бокеровские вариации режут слух. К тому же викторианское отношение к любви нет-нет да и скажется, еще снижая удовольствие от чтения, хотя, возможно, эти условности со временем будут казаться не более странными, чем причудливые образы Петрарки. Однако при всей их незавершенности и подражательности сонеты Бокера превосходят все написанное поэтами его поколения. В достаточной мере художник, чтобы отделать переживание от средств его выражения, он упорно работал, стремясь достичь совершенства, которого требует форма сонета.

Из поэтов своего поколения Олдрич наиболее ясно понимал предназначение художника. Эмоциональный настрой его стихов может показаться теперь фальшивым, а источники вдохновения — тривиальными, но следует помнить, что все эти банальности его собственного изобретения. В его ранних стихах чувствуется влияние Чаттертона и Китса, Теннисона и Гафиза, как и неизменная преданность Хэррику; и все же Олдрич преодолевал это влияние мастеров, стараясь выработать собственную модель. Он избегал в своих стихах викторианской искусственности, его редко упрекнешь в фарсовых интонациях, которыми грешил

Тейлор, или в сентиментальной вульгарности Стоддарда. Исключение составляла его необыкновенно популярная «Баллада о Беби Белле», история чудесного рождения и добровольной смерти которой лишала покоя, заставляла рыдать, вспоминая родной дом и матерей, широкоплечих завсегдатаев салунов на Западе. Но и то сказать, ни одному из поэтов XIX века нельзя было доверить ребенка.

Хотя форма и предмет поэзии Олдрича традиционны, его интерес к впечатлениям, порождаемым вереницей ясных образов, предваряет более поздний стиль имажистов, школы, возникшей в 10-е годы XX века. Потому ли, что он находил недостойным писать в стихах о собственных чувствах, или потому, что его редко что-либо трогало достаточно глубоко, но Олдрич работал как имажисты, не затрагивая глубины. Даже когда читатель подзревает, что выраженное настроение личное, оно все равно замаскировано персидским, итальянским или каким-нибудь еще средневековым псевдонимом.

С самых первых шагов Олдрич непреклонно готовил себя к тому, чтобы стать поэтом Идеала. Стихи, вошедшие в его первый сборник «Колокола» (1855), как бы взрываются и замирают в порывах экстатического чувства. Позднее Олдрич ничего не переиздавал из этой книги. Из следующей «Пути истинной любви никогда не бывают гладкими» (1858), изысканной истории Калифа, позволившего Джафару жениться на принцессе Абассе, но запретившему познать ее, он сохранил только несколько наиболее целомудренных строк. С той же безжалостностью он отбрасывал и переписывал стихи из других сборников, пока наконец не создал к 1897 году канонического.

Что осталось от поэзии Олдрича сегодня, когда время осуществило свой отсев — вдобавок к его собственному? Не пейзажные стихи и идиллии, столь ценимые в его время. И не стихи на общественные темы, восхищавшие его друзей: «Пепита» и «В ателье» кажутся нынешнему постфрейдовскому поколению скорее хитроумными, нежели дерзкими. Осталось множество лирических стихов того типа, который поэт особенно стремился донести до совершенства, четверостиший, называемых им «Сносками»:

Четырехстрочный эпос можно спрятать  
В бутоне розы.

Следует упомянуть и три элегические поэмы о жертвах Гражданской войны: «Декабрь», «Весна в Новой Англии» и «На Потомаке». Олдрич полагал, что злободневная поэзия не стоит особых усилий, ибо она не переживет свое время!

Показательно, что большинство высказываний Олдрича о современной ему поэзии имеет обличительный характер. Став редактором «Атлантик» (1881), он писал Стедмену: «Наши старые певцы уже почти утратили голос, а новых так мало! Мое

ухо не уловило ни единой новой ноты начиная с 1860 года». К 1900 году он совершенно разочаровался в искусстве. Мода на диалектную поэзию и особенно энтузиазм, вызываемый «омерзительными» стихами Киплинга («злобная маленькая бестия»), совершенно развратили, по его мнению, все литературные вкусы. Потребность в посредственном породила в Америке литературу и искусство рэгтайма. А хуже всего было то, что тьма реализма уже почти целиком покрыла землю, и те, кто еще хранил верность Красоте, оставались поэтами сумерек, в одиночку нащупывающими свой путь:

Движенье золаистов овладело  
И нами — как дыхание чумы  
И смрад трущоб. Мы пишем очевидность,  
Ее неизъяснимости лишив,  
И тем творим банального кумира.

## 5

Несмотря на мрачное отношение Олдрича к современной ему поэзии, читателям и критикам тех лет нравились и его собственная «Великолепная книга монаха Джерома», и «Безупречный: принц» Стедмена, и «Книга Востока» Стоддарда, и «Легенды и стихи» Хейна; они находили в их творчестве благородство и возвышенность чувств. Но еретики из их собственной среды, например Элизабет Стоддард, или Питон, как они ее называли, сумели разглядеть пустоту за риторическим изяществом их стихов. Бокер вспоминает встречу в июле 1874 года, когда Лиззи выпалила ему в лицо ужасную правду: «Джордж, ты сам, Дик, Бэйард, Олдрич, Рид, все вы, молодежь, совершенно не удались как поэты. Не времени вам не хватило... — поэтического дара».

Однако ситуация была сложнее, нежели это ей представлялось, хотя она была женщина умная. Из сказанного в этой главе явствует, что «банда» строго придерживалась определенных стандартов, которые ограничивали их творчество в кругу одной лишь «идеальной» поэзии. Они не подозревали, что подобный литературный аскетизм совершенно лишил жизненных соков их поэтическое воображение и оторвал от современного мира. Их так возмущали поэты-реалисты вроде Брет Гарта и Райли, что они и в себе подавляли любые склонности подобного рода. От классических тем они устали. Будучи гуманистами и горожанами, они мало вдохновляющего находили в природе. Не удивительно, что Стедмен, говоря в своем письме к Уинтеру (1873) о разочарованиях своего литературного поколения, завершает его следующим образом: «Можешь не сомневаться, что любая неудача, с которой людям, тебе подобным, пришлось столкнуться, происходит из *единственной* трудности нашей литературной жизни — нужды в *темах*, соответствующих *нашим* вкусам и устремлениям».

Застывшие в своей убежденности, будто только традиционные поэтические формы могут воплотить те немногие темы, которые они считали достойными воплощения, они почти не проявляли интереса к экспериментам в области свободного стиха, осуществлявшимся тогда Арнольдом, Уитменом, Эмили Дикинсон и Стивенем Крейном. Почтение к великим мастерам заставляло их презирать моду на баллады и пасторали, как и преданность форме ради формы, которую эта мода поощряла. Все они, за исключением Бокера, отрекались от романтических интроспекции своей ранней поэтической юности, предпочитая, по словам Стоддарда, «объективное созидание субъективным размышлениям в стихотворной форме».

Увлекаемое этим неприятием глубже и глубже, в темные аллеи безысходности, их творчество утрачивало масштабность, пока наконец стихи их не превратились в грезы наяву. Вежливого читателя, в глазах которого поэзия была занятием, нуждающимся в поддержке, подобные грезы удовлетворяли. Для серьезных людей, раздираемых противоречиями времени, а также для не склонных к рефлексии, для тех, кого увлекали перспективы, открываемые наукой и материальным прогрессом, который обещали двигатель Корлисса и динамо-машина, — для таких людей их стихи были, по словам Лэнира, всего лишь «пустячным джентльменским рифмоплетством».



## 51. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПИЛИГРИМОВ

### 1

Историки немало написали о влиянии идеи Запада на американское сознание и воображение, но они упустили из виду другую, не менее мощную силу, оказывавшую формирующее воздействие во второй половине XIX века, силу, которая, между прочим, способствовала распространению владычества «защитников Идеального» в области поэзии и критики. Именно в это время американцы открыли Европу, и результаты этого открытия имели значение для культуры не меньшее, нежели открытие Запада.

Во всевозрастающем числе путешественники возвращались на родину, чтобы рассказать о том, что они увидели и почувствовали в Старом Свете. Так возникла блестящая литература путешествий, а также совершенно новый тип прозы — «международный роман». В конечном итоге именно исход в Европу породил сдвиг во взглядах образованных жителей восточного побережья, сдвиг, имевший своим результатом переход от шовинизма 40-х годов к космополитизму начала XX века.

Причины великого исхода очевидны. У людей, конечно, появилось больше денег и свободного времени, которые они могли тратить на путешествия. После того как «Грейт Вестерн», это чудо века, совершил в 1838 году свой первый рейс, препоны Атлантики превратились в удовольствие даже для больных, отправлявшихся лечиться на европейские минеральные воды. Революции 1848 года звали патриотически настроенных американцев в Италию и Францию, где они готовы были способствовать утверждению республиканского строя в монархической Европе. И хотя их надежды не осуществились, либералы продолжали путешествовать, чтобы понять, почему революция не состоялась. Европейские страны изощрялись, заманивая американских туристов, предлагая им различные увеселения вроде Большой выставки 1851 года в Кристэл пэлэс и парижских выставок 1855 и 1867 годов.

Но сильнее любых доводов действовали книги, написанные первым поколением путешественников. «Книга эскизов» (1819) и «Брейсбридж-холл» (1822) Ирвинга, пусть изображали Англию, в действительности не существующую, побуждали его со-

отечественников отправляться на поиски ее. «Путевые заметки» (1844) Н. П. Уиллиса — избранные письма путешественника, которые публиковались в нью-йоркской «Миррор», — настолько понравились подписчикам пяти сотен американских газет, что те перепечатали отрывки из них. «Гиперион» (1839) Лонгфелло, «Завоевание Гранады» (1829) Ирвинга и другие, скорее фактографические, но не менее популярные книги, такие, как «Дневник путешествия в Англию, Голландию и Шотландию» (1810) Салливэна, вдохновили тысячи американцев на паломничество к европейским святыням, столь красочно описанным этими путешественниками-пионерами. Однако во времена Ирвинга и Уиллиса случайный турист, оказавшийся за границей, чтобы получить как можно больше впечатлений в кратчайший срок, был исключением. После 1850 года он стал правилом.

## 2

Едва ли не каждый американец, отправлявшийся в Европу в 50-е годы, ощущал значительность своего начинания. Он нередко сетовал на то, что приходится оставлять родные края, зная, что соотечественники опасались, будто дух американизма может быть подорван во время заграничного путешествия. Конечно, можно наслаждаться Европой, но истинный американец должен быть начеку. Скажем, У. У. Стори, один из ранних экспатриантов, в качестве искупления за свое непомерное увлечение Италией, зиму 1849/50 года провел в Берлине, который из всех европейских городов казался наиболее близким Бостону. Таким образом, Стори, по словам Генри Джеймса, еще не сжег корабли: «ему надо было преодолеть себя... но одновременно — дабы сохранить, не говоря о нем вслух, хорошее самочувствие — уберечь себя от этого преодоления». Лишь немногие из апологетов обладали столь философическим складом ума, какой обнаружил С. А. Бартол в своей книге «Картины Европы в рамках идей», которая представляет собой скорее трансценденталистский трактат по теории путешествий, нежели книгу о путешествии в Европе, но неизменно в каком-то месте рассказа любой путешественник прежних лет находил нужным заверить читателя, что он вернулся домой, сохранив дух американизма в целостности.

В Европе многое отталкивало: влияние католической церкви, нищенство, безразличие социальной верхушки Англии к общественным реформам, позорная система землевладения в католических государствах, распущенность нравов в Париже и Флоренции, отсутствие духа преобразований. Иные путешественники-патриоты были столь возмущены увиденным, что почитали своим долгом выступить с обвинением против Европы. Джулия Уорд Хоу, к примеру, находила, что даже изучение

искусств вряд ли могло оправдать длительное пребывание за границей. «Прометей в наши дни потребен скорее для оживления статуй, нежели для их создания».

Профессиональные юмористы предостерегали соотечественников, опасаясь, как бы они не утратили американский здравый смысл среди античных руин и не превратились в монархистов либо эстетов. Почитатели Артимеса Уорда, Петролеума В. Нэсби, Саманты Аллен, Дж. М. Бейли и Данна Брауна (сотрудника спрингфилдского журнала «Рипабликэн») охотно внимали обвинениям, которые выдвигали против Европы эти сто процентные американцы. К сожалению, рассчитанная прямота юмористов редко проявляет себя иначе как в презрительном комментарии к отбитым косам мраморных статуй либо в сдержанной насмешке над английской королевской семьей. В целом их книги не крепче молока — потому, быть может, что английские издания приносили авторам немалый доход. В двух-трех из них, например у Локка в книге «Нэсби в изгнании» (1882), содержатся тонкие замечания об английском быте и нравах, но действительно выдающимся произведением в этом жанре было лишь «Простак за границей» Марка Твена.

Когда поражение европейских революций середины века заставило американцев усомниться в том, что демократии обеспечен всемирный триумф, а также после того, как наша собственная Гражданская война поумерила их шовинизм, они уже охотнее внимали уверениям вроде тех, что содержались в «Путешествии по Европе» (1860) Э. С. Бенедикта; автор убеждал соотечественников поверить, что знакомство со Старым Светом «может быть очень полезным для нашего национального характера... оно выпустит немного газа из воздушного шара нашего самодовольства и уменьшит наше непомерное тщеславие». Читатели «Шести месяцев в Италии» (1853) Дж. С. Хилларда, книги, наиболее популярной в круге литературы путешествий, решили в конечном счете внять его совету: забыть о прогрессе и «научиться смотреть на церковников и на церковные обряды, как на карнавал».

Постепенное развитие эстетических вкусов американцев в продолжение этих лет представляет собой любопытное зрелище. Их знакомство с европейским искусством ограничивалось графикой, гравюрами, дурными копиями с картин Рафаэля и Гвидо и гипсовыми надгробьями в музеях древних захоронений. Рескин научил их восхищаться готикой и презирать высокий Ренессанс. Иные спорили о том, не оказывает ли интерес к эстетическим предметам расслабляющее воздействие. А оказавшись в Уфицци перед обнаженной Венерой Трибунской, при том, что из противоположного конца зала на них смотрела изображенная на полотне Тициана ее еще более бесстыдная сестра, приезжий начинал испытывать муки совести. Этот зал, по словам одного туриста, следовало назвать публичным будуаром.

Никто в Америке не сделал для распространения художественных знаний больше, чем Джеймс Джексон Джарвис, путешественник, объездивший весь свет, редактор первой газеты в Гонолулу, художественный критик, знаток и собиратель картин. Джарвиса помнят ныне потому, что, обнищав, он вынужден был в 1871 году уступить Йельскому университету свою великолепную коллекцию итальянских примитивистов; однако его следовало бы знать и как автора четырех замечательных книг о путешествиях в Европу (о них пойдет речь ниже): «Путеводителя по живописи» (1855) и трех других новаторских работ этого же рода, отличающихся остротой взгляда. Все эти книги преследовали цель, как автор о том открыто заявлял, убедить американцев, что их предрассудки по части морали и быта мешали им разглядеть в Европе то, за чем они туда ездили.

Такой же независимостью отличались эстетические взгляды и суждения Хорэса Бинни Уоллеса, искусствоведа-любителя из Филадельфии, чья книга «Европейская живопись, декоративное искусство и философия» была издана в 1865 году посмертно. Одним из первых выдвинувший теорию функциональной архитектуры, Уоллес развивает в одном из лучших эссе своей книги, «Законы развития готической архитектуры», идеи, которые далеко опередили свое время. В другой главе он с удивительной наглядностью пишет об эстетическом эффекте, производимом европейскими соборами, — что можно оценить по достоинству, лишь зная, как твердо он отстаивал принципы функционализма в архитектуре.

Небезынтересно проследить и перемены, совершившиеся в эстетических воззрениях некоторых более известных американцев. Во всех своих трех книгах путевых заметок Эдвард Эверетт Хейл обнаруживает поразительную откровенность. Разделяя обычную приверженность готическому искусству, он, следуя путем анализа и размышлений, вернулся назад и научился ценить примитивизм в живописи, а также искусство Рима и Византии. В годы пребывания в Италии Готорн упорно стремился понять европейскую живопись, хотя часто она его утомляла и даже вызывала отвращение. Вновь и вновь возвращался он к иным картинам и скульптурам, пытаясь отыскать в них — нет, не то, что, по словам его друга, скульптора Пауэрса, должно быть найдено, а то, что он мог бы ощутить сам. Из его «Итальянских записных книжек» видно, что он «продвигался» с каждым днем. Его настойчивость принесла плоды в «Мраморном фавне», целые страницы которого представляют переложение — в формах, необходимых для прозаического повествования, — «Записных книжек».

Право, эти любители нередко возвращались домой, обогащенные большим пониманием, нежели ученые и критики, в чью профессиональную задачу входила интерпретация европейской

цивилизации. Вот, например, Чарльз Элиот Нортон: гарвардский профессор истории искусств между 1875 и 1898 годами, он неизменно обнаруживал странную американскую ограниченность. Принимая во внимание, что Нортон был другом к учеником Рескина, основателем Американского археологического института, Школы изучения классических искусств в Риме и «Американского археологического журнала», можно было ожидать от него понимания и сочувственного отношения к самым разнообразным школам живописи и архитектурным стилям. Однако же мало кто из американских путешественников в Европе обнаруживал такую узость взглядов. Всю жизнь его не оставляла ненависть к католическим институтам; он писал как-то Лоуэллу, что, пожалуй, с удовольствием бы поджарил на костре францисканца и, подвернись случай, с неменьшим удовольствием прикончил бы в темноте кардинала. Эта ненависть неизменно оказывала влияние на его эстетические суждения. Со страстью, достойной члена Общества обскурантов (чьи принципы он одобрял), он в своих ранних «Заметках о путешествии и научных занятиях в Италии» (1860) высказывает отвращение к римской церкви и позволяет этому чувству сказываться в своих эстетических оценках.

### 3

Трудно назвать профессионального писателя того времени, который бы не поделился с публикой своими европейскими впечатлениями. Грейс Гринвуд (Сара Джейн Липпинкот) в своих «Превратностях путешествия в Европу» (1865) делилась с теми читателями, для которых она была арбитром в вопросах чувств, пространными размышлениями, навеянными знаменитыми картинами или историческими эпизодами. Миссис Стоу, прославившаяся своей «Хижинкой дяди Тома», описала в «Солнечных воспоминаниях о чужбине» (1854) свое незабываемое знакомство с картинными галереями Англии и континентальных стран. Судьба Бэйарда Тейлора была решена после того, как его «Заметки путника» (1846), наивно-восторженные впечатления двадцатилетнего юноши, завоевали всю нацию. На протяжении ближайших десяти лет книга выдержала двадцать изданий. До пятидесяти лет Тейлору предстояло путешествовать по свету в качестве профессионального весовщика и оценщика культуры для своих соотечественников. С каждым годом он прокладывал себе пути все в новые края — Африка, Малая Азия, Индия, Япония, Скандинавия, Исландия. «Я отправляюсь в эти странствия, — писал он, — помимо собственной воли; такова, должно быть, моя судьба».

Профессиональные писатели, лишённые, однако, развитого поэтического воображения, вскоре выработали нечто вроде шаблонного жанра путевых заметок. Автору следует начать с

описания тех сильных чувств, которые вызывает само путешествие через океан, и посвятить по крайней мере часть главы глубокому волнению, которое охватывает путешественника, наконец-то вступившего на чужую землю. Начиная с этого момента необходимо перемежать описания архитектуры и пейзажа с заметками о филантропии, затем умело вставить краткие исторические сведения, почерпнутые из справочников Мэррея, не забыв при случае оживить повествование каким-нибудь чувствительным эпизодом либо красноречивым пассажем. Если очерк или книга нуждается в небольшом отступлении, всегда можно вспомнить какую-нибудь старую легенду либо описать опасности перехода через Альпы.

В скором времени появятся интересные отклонения от стандарта, но в 50—60-е годы читатель удовлетворялся вариациями на тему. Ему было совершенно все равно, что он прочитал уже сорок описаний святых мест — могилы Шекспира, деревни, где жил Бернс, замка Уорика, лондонского Тауэра, долины Шамони и римской Кампаньи. Он с наслаждением выслушивал новые версии, предлагаемые ему Эдвардом Эвереттом Хейлом или Элен Хант Джексоном.

В 60-е годы этот по преимуществу сентиментальный подход начинает уступать место книгам, содержащим в основном информацию и наставления. Туристы всегда спешат, и им нужно знать, как увидеть все, не тратя времени на бесцельные посещения. В ряду книг, построенных таким образом, наиболее полезными путешественники находили «Советы на полгода жизни в Европе» (1869) Дж. Х. Б. Латроба и книгу С. С. Фултона «Европа, увиденная сквозь стекла американских очков» (1874), в которой, помимо 310 страниц двухколонного текста, где излагались факты, было приложение «Советы туристам, отправляющимся в Европу».

Вскоре путешественники более искушенные начали избегать мест, где их размышления могли быть нарушены вторжением толпы туристов, которым предназначались подобные книги, и стремились ускользнуть в облюбованные уголки, неоскверненные публикой. Еще в 1852 году У. У. Стори жаловался Лоуэллу: «Нам приходится выбирать нехоженые тропы, которые англичане еще не успели засорить, и идти к самым девственным местам Аbruццо, возможно в Сорю». Юджин Бенсон, чья «Искусство и природа Италии» (1882) была подобна черной икре для гурманов, отправился в Феррару не ради Тассо и Лукреции Борджиа, привлекавших вульгарную толпу, но за тем, чтобы отыскать полотно безвестного художника по имени Скарчинелло. Конечно же, не стоило выдавать такой секрет. Генри Джеймс хорошо знал, что всегда происходило в таких случаях. Рецензируя в 1903 году «Волломброзу» (1881) У. У. Стори, он жаловался, что густым чащам Этрурии, удивительную красоту которых Стори опрометчиво сделал достоянием

публики, предстоит стать в результате жертвой «набегов и разорения со стороны предприимчивых людей, ищущих доступа, но не общения; знакомства, но не знания».

Эти книги, раскрывавшие потаенные красоты тех или иных краев, достаточно многочисленны, чтобы заполнить отдельную полку сочинений в жанре путевых заметок, однако их высокие авторы создали и другой тип книги. Речь идет о развернутом исследовании какого-либо города, уже неоднократно описанного, но описанного, во-первых, не столь подробно, а во-вторых, не таким заинтересованным и ученым наблюдателем. У. У. Стори, к примеру, знал Рим как мало кто из американцев, и в Италии, а особенно в Риме, он нашел противоядие грубости всего остального мира. Не удивительно поэтому, что иные из глав его «*Roba di Roma*»<sup>1</sup> (1862) — о «*villigiatura*»<sup>2</sup>, об играх, церемониях и праздниках — остались непревзойденными.

У одной из книг этого типа «*Ave Roma immortalis*»<sup>3</sup> (1898) Ф. Мэриона Кроуфорда есть некая особенность, которая делает ее почти великой. Сын Томаса Кроуфорда, скульптора, обучавшегося в Италии, принявшего католичество и ставшего после 1883 года итальянским гражданином, Кроуфорд-младший во всех отношениях был готов к тому, чтобы написать превосходную книгу о Риме. Достоверная, легко написанная, умело построенная, отличающаяся в нужных местах возвышенной риторикой, его «*Ave Roma*»... основывалась на такой полноте впечатлений, которая была недоступна множеству неопитов. Рим Кроуфорда — это не Рим Гарибальди или Пио Ноно, но его описания воплощают идеал, к которому тщетно стремились многие писатели, завороженные красотой и таинственностью этого города. Наконец-то слава четырнадцати «областей» и величие собора святого Петра нашли адекватное словесное воплощение.

До конца столетия авторы путевых заметок выработали еще один тип сочинений, предназначенных для туристов, искавших отдохновения в Европе. Слишком утонченные, чтобы праздно проводить время в Голубом гроте на Капри и в гейдльбергском замке, и слишком много путешествовавшие, чтобы нуждаться в советах и помощи, они отправлялись в Европу в поисках необычного. Их очаровало «Путешествие с ослом в Кевенну» (1879) Стивенсона, и это для них братья Пеннелы сочиняли свои иллюстрированные серии «паломничеств», начиная с «Паломничества в Кентерберии» (1885). В своем «Путешествии в гондоле» (1897) Ф. Хопкинсон Смит описал настроения этих путешественников более поздних времен.

---

<sup>1</sup> «Римская одежда» (*итал.*).

<sup>2</sup> Деревушка (*итал.*).

<sup>3</sup> Да здравствует бессмертный Рим! (*итал.*).

«В этот век самодовольства, материализма и накопительства приятно хоть день прожить... в городе, чьи древние реликвии служат нам уроком на будущее; каждое полотно, каждый камень, бронзовое изваяние свидетельствуют тут о величии, великолепии и вкусе, для совершенствования которых потребовалась тысяча лет, и еще тысяча лет забвения минет перед тем, как все это придет в упадок».

Все, что отталкивало в Европе первое поколение путешественников — коррупция церкви, феодальные пережитки, разврат, праздность, — все это теперь растворилось в горячем энтузиазме приятя. Смит, увидев в Венеции покосившиеся двери домов, испытал чувство признательности к духам тления и распада. По его словам, они воистину «стоят на страже красоты».

#### 4

Среди сотен американцев, которые вели путевые заметки, по крайней мере дюжина пыталась дать теоретическое обоснование своим наблюдениям, придать им определенный характер и форму. В своих «Страничках из дневника путешествия в Италию и другие края» Лоуэлл пространно описал тип современных ему путешественников. Они не видят ничего, что выходит за пределы их зрения, они скептики и материалисты, предназначенные свои описания другим скептикам, чтобы утвердить последних в их сомнениях. С каждым очередным шагом нынешнего туриста «наше наследие прекрасно сокращается», и с каждым годом «мир все более утрачивает свое таинственное очарование». Собственные путевые заметки Лоуэлл писал в соперничестве с разведчиками былых времен, в чьих глазах мир оставался волшебным рогом изобилия.

Юный Джордж Уильям Кертис, возвращаясь в 1850 году из-за границы, стремился в своих «Записках Ховаджи о путешествии по Нилу» (1851) восстановить в сознании читателей — а вскоре их у него стало множество — «глубоко чувственный, томный и наслаждающийся этой чувственностью дух жизни на Востоке». Никто еще, говорил он, не предпринимал такой попытки. Он осуществил свое намерение столь успешно, что семья его была буквально шокирована — особенно пылким описанием восточной танцовщицы, чей стиль «восходит к Саломее». Дух этой книги, писал Кертис своему расстроенному отцу, именно «таков, каким я хотел его воссоздать. Ни за что не согласился бы я смягчить его, ибо стремился к противоположному».

Некоторые писатели более позднего времени, не желая ограничивать свою задачу составлением справочников, в которых информационные сведения перемежаются красочными описаниями, бросали вызов своим читателям. В «Кастильских днях» (1871) Джон Хэй иронически предуведомляет, что он не



принадлежит к «той весьма достойной категории путешественников, которые ощущают нечто вроде морального долга, не позволяющего им пропустить ни единого памятника старины, находящегося в пределах досягаемости». Чарльз Дадли Уорнер в «Прогулках» (1872), первом из принадлежащих ему десяти томов путевых заметок, предлагает своей аудитории в качестве компромисса «отправиться куда-либо, но ничего не узнать об этом». Томас Бейли Олдрич в книге «От Понкапога до Песта» (1883) жалуется на другого рода ограничения, накладываемые на автора путевых заметок. В отличие от Хэя и Уорнера его не смущает необходимость давать информацию, но он отвергает иную условность, согласно которой автор может быть «эстетичен или историчен, аналитичен или дидактичен или что угодно, но только не энтузиастичен».

Впрочем, Олдричу была куда более свойственна ностальгия, нежели энтузиазм; в то же время его строки отмечены особым качеством. Частично они составляют в юмористические картинки, изображающие самого автора в виде провинциала-американца, которому Европа внушает благоговение, а не страх; а частично — в признание того беспокойного порыва, который всегда испытывает путешественник-американец, — стремление удержать Европу, отсрочить миг рассеянья чар, привезти с собой домой — в виде ли цветных фотографий, выпускаемых синьором Алинари, в записниках ли памяти — частицу жизни и красоты Старого Света.

Поскольку эти авторы заботились о форме передачи своих впечатлений, поскольку стремились занять читателя своими открытиями, путевые заметки Лоуэлла, Кертиса, Хэя, Уорнера и Олдрича сохранили свое значение и поныне. Но они не могут соперничать с дневниками Эмерсона, Готорна, Джарвиса, Твена, Хоуэллса, Дефореста и Генри Джеймса. И это не объяснишь тем только, что последние обладали большим литературным даром. Дело в том, что они более последовательно стремились отыскать твердый ответ на вопрос, который до известной степени волновал всех путешествующих американцев: что мне, как американцу, делать с Европой?

Первым из этих дневников как по времени, так и по абсолютной ценности были «Черты английской жизни» (1856) Эмерсона. Писалась книга трудно и появилась лишь десять лет спустя после его второй поездки в Англию. Озабоченный тем, чтобы сделать ее и глубокой, и точной, он попросил молодого Клоу пожить с ним два-три месяца в Конкорде, дабы тот «ответил на ряд вопросов, касающихся деталей английской жизни, прошелся по моим заметкам об этой стране и вымел из них всю чепуху». План осуществить не удалось, но Эмерсон положил необыкновенные усилия на создание этой книги, и она камнем лежала на его совести, пока наконец первая глава ее не была отправлена в типографию в октябре 1855 года.

Первый тираж — 3000 экземпляров — разошелся быстро, и уже через месяц понадобилось новое издание — тиражом 2000 экземпляров. Соотечественники Эмерсона почувствовали, что наконец-то появился достойный ответ английским путешественникам, подвергавшим в течение полувека насмешкам молодую американскую цивилизацию. Либеральная английская пресса уделила книге серьезное внимание, а консервативные журналы просто отмахнулись, игнорируя ее появление.

«Черты английской жизни» представляют собой не столько путевые заметки в обычном смысле этого понятия, сколько эссе на темы культурной антропологии применительно ко времени, когда эта дисциплина не получила еще своего наименования. Лишь образованный человек вроде Эмерсона, улавливающий взаимодействие между идеями и государственными институтами, мог верно оценить пороки и достижения цивилизации, ему чуждой. Ему почти нечего сказать об английской архитектуре и пейзажах, зато многое — об английском характере. Он вовсе не вызывал у него восхищения, и, хотя, по мнению Ричарда Гарнетта, в книге не ощущается насмешки, она исполнена незаурядной иронии. На взгляд Эмерсона, Англии не хватало того, что отличает высокоразвитые цивилизации, — духовности, все же английская цивилизация состоялась, и он хотел понять почему. Свои предположения он высказывает в первом абзаце главы «Результат»:

«Англия — лучшая из существующих ныне наций. Она не обладает идеальным общественным строем, она представляет собой гигантское здание, этажи которого строились в разное время, которое ремонтировалось, надстраивалось, расширялось за счет временных помещений, но это — лучшее из того худого, чем мы располагаем. Лондон — миниатюрное изображение нашего времени, сегодняшний Рим».

Факт, столь существенный для XIX века, нуждается в объяснении, и Эмерсон ищет их в главах о земле, расе, способностях, нравах, истине, характере, богатстве, размышляет о влиянии, оказываемом аристократией, университетами, англиканской церковью и газетой «Таймс».

Замечательная особенность этой книги заключается в том, что выводы ее во многом сохранили свою силу и для сегодняшнего дня, чем мы равно обязаны и проницательности Эмерсона, и неизменным характерным особенностям английского народа. Страницу за страницей можно перепечатывать как отчет современного наблюдателя. Те, кто восхищались единством и мужеством англичан, выказанным в отчаянные ночи 1940 года, поймут, что имел в виду Эмерсон, говоря: «В политике и в войне они льнут друг к другу, будто насаженные на один стальной стержень». Хотя утверждение, будто «англичанин готов признать себя продуктом политической экономии», в наши дни по сравнению с 50-ми годами прошлого века во многом утратило

силу, противников Англии, как это было отмечено еще Эмерсоном, до сих пор раздражает тот факт, что англичанам удается сочетать успех с честностью. А то, что он говорил об отношениях Англии с другими странами, особенно с теми, что находились под ее владычеством, и теперь не нуждается в коррективах:

«Они растворяют в себе другие расы, но сами не растворяются... Английское управление колониями не отличается великодушием. Англичане правят, используя свое искусство и свою силу; они более справедливы, нежели добры; и, когда власть их ослабевает, они уже не могут найти иного источника опоры».

Таковы уж их искусство и практическая хватка, что им удается удержать все завоеванное. Но ни одно из этих суждений не объясняет столь же глубоко сбалансированный характер английской цивилизации, как заключение к главе «Литература». Англия, говорит Эмерсон, разделена на две нации — не на норманнов и саксов, не на кельтов и готов, но на мыслящий класс и класс практиков-финансистов. Два эти класса «постоянно уравнивают друг друга, находятся в постоянном взаимодействии: один остается в безнадежном меньшинстве, другой — объединяет гигантские массы; один изучает, размышляет, экспериментирует, другой — напоминает неблагодарного ученика, презирующего источник знания, однако использующий его ради собственного процветания; эти две нации — гений и животная сила — пусть первая образована лишь десятком душ, а вторая состоит из двадцати миллионов, — эти две нации, непрестанно враждующие и сотрудничающие меж собой, и составляют мощь английского государства».

В то время как Эмерсон трудился над «Чертами английской жизни», Готорн, его конкордский сосед, служивший тогда нашим консулом в Ливерпуле, вел дневник своих впечатлений, выросший в конце концов до 330 тысяч слов. Опыт этих лет (1853—1857) оказал на него глубокое влияние. Если бы позволило здоровье, он воплотил бы этот опыт в романе. Собственно, с этой целью он и вел свои «Английские дневники» (полностью они были опубликованы в 1941 году). В двух неудачных романах, «Тайна доктора Гримшо» и «Следы предков», он и попытался как раз развернуть сюжет, в центре которого было символическое возвращение в Англию американца, чьи предки решительно порвали связи с родиной в кромвелевские времена. К счастью, Готорн успел, до того как творческие силы его иссякли, претворить наиболее интересные места из «Дневников» в прозе «Нашего старого дома» (1863).

Тот, кто имеет представление о душевном состоянии Готорна в последние годы его жизни, о терзавших его мрачных предчувствиях Гражданской войны в Америке, о его упорных попытках найти родину в Англии, о его убежденности, будто

Англия и Америка могут взаимно дополнять друг друга — одна заполняет бреши другой, — знает, что эта убежденность, как и в случае с Эмерсоном, обернулась мыслью о непримиримости двух цивилизаций, о том, что будущее принадлежит Америке; тому, кто увидит, как эти и иные близкие проблемы вновь и вновь возникают на страницах «Нашего старого дома», книга покажется наиболее трогательной автобиографической историей из тех, что когда-либо были написаны путешественниками.

Ее лучшие главы трактуют о темах, тесно связанных с одним коренным вопросом: как американцу наладить отношения с Европой? В главе о курорте Лимингтон эта тема звучит с наибольшей силой. Маленький курортный городок, бесспорно, привлекал его потому, что «круглый год оставался домом для бездомных», хотя никто не строил себе тут жилища, в котором можно было бы растить детей. От этой темы Готорн переходит к взволнованным попыткам показать влияние, оказываемое седой стариной, на нынешние времена; затем — к теме иллюзий, всегда испытываемых американцами в Англии, будто они прежде уже бывали здесь: результат воспоминаний, отпечатавшихся в сознании отдаленных предков и затем с убывающей силой наследуемых новыми поколениями и воспринимаемых наконец потомком, возвращающимся в наш старый дом.

## 5

Как автор путевых заметок Джеймс Джексон Джарвис напоминает Эмерсона по крайней мере в одном отношении: оба стремились описывать лишь те детали, которые отражают общие проблемы. Именно потому, что случайно или закономерно Джарвису обычно удавалось в своих книгах об Италии и Франции дойти до сути дела, именно поэтому современный читатель, открыв их, оценит значительность и богатство авторских наблюдений над парижской, флорентийской, римской жизнью, которыми буквально насыщены страницы этих книг. Все четыре его тома представляют собой ценные «документы».

«Парижские виды и французские принципы, увиденные сквозь американские очки» (1852), проводят нас на манер ранних путевых заметок по привычному туристскому маршруту — улица Морг, Пер-Лашез, Мадлен; в то же время Джарвис выказывает остроту и независимость суждений, что делает его книги наиболее любопытными из тех, о которых идет сейчас речь. Он любит начинать главу с определения идеи, нередко воплощенной в облике какого-либо знаменитого здания либо в типе парижанина, а затем описывает церемонию, процесс, учреждение или общественный класс, относительно которых делаются обобщения. Порой эти обобщения утопают в деталях, однако читатель от этого ничего не теряет, ибо ему предоставляется возможность увидеть Париж, каким он был в 1852

году — оправляющимся после государственного переворота, в результате которого Луи Наполеон уничтожил Вторую республику, ликующим и веселящимся на своих новых бульварах, убогим на своих чердаках и в бараках. Джарвис уже начал свободно рассуждать о предметах, намеков на которые мы находим в заметках ранних путешественников. Как, интересно знать, относились в семейном кругу к главе седьмой — «Кое-что любопытное для моралистов», — откровенному рассказу о проституции в Париже и о французском кодексе внебрачного поведения? Во второй серии «Парижских видов» (1855) автор выказывает еще большую склонность заглядывать в сомнительные кварталы и уголки, остающиеся обычно в стороне от туристических маршрутов.

В «Итальянских видах и папских принципах, увиденных сквозь американские очки» (1856) Джарвис вновь оказался вынужденным рассказывать об обычных туристских достопримечательностях. Но во время прогулок ему удалось увидеть настолько больше, нежели любому из его современников, что читательский интерес не ослабевал ни на минуту. Его несравненная глава о Помпее — превосходный образец исторической литературы. Погружаясь в предмет, Джарвис обнаруживает все большую склонность к размышлению. Мало кто из американцев может, например, похвастать столь плодотворными раздумьями о сравнительном воздействии католической и протестантской религий на общественные системы, в которых каждая из них играла соответственно ведущую роль. Он высмеял смешной ритуал страстной недели в Риме; в то же время он не был слепым шовинистом и, как всегда, рассказывал своим соотечественникам о том, что было достойно их внимания. В этой ранней книге, так же как и в позднее появившихся и отличающихся большей зрелостью «Итальянских прогулках» (1883), он предостерегал против увлечения фальшью и мишурой и побуждал у читателей стремление вернуться домой с решимостью построить цивилизацию, в которой художник мог бы полно и свободно осуществить свою функцию.

«Простак за границей» (1869) Марка Твена были в свое время наиболее знаменитой американской книгой в жанре путевых заметок. В конце концов его соотечественники, которых столь долго водили за нос авторы сентиментальных справочников, должны были узнать правду об обманчивой жизни Старого Света. Автор убедил их, что картины, которыми они не уставали восхищаться, покрылись столь густым слоем пыли, что смысл их не поддается расшифровке и что рыцарские истории были на самом деле летописью жестокости и скаредности. Иные из его выпадов были рассчитаны точно, но большинство из них объяснялось глубоким недоверием к Европе. Успеха Европе не добиться никогда, а Италии — и подавно, ибо она,

являет собой «сердце и родину упадка, нищеты, лености и неизбывной самодовольной никчемности».

Все, что Марк Твен увидел во время своего первого путешествия за границу, повлияло на него столь непосредственно, что для ощущения какой-либо исторической или эстетической дистанции не осталось места. Наполеон III, раскланивающийся перед рукоплещущей толпой и выискивающий в ней кошачьим взглядом следы тайных заговоров, был ему не ближе во времени, чем Медичи, заставляющие придворных художников влачить по грязи свою гордость и человеческое достоинство ради куска хлеба. В погребальной атмосфере Венеции мысли о тайных процессах и внезапных убийствах затмевали величие собора святого Марка. Он едва замечал фрески и алтарные росписи, ибо в груди его все еще горела ярость при виде золотых россыпей в *trezor*<sup>1</sup>. В этом сатирическом осмеянии легкого, неамериканского притягательного, что принято считать культурой, мы различаем Марка Твена, уже знакомого по другим книгам: ненавидящего претенциозность, отвергающего все формы тирании, защищающего евреев и иные угнетаемые меньшинства, мягкого по отношению к женщинам, безмерно восхищающегося всем новым и прогрессивным. В этой книге наслаждаешься, скорее всего, тем же, чем и в «Пешком по Европе» (1880), — ее неожиданными вспышками страсти, которым добавляет огня пыл его увлечений. Ради них мы прощаем ему грубость юмора — его склонность к бурлескному изображению древних легенд (здесь мы находим зерно, из которого вырос «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»), его утомительные шуточные обыгрывания идиом иностранных языков, театрализованные сценки комического умствования вроде спектакля в Коллизее, который мог бы поставить какой-нибудь Барнем.

В качестве компенсации за это кощунство мы получаем пассажи, странным образом трогающие душу, ибо Марк не всегда бывал непочтителен. Памятники Греции и Рима (до тех пор пока он не стал местопребыванием святого Петра) могли вдохновлять его на описания, которых никак от него не ожидаешь. Его партизанский ночной визит в Акрополь, тишина улиц Помпеи, которые он заполнил случайными пешеходами накануне их гибели, Дамаск как символ бессмертия — подобные картины и впечатления побуждали его сбрасывать маску забавника.

Главы о новых пилигримах, отправляющихся в священную землю, лучшие в книге, хотя, должно быть, многим прихожанам 70-х годов читать их было больно. То, что происходило во время экскурсии на «Квакер-Сити», апофеоз этого путешествия, было поистине хлебом Марка Твена. Испытывая неловкость при виде собора, он словно был специально создан для того, чтобы высмеять угрюмую настойчивость, с какой его богобоязненные

---

<sup>1</sup> Сокровищница (*фр.*).

соотечественники терпели духоту и рисковали подхватить заразу ради того лишь, чтобы пройти Его путем. Читая эти главы, получаешь нечто большее, чем просто удовольствие. Ни в какой другой книге не обнажена столь откровенно психология современного паломника, его решимость найти пресвитерианские или баптистские палестины, его безжалостное осмеяние тех реликвий библейской Иудеи, которые еще не втоптаны в грязь. Что касается самого Марка, то, встретить он царицу Савскую, отправляющуюся на свидание к Соломону, он сказал бы себе: «Мадам, вы выглядите прекрасно, но ноги у вас немывы, и вы пахнете, как верблюд».

## 6

Вспоминая Уильяма Дина Хоуэллса как летописца социальных перемен в Америке, редактора журнала «Атлантик», новообращенного социалиста, мы склонны забывать, что он был также нашим консулом в Венеции (1861—1865) и что этим опытом были порождены первые его прозаические сочинения — «Жизнь в Венеции» (1866) и «Итальянские путешествия» (1867). Впрочем, эти и другие его книги путешествий — «Тосканские города» (1866) и «Недолгое пребывание в Швейцарии» (1872) — не исчерпывают европейской темы в его творчестве. В молодые годы он был «международным романистом» ничуть не в меньшей степени, чем его друг Генри Джеймс, находя удовольствие в созерцании контрастов между невинной свежестью юных американок и претенциозностью европейцев. Его первый роман «Их свадебное путешествие» (1872) представляет собой скорее путевые заметки, нежели собственно роман, а «Случайное знакомство» (1873) живописует Квебек ярче, нежели героиню книги. Он видел Европу так, как этого можно было ожидать от романиста. Лукканская жизнь прошлых времен, Венеция в годы его жизни в этом городе — вот что его привлекало. Едва начав читать, мы замечаем, сколь часто его зарисовки становятся романной прозой. Глава общины на Капри изображен так ярко, как если бы он был ведущим персонажем романа; описания постоянно перерастают в диалоги. Отрывки из этих путевых очерков почти без изменений переходили в романы. (В XX веке Хоуэллс написал шесть книг путевых очерков.)

Ни один из его современников — писателей-путешественников — не дает нам столь ясного представления о том, что чувствовал человек, оказавшийся в Пизе в 1883 году и в Вене — в 1887. Его интерес к церквам и памятникам ослабевает довольно быстро, и, к нашему удовольствию, он обращается к тому, что средний турист, поглощенный своим справочником, нашел бы тривиальным: трамвайчик с паровым двигателем, спующий по площади Санта Мария Новелла, его святейшество, сморкаю-

щийся во время мессы, гид баптистской церкви в Пизе, который умел завывать столь артистично, что ему приходилось повторять это по двадцать раз на день, дабы ублажить туристов, которые читали о нем в справочниках.

Замечания Хоуэллса об архитектуре и живописи не свободны от предрассудков, но повсюду, где человек воодушевлялся на великие деяния, он тоже готов был пережить чувства возвышенные. «Дома, — писал он, — можно читать историю, но ощутить ее как нечто лично пережитое можно только там, где она осуществлялась». Пробуждение такого чувства, по мысли Хоуэллса, было главной целью путешествий. Генри Джеймс, которому принадлежат превосходные заметки, считал, что задача художника, выступающего в этом жанре, — слить прошлое и настоящее, памятники нестареющей мысли и интересы нынешнего момента. Подобного слияния Хоуэллсу добиться не удалось, и он сам признавал это. В путешествии он находил «сладостную потерянность». Стремясь раствориться в прошлом, мы испытываем вторжение современной скуки. Но если бы мы были менее современны, упала бы наша способность переживаний древней красоты. Объединить эти два мира он не может.

Раздвоение интересов между прошлым и настоящим повсюду ощутимо в его книгах. В «Жизни в Венеции» он сосредоточивается на настоящем. Хоуэллсу хотелось как можно подробнее рассказать о повседневной жизни венецианцев и выработать справедливое представление об их характере. Он исследовал социальную организацию Венеции и результат воздействия на венецианцев тяжести прошлого. Он не пропускал ни единого городского квартала, праздника, общественного места, где ему было бы удобно наблюдать за жизнью города. В конце концов он и сам — так ему казалось — отчасти впал в венецианский тон — тон уныния, утраты и беспомощности. Манера, в какой написаны «Тосканские города», соответствует неизменной задаче путешественника — «вчувствыванию» в историю. Он неспешно бродит по какой-либо знаменитой площади или древней усадьбе, пока мысль о временах их величия не вытеснит все остальные впечатления, и рассказ продолжается. Разворачивая его, он стремится воспроизвести детали с предельной точностью, передать атмосферу бесхитростной правды, которой он так восхищался в речи старых флорентийцев, — в их рассказах присутствует «такая натуральность страстей, такая живость характеров, будто событие произошло только вчера».

Туристические интересы Хоуэллса — как и его соотечественников — претерпевали изменения в тридцатилетие между 60-ми и 90-ми годами. За располагающей манерой, в которой написана «Жизнь в Венеции», ощущается серьезность того поколения американцев, для которых Европа была проблемой, нуждающейся в решении. Интонация «Недолгого пребывания в



Швейцарии» уже иная. Хоуэллс теперь готов уединиться ненадолго, воображая приятность времяпрепровождения в каком-нибудь благородном *château meublé à louer*<sup>1</sup> на берегу Роны. Если у тебя есть дочери, которых нужно воспитывать, либо тебя гложет тяжкое разочарование, подобное место как раз подойдет. Как и для многих американцев, Европа становится в глазах Хоуэллса замком, который можно нанять, потакая собственным слабостям.

Подобно Хоуэллсу, бывшему его восхищенным ценителем и опекуном, Джон У. Дефорест начинал оттачивать свое мастерство романиста в жанре путевых очерков. Описания нелепого поведения восторженных туристов приподнимают его «Восточные встречи» (1856) над обычным уровнем рассказов о путешествии в святую землю. «Европейские встречи» (1858) написаны еще лучше. В своем рассказе Дефорест удовлетворяется — во всяком случае, хочет заставить нас в это поверить — изображением среднего туриста, который полагает своим долгом сравнивать полотна венецианских мастеров с пылающими солнечными закатами; но на самом деле его книга почти целиком посвящена странностям и чудесам, встретившимся ему на пути. Двенадцать глав заняты описанием тех, кто вместе с ним перенес страшные испытания водных процедур в Грефенберге и более терпимый курс накачивания, очищения и замораживания в Дивонне, недалеко от швейцарской границы. Куда интереснее описания собора в Орвието — рассказ об ужасах лечения творогом, лечения ягодами и — самое страшное — лечения вином, столь варварского, что и врачи, и пациенты в субботу, когда наступал день отдыха от этих процедур, дружно напивались.

Путевые очерки Генри Джеймса, составившие три тома — «Трансатлантические заметки» (1875), «Картины увиденного» (1883) и «Короткое путешествие во Францию» (1884), — представляют собой высшее достижение в этом жанре. Читая эти забытые книги, думаешь с сожалением о злосчастной судьбе сотен соотечественников Джеймса, которые отправлялись за границу, упаковывая в чемоданы все свои предрассудки. И не только американцы. Не оставляя камня на камне от ложных построений Рескина (см. «Картины увиденного», с. 64—69), Джеймс косвенно формулирует свои собственные представления о подобного рода писаниях: «Вместо сада радости он (Рескин) оказывается в зале бесконечно длящегося судебного заседания. Вместо того чтобы увидеть, как возвышаются и поддерживаются человеческие деяния, он оказывается в местах, где существует нечто вроде драконова кодекса». Для самого Джеймса путешествие было нескончаемой радостью. Вновь и вновь отправляясь в путь, он хотел, чтобы увиденные сцены

---

<sup>1</sup> Замок, меблированный для сдачи внаем (*фр.*).

захватили его и «заговорили» сами, если воспользоваться словом, которое он сам часто употреблял.

Любая встреча, любое переживание воплощаются в гармоничную и завершенную картину. Классифицируя соответствующим образом свои разнообразие впечатления, Джеймс строит очерк вокруг центральной идеи либо предмета, либо настроения — так, чтобы читатель мог схватить суть эпизода. Описывая Личфилд, он сосредоточивается на повседневной жизни городка, над которым господствует прекрасный собор, чьи величественные башни в вышине образуют совершенную симметрию; в Уэллсе — это бесконечное очарование воскресного полудня. А в Венеции более всего поражает жизнь — так, будто она окутана «неким родом знания, как розовым облаком», — и Джеймс тонко определяет этот «род знания».

Что трогает его меньше всего, так это пейзажи. Удовольствие, с коимзираешь на гору, имеет предел. Даже прозрачный сапфировый воздух, изумрудная зелень Лемана и Люцерна проигрывают в сравнении с крепостью дворцовых полов из ляписа и *verd antique*. Поспешно бежит он литературных гробниц, захватанных туристами. Что более всего его впечатляет, так это огромный английский деревенский дом вроде Хэддон-Холл, где невыразимое ощущение присутствия призраков захватывает с почти болезненной силой; или погруженные в раздумье флорентийские виллы, чьи поразительные размеры и массивность служат укором их нынешней судьбе. Огромное здание для него — это высочайшее из всех возможных достижений искусства, ибо оно символизирует преодоленные препятствия, реализацию всех возможностей, труд, мужество и терпение. В огромном здании жили, а может быть, живут и поныне мужчины и женщины, а Джеймс более всего наслаждается ароматом человеческого присутствия.

Эти очерки завораживают даже не своим высочайшим мастерством. Разглядывает ли Джеймс из своего квадратного окна в Лион д'Ор фасад Реймского собора или умозаключает о французском характере на основании наблюдений за купальщиками на пляже в Этрета — любая сцена в его глазах всегда превращается в драму. «Путешествовать, — говорит он, — значит идти в театр, на спектакль». Иногда жестикация и невнятные разговоры реальных людей образуют сюжет; иногда он вырастает из контраста между прошлым и настоящим, как в случае, когда автор был поражен неколебимо-снисходительным отношением туристов — любителей культуры к молодой Италии, озабоченной своим экономическим и политическим будущим и откровенно уставшей быть предметом восхищения своим видом и своими ресницами. Часто это конфликт идей, который скрывается в увиденной сцене и который насыщает ее психологическим содержанием. Так, наслаждаясь спокойным величием Реймского собора, он вдруг был поражен мыслью, что общественный

строй, на фундаменте которого было воздвигнуто это величественное здание, представлял собой вариант бонапартизма. «Насколько прочно позволит любитель старинных соборов связать себе руки их священными традициями? И сколь велика взятка, которую он дает собственному воображению за то, чтобы оно удерживало его от реальных действий?»

Может показаться, что современный мир вторгается в эти очерки более настоятельно, чем можно было того ожидать; но в настоящем здесь постоянно присутствует прошлое, присутствует благодаря виртуозному мастерству Джеймса физически осязаемо. Он ненавидел реставраторов XIX столетия, профессиональных вандалов вроде сэра Джорджа, Гилберта Скотта и Виолетты де Люк; ненавидел, быть может, тем сильнее, что их узаконенный грабеж лишал его самого возможности возродить и восстанавливать. Для Джеймса великие развалины были сокровищем. Марк Твен бежал руин, ибо не умел заставить их заговорить. А Джеймса влек к ним род эстетического голода. Хотя от них осталась лишь прекрасная тень (как он отозвался о «Гайной вечере» Леонардо и о седых останках Гластонбери), эта «тьень есть мысль художника». В поисках этой мысли Джеймс и пребывал постоянно; всякий раз она убеждала его, что самый верный из уроков искусства следующий: «Нет предела содержанию, которым художник может насытить свое творчество».

## 52. ЖИЗНЬ И ХАРАКТЕРЫ

### 1

Страна, раскинувшаяся на три стороны от Нью-Йорка, где жили Стедмен и Джеймс, таила в себе живое творческое начало, грубое и стихийное. Защитники высоких идей не обладали достаточным терпением, практической сметкой и свободным духом художественного экспериментаторства, чтобы выявить таланты и способствовать их развитию и упорядочению. Как всегда, повторялись старые шаблоны; новая же литература обычно зарождалась в результате тесных связей с самой жизнью и освоением новых ее пластов, причем использовались старые литературные формы и образцы. На этот раз такой областью познания оказалась американская нация, а литературными образцами — реализм и романтизм повествования. Писатели, с энтузиазмом воскрешавшие жизнь старого американского Юга и восточных штатов или Среднего и Дальнего Запада нового времени, обращались либо к непосредственному описанию природы, подобно естествоиспытателям от Уильяма Бэртрама до Джона У. Пауэлла, либо стремились найти соответствующие художественные формы, как то делали авторы романтических повестей от Фенимора Купера до Брет Гарта. Когда же они сочиняли рассказы, романы, стихи и пьесы на основе нового материала, будь то жизнь негров Юга или старателей Калифорнии, реализм и романтизм соперничали между собой к пользе художественной формы.

Когда в 1859 году Гарриет Бичер Стоу опубликовала «Сватовство священника», Лоуэлл горячо приветствовал возвращение писательницы после общенационального успеха «Хижины дяди Тома» к ее исконной теме — изображению жизни и людей Новой Англии. Никто, кроме нее, говорил он, не способен увековечить в художественной прозе быстро исчезающие обычаи и нравы янки. Миссис Стоу оправдала эти похвалы в «Жемчужине острова Опп» (1862), и, хотя книга безупречна, ее согревает тепло подлинного чувства. Не прилагая к тому никаких усилий, миссис Стоу продемонстрировала умение делать острые жанровые зарисовки, например жизни семейств Пеннелов и Киттриджей на острове Кеннебек, и вновь показала всю важность местных условий для достижения художественного правдоподобия. Писательница проникала во внутренний мир простых людей, таких,

как тетушка Рокси и тетушка Рюи, будто вовсе не покидала их для того, чтобы нарисовать Топси и Легри. «Олдтаунские старожилы» (1869) — еще более непосредственное изображение сельских жителей и их нравов, существующих социальных отношений, на этот раз на родине ее мужа — в Саут-Нэтике. Миссис Стоу относилась к своему делу со всей серьезностью. «Для меня это не просто повесть, — говорила она. — В ней я подытожила жизнь всей Новой Англии». Стремясь осветить темные стороны этой жизни, она использовала в «Олдтаунских рассказах у камина» (1872) местные анекдоты философствующего рассказчика Сэма Лоусона. «Жители Поганука» (1878), запечатлевшие девичьи воспоминания писательницы о Личфилде, штат Коннектикут, казались написанными по прямому заказу Лоуэлла.

Произведения миссис Стоу отражают как слабости, так и несомненные достоинства того литературного движения, которому ее имя с самого начала придало известность. Обращенное к тем частям Америки, которые были заселены раньше других — равнинам и горам побережья от Мэна до Флориды и далее по берегу Мексиканского залива до устья Миссисипи, — движение это в годы Гражданской войны и Реконструкции получило размах как на Востоке, так и на Юге. В результате двойного воздействия — и Европы, и Запада — оно достигло своего апогея в последней четверти XIX века и продолжалось с разного рода отклонениями и перерывами как одно из значительных явлений американской литературы еще добрых полвека. Однако задолго до того, как миссис Стоу вернулась к изображению Новой Англии, на Севере и на глубоком Юге начала складываться и набирать силы демократическая традиция областнической литературы. Приемы, к которым прибегала Стоу, не новы и находились, так сказать, под рукой: описание сельских нравов и обычаев недавнего или колониального прошлого, использование диалектов и местного колорита или иных приемов, способствовавших развитию в литературе такого же реализма, какой существовал в изобразительном искусстве в области жанровой живописи, где художники стремились по мере сил правдиво передать уклад жизни в не столь отдаленные времена. Не обладая высоким мастерством, миссис Стоу восприняла общие пороки этого направления: композиционные просчеты, напыщенную театральность, сентиментальный дидактизм.

В один год с «Жителями Поганука» появились книги еще двух янки из штата Коннектикут. «Счастливчик Дод» Роуз Терри Кук и «Клуб китайских стрелков» Энни Трамбулл Слоссон свидетельствовали, что подобные сочинения не иссякают. В «Счастливчике Доде», хронике жизни маленького калеки, проявились глубоко религиозные чувства миссис Кук, ее любовь к трудолюбивым беднякам. Затем последовал ряд других ее книг и лучшая из них — рассказы «Черника с холмов Новой Англии» (1891). Полного же развития талант миссис Слоссон достиг в

сборнике «Молчаливая наперстянка и другие рассказы» (1898), где дан психологический анализ религиозных чувств низших слоев общества. Если три немолодых леди из Коннектикута и не создали своей школы, то они придали литературе этого периода отпечаток мягкости и благородства, убедительно показав, что в умелых руках демократические традиции областничества еще обладают жизнеспособностью.

В это время дочь врача в Саут-Бервике, называвшая себя «пограничником штата Мэн», только начинала свой писательский путь, но ей суждено было стать самой выдающейся представительницей областнической литературы. Талант Сары Орн Джуитт развивался быстрее, на более высоком уровне мастерства и самодисциплины, чем у ее предшественниц. После ученических публикаций в журналах для детей она двадцати лет вошла в большую литературу рассказом, опубликованным в «Атлантик» (декабрь 1869 года). За восемь лет набралось столько рассказов, что, по совету Хоуэллса, она опубликовала их в своей первой книге «Дипхэвен» (1877). К этому времени миссис Стоу исполнилось шестьдесят пять, миссис Кук пятьдесят, миссис Слоссон тридцать девять лет, а Саре Орн — всего двадцать восемь. Ощущение свежести, исходящее от «Дипхэвена», при всех недостатках этой книги, не в последнюю очередь объясняется молодостью автора; изданные в следующем году «Жители Поганука», «Счастливчик Дод» и «Клуб китайских стрелков» кажутся после нее скучными и старомодными. Однако «Дипхэвен» — лишь начало. В течение последующих двадцати лет Джуитт печаталась в крупнейших журналах, издала отдельной книгой сборник рассказов, отмеченных все углубляющимся проникновением в лабиринт человеческой души и растущим художественным мастерством. Ее шедевр «Край островерхих елей» (1896) — непревзойденный образец американской областнической прозы XIX века.

Однако право на признание было заслужено ею не одной этой книгой. В большинстве рассказов, написанных после 1880 года, впечатляет сочетание глубокой и чуткой пронизательности с добротностью и упругостью художественной формы — отличительная черта творчества Джуитт, чего не хватало ее современницам, и прежде всего из-за отсутствия любви к настоящей работе над словом. Джуитт очень серьезно относилась к афоризму Арнольда: «Изучите произведение, которое лучшие знатоки называют хорошим, и попытайтесь понять, чем оно хорошо». Иногда, правда, уважение к людям, подобным Теннисону, вводило ее в заблуждение — она считала их более великими, чем они того заслуживали. Однако письма Джуитт неизменно свидетельствуют, сколь справедливы ее суждения относительно Генри Джеймса, а также о французских и русских романистах. Она вдумчиво читала Бальзака, восхищалась «тонкостью мастерства» Золя, заимствовала два листа у Флобера,

почитая того образцом совершенства, и даже по-своему поняла, чего добивался Толстой — ее полная противоположность во всем. О мисс Джуитт, как и о Жорж Санд, можно сказать, что, благоговей перед аристократизмом ума, ее сердце склонялось к демократии страданий. Еще ребенком, вместе с отцом посещая дома больных, она привыкла к общению с жителями Йорка, Уэллса, Саут-Бервика и всей округи; когда Джуитт стала писательницей, они продолжали тепло встречать ее и поверяли ей свои заботы — «не новые фермеры, а те, для кого в молодости Бервик был всем миром». Ее лучшие рассказы — «Белая цапля», «Розмариновое болото», «Единственная роза» и многие другие — вдохновлены тихими городками и старыми фермами. Писательница редко выходила за границы этого мира. «Люди разговаривают о жилье, мелочах жизни и будничных событиях, а художник придает всему этому смысл, заставляет вас почувствовать неповторимость и важность происходящего».

Наиболее ценным даром Джуитт была ее способность сочетать тонкую наблюдательность с пронизательной интуицией. В своей склонности к конкретному изображению природы она напоминает Дороти Вордсворт \*. Читателя нередко поражает поэтическая точность ее эпитетов: паруса шхуны на далеком восточном море, освещенные склоняющимся к западу солнцем, сравниваются с «золотыми домами». Дороти Вордсворт редко удавалось воплотить свои разрозненные наблюдения в цельный художественный образ; рассказы же мисс Джуитт исполнены того увлекательного очарования, той неотразимости мысли, которая «глубже всяких слез» \*. Вспомним картину заброшенной фермы в «Дипхэвене»: «Холодный, опустелый, покинутый дом, где зимнее солнце сквозь окна словно крадется по полу; лютый холод царит в доме и вокруг него, снег забивается во все щели, а снаружи лежит гладким нетронутым ковром. Ветер сотрясает ветхие оконные рамы, висячий замок мерно постукивает о дверь».

На переднем плане пейзажей мисс Джуитт всегда оказывается человек. Глубокий интерес к людям пронизывает все ее творчество. «Надо обращаться к человеческому сердцу, писать с великим пониманием рода человеческого, — говорила она Уилле Кэсер. — Иначе сила художника оборачивается небрежностью, а то, что могло бы стать художественным видением, остается просто наблюдательностью. Чувства переходят в чувствительность, и вы лишь пишете о жизни, вместо того чтобы изображать ее».

В своем творчестве мисс Джуитт не изменяла этим убеждениям, хотя ощущение трагедии и комедии жизни, как и умение владеть материалом, пришло к ней не сразу. Эволюция от «Дипхэвена» к «Краю островерхих елей» определяется тем, как наблюдательность перерастает в художественное видение

и как постепенно углубляется отношение писательницы к образам и своему искусству. В ранних книгах рассказчик всего лишь случайный прохожий (хотя сама мисс Джуитт отнюдь не была таковой), интересующийся только необычным и оригинальным. Она не глядит свысока на своих персонажей, однако, робко экспериментируя с героями, не разделяет их чувств. Ко времени выхода «Островерхих елей» с их заключительным рассказом «Даннетская пастушка» писательница уже хорошо знала, людей и умела их изображать. Она овладела великим секретом истинного реализма, соединив глубину личной причастности с объективностью в достижении художественной целостности. Ей достаточно было одного взгляда или слова таких персонажей, как сборщица болотной мяты Олмайра Тодд или молчаливый островитянин Уильям Блэккетт, чтобы через деталь почувствовать и воссоздать общее впечатление. Конкретный образ никогда не является для нее самоцелью, оставаясь неизменным подспорьем в достижении художественного эффекта. Среди многих сцен вспомним хотя бы прощание с миссис Тодд и образ новой Антигоны, спускающейся по склону холма в похоронной процессии. Говорят, будто искусство мисс Джуитт было ограниченным и приглушенным. Однако ее рассказы являют собой образец подлинного искусства, созданного в век реализма и обращенного к социальной истории областничества, основывающегося на чисто местном колорите, причем развитию характеров нередко препятствовали стереотипные представления о том или ином крае.

Обратившись к таким современникам мисс Джуитт, как Ролэнд Робинсон и Силия Такстер, можно видеть, во что превращается областничество и местный колорит, когда берут верх мотивы, не имеющие отношения к подлинному искусству. Робинсон, выходец из семьи вермонтского фермера-квакера, придумал вымышленную деревушку Дэнвис, где и протекает жизнь его героев Лиша Пеггса, Сэма Ловела и канадца французского происхождения Антуана. По словам автора, «Жители Дэнвиса» (1894) «изображались не столько для того, чтобы поведать какую-нибудь историю, сколько ради живописания обычаев, нравов и языка», характерных для Вермонта начала XIX века. Другую крайность представляет собой Селия Такстер, чья книга очерков «На Шолских островах» (1879) снискала заслуженную известность и выдержала в течение двадцати лет семнадцать изданий. Писательница выступает в роли поэта-натуралиста, следуя традиции местного колорита и подробнейшим образом описывая свой любимый край: заброшенные островки, покрытые цветами и стаями птиц, запах большой земли, доносящийся с запада после дождя, крики крачек, китовые фонтаны в ночном заливе. Главный интерес книги составляет не робко намеченные образы нескольких обитателей островов, а сам ландшафт Шолских островов.



Если Робинсон и миссис Такстер способствовали расширению сферы влияния областничества, то произведения Мэри Элиноор Уилкинс, уроженки западного Массачусетса, ближе к самой сути этой литературной традиции. Лучшее произведение создано ею еще до 1902 года, когда она вышла замуж и стала известна как Мэри Э. Уилкинс-Фримен. В расцвете творческих сил она превосходила всех своих современниц, исключая мисс Джуитт, однако даже последняя не в состоянии была соперничать с отточенностью и цельностью ее первых двух сборников. Пятьдесят два рассказа, входящих в «Скромный роман» (1887) и «Новоанглийскую монахиню» (1891), составляют примерно четвертую часть ее новеллистики. Писательницу неизменно привлекали гордые, спокойные и непреклонные люди. Описания ее лаконичны и всегда кстати, а местные обычаи, как и местный язык, используются не сами по себе, а ради эффективности целого. В этом отношении она похожа на мисс Джуитт, хотя ее искусство и более беспристрастно. Рассказчик «Края островерхих елей» показывает, как «стечение необычных обстоятельств захватило и не выпускает из своих тенет одаренного человека». Однако мисс Джуитт в отличие от мисс Уилкинс редко изображает силу обстоятельств, подавляющих героя. В произведениях более молодой мисс Уилкинс сильнее чувствуется современный реализм. Суровость этой писательницы, не обличавшей социальных условий жизни, несколько преувеличена; она никогда не боролась также и с деревенскими предрассудками. Отсутствие в ее книгах мягкого юмора, столь свойственного манере мисс Джуитт, вполне компенсировалось хорошо развитым чувством комического. В «Новоанглийской монашине», где Луиза Эллис страшится приобщить немолодого уже жениха к привычному укладу жизни старой девы, подразумевается скрытая сублимация чувства, которая могла бы оказаться находкой для любого фрейдиста. Нечто весьма близкое встречаем мы у «Деревенской певицы» с ее ревнивыми страстями и у «Деревенского Лира» с его наследственной твердостью характера. Нежелание мисс Уилкинс заходить слишком далеко свидетельствует скорее о самообладании, чем о робкой нерешительности. Однако она не смогла удержаться на уровне своих ранних рассказов, ее поздние сборники менее интересны, хотя не трудно убедиться, что в первых двух книгах прилагалось весьма мало усилий, чтобы отобрать среди скудной посредственности те пятнадцать или двадцать рассказов, которые составляют ее подлинный вклад в областническую литературу.

## 2

В последней четверти XIX века почти все выдающиеся писатели глубокого Юга и штатов, расположенных в средней части Атлантического побережья, в той или иной степени оказа-

лись связаны с тенденцией областничества. В 1887 году, через четырнадцать лет после того, как Хейн заявил, что литература Юга обречена, добрая дюжина молодых писателей самоотверженно трудилась над разработкой местного материала, что нашло горячий отклик в журналах Севера, интересующихся проблемами местного колорита. Когда читающая публика, хотя и с запозданием, проявила ненасытный интерес к довоенным плантаторам и землевладельцам-джентльменам, к жизни бедняков с гор и предгорий, с морского побережья и заливов Юга, к неграм на плантациях, будь они рабами или свободными, писатели уже приготовились соответствовать этим интересам — поток рассказов и статей о Юге достиг размеров дотоле неслыханных.

Настойчивое стремление писателей Севера сохранить и удержать в литературе исчезнувшее и исчезающее прошлое вновь проявилось со всей силой в плантаторской литературе Виргинии, где гораздо чаще, чем в книгах писателей Новой Англии, встречается идеализация минувших времен. Как о том свидетельствует творческая судьба доктора Джорджа У. Бэгби, такой тенденции было нелегко противостоять. В 1859 году этот журналист из Линчберга попытался полушутя, полувсерьез совершить то, что он называл «жестоким и полным уничтожением» известного романиста Джона Истена Кука, завидовавшего славе Старого Доминиона — Виргинии. Как говорил Бэгби, он притомился слушать славословия своим предкам — лучшим из лучших во всем мироздании. Возникла потребность в писателе, который смог бы нарисовать убедительную картину подлинной жизни Юга. Самому Бэгби принадлежат письма «Мозеса Аддумса», где гротескный народный юмор, грубые фарсовые шутки и деревенский жаргон свидетельствуют, что Мозес — еще один персонаж в длинном ряду юмористически грубоватых людей из народа, таких, как Хоси Биглоу, Джек Даунинг и Саймон Саггс. Однако в конце концов чувство ностальгии взяло верх и над Бэгби. Огромный успех его лекции «Свинина и овощи», пространного и последовательного панегирика сельской жизни в довоенной Виргинии, подвинул автора на другие подобные эксперименты, в числе которых следует отметить идеализированный и исполненный в манере областничества «Портрет джентльмена из Старой Виргинии». В примечании к этой лекции Бэгби вспоминает, что еще в годы английского господства он пытался сатирически высмеять недостатки английского государства. «Теперь наша Мать умерла», — продолжает он. И, не стыдясь, оплакивает утрату красоты, простоты, чистоты, честности, сердечности, тепла, изящества и щедрого гостеприимства, неизменно отличавших сельскую жизнь Виргинии былых времен.

Отход Бэгби от прежних убеждений не вызвал нареканий со стороны его друзей — Кука, чьи романы он высмеял,

и молодого юриста Томаса Нелсона Пейджа. После Кука традиция джентльменов-кавалеров обрела наиболее яркого своего сторонника и защитника в Пейдже, который находил в старой прибрежной Виргинии черты той зрелой и глубоко укоренившейся цивилизации, которую теперь и живописал. В 1884 году журнал «Сенчюри» напечатал его рассказ «Мистер Чарли» — написанные на негритянском диалекте воспоминания старого слуги, продолжающего заботиться о собаке своего хозяина, героически погибшего на войне. Эта повесть и пять других составляют сборник «В старой Виргинии» (1887), успех которого побудил Пейджа оставить юридическую практику в Ричмонде и обратиться к профессии литератора. Позиция писателя проявляется в таких рассказах, как «Мистер Чарли», «Эдинбургский дядюшка Драундинг» и «Миледи». Несчастные бывшие рабы тоскуют о старых добрых временах — «лучших, какие когда-либо Сэму доводилось видеть»; они почтительно вспоминают большие темные глаза и пунцовые щеки леди с плантаций, этих богинь в кринолинах, или припоминают, как им довелось присутствовать и с умилением взирать на проводы лихих молодых солдат, как те отправлялись на войну и возвращались под локовым темноты, чтобы, сорвав розу с куста под окном возлюбленной, вновь мчаться в бой. «Я далек от того, чтобы утврждать, будто общественная жизнь Старого Юга лишена недостатков, — как бы вторит Пейдж Бэгби. — Но добродетели там намного превосходят пороки, а достоинства ни с чем не сравнимы... То была, как мне кажется, самая чистая и сладкая жизнь, которая когда-либо существовала». Слабости Пейджа — излишняя идеализация персонажей и мелодраматическое развитие сюжета — восполняются мастерством в неспешных и с любовью выписанных картинах рождественских праздников и увеселений, а также изображением мрачной, гнетущей атмосферы в рассказе «Болото обезглавленного». Он превосходит Кука и Бэгби умением подмечать существенные особенности и тонкости диалекта, а трезвое понимание военных событий и Реконструкции позволило ему отвергнуть обвинение в приверженности тому, что Бэгби называл «золотыми днями патриархальных времен, которым уже не суждено вернуться».

Когда в 1884 году Пейдж еще только начинал писать, у Джеймса Лейна Аллена уже возникла идея обратиться к региону центрального плато Кентукки, сделав окрестности родного Лексингтона местом действия всех своих произведений. Весьма примечательно, что Аллен выступил против «узкого» реализма жанровой живописи в защиту эпической поэзии, посвященной кентуккийским «земле, небу и временам года», и что он в отличие от Бэгби и Пейджа испытывал приверженность к возвышенному и вычурному стилю, отличавшему его произведения от общего потока литературы местного колорита. Уже первый его сборник «Флейта и скрипка» (1891) показал, что

означала на практике эта теория: его герои — причудливый и высокопарный Палемон, мятежный монах-траппист, сестра Дороза, пожертвовавшая собой и отправившаяся из Кентукки умирать среди прокаженных Дамьена \*, или идеализированный бродяга по прозвищу Царь Соломон, избежавший бесчестия во время холерной эпидемии. Чувство реальности происходящего утрачивается в призрачном мире, созданном Алленом, оно не ощутимо даже в его знаменитых популярных идиллиях «Кентуккийский кардинал» (1894) и их продолжении «Последствия» (1895). Ныне мы по-иному восприняли бы отзывы тогдашних рецензентов, сравнивавших эти книги и «Лето в Аркадии» (1896) с засохшими цветами, сохранившими слабый запах лаванды и источающими нежность, нравственный пафос и свет. Ближе к действительности подошел Аллен в романе «Невидимый хор» (1897), посвященном Кентукки конца XVIII века. Однако герой книги Джон Грей не вызывает нашего доверия, ибо напоминает феодального рыцаря в одеянии школьного учителя из пограничной полосы. Чего не доставало Аллену даже в столь выдающемся произведении, как «Власть закона» (1900), так это убежденности в необходимости создания земных характеров, изображение которых составляло сильную сторону писателей-областников, уступавших ему в других отношениях.

Но писатели Юга изображали не только плантаторов-аристократов. После выхода «В горах Теннесси» (1884) Чарльза Эгберта Крэддока белый южанин-бедняк, изредка появляющийся в книгах и ранее, стал полноправным героем литературы. Об авторе этих очерков мало что было известно, кроме того, что «Крэддок» — его псевдоним, что писал он, не стесняясь в выражениях, и, по-видимому, хорошо знал обычаи горных жителей плато Камберленд и гор Грейт-Смоки в Теннесси. Наверное, со времен Джордж Элиот не случалось такой литературной сенсации, писал Чарльз Колмен в 1887 году, как открытие, что под именем Крэддок скрывается Мэри Ноэллис Мэрффри, образованная старая дева-полукалека из Теннесси. Склонность начинающей писательницы к топографии была столь велика, что ее обширные описания горных ландшафтов подчас затрудняют ход повествования, а стремление фонетически точно воспроизвести местный диалект столь сильно, что читатель, как и при чтении книг Роулэнда Робинсона о жителях Вермонта, должен успеть приноровиться к необычности орфографии, прежде чем он получит удовольствие от диалогов. Если же читатель наберется терпения и преодолет эти препятствия, то будет вознагражден подлинно реалистическими рассказами о контрабандистах и полицейских, кулачных боях и охотниках, живописными картинами ухаживаний, танцев, обедов, выпивок, пахоты и игры в карты тех, кто живет по соседству с нависшими вершинами старых гор Чилхои. По прочтении

таких книг, как «Пророк Великих Скалистых гор» (1885) и «В краю чужих людей» (1895), остается чувство причастности к жизни глухих медвежьих углов Теннесси в годы Реконструкции.

Мисс Мэрфри одной из первых среди писателей-областников прославилась художественным изображением жителей гор, хотя и обошла вниманием белых южан-бедняков. Антология Генри Уоттерсона «Чудачества жизни и людей Юга» (1882) свидетельствует, что юмористическая литература прежнего глубокого Юга, особенно Джорджии и Алабамы, исполнена чувства подлинной сельской демократии. Сборник Уоттерсона появился достаточно поздно для того, чтобы успеть включить произведения двух выходцев из Джорджии — Ричарда Малкольма Джонстона и Джоэла Чандлера Харриса, непосредственно продолживших традиции Лонгстрита, Хупера и Томпсона. От грубоватых юмористов прошлого этих писателей отличает стремление сочетать здоровые старые добродетели с растущим чувством нового, не переходящим, однако, в чувствительность.

Джонстону было почти пятьдесят, когда его рассказы о Дьюксборо завоевали широкое признание; он успел состариться прежде, чем заговорили о рассказах дядюшки Римуса, принадлежавших Харрису, молодому редактору газеты из Атланты. Прототипом городка Дьюксборо явился Пауэлтон в Джорджии, поблизости от которого на плантации «Оук гров» родился Джонстон. После его смерти в 1898 году осталось восемь повестей и три небольших романа, действие которых происходит в Джорджии, вблизи тех мест, которые он хорошо знал, так как провел детство на плантации, а затем был юристом и деревенским учителем в этом же штате. Талантливый рассказчик, Джонстон легко и с энтузиазмом живописал исполненную тихого очарования школьную жизнь Дьюксборо, семейные склоки и деревенские праздники, часто используя при этом местный диалект мистера Пейта, от имени которого ведется повествование. Особое внимание уделялось людям Дьюксборо и их заботам: догадкам о живущей поблизости ведьме и о проделках хоряка в курятнике, наставлениях суетливой мамыши своим детям в связи с приездом в город прославленного цирка: «Не лезьте вперед, ты, Джек, и ты, Сьюзен! А то вас съест верблюд или другой какой хищник».

Подобно своему верному другу полковнику Джонстону, Харрис вырос среди мелких плантаторов и бедных фермеров, которым отнюдь не были свойственны благородные манеры. Как и Джонстон, он предпочитал изображать Джорджию не в виде потерянного рая, где слышен шелест ангельских крыльев, а тем демократическим обществом, каким она была на самом деле. Это не значит, что Харрис прибегал к натуралистическим приемам или что он имел обыкновение рисовать жизнь белых южан-бедняков в манере Колдуэлла или Фолкнера. Просто

ему удалось показать длинную и нелегкую историю жизни этих бедняков. Все, за что бы он ни брался, обретало под его пером черты подлинной жизни. Герои Харриса заняли свое место где-то между персонажами его любимого романа «Векфилдский священник» Голдсмита и героями «Истории провинциального города» Э. У. Хоу, которую он считал самой американской книгой. При этом Харрис разделял мнение (хотя с ним можно и поспорить), лежащее в основе всех лучших жанровых произведений того времени: «Роман или рассказ не может быть истинно американским, если в нем не говорится о простых людях, то есть о сельских жителях». Однако писатель решительно выступал против узкого областничества.

«Какое имеет значение, кто я — северянин или южанин, если я придерживаюсь правды?.. Моя мысль сводится к тому, что правда важнее принадлежности к той или иной местности и что литература, которую можно назвать только северной, южной, западной или восточной, не достойна даже называться литературой».

Когда в 1884 году Харрис опубликовал «Минго и другие очерки о черных и белых», стало очевидно, что его возможности не исчерпались в песнях и сказках дядюшки Римуса. Сюжет рассказа «У Тига Потита», самого длинного и лучшего в этой книге, связан с борьбой между отважными контрабандистами Крутых Гор в Северной Виргинии и их недостойными преследователями, налоговыми агентами. Веселый горец из Джорджии, его молчаливая жена и дочь Сис, от идеализации которой писателю не удалось удержаться, — все они по праву стоят в одном ряду с дядюшкой Римусом. «Беда на Затерянной горе» из следующего сборника «Свободный Джо и другие зарисовки Джорджии» (1887) продолжает развивать ту же тему. Хотя этот рассказ и не столь удачен, тем не менее в нем великолепен образ Эйба Хайтауэра с его глубокой экспансивной и веселой привязанностью к дочери Бейб. Среди жителей равнинной части Джорджии особенно запоминается мрачная подруга Минго, озлобленная миссис Бливис, поносящая «аристократические» замашки своих родичей, а также выносливая желтолицая Эмма Джейн Стаки, замарашка из сосновых лесов, изображенная в «Азалии», рассказе Харриса о белых бедняках. Самая удивительная черта творчества Харриса, опровергающая сложившееся мнение, будто его произведения лишены художественности, заключается в той совершенной легкости, с какой он убеждает читателя в правдивости изображаемого. Если богатый хозяин негра Валаама оказывается сладострастным бездельником, то писатель не идеализирует его; если полковник Флюеллен такой джентльмен, что соглашается жить на украденное для него бывшим рабом Ананиасом, то Харрис просто излагает факты и предоставляет судить о них читателю. Не напиши он ничего, кроме этих рассказов

и нескольких позднейших сборников, Харрис все равно выделял бы среди бытописателей Юга. Образ негра из Джорджии — самое выдающееся художественное достижение Харриса. Читатели, не склонные восторгаться рассказами дядюшки Римуса и считающие, что в историях животных слишком много меда и не хватает желчи, могут разнообразия ради обратиться к образам величественного Минго, несчастного Ананиаса, желчной матушки Би, тетушки Фонтэн, Валаама, Свободного Джо или Голубого Дейва. Глубокое уважение к правде и знание жизни негров Джорджии в рабстве и в условиях Реконструкции придали рассказам Харриса ту достоверность, похвастаться которой мало кто мог из его современников.

Американский негр нуждался в Харрисе, показавшем все разнообразие этого человеческого типа. Раб Гектор в «Йемаси» (1835) Симмса, Юпитер в «Золотом жуке» (1843) По и дядя Том (1852) миссис Стоу едва ли могли дать верное представление о многообразии этой этнической группы, которая в 1860 году достигла численности 4 500 000 человек. Не очень-то помогали понять негров Юга и песни Стивена Фостера. Дело даже не в том, что он был уроженцем Питтсбурга, — в погоне за ходким товаром Фостер прежде всего выступал как балаганщик, лишенный того, что принято называть тонким литературным вкусом. Оказав бесспорное влияние на песенные традиции Америки своего и более позднего времени, Фостер, однако, почти совсем не знал негров, а его песни всего лишь увековечили стереотип меланхоличного чернокожего с плантаций. Ближе к реальной действительности были стихи, написанные на диалекте штата Миссисипи Ирвином Расселом, который как-то заметил о «Хижине дяди Тома», что в ней правды о неграх и их жизни не больше, чем в морском календаре. Смерть двадцатилетнего Рассела в 1879 году оплакивал весь читающий Юг, а Харрис в предисловии к посмертному изданию его «Стихотворений» (1888) заявил, что он одним из первых среди писателей-южан понял художественные возможности, заложенные в образе негра, который воссоздал с такой точностью. Рассел оставил после себя слишком мало стихов, чтобы можно было дать им достойную оценку. Тем не менее его широкоизвестное «Рождество в негритянском квартале» представляет собой маленький шедевр, этакий южноамериканский вариант бернсовских «Веселых нищих», обладающий живостью, о которой Бэгби мог только мечтать. В одном из речитативов, своего рода местном варианте истории потопа («Будет наводнение», — сказал великий Ной»), используется прием, к которому затем часто обращался в своих произведениях Роарк Брэдфорд.

«Дядюшка Римус, его песни и сказки» (1880), первый сборник негритянского фольклора, песен рабов с плантаций и народных анекдотов, дает всестороннее представление о возмож-

ностях негритянского бытописания. Чтобы оценить вклад Харриса в литературу, говорит профессор Уильям Баскервилл, первый историк литературы Юга, достаточно сравнить дядюшку Римуса с образом идеального негра в песне «Мой старый дом в Кентукки» \*, с персонажами «Хижина дяди Тома», «Мистера Чарли» и «Миледи» или вспомнить балаганные пародии на негритянские песни. Рядом с подобными выморочными образами или жалкими шутовскими карикатурами, считает Баскервилл, дядюшка Римус занимает особое место благодаря тому, что Харрис отлично знал своего героя. Его герой как бы объединил в себе черты старого дядюшки Джорджа Террелла и полдюжины других негров, рассказы которых Харрис слушал подростком в начале 60-х годов, работая у Джозефа Аддисона Тернера на плантации «Тернуолд» вблизи своих родных мест в округе Патнэм, штат Джорджия. Проработав несколько лет газетчиком в Мейконе, Новом Орлеане и Саванне, Харрис отнюдь не стремился к славе, но десять томов, опубликованные им (или его душеприказчиками) в период между 1880 годом и первой мировой войной, представляют собой заметное литературное явление, которое соединяет богатство материала с любовью к ироническому подтексту, мастерством короткой драматической формы, уверенным владением юмористической идиоматикой и ритмами, присущими народной речи.

В последние годы XIX века наиболее достопримечательными последователями Харриса выступили негритянские писатели Чарльз Уэдделл Чеснат и Пол Лоренс Данбар. Оба родились в штате Огайо, но мать Данбара (ей он обязан своим лучшим стихотворением «Когда поет Мэлинди») происходила из Кентукки и выросла в рабстве, а Чеснат изучал право в Северной Каролине. В конце 80-х годов «Атлантик мансли» напечатал несколько рассказов Чесната, а в 1899 году он отобрал для сборника «Колдунья» семь повестей, написанных на тему негритянской магии. Их объединяет также образ дядюшки Джулиуса Макаду, пожилого негра, напоминающего Римуса, с которым он, бесспорно, соперничает. В своем втором сборнике «Супруга его юности» (тоже в 1899 году) Чеснат откровенно рисует трагикомические ситуации «цветного барьера». Ему принадлежат также три романа, изобличающие расовые предрассудки.

Ранние поэтические опыты Данбара привлекли внимание Хоуэллса, написавшего вступление к «Лирике скромной жизни» (1896), где он восхвалял «утонченное и изящное искусство» Данбара, его беспристрастное изображение негров и убежденность, что среди людей существует или должно существовать братство независимо от цвета кожи. В первом сборнике рассказов Данбара «Люди Юга» (1898) успешно используется негритянский диалект, и хотя в двух-трех рассказах слишком чувствуется зависимость от Пейджа, другие вполне оригинальны



и достоверны. Данбар умер рано, в 1906 году, опубликовав четыре романа, еще три сборника повестей и несколько томиков стихов. Данбар и Чеснат подчас обращались к опыту других бытописателей негритянской жизни, однако в их произведениях запечатлено своеобразие личности каждого из этих художников. Они обогатили ту ветвь литературы XIX века, которая знаменует собой творчество негров-южан старых времен.

### 3

Нигде в литературе старой Америки не встретить того особого аромата, который источают книги Нового Орлеана. У других правило — безыскусственная простота; писатели же Нового Орлеана наследовали от своих предков колорит Старого Света. Повсюду в Америке превозносили уединение сельской жизни, и только в Новом Орлеане с его пестрым населением жизнь была ключом. Повсюду отчетливо проявлялись черты американского характера; в Новом Орлеане даже эксцентричный «Поссон Жон», который был бы как дома в Дьюксборо, выглядит инородным пришельцем, американцем французского происхождения. В каждом районе Америки наблюдается стремление к единому языку и образу мыслей, в многоязычном Новом Орлеане Джорджа В. Кейбла французский, испанский, ирландский и голландский смешивались с языком американских лодочников с верховий Миссисипи, вест-индских беглецов и искателей удачи со всех концов земли, прозябающих в бедности кварталов полусвета, женщин племени чокто, уличных торговцев сассафрасом — подлинно вавилонское столпотворение лиц, наречий и поступков.

К моменту вступления Кейбла в литературу Новый Орлеан и район дельты Миссисипи представляли собой девственную пустыню американской словесности. Французская литература, правда, процветала в Луизиане в колониальную эпоху и в конце XIX века, и даже несколько американских писателей попробовали здесь свои силы. Однако зрелая литература Нового Орлеана и дельты возникла только в 70-е годы.

Долго и неутомимо боролся Кейбл за признание. С пятнадцати лет вступил он в самостоятельную жизнь, служил в кавалерии конфедератов, занимался оптовой торговлей хлопком. Приятно делать бизнес на хлопке, говаривал Кейбл, но ему хотелось бы чего-то лучшего — «посвятить себя благородной профессии». Некоторое время он работал репортером в новоорлеанском «Пикино», но не огорчился, когда газета уволила его. «Я всегда хотел быть писателем, — говорил он, — а они настаивали, чтобы я оставался репортером. Это не получилось... и я вернулся к счетоводству». С 1871 года он работает счетоводом в конторе хлопкоторговцев «Блэк энд компани» и в течение последующих десяти лет аккуратно, но без всякого энтузиазма

ведет финансовое делопроизводство фирмы. Наконец он сообщает Хоуэллсу, что ушел с работы, закрыл свою контору, теперь единственным оружием «защиты и нападения осталось мое серое гусиное перо».

Однако это гусиное перо не оставалось праздным и большую часть предшествующего десятилетия. В жаркие летние дни, когда бухгалтерия заканчивала работу раньше, Кейбл обычно спешил в городской архив, где читал сотни старых газет, так что вскоре знал прошлое Нового Орлеана лучше кого бы то ни было. Среди пожелтевших заметок он обнаружил истории, взывавшие к перу писателя. «Было жаль, — говорил он позднее, — терять такой материал» и в свободное время попытался написать несколько рассказов: «Мсье Жорж», «Биби» (позже в переработанном виде вошедший в «Грандиссимес» под названием «История Бра-Купе») и некоторые другие. В 1872 году Эдвард Кинг, взявшийся написать для «Скрибнерс мэгэзин» серию статей о Юге, посетил Новый Орлеан, встретил там художавого чернородого счетовода, прочитал его повести и горячо рекомендовал их Холлэнду и Гилдеру, редакторам фирмы «Скрибнер». Отвергнув половину отобранных Кейблом рассказов (их не заинтересовал «Поссон Жон», а сюжет «Биби» они сочли «совершенно неудовлетворительным»), редакторы приняли и опубликовали весной 1876 года четыре его рассказа. О «найденныше» Эдварда Кинга заговорили как о восходящей звезде южной литературы. В 1878 году издательство «Скрибнер» предложило опубликовать по частям роман «Грандиссимес» и согласилось выпустить отдельным изданием книгу, названную Кейблом «Прозаические идиллии для гамака и веера», на обложке которой, однако, когда она вышла в свет в 1879 году, стояли известные ныне слова: «Старые креольские времена».

Американская литература никогда не знала ничего подобного этим дышащим свежестью, хотя и не безупречным, семи рассказам о старом городе, крыши домов которого покрыты необожженной черепицей, а оштукатуренные стены — плесенью, с суматошными улицами за оградами благоухающих садов; о заброшенных окрестных плантациях вроде «Бель Демуазель»; о Саль де Конде во французском квартале, куда юные денди отправлялись потанцевать с кварталонками, которых сопровождали и оберегали тетушки; томность, женственность, веселость или кинжальная жестокость касты креолов от генерала Вилливисенсио до Маззаро из «Кафе д'Экзиль»; всегда красивые женщины, скромные в поведении, но сильные волей, подобно мадам Делисьез или мадам Жон, опекунше Маленькой Пулет; неудачники, как Поклен или мосье Жорж; деликатные в обхождении молодые люди, подобные доктору Мосси или Кристиану Коппину. Все было поэтически взвешено и исполнено живости, сравнения тщательно выверены, а ирония порой

переходила в язвительное изображение креолов. Однако Кейблу не хватало мастерства. Некий беспорядочный хаос препятствовал развитию повествования; пристрастие к креольскому диалекту оказалось чрезмерным, герои выглядели эксцентричными, а концовки рассказов о Маленькой Пулет, «Жа-ане» Поклене и мадам Делисьез тяготели к слишком категоричным развязкам. Бросалась в глаза явная склонность к мистификации и расплывчатости — не словесной, а образной, которая, по видимому, и является главной причиной привлекательности книг Кейбла.

Этим объясняется успех выпущенного Кейблом в 1880 году «Грандиссимес», яркого и остроумного многопланового романа со сложным, но неторопливо и последовательно развивающимся действием. Книга отличается богатством художественной ткани и действия, исполнена какой-то скрытой силы и населена образами живых людей: двое Оноре, из которых один кватерон; немецкий аптекарь Фроуенфелд (еще один молодой иностранец, с удовольствием изображенный Кейблом); прекрасные Нанкану, мать и дочь, которых Кейбл изобразил со всей силой своего таланта; Палмир-Философ, жестокий и коварный шаман; легендарный негритянский принц Бра-Купе и десятки других персонажей. Книга изобиловала романтическим антуражем: тайная вражда, похищенное наследство, сводные братья, разделенные кастовыми законами, любовные треугольники, эпидемия желтой лихорадки, самосуд, кинжал в ночи, искалеченный раб, вопли негритянки, увязшей в болоте среди кипарисов, а за всем этим — величественная картина гордой Луизианы, проданной вопреки воле ее граждан, тщетно сопротивляющихся американизации. Реальная действительность властно заявляла о себе, и Кейбл умел, когда надо, прибегать к юмору. Креолы — это «луизианские Никербокеры», непреклонные упрямы, которые заявили о справедливости кастовости и рабства, «покончив с этим вопросом навсегда». Обратившись к подобной проблематике, Кейбл не преминул наколоть черных бабочек, говоря словами Готорна, на железный штырь общественной этики, однако и в этой и в последующей книгах обнаруживается, что Кейбл любит креолов и, посмеиваясь над ними, все же восхищается их несомненными достоинствами.

Впоследствии проявилась многогранность и непреходящая сила таланта Кейбла. Опубликованная в 1881 году новелла «Мадам Дельфина», входившая затем в переиздания «Старых креольских времен», представляет собой искусную, но более сдержанную вариацию на тему «Маленькая Пулет», напоминающую «Алую Букву», перенесенную в новоорлеанскую среду. «Доктор Сэвье» (1885) — еще один сложный роман, густо населенный персонажами, рисующий упорную борьбу молодой супружеской пары из довоенного Нового Орлеана с бедностью

и отчаянием, причем повествование здесь разворачивается не столь хаотично, как в «Грандиссимес». В идиллическом «Бонавентуре» (1888), новеллистической трилогии, героем выступает учитель-креол, живущий среди акадийских крестьян.

Последние сорок лет своей жизни Кейбл прожил на Севере, что, однако, не мешало ему постоянно обращаться к изображению креолов. Совершая лекционные туры по стране вместе с Марком Твенем, он встречался с публикой, столь же подготовленной к его рассказам и песням, как и к юмору Твена. Кейбл решительно отвергал слухи, будто он вынужден был покинуть Юг под давлением общественного мнения и тех, кто был недоволен его изображением креолов, а также из-за острых социальных очерков, в которых рассказывалось о тяжелом положении негров на Юге. Вплоть до самой смерти (1925) он часто и охотно навещал свой родной город, продолжая сбор материалов для рассказов о той части Америки, которая обязана ему больше, чем любому другому писателю, тем, что она навеки запечатлена на карте областнической литературы.

Примерно в то время, когда Кейбл переселился в Нортхемптон, штат Массачусетс, креолы заявили свои претензии по поводу его книг, и те, кто считал себя оскорбленным, вскоре нашли благородного защитника. В 1884 году Грейс Кинг, дочь новоорлеанского юриста, стала уверять Гилдера, что Кейбл всегда отдавал предпочтение цветным перед белыми и квартирантам перед креолами, на что Гилдер холодно заметил, что пусть кто-нибудь попробует писать лучше этого изменника Кейбла. Пьеса, написанная самой мисс Кинг в ответ на это предложение, оказалась не сценичной, однако вполне сносной. «Мосье Мотт» была просто детской пьеской, но в 1892 году мисс Кинг выпустила сборник «Рассказы о времени и стране», состоящий из четырех луизианских повестей, отличающихся характерным стилем, неторопливостью спокойного повествования, расцвеченного яркими картинками, причем каждая повесть заканчивается острой сюжетной развязкой. Как здесь, так и в последующих произведениях мисс Кинг старательно избегает спорных моментов, выступает осторожно и осмотрительно, стремясь как бы приглушить яркие и более впечатляющие образы, созданные Кейблом.

Творческая карьера Кейт Шопин, самая короткая в истории писателей-областников, отличавшихся обычно долголетием, началась в 1899 году маловыразительными стихами и, промчавшись, подобно метеору, завершилась за год-два до смерти, последовавшей в 1904 году. То, что она успела написать за этот короткий промежуток времени, исполнено силы, смелости, яркости, самобытности и решительно отличается от бледной немощи, которую мисс Кинг пыталась противопоставить Кейблу. Кэтрин О'Флаэрти, ровесница мисс Кинг, родилась в Сент-Луисе, ее родители были выходцами из Ирландии и Франции;

после обучения в монастыре она вела жизнь светской красавицы штата Миссури, в девятнадцать лет вышла замуж за Оскара Шопина, поселилась в Новом Орлеане, родила шестерых детей, переехала на плантацию на Ред-Ривер, похоронила мужа, умершего от болотной лихорадки, вернулась в Сент-Луис, отказала нескольким претендентам и в 1890 году в возрасте тридцати девяти лет опубликовала свой первый роман. Затем она написала около сотни рассказов, половину которых включила в два сборника — «Люди дельты» (1894) и «Ночь в Акадии» (1897). В лучших рассказах изображены акадейцы из Накитоша и Авуаеля, центральных округов Луизианы, которых писательница узнала во время жизни на плантации. Герои этих рассказов — и это, возможно, связано с некоторой непокладистостью характера самой миссис Шопин — были склонны к бунтарству: достаточно вспомнить попытку тайного бегства Зайды во время бала кейдженов \* у отца Фоше, отказ Атenez вступить в безрадостный брак; молодого Полидора, симулирующего ревматизм, чтобы уклониться от работы; черного креола Шико, чье явное язычество противоречит его христианской практике. Лучшие рассказы о жителях дельты отличаются выразительной краткостью и французским изяществом, свидетельствующим, что изучение опыта Мопассана не прошло бесследно для миссис Шопин. Лучше многих других современных ей писателей-областников умела она начать, развить и закончить рассказ без суеты и ненужной стеснительности. Она хорошо чувствовала образ, достигая этого почти инстинктивным пониманием художественной формы и тональности. Подобно мисс Джуитт, она умела использовать для привлечения читателя диалект, не превращая его в помеху для повествования. Мисс Мэрфри могла бы поучиться у нее искусству подчинять изображение окружающего создаваемым образам. Как Харрис и Джонстон, она знала, где кончается чувство и где начинается чувствительность. Однако многим ее рассказам недостает отделки, поскольку писала она быстро и импульсивно, слишком полагаясь на мимолетные настроения и нетерпеливо отмахиваясь от бремени исправлений и переработок. Она редко прибегала к нехитрым уловкам, но именно такой прием применен в часто включаемом в антологии, хотя и нехарактерном для миссис Шопин рассказе о расовых взаимоотношениях, «Дитя Дезире», в котором читательское чувство справедливости вполне удовлетворяется, несмотря на искусственную концовку. Даже ее неудачные рассказы читаются легко, а в лучших произведениях она соперничает с мастерством Мэри Уилкинс Фримен, изображая экзотических и страстных кейдженов или создавая безыскусные романы из жизни на плантациях сахарного тростника и хлопка с той сдержанностью и искренностью, которую ее современница с Севера вкладывала в изображение монахинь Новой Англии и деревенских певцов.

Движение областничества на Востоке и Юге, несмотря на все его разнообразие и размах, породило лишь несколько значительных писателей. Лучшие книги мисс Джуитт и миссис Фримен, а также Харриса и Кейбла обнаруживают подлинную самобытность, мастерское владение материалом сложной действительности, понимание как композиции и художественной ткани, так и логики образов, приверженность к реальности и отрицание искусственной ложной патетики, что поднимает эти произведения над областнической ограниченностью. Некоторых успехов добились и писатели меньшего масштаба. Возьмись терпеливый редактор прочитать сотни написанных ими очерков и рассказов, он и при самом строгом подходе найдет два-три десятка рассказов, достойных соперничать с лучшими образцами американской и европейской новеллистики того времени.

Современная критика резко разошлась в оценке областнической литературы. Одни вслед за Боткином \* утверждали, что областничество «знаменует собой отход от беллетристики — чистой литературы и совершенной поэзии — к социально обусловленному искусству». Другие, подобно Тейту, считали, что областничество в своих худших проявлениях ведет к «навязыванию художественному творчеству социальных мотивов». Справедливая оценка достижений американских бытописателей должна избегать подобных крайностей. Ограниченность их очевидна, хотя иногда чересчур акцентируется приверженность к живописности ради самой живописности (у таких несхожих между собой писателей, как Мэри Мэрфри, Джеймс Лейн Аллен, Селия Такстер, а иногда и у Кейбла) или пытливые поиски необыкновенного, гротескного в образах людей из различных местностей (как то постоянно наблюдается в книгах Рут Макинери Стюарт, Джонстона, Фримен, Кук, Джуитт, Слоссон и других). Весьма примечательна также, хотя и не столь очевидна тенденция сглаживать, следуя шаблону, неприятные стороны жизни, прославлять с консервативно-сентиментальных позиций богатую и могущественную плантаторскую аристократию (как у Джона Истена Кука, Т. Н. Пейджа, а иногда у Бэгби, миссис Стюарт и Грейс Кинг) или до такой степени раздувать достоинства «простого человека», что это приводит к апофеозу посредственности. Наблюдается стремление запечатлеть и увековечить то, что в жизни общества в силу собственной слабости и упадка уже исчерпало себя. Подобные усилия приводят нередко к бесцветному и статичному искусству, бесстрастному и неспособному воздействовать на других. Не может не вызывать огорчения склонность писателей к диалектизмам (то была дань моде, вызывающая лишь раздражение современного читателя), когда автор дилетантски передает фонетические особенности речи героя, ошибочно полагая, будто редуцирование гласных, негра-

мотное правописание и другие отчаянные уловки могут быть полезны будущим историкам языка. Столь же неудачны оказались попытки ввести инородные социальные мотивы, которые на деле обернулись неумением придать длинному очерку лаконичную форму новеллы, заслуживающей этого названия.

Однако для историка общества, для литературоведа да и для простого читателя, ищущего в книгах развлечения и наставлений, недостатки перекрываются очевидными достоинствами. Не только лучшие, но даже худшие писатели-областники хорошо знали прошлое. Подобно своим литературным братьям на Среднем и Дальнем Западе, они атаковали все уродливое в Америке, не уставая вместе с тем подчеркивать, что критики прошлых лет были правы, когда говорили о богатстве, разнообразии и изобилии национальной проблематики, достойной стать предметом литературного произведения. Они с гордостью защищали и утверждали такие исконно американские качества, как индивидуализм, изобретательность, приверженность своему штату или клану, милосердие, скромность, пронительность, стойкость и стоицизм. Они открыто сокрушались, скорбели, оправдывали или пытались оправдать такие известные американские пороки, как беспринципность, общественное и экономическое неравенство, рабство, расовые предрассудки, кастовость, невежество, праздность, попытки скрыть свою бедность, лицемерие, суд линча, насилие.

Нетрудно высмеять этих писателей за приверженность прошлому, считая обращение к давно минувшему неотъемлемым симптомом реакционности. Подобное утверждение, как и большинство огульных осуждений, означало бы отрицание подлинного либерализма Харриса и Кейбла, прогрессивной эстетической теории Джуитт, Фримен и Шопин, а также всеобъемлющего демократизма, направленного к защите простого человека, и того основополагающего единства разума и сердца, которое в трудную годину упрочило и спасло Американскую республику. Нетрудно высокомерно отвергнуть «маленькие шедевры» скромных «хроникеров упадка». Местный материал сам по себе заставлял писателей изображать жизнь такой, какой они ее знали. Неверно было бы говорить, что опыт областнической прозы менее плодотворен для развития американского рассказа и романа, чем влияние иностранных образцов. Воздействие, которое время от времени оказывал романтический роман, отнюдь не отменяет того, что движение это в основе своей реалистическое и что оно стремилось к изображению местных типов. Затрачивалось немало усилий, чтобы отказаться от стереотипных образов пронырливого торговца-янки, бесхитростного горца, чернокожего с плантации, полковника из Кентукки. И в результате возникла не просто новая галерея типов, а ряд индивидуально очерченных героев — старых дев и молоденьких девушек, контрабандистов и моряков, белых бедняков Джорд-

гии и Южной Каролины, кейдженов и креолов, которые в действительности не больше обусловлены этими ролями, чем Фальстаф ролью miles gloriosus<sup>1</sup> римской комедии.

Но и без того областники и бытописатели Востока и Юга внесли существенный вклад в американскую культуру. В переломный период истории США, когда все старое — нравы, обычаи, образ мыслей, стиль поведения и предрассудки — претерпевало быстрое изменение или полное уничтожение, им удалось запечатлеть и тем самым сохранить в художественных образах облик культуры своего времени — местные идиомы, нетронутый покой сельской жизни, особое, неповторимое мироощущение.

---

<sup>1</sup> Хвастливый солдат (*лат.*).



### 53. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДА

#### 1

Литература Запада в первые десятилетия после Гражданской войны была литературой его открытия. Мир высвободил созидательные силы общества, погнал на Запад и ветеранов войны, изголодавшихся по земле, и авантюристов, усилил ощущение национального единства, впервые дал американцам по-настоящему почувствовать, что означало понятие американская нация. Трансконтинентальные железные дороги соединили заселенные к тому времени районы Запада, отличающиеся друг от друга социальными и культурными условиями бытия: фермерский Средний Запад, мормонов из Скалистых гор и Калифорнию — край приисков и ранчо. Благодаря железнодорожному сообщению не только эти районы, но также индейские и испанские общины Запада были вплетены в национальную структуру страны. Именно тогда началось окончательное заселение континента: с востока от Миссури и с запада от Тихоокеанского побережья. Именно тогда американские писатели начали исследование своей страны, именно тогда американцы начали ощущать себя единым и в то же время разноликим народом — общностью единого образца, но внутренне бесконечно разнообразной.

Литературное исследование Запада шло одновременно с исследованиями более старых районов страны, но оно отличалось крайним своеобразием. Несмотря на то, что для данного литературного движения Запада были характерны и региональные, и национальные тенденции, оно благодаря новизне материала оказалось более романтическим, более приключенческим. Оно открыло читателю живописнейшие уголки континента и одновременно связало все районы в единое целое. И в течение всего послевоенного периода исследователи и писатели, путешественники и геологи с готовностью записывали свои впечатления об образе жизни, сложившемся на Западе.

Авторов этой разновидности произведений можно подразделить на две категории: на тех, кто знал, о чем они писали, и на тех, кто этого не знал. Первые хотели говорить правду, вторые намеревались изысканно ее приукрасить. В своих крайностях эти две тенденции были представлены научными сообщениями,

с одной стороны, и романтическими произведениями местного колорита — с другой. Однако не следует заблуждаться, полагая, что только ученые сообщали правду о Западе и что только рассказы приукрашивали действительность. Один и тот же новый регион, однотипный новый опыт жизни в этом регионе были восприняты самыми различными людьми, по-разному отражаясь в их произведениях.

Литературу Запада возможно рассматривать как в аспекте региональной, так и национальной традиции. Две отчетливо выраженные литературные школы Запада — школы Индианы и Калифорнии — отличались друг от друга не только своеобразием географических условий жизни в штатах, но и спецификой мироощущения писателей. В Индиане господствовал бытовой реализм, сильно напоминающий литературу американского Востока, — реализм, родоначальником которого явился Эдвард Эгглстон. Если писатели Индианы иногда и склонялись к более романтическому методу творчества, то под этим они, как правило, понимали традицию фольклорной сентиментальности, и большая часть их произведений была отмечена налетом набожности. Со своей стороны наследники Брет Гарта — приверженцы школы местного колорита на Крайнем Западе — не отличались правотоверностью и не стремились к достоверности в изображении социальных обстоятельств и обычаев местности. Их материал и методы воспроизведения в целом были более «позолоченными», нежели литература Индианы. Однако обе школы оказывали сильное постоянное взаимодействие. Ни Индиана, ни Калифорния не представляли собой американского захолустья, и даже самое их местничество придавало им некоторые общие черты. Благодаря этому они создали не только две жизнеспособные литературные школы местного колорита, но и тип американской литературы, прочно связанный с родной почвой и местными характерами. Документальную литературу этого периода вряд ли можно отнести к какой-либо одной из указанных школ: основное внимание она уделяла сравнительно недавно заселенным районам за Миссури и в этом более походила на литературу Калифорнии, но ее объективный научный подход напоминал реализм Индианы.

Писателем, наиболее плодотворно использовавшим знание жизни на Среднем и Крайнем Западе, был Марк Твен. В его творчестве пересеклись и сплелись совершенно разнородные литературные тенденции, в то время как у авторов меньшего масштаба эти же черты выступают обособленно или же встречаются в другой комбинации. Цель этой главы — рассказать о том, кем были эти писатели, что нового открыли они в Америке, какие литературные направления создали и каким традициям следовали.

Их открытия таковы: во-первых, романтическое прошлое, хотя исторические изыскания оказались более плодотворными

у их последователей из восточных и южных штатов, чем у самих писателей Запада. Расцвет исторического романа на Западе был связан с двумя районами: с французскими поселениями у Великих Озер и с навевающей дремоту Лотос Ленд испанской Калифорнии. Обе темы были хорошо разработаны.

Во-вторых, эти писатели открыли настоящее. На Западе складывалось общество, отличавшееся своеобразием структуры и быта. Ранее всего начав формироваться в Огайо и Индиане, оно не было высокоразвитым обществом: Морис Томпсон сравнивал его с подростком, у которого началась ломка голоса. Но вслед за Эгглстоном оно дало плеяду писателей-реалистов, сумевших безыскусно обрисовать облик материковой Америки. Традиция, заложенная Эгглстоном, расцветет позднее в творчестве писателей Среднего Запада последующих поколений — у Гарленда и Драйзера, Кэсер, Сэндберга и Льюиса. А то, что может быть определено как диалектная тенденция литературы Запада, позднее превратится в сентиментальную, связанную с фольклорным мироощущением поэзию таких третьеразрядных, но чрезвычайно популярных поэтов, как Карлтон, Райли и Филд.

На другом конце Запада Брет Гарт, Марк Твен и Джоаким Миллер также открыли своеобразное общество — царство первопроходцев и золотоискателей, крайне живописное, хоть и не долговечное. Реальный типаж практически исчез до того, как получил доступ в серьезную литературу, и уже тогда время покрыло его романтической чернью старины. Но на непродолжительный период — в 50-е и 60-е годы — Энджелс Кэмп и Ред Дог явились поразительными феноменами этой реальности. Другое героическое и почти столь же преходящее сообщество ковбоев до того, как оно было запечатлено первыми его летописцами, изображалось только в дешевых бульварных романах. Лишь в конце века Энди Адамс, Оуэн Уистер и Элфред Генри Льюис сделали скотоводческий фронт Запады предметом серьезной литературы.

Первооткрывателями были поэты, романисты и новеллисты. Не менее серьезную роль в литературном открытии региона сыграла и группа людей, интересовавшихся преимущественно ресурсами Запада — богатейшего природного достояния нации. Значительная часть лучших работ, написанных о Западе в те послевоенные годы, принадлежит геологам, исследователям, топографам, альпинистам и натуралистам. Иногда, подобно Джорджу Хорейшо Дерби (Джон Феникс) предыдущего поколения, они были одновременно и специалистами в своей области, и литераторами. Свои геологические и пейзажные зарисовки они часто насыщали действием и мыслью, создавая таким образом очень своеобразную литературу. Это относится, например, к Кларенсу Кингу, Джону Мьюиру, Джону Уэсли Пауэллу и Кларенсу Даттону.

Существовали и первооткрыватели мысли — пионеры интеллектуального поиска. Генри Джордж, мрачно наблюдая за строительством Тихоокеанской железной дороги, предсказывал, что она принесет роскошь кучке людей, а массе — нищету, и на этих своих наблюдениях возвел свою новую экономическую философию. Майор Пауэлл долго изучал бесплодные засушливые районы и совершенно точно рекомендовал нации, как необходимо заселять этот край, чтобы избежать эрозии почвы, засухи, наводнений и истощения земли. А Уильям Гилпин, которого называют первым политиком-космополитом, грезил великой мечтой о всемирной миссии американского народа. Так как книги этих трех авторов читают до сих пор и поскольку влияние их идей не может быть определено с достаточной степенью точности, все трое заслуживают место в литературном обзоре периода.

Наконец, к литературным открытиям послевоенного времени относится создание образа «настоящего американца» — просто-го человека. На страницах периодических изданий он появлялся и ранее, но обычно это были страницы юмористических журналов. Он был родственником Гусака и бедного белого и янки-фермера или янки-коробейника. Но в Калифорнии ему дали имя Пайк, и почти два десятилетия он был ведущим персонажем литературы Запада. Его назвали по имени округа Пайк (Миссури), но часто он был родом из Иллинойса, Арканзаса или северного Техаса: по сути округ Пайк был понятием таким же масштабным и расплывчатым, как и сегодняшний Лос-Анджелес. На восточной границе этот популярный Пайк незаметно смыкался с Гусаком и бедным белым из Индианы, Огайо или Кентукки. Его литературные портреты многообразны: от «акклиматизировавшегося человека» твенского «Позолоченного века» до Авраама Линкольна и от «Миссури пьюкс», вырезавших мормонов в 40-е годы, до Джима Бладсо и Гекльберри Финна.

Бэйрд Тейлор определил Пайка как англосакса, вновь впадшего в полудикость. Вернулся Пайк к варварству или нет, его открытие писателями в 60—80-е годы стало великим и чудесным событием для родной литературы. А когда пайки сами начали *писать* книги, мы впервые получили литературу, которую массовая Америка восприняла как свою собственную. В конечном счете величайшим открытием всего периода оказался Пайк — средний человек.

## 2

Перед писателями Запада, таким образом, лежала огромная страна, на недавно заселенной территории которой складывалась своеобразная человеческая общность, и писатели обратились к этому краю с таким пылом, с каким старатели

накинулись на золотоносные пески калифорнийских рек. Все делалось впервые: ни научные наблюдения, ни литературные разработки и реалистических, и романтических тем не имели прецедента. Открытие шло одновременно по нескольким направлениям, и, внимательно приглядевшись к началу 70-х годов, мы уже находим там все основные его находки. Первый в своем роде рассказ Брет Гарта «Работа на Красной Горе», позднее переименованный в «Млисс», вышел в 1860 году, а твеновская. «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса и другие короткие рассказы» — в 1867 году. Но с окончанием строительства железной дороги в 1869 году декорации и для более захватывающих спектаклей были уже готовы. «Счастье Ревущего Стана» и «Простой язык Правдивого Джеймса» Гарта появились в 1870 году. «Баллады округа Пайк» Джона Хэя, написанные на том же диалекте, что и стихотворения Брет Гарта, вышли в 1871 году, как и «Песни Сьерры» Джоакина Миллера. В том же году увидели свет и «Гусак-учитель» Эдварда Эгглстона, реалистически изображающий сельскую жизнь Среднего Запада, и первый том доморощенных стихов Уилла Карлтона. Тогда же, в 1871 году, была опубликована и «Восхождения на Сьерра-Неваду» Кларенса Кинга — во многих отношениях оказавшаяся самой волнующей книгой десятилетия, несмотря на то что она была написана геологом.

Ни одно из этих «открытий»: местный колорит, диалект, безыскусственность чувств, реалистическое описание деревенской жизни или величественных ландшафтов — в действительности не было открытием. Писатели и ранее с помощью региональных диалектов изображали местных типов или раскапывали прошлое страны — «Джон Brent» (1862) Теодора Уинтропа. Хотя Запад был новым регионом, о нем уже писали Льюис и Кларк, Пайк, Фремонт, Маркес Уитмен и другие. Описания местных пейзажей и бытовые зарисовки заполняли полосы газет и журналов с того времени, как Сэм Бреннан выгрузил на берег мормонов и распаковал типографское оборудование для «Кэлифорниэн стар» в 1846 году. Да и ранее Г. Р. Дана в «Двух годах простым матросом» уже рассказал миру кое-что об испанских городах, разбросанных на побережье от Хербы Буэна до Гуамоса. А еще раньше о дикой жизни Миссисипи и Огайо писали Тимоти Флинт и Джеймс Холл. Даже Пайк не был новым персонажем. «Олд Кэлифорния» в 1854 г. рекламирует роман «Билл из округа Пайк, или Горная дева», а в следующем году желтая от малярии физиономия Пайка была воспроизведена несколькими газетными юмористами, включая Оулд Блока, Джимса Пайпса из Пайпсвилла и Джона Феникса. Фургонь поселенцев уже шли на Запад, раскачиваясь под напев «Милой Бетси из Пайка», и не позднее 1858 года баллада была включена в «Золотой песенник Пута». Таким образом, Пайк стал почти стереотипом до того, как Брет Гарт впервые прикоснулся

к нему. Чуть восточнее Калифорнии встречаются и еще более ранние варианты этого героя в первобытном юморе Миссисипи, в анонимных газетных сериях, в «Спирит ов таймс» в «Картинках Джорджии» Огастеса Лонгстрита и в «Автобиографии Дэйви Крокетта из Теннесси».

Опираясь на традиции в большей мере, чем они об этом подозревали, горстка новаторов в начале 70-х годов преобразовала литературу Запада, а по существу — и всю литературу Соединенных Штатов. Гарт, Миллер, Эгглстон, Кинг и Карлтон (и, разумеется, Марк Твен, но о нем речь пойдет в следующих главах) дали литературе целого поколения основные направления развития.

### 3

Брет Гарт не был «аргонавтом». Он ехал из Олбэни, штат Нью-Йорк, в Калифорнию в поисках матери, а вовсе не золота. И хотя он сменил в Калифорнии много профессий — учительствовал в районе золотых приисков Ла Гранж, был в городке Юньон наборщиком в типографии «Нортерн Кэлифорниэн», аптекарем, репортером и редактором различных периодических изданий, особенно долго в «Голден ира» и в «Олд Кэлифорния», а также секретарем монетного двора, — он всегда оставался несколько в стороне от общего кипения страстей. По натуре это был высококультурный, книжный человек. В Сан-Франциско он благодаря своему трудолюбию и преданности делу сумел стать лидером блестящей группы писателей, в которую в различное время входили Марк Твен, Генри Джордж, Эмброс Бирс, Прентис Малфорд, Чарльз Уоррен Стоддарт, Джоакин Миллер, Кларенс Кинг и Айна Калбрит. Назначение Брет Гарта в 1868 году на должность главного редактора нового журнала Энтони Романа «Оверленд мансли» было свидетельством признания его литературного авторитета. За три года он не только сделал журнал лучшим периодическим изданием Запада, но и сам стал фигурой национального масштаба.

До этого его литературные успехи ограничивались местными рамками. Хорошо были приняты публикой его немногочисленные стихи и короткие рассказы-легенды, или на испанскую тематику, написанные в манере Ирвинга, а также серия пародий на популярных романистов, получившая название «Романы в сжатом изложении» (1867). Но первый действительно большой успех принес ему рассказ «Счастье Ревущего Стана», опубликованный во втором номере «Оверленд». Это была настоящая сенсация. «Атлантик» по телеграфу предлагал фантастические гонорары за аналогичные рассказы, потоком хлынули письма читателей. Вслед за «Счастьем» Гарт опубликовал другие рассказы, и среди них — лучшее из того, что когда-либо было им создано: «Изгнанники Покер-Флэта», «Компаньон Теннесси», «Мигглс», «Идиллия Красного Ущелья» и «Браун из

Калавераса». Вторично успех пришел к нему с выходом в свет поэмы «Простой язык Правдивого Джеймса», написанной на местном диалекте, которую он не сразу решился опубликовать. Поэма была перепечатана в многочисленных журналах, газетах и листках. Ее можно было увидеть в витринах магазинов любого города страны. Вместе с другими стихотворными произведениями о Пайке поэма была переиздана под названием «Китаец-язычник» в 1871 году.

«Счастье Ревущего Стана» сыграло роль образца для всех коротких рассказов Запада, относящихся к школе местного колорита; «Китаец-язычник» породил западную диалектную поэзию. И то и другое произведения открыли искушенным читателям нечто новое: романтический, живописный мир, персонажи столь же поразительные, как и диккенсовские, а, возможно, частично и восходящие к Диккенсу; чисто сработанную технику парадокса, благодаря которому негодяи наделяются благообразием рафаэлевских святых, а хулиганы и драчуны представляются даже с некоторым сочувствием; захватывало энергичное, не перегруженное излишними подробностями, точно рассчитанное повествование. Литературное ученичество Гарта было долгим. Как писатель он сформировался лишь ко времени создания «Счастья». И ему было предопределено судьбой оказать такое же влияние на литературу, какое оказывают лишь величайшие из писателей.

Однако, когда Гарт в 1871 году отправился из Сан-Франциско в Бостон и Европу, все его лучшие произведения уже были написаны. Необходимость зарабатывать на жизнь, требования читателей, всегда жаждущих «еще таких рассказов, как «Счастье», и, возможно, оскудевающее воображение заставляли его повторяться снова и снова. Всю оставшуюся ему жизнь он подражал самому себе. Последние двадцать четыре года он прожил за границей — в Германии, Шотландии и в Лондоне, где и скончался. В конце карьеры это был усталый, искусный, надежный поденщик, пишущий рассказы по заявкам и каждый год прибавляющий по тому к своему собранию сочинений. Лучшие его произведения остались далеко позади — в 70-х годах.

Талантом Гарт, несомненно, обладал, но он был не столь плодовит, как Марк Твен, и не столь близок к действительности. Читая один за другим двадцать томов его произведений, трудно избавиться от ощущения тягостного однообразия. Его герои — это диккенсовские персонажи, и нет ни одного профессионального игрока, который бы не был Джеком Оукхёрстом, каждый кучер такой же дородный и квадратный, как Юба Билл, у каждого старателя под черствой коростой таится сентиментальная душа, как у компаньона Теннесси или героически мелодраматичного героя рассказа «Как Санта Клаус пришел в Симпсон-бар».

И все же этот последний рассказ, как и более ранние, овещает также сильные стороны таланта писателя. Описание

лихой поездки Дика Буллена является шедевром динамического действия. А такой рассказ, как «Мужья миссис Скэгс», хотя и испорчен абсолютно неудачной концовкой, начинается столь же искусно, энергично и современно, как и лучшие произведения Джона Стейнбека. Гарт не обладал ложной стыдливостью. Он изображал проституток, пьяниц и малолетних сквернословов, не извиняясь при этом. Его детские образы всегда убедительны и выписаны с симпатией. Он умел вызывать смех, прекрасно чувствовал слово и ритм. Его стиль дисциплинирован и оригинален. И все же даже в лучших его произведениях чувствуется что-то театральное и фальшивое.

У американских бродяг для всякого, кто пытается примазаться к «братству дороги», не принадлежит ему в действительности, имеется специальное точное определение. Такого притворщика они называют «красивым покойничком». Несмотря на великолепную техническую вымуштрованность его лучших рассказов, Гарт сам был таким «красивым покойничком». То же самое, несомненно, можно сказать и о Джоакине Миллере, который в год первого триумфа Брет Гарта находился в Лондоне, пытаясь продать свои стихотворения издателем. Уроженец Индианы (по его словам, «рожденный в крытом фургоне, плывущем на Запад»), он вместе с семьей прошел Орегонской Тропой, получил в разных школах начатки образования, сам учительствовал и редактировал газету, запрещенную непосредственно перед войной за поддержку копперхедов \*. Он утверждал, что принимал участие в боевых действиях индейцев племени модок, с которыми жил некоторое время, и что произвел на свет по крайней мере одного метиса Миллера. В конце концов он женился на девушке из штата Орегон, но оставил ее, когда литературное честолюбие привело его в Сан-Франциско, литературные круги которого с равнодушием отнеслись к его творчеству.

Не с большим энтузиазмом приняли его и лондонские издатели. Не отличаясь чрезмерной скромностью, Миллер опубликовал «Тихоокеанские стихотворения» за свой счет и разослал их обозревателям. Результаты оказались шокирующими: каким-то образом варварская, технически несовершенная поэзия захватила воображение англичан. У. М. Россетти написал пламенный отзыв, прерафаэлиты радушно принимали Миллера. В сапогах из бычьей кожи и в котиковой шубе, он обедал со знаменитостями Лондона, а его красная рубаха и вельветовая ковбойская шляпа заставляли англичан, жаждавших поддерживать прирученного дикаря с фронта, изумленно взирать на него. С помощью Россетти и других членов кружка прерафаэлитов Миллер переработал «Тихоокеанские стихотворения» и переиздал их как «Песни Сьерры». В следующем году он вернулся домой поэтом, получившим международное признание, и человеком, всем обязанным лишь самому себе.



Если не считать его влияния, которое не было продолжительным, и авторитета, который воспринимали с легкой иронией, Миллер — фигура незначительная. Его длинные стихотворные драмы, его многоплановые буйные повести об индейских районах, Никарагуа, горах и пустынях — все это лишь «шум и ярость». Позерство поэта, бравое самовозвеличивание делают его в глазах читателей интересной личностью, хотя проблески истинной поэзии в его творчестве очень редки. За свою долгую жизнь он написал много книг, большая часть которых просто макулатура. Среди его драм только «Индейцы племени дан из Сьерры» много говорят современному читателю, а из его прозы, насыщенной невероятным враньем, вероятно, не останется ничего, за исключением «Жизни среди индейцев модок», часть которой, по его словам, автобиографична. Из его стихотворений лишь «Колумб» включается в антологии.

Под влиянием Гарта и Миллера — особенно Гарта — выросло целое поколение западных писателей школы местного колорита. Эти третьеразрядные писатели, в большинстве своем женщины, заслуживают лишь коллективного упоминания. В общем и целом их подход к местным обычаям и типам напоминает туристические впечатления. Можно сказать, что как группа они пытались избежать банальности, обыденности. Их интересовало в основном необычное, незаурядное. Они были неизлечимыми романтиками, одержимыми тягой к колоритности, и были точны лишь в воспроизведении внешнего. Дух Запада почти неизменно ускользал от них, потому что они не знали жизни края изнутри. Констэнс Фенимор Вулсон и Мэри Гартуэлл Кэсервуд усердно раскапывали прошлое и настоящее района Великих Озер и романтическую историю Новой Франции. Элис Френч (Октавия Танет) с несколько большим пониманием дела и большей тягой к реализму исследовала Дейвенпорт (Айова) и Блэк-Ривер (Арканзас). Мэри Хэллок Фут вернула публику к лагерям старателей в Айдахо и Колорадо, а также к темам, уже затронутым Брет Гартом.

Хотя этим авторам, особенно мисс Френч и мисс Фут, и удалось отдельные пассажи или целые рассказы, похоже, что их творчеству суждено забвение. Лишь одна писательница имеет право на бытие — Элен Хант Джексон, которая, оставив карьеру плодотворной литературной поденщицы-романтика, заинтересовалась судьбой индейцев и, полная искреннего возмущения, написала две книги. Одна — «Бесчестное столетие» (1881) — была гневным обвинением в связи с политикой федерального правительства в отношении индейцев. Вторая повесть — «Ра-она» (1884) — должна была сыграть для индейцев ту же роль, что «Хижина дяди Тома» для негров. Однако в процессе работы повесть превратилась в роман об исчезающей испанской общине Южной Калифорнии. Читая «Рамону» сейчас, трудно представить, что ее герой Алессандро — индеец, а Рамона —

полукровка. Однако книга по-прежнему пользуется спросом! едва ли найдется в стране библиотека, где не было бы нескольких экземпляров романа. Благодаря экранизации с романом познакомились миллионы зрителей. Частично столь цепкое очарование объясняется и образами главных героев, и живописностью обстановки, и темой утраченной любви, но самые сильные страницы романа — портрет сеньоры Морено, хранительницы старых испанских обычаев, противницы американизации. Подчиняющаяся холодному чувству долга и безжалостному представлению о справедливости, сеньора Морено господствует в первой половине книги. Роман многое теряет, когда она уходит со сцены.

Следует упомянуть и Мориса Томпсона, романиста из Индианы, который в начале литературного пути издал «Мозаику жизни в Индиане» (1875), реалистическую книгу в манере Эгглстона. Однако он вскоре отказался от реализма, усвоил манеру более красочную и условную. Ни одна из его прозаических или стихотворных книг не пользовалась особым признанием вплоть до «Элис из старого Винсенна» (1900), ставшей бестселлером и увенчавшей его писательскую карьеру. Этот роман о Джордже Роджерсе Кларке \* и северо-западном регионе Соединенных Штатов послужил вместе с романами Мэри Кэсервуд о Новой Франции образцом для большинства авторов исторических романов последующих десятилетий. Однако, как бы ни были они популярны у своих современников, не к этим романтическим писателям школы местного колорита мы обратимся в поисках правдивого, глубокого изображения их современности. Скорее, подобные картины мы будем искать у реалистов школы Эдварда Эгглстона, заявившей о своем рождении, как и большинство других течений рассматриваемого периода, в 1871 году.

#### 4

Эдвард Эгглстон в отличие от Гарта вошел в литературу, минуя годы ученичества и внутреннего созревания. Литературный труд пришел на смену его деятельности методистского священника и редактора изданий для воскресных школ. Лишь достигнув зрелого возраста, он впервые прочитал роман.

Его старый учитель в Вивейе (Индиана) был влюблен в литературу и всячески внушал эту любовь ученику, который, не имея систематического образования, пользовался хорошей библиотекой своего отца и прилично знал Библию, историю и античную литературу. В течение шести месяцев он работал выездным священником на юге штата Индиана, но по состоянию здоровья был вынужден оставить это занятие и стать проповедником в Миннесоте. Несколько позднее он редактирует в Чикаго детское издание «Маленький капрал», затем переходит в «Индепендент» и, наконец, в «Харс энд хоум», который делает

популярным — наподобие того, как Гарт создал репутацию «Оверленд», публикуя по частям «Гусака-учителя». Он старался уверить издатель и самого себя, что, хотя произведение и написано как роман, оно содержит полезные нравственные уроки.

Художественный метод Эгглстона совершенно отличен от гартовского. Вдохновленный «Историей живописи в Нидерландах» И. Тэна, Эгглстон напоминает голландских живописцев в точности и реалистичности изображения местных нравов, обычаев и речи, мельчайших подробностей быта, выписанных тщательно и с любовью. Он хорошо знал леса Индианы, в которых вырос и по которым ездил, путешествуя от прихода к приходу, и ровно через год после триумфа Гарта Эгглстон выступил против его романтической поэтики. Сам он никогда не изменял реализму, хотя мастерство писателя пришло к нему после литературного дебюта. И позднее, когда начали выходить его работы по историографии, цель и метод Эгглстона не претерпели существенных изменений.

«Гусак-учитель» (1871) — роман технически слабый. Поступки его героя-злодея не мотивированы, эпизоды романа часто отрывочны и не развернуты и напоминают плохо смонтированную киноленту, язык неуклюж, автор постоянно и назойливо проповедует. Лучше сделаны «Разъездной священник» (1874), «Рокси» (1878) и «Грейсоны. История Иллинойса» (1888). Менее удался «Гусак-ученик» — свидетельство творческого спада. В целом он написал семь романов о Западе, большое количество произведений для юношества и два солидных тома по истории. Подобно Гарту, он был создателем собственной поэтики, легкой краеугольным камнем в фундамент целой литературной школы. Доказательством ценности его художественного метода может служить хотя бы то обстоятельство, что даже самые топорные из его произведений читаются без скуки.

Рядом с Эгглстоном как основоположники среднезападной школы местного колорита стоят два поэта, писавших на диалекте. Первый — Джон Хэй, автор «Шести баллад из округа Пайк» (1871), которые были написаны им наспех и о появлении которых он сожалел всю оставшуюся жизнь. Возможно, эти баллады были написаны под влиянием диалектных поэм Гарта, хотя Марк Твен считал, что они были созданы до «Правдивого Джеймса». Хэй родился на Среднем Западе, посещал школу в округе Пайк (Иллинойс) и изучал юриспруденцию вместе с Линкольном. Его поэмы отличаются правдоподобием, несвойственным Гарту. Его персонажи разработаны глубже, в них меньше эффектной парадоксальности. Его «Джим Бладсо» и «Короткие штанишки» стали поистине народным чтением, а из шести баллад только «Голайер» — история о никудышном кучере почтовой кареты, собственным телом закрывшем ребенка от бандитских пуль, — написана в духе Брет Гарта. Это самая слабая баллада сборника.

Впоследствии Хэй только однажды вернулся к западной тематике, работая вместе с Николейем над десятитомной биографией Линкольна. Однако его незрелые короткие баллады, которых он стыдился, очевидно, будут помнить дольше, чем монументальную биографию президента. Образ Джима Бладсо так правдив и жизнен, что не может умереть.

Год литературного дебюта Хэя и Эгглстона, с жаром взявшихся за разработку реалистической тематики и социально-типологических образов Среднего Запада, отмечен также выходом первой из поэтических книг плодовитого мичиганского версификатора Уилла Карлтона. Обычно это имя не упоминают, когда разговор идет о серьезных, оригинальных художниках, и нет особых причин возражать против этого. Однако не следует и совершенно замалчивать Карлтона. Несмотря на то что его стихотворения технически несовершенны, а чувства, выраженные в них, примитивны, они по-прежнему пользуются популярностью. Он был первым «народным лауреатом» Среднего Запада, и такие стихотворения, как «К приюту за холмом», «Убежавшая с тем, кто красивее», занимают в сознании массовой Америки столь же прочное место, что и лучшие стихотворения Джеймса Уиткомба Райли. Они оба спекулировали на мелодраматических ситуациях, счастливых развязках, чувствовании милой и заурядной добродетели, хотя Райли — более профессиональный стихотворец и более опытный режиссер, нежели его предшественник. Одновременно с умением затронуть безыскусные чувства простого народа (которые в литературе часто называют «стереотипными чувствами стереотипных людей») Райли обладал и остроумием, и наблюдательностью, и способностью удачно выразить мысль в ладно скроенной фразе, часто поднимающими его произведения, несмотря на всю их шаблонность, над уровнем посредственности. И хотя, подобно Карлтону, Райли во многом был совершенно недостоверен в изображении деревенской жизни Среднего Запада, он, опять-таки подобно Карлтону, был одновременно восхитительно общедоступен и банален. А ведь общедоступность издавна — составная часть магической формулы популярности, во всяком случае в Америке.

Индианская литературная школа, основанная Эгглстоном, продолженная «Мозаикой жизни в Индиане» Томпсона и модифицированная в творчестве Карлтона и Райли, характеризуется особой преданностью ее учеников художественным образцам, созданным основоположниками. Хотя реализм Эгглстона во всей его бескомпромиссности проявился в штатах, расположенных западнее Индианы, значительно позднее его влияния не избежал ни один писатель Среднего Запада. Например, Бут Таркингтон и Мередит Николсон, хотя каждый из них по-своему демонстрирует удивительную мешанину из романтизма, реализма и банальностей, присущих с самого начала литера-

турной традиции Индианы. В «Мосье Бокере» (1900) Таркинтон столь же романтичен, как и Томпсон. В «Джентльмене из Индианы», «Великолепных Эмберсонах», «Элис Адамс» (1921) и других романах он проявляет мералистское рвение и серьезную склонность к реализму, напоминая об Эгглстоне, в цикле о Пенроде ему свойственны наблюдательность, шутовство и радостное наслаждение обыденностью, отличавшие Райли. Аналогичным образом Николсона относят то к реалистам, то к романтикам [«Порт пропавших без вести» (1907), «Индианская хроника» (1912), «Дом с тысячью свечей» (1905), «Поэт» (1914)].

Подобное смешение реализма с романтизмом можно найти также в лучших ковбойских романах. Самыми реалистичными из них кажутся романы Энди Адамса. Это солидные, похожие на романы Дефо книги, описания которых настолько сдержанны и точны, что они сходят за исторические. Лучший из романов — «Дневник ковбоя» (1903) — представляет собой обобщенное описание всех тех переходов, в которых Адамс участвовал на самом деле, перегоняя скот из Техаса на ранчо Небраски и Монтаны. Другие, столь же достоверные романы — «Сток» (1905), «Рид Энтони, ковбой» (1907), то же относится и к сборнику рассказов «Тавро для скота» (1906).

Другой ковбойский писатель, Элфред Генри Льюис (Дэн Квин), известен как автор целой серии романов о Вулфвилле, первый из которых был опубликован в 1867 году. Возможно, что средний читатель, прочитав один, никогда не возьмет в руки остальные, но, для того чтобы полностью ощутить литературный аромат ковбойского Запада, необходимо выслушать до конца хотя бы одну из бесконечных неторопливых историй Старого Скотовода.

Льюис, как и Адамс, был рядовым ковбоем и писал о том, что знал досконально. Однако самый популярный ковбойский роман был написан гостем из Пенсильвании и Гарварда. Начав с коротких рассказов о жизни на ранчо, собранных в сборниках «Лин Маклин» (1898) и в «Босс Джиммиджон» (1900), Оуэн Уистер затем публикует «Виргинца» (1902), который, несмотря на некоторые романтические черты, столь презираемые Адамсом, становится литературной вехой. Книга до сих пор хорошо читается, ее действие развивается энергично, она полна юмора и достоверна. Уистер умел очень точно слышать диалект и, очевидно, великолепно знал жизнь на ранчо. Американские дети, играя в ковбоев, до сих пор часто говорят: «Улыбайся, когда так меня называешь», а история ухаживания ковбоя за школьной учительницей превратилась в избитый сюжет бесчисленных фильмов и телеспектаклей, посвященных Дикому Западу. Однако роман, которому подражают эти поделки, обладал и художественной силой, и чувством достоинства, недостижимыми для подражателей. Адамс, Льюис и Уистер сде-

ляли ковбоя уважаемой фигурой серьезной прозы. И никто — ни Юджин Мэнлав Роудес, ни другие — не сумел превзойти этих писателей. Лучшие их произведения были написаны тогда, когда школа местного колорита уже изживала себя как единое литературное течение. Они в равной мере обязаны и честному реализму Эгглстона, и ласковой сентиментальности: Гарта.

5

Общим немалым достоинством лучших ковбойских писателей и романистов школы Эгглстона было их знание того жизненного материала, о котором они писали. То же самое можно сказать о геологах и натуралистах, которые в последние три десятилетия XIX века охотно записывали свои наблюдения над особенностями недавно открытого региона. Мода на такого рода литературу приобрела национальные масштабы. На Востоке в течение всей своей полувековой писательской деятельности ее насаждал Джон Берроуз. В его эссе философские размышления в духе Эмерсона и Уитмена перемежаются научными описаниями птиц, деревьев и цветов района Кэтскилских гор. Активными соучастниками его произведений были читатели, которые или посылали ему свои записи в письмах, или же сообщали их устно, специально для этого посещая «Рубленные стены», как Берроуз называл свой дом.

Кларенс Кинг — крупнейший из писателей-натуралистов Запада — был некоторое время членом писательского кружка, сложившегося в Сан-Франциско вокруг журнала «Оверленд», и в 1871 году отрывки из его «Восхождений на Сьерра-Неваду» печатались в «Атлантик» вместе с рассказами Брет Гарта. Кинга обычно не считают новатором в литературе или писателем, оказавшим влияние на литературный процесс. Однако «Восхождения на Сьерра-Неваду» многократно переиздавались и были широкоизвестны. Среди его многочисленных друзей значатся обожавшие его Хэй и Генри Адамс. Он был первым натуралистом и писателем Запада, получившим признание читателей.

«Восхождения на Сьерра-Неваду» — замечательная книга. Она написана увлекательно, весело, энергично и остроумно. Ее язык отточен и легок. Кинг, вероятно, мог бы стать первоклассным писателем, задайся он такой целью: и, хотя, помимо научных работ по геологии, он написал одну-единственную книгу, ей суждена долгая жизнь. В главе «Семейство Ньютис из Пайка» он описывает клан жителей этого округа, к которым испытывает своеобразную тайную симпатию. Это один из лучших и психологически виртуозно выполненных литературных портретов Пайка. Романтические главы наподобие «Ручья Коуиа» с такой легкостью воспроизводят писательскую манеру

Брет Гарта, какой мог позавидовать сам Гарт. В «Обезглавленных холмах» он рисует образ безудержно веселого Пайка-художника — болтливого самоучки. А центральные главы книги, посвященные восхождениям на Тиндал, Шасту и Уитни, представляют собой лирическое повествование, насыщенное описаниями природы и выполненное на высочайшем литературном уровне. Рассказ «Шлем Мамбрина», столь нежно любимый и громко расхваливаемый друзьями Кинга, никак не связан с литературой Запада, хотя и был написан в форме письма другу в Сан-Франциско.

Из всех литературных последователей Кинга крупнейшим пейзажистом Запада, без сомнения, является Джон Мьюир. Несмотря на то что, прожив десять лет в долине Йосенити, он с тех пор считается калифорнийцем, немногие знали весь континент так, как он. Он прошел его вдоль и поперек, обследовал побережье Аляски, Сьерру, Средний Запад, Флориду, Неваду, Уту, Орегон. И когда он говорил о Северной Америке, он знал, о чем говорил.

Мьюир, вероятно, никогда не встречался с Кингом, однако их биографии переплетаются. Первая работа Мьюира, посвященная проблеме происхождения долины Йосенити, была опубликована в нью-йоркском «Трибюн» одновременно с рассказами Кинга, печатавшимися в «Атлантик». Наставая на ледниковом, а не тектоническом происхождении Йосенити, как полагали Кинг и его руководитель Уитни, Мьюир начал дискуссию, завершившуюся полным разгромом Уитни. Мьюир знал, что долина была проложена ледниками: он пешком исходил район, следуя за рытвинами и полосами, оставленными на скалах массаами льда.

Своей кипучей деятельностью Мьюир без помощи правительства и академических кругов завоевал себе репутацию авторитетного геолога и натуралиста. Он был приглашен в экспедицию на Аляску, финансировавшуюся Гарриманом \*, и вместе с выдающимися учеными изучал лесные массивы страны. Великие мира сего — Эмерсон, Теодор Рузвельт и другие — проложили тропинку к его дому в долине Йосенити. Благодаря его любви к природе и его знаниям у нас была введена система заповедных лесов и лесопарков. Несмотря на занятость, он написал большое количество статей и вел объемистые дневники. Однако большая часть его книг была собрана лишь посмертно, а подборка его дневниковых записей впервые опубликована только в 1938 году. Между 1894 и 1918 годами он написал девять книг, ставших частью нашей литературы, среди них «Горы Калифорнии» (1894), «История моего детства и юности» (1913) и «Путешествия по Аляске» (1915).

Эти произведения позволяют считать Мьюира лучшим натуралистом-писателем Америки после Генри Торо. Неутомимый, преданный своему делу, восторженный, целеустремлен-

ный до упрямства, Мьюир создавал вещи, отображавшие его свободную и полную радости жизнь. Его стиль изобилует восклицаниями и междометиями, и, хотя писал он медленно, а его идеи, если их подвергнуть анализу, не отличаются поразительным разнообразием, его произведениям свойственна живейшая непосредственность. Его слова мелькают и кружатся, как снежинки, а иногда, например в эссе из «Наших национальных парков» (1901), они жгучи, как искры от костра. Гуманный, простосердечный, доброжелательный Мьюир имел много друзей, и немалое число их он научил любить природу. И еще долго многие и многие поколения приобщатся к природе, прочитав его книги.

Не каждый из наших районов, изобилующий изумительными уголками, получил своего *genius loci*<sup>1</sup> наподобие долины Йосемити, имевшей Мьюира. Однако Гранд-Каньон в Колорадо может похвастать сразу двумя писателями, причем оба были и геологами, и исследователями. Один из них — последний великий исследователь континентальной Америки, майор Джон Уэсли Пауэлл, потерявший руку в битве под Шайло. В 1869 и в 1871 годах он дважды прошел на лодке реку Колорадо от Грин-Ривер-Кроссинг до дельты, пристав чуть выше современной Боулдер-Дэм. Описание первого похода, занявшего около четырех месяцев — с мая по конец августа, — в течение которого Пауэлл преодолел более тысячи миль по дикой и опасной реке, часто протекающей по дну каньонов между отвесными скалами два километра в высоту, было опубликовано для Института Смитсона, субсидировавшего экспедицию. Книга называлась «Исследование реки Колорадо» (1875). Этот тяжелый фолиант является одной из лучших приключенческих книг в американской литературе.

В качестве директора Зонального географического и геологического управления, а позднее как заместитель директора Геологического управления Соединенных Штатов (унаследовав кресло Кинга) Пауэлл сумел собрать вокруг себя когорту способных людей, в числе которых оказались У. Х. Холмс — пока малоизвестный, но интересный живописец с Запада, и капитан Кларенс И. Даттон. Более десяти лет проработал Даттон в поле: сначала в Уте, затем в Гранд-Каньоне, а затем среди потухших вулканов Орегона и в пустыне, неподалеку от горы Тейлор в Нью-Мехико. Из его монографий две книги могут быть рекомендованы для чтения: «Геология высокогорного плато в штате Ута» (1879—1880) и «История третичного периода в районе Гранд-Каньона» (1882). Это не только работы по геологии, но и прекрасная, высокоэмоциональная натурфилософская проза. Объем книг и длина заглавий, очевидно, отпугивают читателей, ни одна из них не переиздавалась. Однако обе

---

<sup>1</sup> Местного гения (*лат.*).



книги доставляют огромное наслаждение и пользу, так как их геологические разделы оживлены великолепными описаниями. Фантастические рельефы и краски этого края, не укладывающиеся в традиционные представления, всегда поражали наблюдателей. Сотни писателей пытались передать словами глубину Гранд-Каньона, но описания Даттона остаются лучшими из тех, которые когда-либо увидели свет, потому что он понимал и любил это грандиозное творение. И Мьюир, и Берроуз, описывая Гранд-Каньон, в значительной мере повторяют Даттона, а Чарльз Дадли Уоррен совершенно свободно использует его тексты, не всегда ссылаясь на источник. Десятки скал и амфитеатров Гранд-Каньона носят имена, данные им Даттоном, но две его книги об этом крае заслуживают более широкую аудиторию, нежели та, которую они имели до сих пор.

## 6

Жизнь Крайнего и Среднего Запада — фермерские поселения Индианы, Огайо, Иллинойса и Айовы, недолговечные общины старателей и ковбоев, прошлое испанских и французских черногорских миссионеров — с различной степенью точности была отражена в литературе последних трех десятилетий XIX века. Кроме того, письменность отразила и попытки предсказать будущее, также имеющие литературное значение. Мы считаем возможным завершить разговор о литературе этого периода очерком, посвященным провидцам-мечтателям.

Один из них — Генри Джордж — подробнее рассмотрен в следующих разделах этого тома. Его наблюдения относительно пути формирования системы землевладения на Западе легли в основу труда «Прогресс и нищета», политико-экономические выводы которого привлекали к нему миллионы читателей в течение последующих шестидесяти лет. Он предсказывал постепенную революцию в земледелии, в результате которой вся земля окажется собственностью ничтожно малого числа владельцев, и стал фигурой международного значения как горячий защитник единой налоговой системы.

Другой — Уильям Гилпин, — еще с экспедицией Фремонта в 1842 году посетивший Северо-Запад и поэтому ранее большинства других американцев представивший истинные размеры и возможности страны, не получил какого-либо признания за границей. Однако он мыслил в основном международными категориями. Офицер-доброволец из Миссури в период Мексиканской войны, первый губернатор Колорадо, сумевший удержать этот штат в федерации, он большую часть своей жизни вынашивал одну великую мечту, в которой в намеке содержались некоторые особенности геополитического мышления Макиндера и других деятелей грядущих поколений. Внутри того, что Гилпин называл Изотермическим Зодиаком, ему казалось,

он определил зону, в которой должны были сойтись все высокоразвитые цивилизации. Большая часть Соединенных Штатов лежит в пределах этого подвижного пояса, и поэтому, а также благодаря единству территории Америка должна стать первым и лучшим образцом общества, достигшего состояния постоянного мира, процветания и единства, и должна научить этому все страны земного шара. Детальный анализ теорий Гилпина займет целые страницы: его гипотезы одновременно и фантастичны, и прозорливы. Многие из того, что им было написано в «Центральном золотом районе» (1860 год, переиздан в 1875 году как «Миссия североамериканского народа») и в «Межконтинентальных железных дорогах» (1890), было подтверждено более поздними геополитическими исследованиями. Даже его излюбленная идея о необходимости связать железнодорожным сообщением Америку с Азией через Берингов пролив, а Европу с Африкой — через Гибралтар по-своему была абсолютно логичной. Открытие Запада, проходившее на глазах Джорджа и Гилпина, было равносильно мощному обществу взрыву. И поэтому вполне естественно, что оно породило не только новую теорию собственности и новую экономическую философию, но и зачатки геополитической теории, первую попытку мыслить масштабами планеты.

Современные географы едва ли перечитывают, как Библию, интересно написанные книги Гилпина, а вот специалисты по зональному планированию вновь и вновь возвращаются к монографии майора Пауэлла «Земли засушливого района» (1878). На первый взгляд обычный доклад правительству о состоянии земли и системы ирригации на Западе, эта работа содержит зачатки значительно более серьезных размышлений. Хотя программа, рекомендованная в ней, никогда не была проведена в жизнь из-за оппозиции западных конгрессменов, эти отчеты и рекомендации, имеющие целью коренное изменение системы обработки общественных земель в засушливом поясе, явились первой ступенью создания службы мелиорации, преобразовавшей целые районы Запада. Кроме того, в процессе изучения западных территорий и их природных ресурсов Пауэлл пришел к мысли, что американской нации необходимо изменить способ заселения этих районов, если она заинтересована в избавлении от стихийных бедствий. Он считал, что законы Гомстеда\* к Западу неприменимы, что размеры ферм необходимо увеличить и что, возможно, правительство должно контролировать количество и состав пахотных земель. Весь край необходимо возделывать постепенно, в соответствии с долгосрочным планированием. Пауэлл очень убедительно продемонстрировал эффект удаления дерна в районах с малым количеством атмосферных осадков; показал последствия избыточного количества скота, чрезмерного расхода воды и истребления лесов и лугов в бассейнах рек. Практически раньше большинства других

и глубже всех он осознал истинные масштабы инженерной и социально-плановой деятельности, необходимой для того, чтобы огромные территории страны не превратились в бесплодную пустыню. Он предсказывал пыльные бури, наводнения, эрозию почвы, а также социальную эрозию, сопровождающую эти явления. В одном этом томе он обрисовал всю огромную федеральную программу мелиорации и сохранения земель. Тогда, в 1878 году, он создал план всех будущих мероприятий: мелиоративных дамб, службы контроля уровня рек, службы лесозащиты и программы лесопосадок. Он также рекомендовал ныне применяемую на практике систему выкупа земель у владельцев для использования их в общегосударственных интересах.

Постепенно к середине XX века склоны холмов вновь стали покрываться травяным покровом, а районы пыльных бурь стали восстанавливать свое плодородие. Оскудения земель не произошло бы, если бы программа Пауэлла, разработанная им в 1878 году, была применена в свое время. Он был последним из исследователей и первым из великих сельскохозяйственных экономистов национального масштаба. И хотя он вовсе не был литератором, мы считаем необходимым упомянуть его книгу, бывшую во многих отношениях самой значительной работой целого периода и ставшую руководством по вопросам бережного отношения к тем природным богатствам, которые были нам щедро дарованы судьбой. Многие из писателей, рассмотренных выше, дали нам представление о том, как протекала жизнь на Западе или как она могла бы протекать. Пауэлл дал нам фантастически точную картину того, как она должна была складываться на Западе. Не задаваясь собственно литературной целью, он создал прозу, в которой было больше жизни, чем во многих произведениях профессиональных писателей и поэтов Запада.

## 54. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛИЗМА: УИЛЬЯМ ДИН ХОУЭЛЛС

### 1

Одним из способов решения литературной дилеммы в 70—80-е годы был, таким образом, просто временный отказ от литературной деятельности, как в свое время поступили Франклин, Джефферсон и Линкольн; но прозаиков и поэтов не так-то легко заставить умолкнуть. На всякого Франклина есть свой Ирвинг, на Джефферсона — Купер, на Линкольна — Уитмен. А в этот более поздний период появились некие Уильям Дин Хоуэллс, Генри Джеймс и Марк Твен, и каждый из них готов был вступить в схватку с действительностью и выразить ее в литературной форме.

Реализм так же стар, как сама литература. Хотя его часто считают противопоказанным роману, именно романисты на самом деле развивали его, дабы придать своим сочинениям достоверность. В XIX веке мощным стимулом развития реализма послужило творчество Вальтера Скотта — его описания пейзажа и одежды, его попытки воспроизвести диалекты и нравы, особенно людей низших классов. Бальзак приступил к созданию «Человеческой комедии», прочитав цикл «Уэверли», влияние Скотта признавали также Гальдос, Толстой, Мережковский и многие другие романисты, за исключением английских. Еще в 1826 году слово *realisme* употреблялось во Франции для обозначения литературного метода, используя который писатели стремились к правдивому воспроизведению жизненной действительности; и противостоял ему не романтизм, но классицизм, склонявшийся к имитации скорее не природы, а искусства. И романтик, и реалист хотели дать подробное истолкование окружающего мира. Романтику нужен был красочный, но в то же время достаточно реальный, дабы не утратить правдоподобности, фон, на котором разыгрывались страсти человеческой души, представлявшие для него основной интерес; ну а цель реалиста заключалась в том, чтобы точно и объективно изобразить обстоятельства и характеры, как таковые. Различие было не в выборе материала, а, скорее, в намерениях.

Это позволяет выявить лучший критерий для отличения писателя местного колорита от истинного реалиста, при этом невозможность достичь точности критерия страшует от

догматической классификации. Реализм всегда остается условным термином, зависящим от авторской точки зрения на реальность. Для Стендаля он означал стремление правдиво и точно выразить то, «что есть человек в этом мире». Джордж Элиот с ее преимущественным вниманием к простым предметам обнаруживает влияние Вордсворта; ее принцип «правдивого отражения обыденных вещей», провозглашенный в романе «Адам Бид» (1859), совпадает с принципами Уильяма Дина Хоуэллса. «О бедная Реальная Жизнь, столь мною любимая, — писал он в 1872 году, — смогу ли заставить других разделить тот восторг, какой я испытываю, глядя в твое глупое и скучное лицо?» Широкоизвестно его определение: «Реализм — это не более и не менее, чем правдивое рассмотрение материала», но редко цитируемое окончание фразы: «...и Джейн Остин была первой и последней из английских романистов, кто рассматривал материал с полной правдивостью», выдает ограниченность этого определения.

Можно привести немало параллелей (Троллоп: реализм — это «правдивое отражение нравов реальной жизни». Эгглстон: реализм — это «верная картина жизни и нравов»), чтобы убедиться в том, что американский реализм XIX века был частью мирового движения. Благодаря ложно понятому патриотизму историки слишком часто рассматривали нашу литературу изолированно. Стоит только открыть американский журнал, скажем, за 1850 год, чтобы обнаружить, как много наших публикаций в условиях отсутствия закона об авторском праве принадлежало перу английских авторов. Широкое распространение в Америке нашли и английские периодические издания; они доходили до Хоуэллса в Огайо и Брет Гарта в Калифорнии, играя существенную роль в формировании наших реалистов. Ни один из них не кончал колледжа: Дефорест, Хоуэллс, Эгглстон, Марк Твен, даже Генри Джеймс избежали традиционного образования, которое могло иметь отрицательный эффект. Большинство из них много путешествовало. Перед тем как написать первый роман, Дефорест пробыл за границей шесть лет, Хоуэллс — пять, а Джеймс провел на чужбине большую часть своей жизни. Реализм, каким он сложился в Америке 70—80-х годов, был в своих основных чертах тесно связан с литературой по ту сторону Атлантики.

Бесспорно, его развитию способствовали некоторые домашние факторы. Очевидно влияние трансцендентализма. Подобно Уитмену, реалист (по словам Хоуэллса) «каждой клеточкой тела ощущает равенство предметов и единство людей»; «все ему кажется значительным», «ничто, созданное богом, не заслуживает пренебрежения». Распространение демократического духа облегчило писателям приятие низких и повседневных тем в качестве подходящего литературного материала, а Гражданская война, объединившая людей из самых отдаленных

уголков страны, возбудила интерес к местным особенностям и бесповоротно разрушила некоторые романтические заблуждения. Все же утверждение, будто реализм пришел в американскую литературу с западной границы, не подтверждается фактами. Хотя калифорнийские рассказы Брет Гарта взбудоражили публику, стимулировав развитие этого жанра по всей стране, писатели Новой Англии уже в течение нескольких десятилетий описывали забавные человеческие типы, черпая материал в собственной действительности. Брет Гарт воспитывался в Нью-Йорке, писал с оглядкой на Восток и возвратился туда, как только литературный успех позволил ему это. Дефорест, первый реалист, открыто объявивший себя таковым и во многих отношениях наиболее последовательный, жил на восточном побережье. Хоуэллс и Эгглстон следовали тому же образцу: рожденные к западу от Аллеган, влекомые к литературной карьере юношеской любовью к романтическому и возвышенному, они стали реалистами лишь после того, как осели на восточном побережье. Эгглстон жил в Бруклине, когда «История живописи в Нидерландах» Тэна вдохновляла его на создание книги о своих детских годах в Индиане. Хоуэллс, человек в некоторых отношениях более утонченный, чем его кембриджские друзья, перешел от заурядных романтических стихов к реалистической прозе под влиянием Джеймса, Лоуэлла и других литераторов, группировавшихся вокруг «Атлантик». Ранние реалисты были в том или ином смысле «простаками за границей»; подобно Марку Твену, источник писательского вдохновения они находили в контрасте между нравами родных краев и тем стилем, что имел укорененную традицию в международной культуре. Они были отступниками, волею случая оказавшимися в старом, более развитом обществе.

## 2

Иные из них всего лишь перебрались из сельской местности в большой город. Элизабет Дрю Барстоу Стоддард, которая поселилась в Нью-Йорке, выйдя замуж за Генри Стоддарда, сочинила свой первый роман «Семья Моргенсонов» (1862), основываясь на воспоминаниях детства, проведенного в Маттапуассе, на берегу залива Баззард. Героиня романа, мятежная, страстная Кассандра — это она сама, да и многие другие персонажи книги были распознаны их прототипами. Вероника Моргенсон, чувствительная и эксцентричная юная затворница, — существо одновременно таинственное и вполне жизненное; полковник Хиггинсон, бесспорно, имел ее в виду, когда писал своей жене, что та поймет, что представляла собою Эмили Дикинсон, если прочитает романы г-жи Стоддард. Еще более примечательны разочарованные дамы средних лет, живущие напряженной, хоть и замкнутой жизнью, — запоминающиеся образы Сары Остер из «Двоих

мужчин» (1865) и Роксаланы Гейтс, «бесстрастной души», героини романа «Здание храма» (1867). Мужчины распадаются на две категории: неотразимые, прожигающие жизнь байронического толка странники вроде Десмонда Сомерса и Джорджа Гейтса («красив, как Ромео, и беспутен, как Антоний») и крепкие, средних лет, домашней закваски, герои вроде Джесона Остера и Аргуса Гебса, которые в финале женятся на героинях. Из трех романов миссис Стоддарт «Семья Моргенсонов» лучший, ибо в нем меньше всего романтических штампов, наносящих ущерб реалистическому письму автора. Ее пристальный интерес к подавляемым или изломанным чувствам, ее отрывистый и смутный стиль удивительным образом придают ее романам современное звучание. Внешне характеры выглядят точно и разнообразно вылепленными фигурами; по существу же, они не более типичны для Новой Англии, чем обитатели Гремящих высот — для Йоркшира.

В творчестве Ребекки Блейн Хардинг Дэвис, плодовитого автора романов и новелл, которая сознательно искала свой материал в «этой обыденной, этой вульгарной американской жизни», реалистическое начало смешивалось с чувствительностью. Родившись в юго-восточной части штата Пенсильвания, она, выйдя замуж, переехала в Филадельфию; ребенком она жила в Алабаме и Уилинге, Западная Виргиния, где наблюдала условия работы на промышленном производстве, описание которых составляет ее наиболее оригинальный вклад в развитие реализма. В романе «Жизнь на сталелитейных заводах», опубликованном в журнале «Атлантик» в 1861 году, Хью Вулф, рабочий puddлинга с задатками скульптора, больной туберкулезом, и его сестра Дэб, горбунья с хлопчатобумажной фабрики, противопоставлены богатому владельцу завода и его пустым друзьям. В стремлении возбудить сострадание, как это делали Диккенс, миссис Стоу и Кингсли, Р. Дэвис нарушает собственные заветы обыденного. Совсем немногие из фабричных рабочих были горбунами, и только в трактате реформатора рабочий puddлинга мог так долго жить, болея туберкулезом. В «Маргарет Хаус» (1862), книге о жизни в трущобах, подобные же романтические мотивы возникают при описании молодого бунтаря — владельца мануфактуры, который отказывается от богатой наследницы ради бедной, но искренней Маргарет; с таким же рассчитанным пафосом повествуется о смерти увечной негритянки Луис Джейр. Сентиментальная пропаганда негритянских добродетелей наносит ущерб роману «В ожидании приговора» (1868). Более ранние вещи вроде рассказа «Джон Ламар» («Атлантик», 1862) с его отлично написанной фигурой выбитого из привычной, неизменной колеи раба по имени Бен ближе к истине. И на полярно удаленной точке располагаются рассказы типа «Вулканической интерлюдии» («Липпинкот», 1880), в котором две барышни, воспитанные

---

<sup>1</sup> См. роман Эмили Бронте того же названия. — *Прим. перев.*

в изысканной роскоши Нового Орлеана, узнают, перед тем как выйти в свет, что их мать была негритянкой. Среди многочисленных романов Р. Дэвис лучшим является «Джон Андросс» (1874); на фоне политической коррупции, царящей в столице штата Пенсильвания, автор изображает Анну Мэддокс: это один из лучших образов тех безжалостных соблазнительниц, которые разбивали жизнь мужчин в романах того времени. К сожалению, склонность к мелодраме и дидактике наносила ущерб даже лучшим ее вещам.

### 3

Первым американским писателем, заслуживающим наименования реалиста, был Джон Уильям Дефорест, писавший о Гражданской войне, освобожденных рабах, дамах-лоббистках и иных сюжетах и фигурах современной жизни, достигая при этом полной объективности, которой он, возможно, научился за границей. Сын процветающего мануфактурщика из Симура, Коннектикут, он провел два года в путешествиях по Ближнему Востоку (1848—1849) и еще четыре — во Франции, Германии и Италии (1851—1854). В течение девятимесячного пребывания в Дивонне, где никто не говорил по-английски, он встречался с европейцами, исповедовавшими самые разные взгляды, и упорно занимался французской литературой. Широкое знакомство с заграничной жизнью не превратило его ни в узколобого янки, ни в угодливого поклонника европейской культуры. Его первая книга, «История индейцев штата Коннектикут от первого упоминания до 1850 года» (1851), представлявшая собою новаторское исследование, обнаруживает реалистические склонности автора. А первый роман «Времена ведьм» (изд-во «Патнэм», 1856—1857) дает холодно-рационалистическое объяснение религиозному фанатизму в Сейлеме поры «охоты за ведьмами». Хотя повседневная жизнь изображена в метко найденных деталях, сентиментальный сюжет входит в противоречие с реалистической основой второстепенных характеров, и Дефорест разумно решил не печатать книгу вторым изданием. Более удачно сочетание мелодрамы и реализма в рассказе на современную тему «Морской утес» (1859). Опять-таки наиболее самобытными получились второстепенные характеры, старый Уорнер и Ма Трит, в фигурах которых в совершенстве передан подлинный дух Коннектикута.

После женитьбы в 1856 году Дефорест ежегодно проводил несколько месяцев в Чарльстоне, Южная Каролина. Он был там, когда началась война, успев уехать вместе с женой и ребенком на последнем пароходе. Набрав в Нью-Хейвене роту добровольцев, он участвовал в качестве ее командира в луизианских сражениях и позже в Шенандоа. Его рифмованный пересказ некоторых эпизодов «Под разноцветными знаменами», включенный вместе с более ранними стихами в сборник «Поэмы: литератур-



ная смесь и Палестина» (1902), звучит деревянно и вымученно. Поэтом Дефорест не был. С другой стороны, длинные письма к семье представляют собой наиболее яркую картину армейской жизни, какой мы располагаем. Из этих писем он скомпоновал семь очерков, например «Первый раз под огнем» и «Форсированный марш», которые публиковались в годы войны; добавив к ним восемь новых глав, он составил целую серию увлекательных очерков «Приключения волонтера», которые были опубликованы лишь в 1946 году. После того как враждебность между воюющими сторонами ослабла, он был назначен руководителем бюро Фридмена в Гринвилле, Южная Каролина, где мог воочию наблюдать трудности Реконструкции. Некоторые из очерков, основанные на этих наблюдениях, печатались в журналах тех лет.

В конце 1865 года Дефорест закончил книгу с довольно неуклюжим названием «Мисс Равенел уходит к северянам» (1867), лучший свой роман, где дано отличное описание Гражданской войны. Никто до него не изображал войну так правдиво. Не рыцарский роман о турнире голубых и серых шинелей<sup>1</sup> — Дефорест пишет историю изнурительной борьбы со слякотью, грязью, болезнями, глупостью, бюрократией и взяточничеством. Страх и паника, мучительная тревога, с какой даже храбрейшие ожидают начала сражения, ужас полевых госпиталей — все это передано с совершенной откровенностью. Доброе и злое перемешано в человеческих характерах точно так же, как в самой жизни. Полковник Картер, один из сильнейших образов в американской прозе, объединяет в себе огромное личное мужество, профессиональное мастерство и достойную сожаления нестойкость моральных принципов. Скажем, роман с миссис Ларю не мешает ему по-прежнему испытывать чувство нежной привязанности к жене. Благородное стремление обеспечить семью вытесняет глубинное чувство чести и соблазняет на злоупотребление армейским имуществом. Когда он умирает от раны, полученной в бою, отказавшись от исповеди, один из его друзей справедливо говорит: «Il a maintenu jusqu'au bout son personnage»<sup>2</sup>. Миссис Ларю тоже долго оставалась непревзойденным в нашей литературе образом. «Дитя бальзаковской моральной философии», она шокирует юного уроженца Новой Англии Колберна (чей военный опыт совпадает с опытом самого Дефореста), утверждая, что Дон Жуан был «образцовым мужчиной». Любовь для нее была игрой, приятной и даже необходимой, но «не было мужчины, ради которого она отказалась бы от общества». Дефорест исследует ее характер бескомпромиссно, не скрывая ни ее аморализма, ни бесспорной доброты ее натуры. Покидая страницы романа женщиной более состоятельной, чем прежде, она стала первой

---

<sup>1</sup> Цвета армий южан и северян. — *Прим. перев.*

<sup>2</sup> Он сохранил свое лицо до конца (*фр.*).

блудницей в американской литературе, избегнувшей справедливого возмездия. Лили Равенел — тоже новая фигура. В отличие от покорных, богобоязненных героинь этого времени она живет собственным умом; Лили открыто возражает отцу, принимая, как правило, самостоятельные решения. Несмотря на его несогласие, она выходит замуж за неотразимого Картера. Дефорест показывает, сколь много в ее чувстве к нему было бессознательного физического влечения; оно побеждает даже ее предрассудки в отношении янки. Ощущения, испытываемые ею, после того как она узнает о его неверности, а затем смерти, воссозданы весьма тонко. Если описание ее вдовства, кончающегося тем, что она выходит замуж за Колберна, и напоминает слегка историю Теккереевых Амелии и Доббина, то все равно вполне оно твердой, мужской рукой. Поначалу Колберн кажется слишком уж близким к совершенству, однако армейская жизнь придает ему больше правдоподобия, а ко времени возвращения к гражданской жизни, измученный лихорадкой и тяжелой службой, он становится и вовсе естественным человеком. Подобно самому Дефоресту, он был демобилизован в чине капитана, а повышение досталось отъявленному трусу Газауэю, политикану, чье влияние на губернатора принесло ему в конце концов чин полковника и покойное место начальника лагеря для новобранцев, где он зарабатывал две тысячи долларов в месяц, глядя сквозь пальцы на дезертирство рекрутов.

В романах «Честный Джон Вейн» (1875) и «Озорные проделки» (1876) повествуется о политической коррупции. Джон Вейн, пустой малый, для которого честность — лишь удобный способ поведения, находит, что жить в Вашингтоне на пятитысячную зарплату конгрессмена невозможно, и продает свое влияние в обмен на участие в прибылях «Большого подводного тоннеля» (сатира на кредитное общество «Credit mobilier»); в ходе разбирательства он, однако, избегает осуждения, заявив, будто, покупая акции, не знал, что они фальшивые. Как картина лоббистских нравов роман Дефореста убедительнее «Позолоченного века». Однако стремление Дефореста обличить продажность не оставляет места для исследования характеров; жена Джона Олимпия так же пуста, как и он, да и многие другие — лишь плоские фигуранты аллегорической картины. Вейны и сенатор Айронмен вновь появляются в более просторном и лучше скомпонованном романе «Озорные проделки». В центре повествования — миссис Джози Мэррей, умная и красивая лоббистка, приехавшая в Вашингтон для представления стотысячного иска на конюшню своего свекра, которая была разрушена в войне 1812 года! Беззастенчиво используя свои прелести, она обманом выманивает у Пайка, еще одного лоббиста, половину находящихся в его распоряжении государственных должностей и покидает страницы романа явной победительницей. Тема взяточничества подчинена здесь исследованию вашингтонского общества, в ко-

тором Дефорест различает столь несхожих персонажей, как впавшего в детство сенатора по имени Старый Джейк Холлоубред и забавную девицу Нэнси Эпплярд, известную под именем Джаэль из Калифорнии, даму необычайно женственную, несмотря на все ее брюки и пистолеты.

Среди всех романов Дефореста лучшим Хоуэллс считал «Кейт Бомонд» (1872). В нем описывается семейная междоусобица в Южной Каролине, но, исключая эффектную сцену, с которой начинается книга — Фрэнк Маккалистер вытаскивает Кейт из горящего парохода, — автор достигает высокой степени реализма. Отец Кейт, Пейтон Бомонд, аристократ-плантатор из южной части штата, носящий на лице немало дуэльных шрамов, начинающий каждый день с двух коктейлей, вспыльчивый богохульник, наделенный, однако, высоким чувством чести, что дарит ему уважение читателей, бесспорно, лучший образ книги. Образы его детей детально индивидуализированы. Нелли, старшая дочь, замужем за симпатичным пьяницей Рэндалфом Армитажем, к которому ее, несмотря ни на что, неотразимо влечет. Последний представляет изнанку южного рыцарства; вернувшись как-то с праздника сельской бедноты в повозке «одинокой женщины» (картины упадка жизни белых бедняков предвосхищают Фолкнера и Колдуэлла), он избивает свою жену и угрожает ей ножом, требуя сказать, где та прячет виски. Откровенность этих эпизодов поразительна, если вспомнить ту робость, с какой Хоуэллс десятилетиями позже описывал сцену, в которой Бартли Хаббард возвращается домой пьяным. Маккалистеры, изображенные скупее, представляют более демократические шотландско-ирландские слои аристократии из центральной части штата, выступавшие за общественные школы и избирательную систему. Напряженность поддерживается на протяжении всего повествования; даже счастливый конец — родовая вражда завершается женитьбой — не нарушает благоприятного читательского впечатления от встречи с реальной жизнью.

Однако читающую публику реальная жизнь не волновала и Дефоресту пришлось обратиться к более популярным схемам. В романе «На суше» (1871), написанном для журнала «Гэлекси» в зловещем стиле «Джона Брента» (1862) Теодора Уинтропа, авторский интерес к этнографии сочетается с изображением военных действий; дабы подкрепить немыслимый сюжет, Дефорест здесь, как и в последующих книгах, использует приемы реализма. Живописуя, как апачи подвергают распятию служанку Пепиту, либо рассказывая о путешествии на парусной лодке вниз по Гранд-Каньону, автор явно стремился произвести сильное впечатление на юные умы, которым и предназначался роман; но усилия его были тщетны; Дефорест никогда не бывал на Западе и все свои сведения о нем почерпнул в библиотеке Йельского университета.

В 1886 году после нескольких лет жизни за границей он на-

чал роман, который должен был быть озаглавлен «Дочь труда», где шла речь о проблемах жилья, заработной платы и стоимости жизни в духе «Вины священника» Хоуэллса, книги, которая тогда печаталась с продолжением в журнале. Заметив, что история, рассказываемая Хоуэллсом, развивается в том же направлении, он публично заявил о том, что у него не было никакого намерения красть инвективы последнего. Рукопись исчезла, и можно только гадать, стала бы она вехой на пути развития реализма Дефореста. Никак не свидетельствует об этом другой его роман, последний, «Бунт любовника» (1898), написанный на волне исторических романов о Революции. Военные действия при Банкер-Хилле интересуют автора больше, чем вялая любовная история. Ему следовало бы знать, что, сделав свою героиню приверженкой тори и бросив героя-янки, он обрекал свою книгу на неуспех у женщин, которые составляли подавляющую часть читающей публики. Будучи преимущественно романистом для мужчин, он так и не смог снизойти до женского сознания. Нам нечего добавить к тому объяснению его неудачи, которое дал Хоуэллс: «Более утонченные, хотя и не более сильные, мастера пришли ему на смену, и нежный реализм, скорее отвечавший вкусам и запросам женской сверхдуши, вытеснил его безжалостную точность. Похоже, что судьба его прозы, окончательная или временная, была решена тем, что этот чувствительный дух отомстил за то небрежение к себе, которое ощущал, и, как это бывает с женщинами, месть зашла слишком далеко. Дух этот открылся ему так, как можно открыться лишь мастерам литературы, а он, кажется, не оценил этого доверия».

#### 4

Глубокое знание женской «сверхдуши», а также собственный утонченный вкус сделали Уильяма Дина Хоуэллса наиболее известным представителем реализма. И как романист, и как редактор журнала он настойчиво выступал на защиту «бедной Реальной Жизни» в качестве материала для художника, что принесло ему репутацию глашатая этого литературного движения в Америке. В бесстрастной перспективе времени может показаться, что он просто дал наименование тому типу письма, который многие в той или иной степени практиковали уже в течение долгого времени. Подобно большинству создателей критических теорий, он строил свою, исходя из собственного творчества, что и придает ей известную ограниченность. Но бесспорно, что он сформулировал принципы реализма, вокруг которых в 80-е годы бушевали яростные дискуссии. Он имел сильного союзника в лице Генри Джеймса, а в Англии в защиту реализма выступали другие видные критики, например Дж. А. Саймондс, примерно с теми же аргументами. Если сторонники готического романа, наибольшую активность среди

которых проявляли Эндрю Лэнг и Стивенсон, и брали порой верх, то их торжество было только временным, ибо, когда американская проза достигла вершины своего влияния — произошло это вскоре после смерти Хоуэллса, — реалистическое направление в ней было ведущим.

Взгляд на реалиста как на отступника, возвращающегося с Запада к более развитому обществу, может быть лучшим образом проиллюстрирован судьбою Хоуэллса. Он родился в Огайо; мать его происходила из Пенсильвании, из немецкой семьи, а отец был валлийцем, которому пришлось перепробовать немало профессий, главной из которых стало печатное дело. После неудачной попытки основать журнал он переехал вместе с трехлетним Уильямом в Хэмильтон, что в юго-западной части Огайо, где друзья одолжили ему денег на приобретение газеты. С комической откровенностью описывает Хоуэллс эти времена в книгах «Городок, в котором жил мальчик» (1890), «Год в хижине» (1893), «Годы моей юности» (1916) и «Суровая школа молодости», сочинении, лишь слабо замаскированном под беллетристику. «Не помню себя не умеющим печатать на машинке», — писал он. В возрасте семи лет он отпечатал очерк собственного сочинения; в двенадцать, уже отработывая полную смену в магазине, он сочинял всюю. После нескольких деловых неудач его отец перебрался в Джефферсон, на свободную территорию, где нашел более сочувственное отношение к своим жизненным принципам со стороны членов сообщества фрисойлеров; здесь семья и осела. В «Сельском печатнике», лучшем из очерков, составивших книгу «Встречи и впечатления» (1896), Хоуэллс вспоминает о своей работе газетчика в тех краях. «Типография была моей главной школой», — говорил он.

Школьное образование его ограничивалось годами обучения в Хэмилтоне. Самым ярким впечатлением школьных лет остался свод правил стихосложения, обнаруженный им на обложке учебника; это побудило его к сочинению стихов, построенных по образцу поэтических сочинений Скотта и Мура, которых читал ему отец. Основным же источником знаний для него были книги, случайно попадавшие в руки. В детстве он зачитывался «Грецией» Голдсмита и «Дон Кихотом» в переводе Джарвиса. Вскоре их сменило «Завоевание Гранады» Ирвинга, книга, которая вместе с «Испанским студентом» Лонгфелло возбудила в нем желание выучить испанский. Сосед-печатник, обладавший некоторым литературным вкусом, привил ему интерес к Шекспиру, и они вместе самостоятельно занимались греческим, латынью и немецким. Некий механик-янки увлек его на какое-то время Маколем, а англичанин — декоратор интерьеров и мастер-органист — познакомил с Диккенсом и Теккереем, найдя предосудительным предпочтение, оказываемое Хоуэллсом последнему.

Каждый из этих писателей становился поочередно и на определенное время любимцем, которого Хоуэллс перечитывал и которому подражал, отрекаясь от всех остальных. Его откровенный рассказ «Мои литературные пристрастия» (1895) об этих отрывочных чтениях, в ходе которых формировалось сознание писателя, выдает пороки подобного метода: оставалось слишком много белых пятен. Ричардсона, Филдинга, Смоллета, которые многому бы могли научить будущего реалиста, он не знал вовсе. Теннисон занимал в его сердце место рядом с Лонгфелло, «божественным поэтом, которого я никогда не уставал перечитывать», но Вордсворта он так и не смог заставить себя прочитать и, несмотря на свой интерес к немецкому языку, не испытывал никакого влечения к Гёте. В доме Хоуэллсов место Библии заняли сочинения Сведенборга.

В Джефферсоне Хоуэллс считался чем-то вроде вундеркинда. Распространявшиеся в городке слухи о глубине познаний в языках и о том их количестве, которым он якобы владел, были преувеличены, позднее он признавался, что самый процесс изучения интересовал его не меньше, чем результаты. Его окончательное суждение о слепом порыве к знанию звучало грустно — «самообразование — полубообразование». Из его автобиографических очерков встает фигура малорослого, весьма чувствительного подростка, серьезно выполняющего мужскую работу, застенчивого и сторонящегося своих сверстников, ощущающего нестерпимую тоску по дому, если придется оказаться вдалеке от семьи, и преследуемого разными кошмарами. В 1856 году чрезмерное напряжение на работе и в обучении разрешилось нервным заболеванием, худшим симптомом которого была навязчивая идея, будто он одержим гидрофобией. Сильная боязнь собак, которую ему так и не удалось преодолеть, отражена в нескольких его романах.

В 1856 году его отец был назначен судебным клерком в Коламбусе, и Хоуэллс начал посылать в газеты ежедневные отчеты о судебных заседаниях. Получив предложение занять пост редактора в цинциннатской «Газет», он недолгое время проработал там, пока привычная тоска по дому и малоприятные обязанности давать материалы полицейской хроники не заставили его «отказаться от этого выгодного места. «Я стремился, — писал он, — к жизни чистой и порядочной». Пережив еще один нервный упадок сил, он вернулся в 1858 году в Коламбус, где стал корреспондентом «Огайо стейт джорнэл», недавно реорганизованного в интересах набирающей силу республиканской партии. Общество, в которое он вошел, произвело на него впечатление, следы которого обнаруживаются во всем его творчестве. Губернатор Сэлмон П. Чейз, честолюбиво помышляющий о президентском кресле, приблизил к себе застенчивого журналиста, и Хоуэллс вскоре почувствовал себя своим среди близких ему

по духу людей, о чем столь ярко рассказано в «Годах моей юности».

Для него это было в основном женское общество, и со страстью застенчивого новообращенного он окунулся в утонченные прелести этикета. С раннего детства он презирал грубую вульгарность жизни на границе; он хотел стать дэнди и одевался с предельной разборчивостью. Естественно, и его литературные вкусы приняли утонченное направление. С юными дамами Коламбуса он читал английские журналы и газеты, обсуждал с ними романы Теккерея, Джордж Элиот и Диккенса сразу по их появлении и упивался скромными похвалами в адрес собственных стихотворных строк, выполненных в манере Теннисона и Гейне. «Ах, — восклицал он, — если бы я мог только написать что-нибудь достойное «Атлантик!»» Его первая рукопись, поэма, озаглавленная «Андекен», пролежала в редакции несколько месяцев, до тех пор пока Лоуэлл не убедился, что она не была переводом из Гейне.

Совместно с Джоном Дж. Пяттом он опубликовал свой первый сборник «Стихи двух друзей» (1860). Его стихи, откровенно перепевающие Теннисона, Гейне и Лонгфелло, были справедливо забыты. Только «История лоцмана» завоевала некоторую известность, и то благодаря леденящему кровь рассказу о негритянской девушке, утопившейся в Миссисипи, а не хрымым гекзаметрам, в которых была написана поэма. Газеты иногда перепечатавали ее к вящей досаде автора, как прозу. На свои первые гонорары Хоуэллс совершил паломничество в Новую Англию, красочно описанное много лет спустя в «Литературных друзьях и знакомых» (1900). Ему понравился Готорн, Торо он не понял и вовсе не смог найти общего языка с Эмерсоном. Затем его издатель из Огайо заказал ему «Жизнь Авраама Линкольна» (1860), который был только что выдвинут на пост президента. Хоуэллс предпочел не ездить в Спрингфилд за интервью с кандидатом и послал вместо себя студента, изучающего право, дабы тот собрал для него весь необходимый материал. Хотя то, что ему не удалось в то время ощутить величие Линкольна, вполне извинительно, читатель «Жизни» все же ощущает разрыв между героем повествования, с его прямоотой и мужественностью, и искусственностью стиля, в котором он описан.

После выборов друзья посоветовали Хоуэллсу предложить свою кандидатуру на консульский пост за границей, и, заручившись рекомендацией всех влиятельных республиканцев из Огайо, начиная с губернатора, он получил назначение в Венецию. Пять лет, проведенные там, оказали на него меньшее воздействие, чем можно было рассчитывать. Для того чтобы оценить по достоинству «Божественную комедию», которую он штудировал вместе со «священником-остроумцем» (прототипом дона Ипполито из «Предвзятого заключения»), ему явно не

хватало подготовки; он прямо говорит, что большая часть поэмы навевает на него скуку. Единственным результатом его штудий было длинное сочинение о Гражданской войне, выполненное в терцинах, которое невозможно было напечатать. Круг его чтения вскоре переместился в сторону более близких по времени авторов, особенно Гольдони и его преемников на драматургическом поприще. Следя за книгами, выходящими в издательстве «Таухниц», он поддерживал знакомство с английской прозой; «Ромола» Джордж Элиот стала для него глубоким нравственным потрясением, память о котором сохранилась до конца жизни. В 1862 году в Париже он женился на Элинор Мид, уроженке Браттлборо, штат Вермонт, с которой познакомился в Коламбусе. Она происходила из одаренной семьи и была троюродной сестрой президента Резерфорда Б. Хейса, для избирательной кампании которого Хоуэллс написал в 1876 году его биографию.

Под небом Венеции он тщетно зывал к благосклонности муз; ему было бы лучше писать реалистические рассказы вместо романтических идиллий в гекзаметрах. Одна из этих поэм — «Любовь всегда в выигрыше: история одного путешествия» (1869) — представляет собой каркас того, чему предстояло стать типичной моделью у Хоуэллса: двое влюбленных, какое-то время пребывающих в разлуке, в конце концов соединяются благодаря своим исключительно высоким нравственным качествам. Не сумев заинтересовать английских и американских редакторов своими стихотворными опытами, он перешел на короткие прозаические эскизы Венеции, которые после опубликования в бостонском «Эдвертайзер» появились в виде книги «Жизнь в Венеции» (1866). Хотя в целом она неизбежно следует стандарту исторических очерков и путевых заметок, ее отличает свежий, оригинальный стиль автора — вежливого, но лукавого наблюдателя. Стремление реалиста представить обыденные вещи в их истинном обличье явно выразилось в решимости автора рассказать «как можно больше о повседневной жизни людей, чьи обычаи столь отличны от наших». Сколь точно он оценил вкусы публики, подтверждается успехом книги. На будущий год было анонсировано второе издание, тогда же Хоуэллс опубликовал «Итальянские путешествия», аналогичный сборник заметок, перепечатанных из журналов «Нейшн» и «Атлантик».

В течение нескольких месяцев по возвращении в Америку Хоуэллс работал в Нью-Йорке на вольных хлебах. Однако литературные амбиции влекли его в Бостон, и, когда Филдс пригласил его на должность заместителя редактора «Атлантик», он охотно принял предложение. За пятьдесят долларов в месяц он согласился отбирать для печати рукописи, вести переписку с авторами, рецензировать множество книжных новинок и читать всю корректуру. От него не скрыли, что искушенность



в печатном деле «ценилась весьма высоко, может быть, выше, чем что-либо иное, и что как от читчика корректуры от нег ожидали снижения производственных расходов». Итальянские знакомства Хоуэллса обеспечили ему приглашение в организованный Лонгфелло Дантовский клуб, где в кругу великих людей Кембриджа он обрел блаженство, высшее, чем то, что обретается в «Раю». Его литературные вкусы столь непосредственно определялись линией «Атлантик», что, получив в 1871 году назначение на пост главного редактора, он принял кормило правления, не изменив сколь-нибудь заметно курс журнала. Успех итальянских очерков подсказал ему мысль обратиться к сходным темам на домашнем материале; его цветная кухарка, настройщик органов, нищий, даже прогулка по унылым окраинам Кембриджа — все использовалось им и все пробуждало почти неизменный интерес. «Если публике и впредь будет нравиться это, — говорил он Генри Джеймсу, — я буду считать свою карьеру обеспеченной». Собранные в книгу «Пригородные заметки» (1871), его очерки выдержали не одно издание.

Романы Хоуэллса вырастали из путевых заметок. «Их свадебное путешествие» (1871), — писал он отцу, — представляет собой «изложение наших прошлогодних маршрутов, которым я, поскольку дело касается характеров людей, придаю беллетристическую форму». Большая часть книги разворачивается на американском фоне — корабль ночью, спальный вагон, вагон-салон (неизменно восхищавший его), грязные нью-йоркские улицы, реки Гудзон и Мохок, «романтический Рочестер», Ниагарский водопад (описание которого дается на многих страницах), Монреаль, Квебек. Если не считать незначительного происшествия на пароходе, книга лишена коллизий. Но теория реализма Хоуэллса уже сложилась; он избегает «героических или случайных событий», ищет человека «в его обычном состоянии безделья и усталости», погруженного в «гигантскую, естественную, ничем не нарушаемую скуку». Сожаление, вызываемое грубостью американской жизни, сочетается с гордостью ее природными достоинствами и красотой. Бэзил Марч, персонаж, возникающий в семи других сюжетах, представляет собою едва замаскированную фигуру самого автора, комментирующего вокруг происходящее так, как это делал Хоуэллс в «Жизни Венеции» и «Пригородных заметках». Изабел Марч, с ее живостью, чувством юмора, алогичностью поступков и обаянием, представляет собой первый в ряду изящных женских портретов, выполненных Хоуэллсом.

## 5

Истинным началом романистики Хоуэллса следует считать «Случайное знакомство» (1873). Хотя «живописный» элемент еще не вполне объединен здесь с драматическим, Хоуэллс уже

предпринимает некоторые попытки подчинить его изображению социального конфликта, которому предстояло стать организирующим стержнем большинства его романов: история чувствительной селянки или молодого человека из деревни, очутившихся в более образованной среде. Разумеется, таков был его собственный опыт. Китти Эллисон, выросшая, подобно своему создателю, в семье редактора на свободных территориях Среднего Запада, пребывала в демократическом неведении относительно социальной разделенности общества. Во время путешествия в Квебек она встречает образованного бостонца Майлза Арбетона, первого среди немислимо рафинированных и холодно сознающих свое превосходство молодых людей Хоуэллса, от которых трудно ожидать понимания культуры, характерной для ручья Эри; на фоне естественных добродетелей последней он представляет собой лишь узорчатый фрагмент, и Хоуэллс признавал, что его герой был «отражением». Но Китти буквально оживает. В сшитом своими руками платье, наивная, свежая, безыскусная и простодушная, она стоит первой в ряду тех девушек, которым было назначено продемонстрировать превосходство американской простоты над условностями европеизированного общества.

В последующих романах Хоуэллс переносит своих героинь в Италию, где с разной степенью реалистичности исследует подобный тип на романтическом фоне. Флорида Вервен из «Предвзятого заключения» (1875) оказывается в Венеции, где наблюдательный молодой художник-консул Феррис оберегает ее от безнадежной страсти священника дона Ипполито — род сентиментального романа, к которому Хоуэллс больше не возвращался. Также в Венеции Лидия Блад, очаровательная героиня «Леди с Арустука», воплощает конфликт трех культур. Выросшая в краях к северу от Бостона, где даже и не подозревают о существовании таких, например, понятий, как «компаньонка», она — единственная дама на борту «Арустука» — отплывает в Италию. Привлеченные ее красотой, двое «культурных янки», осознающие, что деревенские идеалы приличий («весьма отличаются от наших»), преисполняются решимости «оставить ее в неведении» того ненормального положения, в которое поставили ее друзья. Стэниферд из Бостона столь щепетилен, что удерживается от признания в любви, пока девушка не попадет под опеку своей тетки. Такая деликатность попросту приводит Лидию в недоумение, хотя ее глубоко шокируют воскресная опера и легкость венецианских нравов. Она более застенчива и менее развита, нежели ее современница Дэйзи Миллер, но в ней больше истинно американского — качество, подчеркнутое сравнением с ее теткой, всячески пресмыкающейся перед английской колонией в Венеции. Способность Хоуэллса строить диалог столь непосредственно и натурально, будто перед нами беседа, подслушанная в реальной жизни, достигает в

этом романе своей вершины. Лили Мэйхью, героиня «Тяжелой ответственности» (1881), — еще одна деревенская девушка, приезжающая в Венецию навестить свою тетку. Но Хоуэллс уже исчерпал тему; единственное, что достойно внимания в этой книге, — намеренный отказ от счастливого конца.

Он уже начал использовать родной материал. «Сцены частной жизни», происходящие в деревенском пансионате, начаты летом 1874 года, которое он провел в Джейффри, штат Нью-Гемпшир. Опубликованные в «Атлантик» (1875—1876), они были вновь напечатаны лишь после смерти Хоуэллса под названием «Миссис Фаррел» (1921). На то, что Хоуэллс тщательно изучал своих прототипов, указывает неподтвержденная версия, согласно коей семья, у которой он квартировал в Маунтн-Фарм, узнала себя в Вудвордах и «пригрозила подать в суд», если книга будет еще раз напечатана. Быть может, прелести легкомысленной молодой вдовы описаны и не вполне убедительно, но иные из второстепенных характеров очерчены с присущим Хоуэллсу замечательным мастерством. В одной фразе ярко передана встреча двух старых соседей, которые, «громко хлопнув друг друга по мозолистым ладоням, остановились, уставившись друг на друга, выпятив сухие, потрескавшиеся губы, безмолвно раскрывая и захлопывая челюсти, бессмысленно моргая бледно-голубыми глазами, а их обветренные лица, столь же лишенные какого-либо выражения, сколь и коньки амбарной крыши, глядели друг на друга с разных сторон дороги».

Несправедливо было бы сказать, что этот первоклассный реализм носит по преимуществу внешний характер. Но Вудвордов мы видим лишь глазами своих постояльцев, которые замечают такие детали, как «большие, натруженные, зазубренные от кухонной работы руки миссис Вудворд, с их костлявыми суставами и зазубренными обломанными ногтями», не проникая при этом в ее внутренний мир. Хоуэллс еще не достиг глубинного понимания молчаливого монолита характера жителей Новой Англии.

В романе «Неведомая страна» (1880) Хоуэллс в поисках свежего материала обращается к секте шейкеров, которые, если исключить редкие зарисовки в книгах этого автора, не привлекли внимания писателей. Община в Вардли (контаминация Гарварда и Ширли, где Хоуэллс учился в 1875 году) служит лишь красочным фоном любовной истории, описание которой перемежается рассуждениями о спиритизме, к которому Хоуэллс, точно так же как и шейкеры, относился скептически. Участники секты шейкеров являются центральными персонажами двух небольших книжек, опубликованных в 1896 году, — «Расставание и встреча» и «День их свадьбы»; написанные скорее в традиции литературы местного колорита, нежели реализма, они изображают в высшей степени неправдоподобное

торжество безбрачия над юной любовью. Еще одним любимым местом действия романов Хоуэллса был приморский отель, который впервые появился в «Практике доктора Бринн» (1881). Никто еще с такой точностью не воспроизводил банальности и злословия праздной курортной болтовни. Автор извлекает интерес из разгоравшихся в то время дебатов между аллопатами и гомеопатами, а также толкует о медицине как возможной сфере приложения женского труда. Однако оба предмета затрагиваются лишь поверхностно. Истинная проблема заключается в том, за кого выйдет замуж Грейс Бринн. Пуританская совесть заставляет ее обратиться к занятиям медициной, что послужит искуплением богатства и довольства жизнью. По природе своей она, однако, чрезвычайно женственна, и, отказав поначалу привлекательному молодому человеку, который приехал на побережье, чтобы быть поближе к ней, она сама затем делает ему предложение.

Марсия Гейлорд, героиня единственного сочинения Хоуэллса, где идет речь о семейной жизни, «Современная история» (1882), ведет себя еще более решительно. Бартли Хаббард, за которого она выходит замуж против воли отца, — способный, предприимчивый молодой человек, находящийся, как Хоуэллс понял много позднее, в разладе с самим собой. Провинциальная газета в Эквити, штат Мэн, где начинается действие, вряд ли могла удержать человека его дарований; в Бостоне он быстро завоевывает известность независимого журналиста и, одолжив некоторую сумму денег, приобретает часть акций одного еженедельника. Но подобно Тито Мелема из романа Джордж Элиот, который, бесспорно, произвел на Хоуэллса глубокое впечатление, Бартли был задуман как отталкивающий пример морального разложения. Обычно высоко оценивается изображение постепенного распада личности героя; однако, по сути дела, он не претерпевает никаких изменений, за исключением того, что становится все более тучным, вероятно, благодаря неумеренному потреблению пива. С самого начала он был человеком корыстным, самодовольным, неразборчивым в средствах, находящимся на «нравственном уровне бейсбольного мяча». Однако в реальной жизни эти качества могли бы и не помешать ему стать удачливым журналистом, и, не будь его падение предопределено, женитьба оказала бы целительное действие на его нравственность. Марсия, какой она показана в начале книги и чье «стихийное» и «животное» начало шокировало критиков тех времен, вполне могла стать достойным партнером его амбициозной юности. После женитьбы, по мере того как Хоуэллс добавляет все больше черной краски к характеру Бартли, он неожиданно обнаруживает в Марсии черты моральной утонченности, не соответствующие ее всепоглощающим собственническим инстинктам. Бен, чувствительный, набожный калека, обладающий такой неправдоподобно воз-

вышенной душой, что более чем напоминает персонажа «Ромолы», отправляет ее назад, к Бартли: «Ни с одним мужчиной ты не найдешь спасения от своего мужа!» Любовь Бена к ней безмерно возрастает, по мере того как читательская привязанность слабеет. При всей своей противоречивости образ Марсии представляет собой наиболее значительную попытку Хоуэллса запечатлеть портрет настоящей женщины. Любой читатель отдаст должное мастерскому описанию таких персонажей второго ряда, как судья Гейлорд, отлично выписанному фону деревенской жизни зимой и бостонских пансионатов.

Оставив в 1881 году пост редактора «Атлантик», Хоуэллс провел весь следующий год в Англии, Швейцарии и Италии. В результате, помимо «Тосканских городов» (1885), был написан лишь роман «Доводы женщины» (1883), страдающий рыхлостью изложения и отдаленностью от привычного автору материала. Это была переходная книга, где в отношении Хоуэллса к бостонскому обществу наметились перемены; к этому обществу он вернулся, взглянув на него под новым углом, в «Возвышении Сайласа Лафэма» (1885).

Лафэмы представляют собою первых нуворишей, описанных в нашей литературе с сочувствием. Выходец из бедной крестьянской семьи, наживший состояние на разработке минеральных красителей, Сайлас (подобно самому Хоуэллсу) строит дом на прибрежной стороне Бикон-стрит. С большим искусством Хоуэллс прослеживает отличительные особенности американца: мощное телосложение Лафэма, унаследованное от поколений тружеников, простая одежда, любовь к скорости, совершенная преданность делу — все эти черты выделены и описаны с сочувствием. Персис, его жена, простая, непритязательная женщина, легко привыкающая к городской жизни, оказывается бессильной направлять светскую жизнь своих дочерей. На фоне аляповатых гостиных и безумных вечеринок Хоуэллсу удается так описать их растерянность, что вызывают они не насмешку, а скорее жалость. При этом они постоянно сохраняют спокойное достоинство, выросшее на прочной жизненной основе, и это заставляет прощать им элементарное незнание этикета. Семья Кори, «которой немного не хватает для того, чтобы стать солью земли», описанная, однако, более критично, нежели бостонцы ранних книг Хоуэллса, по контрасту оттеняет домашние добродетели Лафэмов и «своими руками добытый успех против стерильного изящества». Том Кори, являющий собой связующее звено меж старым порядком и новыми временами, объединяет в себе утонченность и энергию, которой не хватало его отцу; и, хотя его поведение до того, как он предлагает руку Пенелопе, столь скромно, что все, включая и саму юную леди, думают, что он влюблен в ее более привлекательную сестру, это один из наиболее симпатичных героев Хоуэллса. Пожалуй, автор, если иметь в виду реальную ситуа-

цию того времени, несколько идеализирует этику бизнеса, которая заставляет Сайласа предпочесть нищету законной сделке, что могло бы его спасти. Но эта сцена была необходима для того, чтобы завершить его «возвышение»; она придает книге такую гармонию формы, какой Хоуэллу редко удавалось достичь. В противоположность «Современной истории» пейзаж, отлично выписанный, совершенно слит с сюжетным действием. В целом общественное мнение справедливо признало этот роман лучшим в творчестве Хоуэллса.

С точки зрения формальной «Бабье лето» (1886), возможно, сделано лучше. Здесь Хоуэллс вполне чувствует себя в своей стихии, изображая по преимуществу быт женщин, на сей раз — образованных представительниц Среднего Запада, живущих во Флоренции. Возможно, роман этот вырос из воспоминаний о юных годах в Коламбусе. Герой повествования — мужчина средних лет по имени Колвилл, один из наших первых экспатриантов, в некотором роде предвосхищающий джеймсовского Стретчера; странным образом он делит свои привязанности между миссис Боуэн, вдовой, с которой был издавна знаком, и ее молодой воспитанницей Имоджин Грэм, романтически убедившей себя, будто она в него влюблена. Подобно многим мужчинам у Хоуэллса, Колвилл не сразу понимает, в чем состоит его счастье. Когда наконец он делает предложение, миссис Боуэн из гордости и оскорбленного самолюбия отвечает отказом — но это — женское «нет», которое сразу переходит в свою противоположность. Внутренние противоречия героини прослежены весьма тонко, а Колвилл, при всей его несообразительности, обрисован с симпатией. Постепенно обаяние рассказываемой истории, обусловленное редкостным единством интонации, завоевывает читателя, и лишь аналитический взгляд обнаруживает рыхлость композиционной структуры книги.

## 6

В своих рецензиях, публиковавшихся в журналах «Атлантик» и «Норт эмерикэн», Хоуэллс постоянно превозносил достоинства Дефореста, Джеймса и других писателей, которые стремились правдиво отобразить окружающий их мир. В «Заметках редактора», которые он вел в «Харперс» с января 1886 года по март 1892 года, Хоуэллс выступал крестоносцем реализма, что вызывало бурную реакцию по обе стороны Атлантики. Многие из этих статей, скомпонованных весьма произвольно, составили небольшую книгу под названием «Критика и проза» (1891). Функции критика, утверждал здесь автор, подобны функциям ученого — «раскрывать принципы, а не утверждать их; описывать, а не создавать». Единственная его проблема — выяснить, сохраняет ли роман «верность мотивам, импульсам, принципам, лежавшим в основании жизни реальных

мужчин и женщин». Хотя Хоуэллс прямо утверждал, что не видит большой разницы между «литературой и жизнью» (что было подтверждено в сборнике статей, опубликованных под этим названием в 1902 году), то, что он называл Жизнью, в глазах читателя порой выглядело просто как Литература. В его теории опущено несколько важных сторон жизненного опыта. Трагедия исключалась, ибо она была нетипична для Соединенных Штатов: наши романисты «интересуются более улыбочными сторонами жизни, которые в то же время являются и более американскими», на пути Романтики тоже вырастают преграды, ибо она имеет дело с исключительным, ну а Секс — совершенно непоследовательно — запрещается потому, что это слишком общая тема.

Непомерная щепетильность Хоуэллса несправедливо объясняется утонченной атмосферой Бостона. Его письма показывают, что Лоуэлл, Джеймс и другие настойчиво побуждали его к усилению реалистического начала и призывали обращать больше внимания на социальные проблемы, интерес к которым «Атлантик» культивировал еще до того, как Хоуэллс начал там работать. Его автобиографические книги содержат достаточно свидетельств того, что робостью перед половыми отношениями и обнаженными фигурами в живописи он полностью обязан воспитанию, полученному в детские годы в Огайо, на границе, где, по наблюдению миссис Троллоп, сделанному еще в 1832 году, люди обнаруживают смешную чувствительность к этим вопросам. Потому он не был вполне искренен, объясняя необходимость сдержанности заботой о молодых читательницах — «железной мадонне», так называл этот тип Бойесен. Подобный подход диктовался его собственной повышенной чувствительностью. Была и другая причина. Хоть «Анну Каренину» можно издать книгой и запереть ее подальше от детских глаз, ни одному американскому (он мог бы добавить — и английскому) журналу не следует публиковать ничего из того, что «отец не мог бы прочесть вслух своей дочери или позволить со спокойной совестью прочесть ей самой. В конце концов это вопрос бизнеса».

Бизнес и благопристойность, вступив в союз, помешали Хоуэллсу примирить творческую практику с собственной теорией реализма. Его благополучие зависело в основном от журналов, и подобно современному писателю ему приходилось считаться с их нормами. Ущерб, наносимый его творчеству журнальными публикациями, был велик, хотя ничто не свидетельствует о том, что он покорно соглашался с ограничениями. Несмотря на настойчивое утверждение, что писатель-реалист «предпочитает избегать любого намека на странные совпадения и жуткие происшествия», его собственные книги изобилуют ими. Три сюжета построены на железнодорожных катастрофах, три — на пожарах; двух персонажей уносит менингит, еще несколько — вне-

запная болезнь; двое кончают жизнь самоубийством, принимая яд; одного героя убивают, другой попадает под лошадь, а еще двое — под поезд. И все же реалистическое начало утверждало себя — не столько в выборе материала, сколько в стремлениях и способе их интерпретации; если сегодня может показаться, что Хоуэллс слишком шел на уступки современной ему публике, то не меньшим он жертвовал и ради своих принципов.

Его статьи, знакомившие читателей с такими зарубежными авторами, как Гальдос и Вальдес, Ибсен и Бьернсон, Тургенев, Толстой и Достоевский, расширяли литературные горизонты Америки. Не исключено, что повышавшийся интерес Хоуэллса к болезненным состояниям души вроде ревности полубезумного мужа в «Тени мечты» (1890) или раскаяния растратчика в «Милосердии» (1892) был усилен чтением Достоевского. И все же основное влияние, по его словам, оказывал на него Толстой, с которым он впервые познакомился в 1886 году, когда был переведен роман «Война и мир». Его литературная манера осталась прежней, но этические воззрения подверглись глубинному пересмотру; его сострадание бедным обрело новое качество.

В следующем романе — «Вина священника, или Ученические годы Лемюела Баркера» (1887) — его занимает моральная проблематика более, чем исследование быта. Главная тема — «соучастие», ответственность, которую несет каждый член общества за поступки другого. Роман написан с точки зрения мистера Сьюэлла и членов семьи Кори — персонажей более ранних книг, — но бедные фабричные работницы Статира Дадли и Аманда Грир изображены правдиво, лишены налета сентиментальности; они остаются на дне, потому что им самим этого хочется. О Леме Баркере, угрюмом деревенском парне, едва ли можно сказать что-либо, кроме того, что фальшивым условностям он противопоставляет свою беспощадную честность. Читателю доставляет удовольствие даже столь явно карикатурный образ, как мисс Вейн, распространяющая букеты цветов среди бедных, дабы предотвратить преступление. «Энни Килберн» (1888), почти столь же жестокая книга, проповедует толстовский урок, согласно которому деньги без сочувствия, порождаемого страданием, ничего не значат. В общении с суровым, бескомпромиссным священником мистером Пеком героиня постигает, что процветающие люди, будучи агентами системы, порождающей нищету, не могут помочь бедным. Мрачная тема романа оживляется сатирическими штрихами, изображающими жалкие филантропические усилия пустых светских дам. Подобного облегчения не дано испытать читателю «Неотложного долга» (1892), романа, представляющего собою наиболее свирепую атаку Хоуэллса на общепринятое; применяя принципы Толстого к исследованию негритянской проблемы, он уходит,



по примеру Бичер Стоу, от изображения очевидных трудностей смешанного брака, отправляя своих героев в Европу.

Влияние Толстого сказалось с новой силой, когда Хоуэллс ближе познакомился с социализмом. Осенью 1887 года он оказался на лекции Лоренса Гронлунда в Буффало, что побудило его прочесть книгу последнего «Всеобщее благосостояние» (1884), а затем статью Киркупа в «Британской энциклопедии», «Труды фабианского общества» и некоторые из трактатов Уильяма Морриса. Публичная казнь чикагских анархистов 11 ноября 1887 года вызвала его активный протест и резко усилила недовольство праздным бостонским обществом, которое он подверг анатомическому анализу в «Апрельских надеждах» (1888). После своей отставки из «Атлантик» (1881) он публиковал в «Сенчюри» и «Харперс» романы с продолжениями; центр его интересов сместился, и в 1889 году он переехал в Нью-Йорк, где происходит действие романа «В поисках нового счастья» (1890). На полотне толстовских масштабов он стремится изобразить представителей всех групп, втянутых в классовую борьбу: традиционную аристократию, новых плутократов, локтями пробивающих себе путь наверх, представителей делового мира и различных профессий, наконец, бедняков из нижней части Ист-Сайда. Хотя события неизменно изображаются с точки зрения самого Хоуэллса, от чьего имени выступает в романе Марч (оставивший мертвенную утонченность Бостона ради Нью-Йорка, где он редактирует журнал), бедные изображаются реалистически, хотя и сочувственно. Их глашатаям становится социалист Линдау, величественного вида эмигрант 1848 года, впоследствии потерявший руку на Гражданской войне и ныне живущий то под одной, то под другой крышей в трущобах, «среди моих братьев»; его прототипом послужил переплетчик, который учил Хоуэллса немецкому. Драйфус, недавно обогатившийся на разработке природного газа, обнаружившегося на его ферме в Огайо, приезжает в Нью-Йорк, где видит, как деньги его, пущенные в оборот, приносят новые деньги. Задуманный как тип негодяя, человека корыстного, открытого врага рабочих союзов, подчинившего своей воле всю семью, Драйфус изображается без тени сочувствия, которое придавало светлые черты облику Сайласа Лафэма; его превращение в добряка после смерти Линдау выглядит неправдоподобно и сентиментально. Невежественные, наглые и вульгарные дочери Драйфуса изображены правдивее, чем герой Конрад, чувствительный, постоянно краснеющий молодой человек, сохранивший до тридцати лет идеалы «невинного неведения» во всем, что касается женщин, и мечтающий, если хватит смелости, вступить в протестантскую секту, исповедующую безбрачие. В амплитуде философских взглядов, колеблющихся от разделяемых Драйфусом идей свободной инициативы до эстетического индифферентизма Битона, Хоуэллс ближе к Линдау, который

предлагает путем упорядоченных политических акций поставить природные ресурсы под контроль государства и осуществить программу социального страхования. Забастовка рабочих трамвайных линий в 1888 году завершает сюжет на мелодраматической ноте.

В более мягких тонах выдержаны социальные контрасты в «Богеме» (1893), где описываются злоключения одаренной девушки из Огайо, занимающейся живописью. «В мире случайностей» (1893) написан лучше. Герой, Шелли Рэй, «опрятный, хрупкий, невысокого роста» газетчик из Огайо — фигура, очевидно, автобиографическая, — приезжает в Нью-Йорк с рукописью романтического романа, который завоевал популярность лишь потому, что рецензент взял его домой по ошибке. Лучший образ книги — старый социалист Дэвид Хьюз, живший в свое время в колонии Брук Фарм; возможно, он выражает мысли Хоуэллса, критикуя толстовское «затворничество»: «Общество не спасешь тем, что поставишь себя вне его законов... «Золотого века» можно достичь только путем тайного голосования».

Видимо, Хоуэллс не знал о Карле Марксе ничего, кроме того, что почерпнул у Гронлунда и у более молодых людей вроде Хэмлина Гарленда. В «Путешественнике из Альтрурии» (1894) и в романе, служащем его продолжением — «Сквозь игольное ушко» (1907), — Аристид Хомос буквально взрывает покой летнего отеля тем, что помогает слугам выполнять их работу; а в лекции, организованной кликушествовавшей дамой миссис Мейкли, дает описание Альтрурии, где неравенству и конкуренции пришлось на смену то, что производит впечатление весьма тоскливого бытия. Утопиям Хоуэллса предшествовали утопии Беллами и Морриса, а во «Всеобщем благосостоянии» Гронлунда можно найти немало сходного с его идеями. Хотя он и называл себя социалистом, хотя его больно ранили неравенство и нищета, Хоуэллс никогда активно не выступал против установленного порядка. Он писал Генри Джеймсу в 1888 году: «После пятидесяти лет оптимистического лада с «цивилизацией» и веры в то, что в конце концов все будет в порядке, я теперь ненавижу ее и чувствую, что в конце концов все будет скверно, если только мы не начнем все сначала на основе истинного равенства. Тем временем я ношу меховое пальто и живу настолько роскошно, насколько это позволяет мне мой достаток».

Он всегда был чувствителен к перемене литературной моды. По мере того как реализм углублялся, превращаясь в натурализм и веритизм, интонации его собственного творчества все ужесточались. Изображение больных туберкулезом членов семейства Даргин на их одинокой ферме в Нью-Гемпшире (роман «Гостиница Львиной Головы», 1897) представляет собою самую мрачную из когда-либо созданных Хоуэллсом картин жизни Новой Англии. Деревенские жители в «Сценах частной

жизни», представлявших собою нечто вроде предварительных набросков к «Гостинице», служили, скорее, фоном для изображения заезжих пансионеров; теперь Хоуэллс подробнее разрабатывает их характеры. Миссис Даргин — фигура в высшей степени правдоподобная, одно из высших достижений писателя. Уэстовер, художник, приехавший рисовать Львиную Голову и предлагающий ей пожить на летнем курорте, являет собой нечто вроде джеймсовского резонера, комментирующего ход всего действия; социальные проблемы, с которыми сталкивается сын владельца отеля студент Гарварда, оказавшись на пикнике с летними постояльцами или в бостонском обществе, волнуют его куда сильнее, чем самого Джеффа Даргина. Изображая Джеффа, единственного персонажа романа, чувства которого находятся в нормальном состоянии, Хоуэллс ближе всего подходит к образу реального человека. Еще до того, как апостолы силы начали популяризировать тип brutального героя, Хоуэллс наделил Джеффа железной волей нищешанского сверхчеловека, властного, физически сильного и обладающего неотразимой притягательностью для женщин. Слабость в его глазах — единственный порок. Его роман с девушкой из бостонского общества выглядит куда убедительнее, нежели дурацкая щепетильность его невесты, официантки в отеле, которая предпочитает ему сверхутонченного и куда более старшего годами Уэстовера. Читателя отталкивает ее сверхъестественная деликатность, в то время как несовершенства Джеффа, которые он и не думает скрывать, вызывают симпатию, на которую Хоуэллс не рассчитывал. Несмотря на известные просчеты, «Гостиница Львиной Головы» представляет собой один из лучших романов Хоуэллса; он был несправедливо предан забвению.

Заслуживают рассмотрения и несколько романов последнего двадцатилетия его творческой деятельности. В «Кентонах» показано, как любовная история отражается на судьбе всей семьи, вынужденной покинуть обжитой дом из-за несчастья одной из дочерей. Избегая недоброй сатиры, Хоуэллс изображает ностальгические чувства судьи Кентона и бездомность, испытываемую всей семьей на чужбине, которую они постоянно сравнивают с родиной — Огайо. Пятнадцатилетний Бойн — лучший образ подростка у Хоуэллса. Среди всех романов Хоуэллса «Кентоны» казались Джеймсу совершенным, классическим выражением духа и формы творчества этого писателя. «Сын Ройала Лэнгбрита» (1904), книга более содержательная, не столь верна обыденному, но представляет собой не в пример предыдущей увлекательное чтение. Главный интерес заключен в любовной истории увядающей миссис Лэнгбрит, пережившей пятнадцать лет вдовства. Остается лишь одно препятствие к замужеству: ее сын Джим пребывает в неведении, что его отец, чью память он боготворит, был на самом деле жестокосердым пьяницей, избивавшим жену и содержавшим любовницу. Джим,

студент предпоследнего курса Гарварда, имеет достаточное влияние на мать, чтобы заставить ее отложить решение, и, пока юна пребывает в сомнениях, Хоуэллс осмотрительно насыплет на ее жениха тиф, уносящий его в могилу.

С 1900 года и до самой смерти Хоуэллс вел колонку «Удобное кресло редактора» в «Харперс», продолжая в то же время писать и для других журналов, особенно для «Норт эмерикэн ревью». Поддержка, оказываемая им молодым писателям — Хоу, Крейну, Гарленду и Норрису, — хорошо известна; в то же время не всегда помнят о том, что и своим более знаменитым современникам он часто давал ценные советы. Джеймс писал об этом с чувством теплой признательности: «С откровенностью и добротой истинного гостеприимства, которое буквально сделало меня тем, что я есть, вы протянули мне дружескую руку редактора, когда я только начинал писать — я имею в виду в особенности лето 1866 года... Вы указали мне путь и открыли дверь».

Встреча с Хоуэллсом в Англии в 1897 году вновь пробудила у Джеймса желание писать романы, которое так замечательно осуществилось в его высочайших творениях. Более, чем кто-либо другой, Хоуэллс поощрял творчество Марка Твена, чей гений он распознал с самого начала. Без Хоуэллса могло и не быть «Жизни на Миссисипи». Антиподы в повседневной жизни, они в течение сорока лет поддерживали дружбу, лишним свидетельством которой служит «Мой Марк Твен» (1910). Хоуэллса несправедливо обвиняли в том, что он навязывал органическому гению Марка Твена стыдливую утонченность; его советы были, как правило, точны, а замена выражений типа «к черту» или «гнусный» на более мягкие обороты представляет собой редактуру не более решительную, нежели та, в которой сегодня нуждаются кино- или радиосценарии.

С течением времени Хоуэллсу присуждались почетные степени университетов — Йельского, Гарвардского, Оксфордского, Колумбийского и Принстонского; он был избран первым президентом Американской Академии искусств и литературы. В 1920 году — в год его смерти — бестселлером стал реалистический роман под названием «Главная улица». Его длительный крестовый поход подошел к концу. Его реализм, за который он подвергался преследованию со стороны двух поколений романтиков, был теперь осмеян как робкий новыми реалистами, которые были обязаны Хоуэллсу больше, чем готовы были признать. Пусть он охватил слишком узкое пространство человеческого опыта, однако немногие из его преемников превзошли его силой точного изображения того, что он видел вокруг.

## 55. ЭКСПЕРИМЕНТ В ПОЭЗИИ: СИДНИ ЛЭНИР И ЭМИЛИ ДИКИНСОН

### 1

Прозе принадлежала главная роль в художественном освоении и освоении новой Америки. Но к 1870 году давление современности испытали на себе все искусства; возникли новые идеи, и поэзия сказала свое слово. Поэтам, которые родились во второй трети века, было суждено ощутить стремительно нараставшую интенсивность интеллектуальных исканий. Разными были появлявшиеся новые идеи — от вульгарно-материалистических толкований сущности Америки до возвышенных философских систем, достойных мыслителей девятнадцатого столетия, которым столь многие из поэтов были так глубоко обязаны. Шло время, Америка обретала свою мощь, начиналась (после промышленной революции) зловещая эра машины, одни доктрины исчезали, а на смену им являлись новые — все это довелось наблюдать поэтам, которым выпала долгая жизнь. Скажем, автор прекрасных стихов о войне «Геттисбергская удача» Уильям Генри Томпсон дожил до 1918 года, и на его глазах произошли все те перемены в поэзии, предвестием которых был творческий бунт Сидни Лэнира и Эмили Дикинсон. Впрочем, не он один, а все поэты, выступившие во вторую половину века, даже Генри Тимрод, умерший в 1867 году, пережили воздействие быстро росшей науки и промышленности, а также всколыхнувшей страну войны Севера и Юга.

Даже в поэзии 1860-х годов можно расслышать, пусть еще далекие, раскаты надвигающейся грозы. Многие поэты лишь ощутили беспокойство той эпохи, но нравственные проблемы, которые возникли с ростом науки, осознали они все, и все были взволнованы тем спектаклем, который разыгрывался на арене национальной жизни и был воспет Лэниром в его «Псалме Запада». «Листья травы» (1855) Уолта Уитмена почти не нашли преемников до конца столетия, однако же он выразил то, что жаждал сказать. А тем временем война вызвала к жизни резкую откровенность стихов Мелвилла и хотя бы частично подготовила публику к мрачной книге Стивена Крейна «Черные всадники» (1895). Уже появились поэты, начавшие постигать силу свежего, взятого из самой действительности материала, когда он дается без ухищрений, в экспериментальном по

форме стихе. Этой ранней волне медленно происходящих изменений мы обязаны образцами необычной поэзии, в одном случае едва ли не великой, в другом скромной, — поэзии Эмили Дикинсон и Сидни Лэнира. Однако традиционалистов влекло к старым сюжетам и формам. В отличие от бунтарей с их смелым новаторством они перепевали давние викторианские мелодии. В их поэзии звучали отголоски Байрона, Шелли и Китса. Велика была их преданность богам прошлой эпохи; среди поклоняющихся таким кумирам назовем Томаса Кларенса Стедмена, полупоэта, полубанкира, а также Томаса Бейли Олдрича, певца алых и белых роз; другие, как редкостно изысканный Эдвард Роулэнд Силл, запутались в тонких сетях Теннисона. Иногда магически влекло подражать и поэтам-американцам — так, преподобный Джон Бэннистер Тэбб был прямо-таки зачарован Эдгаром По. Легко вообразить, каким изгоем оказывался в такой компании Уитмен, — ведь принципы стихосложения казались выработанными раз и навсегда, а на Парнас, разумеется, вела одна-единственная тропа, которую проторили английские романтики.

Случалось, правда, что те или иные причудливые события эпохи находили свой отзвук в поэзии, но эти почитатели изящного тут же выхолащивали их грубую правду, приспособлявая неприятные факты жизни к требованиям благопристойности, которыми они вдохновлялись, сочиняя стихи. Взглянуть хотя бы, во что превратилась под пером Стедмена та индустрия денег, которая потом вызовет к жизни настоенный на горечи образ Титана в романах Драйзера, или как наш провинциальный Гейне — Джоакин Миллер — в «Скачке Кита Карсона» водянистым анапестом укротил бушующее пламя прерий. Или как в своей «Скачке Шеридана» Томас Бьюкенен Рид, решившись покинуть воспеваемый им уютный садик и рассказать о войне, умудрился превратить героизм и страдания битв в скверный театр с разными затеями. Материал был нов и волнующ, но сама-то поэзия отставала от этого материала на добрый век.

Конфликт между новым реализмом и устойчивым консерватизмом побуждал некоторых поэтов, и среди них Дикинсон и Лэнира, к экспериментам — экспериментам, в которых они стремились передать новые чувства и опробовать новые средства, хотя пока еще и не отступали от державшихся на последнем дыхании старых форм. Полностью отдаться духу обновления, как Уитмен, было бы в глазах читателей безумием, полностью оставаться во власти старого, как Олдрич, — ничем не оправдываемым насилием над собой. Помимо уже названных двух наиболее смелых экспериментаторов, мы время от времени встречаем и других поэтов, в понимании стиха опережавших свое время. Так, в 70-е годы писал сонеты и другие стихи Фредерик Годдард Такерман; мечтатель и затворник, в чьем творчестве, достаточно традиционном, чтобы привлечь

благосклонное внимание Лонгфелло и Лоуэлла, различается и иное — напряженный поиск новой поэтики. Уиттер Биннер, который к открыл этого поэта, пишет: «Такерман знал, что делает, когда завершал сонет александриной, или укорачивал последнюю строку на одну стопу, или менял ритмику, чтобы выделить каждый оттенок своей мысли». Понимал ли Такерман, как это понимала Эмили Дикинсон, что еще не пришло время, чтобы у него появились читатели? И еще возникает вопрос — были ли в ту эпоху и другие экспериментаторы, оставшиеся нам неизвестными? И, может быть, в конечном итоге Лэнир, Эмили Дикинсон и Такерман тоже создали систему, лишь более утонченную, чем у их более традиционных современников? Как бы то ни было, эти вот люди и были вестниками огромных изменений, подготавливавшихся в американской поэзии.

## 2

Может показаться, что Сидни Лэнир был просто идеальным, только отнюдь не застывшим воплощением и этого консерватизма, и этих порывов к новой поэзии. На протяжении шестнадцати лет после Гражданской войны он не упускал случая еще раз обосновать и подтвердить практикой свою увлекательную, но на редкость неубедительную идею насчет тождества поэзии и музыки; кроме того, он был просто фанатиком по части стиховых экспериментов. Но какими бы заманчивыми ни представлялись возможности, сулимые его теорией синтеза двух искусств, он ни разу не достигал в своих неправильно построенных строках и разветвленных метафорах той поразительной углубленности и той совершенно естественной символичности, которыми полны строфы Эмили Дикинсон. Вполне допустимо, что грубая, яростная энергия поэзии Уолта Уитмена, хотя и стала для Лэнира стимулом обновления, на самом деле больше его шокировала.

Да ведь и со стороны содержания то же самое: он странным образом заключает в свои объятия всю природу, объявляет искусство священным, поклоняется солнцу и поносит «ремесла», но, по сути, Лэнир на удивление ортодоксален. Не в пример двум своим ныне прославленным современникам — Уитмену и Дикинсон — он не стремится избавиться от прежних поверий, прежде чем выстроить новую вселенную. Напротив, он цепко держится за привычные понятия романтического христианства XIX века и все пытается примирить порочный мир и его разъедающую основы науку со своим «кристально чистым Христом». Он недалек от той южной христианско-джентльменской традиции, к которой принадлежали такие поэты, как Чиверс и По. Вот почему мир его нравственных представлений оставался узким, он всю жизнь был прихожанином-евангелистом. Если проследить, как рождалась новая

поэзия, Лэнир окажется среди тех, кого она лишь смутно тревожила, а не с теми, кто положил ей начало. Подобно Дикинсон и Уитмену, он тяготился оковами традиционного стиха, но в отличие от них он не предложил никаких по-настоящему новых форм.

И тем не менее Лэнир, этот «метеор, во тьме чертящий яркий след», оказался на магистрали движения поэзии после Гражданской войны, привлекая напряженностью выраженных им переживаний и сложностью мелодики и композиции, вот почему его влияние было благотворным и без него трудно себе представить послевоенную поэтическую эпоху. Такая кипучая энергия была необходима во времена, когда понятие о поэзии определялось стихами Лонгфелло и Уитфера. Его известность, завоеванная еще и мужеством, с каким Лэнир сопротивлялся болезни и нищете, а также успехами на музыкальном поприще, росла неспешно и достигла апогея примерно к моменту его ранней смерти в 1881 году. Оживший ныне интерес к нему, отчасти вызванный тем, что Лэнир, как полагают, превзошел социальные идеи юных аграриев, питается не его галантным романом о войне «Тигровые лилии» (1867) и не книжками его критических статей, в которых дело не идет дальше субъективных впечатлений (он, к примеру, способен назвать Филдинга «одним из этой навозной кучи классиков»), даже не его удивительной «Наукой об английском стихе» (1880), а десятком стихотворений. Не имея ничего подобного во всей истории поэзии, они, быть может, и спасут имя Лэнира от забвения, потому что сохраняют для литературы южный пейзаж, красочно и ярко изображенный благодаря тонкому поэтическому восприятию, которое и было самым существенным в его таланте. Когда Лэнир принимался за стихи, это был больной человек — факт, очень во многом объясняющий и его странность, и его иступленность. Мы можем только покачать головой, столкнувшись со столь несдержанными порывами, можем пожалеть о том, что автор не умел контролировать себя, а его друзья Пол Хэмилтон Хейн и Бэйард Тейлор оказались слишком благодушными критиками — все так, и все же его пылкое, бурное красноречие, сразу же напоминающее о Шелли, и сообщает особую прелесть стихам Лэнира.

Одержимость, которой дышит его поэзия, находит для себя оправдание в бурной жизни Лэнира, этой, по собственным его словам, «самой жаркой из битв». Он родился 3 февраля 1842 года в Мэконе, штат Джорджия, и от Лэниров елизаветинской эпохи, а непосредственно — от своей матери, унаследовал замечательную музыкальность; «он не мог вспомнить, было ли такое время, когда он еще не умел играть чуть ли не на всех инструментах». Кончив Оглторпский университет,



он не мог решить, ждет ли его будущее музыканта или стряпчего, но тут Лэнир оказался в армии конфедератов; война, этот глубоко на него повлиявший опыт молодых лет, оставила по себе воспоминания о боях и тюрьме, о том, как он делал дни со своей любимой флейтой, и о преподобном Джоне Бэннистере Тэббе; и еще она оставила туберкулез. Болезнь обратила все оставшиеся Лэниру годы в борьбу за то, чтобы перед лицом неминуемой гибели сохранить свою личность и способность к творчеству.

На разбитом, потрясенном Юге «мрачных стервятничьих дней», как вспоминал он ту эпоху, Лэнир сменил много занятий; известно, что он был портье, что он служил в суде, но это далеко не все. Слабые легкие побуждали его странствовать, как Джона Стерлинга, которого он нередко напоминает; всякий год, что ему удавалось справиться с болезнью, он чувствовал, насколько по-новому он все воспринимает — и физически, и духовно. Его самозабвенное служение «богиням-близнецам» — поэзии и музыке — было вознаграждено в 70-е годы; он стал первой флейтой оркестра Пибоди в Балтиморе. В это время им написаны «Зерно», «Симфония», «Глиннские топи», а также «Кантата к столетию Америки». Вслед за тем пошли ошибки; он неверно определял, для чего пригоден его талант, и то читал лекции по английской литературе в университете Джона Хопкинса, то отдавался литературной критике — занятию для Лэнира бесплодному, если не считать «Науки об английском стихе». Не будет преувеличением сказать, что финал, подстерегавший этот «живой комок боли», был героической драмой: Лэнир умер в 1881 году, всего тридцати девяти лет; незадолго перед смертью, лежа с температурой за сорок, он написал одно из своих лучших стихотворений — «Восход».

Лэнир кончал университет, когда появилось в печати «Происхождение видов». Он воспринял Дарвина восторженно и исчеркал пометками свой экземпляр от первой до последней страницы; для него, как и для многих молодых поэтов того времени, дело шло не столько об объяснении законов естественного мира, сколько о высшем взлете мысли, о чем-то символическом и знаменующем будущее. В Оглторпе преподавал замечательный педагог, учившийся в Германии, Джеймс Вудро (дед Вудро Вильсона), и он приоткрыл Лэниру дверь в мир научной мысли. Для Лэнира эта дверь больше уже не закрывалась.

Наука будудила его нешаблонно взглянуть на природу, но так и не пошатнула старых убеждений, которые до конца его дней представляли собой замысловатую смесь языческих настроений, дилетантской образованности и христианства, как он его понимал.

И поэтому он мог написать:

Иуде, Иисусу — всем равно  
Дана природы равнодушная улыбка.

Но чуть ли не тут же он осыпает поцелуями подобранные им в лесу «листочки нежные, любимые, святые» или возносит гимны Спасителю в «Балладе о деревьях и Учителе». Лэнир похож на Теннисона — только ему это удастся куда меньше, — когда он тщится объединить бескомпромиссные суждения науки и твердую свою веру в некий давний первотолчок. Столь же смутны его догадки о социальных потрясениях своей эпохи; он всю жизнь увлекался Карлейлем, но не зря его часто причисляли и к последователям Рескина. Когда он отступал от взглядов, усвоенных еще в детстве, это был акт скорее рассудочный, чем нравственный. Прибежищем для Лэнира становились успокоительные иллюзии XIX века насчет «прогресса» и «неизбежного добра». Как ни неприятны ему «ремесла», все время чувствуется, сколь пылкой была его надежда, что в конце концов все устроится в Америке к лучшему, раз она добилась такого материального благоденствия.

Лэнир, несмотря на жадное любопытство к жизни, вряд ли серьезно задумывался над философскими проблемами, поднятыми наукой и промышленным развитием. Его пластичный ум был подвержен всем психозам сомнения и безверия, свойственным XIX веку; но в отличие от Эмили Дикинсон мучительно он их не переживал. Другое дело, что и ему на эту тему было что сказать. Подобно Карлейлю, кому он подражает даже в стиле, Лэнир романтизировал суждения мыслителей, которые он не мог ни развить, ни оспорить. Что он может противопоставить «ремеслам», кроме своих туманных образов и разглагольствований о Любви и Искусстве? Даже его лучшее стихотворение «Симфония» кончается словами:

Но будет и Любовь слышна;  
Запоздала она, запоздала она.  
Мы голубя тогда услышим снова:  
Ведь музыка — Любовь в чертогах слова.

Очень милые строки, разумеется, но не очень-то достойные того, кто наизусть знал *In Memoriam*. По сути дела, отношение Лэнира к современной науке всегда было эмоциональным, и всегда доминирующей при этом была романтическая интонация XIX столетия. Только в специфических областях музыки и стихосложения Лэнир был конструктивным мыслителем.

### 3

«Наука об английском стихе» — это продуманное подведение итогов тех экспериментальных поисков в области стиховой формы, которыми был занят Лэнир. Он принялся за эту книгу не потому лишь, что испытывал острый интерес к секретам

избранного им дела, и не только из педагогических устремлений, всегда в нем сильных, но еще и из характерного для художников XIX века желания понять, как соотносятся друг с другом различные искусства. В равной мере преданный поэзии и музыке, Лэнир всю жизнь исследовал их законы и в конце концов убедил себя в том, что законы в обоих случаях тождественны. Нельзя утверждать, что слабости Лэнира как поэта объясняются именно той упрощенностью, с какой он устанавливал эту эстетическую связь, но на характере его стихов, несомненно, сказалась крепнущая вера их автора в изобретенную им теорию. Работа, в которой он изложил эту теорию, сохраняет значение смелой гипотезы, в целом не подтверждаемой современными исследованиями просодии, однако не лишенной проницательности в отдельных своих положениях, касающихся круга очень сложных проблем.

Лэнир исходит из следующего: поэзии и музыке органично присущи одни и те же свойства, их сущность определяется взаимоотношениями звуков, и, стало быть, «слушая стихи, мы слышим некое сочетание звуков; читая же стихи про себя, видим, что создает это сочетание звуков; наконец, воображая себе стихи, мы воображаем сочетание звуков, находящихся в определенных отношениях один с другим».

Далее Лэнир (как ему представляется, научно) анализирует такие элементы звуковых сочетаний, как длительность произнесения, напряженность звучания, интонация и тональность. Он рассматривает вопрос об ударении, разбирает строение поэтической фразы, строки и строфы, но все это для него элементы вторичной значимости. Дочитав книгу до конца, нельзя не вынести впечатления, что при всей той пользе, которую она принесла исследованию просодии, стимулируя работу в этой области, «Наука об английском стихе» слишком голословна и искусственна в своих выводах, чтобы всерьез поколебать устоявшиеся принципы поэтического творчества и восприятия поэтического текста...

Написанные Лэниром в последние семь лет жизни стихи — «Зерно», «Симфония», «Псалом Запада» — отразили его сознательные, хотя и запоздалые усилия доказать подобными лабораторными опытами безоговорочно принятую им на веру мысль о тождественности двух искусств... Но помимо тщательно разработанной теории и попыток осуществить ее на практике, в этих стихах чувствуются талант и мастерство, которыми Лэнир был наделен от природы и которые так ярко проявляются в свободной ритмике его строк — к примеру, вот этих из «Глиннских топей»:

Сумерки изумрудные,  
Как девы чудные,

Почиоющие на листьях, дабы пробудить шепот клятв...  
В дивных туманных лесах, в темных туманных лесах...  
Не отпускай меня из сердца — не отпущу тебя из  
сердца...

Как на воде успокоился лебедь белый,  
Вью я гнездо на величии Бога смело...

Что ж, как бы ни оценивать теорию, пристрастие Лэнира к красиво звучащим словам и его восторженное преклонение перед музыкальностью, пусть она и идет в ущерб смыслу, — все это сообщило его произведениям своеобразие и некоторую эксцентричность. И в самом деле, мысль его становится толковой, лишь когда он обращается к проблеме звуковой организации (под конец жизни Лэнир обобщил свои идеи и наблюдения в этой области, написав «Науку об английском стихе»); читая его статьи, в том числе и на литературные темы, не встретишь примеров особой пронизательности в суждениях как об искусстве, так и о жизни. С той самой минуты, когда еще мальчиком он соорудил себе из камыша флейту, пытаясь извлечь из нее звук наподобие пения малиновок в Джорджии, Лэнир даже во времена божественного вдохновения, которое осенило его при зрелище войны, неизменно воспринимал жизнь только через переживание. Поэтому свойственный его стихам переизбыток выразительности и образности, производящий чуть ли не комическое впечатление, едва ли объясняется каким-то осознанным стремлением, мыслью вроде того, что «Музыка — это Любовь, которая слова взыскует». Скорее здесь просто сказывалась от природы присущая Лэниру сентиментальность, о которой наглядно свидетельствует и только что процитированная строка с ее расплывчатым определением.

Пылкость его стихов не превосходит той пылкости, которая бросалась в глаза и в его письмах, и в его разговорах, и в самих его переживаниях. Если читать его много, Сидни Лэнир приестся так, как способны приедаться немногие поэты, да и прозаики, и причина проста: она в его туманных образах, в его неспособности как-то контролировать речевой поток, в его абстрактности, книжных аллюзиях, бесконечных повторениях излюбленных эпитетов, таких, например, как «нежный», она в его комичной высокопарности, в беспорядочности его мыслей, в его многословии, архаичности языка, чрезмерности красок, воодушевления, красивостей. Его цветистые образы придают неопределенность не только отдельным строкам или метафорам — хуже, они затрудняют понимание смысла его стихов, его суждений о своей эпохе. Он был приверженцем современного ему научного знания, однако едва он пытается сказать о месте науки в мире, как тут же всякая четкость утрачивается. Он может даже написать, что наука — это «купон подложный, и ей не доказать, что доказать возможно». Но вот в «Псалме Запада», пророчествуя насчет грядущей миссии Америки, Лэнир выставляет науку как великую созидательную силу. И в его обличениях «ужасных капищ», «тех дымных городов, где краски ада оживают», — та же самая смутность. Его страшат послед-

ствия промышленного переворота, но он готов и признать важность коммерции, а американские достижения кружат ему голову настолько, что и он впадает в национализм, направляемый причинами как материалистического, так и духовного характера, и начинает кое в чем напоминать Уитмена.

Спросим теперь, что же остается от этой слишком надуманной и слишком взвинченной поэзии? Одни лишь пейзажи Джорджии, набросанные рукой очередного поборника местного колорита? Ведь не так уж много поэтов, настолько влюбленных в свои родные края, как Лэнир. Или, может быть, сохранили ценность лишь эти образы-медальоны, запечатлевшие

цветенье трав, и листьев зелень,  
и мох на пнях, и на балконах плющ

эти проблески гармонии во взвинченном, экстагическом стихе?

Что останется от Лэнира, так это его неподражаемая звуковая инструментовка, к которой он порой стремился даже в ущерб смыслу; она поражает еще больше, чем неожиданная великолепная простота его стихов, написанных на диалекте, или «Отмщения Хэмиша», одной из лучших современных баллад. Когда, оставив в стороне критические суждения, мы просто отдаемся ритмической музыке его стихов о распускающейся розе («Симфония»), о дубовых рощах («Глиннские топи»), о лучах солнца на рассвете («Восход»), мы чувствуем большой талант, который не укладывается ни в теории Лэнира, ни в его стихотворную практику. К счастью, оба поэта, плененные звуком, — По и Лэнир — никогда не были в состоянии до конца осуществить свои слишком изощренные эстетические принципы; в обоих случаях истинный поэт брал верх над искусственным теоретиком. Подобно По, к которому Лэнир-экспериментатор был гораздо ближе, чем он сам понимал, этот поэт захватывает нас напряженностью чувства, не поддающегося переводу на язык точных значений; находит себе подтверждение мысль Кольриджа, что поэзия доставляет наибольшее наслаждение именно в тех случаях, когда смысл ее постигается только в общем и не до конца. Порой такое наслаждение приносят и стихи Лэнира, несмотря на затуманенность идеи и причудливость выражения. Перед восходом солнца какое-то напряжение сообщается всей природе, а при звуках скрипки мы словно растворены в музыке — и такого рода ощущения настолько реальны, что бессмысленно говорить об их несоответствии интеллектуальному содержанию подобных мгновений; пусть совсем ненадолго, но все-таки нас захватывает этот «вихрь неистовый и нежный». Этого-то и умел добиваться в поэзии музыкант Лэнир — добиваться по-настоящему, хотя и почти невольно, и нечто сходное с такой «неопределенностью» переживания

и способностью передать в стихе всю гамму ощущений, вызываемых музыкой, мы найдем только у таких поэтов, как По и Суинберн,

4

А между тем на Севере, втайне зарабатывая бессмертие, ныне бесспорно ей принадлежащее, писала стихи Эмили Дикинсон. Ее слава, возможно нежеланная и уж во всяком случае неизвестная ей при жизни, слава чуткого, восприимчивого поэта, переводившего на язык слов общение души и вечности, — не ритуальное преклонение главы перед кумиром, но общепризнанный факт. Вместе с Уолтом Уитменом (которого она вряд ли когда-нибудь читала) она далее, чем кто-либо еще, проникла с помощью поэзии в нехоженые сферы духа. С потрясающей и великолепной страстностью Эмили Дикинсон выразила в прозрачном афористическом стихе возвышенные устремления пуританского духа, правда несколько обузданные реализмом. Ее необычайное искусство сочетать отчаяние и экстаз переживет века:

Молиться нам дано, дано —  
О боже! — и теперь.  
Не знаю, где таишься ты, —  
Стучусь в любую дверь.

Ее судьба напоминает нам о Кристине Россети, которую она пережила на 8 лет и 5 дней, и о Элизабет Баррет, если не считать, что любовь последней осуществилась, увенчавшись счастливым браком. Эмили Дикинсон ярко прожила свои пятьдесят шесть лет на спокойной улице Амхерста, будучи странницей в просторах вечности и ее мудрым судьей. Жизнь ее бедна внешними событиями. Она была крепко привязана неразрывными узами долга и молчаливой любви к своему суровому отцу адвокату, казначею Амхерстского колледжа. «Знаете, — писала она об отце, — он никогда не шутил». В узком и рафинированном мирке новоанглийского городка, в атмосфере домашней жизни вместе с братом Остином и сестрой Лавинией, Эмили выросла преданной долгу, уверенной в своих силах и с явной склонностью к постоянному самоанализу. Будничная размеренная жизнь Новой Англии вошла в ее плоть и кровь, как и у Готорна, хотя уже в письме 1853, когда ей было двадцать три года, есть намек на иное, небесное, послушничество. «Но, — замечает она простодушно, — я никогда не выхожу из дома». Примерно в 1861—1862 годах она окончательно выбрала затворничество.

Маленькая, словно птичка-крапивник, с глазами цвета вишен, которые гости оставляют на дне бокалов, — так сама она себя описывала, с тихим голосом, быстрая умом, спорая в дви-

жениях, она ковала свои невидимые миру оковы. События, подробности и суть которых еще не выяснены до конца, усугубили ее затворничество и окутали ее жизнь сбивающими с толку домыслами. Несмотря на то что она ничем не отличалась от прочих учениц женской семинарии Маунт Холиок и Амхерстской Академии, несмотря на свойственные ей веселость и дружелюбие, мы тоже смотрим на нее глазами ее недоверчивых и удивленных соседей. В ходу летучие рассказы: она никогда не подписывала свои письма, она слушала музыку, доносившуюся снизу, из «полярного одиночества» своей комнаты; всегда в белом, она порхала в вечерние часы по саду, как мотылек. Она действительно стала, вульгарно говоря, местной чудачкой. Она сама, и добровольно, обрекла себя на всевозрастающее одиночество. Томасу Уэнтворту Хиггинсону, редактору и литературному критику, распознавшему в ней искру божью, но не понимавшему ее дарования, это дало повод вспоминать: «Я виделся с ней только два раза и унес с собой впечатление чего-то необычайного и загадочного, словно она была Ундиной, Миньонной или Теклой». Какая же тайна владела этим прекрасным и удивительно жизнеспособным духом?

Подробности ее жизни должны остаться в области предположений; с большей или меньшей вероятностью мы можем обсуждать ее духовный опыт, запечатленный в полных чувства словах («случайные глотки священного вина») на оборотной стороне конвертов, или папках из коричневой бумаги, или обрывках газет и визитных карточках. Эмили Дикинсон не была ни монахиней, ни мистиком, хотя многим их напоминала. Ее отказ от жизни сопровождался мучениями земной любви. Страдания ее были неподдельными, достойными человека, который любил правду:

Люблю смотреть, как умирают:  
Людьми в то время правда правит.

Практически все, что известно об ее глубоко затаенных личных переживаниях, можно почерпнуть из короткой автобиографической справки во втором ее письме Хиггинсону от 25 апреля 1862 года:

«Я посещала школу, но не получила того, что вы называете образованием. У меня был друг детства, который научил меня искать Бессмертия. Но сам он не вернулся из этих поисков. Вскоре мой наставник умер, и несколько лет моим единственным спутником был словарь. Затем я нашла еще одного друга, но я не удовлетворила его как ученица, и он покинул страну».

Несколько мужчин играли важную роль в ее жизни, но двое особенно способствовали ее славе. Один, некий Бенджамин Ф. Ньютон, молодой адвокат, утоливший ее жажду знания, рано умер, даровав ей привилегию скорби. Другой, зрелый и женатый человек, преподобный Чарльз Уодсворт, красноречием

уступавший только Генри Уорду Бичеру, вызвал у нее чувство, которое оба они старались подавить, руководствуясь высокими моральными принципами. Вот те два земных реальных полюса, между которыми, главным образом, и заключена ее поэзия. И все же опасно соотносить ее страстную лирику с определенными людьми. Эмили Дикинсон — поэт в той же мере, что и женщина, и следует принимать во внимание ее пристрастия художника, ее тягу к драматизации настроений. Несомненно одно: ее любовная лирика, в противоположность стихам Эмили Бронте, имела под собой реальную основу. Любовь, томление, смерть — все она вкусила с острой жадностью отзывчивой к впечатлениям души. Так она и жила, в своем саду, в своей комнате, в то же время все дальше уходя в просторы воображаемой вселенной. До самой ее смерти, в 1862 году, этот ее собственный мир сиял отраженным светом простых и возвышенных чувств, хотя иной раз его небосклон застилала туча сомнения, когда Эмили Дикинсон размышляла «об оборотной стороне божественного». Ее интроспекция, ее «свежий трансцендентализм» говорят о постепенном освобождении из уз старой пуританской ортодоксии.

Жизнь затворницы, беглянки позволяет предположить, что Эмили Дикинсон не ведала о таких важных явлениях американской жизни, как последствия Гражданской войны, развитие пауки или, например, существование знаменитых американских писателей. В какой-то мере она — символ культурной изоляции Новой Англии, ее самоуглубленности. И опять-таки отсутствие прямых связей с действительностью обманчиво; во многих отношениях она была законное дитя своего века. Она не могла оценить по достоинству все значение войны или других крупных событий; их низменный характер был для нее, как она говорила, «неухватываем». И однако, ей было известно, что пуля сразила храброго юношу Фрейзера Стирнса (сына президента Амхерстского колледжа), и она сочувствовала горю других; только реальные события она переплавляла в поэтические образы. «Печаль, — писала она, — кажется более общей, чем прежде, а не достоянием отдельных людей, с тех пор как началась война». Позывные науки тоже находили отклик в ее жизни, хотя и более приглушенный, чем в риторике Лэнира. Она знала также о существовании По и Готорна, который, как она говорила, «ужасен и соблазнителен». Пуританизм, трансцендентализм и даже временами стимулирующий североамериканский юмор были той плодотворной почвой, на которой произрастали жизнестойкие и одновременно утонченные цветы ее поэзии.

По причинам, о которых можно только сожалеть, например из-за ужаса перед «холодной как лягушка» рекламой или страха «продавать» свои стихи, она никогда не оспаривала советов двух своих «литературных» друзей, Элен Хант Джексон и доброго, но осторожного редактора Хиггинсона; она не желала



грязнить чистейшее знамя поэзии отношениями с книгоиздателями. «Пусть останутся мои стихи босоногими», — говорила она. А может быть, она понимала, что ее поэзия опередила свое время. Тем не менее Дикинсон любила тех, кто пишет доступно и для всего человечества. Кроме Библии, Шекспира и Томаса Брауна, она признавала Китса и с энтузиазмом славил Джордж Элиот. Ее портрет, а также портреты Элизабет Баррет и Карлейля украшали стены ее комнаты. Из своих американских современников, хотя прямо на них она не ссылается, Эмили Дикинсон больше всего обязана Эмерсону и гротескностью, и яркой смелостью своего упругого стиля.

Было бы, однако, поучительно исследовать, насколько неукоснительно следовала она технике эмерсоновского стиха и в какой степени лаконизм ее экономичной формы проистекает из ее врожденной неприязни к тому, что он называл «серенадной болтовней». Очевидно, она мало заимствовала даже у Эмерсона. Самые ранние ее стихи уже обнаруживают крепкую слаженность. Каждое стихотворение со свойственными только ей приемами говорит о независимости ее поэзии, которая есть олицетворенный протест против лэнировского многословия. Из восьмисот ее стихотворений и из шестисот пятидесяти, впоследствии опубликованных в «Стрелах мелодии» (1945), сравнительно малое количество насчитывает больше двенадцати строк. Ее любимый размер напоминает о метрике гимнов, которые она знала с детских лет, с их великолепным чередованием трехкратного, двукратного и одиночного ударений. Не презирала она и традиционных приемов стихосложения. Ее аллитерации и ассонансы эффектны, но все эти ухищрения носят подчас озорной характер, например, когда она отдается игре с плавными звуками в конце восьмистрочных «вечерних» стансов:

Вот желтая звезда легко  
И там, где ждут, взошла,  
Луна серебристый кивер свой  
Содвинула с чела.  
Как звездны купола, сады  
Светло озарены.  
«Милорд, — я небу говорю, —  
Отец мой, Вы точны».

Из любви к сжатости она отдает предпочтение односложным и двусложным словам, зачастую обозначающим самые обыденные предметы ее новоанглийского деревенского быта, с которыми она так нерасторжимо связана: это метла, капор, желоб, лаз, плащ. Хочется видеть соответствие между ее все более и более патетическим одиночеством, связанной с ним молчаливостью и лаконизмом ее стихотворной манеры; ни о чем, ни о чем не следует пространно говорить, надо лишь сообщить самое зерно мысли — без шелухи, без блестящей оболочки. Так, подобно другим американским писателям, лишенным отшли-

фовывающего и стандартизирующего влияния «кружка» или желчного общества критически настроенных друзей, она сохранила четкость, отточенную остроту мысли. Ее техника, так удивлявшая других писателей, подобных Хиггинсону, и порой изумляющая даже современного знатока поэзии с его полунаучным складом ума, принадлежит только Эмили Дикинсон. Она опускала союзы, использовала рифмы, усеченные на половину и три четверти, разнообразно обыгрывала сослагательное наклонение, вольно обращалась с согласованием времен, усекала предложения. Иногда стиль ее был загадочен — «почти идиотичен», как выразился один нетерпеливый и тупой критик, — и она постоянно спешила. Быстрота была радостью этой новой Геспериды, она не остановилась бы даже, чтобы поднять золотое яблоко. Эта стремительность была отчасти результатом ее напряженного, безостановочного стиля работы, она стремилась уловить мысль с телеграфной быстротой. Более того, ее неполные рифмы, неправильности стиля, судорожные перепады ритма отражали противоречия и сложности человеческого опыта вообще; а сама неровность ее поэзии стала метафорой окружающей жизни.

## 5

Почти не принимается во внимание то, что, тем не менее, в поэзии Дикинсон существовал осознанный порядок. Ее замкнутый образ жизни имеет тот минус в наших глазах, что мы ничего не знаем о ее теории искусства. Нет ни одного предисловия, ни эссе, в которых бы она излагала свои поэтические принципы. Мы располагаем только проливающими свет обмолвками в письмах, полунамеками, которые иной раз проскальзывают в самих стихах этой застенчивой женщины, обладавшей капризным интеллектом. Ее мастерство напоминало перчатку, сросшуюся с рукой. Однако кредо у нее было. Размышляя о связи поэзии с жизнью, она тем самым пыталась разрешить одну из древнейших проблем. Во-первых, ее занимал вопрос о соотношении конкретного и абстрактного, то есть соотношение ее новоанглийского мира с его упорядоченной жизнью — с ее «неземным» прототипом. Она обладала пытливостью философа без свойственной последнему способности примирять зримое с незримым, снимать уязвляющий чувства конфликт видимости и сущности.

Да, она сознает этот конфликт, он присутствует во всей ее поэзии: кружевная легкость и напористость волны; туман и сверкающие вершины над ним, видение и мысль. Ее образность движется по этой колее. Она вечно взыскует абсолюта и сожалеет о цене, которую приходится платить за обретение, длящееся один миг.

Не задаром нам дано  
Восприятие предмета —  
Платим вечностью за это.

Ее восприятию жизни свойствен был дуализм, отвергающий уитменовский монизм. Она сосредоточенна и любознательна, с одной стороны, во всем, что касается бога, но ее интересуют газетные новости (ведь рассказы о ее затворничестве грешат преувеличением). Этот дуализм проявился и в ее поэзии, в таком, например, метафизическом умозаключении:

За красоту погибла я

или реалистической метафоре, относящейся к змее:

Плетка  
Сплетенная солнцем.

Так, с определенной точки зрения Эмили Дикинсон — реалист, исследующий, по ее словам, каждый завиток в мозгу, поэт с острым, задорным взглядом на будничное окружение и в то же время поэт, видящий божественное в повседневности. Она пишет о пчеле, цветке клевера, пауке, летучей мыши, грозе, полдне, солнечном закате или проповеднике с его претенциозной речью о «глубинах духа». В этой роли комментатора видимого и невидимого она изрекает афоризмы о боге, человеческой любви, смерти, а также о русалках и червях. В ее поэзии сталкиваются возвышенное и тривиальное, вызывая у нее смешанную реакцию почтительности и насмешки, как, например, в ее молитве «удовлетворить» ее, а всего-то навсего даровать ей ее собственное небо, где:

Улыбка на лице творца,  
А херувимов нет.  
Святой украдкой на меня,  
Смеясь, глядит в ответ.

Стихотворение выражает ее мгновенную уверенность, что молчание не может разразиться речью, что убеждение, будто бог отвечает нашим молитвам, обманчиво. Но на что же в таком случае может рассчитывать человек? Используя ее собственную метафору, можно сказать, что она занимается духовной арифметикой и ее печальные, порой фрейдистские выводы, к примеру в ее сне о червяке, похожи на эпиграммы и так же легко запоминаются, как причудливые клинические наблюдения Готорна над побуждениями человека. Но его символы слишком уж часто полны таинственного великолепия сакраментальной буквы А, пылающей на небесах; символы Эмили Дикинсон, напротив, сияют полярным отблеском звезд в морозной вышине. Дикинсон неустанно порицает человека за его надежды и

страхи, это особенно наглядно выражено в ее стихотворениях о тяготах человеческой жизни. И в то же время, особенно в стихах о природе, перед нами Дикинсон — фея, беседующая с растениями и птицами на их языке. Нет, она не грешит буквализмом, ибо пребывает в уверенности, что, хотя знает всех их очень хорошо, все же эти бессловесные создания мыслят глубже, чем она. Тем не менее она восхитительно точна. Снег падает в канавы, словно «шерсть из алебастра», собака бежит куда-то на своих «плюшевых» лапах, летучая мышь летит, раскрыв свой «маленький, причудливо половинчатый зонтик», у луны «золотистый подбородок», трава «нижет всю ночь жемчужины росы», клевер — «луговой буян». Она будоражит такой, например, фразой: и мертвые, в своих гипсовых кельях, покочья «под стропилами савана, под крышей из камня». В противовес Лэриу с его туманом и неясностью она любит остро наглядные, персонифицированные образы: смерть останавливает у ее порога свою повозку. Любит она изобретать новые слова:

Королевства как сады  
Осыплются оранжевя.

Короче говоря, поэзия — ее «подружка», с нею она играет во множество игр, в которых участвуют цвет, свет и звук. Их у Эмили Дикинсон целое море.

Надо сказать, при всей своей чуткости, духовной восприимчивости Эмили Дикинсон — поэт внезапностей, поэзия ее калейдоскопична. Ее интроспекция зиждилась на опыте, который про- являлся в перепадах отчаяния и экстаза, что сказывается в хаотичном, недатированном потоке стихотворений, озаглавленных: «Любовь», «Жизнь», «Природа», «Время и вечность», «Наши младшие братья», «Толпа в сердце», «Одинокая гончая». В ее полных неожиданностей стихах о природе, о повседневных делах, в ее фантастических образах есть своя последовательность. Если их соответственно расположить, они свидетельствуют о все углубляющейся жизни духа. Например, последние стихотворения сборника «Стрелы мелодии» с их тенденцией к обобщениям. Стремительная река поэзии изливается из глубинных источников ее существа, она сверкает под солнцем ее интуиции, все далее и далее стремится она свой бег сквозь просторы сознания к океану вечности, которому она озорно сообщает: «Я иду, сэр». В немногих словах, истинное значение поэзии Эмили Дикинсон заключается в фиксации духовных мук человека, который преодолевает преграды на пути к конечной победе и очищению. Этот сокровенный смысл поэзии Дикинсон и поднимает ее от недолговечности эпиграммы до уровня цельной законченной системы. Это американский вариант «Новой жизни» или «Сонетов в переводе с португальского», или других великих поэтических образцов. Эмили Дикинсон выступает здесь не

как ловкий мастер афоризмов; она говорит на общезначимом языке.

К сожалению, последовательное рассмотрение ее духовного паломничества, развития ее духовной вселенной затруднено по ряду причин. Во-первых, сомнительна датировка многих стихотворений. Необходимо перегруппировать стихотворения из «Полного собрания» и «Стрел мелодии», но, даже если будет восстановлен хронологический порядок, мы все равно не можем быть уверены, что время создания совпадает с моментом переживания. А это в свою очередь ставит нас перед крайне трудной проблемой — невозможностью соотнести интересующие нас стихотворения с кризисными событиями жизни поэтессы. Так, например, следующие известные строчки могут быть откликом на смерть ее друзей Леонарда Хамфри и Бена Ньютона, но могут быть и безотносительны:

Кончалась дважды жизнь моя  
До своего конца,  
Сорвет ли — в третий раз — покров  
Бессмертия с лица?

И отражает ли стихотворение о счастье близ домашнего очага то время надежды на взаимную любовь, которое предшествовало скорбным дням поражения? Можно ли с определенностью сказать, кого она имела в виду, говоря о «беглеце» или «спутнике смутном»? Да и можно ли запретить поэту уноситься на крыльях вымысла, особенно если он прекрасен? Она, безусловно, могла возвеличить маленький любовный эпизод из любви к искусству, но силой искусства мечта превращена в полную страсти реальность. Поистине, пронизателен будет тот, кто сможет установить соответствие лирических строк подлинным словам, сказанным при прощаниях, с состоявшимися разговорами, найти доказательства тому, что ее отец, например, действительно высоко поднял фонарь, чтобы осветить путь со двора нежеланному поклоннику, или что действительно в некий полдень влюбленные расстались; кто в стихотворениях Элизабет Баррет увидит конкретное присутствие Роберта Браунинга! Кто, наконец, установит, что кроется в отождествлении земной и небесной любви:

Я выдана лишь за тебя,  
О, небесное благо!  
Невеста Сына и Отца,  
Невеста Духа Святаго!

Другим помолвкам не судьба,  
С другими мне не жить;  
Лишь господин моей души  
Смерть сможет победить.

И все же, отдав должное всем этим оговоркам, большинство из нас подпишется под словами ученого, который сказал, что

поэзия Эмили Дикинсон «запечатлела с доскональной точностью все тончайшие переживания женской души, по мере того как она познает все бремя неизменной привязанности и движется от самодовлеющей иллюзии, а затем болезненного разочарования к мукам неосуществленных желаний и, наконец, возрождается, неуязвимая, в новой фазе бытия». Все эти стихотворения, в конечном счете, вращаются вокруг одного стержня, и не имеет смысла гадать, когда восхождение на «голгофу» Эмили Дикинсон — (любимое слово) — произвело на свет то или иное стихотворение. Каждый тип ее стихотворений имеет свои изъяны: это и чересчур игривая радость, рожденная «иллюзией», и мучительная до невротизма боль «разочарования», и несколько заумная и в то же время шутовская интерпретация вечности, ее «новой фазы бытия». Но так как эта стадия увенчивает цикл ее поэтического развития, нас она интересует больше всего. Это конечный период самой углубленной работы духа и кристаллизации ее воспоминаний и печали.

Любое горе меряю  
Бесстрашна и точна.

На этой фазе бытия она достигает своеобразного покоя. Упрощенно говоря, она обретает некое возмещение за потерю земной любви. В конце концов она обретает также живое ощущение присутствия бога. Это — существо, чьи капризы, изменчивость и постоянная «двойственность» уже причиняли ей столько огорчений (опять она мучится разладом между абстракцией и конкретностью) и которое все же дает ей удовлетворение за бесплодно растраченные чувства. Ее небеса, к которым обращены ее последние стихотворения, суровы или холодны, как у Эмерсона, хотя и менее ясны. Однако ее воображение наделяет их в то же время легкомыслием и жизнерадостностью. Все-таки здесь обитает ее Друг, ее «взломщик, банкир и отец».

Притерпевшись к своим земным печалям, Эмили Дикинсон и жила в этом мире неизменно, если не считать коротких промежутков депрессии, находя здесь то постоянство, которого ей не хватало в отношениях с людьми. Здесь она почти счастливо существовала с Отцом, серафимами и падшими ангелами — иначе говоря, со своими собственными высокими помыслами. Этот образ мыслей породил представление о ней как о мистическом поэте, тем более что она так часто использует слово «свет» и так уверена в присутствии бога:

Никогда не видела степей  
Никогда не видела морей  
Никогда не говорила с Богом  
Не была на небесах  
И, все-таки, знаю дорогу  
Наверно, мне карта дана.

Однако подобное мнение следует уточнить. Она была знакома с поэзией мистиков XVII века, так, она упоминает о Генри Вонне. И все же такие признаки мистицизма, как пассивность, ощущение зыбкости связи с богом, неуловимость опыта, менее характерны, чем ее всеподавляющее ощущение повседневности, свойственные ей легкость нрава и безоговорочная верность собственной натуре, которая в то же время поразительно противоречива. Ну разве можно в августейшей компании мистиков найти что-либо подобное ее умению сочетать космическое и комическое? Она святая, но в чепчике и нижней юбке. Дух утонченный и героический.

6

Лэнировский эксперимент в поэзии был столь причудливым, а Эмили Дикинсон — настолько потаенным, что после смерти его в 1881 году, ее — в 1886 последствия их еретического служения поэзии проявились не сразу. По правде говоря, в 1947 году мы отчетливее понимаем, что их беспокойство было не мятежом, а подступом к нему. У них мало подражателей. В сущности, они просто первые из наших настоящих поэтов, кто понял несоответствие викторианского кодекса стихосложения меняющейся Америке и свободной жизни духа, разрыв между ортодоксальной поэзией и безумным миром, повитым войной, машиной и наукой. Лэнир, несмотря на его консервативную концепцию любви, ощутил крушение прежнего ясного мира, а Эмили Дикинсон, в тиши своего затворничества, ниспровергала обветшавшие ценности. Оба поэта стремились выразить с большей или меньшей точностью то ощущение *непрочности*, которое для мыслящих людей, мужчин и женщин, стало характерной чертой Америки после Гражданской войны. Передать это ощущение был призван их эксперимент в поэзии. Наивысшей точки развития Лэнир достиг, предложив свою смелую концепцию родственности музыки и поэзии — теорию, которая, несмотря на некоторые несообразности, обладает определенной исторической заслугой. Она оказала влияние и на современную науку и, вероятно, на модернистскую поэзию. Эксперимент Эмили Дикинсон с ее данью Эмерсону, ее любовью к образу, слову и знанию предвосхитил метафизическое направление в американской поэзии наших дней. Достижения этих поэтов в совокупности провозгласили торжество новых тем и новых форм. Их поэзия (вместе с уитменовской) подготовила почву для поэзии современной, подобно тому как рассказы Марка Твена породили современную американскую литературу.

## 56. МАРК ТВЕН

### 1

«Я глубоко убежден, — писал Бернард Шоу Марку Твену, — что будущий историк Америки не сможет обойтись без ваших книг — так же, как историк Франции — без политических трактатов Вольтера». Ни один художник в нашей литературе, за исключением Линкольна, не охватывает фактами личной биографии такую широкую область типично американского опыта прошлого столетия, как Твен. Сэмюел Лэнгхорн Клеменс, американец, писавший под самым знаменитым псевдонимом, был непревзойденным летописцем своего времени. По сравнению с его жизнью жизнь литераторов в Бостоне, Конкорде и Нью-Йорке напоминала — если воспользоваться выражением Готорна — цветение талантов, которых растили в слишком глубокой тени. Он знал величайшую реку континента, как Мелвилл — открытое море. Не в пример поверхностной романтике Брет Гарта и Джоакина Миллера он был проникательным свидетелем американской эпопеи — продвижения на Запад в момент его наибольшего размаха. Когда в своей «Автобиографии» сорок лет спустя он вспоминает трагедию паренька-эмигранта, которого зарезал пьяный товарищ, и добавляет: «Я видел, как жизнь красной струей хлынула из его груди», нам сразу вспоминается утверждение Уитмена: «Я был там» — с той лишь разницей, что достоверность у поэта достигается воображением, а у Твена идет от действительного события. Как своей деятельностью, так по характеру и темпераменту Твен был истинным американцем; тому свидетельством идиличное довоенное детство в приречном городке, зрелость, совпавшая с противоречивыми устремлениями периода, который он окрестил «Позолоченным веком», закатные годы, когда надежды, вызванные эрой прогресса, смешались с разочарованием. Несмотря на его заявление, что «не существует ни одной человеческой черты, которую можно было бы безоговорочно назвать американской», личность Марка Твена отмечена неповторимой печатью национального. Если в конечном счете ему не удалось примирить реальное и идеальное, то он, во всяком случае,



проникся и тем, и другим и дал им художественное выражение. А в неудаче виноват не он — вина лежит на его поколении.

В старости неисправимо кальвинистский ум Марка Твена рассматривал всю его жизнь с рождения 30 ноября 1835 года в деревушке Флорида, штат Миссури, как цепь причинности, выкованную некоей силой, не зависящей от его собственной воли. Подобно своему янки из Коннектикута, он размышлял над наследственностью, над «нескончаемой процессией предков, тянущейся миллиарды лет от моллюска Адама, или кузнечика, или обезьяны, из которых так нудно, хвастливо и бесполезно развивалась человеческая раса». Подобно сквайру Хокинсу, отец Твена, суровый и беспокойный виргинец, вселил в членов семьи радужную и тщетную надежду на богатство, которое должны были принести «теннессиийские земли». Но в то же время, следуя примеру отца другого гения, Шекспира из Стрэтфорда, в существовании которого Марк под влиянием теории Бэкона сомневался, он преподавал сыну наглядный урок неудачной судьбы. Его жена и мать будущего писателя Джейн Лэмптон Клеменс, вышедшая из семьи кентуккийских пионеров, пыталась уравновесить благочестивым пресвитерианизмом скепсис мужа, деревенского судьи, так что их знаменитый сын унаследовал от матери способность терзаться муками совести, а от отца — стремление ничему не доверять. Что до более далеких истоков, то Твен-романтик ценил связь по материнской линии через «американского претендента» с графами Дэрем, а предметом особой гордости Твена-демократа был некий предок, член суда над Карлом I, который «сделал все возможное, чтобы сократить список коронованных бездельников своего времени».

В 1839 году Клеменсы переезжают в городок Ганнибал на западном берегу Миссисипи, где прошли детство и юность писателя, послужившие источником самого чистого вдохновения Марка Твена. Благодаря «Тому Сойеру» и «Приключениям Гекльберри Финна» облик этого городка 40-х годов стал достоянием миллионов: пристань, выступающая над мутной рекой — по ней без конца идут плоты, лодки, быстрые пакетботы и шумные плавучие балаганы; дощатые тротуары, по которым Том Сойер и Бекки Тэчер бежали в школу; коптильня, где вместе со свиньями спал пьяный отец Гека; холмистые склоны Кардиффской горы (в действительности гора Холлидей); дубовые рощи и заросли гикори и сумаха вокруг городка, а несколько миль вниз по течению — пещера, где Индеец Джо встретил смерть. Ганнибал словно нежился в эти безмятежные годы между эрой границы и потрясениями Гражданской войны, которую предвещали лишь толпа, внимающая заезжему аболиционисту, или розыски беглых рабов. В общем, радости было больше, чем печали: спустя многие годы особенно манящей казалась свобода мальчишеской жизни, любимые места для купания и леса, пол-

ные дичи, веселые приятели, восстававшие против авторитета взрослых, столы, ломившиеся от яств, выставленных с расточительным гостеприимством. «Это был рай для мальчишек», — вспоминал первый гражданин Ганнибала.

Учение Сэма Клеменса кончилось рано, когда ему было около двенадцати. После смерти отца мальчика устроили учеником в типографию — «колледж для бедных подростков», как ее называл Линкольн. Отсутствие формального образования вызывало у взрослого Марка Твена желание слышать о своей одаренности, он восторженно открывал идеи, которые элита считала уже устаревшими, но благодаря этой недостаточности образования он избежал тех культурных шаблонов, в которых находили выражение многие таланты Новой Англии. Будучи фаталистом, он считал важными вехами своей деятельности незначительные происшествия. Самое раннее из них произошло на улице Ганнибала, когда молодой наборщик подобрал листок из книги о Жанне д'Арк и впервые почувствовал магию печатного слова. Тогда и возникла жажда сочинительства. Его первая, насколько известно, печатная работа, очерк с претензией на юмор «Франт пугает скваттера», появилась в бостонском журнале «Карпет-бэг» 1 мая 1852 года. На следующий год он покинул Ганнибал, отправился в Нью-Йорк и Филадельфию и начал посылать в газеты своего города первые из тех забавных путевых очерков, которые потом постоянно писал на протяжении полстолетия. В 1857 году, после нескольких месяцев пребывания в Цинциннати, Твен едет в Новый Орлеан, чтобы переправиться в Южную Америку, и совершает путешествие по Амазонке, но из-за нехватки денег становится помощником лоцмана Хорэса Биксби. Этот многоопытный человек научил его понимать характер переменчивой Миссисипи в солнечный день и при свете звезд, при паводке и во время спада воды.

В течение двух последующих лет Клеменс стоял за штурвалом в рулевой рубке, получал неплохое жалованье дипломированного лоцмана и проходил аспирантский курс изучения человеческой породы. Часто цитируют его позднейшее высказывание: «Когда в беллетристической или биографической книге я вижу хорошо нарисованный характер, я испытываю к нему глубокий, какой-то личный интерес, потому что я уже знал его раньше — встречал на реке». Наделенный повышенной совестью, он понимал, какая ответственность лежит на лоцмане, когда он ведет пароход по узкому месту, осторожно обходит топляки и песчаные отмели или, чтобы не уронить достоинство, вступает в состязание на скорость, так что котел едва не лопается под напором пара. Много лет спустя его старый учитель утверждал, что Клеменс «знал реку, как книгу, но ему не хватало веры в свои силы». Можно долго рассуждать о том, не отозвалась ли эта глубоко человеческая черта — неуверенность в себе, столь присущая его натуре, в его классическом

типе юмора, когда он изображал самого себя, человека, самолюбиво которого то и дело наносятся удары. Это самоуверенный и при этом робеющий лоцманский «щенок» в «Жизни на Миссисипи», испуганный солдат в «Неофициальной истории одной неудачной кампании», «зеленый» переселенец в книге «На легке», устраивающий лесные пожары и проморгавший богатство только из-за собственной глупости, незадачливый путешественник, потерявший билеты, оскорбляемый проводниками и лавочниками, попадающий в неприятные положения с властями, который проходит по многим произведениям, от юношеских писем Снодграсса до книги «Пешком по Европе».

## 2

Лоцманская карьера Клеменса кончилась весной 1861 года с началом военных действий. Вспышка энтузиазма привела его в нерегулярную часть конфедератов, где он недолго по-мальчишески наслаждался игрой в войну, которая еще не разгорелась. Из-за недостатка дисциплины часть скоро распалась, и Сэм, которому стало совестно бороться за сохранение рабства, уступил настояниям своего брата-юниониста, только что назначенного секретарем Территории Невада. В июле 1861 года братья отправились на Запад. История, рассказанная в книге «На легке», в общих чертах верна: девятнадцатидневное путешествие через прерии и Скалистые горы в Карсон-сити, приступ золотоискательской лихорадки, отнюдь не обогатившей Сэма, устройство на работу в газету «Энтерпрайз» в Виргиния-сити, журналистский огляд колоритного Сан-Франциско тех дней, поездка на Сэндвичевы острова по заданию редакции. Твен никогда не терял надежды на какой-то невероятный случай, благодаря которому он заделается миллионером, и этот зуд удачи сделал его пожизненным пленником золотых миражей, различных проектов быстрого обогащения и поразительных изобретений. Однако настоящей находкой Твена стало возвращение к тому журналистскому юмору, в духе которого он работал, когда ему не было еще двадцати, подражая профессиональным юмористам вроде Себы Смита, Дж. Дж. Хупера, Б. П. Шиллабера, чьи рукописи были известны в каждой редакции. В 1863 году двадцативосьмилетний миссуриец встретил Артимеса Уорда, совершавшего лекционное турне по городам Запада, и получил возможность видеть этого искусного рассказчика, что называется, в действии: безошибочное знание того, где сделать паузу или изменить темп рассказа, и полнейшая серьезность при самой абсурдной ситуации. В скетче «Как рассказывать истории» (1895) Твен отдает должное этим урокам.

Уорд посоветовал Твену не ограничиваться золотоискателями в красных рубашках из Уошоу и набобами Золотых ворот и всячески расширять свою аудиторию. Твен последовал совету

и напечатал свою первую на Востоке вещицу — шутивно-сатиристский скетч «Эти проклятые дети» о ребятишках, которые превращали приличные гостиницы в сплошной ад. Скетч появился в начале 1864 года в нью-йоркском журнале «Меркюри». Но уже в 1863 году Клеменс начал подражать популярным авторам смешных рассказов — Уорду, Орфею С. Керру и Джошу Биллингсу и выбрал псевдоним Марк Твен, то есть «мерка два» — этими словами на реке обозначалась безопасная глубина в две сажени. Клеменс не устал повторять, что заимствовал свой псевдоним у капитана Джосайи Селлера, чудакватого лодчмана и журналиста из Нового Орлеана, вскоре после его смерти. Однако в новоорлеанской прессе тех лет материалов, подписанных этим именем, не обнаружено. Кстати, Селлерс скончался через год после того, как Клеменс взял себе псевдоним. Но неважно, заимствовал его Клеменс или придумал: он сослужил ему хорошую службу, Помог создать его образ в глазах публики, другое «я» знаменитого писателя, которое тщательно оберегалось долгие годы, но отбрасывалось, как ненужная маска, в частной жизни. Псевдоним ввел в определенные границы роль «забавного парня», по выражению его века. Проницательный критик может заметить, что постоянный интерес писателя к людям, поменявшимся местами, двойняшкам, чуду сиамских близнецов и т. д. отражал парадоксальный дуализм его натуры, который раскрылся бы при углубленном самонаблюдении, — то легковой, то скептической, одновременно реалистичной и сентиментальной; он выдавал сатирика, который питал доверие к существующему порядку, человека границы, послушно склонявшегося перед викторианскими условностями, идеалиста, обожавшего приманки помпы и богатства. Он то и дело противоречил себе по самым разнообразным поводам. Его ум устремлялся не по однокорейке, а двигался по всем направлениям манежвого парка. Две более или менее отдельные сущности: чувствительный и понимающий друг Клеменс, и рядом — крепкий и язвительный Марк Твен — эти сущности, развившиеся из ствола одной личности, способствовали тому, что писатель стал, подобно неразлучным близнецам Луиджи и Анджело из «Простофили Вильсона», «человечьим орехом-двойчаткой».

Под псевдонимом Марк Твен этот молодой, с буйной шевелюрой человек с Юго-Запада и начал предлагать в периодические издания истории, подслушанные им в залах Законодательного собрания в Карсон-сити, в барах и билиардных Сан-Франциско, в поселках золотоискателей на Джекс-хилл. Именно от них примерно в феврале 1865 года он впервые услышал старинную фольклорную историю о Скачущей лягушке. Образами словоохотливого Саймона Уилера и простака Джина Смайли, владельца лягушки, он привнес в рассказ мотив человеческих ценностей, обычно отсутствующих в устной версии. Напечатанный

18 ноября 1865 года в нью-йоркской «Сатердей пресс», рассказ был вскоре перепечатан несколькими другими изданиями. В письме домашним автор жаловался на превратности судьбы, ворча, что завоевал первый успех с помощью «захудалой байки из глухомани», однако он уже вкусил сладость популярности, которая скоро стала для него эликсиром жизни. Вернувшись в октябре 1866 года из Гонолулу и попав в Сан-Франциско на лекторскую трибуну, Твен открыл для себя еще один мощный возбудитель — непосредственную реакцию аудитории. В самом начале 1867 года он получил признание и на Востоке, выступив в Куперовском институте Нью-Йорка, и скоро его уже начали превозносить как достойного наследника Артимеса Уорда, недавно скончавшегося в Лондоне от туберкулеза. Прошло немного времени, и Твен, по выражению его друга Уильяма Дина Хоуэллса, разобрался «во всех клапанах этого нехитрого инструмента, именуемого человеком». Устные выступления имели огромное значение для Твена. Все чаще и чаще он работал «на слух», выверяя написанное громким чтением и ставя в центр внимания какую-нибудь историю или происшествие. Разумеется, печатный текст не передает поразительное личное обаяние Твена с его гривой ярко-рыжих волос и орлиным носом, энергичную жестикуляцию его артистичных рук, неотразимую манеру растягивать слова — словом, те качества, которые оживляли даже вымученный местами юмор.

«Когда я начал писать и выступать, я преследовал единственную цель — сколотить комический капитал из всего, что я видел и слышал», — говорил он своему биографу Арчибалду Хендерсону. После первого сборника «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1867), куда вошли преимущественно рассказы о Западе, Твен укрепил свою репутацию серией юмористических путевых очерков, составленных на основе корреспонденций в газету «Алта Кэлифорния» о путешествии в Средиземноморье и в Палестину на пароходе «Квакер-сити» в 1867 году. Твен без труда копил «комический капитал» в общении с потоком американских туристов, который захлестнул Старый Свет после Аппоматокса: богатые купцы с женами, спекулянты, нажившиеся на войне, офицеры на отдыхе, священнослужители, которые оправдывали участие в увеселительных поездках паломничеством в Иерусалим. Ощущая себя тем, чем они были, простаками, они скрывали свой провинциализм похвальбой, заносчивостью, торговлей при покупках. Твен с удовольствием влился в этот поток, подшучивал над святынями и запретами старины, отдавая предпочтение озеру Тахо в Сьерра-Неваде перед ломбардским озером Комо, купался в водах Иордана, постоянно улавливая смешное в чужеземных говорах, сожалел о невежестве и предрассудках европейцев и отсутствию у них современных удобств. «Простаки за границей» (1869) питали наш крепнущий национализм и ослабляли романтическую при-

вязанность к Европе. Книга сразу стала бестселлером, восхищая тех американцев, в ком не укоренилось то, что впоследствии Генри Джеймс назвал «духом Ньюпорта». Крохотное меньшинство, подобно тому же Джеймсу, считало Твена лауреатом филистеров, а его сочинения — забавой для людей с примитивным вкусом. Много лет спустя, в 1889 году, в письме к Эндрю Лэнгу Твен поставил это обвинение себе в заслугу: «Приходится признавать, что обо мне с самого начала судили неправильно. Я никогда не пытался служить дальнейшему образованию образованного класса. У меня нет для этого ни таланта, ни подготовки. Да я никогда к этому и не стремился, меня с самого начала влекла куда более крупная дичь — народные массы. Я редко сознательно поучал их, но всегда старался доставить им развлечение... Так что, как видите, я всегда служил животу, рукам и ногам».

### 3

Тем не менее в этом высказывании не вся правда о Марке Твене. Чуть ли не с самого начала Твен, этот плейбой Запада, почувствовал призвание подлинного художника, жаждал большего уважения, нежели то, что заслужили дежурные юмористы вроде Сэма Слика и Джека Даунинга. В 1866 году в Гонолулу дипломат Энсон Берлингейм дал писателю совет, которому, как утверждал постаревший Твен, он следовал «целых сорок лет»: «Ищите общества тех, кто выше вас по интеллекту и положению, пробивайтесь наверх». Во время путешествия на «Квакерсити» наш миссуриец подпал под обаяние утонченной «матушки» Фэрбенкс, супруги состоятельного издателя из Огайо, и безжалостно уничтожал те корреспонденции, которые казались ей сырыми. Он вообще чувствовал себя как рыба в воде в обществе дам и в случае с миссис Фэрбенкс просто жаждал одобрения переработанных «Простаков за границей», а когда та нашла их «оригинальными», был в восторге. «Вот чего я так долго добивался и наконец добился! — воскликнул он. — Мне все равно, найдут ли у меня юмор, поэзию, красноречие и тому подобное, конечная моя цель — быть оригинальным, чтобы меня считали оригинальным». Движимый желанием заслужить одобрение свъше, он говорил Хоуэллсу, который написал о «Простаках» в «Атлантик»: «Когда я прочитал вашу рецензию, то был счастлив, как женщина, у которой родился белый ребенок». И все же Твену приходилось не раз с огорчением убедиться, что репутация «забавного парня», который ходит колесом на радость невзыскательному читателю, тянется за ним следом, пока наконец он не выработал защитную реакцию, о чем говорится в письме к Лэнгу. На обедах, устраиваемых редакцией «Атлантик», автор очерков «В старые времена на Миссисипи» и «Тома Сойера» обычно сидел на скромном месте, поодаль от Лонгфелло, Лоуэлла, Уитьера, а также

приемных сынов Бостона — Хоуэллса и Олдрича. Несмотря на то что Твен вел вполне приличествующий образ жизни, а его искусство становилось все богаче, почему-то считалось, что этот неотесанный пришелец с Запада рано или поздно так или иначе попадет впросак. Так оно и случилось, по мнению Бостона, на обеде, данном 17 декабря 1877 года в честь дня рождения Уитьера, когда Твен с простодушной веселостью рассказал о трех пьяницах с гор Сьерры-Невады, в которых легко угадывались Эмерсон, Лонгфелло и Холмс. Присутствующие даже не улыбнулись, они были шокированы, а Марк Твен стоял потерянный, и «у него на руках умирала шутка», по выражению Хоуэллса. Через день-два, мучимый сомнениями в себе и своем вкусе, в состоянии какого-то покаянного похмелья, он разослал извинения, где со свойственной ему неуверенностью писал: «Какой же величайший я, однако, глупец! Правда, глупец по воле божьей, а на всякие создания Господа взирать надобно уважительно». Потом он попросил Хоуэллса на время исключить его из авторов «Атлантик», дабы журнал не потерял расположения читателей. Сугубая серьезность, с которой святые и сам грешник отнеслись к этому происшествию, показывает, как глубоко укоренились в Новой Англии традиции утонченности и как занялось послушничество Марка Твена.

За несколько лет, что прошли между выходом «Простаков за границей» и этим неучтивым поступком, Клеменс уже успел жениться. До сих пор спорят, насколько жене удалось переделать мужа, однако как они поженились — хорошо известно. Во время путешествия на «Квакер-сити» Твен увидел милостивое личико на медальоне, принадлежащем брату; спустя какое-то время он встретил оригинал — Оливию Лэнгдон, на десять лет моложе его, болезненную и лечившуюся молитвами; два года после помолвки им пришлось ждать благословения отца Оливии, самого богатого дельца в Элмайре, и ее родственников, и наконец в начале 1870 года они обвенчались. Тем временем молодой Твен пытался утвердиться в качестве редактора одной из крупных газет в Буффало, но в 1871 году они переехали в Хартфорд, и Твен снова стал свободным художником. Его преклонение перед женщинами и их целомудрием доходило до фанатизма. «За меня никогда не пойдет та, которой я был бы достоин, — писал он «матушке» Фэрбенкс незадолго до обручения. — Она просто не захочет».

Догадки о сексуальных проблемах Марка Твена строятся со времен «эры Фрейда». В знаменитом полуребяческом скетче «1601 год», который Твен написал в середине творческой деятельности, чтобы позабавить своего друга священнослужителя Джо Твичела, сэр Уолтер Рэли рассказывает о «людях, обитающих в отдаленных уголках Америки, которые сочетаются не раньше, чем достигнут тридцати пяти лет». Таков, между прочим, возраст, когда сам Твен вступил в брак, взяв в жены

женщину со слабым здоровьем словно потому, что из-за некоей его собственной неполноценности именно такая женщина казалась ему подходящим партнером. Что касается их физической близости, то четверо детей не оставляют никаких сомнений в плодотворности их союза. Но можно только гадать о раннем недозволенном опыте Твена, который рос среди доступных негритянок-рабынь, а молодые годы провел на реке и в старательских поселках. Позднее Твен не допускал никакой сексуальной распушенности в идеализированном Ганнибале своего детства и добился этого, ограничив оба великих романа миром подростков. С самого начала и до конца во всех его сочинениях чувствуются личные и общепринятые сексуальные табу. В отличие от своего друга Хоуэллса он не занимался художественным исследованием полового влечения, не анализировал химическое сродство мужчины и женщины, если не считать ребяческой влюбленности Тома и Бекки и неправдоподобной искусительницы Лоры из «Позолоченного века». Лишь однажды в истории о связи белого с черной в образе негритянки Рокси из повести «Простофиля Вильсон» рискнул он приблизиться к теме страсти, выходящей за рамки принятых в обществе условностей. Наиболее близкая самым сокровенным уголкам его души героиня, бесспорно, Жанна д'Арк, девственница необыкновенной чистоты. Создается впечатление, что в основе характера Твена лежит какая-то боязнь секса, подобная той неприязни, которую испытывают некоторые расы и подростки к чувственности, будто бы унижающей плоть. Редкие случаи непристойности: скетч «1601 год» и некоторые неопубликованные работы, например речь в парижском «Клубе Желудка» или «Письма с Земли», — лишь подтверждают правило: он бичевал потребности тела под стать самому ярому пуританину.

Но Твен никоим образом не был женоненавистником. Он любил общество утонченных дам, чьи вкусы и представления о приличиях отвечали его собственным понятиям о них самих. Он понимал женскую психологию, о чем блистательно свидетельствует «Дневник Евы», написанный в 1905 году вскоре после смерти Оливии. Заключительные слова Адама: «Там, где была она, — был Рай» — стали эпитафией его скончавшейся супруге. Таким образом, можно сказать, что личная нерасположенность Твена и жантильные условности, сопровождающие тот успех, которого он добивался, привели его к отрицанию секса как важного мотива человеческого поведения, и женщина в его глазах представала лишь как объект рыцарственного поклонения, но отнюдь не эротического влечения.

Влияние жены на Твена-художника вызвало немало дискуссий впоследствии. Приверженцы одной теории считают, что сначала мать, а потом жена всячески побуждали его «быть на высоте», то есть зарабатывать деньги и оставаться уважаемым членом общества. Более того, они утверждают, что



в результате цензуры жены Твен не стал Рабле Нового Света, а превратился в разочарованного гения, у которого не было ни собственной души, ни словаря. Доказательства «унизительного» владычества Ливи опираются, однако, только на письма Твена Хоуэллсу — они оба были преданными мужьями своих болезненных жен и не раз беззлобно подшучивали над тем, что находятся у них под башмаком. Нежная тирания женщин идет во благо мужчине — эта мысль всегда была близка Твену, разделявшему представления Запада, где мужчину считали комком сырой глины, а женщину редкостным, особым существом. Так, например, в книге «Налегке» он рассказывает о рудокопах в долине Уошоу, которые собрали для подарка две с половиной тысячи долларов золотом по редчайшему случаю: им довелось лицезреть настоящую живую женщину. Всю свою жизнь Твен позволял женщинам воспитывать его, следить за его манерами, развивать его вкус. Ему доставляло удовольствие быть преданным рабом самых юных женщин — трех своих маленьких дочерей, которые были непременно участницами шуточного семейного ритуала под названием «Выколотить пыль из папы», и стаяк девочек-подростков на Бермудских островах в пору его индейского лета. Он обожал такие своеобразные игры в духе феодальных традиций. Но предполагать на этом основании, что Твен действительно находился под башмаком у жены, что женщины, и в частности Оливия, сковывали, лишали мужественности его талант, — значит, слышать в шутках вопль отчаяния. Напротив, можно говорить об обратном влиянии Твена на жену. Его жизнерадостность извлекала ее из бездны страхов, его шуточная болтовня развеивала ее дурное настроение, а религиозный скептицизм преодолевал ее христианские принципы.

Что касается особого вопроса жениной цензуры, то известно, что Твен любил читать по вечерам вслух *en famille*<sup>1</sup> то, что написал за день. Обычно это встречалось, к его удовольствию, одобрительно, иногда же весьма прохладно, и тогда он бывал сильно огорчен. Ему не давалась самокритика, и он знал это. Он принимался писать, не имея никакого плана и не зная, чем закончит. В пылу сочинительства он гораздо легче уступал Ливи там, где речь шла о простом вкусе, чистоте слога, всяких несообразностях. Тщательное изучение твеновских рукописей показывает, что миссис Клеменс, как и другому его многолетнему советчику Уильяму Дину Хоуэллсу, не нравились некоторые колоритные словечки и выражения — «валяться», «кишки», «харкать», «тухлятина» и реалистические упоминания чего-нибудь зловонного и разлагающегося, до которых Твен был немалый охотник, и он постоянно бурчал, что жена «нарочно обескровливает английский язык». Рукописи показывают, что,

---

<sup>1</sup> В кругу семьи (*фр.*).

воспроизводя некрепкие ругательства (вроде божбы Гека: «Растерзай меня дьявол»), или в тех редких случаях, когда он обращался к сомнительным шуткам, автор по зрелом размышлении был себе самым строгим цензором (как в фарсе «Его королевское совершенство»). Твен порой отнюдь не избегал рискованной игры с критиками, чтобы посмотреть, как далеко можно зайти по тонкому льду, однако всякий раз возвращался на безопасную тропку. Известно, как он мечтал о ничем не стесненной, естественной мальчишеской свободе на плоту, плывущем вниз по Миссисипи, — точно так же его то и дело тянуло к соленым оборотам средневековой речи, «насыщенной простодушной прямотой и невинными непристойностями», к «старым добрым сомнительным историям», как говорит янки из Коннектикута. Правда, он тут же напоминал себе, как замечено в книге «Пешком по Европе», что область дозволенного в печатном слове «резко сузилась за последние восемьдесят-девяносто лет». И Твен в основном безоговорочно соглашался с такими ограничениями.

#### 4

Вплоть до 1871 года, когда он бросил якорь в Хартфорде, самое важное в жизни Твена — события, формировавшие его как художника, заполнявшие кладовые его памяти. Начиная с того времени, главными вехами на его пути стали книги, которые он писал, щедро черпая из этого хранилища. Можно проследить, как от книги к книге на протяжении двух десятилетий шел процесс его созревания и самоутверждения. Он выступал дома и за границей, общался с литературными политическими и финансовыми светилами, много, хотя и бессистемно, читал и постоянно совершенствовал свой журналистский слог, так что в конце концов его стиль стал одним из лучших в американской словесности — легкий, острый, чуткий к диалектальным нюансам, несущий пласты комического и сатирического, язвительной иронии и едкого гнева. Одна группа книг, имеющих второстепенное значение, состоит из путевых очерков. За время между «Простаками за границей» (1869) и «Налегке» (1872) Твен, освободившись от газетной репортажности, научился вольнее обращаться с правдой фактов ради правды искусства. Структура обеих книг обусловлена простой хронологией. Твен-рассказчик нанизывает на нить времени одну историю за другой. В последней вещи встречаются почти все классические, издавна полюбившиеся американцам и особенно людям пограничных типы и черты рассказа: абсолютная небывальщина, мелодраматически-ужасное происшествие, нескончаемая — до бессмыслицы — история, лошадиный юмор, необыкновенные случайности и совпадения, вереница анекдотов, цепляющихся друг за друга и хватающих бог весть куда, комичность пьяницы, бред лунатика, басни о животных. Парадоксы, неожидан-

ности, недоговоренности часто способствуют художественному эффекту. Забавная история останется душой и позднейших путевых заметок Твена, которые обнаруживают большую гибкость в использовании знакомых «ходов», но одновременно и утомленность от впечатлений, особенно по сравнению со смачностью образов ранних простаков и аргонавтов. К поздним книгам этого ряда относятся «Пешком по Европе» (1880), где комически обыгрываются европейские языки, путеводительские штампы, рассуждения художественной критики, и «По экватору» (1897), рассказывающая о публичных чтениях Твена в Австралии и Индии. В них непременно высмеивается сентиментальная поэзия, пародируются романтические сюжеты и тоже рассказываются всякие истории, либо услышанные сейчас, либо выплывшие в памяти из забытых лет. В последней книге, однако, зубоскальство при виде незнакомых людей и обычаев исчезает, как только путешественник приближается к порогу Азии, как будто исконная, безразличная ко всему неподвижность этого континента заставила сатирика прикусить язык. Книги очерков не выявляют таланта Твена во всей красе. В них попадаются отлично написанные куски, но по сути своей это наспех сработанные, хотя и мастерские импровизации.

Первый роман, за который Твен взялся вместе с Чарльзом Дадли Уорнером, был «Позолоченный век», опубликованный в конце 1873 года, как раз в тот момент, когда финансовая паника подвела итог чудовищным эксцессам того периода. Роман возвращает нас к миссурийскому опыту соавторов, когда Уорнер был маркшейдером, а также к наблюдениям над вашингтонской жизнью зимой 1867/68 годов, когда, вернувшись из Святых мест, Твен недолго и без особого успеха служил личным секретарем напыщенного сенатора от Невады Уильяма Стюарта, зато начал давать неплохую юмористическую хронику происходящего в нью-йоркские «Грибюн» и «Гералд». Из Вашингтона Твен вынес глубокое презрение к политикам с их непорядочностью и тупостью, которое чем-то предвосхищало заметки Уилла Роджерса. («Даже блоху можно научить тому, что умеет конгрессмен», «Нет более типично американской категории преступников, нежели члены конгресса» — таковы характерные высказывания Твена.) По сравнению с жалкими любителями из Карсон-сити вашингтонские политики были истинными мастерами взяточничества, они грызлись из-за каждого жирного куса на этом, как выразился позднейший критик, «большом пикнике». Зрелище послевоенного Вашингтона, которое приводило в ужас совестливого Генри Адамса, навеяло мрачные страницы «Демократических далей» оптимисту Уитмену и стало первой притягательной мишенью твеновской сатиры.

Уорнер предложил обычные элементы сюжета: жантильная среда, любовные приключения, взлеты и падения в соединении

с темой материального успеха, который на одном уровне романа развенчивается, а на другом, когда этот успех освящен тем, что у большинства называется честностью, чрезмерно превозносится. Самого Твена всегда ослепляла романтика богатства, особенно если оно сваливалось на человека, выбивающегося из низов, как это показывает рассказ «Банковский билет в 1 000 000 фунтов стерлингов». В то же время он знал, какие несчастья и горестные неожиданности произрастают из корня всех зол: это явствует из рассказа «Наследство в тридцать тысяч долларов» (1904) и особенно блистательно — из «Человека, который совратил Гедлиберг» (1899). Неопределенность авторского замысла привела к тому, что в «Позолоченном веке» причудливо смешиваются Джонатан Свифт и Хорейшо Эдджер. Сатирические стрелы разят в самые разные стороны, и в результате ни одна не достигает цели. Подлакированная вульгарность всего образа жизни, жажда не отстать от Джонсов сочетается с религиозным ханжеством, изображением политической возни вокруг казенного пирога, высоких тарифов, трескотни присяжных ораторов, злоупотреблений правами (бесплатной пересылки почты), подкупов, коррупции в верхах, спекуляций на подделках, общего упадка демократических принципов.

Позолоченный век был временем радужных иллюзий, самодовольным миром, который спешил жить и одновременно увязал дырявыми башмаками в грязи. Обычно в глуши дилижансы въезжали в город или покидали его с шиком: лошади неслись вскачь, оглушительно трубили почтовый рожок, но, когда поселенье пропадало из виду, карета «тащилась самым жалким образом». Точно так же и на реке: пароход приближался к пристани и капитан приказывал подкинуть в топку смолистых сосновых чурок, чтобы из труб повалили густые клубы дыма. Общество зиждилось на кредите. Некий выскочка хвастал: «Два года назад у меня не было ни гроша, а сегодня у меня долгов на два миллиона». Самый интересный образец подобной психологии — полковник Селлерс, Микобер Нового Света, который ворочает воображаемыми миллионами, в то время как его семья и он сам довольствуются на обед блюдом из вареной репы и холодной водой («лучшая диета», с видом знатока утверждал полковник) и собираются у печурки, чтобы согреться, и тогда сквозь слюдяное окошко в дверце им мерещится ужин при свечах. Написанный с дяди Твена Джеймса Лэмптона, полковник Селлерс — само олицетворение ускользящей Американской мечты — импульсивный, великодушный, гостеприимный, строящий планы не только личного обогащения, но и всех своих родственников и друзей и готовый облагодетельствовать все человечество. Это колоссальная трагическая фигура, купающаяся в неверном свете обожаемого успеха. Отнюдь не бесчестный по натуре, в безрассудном

Вашингтоне он склонен извинить взяточничество («чересчур сильное выражение») и попадает в орбиту сомнительных дел сенатора Дилуорти, в котором угадываются черты печально известного Помроя из Канзаса. На иных страницах ирония Твена очень язвительна, однако общий эффект ее отнюдь не сатиричен. Во многих отношениях авторы были детьми позолоченного века и не решались нанести смертельный удар родителю.

Образ полковника Селлера полюбился публике и автору, и Твен не хотел расставаться с ним. Скромный успех инсценировки «Позолоченного века» в 1874 году побудил Твена и Хоуэллса написать продолжение, претендующее на буйное веселье, однако исполнитель главной роли в первой пьесе Джон Т. Реймонд отказался играть в ней; по его словам, образ полковника страдал такими преувеличениями, что герой производил впечатление едва ли не безумца. Сюжет, который затем лег в основу повести «Американский претендент» (1892), подтверждает мнение актера. Это одна из наименее удачных, вымученных книг знаменитого юмориста.

## 5

Три года спустя после «Позолоченного века» Твен публикует «Приключения Тома Сойера», первую из трех великих книг о Миссисипи его юности. Несомненно, что «Приключения Гекльберри Финна» (1885), «Жизнь на Миссисипи» (1883) и «Приключения Тома Сойера» (1876) — самые лучшие его книги, причем именно в таком порядке. Причины превосходства этих вещей над остальными очевидны. Твен не обладал особым даром композиции; целиком доверяясь интуиции, он редко заглядывал вперед, и во многих его рассказах чувствуется то какая-то неумеренность авторского воображения, то его истощенность. Его переменчивая, неопределенная техника, по мнению Хоуэллса, приближается к свободной ассоциативности.

«Насколько мне известно, мистер Клеменс — первый писатель, который отобразил в большом повествовании способ нашего мышления: он излагает то, что приходит в голову безотносительно к тому, что было и что будет».

Этот метод наилучшим образом служил Твену в тех случаях, когда образы, вызванные из прошлого, обретали собственную жизнь и сами вели повествование, переходя от эпизода к эпизоду легко и свободно, чего никогда не удалось бы автору при искусственно выстроенном сюжете. Создается впечатление, будто в путевых заметках и других подобных вещах, написанных по горячим следам событий, Марк Твен старается написать обо всем на свете, смешивая тривиальное, бессодержательное, нелепое с редчайшей первоклассной рудой. Но когда вспоминается прошлое, время растворяет примеси,

оставляя чистое золото. Ностальгия, тоска по мальчишескому раю «там, далеко, за холмами» глубоко импонировала веку юношеских порывов, который так обогатили Лонгфелло и Уитьер. Она освещала и сильные стороны Марка Твена — мир чувств и поступков. Он всегда выражал лучше то, что чувствовал, нежели то, о чем думал и что созерцал. Мальчишеский мир давал ему возможность выйти за пределы экономических и политических противоречий, серьезных проблем и самоанализа — посреди запутанных страстей и изощренной казуистики он утрачивал ту уверенность манеры, которой обладал, полагаясь на все пять чувств или защищая элементарную справедливость, например, когда речь заходила о чем-то простом, вроде конфликта между хамом и обыкновенным хорошим человеком.

В глубине души Марк Твен, наверное, сознавал, что он прежде всего человек чувства, чересчур отзывчивый для комедиографа и несобранный для философа, каковым он себя иногда воображал. Наиболее силен он был, передавая непосредственную радость бытия, когда высшее блаженство — быть молодым. Великая река, текущая по необозримым просторам, была местом для осуществления мальчишеской мечты о независимости, о том, как он станет новым Робинзоном Крузо на Джексоновом острове. На этом фоне разворачивались колоритные картины самой жизни, окрашенные юмором, выдумкой, мелодрамой, однако сложности машинного века и города были где-то далеко-далеко.

В первых своих книгах Марк Твен не касался этого придуманного мира, как бы ожидая, пока он не подернется дымкой идеального, и приберегая его до поры расцвета собственных творческих сил. Наверное, первый намек на этот мир появляется в одной из его корреспонденций из Нью-Йорка в «Алта Кэлифорния» весной 1867 года, в которой он случайно вспоминает Ганнибал, местного пьяницу Джимми Финна (которому было суждено стать отцом Гека) и Общество юных друзей трезвости, куда вступил Сэм Клеменс, чтобы, участвуя в похоронной процессии, щегольнуть пунцовым шарфом. Этот эпизод впоследствии появится в «Приключениях Тома Сойера». Вскоре после этого в «Простаках за границей» среди описаний европейских развлечений и достопримечательностей появились кое-какие твеновские воспоминания о детстве. В феврале 1870 года, получив письмо от «самого первого, самого старого и дорогого друга» Уилла Боуэна, одного из тех живых людей, из которых составил образ Тома Сойера, Марк Твен тут же, охваченный очарованием прошлого, написал ему большой ответ, где припомнил ряд историй, позднее вошедших в «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Примерно в то же время Твен написал скетч, не имеющий названия, о деревенском паренке, сгорающем от любви, и это,

конечно, Том Сойер. Первый редактор Твена Альберт Биглоу Пейн назвал его «Рукопись мальчишки», но он был опубликован лишь в 1942 году в книге Бернарда де Вотто «Марк Твен за работой». Года через четыре Твен снова взялся за эту тему, переделывая имевшиеся записи в повествование от третьего лица. К середине лета 1875 года работа была закончена, а через год с лишним книга вышла в свет. (За несколько месяцев до того, 31 августа 1876 года, Клеменс со свойственной ему непоследовательностью отправил Уиллу Боуэну холодное письмо с просьбой не досаждать ему этим сентиментальным мальчишеским миром, которого никогда не было, и утверждал, будто прошлое не содержит ничего такого, «что стоило бы засолить для нынешнего или будущего употребления».) В том же году Твен задумал и продолжение — «Приключения Гека Финна», потом целых шесть лет рукопись отлеживалась, и он вернулся к ней после поездки в Ганнибал в 1882 году, через два года опубликовав ее.

Первый читатель «Тома Сойера» Уильям Дин Хоуэллс разошелся с автором во мнении, что книга написана только для взрослых. Ему удалось быстро убедить Твена, что прежде всего это книжка для подростков, от которой получат удовольствие и взрослые, если заглянут в нее, когда читают дети. Поэтому Твен убрал некоторые выпады против воскресных школ и смягчил кое-какие по-провинциальному откровенные фразы. Однако он не произвел никаких существенных изменений, и Том не стал чистеньким, послушным примерным мальчиком, которым беллетристика для детей и юношества так долго потчевала удивленного читателя. В первой же главе определенно говорится, что Том «не был Примерным Мальчиком, каким мог бы гордиться весь город. Зато он отлично знал, кто был примерным мальчиком, и ненавидел его». Единственное, чем Том походил на своих сверстников в литературе того времени, — это тонкость чувств: он подвержен приступам жалости к себе, ему дорога каждая слезинка, которую соседи прольют, когда он утонет, он почти теряет сознание, услышав, что даже такой негодяй, как Индеец Джо, заперт в пещере. Во всех других отношениях наш герой — совершенно иной характер. Он обманывает тетушку Полли и таскает у нее всякие вкусные вещи, наслаждается бездельем, озорничает в церкви, задирает других мальчишек, хвастает, как и его приятель Гек, прибегает ко лжи, этой защитной окраске в мире взрослых деспотов. В результате в некоторых американских домах книга была прочитана взрослыми и убрана подальше с детских глаз, а продолжение — «Приключения Гека Финна» — вскоре после публикации изъяли из городской библиотеки Конкорда в штате Массачусетс (там, где всего лишь поколение назад Торо и Эмерсон приветствовали Джона Брауна), потому что

Гек предпочел «отправиться в преисподнюю», чем выдать своего друга — беглого негра.

В 1870 году Томас Бейли Олдрич опубликовал сравнительно безобидную «Историю плохого мальчика». Двадцать лет спустя друг Твена Хоуэллс вспоминал о подростках, которые не сумели или не захотели приспособиться к повседневному существованию. Еще позднее появились воспоминания Стивена Крейна «Уиломвиллские рассказы» и Уильяма Аллена Уайта о Бойвилле. Благодаря этим книгам продолжалась традиция реализма. Крайней реакцией на назидательную педантичность стала серия книжек Джорджа Уилбера Пека, начатая в 1883 году «Дурным мальчишкой Пеком», которая побила все рекорды в изображении неисправимого озорника. С одной стороны, можно, преувеличивая значение плутовского элемента в «Томе Сойере», посчитать, что роман ставит вверх ногами мир Питера Парли и серии книжек Джейкоба Эббота о Ролло, с другой — чересчур уподобить его шедевр Сервантеса «Дон Кихот», в каком-то иные критики усматривают модель мечтателя Тома и его здравомыслящего оруженосца Гека. Однако, добираясь до замысла писателя, не следует забывать о жизненности, достоверности его рассказа. Твен писал о мальчишках потому, что сам оставался мальчишкой в этот позолоченный век, мальчишкой из городка предвоенных времен на берегу большой реки.

В письме незнакомцу в 1887 году Твен определил «Тома Сойера» как «просто гимн, который облечен в прозаическую форму для того, чтобы придать ему земной вид». Его герои смахивают на дурного мальчишку Пека не больше, чем на образцовых детей назидательного рассказчика Джейкоба Эббота. Роман полон великолепных диалогов, описаний среды и тонких наблюдений, часто поднимающихся до уровня высокой поэзии, в которой звучат ноты «взрослого» гуманизма и иронии, и мы воочию видим, как от страницы к странице взрослеют Том и Гек. Выдумки и проказы начальных глав: окраска забора, забавы с «жуком-кусакой» в церкви, игра в пиратов в «Томе Сойере» и набег на учеников воскресной школы, собравшихся на пикник, словно нападение на богатый караван в пустыне в «Приключениях Гека Финна», — все это отступает на второй план по мере того, как углубляется в романах проблематика нравственного выбора и человеческих ценностей. Эволюция Тома, который берет на себя вину Бекки и вместо нее подвергается наказанию, который, несмотря на угрозу мести со стороны убийцы, подтверждает невиновность несчастного Меффа Поттера, соответствует эволюции Гека от беспризорного шалопая к воплощению великодушия и верности. Твен не придает значения жесткой временной последовательности. Его мальчишки ведут себя то как девятилетние, то как подростки в 13—14 лет. Несмотря на то что действие «Тома Сойера»



охватывает одно лето в Миссури, а в «Геке Финне» тянется дольше на несколько месяцев, Твен, подобно авторам комиксов, то замедляет, то ускоряет время, как ему заблагорассудится. Кроме того, в последнем романе он начисто игнорирует обстоятельство, что негр Джим мог гораздо раньше просто переплыть реку и скрыться на свободной территории Иллинойса, и вообще грешит несуразностями, которые он жестоко бы высмеял в сочинениях своего *bête noire* — Джеймса Фенимора Купера.

«Гекльберри Финн», конечно, превосходит «Тома Сойера», так как обнаруживает более зрелую позицию автора и богаче охватывает все стороны человеческого опыта. Вне всякого сомнения, это один из подлинных шедевров американской и мировой литературы, который всегда будет доставлять наслаждение. Здесь Твен возвращается к первоначальному замыслу — дать повествование от лица героя-рассказчика, и это принесло хорошие результаты. Речь Гека крепче, чем у Тома, а его ум свободнее от романтических клише и условностей среды. Он находится как бы посередине между Томом с его городским воспитанием и Джимом, этим выходцем из мира примитивной культуры и дремучих предрассудков. В глазах окружающих Гек стоит на более высокой ступени, чем негр, и это ставит его в такое же положение по отношению к Джиму, какое занимает Том по отношению к нему самому. Всякий раз, когда Том и Гек оказываются рядом, наши симпатии отданы последнему. Бездомный бродяжка в приречном городишке, он превосходно чувствует себя в своих лохмотьях и настороженно относится ко всем попыткам сделать из него цивилизованного человека. У него нет никаких внешних добродетелей, зато он обладает всеми существенными достоинствами. Тяжелая жизненная школа научила его скептицизму, воспитала здравый смысл и цепкое чувство реальности, но не ожесточила его до цинизма, не пробудила преступных наклонностей. Природа дала ему твердое верное сердце, открытое всем униженным и отвергающее наглую силу, в чем бы она ни выражалась. Кто-то из критиков усмотрел в нем типичного представителя простого народа, воплощающего исконную демократию в Америке. Сам Твен возразил бы против такого определения, поскольку сказал однажды, что «не существует простых людей, кроме как в самых высших слоях общества». Гек всегда проявляет отзывчивость, свойственную обитателям пограничья, даже пытается сделать так, чтобы спасли трех убийц, которым угрожает гибель на разбитом пароходе, — «почем знать, может, я и сам когда-нибудь буду бандитом, — небось мне такая штука тоже не понравится!» Деньги отнюдь не вызывают в нем искушения выдать своего друга негра Джима, хотя порой его совесть тревожится голосом условности, которая проповедует святость всякой собственности, пусть даже в виде живого человека, и он чуть не поддается ему. Иногда он не может побороть желания воспользоваться доверчивостью Джима, но его охватывает стыд,

когда он видит, с каким достоинством его друг относится к тому, что над ним посмеялись. Так же как Гек превосходит Тома храбростью и душевными качествами, негр Джим превосходит Гека в верности и природном мужестве и выступает самым благородным характером в романе.

В наиболее раннем из известных писем матери, написанном в день его приезда в Нью-Йорк в августе 1853 года, Твен саркастически сообщал: «Мне, наверное, надо выкрасить лицо в черный цвет, потому что здесь, в восточных штатах, негры считаются лучшими людьми, чем белые». Со временем, однако, Клеменс, как и Гек, тоже избавился от этого снисходительного отношения к черным. Впоследствии он стал большим другом негритянского народа и сторонником его прав. Он субсидировал полный курс обучения в Йельском университете одному чернокожему студенту как «свою долю возмещения ущерба, какую должен заплатить каждый белый каждому негру», и яростно критиковал короля Леопольда за чудовищные злодеяния бельгийских властей в Конго. Умиротворяя своего супруга, миссис Клеменс посоветовала ему как-то: «Считай каждого цветным до тех пор, пока тот не докажет, что он белый». Хоуэллс считал, что Клеменс, выходец с Юго-Запада, с течением времени постепенно утрачивал южные черты своего опыта и развивал западные, все более приобщаясь к широкой демократии фронта. Коснувшись вопроса о расовых предрассудках, необходимо сказать, что Твен всегда безоговорочно восхищался евреями, защищал китайцев, которых на его глазах побивали камнями на улицах Сан-Франциско, и испытывал неодолимую антипатию лишь к французам, хотя самую восторженную свою книгу посвятил их национальной героине.

Окончательная редакция «Гекльберри Финна» теснейшим образом связана с третьей большой книгой Твена о «речном» периоде его биографии — с «Жизнью на Миссисипи». Четырнадцать глав этих воспоминаний были опубликованы в «Атлантик» в 1875 году, и, прежде чем выпустить расширенное книжное издание их, в 1882 году он совершил памятное путешествие по местам своей юности. Работая более или менее одновременно над обеими неоконченными книгами, Твен переставил сцену, предназначенную для романа (о том, как Гек попал к плотовщикам) в воспоминания, чтобы передать колорит времени, и все же от поездки больше выиграл роман, чем мемуары. Относительная вялость второй части «Жизни на Миссисипи» до некоторой степени объясняется тем, что очень много живой крови воспоминаний перелилось в жилы «Гекльберри Финна». Путевые заметки 1882 года, написанные Твеном вскоре по возвращении домой, изобилуют набросками самых лучших эпизодов в романе: схватка между Грэнджерфордами и Шепердсонами, сцена, когда толпа собирается линчевать полковника Шерборна, бегство от погони двух жалких бродяг,

которые потом выдают себя за Короля и Герцога, — «они ничего такого не делали, потому за ними и гонятся с собаками».

Вторичное соприкосновение Марка Твена с жизнью приречных городков обострило его чувство реализма. Не считая пассажей об уединенности и свободе на Джексоновом острове, «Гекльберри Финн» уже не «просто гимн», и мечта о мальчишеской влюбленности настолько уже затуманилась, что Бекки Тэчер лишь безразлично упоминается как Бесси Тэчер. Повествование о странствиях Гека по Югу раскрывает гораздо более темные стороны жизни, нежели случайные драмы в «Томе Сойере». Мы видим равнодушие и садизм белых бедняков, деревенских бездельников с их неизменной табачной жвачкой и карманными ножами фирмы Барлоу, которые натравят собак на валяющихся в грязи свиней, и «им смешно, и вообще они очень довольны, что вышел такой шум», или смажут бездомного щенка скипидаром да и подожгут его. Мы видим трусость толпы, собирающейся устроить суд Линча, мощничество торговцев «патентованными» лекарствами, радения евангелистов, грубые непристойные шутки, бессмысленную вражду богатых землевладельцев. А за всем этим притаился страх, причем не только мальчишеская боязнь призраков или жуть африканских поверий, не ночные ужасы или смятение перед возможным бунтом черных, но страх перед бесконечной запутанной цепью грабежей, избиений, утоплений, убийств. За каждым поворотом дороги, за каждым изгибом реки скрывается опасность насильственной смерти. Главное, что движет поступками людей, — самосохранение, и это великолепно согласуется с ролью главных героев: бездомного сироты и его друга, беглого Джима, которые, полагаясь единственно на верность друг друга, стараются не попасть под бробдингговы сапоги превосходства белых и взрослых. Эти двое принадлежат к бесстрашным героям литературы.

Не обладая особым даром самоанализа, Твен бесстрашно переходил от философских глубин к прилегающим мелям бурлеска и экстраваганцы. В последних главах этого великолепного романа вновь появляется Том Сойер и замышляет «шикарный», сложный и бесполезный план освобождения Джима из рабства. Повествование, таким образом, заканчивается на фарсовой ноте — такой же, что начинает цикл о мальчишках из Ганнибала: сцена покраски забора. В том же ключе много лет спустя Марк Твен попытался продолжить приключения своих знаменитых героев в романе «Том Сойер за границей» (1894), где Том, Гек и Джим оказываются на борту воздушного шара вместе с полубезумным изобретателем, а потом рисуются их похождения в Египте. Хотя эта книга уступает своим великим предшественникам, все же в ней есть и юмор, и вкус, и колоритные характеры. «Том Сойер — сыщик» (1896) представляет собой мелодраму с похищением бриллиантов

и искусными ворами, в которой использован бессмертный прием близнецов-двойников, отнюдь не поверявший притягательности для Марка Твена, хотя еще со времен Плавта и Шекспира стал дежурным блюдом. В этом романе особенно ощутимы спешка, искусственность, творческая недостаточность.

Неровна и «Жизнь на Миссисипи», хотя была создана Твеном в расцвете сил. После того как однажды Твен поделился с Твитчелом кое-какими воспоминаниями и тот воскликнул: «Да такой нетронутый материал любой журнал возьмет!», для «Алантик» были написаны первоначальные главы (ныне — IV—XVII). Свежие, живые, полные юмора, они воссоздают славные времена речного пароходства: премудрости навигации, гонки, создание Лоцманской ассоциации, находчивость и триумфы ветеранов. Остальные главы книги, которые появились после возвращения Твена из поездки «за материалом», частично написаны на том же добротном уровне — таков, например, портрет желчного и раздражительного лоцмана Брауна, рассказ о крушении «Пенсильвании» и гибели Генри Клеменса, однако они чаще разочаровывают, особенно если вспомнить накал ранних глав. Первые две главы, содержащие очерк истории реки, являются позднейшим добавлением, другие же попросту теряются среди всяких историй, не имеющих отношения к предмету, как, например, мщение австрийца Риттера или зарисовки красочного Нового Орлеана. Книга показывает полторагодичное ученичество лоцманского «щенка» Сэма Клеменса, но почти не упоминается о двух годах его работы в качестве дипломированного лоцмана. Вместо этого мы читаем необязательные страницы, где, кроме всего прочего, излагается знаменитая твеновская теория, согласно которой «мнимая цивилизация вальтерскоттовского средневековья» не только вдохновляла благородство Старого Юга, но чуть ли не ответственна даже за Гражданскую войну.

И все же, несмотря на непоследовательность и шероховатости, «Жизнь на Миссисипи» — шедевр. Секрет долговечности этой книги заключен в том, что она передает наслаждение многообразным жизненным опытом, разворачивает яркие картины человеческих комедий и трагедий на великой реке (то же самое из крупных писателей попытался сделать в 1857 году Мелвилл в «Шарлатане»). По мнению Хоуэллса, Твен долго считал «Жизнь на Миссисипи» своей главной удачей; ему было приятно, что в этом же сходились германский кайзер и швейцар в гостинице — их похвалы он воспринимал с одинаковым удовлетворением. В ином расположении духа к концу жизни он отдавал предпочтение «Жанне д'Арк» — отчасти потому, что она «потребовала двенадцать лет подготовки и два года работы. Другие книги не требовали подготовки, да я и не готовился». Так Твен снова не сумел оценить самого себя. Книга, ко-

торая потребовала наименьших, вероятно, усилий, книга, словно бы вылившаяся из переполненной чаши впечатлений, — это, конечно же, «Гек Финн», лучшее его произведение, к которому вплотную примыкают «Том Сойер» и «Жизнь на Миссисипи».

6

В творчестве позднего Марка Твена заметно тяготение к отдаленному во времени и пространстве и судорожные поиски новых тем и новой выразительности, поиски, которые шли рука об руку с растущей неудовлетворенностью и душевным надрывом. В стареющем художнике постепенно угасал творческий огонь, но оставался великодушный, непостоянный, легко ранимый человек Сэм Клеменс, пытающийся обороняться от разочарования и несчастий, которые кольцом смыкались вокруг и зло насмехались над его славой первого юмориста века. Стоит проследить, как протекал этот процесс.

От воспоминаний о своем детстве в Ганнибале Твен перешел к своеобразному искусственному романтизму, к «пышной и сказочной» жизни средневековой Европы. Ранее всего к этой теме он обратился в «Принце и нищем» (1881), повести, рассчитанной преимущественно на детей, которая строится на старом сюжете перемены ролей действующих лиц. Уже здесь, а еще более в романах «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889) и «Личные воспоминания о Жанне д'Арк» (1896) в противовес романтической зачарованности рыцарскими деяниями и великолепием замков ощутима бунтарская жажда разрушить этот бутафорский несправедливый мир, где корона и митра помыкали простыми людьми. Твен вообще любил давать волю яростному негодованию, а в данном случае он травил вполне подходящего зверя: его жертва напоминала современность и в то же время избавляла писателя от последствий прямых нападок на авторитарность, устаревшие условности и ортодоксию. «Янки из Коннектикута», лучшая из книг этого ряда, рисует одного из тех искусных мастеров, которых Твен, должно быть, часто встречал, наведываясь в хартфордские мастерские фирмы «Прэтт энд Уитни». Оказавшись в Камелоте времен рыцарей Круглого стола, он одной рукой постепенно превращает артуровскую Англию в страну пара и электричества, а другой пытается посеять семена равенства. Он замечает, что в феодальном обществе шестеро из тысячи заставляют других гнуть на себя спину: «Мне казалось, что девяносто девяносто четыре, оставшиеся в дураках, должны перетасовать карты и выбрать новый курс». Из этого пассажа, по свидетельству покойного президента Рузвельта, было заимствовано самое знаменитое выражение в терминологии современной американской государственности. Коннектикутский янки утверждает, что взятая в совокупности нация всегда способна производить «достаточно

материальных ценностей, чтобы самостоятельно управлять собой». Однако, подобно населению Ганнибала и Хартфорда, средневековая толпа у Твена верит всему без разбора, дремуче невежественна и порочна, так что наш янки устанавливает не истинную демократию, а некую милосердную диктатуру, опирающуюся на него самого и его техническое умение, своего рода технократическую утопию. Ослепленный успехами прикладных наук, Марк Твен считал, что с помощью динамо-машины можно творить не только промышленные, но и социальные чудеса.

Прославление богородицы в «Жанне д'Арк» — это, как и у Генри Адамса, восхваление духовных сил, находящихся в постоянном конфликте с меркантилизмом и тупой жестокостью высокоорганизованного общества. Орлеанская дева была самым любимым историческим лицом Твена. Однако его воображение было сильнее понимания средневековой жизни, роман в лучшем случае представляет собой *tour de force*<sup>1</sup>.

Твен опубликовал «Жанну д'Арк» анонимно, рассчитывая на то, что книгу никак не свяжут с ним, чье имя уже давно ассоциировалось со смехом. Большинство читателей по-прежнему с бурным весельем встречали его громовую критику политики с позиции силы, империализма, крупных финансовых злоупотреблений, лицемерия в морали и религии и других проявлений того, что он все чаще называл «проклятой человеческой породой». Публика не в состоянии была забыть «Знаменитую скачущую лягушку из Калавераса» или то, как корчилась от смеха аудитория, едва он раскрывал рот. Однако сатирик в нем брал верх над юмористом, с возрастом убавлялась его творческая энергия, и Марк Твен все чаще пытается избегать роли комичного простака на сцене, понапрасну ожидая, что его выслушают всерьез.

К публичным чтениям Твена, однако, принуждала крайняя необходимость, ибо начиная с кризиса 1893 года удача вдруг изменила ему. На знаменитого писателя с немалыми деньгами и завидными гонорарами, все еще бодрого и уверенного в себе, на любящего супруга и боготворимого отца трех прелестных дочерей, на человека, в котором общество с удовлетворением видело выбившегося в люди печатника и речника, стали один за другим обрушиваться удары судьбы. Первые потери были материального характера. Лопнул финансируемый Твенем на протяжении многих лет проект создания новой наборной машины — плод ума незадачливого изобретателя Пейджа, который едва не предвосхитил невиданный успех линотипа Мергенталера. Твен рассчитывал заработать миллионы, а вместо этого потерял сотни тысяч. Затем обанкротилась издательская фирма Чарльза Л. Уэбстера — она называлась по имени зятя твеновой сестры,

---

<sup>1</sup> Здесь: «одна из вершин» (*фр.*).

но в действительности ее субсидировал сам писатель, так как не доверял крупным коммерческим издателям. Новый друг Твена, Генри Г. Роджерс, магнат из «Стандард ойл» и нефтяной король-разбойник в глазах разгребателей грязи, убедил его, что этика литературных занятий не имеет ничего общего с этикой бизнеса: «Вам нужно самому зарабатывать цент на цент». То же подсказывала Твену его собственная совесть. Хотя у него уже не было прежней, бьющей через край энергии, в 1895 году он отправляется в кругосветное путешествие для публичных выступлений. Перед отъездом Твен заявил представителям печати:

«Закон не признает закладных на человеческий мозг, и коммерсант, который отдал все, что у него есть, может воспользоваться законами о банкротстве и свободно начать все заново. Но я не бизнесмен, и честь указывает строже, чем закон. Она не может согласиться на меньшее, чем сто центов за каждый доллар, и ее долги не спишет никакой закон».

Благодаря доходам, гонорарам и хитроумному ведению дел мистером Роджерсом Твену удалось в конце концов выплатить кредиторам все до последнего доллара. Эта история стала американским подобием той, что случилась с Вальтером Скоттом.

Последняя заметная книга Твена об американской жизни «Простофиля Вильсон» (1894), написанная накануне кризиса, но еще до того, как писатель пережил жестокие трагедии, рассказывает о нонконформисте, который слишком умен и проницателен для захолустья, где протекает его жизнь. Его прозвали «простофилей», но он завоевывает всеобщее уважение, раскрыв тайну убийства благодаря своему хобби — собиранию отпечатков пальцев. Попутно он разгадывает еще одну тайну: негр-тянка Рокси, удивительно мощный, реалистический характер в книге, виновата в том, что одного человека принимают за другого. Роман представляет собой смелое, хотя и неровное исследование результатов смешанного брака. Скептические эпитафии к главам, будто бы заимствованные автором из «Календаря» простофили Вильсона, свидетельствуют о растущем пессимизме Твена — взять хотя бы такой: «Если подобрать издыхающего с голоду пса и накормить его досыта, он не укусит вас. В этом принципиальная разница между собакой и человеком». Или еще одно характерное для стареющего писателя высказывание: «Тот, кто прожил достаточно долго на свете и познал жизнь, понимает, как глубоко мы обязаны Адаму — первому великому благодетелю рода людского. Он принес в мир смерть».

Мотивы этих заметок: людская неблагодарность и глупость, суетность человеческих желаний, похвала смерти, дающей забвение жизненных трагедий, — все чаще появляются в поздних сочинениях Марка Твена. Это было не ново для него, просто усиливалась давняя тенденция. В юности он был подвержен приступам меланхолии и быстро разочаровывался в своих увле-

чениях. В Цинциннати в двадцать лет он жадно внимал доморощенному философу, толкующему евангелие научного детерминизма, а в бытность лоцманским «щенком» «со страхом и сомнением» читал Томаса Пейна. Позднее в Сан-Франциско, по его собственным словам, он чуть было не застрелился, а в 1876 году по непонятной причине надолго впал в зеленую тоску. Еще позднее он открыл для себя Джонатана Эдвардса и часами размышлял «над Причинностью и Необходимостью». Он глубоко интересовался агностицизмом Гексли, Геккеля и Ингерсолла. Мальчишкой Твен приходил в ужас от капризного и карающего Иеговы, о котором рассказывалось в воскресной школе, молодым человеком он дорос до безличного, но справедливого бога научных закономерностей, в старости снова обратился к жестокому богу, правда уже лишенному антропоморфических причуд, но не менее страшному, — богу причинности и судьбы. Еще в 1882 году в непубликовавшемся диалоге между двумя неграми, написанном во время известной поездки по реке, Твен запечатлел мысли, которые шестнадцать лет спустя развил в «злой книге» «Что такое человек?». Она была напечатана лишь в 1906 году, но частным образом и без указания имени автора: Твен считал ее совершенно непроверяемой и уничтожающей. Главная ее мысль, вытекающая из разговора любознательного Молодого человека и циничного Старика, заключается в том, что основные мотивы человеческого поведения — это эгоизм и самодовольство, как бы ни маскировались они честью, милосердием, альтруизмом, любовью. Жажда самоутверждения — непобедимая страсть, свободная воля человека, находящаяся во власти демона эгоизма, — чистая фикция.

Путешествуя, Твен внезапно получает известие из дома, что скончалась от менингита его любимая дочь Сюзи. Может быть, она не умерла, если бы родители не оставили ее одну? Это, наверное, был нелепый вопрос, но именно им задавался совестливый Клеменс, всегда и во всем винивший самого себя. Непубликовавшиеся бумаги свидетельствуют, с какой горечью размышлял Твен в ту пору над тем, что бог дает нам дух и плоть и одновременно в своей «отцовской ослепленности», по выражению Твена, насыпает на нас бездну телесных и душевных болезней. Все ухудшалось здоровье миссис Клеменс, и лишь смерть в 1904 году избавила ее от страданий. Оказалось, что неизлечимо больна эпилепсией младшая дочь Джин, чье угнетенное состояние давно уже беспокоило домашних. Стало сдавать и крепкое здоровье самого Марка Твена, и — что еще трагичнее для художника, пытавшегося тяжелой работой утолить сердечную боль, — резко пошла на спад его удивительная творческая энергия. Среди непубликовавшихся бумаг множество начатых рассказов и романов, которые просто не получались. Но то и дело возвращался к ним, переписывал и в конце концов бросал. Многие по духу и теме несут характер воспомина-



ний о его золотой поре. Волшебник прикоснулся магической палочкой к старым сокровищам, но чуда, увы, не происходило. А кроме того, они содержат красноречивые откровения чисто личного порядка. Принимая различные аллегорические обличья, Твен в старости мучился проблемой «вины», которая — как нашептывала ему кальвинистская совесть — должна предшествовать наказанию, пытался понять причину неудач и несчастий, которые принесла ему судьба. Художник снова и снова спрашивал себя: виноват ли я в том, что сделал или не сумел сделать? Часто возникает отчетливый мотив любящего отца, оплакивающего своего исчезнувшего или умершего ребенка.

В одном из рассказов, например, говорится о человеке, который уснул, разглядывая под микроскопом каплю воды, кишашую мельчайшими живыми частицами. Ему снится, что он на борту корабля где-то в Атлантике и преследует другой корабль, на котором находится его пропавший ребенок. Во время лихорадочного кошмара погони из пучины появляются какие-то чудовища и хватают с палубы людей. Капитана корабля называют Господин Грез, его злой умысел состоит в том, чтобы лишить мореплавателей чувства реальности. Между тем их кругами несет к невыразимому пределу — к Великому Белому Свечению (на самом деле это круг света, падающий на поле зрения микроскопа), к водовороту смерти, который заглатывает все, в том числе и судно с пропавшим ребенком. Не часто встретишь более мрачную аллессию предопределенности.

Решение проблем, к которому так отчаянно стремился Марк Твен, содержится в самом крупном произведении последнего периода творчества, хотя оно часто игнорируется в исследованиях о нем. Истинную перспективу оно приобретает в свете изучения неоконченных рукописей писателя. Речь идет о «Таинственном незнакомце», к которому он приступил в тяжелый 1898 год после смерти Сюзи и после того, как был поставлен окончательный диагноз Джин, не оставляющий никаких надежд. Роман был закончен несколько лет спустя и опубликован посмертно в 1916 году. Подобно последнему акту в греческой трагедии или в «Самсоне-борце», когда утихают страсти, это произведение превозмогает безысходность и достигает холодной отстраненности. В нем повествуется о группе мальчишек (по существу, это Том со своими приятелями, наряженные в средневековые костюмы), которые познакомились с неким сверхъестественным пришельцем, способным творить чудеса и распоряжаться человеческими жизнями. Он называет себя Сатаной и утверждает, что является родственником Люцифера, однако существует за пределами добра и зла. Смех и слезы, радость и муки, святость и греховность — все для него лишь звуки лир и флейт. В конце концов ему надоедают его прихоти и волшебство, и он говорит пораженному Теодору:

«Все, что я говорю тебе сейчас, — это правда! Нет бога, нет вселенной, нет человеческого рода, нет жизни, нет рая, нет ада. Все это только сон, замысловатый, дурацкий сон. Нет ничего, кроме тебя. А ты — только *мысль*, блуждающая мысль, бесцельная мысль, бездомная мысль, потерявшаяся в вечном пространстве».

В глубине души мальчик знает, что это правда. Здесь, на последних страницах «Таинственного незнакомца», Твен находит разгадку печали и угрызений совести и облачает душу в неуязвимую броню стоического отчаяния. Добро и зло и сама реальность — это только иллюзии, то, из чего сотканы наши сны, и наша собственная крохотная жизнь завершается лучшим даром, который Художник приберегает до конца, — исчезновением.

На этом темном небе фатализма твеновский талант временами еще вспыхивал, как галлеева комета, в появлениях которой в 1905 и 1910 годах он усматривал знамение конца своего земного пути. Он еще писал и выступал публично, рассыпая искры прежнего острословия, и лишь немногие догадывались о сгушавшейся вокруг него мгле. Оксфорд присвоил ему степень доктора литературы, его дни рождения становились событиями национального масштаба. В своем неизменном белом костюме он казался выходящим из той, отошедшей Америки, и при виде современных городов и промышленности этот призрак предавался воспоминаниям о ее молодости. Но его великий творческий гений почти угас, иссякала энергия, которую он растрчивал так свободно и беззаботно, как и полагалось на Старом Западе. Ведь Твена-художника можно сравнить с золотоискателем. Судьба натолкнула его на богатейшую жилу в родной земле, и он разрабатывал ее, как искусный мастер, почти играючи, но иногда принимал за золото блестящую пустую породу да еще ликовал при этом или тратил силы в поисках клада на истощенных, давно заброшенных участках. К концу жизни Твен был склонен отрицать свою роль величайшего комического гения Америки. Объяснение этому содержится в его последней книге путевых впечатлений: «Все человеческое грустно. Сокровенный источник юмора не радость, а горе. На небесах юмора нет».

## КОММЕНТАРИИ

К стр. 120

*Риальто* — старинный мраморный мост через Большой канал в Венеции, построенный в XVI веке.

«*ушедшее очарование средневековья*» — М. Арнольд. Критические опыты, I.

*Оден Джон* (ок. 1599—1687) — один из первых администраторов колонистов, приплывших в Америку в 1620 г. на корабле «Мэйфлауэр».

К стр. 137

*Рили, Джозеф Джон* (1881—1951) — американский литературовед. Речь идет о его книге «Джеймс Рассел Лоуэлл как критик» (1915).

К стр. 146

«*мысль, заимствованную школой Адама Смита у Джона Локка*» — имеется в виду разработанная английским философом-просветителем Джоном Локком (1632—1704) теория естественного права («*Два трактата о государственном правлении*», 1690), которая была использована последующими мыслителями, в частности шотландским экономистом и философом Адамом Смитом (1723—1790), для обоснования буржуазной политической экономии с ее принципом своекорыстного интереса и свободной конкуренции.

К стр. 149

*Аппоматокс* — город в Виргинии, где 9 апреля 1865 г. войска мятежников под командованием генерала Ли капитулировали, сдавшись в плен генералу Гранту, что, по существу, означало конец Гражданской войне.

К стр. 151

*Шале, Виктор Филарет* (1798—1873) — французский критик и писатель, известный своими работами в области сравнительного изучения литературы.

К стр. 152

*лорд Чэтэм* — Уильям Питт-старший (1708—1778), английский государственный деятель, премьер-министр (1766—1778). Во время конфликта Великобритании с ее североамериканскими колониями выступал за осуществление колониального господства более гибкими методами.

К стр. 155

«*со времен революции*» — на самом деле Ирвинг широко переводился в России с 1825 г., когда в различных журналах Петербурга и Москвы были напечатаны переводы его четырнадцати рассказов. Всего до революции появилось свыше 50 публикаций произведений Ирвинга на русском языке в отдельных изданиях и в периодике.

К стр. 156

«*образ Америки, созданного Шатобрианом*» — речь идет о повести Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848) «Атала, или Любовь двух дикарей» (1801).

К стр. 157

«*поддержку влиятельного критика Белинского*» — имеется в виду рецензия В. Г. Белинского в «Московском наблюдателе» (1839, № 4) на русский перевод романа Купера «Браво, или Венецианский бандит».

«*тридцать два русских издания*» — на самом деле до 1827 г., когда появилось первое советское издание романов Купера, его произведения печатались более чем в ста русских переводах и обработках. (См. В. А. Либман. Американская литература в русских переводах и критике. М, 1977.)

«*выпад миссис Стоу против Байрона*» — в 1869 г. Г. Бичер Стоу встретила с вдовой Байрона и получила от нее сведения, которые опубликовала в книге «Оправдание леди Байрон» (1870), направленной против Байрона и использованной консервативной критикой в посмертной травле великого поэта.

К стр. 158

*Беме, Якоб* (1575—1624) — немецкий философ-пантеист, для трудов которого характерно слияние натурфилософии и мистики, а также экзальтированный стиль.

*Якоби, Фридрих Генрих* (1743—1819) — немецкий философ-идеалист, разрабатывавший мистическую «философию чувства».

*Шлейермахер, Фридрих Эрнст Даниэль* (1768—1834) — немецкий протестантский теолог и философ, сочетавший в своих воззрениях идеи Канта, Фихте, Шеллинга, Якоби. Наряду с Шеллингом представитель романтической школы в немецкой философии.

*Клаф, Артур Хью* (1819—1861) — английский поэт, примыкавший к религиозно-политическому «оксфордскому движению».

*Тиндал, Джон* (1820—1893) — английский физик, известный как популяризатор научных знаний.

*Филлипс, Джордж Сирл* (1815—1889) — английский писатель и критик. Его биография Эмерсона вышла под псевдонимом Сирл.

*Айрленд, Александр* (1810—1894) — английский критик, автор воспоминаний об Эмерсоне и его поездках в Англию в 1833, 1847—1848 и 1872—1873 гг.

*Кине, Эдгар* (1803—1875) — французский политический деятель, историк и поэт. С 1841 г. профессор Коллеж де Франс, откуда был уволен в 1846 г. за борьбу против реакционного католического духовенства и иезуитов, которую вел вместе с Ж. Мишле (см. т. 1, стр. 601).

*Монтегю, Эмиль* (1825—1895) — французский критик, опубликовавший в 1851—1857 гг. серию статей об американских писателях и переведивший на французский язык Эмерсона (1850).

К стр. 159

*Вьеле-Гриффен, Франсис* (1864—1937) — французский поэт-символист.

К стр. 159

*Амель, Анри-Фредерик* (1821—1881) — швейцарский писатель, завоевавший известность посмертно изданным «Дневником» (1883).

*Себриа-Монтолиу, Сиприано* (1873—1923) — испанский критик.

*Гримм, Герман Фридрих* (1828—1901) — немецкий критик и искусствовед. В 1865 г. опубликовал очерк творчества Эмерсона.

*Блэчфорд, Роберт* (1851—1943) — английский журналист. В своих книгах «Веселая Англия» (1894) и «Британия для британцев» (1902), пользовавшихся большим успехом у современников, выступает в защиту социализма.

*Джап, Александр Хэй* (1839—1905) — английский литературовед; его биография Торо появилась в 1877 г.

К стр. 160

*Чолмондели, Томас* — английский друг Торо, автор книги о Новой Зеландии (1854).

*Уоттс-Дантон, Уолтер Теодор* (1832—1914) — английский писатель и критик, автор работ по английской поэзии.

*Мур, Джордж* (1852—1933) — английский романист и эссеист.

*Форг, Поль-Эмиль Доран* (1813—1883) — французский критик и переводчик; в 1853 г. перевел «Алую букву», в 1865 г. — «Дом о семи шпилях».

К стр. 161

*Томсон, Джеймс* (1834—1882) — английский поэт, писавший под псевдонимом «Б. В.», автор философской поэмы «Город страшной ночи» (1874).

*Моррис, Уильям* (1834—1896) — английский писатель, художник и общественный деятель, участник английского социалистического движения.

*Солт, Генри С.* (1851—1939) — английский поэт-социалист, автор ряда статей о творчестве Мелвилла.

*Добелл, Сидни Томпсон* (1824—1874) — английский поэт.

*Беррелл, Огастин* (1850—1933) — английский государственный и общественный деятель и литературный критик; в 1921 г. опубликовал статью о «Моби Дике» Мелвилла.

*Льюкас, Эдвард Веррэл* (1868—1938) — английский писатель и критик.

*Форстер, Эдвард Морган* (1879—1970) — английский писатель и критик, автор книги «Аспекты романа» (1927), где пишет о Мелвилле.

*Томлинсон, Генри Мейджер* (1873—1958) — английский романист, журналист и путешественник, автор нескольких статей о Мелвилле.

*Мейнелл, Элис* (1847—1922) — английская поэтесса и литературный критик.

*Вулф, Вирджиния* (1882—1941) — английская писательница и критик.

К стр. 162

*Локхарт, Джон Гибсон* (1794—1854) — английский писатель, критик и журналист, автор «Жизнеописания Вальтера Скотта» (1837—1838).

*Харрисон, Фредерик* (1831—1923) — английский историк и литературовед.

К стр. 163

*Ингрэм, Джон* (1849—1916) — английский литературовед, автор книг об английской и американской литературе.

*Лэнг, Эндрю* (1844—1912) — английский поэт, критик, историк и переводчик. Написал предисловие к изданию стихов По в 1882 г.

*Барбе Д'Оревилли, Жюль Амеде* (1808—1889) — французский писатель и критик, представитель позднего романтизма во французской литературе.

*Вилье де Лиль-Адан, Филипп Огюст Матисс* (1838—1889) — французский писатель, автор «Жестоких рассказов» (1883), где смешное граничит со страшным.

К стр. 165

*Парнасцы* — группа французских поэтов, печатным органом которых был журнал «Фантастическое обозрение» (1860). Несмотря на эстетизм и политический индифферентизм, наиболее талантливые парнасцы внесли значительный вклад в развитие французской поэзии.

...«рифмоплетом» назвал Эдгара По Р. У. Эмерсон.

*Швоб, Марсель* (1867—1905) — французский писатель, в первых своих литературных опытах подражавший Эдгару По.

*Ловриер, Эмиль* (1866—1948) — автор ряда французских книг о жизни и творчестве По.

*Лемоннье, Леон* (р. 1890) — французский литературовед, автор книг о связях французской литературы с творчеством По.

*Моклер, Камиль* (1872—1945) — французский романист, поэт и критик, автор книги «Гений Эдгара По» (1925).

*Аларкон, Педро Антонио де* (1833—1891) — испанский писатель, начавший свою литературную деятельность стихами в романтическом духе.

*Бональд* — имеется в виду Перес Бональд, Хуан Антонио (1846—1893), венесуэльский поэт и филолог, известный своими переводами стихов По и Гейне на испанский язык.

*Диас Мирон, Сальвадор* (1853—1928) — мексиканский поэт, ранние стихи которого носят романтический характер.

*Дарио, Рубен* (1867—1916) — никарагуанский поэт, первый сборник стихов которого выдержан в традициях романтизма.

*Сильва, Хосе Асунсьон* (1865—1896) — колумбийский поэт, в поэзии которого сказалось влияние романтиков, в частности Э. По.

*Нерво, Амадо* (1870—1919) — мексиканский поэт, в ранних стихах которого заметно влияние французского символизма.

*Вильяэспеса, Франсиско* (1877—1936) — испанский поэт, драматург и критик.

*Каррере, Эмилио* (1881—1947) — испанский писатель.

*Бароха-и-Неси, Пио* (1872—1956) — испанский писатель на творчество которого сказалось влияние Э. По.

*Шильгаген, Фридрих* (1829—1911) — немецкий писатель. Имеются в виду его высказывания в работах «Материалы к теории и технике романа» (1883) и «Новые материалы теории и техники эпоса и драмы» (1897).

*Штродтман, Адольф* (1829—1879) — немецкий поэт и переводчик с английского, французского и датского.

...«Русские читали По в конце 30-х годов» — впервые Э. По был переведен на русский язык в 1847 г. (рассказ «Золотой жук»). Легенда о русских переводах Э. По в конце 30-х годов восходит к ошибочным сведениям, содержащимся в «Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон», т. 24. Спб., 1898, стр. 831.

К стр. 165

*Хопкинс, Джерард* (1844—1889) — один из основоположников современной английской поэзии, стихам которого свойственна сложная изощренная образность.

*Джаннаконе, Паскуале* (1872—1959) — итальянский экономист и литературный критик, автор книги об Уитмене (1898).

*Базальгетт, Леон* (1873—1928) — французский литературовед, автор книг об Уитмене, Торо и других американских писателях.

*Катель, Жан* — французский литературовед, автор книг об американской и английской поэзии.

*Дауден, Эдвард* (1843—1913) — английский шекспировед.

*Саймондс, Джон Аддингтон* (1840—1893) — английский историк культуры и литературы, автор «Истории Возрождения в Италии» (1875—1886).

*Бьюкенен, Роберт Уильямс* (1841—1901) — английский поэт и романист.

*Райс, Джеймс* (1843—1882) — английский романист.

*Сентсбери, Джордж* (1845—1933) — английский критик, автор работ по теории литературы и поэтике.

*Эллис, Генри Хэвлок* (1859—1939) — английский писатель и ученый, известный своей книгой «Психология пола» (1897).

*Карпентер, Уильям* (1797—1874) — английский писатель и журналист.

*Шлаф, Йоганнес* (1862—1941) — немецкий писатель, представитель «последовательного натурализма» в литературе.

*Райзигер, Ганс* (1884—1968) — немецкий романист и переводчик с английского и французского, известный своими переводами Уитмена.

*Энгельке, Геррит* (1882—1918) — немецкий поэт из рабочего класса, испытавший воздействие поэзии Уитмена.

*Брёгер, Карл* (1886—1944), *Гризар, Эрих* (р. 1898), *Лери, Генрих* (1889—1936) — немецкие «рабочие писатели», выступившие после первой мировой

войны с продолжением традиций социал-демократической литературы и обращавшие внимание на изображение мира труда.

*Лафорг, Жюль* (1860—1887)— французский поэт-символист, один из зачинателей свободного стиха во Франции, выступал против «холодной поэзии» парнасцев.

К стр. 166

«*Аббатство*» — объединение французских писателей, возникшее в 1906 г., когда Шарль Вильдрак (р. 1882) основал в заброшенном аббатстве общежитие и типографию. Под влиянием Уитмена и Э. Верхарна у писателей этой группы (Жюль Ромен, Жорж Дюамель, Жорж Шеневьер, Люк Дюртен и др.) возник интерес к социальной тематике.

*Мейергоф* — очевидно, имеется в виду русский советский поэт и драматург А. Б. Мариенгоф (1897—1962), участник группы имажинистов.

*Шибберг, Фредерик* (р. 1905) — датский критик. Его книга об Уитмене вышла в Копенгагене в 1933 г.

*Гамберале, Луджи* — итальянский критик, автор перевода и предисловия к итальянскому сборнику стихов Уитмена (1887).

*Прац, Марио* (р. 1896) — итальянский писатель и критик, автор исследований об английской и американской литературе.

*Ненчони, Энрико* (1839—1896) — итальянский литературовед, знаток английской и американской литературы.

К стр. 167

*Мэтьюз, Чарльз* (1776—1835) — английский актер, неоднократно гастролировавший в Америке.

*Хоттон, Джон Кемден* (1832—1873) — английский издатель, ставший первым в Англии печатать книги американских писателей-юмористов.

К стр. 168

*Гуд, Томас-младший* (1835—1874) — английский писатель-юморист, издатель комической газеты «Фан» (1865).

К стр. 169

*Шонеман, Фридрих* (р. 1886) — немецкий литературовед и социолог, автор монографии о Марке Твене (1925).

*Лильегрен, Стен Бодвар* (р. 1885) — шведский литературовед, автор многочисленных трудов по английской и американской литературе.

К стр. 173

«*История Соединенных Штатов в периоды правления Джефферсона и Мэдисона*» — 9-томная монография американского историка и писателя Генри Адамса, изданная в 1889—1891 гг. Один из образцов академической историографии США второй половины XIX в., характеризующейся непониманием роли производительных сил в историческом движении общества.

К стр. 176

«...*миф южной плантации*» — идеализация довоенного Старого Юга в его социальной и региональной специфике. Сложился во второй половине 60-х гг. в творчестве таких писателей, как И. Рассел, Т. Н. Пейдж, Дж. Бэг-



би и др. Однако в числе их предшественников не без некоторого основания указывают и писателей южной школы местного колорита — Н. Такера, У. Каруерса и Дж. Истена Кука.

К стр. 180

*Икария* — утопическая коммунистическая страна, описанная французским утопистом Э. Кабе в романе «Путешествие в Икарию» (1840). Название «Икария» было дано коммунистическим общинам в США, созданным Э. Кабе и его последователями (1848—1895 гг.). «Икарийцы» были связаны с Социалистической рабочей партией Соединенных Штатов и с I Интернационалом.

К стр. 181

*Джексон, Эндрю* — седьмой президент США (1828—1836). Отказался признать права индейцев штата Джорджия на земли, гарантированные им договорами, составленными в период правления Джона Адамса; тем самым Джексон санкционировал истребление и вытеснение племени чероки.

К стр. 186

*Блэр, Уолтер* (р. 1900) — профессор Чикагского университета, специалист по истории литературы США XIX в. Много занимался литературой Среднего Запада. Автор ряда книг, из которых наиболее известна монография «Марк Твен и Гек Финн» (1960).

К стр. 191

*Новая Гармония* — община, созданная в 1825 году в США английским социалистом-утопистом Р. Оуэном (1771—1858), по замыслу которого она должна была стать «Коммунистической колонией». Этот эксперимент, основанный на утопической идее мирного преобразования капиталистического общества, потерпел неудачу, и община распалась в 1828 году.

*стада Иакова* — библейский патриарх Иаков владел огромными стадами и множеством пахотных полей.

К стр. 192

*доктор Джонсон* — см. Примечание к гл. 7, т. 1.

К стр. 193

*Раффинеск, Константин Сэмюел* (1783—1840) — американский ботаник, ихтиолог и историк.

*Одюбон, Джон Джеймс* (1785—1851) — американский орнитолог и рисовальщик. См. ком. к т. 1, стр. 583.

*Уилсон, Александр* (1766—1813) — американский орнитолог и поэт.

К стр. 196

*Лагерлёф, Сельма* (1858—1940) — шведская писательница, лауреат Нобелевской премии.

*Манифест судьбы или доктрина «явного предначертания»* — шовинистический лозунг американских политических деятелей середины и второй половины XIX века, призывавших к распространению политической и экономической власти США на всю территорию Северной Америки и соседних государств, в том числе Кубы и Мексики.

К стр. 197

*Саттер, Джон Огастес* (1803—1880) — швейцарский колонист, обосновавшийся в Калифорнии в 1839 году; 22 января 1848 года на его лесопилке было обнаружено золото, что повело к началу «золотой лихорадки» в Калифорнии.

К стр. 198

*Пони-экспресс* — система ускоренной перевозки почты на лошадях, существовавшая на американском Западе, особенно между Сент-Джозефом (штат Миссури) и Калифорнией в 1860—1861 годах.

*Прииск Комсток* — один из наиболее богатых золотом и серебром приисков, открытый в 1859 году в Неваде. Марк Твен описал «золотую лихорадку» Комстока в «Налекке» (1872).

К стр. 199

*Закон Моррилла* — принятый конгрессом США и утвержденный президентом Линкольном 2 июля 1862 года о выделении каждому штату земель, валовой доход с которых предназначался на содержание колледжей и университетов, дающих сельскохозяйственное и техническое образование.

*«насмешки миссис Троллоп и Чарльза Диккенса»* — имеются в виду книга «Семейные нравы в Америке» (1832) английской писательницы Френсис Троллоп (1780—1863), матери известного английского писателя, «Американские заметки» (1842) и роман «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (1844) Ч. Диккенса. Все три книги написаны авторами после посещения США и дают критическое изображение американской действительности.

К стр. 218

*Зангвилл, Израэль* (1864—1926) — английский прозаик и драматург, сионист. Очевидно, имеются в виду произведения Зангвилла «Плавиный Котел» (1914) и «Принцип национальной принадлежности» (1917).

К стр. 219

*«...членов Эфратского братства»* — секта, возникшая в 1708 г. в Германии. Эфрата — немецкая колония (ныне город) в штате Пенсильвания, основанная в 1728—1733 гг. В колонии был установлен один из первых печатных станков в США.

К стр. 226

*Чокто* — одно из «пяти цивилизованных племен» индейцев Юго-Востока США, принадлежащее к языковой семье хокасиу. В XVIII веке чокто частично мигрировали в Луизиану, где поддерживали французов в столкновениях с другими племенами.

К стр. 227

*Бризо, Жюльен Огюст Пелаж* (1803—1858) — французский поэт, переводчик «Божественной комедии» Данте (1841). За поэтические обработки фольклора и легенд Бретани («Бретонцы», 1845, «Поэтические истории», 1885) удостоен премии Французской Академии.

К стр. 228

*«период миссий»* — имеется в виду время завоевания и освоения Испанией Центральной Америки и Юго-Запада США и учреждения там военнизированных поселений (миссий), ведущая роль в которых принадлежала францисканским монахам и иезуитам, стремившимся идеологически подчинить себе местное население.

К стр. 236

*«Валам Олум»* — в переводе с делаварского означает «Красный перечень», «Красная запись». История происхождения мира, принадлежащая предкам индейцев-делаваров (ленни-ленапе), и их миграции через Американский континент. Каждому из 136 пиктографических знаков этой хроники соответ-

ствует определенный стих на языке ленапе. Заканчивается перечнем вождей ленапе и описанием прибытия в США европейцев. Неоднократно переводилась на английский язык и изучалась в качестве историко-литературного памятника.

Имеется в виду следующее *традиционно принятое* историко-этнографическое деление аборигенных культур США: область Северо-Западного побережья; область Калифорнии и Большого Бассейна; область Плато; область Юго-Запада; область Великих Равнин; область Северо-Востока; область Юго-Востока; субарктическая область; арктическая область. Существуют иные классификации, выделяющие от 7 до 16 историко-культурных областей.

К стр. 241

Художественная выразительность речи *Логана*, произнесенной около 1774 г., была особо отмечена Томасом Джефферсоном; она сделалась одним из известнейших в США памятников ораторского красноречия. Если ее достоверность проблематична, то этого нельзя сказать об индейской риторике в целом — важной традиционной области индейской словесности. Точность большинства источников не вызывает сомнений: обстоятельства записи (американо-индейские договоры о земле, заключении мира и др.) требовали дословной фиксации.

К стр. 242

Имеется в виду работа писательницы и антрополога *Мэри (Хантер) Остин* (1868—1934) «Американские ритмы: исследование и перефразировка песен американских индейцев», 1930. Литературное и научное творчество Остин было посвящено изучению и пропаганде индейского устно-литературного наследия, преимущественно поэзии. Проблема влияния ставилась лишь по отношению к творчеству Г. У. Лонгфелло, эпизодически возникала в связи с творчеством Г. Д. Торо, а в советской американистике — в связи с поэзией У. Уитмена (М. О. Мендельсон, «Жизнь и творчество Уитмена», М., Наука, 1969, с. 175—177). Остин ссылается на эту проблему также в связи с имажизмом.

К стр. 244.

«*Форти-найнеры*», или «люди сорок девятого» — золотоискатели, устремившиеся в 1849 г. в Калифорнию со всех концов страны во время «золотой лихорадки».

К стр. 247

*Рэндолф Джон* (1773—1833) — американский политический деятель, противник Т. Джефферсона и Э. Джексона, известный оратор, преимущественно аристократической ориентации; член палаты представителей, затем сената, на короткий срок — американский посол в России (1880).

К стр. 248

*листок* (broadside, broadsheet, то есть «широкоформатный лист») — вид лубочной литературы, возникший в Англии и использовавшийся для массового распространения баллад, песен, политических памфлетов и иных документов. Обычно одинарный листок с печатным текстом на одной стороне. Нередко стихи известных поэтов появлялись вначале в лубочном виде (Драйден, Батлер и др.).

К стр. 249

«*игровая вечеринка*» — вид развлечения сельской молодежи, сопровождающийся песенными играми. Игровая вечеринка заимствовала тексты и мелодию песен из программ менестрелей и популярных шоу; она была самобытной чертой культуры пионеров-первопроходцев и известна по всей стране под различными названиями.

К стр. 250

*Пайк, Элберт* (1809—1891) — американский юрист, редактор газеты (1832) в штате Арканзас, участник Мексиканской и Гражданской войн (в звании генерала конфедератов). Автор ряда прозаических и поэтических произведений.

К стр. 251

«*музыка хиллбилли*» — стандартизированная музыка сельских областей и Запада США. Народные песенные элементы сочетаются в ней с популярными мотивами; в музыкальном сопровождении ведущая роль принадлежит банджо, скрипке и гитаре. Возникла в горных районах американского Юга.

К стр. 253

«*шанти*» (chantey, shanty) — вид ритмичной морской рабочей песни, обычно с вступительным соло и хоровым припевом, совпадающим с ритмикой выполняемой работы. Впервые была упомянута в 1869 г., исполнение зарегистрировано в 1884 г.

К стр. 260

«*Виноградник Марты*» — остров в Атлантическом океане в 15 милях от юго-западной части Массачусетса. Был заселен китобоями и рыбаками в 1642 г.

*Лафит, Жан* (1782—1854) — предводитель шайки разбойников, каперов и контрабандистов, грабивших испанские торговые суда. Действовал со своей базы близ Нового Орлеана. Лафит вместе со своими людьми сражался на стороне Э. Джексона против англичан в битве под Новым Орлеаном в 1815 г. Еще при жизни личность Лафита приобрела романтический и легендарный ореол.

*Жители французской колонии Акадия* в Канаде, существовавшей в XVII—XVIII вв.; многие из колонистов были вынуждены под давлением англичан покинуть страну и после долгих скитаний осесть в Луизиане.

«*гула*» (gullah — от искаженного Angola) — представители негритянской народности, рабы береговых районов Южной Каролины, Джорджии и северо-восточной части Флориды.

К стр. 263

«*агиологический*» — то есть имеющий отношение к литературе жизнеописаний и легенд о святых.

К стр. 264

«*выступления... менестрелей*» — сценическое действие, состояло обычно из трех частей: парадный выход персонажей; водевиль или поурри; бурлескная пьеса или опера. Расцвет этих шоу, возникших в 1843 г., приходится на 1850—1860-е гг.

К стр. 298

так назывался кавалерийский полк, возглавлявшийся Теодором Рузвельтом и принимавший участие в американо-испанской войне 1898 г.

К стр. 308

«*Берк критиковал накануне Революции*» — Эдмунд Берк (1729—1797), английский политический деятель, выступавший за компромисс с восставшими английскими колониями в Северной Америке.

К стр. 309

*Роджерс, Роберт* (1731—1795) — уроженец штата Массачусетс, вместе со своим отрядом в шестьсот человек прославился как истребитель индейцев.

*Робертс, Кеннет* (1885) — американский писатель, автор исторических романов, в том числе романа «Северо-западный проход» (1937) о Роберте Роджерсе.

К стр. 310

*Уолстонкрафт, Мэри* (1759—1797) — английская писательница, сторонница Французской революции, поборница женского равноправия, жена У. Годвина.

К стр. 313

*Брэкенридж, Генри Мари* (1786—1871) — американский путешественник, сын писателя Хью Генри Брэкенриджа. В его «Картинах Луизианы» (1814) и «Воспоминаниях о людях и увиденном на Западе» (1834) собраны ценные исторические материалы.

К стр. 321

*Ракстон, Джордж Фредерик* (1820—1848) — английский путешественник, чьи «Путешествия в Мексике и Скалистых горах» (1847) и «Жизнь на Дальнем Западе» (1848) часто использовались позднейшими писателями и историками.

*Мариет, Фредерик* (1792—1848) — английский писатель, в 1837—1839 гг. совершил поездку в США и Канаду, после чего опубликовал язвительные «Американские дневники» (1839).

*Максимилиан Габсбург* (1832—1867) — император Мексики (1864—1867), брат австрийского императора Франца Иосифа I. После победы мексиканской народной армии был свергнут и расстрелян. Его «Воспоминания» изданы в 1867 г.

К стр. 323

*Саблет, Уильям Льюис* (1799—1845) — американский торговец пушниной; летом 1832 г. в одну из своих поездок к индейцам в Скалистые горы был ранен в битве при Пьерсхолое.

*Бонвиль, Бенджамин* (1795—1878) — американский военный инженер и путешественник. Отчет о его путешествии в 1832—1835 гг. был выпущен Ирвингом в 1837 г. под названием «Скалистые горы, или Сцены, происшествия и приключения на Дальнем Западе» (в позднейших переизданиях «Приключения капитана Бонвиля»).

К стр. 324

*Бредбери, Джон* (1736—1821) — американский путешественник, исследовавший течение Миссури, автор «Путешествия во внутренние области Америки в 1809, 1810 и 1811 годах» (1817).

К стр. 328

*Смит, Джедидия Стронг* (1798—1831) — американский путешественник и торговец, исследовавший Калифорнию. Убит индейцами.

К стр. 358

то есть иммигрантов.

К стр. 406

*Вордсворт, Дороти* (1771—1855) — английская писательница, сестра У. Вордсворта, известная своими «Дневниками», изданными в 1896 и 1904 гг.

...«глубже всяких слез» — У. Вордсворт. «Ода о бессмертии» (1807).

К стр. 411

...«прокаженных Дамьена» — имеется в виду бельгийский миссионер-католик отец Дамьен (1840—1889), один из организаторов колонии прокаженных на Гавайских островах.

К стр. 415

«*Мой старый дом в Кентукки*» (1853) — одна из наиболее популярных песен Стивена Фостера (1826—1864).

К стр. 420

*Кейджен* — житель Луизианы французского происхождения.

К стр. 421

*Боткин, Бенджамин Элберт* (р. 1901) — американский фольклорист, издававший ежегодник областного фольклора (1925—1935).

К стр. 431

«*Копперхеды*» или «*мирные демократы*» — члены демократической партии, выступавшие до войны и в период Гражданской войны за прекращение вооруженного столкновения. Они считали, что Конфедерация непобедима и что действия северян противозаконны.

К стр. 433

*Генерал Джордж Роджерс Кларк* (1752—1818) — американский военачальник и государственный деятель периода Войны за независимость.

К стр. 438

*Гарриман, Генри Э.* (1848—1909) — американский финансист, директор железнодорожной компании.

Исправление: § 10 в I т. «Литературной истории США» переведен Г. П. Злобиным.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Я. Н. Засурский . . . . .	5
V. КРИЗИС	
30. Диксон Уэктер. Дом распавшийся и воссозданный . . . . .	23
31. Уильям Чарват. Под эгидой народа . . . . .	37
32. Эрик Ф. Голдмен. Историки . . . . .	52
33. Хэролд Ф. Хардинг, Эверетт Л. Хант и Уиллард Торп. Ораторы . . . . .	68
34. Джордж Ф. Уичер. Литература и конфликт . . . . .	92
35. Оделл Шепард. Новоанглийский триумвират: Лонгфелло, Холмс, Лоуэлл . . . . .	117
36. Генри Нэш Смит. Традиции Старого Юга: взгляд меньшинства . . . . .	139
37. Хэролд Блодгетт. Вести из Нового Света . . . . .	150
VI. ЭКСПАНСИЯ	
38. Генри Нэш Смит. Горизонты раздвигаются . . . . .	173
39. Диксон Уэктер. Литературная культура на фронтире . . . . .	188
40. Генри Льюис Менкен. Американский язык . . . . .	201
41. Генри А. Почманн (при участии Джозефа Росси и других). Смешение языков . . . . .	216
42. Стив Томпсон. Индейское наследие . . . . .	235
43. Артур Палмер Хадсон. Фольклор . . . . .	244
44. Хэролд У. Томпсон (при участии Генри Сейдела Кэнби). Юмор . . . . .	271
45. Генри Нэш Смит. Хроникеры Запада и литературные пионеры . . . . .	307
46. Джордж Р. Стюарт. Запад с точки зрения Востока . . . . .	321
47. Карл Сэндберг. Авраам Линкольн: почва и посев . . . . .	329
VII. ПРОВИНЦИИ	
48. Генри Нэш Смит. Второе открытие Америки . . . . .	341
49. Диксон Уэктер. Образование для простого человека . . . . .	351
50. Уиллард Торп. Защитники идеального . . . . .	364
51. Уиллард Торп. Возвращение пилигримов . . . . .	384
52. Карлос Бейкер. Жизнь и характеры . . . . .	403
53. Уоллес Стегнер. Документальная и художественная литература Запада . . . . .	424
54. Гордон С. Хейт. Определение реализма: Уильям Дин Хоуэллс . . . . .	443
55. Стэнли Т. Уильямс. Эксперимент в поэзии: Сидни Лэнир и Эмили Дикинсон . . . . .	468
56. Диксон Уэктер. Марк Твен . . . . .	487
Комментарий А. Ващенко, А. Николокзина, В. Олейника, А. Шишкина . . . . .	514

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ  
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ  
ТОМ II

ИБ № 3554

Художник *Б. И. Астафьев*  
Художественный редактор *В. А. Пузанков*  
Технический редактор *Н. И. Касаткина*  
Корректор *Р. М. Прицкер*

Сдано в набор 6.09.77. Подписано в печать 28.02.78. Формат 60 X 90<sup>1/16</sup>.  
Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая.  
Условн. печ. л. 33. Уч.-изд. л. 33,55. Тираж 38 000 экз. Заказ № 759.  
Цена 1 руб. 70 коп. Изд. № 24184

Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров  
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва,  
119021, Zubovskiy bulvar, 21

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2  
имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном  
комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии  
и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29,